



Абрахам
Вергезе
ЗАВЕТ
ВОДЫ

Annotation

Южная Индия, семейные тайны; слоны, запросто приходящие в гости пообедать; таинственные духи, обитающие в подполье; медицина, ее романтика и грубая реальность; губительные страсти и целительная мудрость. А еще приключения, мечты, много красок, звуков, света, человеческих историй, вплетенных в историю Индии. Все начинается в 1900 году, а заканчивается в середине 1970-х, хотя на самом деле совсем не заканчивается. История нескольких поколений семьи индийских христиан из Кералы, удивительным образом связанная с историей врача-шотландца родом из Глазго, которого судьба занесла в Индию. Но все же роман Абрахама Вергезе — это не просто семейная сага в экзотических декорациях. Это мудрый и добрый рассказ о том, что семью создает не кровное родство, а общность судьбы; что выбор есть всегда, но не всегда есть силы его совершить; что все мы навеки связаны друг с другом своими действиями и бездействием и что никто не остается в одиночестве.

Рассказывая о прошлом, Вергезе использует настоящее время, и это придает истории универсальный, вневременной характер, а также отсылает к традиции устного повествования в Индии. Автор словно вглядывается в прошлое через призму, фокусируясь на том, что сейчас однозначно осуждается, но Вергезе показывает обратную сторону того, что сейчас вызывает отторжение. Вот девочка-невеста искренне привязывается к своему мужу, который на 30 лет старше ее; вот представители высшей и низшей каст живут вместе как семья, не разделенные ни унижением, ни высокомерием; вот колониальные хозяева и их работники оказываются близкими друзьями, помогающими друг другу в сложных ситуациях; вот революционер-марксист сожалеет о своей деятельности, потому что в основе его лежало разрушение; вот независимость стирает все беды колониализма, но порождает новые.

Персонажи «Завета воды» — фактически библейские, они добры, они величественны, они красивы, они решительны, они опережают свое время. Вергезе не стесняется выписывать своих героев крупными мазками, вознаграждать добродетельных и отправлять в безвестность

злодеев. В его романе подлость старается искупить себя, разврат оказывается наказан, прощение даруется, горе преодолевается, а разногласия непременно будут преодолены. Но «Завет воды» — это не только прекрасная беллетристика, в ее лучшем виде, но эта книга очень важна тем, что в ней много сделано для документирования ушедшего времени и исчезнувших мест, о которых большинство читателей ничего не знают. И конечно, это гимн медицине и науке, которые изменили жизнь людей.

- [Абрахам Вергезе](#)
 -
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [глава 1](#)
 - [глава 2](#)
 - [глава 3](#)
 - [глава 4](#)
 - [глава 5](#)
 - [глава 6](#)
 - [глава 7](#)
 - [глава 8](#)
 - [глава 9](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [глава 10](#)
 - [глава 11](#)
 - [глава 12](#)
 - [глава 13](#)
 - [глава 14](#)
 - [глава 15](#)
 - [глава 16](#)
 - [глава 17](#)
 - [глава 18](#)
 - [глава 19](#)
 - [глава 20](#)
 - [глава 21](#)
 - [глава 22](#)

- [Часть третья](#)
 - [глава 23](#)
 - [глава 24](#)
 - [глава 25](#)
 - [глава 26](#)
 - [глава 27](#)
 - [глава 28](#)
 - [глава 29](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [глава 30](#)
 - [глава 31](#)
 - [глава 32](#)
 - [глава 33](#)
 - [глава 34](#)
 - [глава 35](#)
 - [глава 36](#)
 - [глава 37](#)
- [Часть пятая](#)
 - [глава 38](#)
 - [глава 39](#)
 - [глава 40](#)
 - [глава 41](#)
 - [глава 42](#)
 - [глава 43](#)
 - [глава 44](#)
 - [глава 45](#)
 - [глава 46](#)
 - [глава 47](#)
 - [глава 48](#)
 - [глава 49](#)
- [Часть шестая](#)
 - [глава 50](#)
 - [глава 51](#)
 - [глава 52](#)
 - [глава 53](#)
 - [глава 54](#)
 - [глава 55](#)

- [глава 56](#)
- [Часть седьмая](#)
 - [глава 57](#)
 - [глава 58](#)
 - [глава 59](#)
 - [глава 60](#)
 - [глава 61](#)
 - [глава 62](#)
- [Часть восьмая](#)
 - [глава 63](#)
 - [глава 64](#)
 - [глава 65](#)
 - [глава 66](#)
 - [глава 67](#)
 - [глава 68](#)
 - [глава 69](#)
 - [глава 70](#)
 - [глава 71](#)
 - [глава 72](#)
- [Часть девятая](#)
 - [глава 73](#)
 - [глава 74](#)
 - [глава 75](#)
 - [глава 76](#)
 - [глава 77](#)
 - [глава 78](#)
 - [глава 79](#)
- [Часть десятая](#)
 - [глава 80](#)
 - [глава 81](#)
 - [глава 82](#)
 - [глава 83](#)
 - [глава 84](#)
- [Благодарности](#)
- [Примечания](#)
- [Словарь](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)

- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)

- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)

- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)

- [223](#)
 - [224](#)
 - [225](#)
 - [226](#)
 - [227](#)
 - [228](#)
 - [229](#)
 - [230](#)
 - [231](#)
 - [232](#)
 - [233](#)
 - [234](#)
 - [235](#)
 - [236](#)
 - [237](#)
 - [238](#)
 - [239](#)
 - [240](#)
 - [241](#)
 - [242](#)
 - [243](#)
 - [244](#)
 - [245](#)
 - [246](#)
 - [247](#)
 - [248](#)
 - [249](#)
 - [250](#)
 - [251](#)
 - [252](#)
 - [253](#)
 - [254](#)
 - [255](#)
 - [256](#)
 - [257](#)
-

Абрахам
Вергезе
ЗАВЕТ
ВОДЫ
роман

Перевод с английского
Марии Александровой



phantom press

Москва

Абрахам Вергезе

Завет воды

The Covenant of Water
by **Abraham Verghese**

Copyright © 2023 by Abraham Verghese
Иллюстрации © 2023 by Thomas Varghese
Карта © Martin Lubikowski, ML Design, London

Книга издана при содействии Mary Evans Inc. и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

Перевод Мария Александрова
Редактор Игорь Алюков
Художник Андрей Бондаренко
Корректоры Ольга Андрюхина, Олеся Шедевр
Компьютерная верстка Евгений Данилов
Главный редактор Игорь Алюков
Директор издательства Алла Штейнман

© Мария Александрова, перевод, 2024
© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2024
© «Фантом Пресс», издание, 2024

* * *

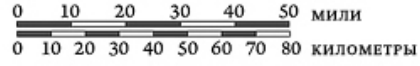
Мариам Вергезе
In Memoriam

Из Эдема выходила река для орошения рая.

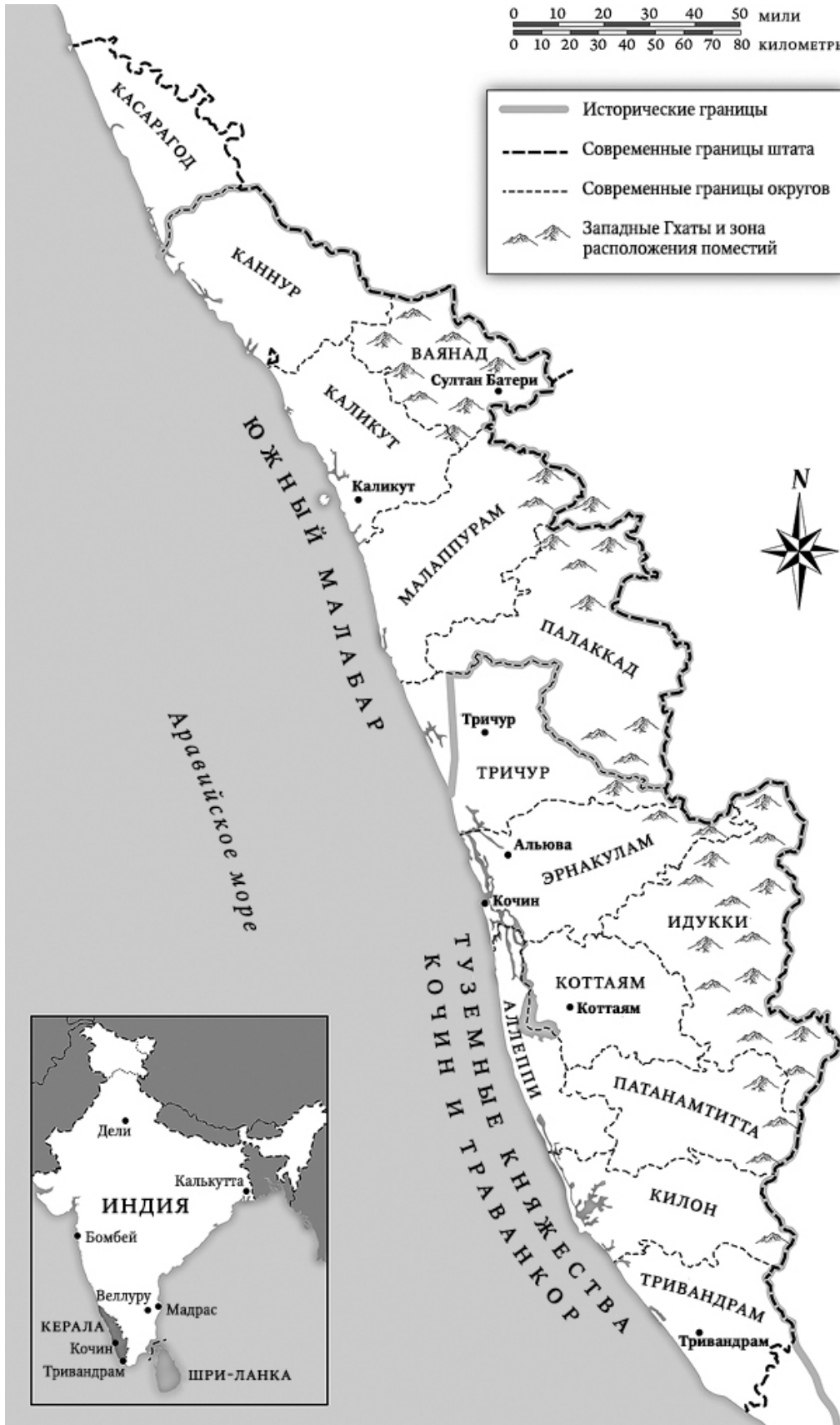
Бытие, 2:10

*Не удары молота, а танец воды доводит гальку
до совершенства.*

Рабиндранат Тагор



— Исторические границы
 - - - - - Современные границы штата
 ······ Современные границы округов
 ⚙ Западные Гхаты и зона расположения поместий



Часть первая



глава 1

Всегда

1900, Траванкор, Южная Индия

Ей двенадцать лет, и утром она выходит замуж. Мать и дочь лежат рядом на циновке, прижавшись друг к другу мокрыми от слез щеками.

— Самый печальный день в жизни девочки — это день ее свадьбы, — говорит мать и вздыхает. — А потом, Бог даст, станет легче.

Вскоре она слышит, как мамины всхлипы сменяются ровным дыханием, а затем тихим похрапыванием, которое, как кажется девочке, наводит порядок в рассеянных ночных звуках — от поскрипывания деревянных стен, источающих дневной зной, до роющейся в песке дворовой собаки.

Кукушка надоедает: *Кежсеккетта? Кежсеккетта? Где восток? Где восток?*

Она представляет, как птичка смотрит вниз на поляну, на четырехугольную соломенную крышу, нависающую над их домом. И лагуну перед ним, и ручей, и рисовое поле позади. Птичьи крики могут продолжаться часами, не давая уснуть... но внезапно обрываются, как будто в гнездо прокралась кобра. В наступившей тишине ручей не журчит свою колыбельную, но ворчливо грохочет отполированной галькой.

Она просыпается до рассвета, пока мать еще спит. Сквозь окошко видно, как вода на рисовом поле поблескивает кованым серебром. На веранде сиротливо стоит резной отцовский *чáру касéра*, шезлонг, опустевший и покинутый. Она приподнимает подставку для письма, лежащую на длинных деревянных подлокотниках, и садится. Чувствует призрачный отпечаток отцовского тела, сохранившийся в тростниковом плетении.

Четыре кокосовые пальмы, растущие на берегу лагуны, склонились, поглядывая в воду на свои отражения, будто

прихорашиваясь, прежде чем вытянуться к небесам. *Прощай, лагуна. Прощай, ручей.*

— *Муули?* — сказал накануне единственный брат ее отца, и она очень удивилась. Прежде у него не было привычки обращаться к ней с ласковым муули — доченька. — Мы нашли тебе пару! — Тон у него был вкрадчивый и елейный, как будто ей всего четыре года, а не двенадцать. — Твой жених ценит, что ты из хорошей семьи, дочка священника.

Она знала, что дядя подыскивает ей мужа, но все равно казалось, что он слишком спешит устроить этот брак. Что она могла ответить? Такие вещи решают взрослые. Беспомощное выражение на лице матери смущало ее. Маму было жалко, а ей хотелось только уважать ее, вовсе не жалеть. Позже, когда они остались вдвоем, мать сказала:

— Муули, это больше не наш дом. Твой дядя... — Она умоляла, как будто бы дочь *смела возражать*. Слова затихли, глаза нервно забегали. Ящерики на стене подергивали хвостами. — Там ведь почти такая же жизнь, да? Будешь праздновать Рождество, поститься перед Пасхой... церковь по воскресеньям. Та же евхаристия, такие же кокосовые пальмы и кофейные кусты. Это хорошая партия... Он зажиточный человек.

Зачем богатому мужчине жениться на бедной девочке, девочке без приданого? Что они недоговаривают? Чего ему *не хватает*? Молодости, для начала — ему сорок. У него уже есть ребенок. Несколько дней назад, после того как пришел и ушел сват, она подслушала, как дядя выговаривает маме:

— И что с того, что его тетка утонула? Это что, то же самое, что семейное безумие? Кто-нибудь слышал, что утопление передается по наследству? Люди всегда завидуют хорошей партии и вечно найдут, к чему придраться.

Сидя в шезлонге, она поглаживает полированные подлокотники и вспоминает руки отца; как большинство мужчин малаяли, он был похож на добродушного медведя — волосы на руках, на груди, даже на спине, кожу просто так не потрогать, только сквозь мягкий мех. Сидя на его коленях, в этом самом шезлонге, она выучила буквы. Она очень хорошо училась в церковной школе, и отец говорил:

— У тебя замечательные способности. Но любознательность — это даже важнее таланта. Тебе нужно учиться дальше. И даже в

колледже! Почему нет? Я не позволю тебе рано выйти замуж, как твоя мать.

Епископ отправил отца в проблемную церковь рядом с Мундакаймом^[1], где не было постоянного *аччана*^[2] из-за недовольства купцов-мусульман. Семью не стоило брать с собой в тот край, где утренний туман даже в полдень продолжал разъедать колени, а к вечеру поднимался до подбородка и где сырость несла с собой хрипы, ревматизм и лихорадку. Не прошло и года его служения, как отец вернулся, стуча зубами в ознобе, а кожа его пылала, и моча текла черного цвета. Прежде чем они успели позвать на помощь, грудь его перестала вздыматься. Когда мама поднесла зеркальце к папиным губам, оно не затуманилось. Отныне дыхание отца стало просто воздухом.

Вот *это* и был самый печальный день в ее жизни. Разве может свадьба быть хуже?

Она в последний раз встает с плетеного сиденья. Кресло отца и его кровать — для нее почти священные реликвии, они хранят его сущность. Если бы только можно было забрать их с собой в ее новый дом.

В комнатах начинается шевеление, просыпаются домочадцы.

Она вытирает глаза, расправляет плечи, вскидывает подбородок, готовясь встретить все, что принесет этот день, — неприятные минуты расставания, разлука с родным домом, который больше не родной. Хаос и скорбь в Божьем мире — мистическая тайна, хотя Библия свидетельствует, что под всем этим кроется строгий порядок. Как, бывало, говорил отец:

— Вера означает знать, что смысл есть, даже когда он невидим.

— Я справлюсь, *Anna*^[3], — говорит она, представляя, как ему сейчас горько. Будь отец жив, она бы не выходила сегодня замуж.

И представляет его ответ: *Отцовские тревоги заканчиваются с появлением хорошего мужа. Я молюсь, чтобы он оказался именно таким. Но одно знаю точно: Господь, который был с тобой здесь, будет с тобой и там, муули. Он обещал это в своем Завете. «Я с вами во все дни до скончания века»*^[4].

глава 2

Иметь и хранить

1900, Траванкор, Южная Индия

Путь до церкви жениха занимает почти полдня. Лодочник везет их через лабиринт незнакомых каналов, над которыми свисают огненно-красные цветы гибискуса, а дома стоят так близко к воде, что можно коснуться старухи, которая, сидя на корточках, просеивает рис взмахами плоской корзины. Слышно, как мальчик читает газету «Манорáма»^[5] слепому старику, и тот потирает голову, словно от новостей ему больно. Дом за домом, каждый — маленькая вселенная; дети ее возраста провожают взглядами лодку. «А вы куда?» — спрашивает голопузый проныра сквозь черные зубы, указательный палец — его зубная щетка, — посыпанный древесным углем, застыл на полпути. Лодочник сурово зыркает на мальчишку.

Из каналов они выплывают на ковер из лотосов и лилий, такой плотный, что по нему, кажется, можно ходить. Цветы приветливо раскрыты навстречу. Не задумываясь, она срывает один цветок, ухватившись за стебель, уходящий глубоко вниз. Он выскакивает с плеском, розовое сокровище, — непостижимо, как нечто столь прекрасное может появиться из такой мутной воды. Дядя многозначительно смотрит на мать, которая молчит, хотя беспокоится, что дочь запачкает свою белоснежную блузу и *кáлле мунду*^[6] или *кавáни*^[7] с тонким золотым шитьем. Фруктовый аромат наполняет лодку. Она насчитала двадцать четыре лепестка. Проталкиваясь сквозь лотосовый ковер, они выбирают в озеро такое широкое, что дальнего берега не видно, воды его спокойны и гладки. Интересно, океан тоже так выглядит? Она почти забыла, что выходит замуж. На шумной пристани они пересаживаются в громадное каноэ, которым правят поджарые мускулистые мужчины; концы лодки загибаются, как сухие бобовые стручки. Две дюжины пассажиров сгрудились в середине, закрываясь от солнца зонтами. Она вдруг понимает, что отправляется так далеко, что приехать домой в гости будет непросто.

Озеро незаметно сужается до широкой реки. Лодка скользит быстрее, подхваченная течением. И вот уже вдалеке, на высоком берегу, массивное каменное распятие стоит на страже небольшой церкви, перекладина креста отбрасывает тень на реку. Это одна из семи с половиной церквей, основанных святым Фомой. Как и любой ученик воскресной школы, она может отбарабанить их названия: Кодунгаллур, Паравур, Ниранам, Палейур, Нилакал, Коккамангалам, Коллам и крошечная полуцерковь в Тирувитамакоте, но при виде одной из этих святынь вживую у нее перехватывает дыхание.

Сват из Рáнни^[8] меряет шагами двор. Влажные пятна на его *джуба*^[9] расплываются от подмышек до груди.

— Жених должен был прибыть давным-давно, — говорит он.

Пряди волос, которые он уложил на макушке, растрепались и свисают над ухом, как хохолок у попугая. Он нервно сглатывает, и внушительный кадык дергается вверх-вниз по его горлу. На местных почвах в изобилии растут и рис, и вот такие зобы.

Свита жениха состоит только из его сестры, Танкаммы. Эта крепкая улыбающаяся женщина хватает крошечные руки будущей невестки и ласково сжимает.

— Он скоро придет, — заверяет она.

Аччан надевает епитрахиль поверх одежды и завязывает вышитый пояс. Он протягивает руку, ладонью вверх, словно безмолвно вопрошая: *Итак?* Ответа нет.

Невеста дрожит, несмотря на жару. Она не привыкла носить *чáтта*^[10] и мунду. С сегодняшнего дня больше никаких длинных юбок и разноцветных блузок. Она будет одеваться как ее мать и тетка, в традиционный наряд замужней женщины в христианской общине Святого Фомы, где единственный цвет — белый. Мунду такое же, как мужское, но завязано более замысловато, свободный конец собран в складки и сложен трижды, а затем заправлен в шлейф-веер, чтобы скрыть форму ягодиц. Маскировка — для этого предназначена и бесформенная блуза с короткими рукавами и v-образным вырезом, белая чатта.

Свет, падающий из высоких окон, отбрасывает косые тени. От запаха благовоний щекочет в горле. Как и в ее церкви, здесь нет скамеек, только грубый ковер из койры^[11] на крашенном суриком полу,

но лишь в передней части храма. Дядя кашлянул. Звук эхом разносится в пустом пространстве.

Она надеялась, что двоюродная сестра — и лучшая подруга — приедет на свадьбу. Сестру выдали замуж год назад, тоже в двенадцать, за двенадцатилетнего жениха из хорошей семьи. На свадьбе жених показался ей глупым как пробка, его больше интересовало содержимое собственного носа, чем церемония; аччан даже прервал *курбáну*^[12] и прошипел: «Прекрати ковыряться! Там нету золота!» Сестра написала, что в новом доме она только спит и играет с другими девочками из этой семьи, и она довольна, что не приходится иметь дела с этим противным мужем. А мама, читая письмо, сказала со вздохом: «Однажды все изменится». Невесте интересно, изменилось ли уже и что это означает.

В воздухе проносится оживление. Мать подталкивает ее вперед, а сама отступает.

Рядом возникает жених, и аччан немедленно начинает службу — у него что, *корова в хлеву телится*? Невеста смотрит прямо перед собой.

В заляпанных стеклах очков аччана мелькает отражение: на фоне света от входного проема темный крупный силуэт и маленькая фигурка рядом — это она.

Каково это — быть сорокалетним? Он ведь старше ее матери. Ее вдруг осеняет: если он овдовел, то почему не женился на ее матери вместо нее? Но она знает почему: выйти за вдовца немногим лучше, чем за прокаженного.

Аччан вдруг начинает запинаться, потому что будущий муж поворачивается и внимательно разглядывает невесту, развернувшись — немисливо — спиной к священнику. Он всматривается в ее лицо, пыхтя, как человек, который очень долго и очень быстро шел. Она не осмеливается поднять взгляд, но чувствует его землистый запах. И, не в силах совладать с собой, начинает дрожать. И закрывает глаза.

— Но это же ребенок! — слышит она гневное восклицание.

Открыв глаза, видит, как ее дядя вытягивает руку, пытаясь остановить удаляющегося жениха, но тот отбрасывает руку в сторону, словно смахивая муравья с циновки.

Танкамма выскакивает следом за сбежавшим женихом, жирный живот ее колыхнется из стороны в сторону, хоть она и придерживает его

руками. Перехватывает брата возле камня для поклажи — плоской каменной плиты на высоте плеча человека, лежащей на двух вертикальных каменных столбах, вкопанных в землю, — места, куда путник может опустить груз, который нес на голове, и перевести дух. Танкамма упирается ладонями в широкую грудь брата, пытаясь удержать, и медленно пятится спиной вперед.

— *Мууни*^[13], — говорит она, потому что он намного младше, годится ей в сыновья, а не в братья. — Мууни, — запыхавшись, повторяет сестра.

Случившееся в церкви — это очень серьезно, но все равно ужасно забавно, как брат напирает на нее, будто он пахарь, а она плуг, и Танкамма, не сдержавшись, смеется.

— Стой, послушай меня! — приказывает она, все еще улыбаясь.

Как часто сестра видела это угрюмое выражение на его лице, даже в детстве. Ему было всего четыре, когда их мать умерла, и матерью для мальчика стала Танкамма. Пела ему колыбельные и баюкала, чтобы малыш не хмурился. Много позже, когда старший брат обманом выгнал их из дома и отобрал все имущество, по праву принадлежащее младшему, только Танкамма вступилась за него.

Он замедлил шаг. Она хорошо знает его, молчуна этого. Если бы Бог чудом разомкнул сейчас ему челюсти, что бы он сказал?

Чечи^[14], когда я стоял рядом с этой дрожащей малюткой, я подумал: «И на ней я должен жениться?» Ты видела, как трясся у нее подбородок? У меня дома уже есть мой собственный ребенок. Мне не нужен еще один.

— Мууни, я понимаю, — говорит она, словно он и впрямь произнес вслух последние фразы. — Знаю, как это выглядит. Но не забывай, твоя мать и твоя бабка вышли замуж, когда им было всего по девять. Да, они были детьми, но их и растили дальше как детей, просто в другом доме, пока они не повзрослели. Разве не так получаются самые лучшие, самые прочные браки? Ладно, плюнь на это и просто на минутку задумайся об этой бедной девочке. Брошенная перед алтарем в день своей свадьбы? *Айó*^[15], какой стыд! Кто на ней женится после такого?

Он упрямо двигается дальше.

— Она хорошая девочка, — не унимается Танкамма. — Из такой хорошей семьи! За твоим маленьким ДжоДжо кто-то должен

присматривать. Она станет для него тем же, кем я была для тебя, когда ты был ребенком. Просто дай ей повзрослеть в твоём доме. Ей Парамбиль нужен не меньше, чем она Парамбилю.

Танкамма спотыкается, он подхватывает сестру, и она снова смеется.

— Даже слонам трудно ходить задом наперед! — Только сестра может истолковать легкую асимметрию, скользнувшую по его лицу, как улыбку. — Я сама выбрала эту девочку для тебя, мууни. Не думай, что это заслуга свата. *Это я встретила с матерью, я рассмотрела девочку, когда она и не подозревала, что я ее изучаю. Разве в первый раз я выбрала плохо? Твоя благословенная первая жена, упокой Господи ее душу, подошла идеально. И теперь доверься еще раз своей чечи.*

Сват шепчется с аччаном, который бормочет:

— Что тут вообще происходит?

Господь — скала моя, крепость моя, Избавитель мой^[16]. Отец учил юную невесту повторять эти слова, когда ей будет страшно. *Скала моя, крепость моя.* Чудесная сила, исходящая от алтаря, опускается на нее, как стихарь, принося с собой глубочайшее умиротворение. Эта церковь освящена одним из Двенадцати; он стоял на той же земле, где сейчас стоит она, тот самый апостол, который *коснулся* ран Христа. Она слышит его, и это вовсе не воображение — голос, беззвучно говорящий. И Он говорит: *Я с тобой во все дни.*

А потом рядом вновь возникают босые ноги жениха. *Как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующих благое*^[17]. Но эти ноги, как лапы дикого зверя, грубы, покрыты застарелыми мозолями и неуязвимы для шипов, они способны сбить гнилой пень и умеют находить трещины и расщелины, чтобы взобраться вверх по стволу пальмы. Стопы шевельнулись, поняв, что их оценивают. Она не может удержаться: поднимает глаза на жениха. Нос острый, как топор, губы пухлые, подбородок торчит. Волосы у него черные как смоль, никакой седины, удивительно. Он гораздо смуглее, чем она, но красивый. Ее поражает пронзительный взгляд, который он устремил на священника, — словно мангуст, ожидающий броска змеи, в любой миг готовый увернуться, крутануться на месте и схватить ее за шею.

Служба, должно быть, закончилась быстрее, чем она успела осознать, потому что мать уже помогает жениху снять покрывало с ее

головы. Он делает шаг ей за спину. Кладет руки ей на плечи и застегивает на шею тонкую золотую *мінну*^[18]. Пальцы, коснувшиеся ее кожи, горячи, как уголья.

Жених оставляет свою размашистую подпись в церковной книге, передает перо невесте. Она ставит свое имя и дату — день, месяц, год: 1900. Когда она поднимает голову, он уже идет к выходу из церкви. Священник, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, бурчит:

— Что у него, рис на огне подгорает?

На пристани, где нетерпеливо качается пришвартованная лодка, мужа не видно.

— Еще с той поры, когда твой муж был маленьким мальчиком, — поясняет ей золовка, — он предпочитал передвигаться на своих ногах. А я вот нет! К чему ходить, если можно плыть? — Смех Танкаммы словно уговаривает тоже повеселиться.

Но здесь, у кромки воды, мать и дочь должны расстаться. Они приникают друг к другу — кто знает, когда увидятся вновь? У нее теперь новое имя, новый дом, неизвестный и далекий, которому она отныне принадлежит. И должна отречься от старого.

У Танкаммы тоже глаза на мокром месте.

— Не волнуйся, — утешает она убитую горем мать. — Я буду заботиться о ней как о родной. Побуду в Парамбиле недели две-три. Но потом она будет знать домашнее хозяйство лучше, чем свои псалмы. Нет-нет, не надо благодарить. Дети мои уже взрослые. И я задержусь подольше, чтобы муж успел по мне соскучиться!

Ноги юной невесты подкашиваются, когда она отстраняется от матери. Она упала бы, если бы Танкамма не подхватила ее на бедро, как ребенка, а потом шагнула вместе с ней в качающуюся лодку. Она инстинктивно обвивает ногами широкую талию Танкаммы и прижимается щекой к ее мясистому плечу. С этого насеста она оглядывается на одинокую печальную фигуру, машущую с причала, такую крошечную по сравнению с гигантским каменным распятием, возвышающимся позади.

Дом юной новобрачной и ее жениха-вдовца находился в Траванкоре, на южной оконечности Индии, клочке земли, зажатом между Аравийским морем и Западными Гхатами — длинным горным

хребтом, тянущимся параллельно западному побережью. Эта земля создана водой, а ее народ объединен общим языком — малайялам. Там, где море встречается с белоснежными пляжами, оно простирает свои пальцы вглубь континента, сплетаясь с реками, змеящимися под зеленым пологом склонов Гхатов. Это волшебный мир детских сказок — с ручьями и каналами, сетью озер и лагун, лабиринтом заводей и бутылочно-зеленых лotosовых прудов; огромная кровеносная система, поскольку, как рассказывал отец, все водоемы связаны друг с другом. Вода породила народ — малайяли, — подвижный, как текущий мир вокруг них, их движения и жесты плавны, волосы волнисты, они с готовностью изливаются звенящим смехом, когда плывут от одного родственного дома к другому, пульсируя и блуждая, подобно кровяным тельцам в сосудистой сети, подталкиваемые великим бьющимся сердцем муссона. На этой земле кокосовые и пальмировые пальмы произрастают в такой изобилии, что даже ночами их резные силуэты покачиваются и переливаются под закрытыми веками. В снах, предвещающих благое, должны являться зеленые ветви и вода; их отсутствие считается кошмаром. Когда малайяли говорят «земля», они имеют в виду и воду тоже, поскольку не существует одного без другого, это все равно что нос без рта. На челноках, каноэ, баржах и паромах малайяли и их товары перемещаются по всему Траванкору, Кочину и Малабару с резвостью, которой и представить себе не могут сухопутные жители. В отсутствие нормальных дорог, регулярного транспортного сообщения и мостов вода — это настоящая автострада.

Во времена нашей юной невесты королевские семейства Траванкора и Кочина, чьи династии уходят корнями в Средние века, считались «туземными княжествами» при британском правлении. Под британским владычеством находилось более пяти сотен княжеств — половина всех земель Индии, — большая часть из них мелкие и малозначащие. Махараджей более крупных туземных княжеств, так называемых дружественных, — Хайдарабада, Майсора и Траванкора — приветствовали ружейным салютом от девяти до двадцати одного залпа, количество залпов отражало значимость махараджи в глазах британцев (и зачастую равнялось числу «роллс-ройсов» в княжеском гараже). В обмен на позволение сохранить свои дворцы, автомобили и положение, а также за право управлять полуавтономно махараджи

платили британцам «десятину» от налогов, которые они собирали со своих подданных.

Наша невеста в своей деревушке в туземном княжестве Траванкор никогда не видела ни британского солдата, ни гражданского чиновника; это совсем не похоже на ситуацию в «президентствах» Мадраса или Бомбея — территориях, управляемых непосредственно британцами, где они кишмя кишат. Со временем земли, где говорят на малаяли, — Траванкор, Кочин и Малабар — объединившись, образуют штат Керала, прибрежную территорию в форме рыбы на самой верхушке полуострова Индостан; голова рыбы указывает на Цейлон (нынешняя Шри-Ланка), а хвост — на Гоа, а глаза ее устремлены через океан на Дубай, Абу-Даби, Кувейт и Эр-Рияд.

В Керале воткни в почву лопату где угодно, и ямку тут же наполнит вода цвета ржавчины, как кровь из-под скальпеля, латеритный^[19] эликсир, питающий все живое. Можно, конечно, не верить, что абортированные-но-жизнеспособные зародыши, выброшенные в эту почву, вырастают в диких людей, но никто не спорит, что пряности произрастают здесь в изобилии, неведомом больше нигде в мире. Веками еще до рождества Христова моряки с Ближнего Востока ловили юго-западный ветер треугольными парусами своих дау^[20], направляясь к Берегам Пряностей за перцем, гвоздикой и корицей. А когда попутный ветер менялся, они возвращались в Палестину, продавать специи купцам из Генуи и Венеции за небольшое состояние.

Лихорадка пряностей охватила Европу подобно сифилису и чуме, занесенная теми же средствами: моряки и корабли. Но эта инфекция была целительной: специи продлевали жизнь и пище, и тому, кто их употреблял. Нашлась, однако, и неожиданная польза. В Бирмингеме священник, который жевал корицу, чтобы скрыть запах перегара, обнаружил, что стал неотразимо привлекательным для своих прихожанок, и написал под псевдонимом популярный памфлет *«Новые соусы сладкие и острые: веселящая смесь, соединяющая непристойное с приятным для мужчины и его супруги»*. Аптекари прославляли чудесные исцеления от водянки, подагры и люмбаго благодаря отварам из куркумы, гарцинии и перца. Марсельский лекарь выяснил, что втирание имбиря в маленький вялый пенис меняет оба качества на

противоположные, а партнерше доставляет «такое удовольствие, что она отказывается с него слезать». Удивительно, что западным поварам не приходило в голову обжарить и растолочь вместе зерна перца, семена фенхеля, кардамон, гвоздику и корицу, затем всыпать эту смесь в масло вместе с семенами горчицы, чесноком и луком, чтобы получилась масала, основа любого карри.

И разумеется, когда цена на специи в Европе была сравнима со стоимостью драгоценных камней, арабские мореплаватели, возившие пряности из Индии, держали в тайне их источник. К 1400-м годам португальцы (а следом за ними голландцы, французы и англичане) организовали экспедиции, дабы отыскать землю, где произрастают бесценные растения; эти искатели напоминали озабоченных юнцов, почуявших запах блудницы. Где же она? На Востоке, всегда где-то на Востоке.

Но Васко да Гама отправился из Португалии на запад, не на восток. Он поплыл вдоль западного побережья Африки, вокруг мыса Горн, а потом вдоль другого берега. Где-то в Индийском океане да Гама захватил и пытал арабского лоцмана, который и привел его к Берегу Пряностей — нынешней Керале, — на побережье недалеко от города Каликут; это было самое долгое океанское путешествие из всех, проделанных прежде.

На *заморина*^[21] Каликута не произвели особого впечатления ни да Гама, ни его монарх, который в качестве даров прислал кораллы и медь, в то время как сам заморин щедро раздавал рубины, изумруды и шелк. Его позабавило, как самонадеянно да Гама заявлял, будто бы принес свет Христов язычникам. Неужели этому идиоту неведомо, что за четырнадцать веков до его прибытия в Индию, даже прежде того, как святой Петр явился в Рим, другой из двенадцати апостолов — святой Фома — приплыл к этому берегу на арабской дау?

Легенда гласит, что в 52 году н. э. святой Фома сошел на землю вблизи нынешнего Кочина. Он встретил мальчика, возвращавшегося из храма. «Твой бог слышит твои молитвы?» — спросил он. Мальчик ответил, что, конечно, слышит. Святой Фома зачерпнул ладонью воду и подбросил в воздух, и капли застыли на лету. «А сможет ли твой бог сделать вот так?» Подобными демонстрациями, будь то магия или чудеса, он обратил в христианство несколько браминских семейств; позже он принял мученическую смерть в Мадрасе. Первые обращенные

— христиане Святого Фомы — оставались преданны вере и не вступали в брак за пределами общины. С течением времени община разрасталась, связанная воедино своими обычаями и своими церквями.

Почти две тысячи лет спустя двое последователей тех первых индийских обращенных, двенадцатилетняя невеста и вдовец средних лет, поженились.

«Что случилось, то случилось», — скажет наша юная невеста, когда станет бабушкой и когда внучка — названная в ее честь — будет приставать с просьбами рассказать об их предках. До малышки доходили слухи, будто семейная история полна тайн и что среди их предков были работорговцы, убийцы и даже лишенный сана епископ. «Детка, что было, то было, и вообще каждый раз, как начинаю вспоминать, помнится по-разному. Давай лучше расскажу про будущее, которое *ты сама* создашь». Но девочка настаивает.

Откуда же начать? С Фомы «неверующего», которому нужно было увидеть раны Христа, чтобы уверовать? С других мучеников за веру? Дитя требует истории своей семьи, истории дома вдовца, в который вошла ее бабушка, — дома, не имеющего выхода к морю в этой стране воды, дома, полного загадок. Но такие воспоминания сотканы из тончайших паутинок, время проедает дыры в ткани, и приходится штопать их мифами и сказками.

Однако есть нечто, в чем бабушка уверена: сказка, которая оставляет след в душе слушателя, рассказывает правду о том, как устроен мир, а значит, неизбежно повествует и о семьях, их победах и их ранах, об их усопших, в том числе и тех, кто превратился в блуждающего призрака; сказка должна научить, как жить в Божьем мире, где радость никогда не избавляет от печали. Хорошая история способна сотворить то, до чего не доходят руки у милостивого Бога, она исцеляет семьи и избавляет их от бремени тайн, чьи узы сильнее кровных. Поскольку тайны эти — как раскрытые, так и сохраненные — могут разрушить семью.

глава 3

О чем не говорят

1900, Парамбиль

Молодой жене снится, что она плещется в лагуне с сестренками, забирается в узкий челнок, нечаянно опрокидывает его и забирается опять, их смех эхом отражается от берега.

Она просыпается в замешательстве.

Рядом с ней вздымается и опадает храпящая гора. Танкамма. Ах да. Ее первая ночь в Парамбиле. Название царапает язык, как острый обломок зуба. От соседней двери, из комнаты ее мужа, не доносится ни звука. За телом Танкаммы почти не видно маленького мальчика, только блестящие взъерошенные волосы на его голове и рука, ладошкой вверх, лежащая рядом.

Она прислушивается. Чего-то не хватает. Эта пустота настораживает. Девочку осеняет: не слышно воды. Вот чего не хватает — ее журчащего, баюкающего голоса, и потому она сотворила воду в своем сне.

Вчера *в́аллум*, челнок, обшитый досками, высадил их с Танкаммой у маленького причала. Они прошли через поле с торчащими кое-где кокосовыми пальмами, увешанными плодами. Четыре коровы паслись на поле, каждая на длинной привязи. Потом миновали ряды банановых деревьев, их разлапистые листья шелестели и хлопали друг о друга. Грозди красных бананов почти касались земли. Воздух напоен был ароматом дерева *чампáка*^[22]. Три камня, отполированные от долгого использования, служили мостиком через мелкий ручей. Дальше ручей разливался в пруд, берега которого заросли кустами пандануса и карликовыми пальмами *чент́енгú*^[23], гнущимися под тяжестью оранжевых кокосов. На берегу пруда вкопан наклонный камень для стирки; Танкамма сказала, это место, куда можно ходить купаться. Журчание ручья служило благим предзнаменованием. Она высматривала свой новый дом рядом с причалом, где они высадились,

но у реки его не оказалось, так что наверняка дом стоит у ручья... но нет.

— Вся эта земля больше пяти сотен акров, — гордо сообщает Танкамма, поводя рукой налево и направо. — Это все Парамбиль. Большая часть — заросшие дикие холмы. А из того, что расчищено, возделана только часть. Но пока твой муж не занялся этой землей, здесь были джунгли, муули.

Пять сотен акров. Хозяйство, в котором она жила до вчерашнего дня, умещалось всего на двух.

Они продолжали путь по тропинке, обсаженной по сторонам маниоккой. Наконец высоко на холме, силуэтом на светлом фоне, показалась постройка. Она не отрываясь смотрела на то, что станет ее домом до конца жизни. Линия крыши знакомо изгибалась посередине, приподнимаясь к концам, низко нависающие карнизы закрывали солнце, затеняя веранду... но в голове крутилась только одна мысль: *Почему так высоко? Почему не у ручья? Или у реки, приносящей новости, гостей и прочие добрые вещи?*

Сейчас, лежа на спине, она изучает комнату: промасленные отполированные стены из тика, не из обычного хлебного дерева, с отверстиями в форме распятия наверху, через которые может выходить теплый воздух; подвесной потолок тоже из тикового дерева, защищающий от жары; тонкие деревянные решетки на окнах пропускают ветерок и, конечно, двустворчатая дверь, ведущая на веранду, верхняя половина сейчас открыта, впуская ночной бриз, а нижняя закрыта, чтобы не пробрались куры и всякие безногие создания, — очень похоже на дом, из которого она уехала, только этот гораздо больше. Каждый *тач'ан*, плотник, следует древним правилам *В'асту*^[24], от которых не отклоняются ни индуисты, ни христиане. Для хорошего тачана дом — это жених, а земля — невеста, и он должен совместить их столь же аккуратно, как астролог совмещает гороскопы. Когда в доме случается беда или преследуют неудачи, люди говорят: это потому, что жилище поставлено в неблагоприятном месте. И вновь она задается вопросом: *Почему здесь, так далеко от воды?*

Шорох листьев, дрожь, исходящая от земли, заставляют сердце биться чаще. Нечто, возникшее у дверей, заслоняет свет звезд. Это местный призрак явился показаться ей? В следующий миг через

верхнюю половину двери в комнату словно прорастает пышный куст. А вокруг куста обвилась огромная змея. Юная жена не может ни шевельнуться, ни вскрикнуть, хотя понимает, что сейчас с ней произойдет что-то ужасное в этом таинственном, сухопутном доме... Но разве смерть пахнет жасмином?

В воздухе повисает ветка жасмина, которую сжимает слоновий хобот. Цветочные гроздья плывут, покачиваясь, над спящими, пока не замирают над ее головой. Она чувствует на лице теплое, влажное, древнее дыхание. Крошечные комочки земли падают ей на шею.

Страх растворяется. Поколебавшись, она тянется за подношением. Удивительно, что слоновьи ноздри так похожи на человеческие — окаймленные светлой веснушчатой кожей, нежные, как губы, но проворные и ловкие, как пальцы; он сопит ей в подмышку, щекочет локоть, подползает к лицу. Она еле сдерживается, чтобы не хихикнуть. Жаркий выдох снисходит на нее, как благословение. Запах — это что-то из Ветхого Завета. Хобот беззвучно уползает.

Она поворачивается и обнаруживает ошеломленного свидетеля. Двухлетний ДжоДжо выглядывает из-за плеча Танкаммы, глаза его широко распахнуты. Она улыбается ему, поднимается, повинувшись порыву, наклоняется и скидывает малыша на бедро, и они вместе выходят, вслед за ночным видением.

Повсюду в Парамбиле она ощущает присутствие духов, как и в любом доме. Один из них шагает в *муттам*^[25]. Темнота мерцает невидимыми душами, бесчисленными, как светлячки.

На поляне у вздымающейся ввысь пальмы, над кучей сухих пальмовых листьев парит в воздухе, сияя сетчаткой, глаз — покачивается, как лампа на ветру. Когда зрение привыкает, из тьмы проступает гора лба, потом лениво хлопающие уши... скульптура, высеченная из темной глыбы ночи. Слон настоящий, вовсе не призрак.

ДжоДжо машинально обвивает ручкой ее шею, пальцы вцепляются в мочку уха, он устраивается у нее на бедре, как будто всю жизнь там сидел. Она готова рассмеяться — только вчера *она сама* вот так прильнула к Танкамме. Они тихо стоят, двое полусирот. Духи повинуются команде дарителя жасмина и возвращаются в тень, уступающую место рассвету.

За свою короткую жизнь она видела храмовых слонов, которым поклонялись и подносили угощения, видела рабочих слонов, которые

медленно брели через деревню в лес на помощь лесорубам. Но это создание, закрывающее звезды, определенно было самым большим в мире слонем. Вид его медленно жующих челюстей, грациозный танец хобота, заталкивающего листья в усмехающуюся пасть, успокаивает ее.

С подветренной стороны от слона, сразу за земляной насыпью канавы, которую сооружают вокруг каждой кокосовой пальмы, чтобы вода и навоз не стекали наружу, на плетеной койке спит мужчина.

Локти и колени ее мужа торчат над деревянной рамой. В его позе, в изгибе могучей левой руки, на которой он лежит щекой, как на подушке, в пальцах, собранных в щепоть, она видит подобие их ночного жасминового гостя.

глава 4

Становление хозяйки

1900, Парамбиль

Стопам прохладно на земляном полу кухни. Стены потемнели от дыма и впитали в себя аппетитные запахи; в этом потаенном святилище она мгновенно почувствовала себя дома. Танкамма, наклонившись, дует в широкую металлическую трубку, щеки у нее надуваются шарами, пока она терпеливо возрождает погасшие за ночь угли в *адуппу*^[26]. Из шести кирпичных выемок в этом приподнятом очаге горшки стоят в четырех. Удивительно, как шустро для такой грузной женщины двигается Танкамма, руки так и мелькают, подбрасывая сухую кокосовую скорлупу под сковороду, где жарится лук, и приминая угли, чтобы рис булькал потише. Танкамма наливает невесте кофе, сваренный с молоком и подслащенный пальмовым сахаром.

— Я приготовила *нутту*^[27], — говорит она, вытряхивая из формы упругий белый цилиндр пропаренного клейкого риса прямо на банановый лист.

Для ДжоДжо она смешала рис с бананом и медом. А еще разогрела жареную говядину — *эрэки олартхийрту* — и огненное рыбное карри — *меен вевичатху*, — оставшиеся с вечера.

— Наутро рыба вкуснее, правда же? В этом прелесть глиняного горшка! Береги его и никогда не используй ни для чего другого, кроме меен вевичатху, хорошо? И с каждым годом твое карри будет становиться все вкуснее. Если в моем доме вдруг случится пожар и мне придется выбирать между мужем и глиняным горшком... ну что ж, буду утешаться тем, что старик прожил хорошую жизнь. А с карри, которое я буду готовить в своем горшке, вдоветь будет гораздо легче!

Танкамма хохочет во весь голос. Молодая жена, ошеломленная, сидит, скрестив ноги, и разглядывает свой первый завтрак в Парамбиле — очень обильный и такой сытный, что им с матерью хватило бы на неделю.

— Твой муж поел на бегу, как обычно. И уже ушел в поле.

Танкамма настаивает, что новобрачной не нужно ничего делать, кроме как позволить себя побаловать. Девочка пытается было возражать, но это не в ее привычках. Она следит за ловкими пальцами Танкаммы, стараясь углядеть, какие ингредиенты отправляются в карри, но это очень трудно, когда готовится одновременно не меньше двух блюд. Руки Танкаммы, должно быть, сами все помнят, потому что она совсем не обращает на них внимания, а только тараторит без умолку. ДжоДжо тащит девочку из кухни, ужасно гордый, что показывает ей дом, комнату за комнатой, совершенно позабыв, что буквально пару часов назад уже делал это. Дом построен буквой Г, одно крыло, оставшееся от старого, прежнего дома, приподнято над землей на высоком цоколе и сооружено вокруг кладовой, или *ара*, в которой хранится семейное богатство — деньги, драгоценности и рис. Под ара устроен погреб, а по сторонам от ара расположены неиспользуемая спальня и просторная кладовая, рядом с кладовой — кухня. Узкая внешняя веранда объединяет все помещения. Новая часть дома ближе к земле, с широкой гостеприимной верандой с трех сторон. В новой части есть гостиная, в которую редко заходят, и две смежные спальни — мужнина и та, где спят она, ДжоДжо и Танкамма, — и еще одна комната, которую используют как чулан.

Старое и новое крыло окружают четырехугольный муттам — двор, вымощенный желтой, золотистой и белой галькой, добытой со дна реки. Каждое утро женщина *пулайи*^[28], Сара, убирает с муттам опавшую листву и разравнивает гальку метлой, оставляющей веерообразный узор. Муттам — это место, где расстилают циновки, чтобы высушить ошпаренный рис, где на веревках сохнет одежда и где ДжоДжо пинает свой мяч.

После обеда молодая жена, ДжоДжо и Танкамма долго спят. А муж никогда не отдыхает, он почти все время работает в поле. Когда бы она ни взглянула в ту сторону, рядом с ним всегда несколько пулайар, среди которых он выделяется своим ростом и более светлой кожей. По вечерам Танкамма оставляет дела и переводит дух; они втроем садятся на ветерке на пороге кухне, и пожилая женщина рассказывает бесконечные истории, балуя их с ДжоДжо лакомствами из погреба. Задним числом она догадывается, что рассказы Танкаммы — это нечто вроде наставлений. Она пытается вспоминать их, ложась спать, но именно в это время тоска по дому терзает ее сердце и каждая мысль

обращается к родным местам. Забота и ласка Танкаммы так сильно напоминают о матери, что печаль становится лишь острее. Но она позволяет себе плакать, только когда уверена, что все уже спят.

На второе утро, когда в отдалении слышатся залиvistые крики торговли рыбой, Танкамма просит новобрачную позвать крикунью. Спустя пять минут женщина, источающая рыбный запах, уже на пороге кухни. Танкамма помогает ей снять с головы тяжелую корзину.

— *Аах*^[29], вот она, невеста! — восклицает торговка, отряхивая с рук чешую и усаживаясь на корточки. — Специально для нее я сегодня принесла особую *мáтхи*^[30]. — Она снимает дерюгу, прикрывающую корзину, словно демонстрируя драгоценные самоцветы.

Танкамма нюхает сардину, сжимает в руке, швыряет обратно в корзинку.

— Специально для невесты, говоришь? Ну и забирай ее, раз она такая особенная. А что это там под тряпкой? Аах! Ты погляди! А вот эта матхи для кого? Или была еще одна свадьба, о которой я не знаю? Давай сюда! И ни слова!

На следующий день невеста видит, как через муттам идет пулайан Самуэль, чуть приседая под тяжестью корзины, нагруженной кокосовыми орехами, которую он тащит на голове. Танкамма говорила, что он старший тут в Парамбиле и правая рука ее мужа; Сара, которая метет муттам, — его жена. Семья Самуэля работает на них уже несколько поколений, сказала Танкамма, его предки, наверное, в древности принадлежали их семье, еще до того, как это стало незаконным. Пулайар — низшая каста в Траванкоре, у них почти никогда нет собственного имущества, даже их хижины принадлежат хозяину земли; для брамина считается нечистым даже взгляд на них, потом нужно делать очистительное омовение.

Под весом корзины мышцы на шее и руках Самуэля натянуты как канаты, обвившие маленькое щуплое тело. Голая грудь напряженно вздымается, ребра как будто торчат уже над кожей; на теле у него почти нет волос, за исключением щетины на щеках и над верхней губой да еще на стриженной голове, с проседью на висках. На вид ему столько же лет, что и ее мужу, хотя Танкамма сказала, что он моложе.

Самуэль замечает ее, и широкая улыбка преобразует его лицо, скулы сияют, как отполированное эбеновое дерево, а белые ровные

зубы подчеркивают изящные черты. Есть что-то детское в его восторженности от встречи с юной женой.

— Аах! — радуется он — но для начала нужно разобраться с важным делом. — Муули, не позовешь чечи Танкамму? Корзина слишком тяжелая, ты не справишься.

Танкамма помогает ему опустить корзину, он стягивает обернутый вокруг головы *тхорт*^[31], встряхивает, вытирает лицо, не сводя глаз и сияющей улыбки с юной невесты.

— Сейчас еще принесут. Мы все утро лазали, *тамб'ран*^[32] и я. — Самуэль вытягивает руку, показывая, и она видит вдалеке мужа, сидящего со скрещенными руками верхом на стволе склонившейся пальмы, в том месте, где ствол вытягивается почти горизонтально. Ноги его небрежно свисают, и он словно глубоко задумался о чем-то. Это зрелище заставляет невольно вздрогнуть, пробуждая в ней страх высоты. Невероятно, что хозяин так рискует жизнью, когда есть пулайар для подобной работы.

— Ты зачем позволяешь тамб'рану забираться так высоко сразу после его свадьбы? — возмущается Танкамма. — Признавайся — если он лезет на пальму, тебе остается только половина работы.

— Аах, попробуй его останови. Он же прямо как маленький тамб'ран. — Самуэль поглаживает ДжоДжо по животу. — В небе счастливее, чем на земле.

ДжоДжо нравится, что его называют маленьким хозяином.

Голая грудь Самуэля усеяна крошками коры. Все еще улыбаясь жене тамб'рана, он старательно собирает складками свой голубой клетчатый тхорт и перекидывает через левое плечо. Она смущенно опускает глаза и замечает покалеченный большой палец на его правой ноге, расплющенный, как монета, и без ногтя.

— Аах, Самуэль, — говорит Танкамма. — Почисть нам, пожалуйста, три кокоса. А потом, когда умоешься, приходи поесть. Новая хозяйка тебе подаст.

У Самуэля есть собственная глиняная миска, висящая на крючке, под свесом крыши у задней двери в кухню, и там он и будет есть, прямо на ступенях. Пулайар никогда не входят в жилые комнаты. Сара, конечно, готовит ему дома, но трапеза у хозяина сберегает его собственные запасы риса. Сполоснув миску, Самуэль наполняет ее

водой и осушает до дна, потом садится на корточки на ступенях. Юная невеста подает ему *кандж́и* — жидкий рис с куском рыбы и маринованным лаймом.

— Ну как, тебе тут нравится? — спрашивает Самуэль, затолкав за щеку большой комок риса.

Она, стоя рядом, смущенно кивает. Палец рассеянно выводит ᑦᑎ , первую букву в слове *áна, слон*, и сама буква кажется ей похожей на слона.

— Когда я попал в Парамбиль, я был даже младше, чем ты. Совсем мальчишкой еще, — рассказывает Самуэль. — Здесь даже дома еще не было. Я боялся, что слоны затопчут нас во сне. Дом защищает. Секрет в крыше, ты знала? Почему, ты думаешь, дома всегда строят именно так?

На ее взгляд, крыша ничем не отличается от прочих. Только передний фронто́н — фасад дома с узором из резных отверстий, словно лицо, — у каждого жилища свой. А еще со всех сторон нависает соломенный карниз, как будто крыша намеревается проглотить жилище. Самуэль показывает пальцем:

— Когда стропила торчат вот так, нет плоской поверхности, на которую слон может навалиться. Или толкнуть.

Он прямо как ДжоДжо, гордо показывающий дом. Самуэль ей нравится.

— В самую первую ночь слон приходил поздороваться со мной, — доверчиво сообщает она тихим голосом.

— Неужели? Дамодаран! — Самуэль с улыбкой качает головой. — Этот парень приходит и уходит когда пожелает. Я уже засыпал, как вдруг почувствовал, что земля дрожит. Подумал, это точно он. Вышел — вижу, на нем сидит Унни, ворчит, потому что Дамо решил сбежать с лесной делянки, когда уже стемнело. Аах, но Унни особо не на что жаловаться. Когда Дамо здесь, Унни получает выходной и ночует дома с женой. А тамб'ран спит рядом с Дамо. Они разговаривают.

Содержать слона дорого, слышала она. Нужно не только платить Унни, погонщику, но еще и за прокорм Дамо.

— А Дамодаран принадлежит нам?

— Нам? Разве солнце принадлежит нам? — Самуэль, как учитель, ждет, пока она помотает головой. — Аах аах, вот как и солнце, Дамодаран сам себе хозяин. Я дразню Унни, что на самом деле это Дамо погонщик, хотя он и позволяет Унни сидеть у себя на спине и

делать вид, будто правит. Тебе никто не рассказывал про Дамо? Аах, тогда Самуэль расскажет. Давным-давно, когда этого дома еще не было, тамб'ран и мой отец спали на улице и слышали жуткие крики. Трубный рев слона. Земля задрожала! Треск ломающихся деревьев был подобен грому. Мой отец подумал, что настал конец света. А на рассвете они обнаружили рядом молодого Дамодарана, бедняга лежал на боку, весь в крови, одного глаза не доставало, а между ребер у него торчал сломанный бивень. Слон-самец, который напал на него, должно быть, взбесился. Тамб'ран обвязал обломок бивня веревкой и, отойдя подальше, вытащил его. Видела этот бивень? Он висит в комнате тамб'рана. Дамодаран ревел от боли. Из раны пузырями вытекала кровь. Тамб'ран — какой же он храбрец — забрался на Дамо и запечатал рану листьями и глиной. Он лил воду в пасть Дамодарану, глоток за глотком, сидел рядом с ним, разговаривал весь день и всю ночь. Он сказал Дамодарану больше слов, чем говорил кому-нибудь из людей за всю свою жизнь, рассказывал мой отец. И через три дня Дамодаран встал. А через неделю ушел.

А еще через несколько дней тамб'ран и мой отец срубили громадное тиковое дерево и пытались вытащить его на поляну. Из лесу вышел Дамодаран и подтолкнул ствол, взял и сделал. Слоны любят работать. И он так ловко научился управляться с бревнами. Сейчас он работает на тиковой делянке с лесорубами, но только когда у него есть настроение. А когда хочет, возвращается сюда. Он приходил посмотреть на новую жену тамб'рана. Так я думаю.

Под руководством Танкаммы она медленно и постепенно входит в ритм жизни Парамбиля. С каждым прошедшим днем чувствует, как дом, оставленный ею, растворяется в прошлом, и тогда тоска становится еще болезненнее. Она не хочет забывать. После завтрака Танкамма говорит:

— Сегодня я собиралась приготовить халву из джекфрута, а ты мне поможешь, муули. Потому что мы с ДжоДжо по ней жутко соскучились!

ДжоДжо радостно хлопает в ладоши.

— Муули, жизни придают сладость только две вещи: любовь и сахар. Если первого у тебя недостаточно, добавь побольше второго! — Танкамма уже сварила порезанный на кусочки джекфрут и теперь

разминает его с растопленным пальмовым сахаром. — Тут есть секрет: пока разминаешь джекфрут, закрой глаза и думай, чего бы тебе хотелось от твоего мужа. — Танкамма старательно зажмуривается, морщась от напряжения и демонстрируя дырку между передними зубами. — Теперь щепотку кардамона, соли, чайную ложку гхи. Готово! А теперь все должно остыть. Попробуй. Правда же, чудесно? — И шепотом продолжает: — Я серьезно, муули. Это ключ к счастливому браку. Загадай желание, а потом накорми мужа халвой. И все, что пожелаешь, сбудется!

Гордость за то, что она сумела войти в ритм местной жизни, что сама сумела приготовить несколько блюд под бдительным присмотром Танкаммы, перечеркивалась знанием, что Танкамма скоро уедет. Когда Танкамма бурно расхваливает ее карри из цыпленка, она лучится от гордости, но в следующий момент уже припадает к Танкамме, зарывшись лицом в пухлое плечо и скрывая слезы. *Пожалуйста, останься! Не уезжай!* Но она уже слишком сильно полюбила Танкамму, чтобы произнести это вслух. У Танкаммы есть собственный дом, там ее ждет муж. Она бормочет:

— Я никогда не забуду вашу доброту. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас?

— Аах, когда у тебя появится невестка, обращайся с ней, как с драгоценностью. Вот так и отблаговаришь меня.

За день до своего отъезда Танкамма выходит из кухни и устремляет взгляд на солнце, прямо над головой.

— Муули, отрежь банановый лист и упакуй обед для своего мужа. Пускай попробует твой *т'оран*^[33] из бобов и еще матхи, которые мы пожарили. Положи побольше риса. Он наверняка где-то в поле с Самуэлем, земли свои осматривает. Видишь вон ту высокую пальму? Он где-то там должен быть.

Молодая жена послушно выкладывает еду на банановый лист, заворачивает, крепко перевязывает бечевкой, берет маленький медный кувшин с *дж'ира* — водой, вскипяченной с зернами кумина, — и отправляется в путь. Ее переполняет тревога перед скорым неминуемым отъездом Танкаммы. Утром она обнаружила, что в Парамбиле нет ни бумаги, ни ручки. Надежды записать хоть

несколько рецептов Танкаммы обратились в прах. Что, если она их забудет?

Вдоль тропинки растет высокая трава, достигающая ей до плеч; Танкамма рассказывала, что некогда трава росла здесь так густо, что ни Бог, ни свет не могли проникнуть в заросли, которые кишели скорпионами, кобрами, громадными крысами и ядовитыми многоножками.

— Каким сумасшедшим должен быть индус или христианин, чтобы поселиться здесь? — говорила Танкамма. — Твой муж пришел сюда, после того как наш старший брат обманом выгнал его из родительского дома, заставив поставить отпечаток пальца на клочке бумаги.

Отец Самуэля, пулайан Йоханнан, пришел вместе с ним, считая своим долгом служить законному наследнику; потом Йоханнан забрал сюда жену и сына. Двое мужчин построили хижину.

— Можешь себе представить, как мой брат спит под одной крышей со своими пулайар? Ест вместе с ними? Когда оказываешься в аду, все кастовые барьеры рушатся, верно? Только силы небесные сохранили им жизнь. В первую же неделю тигр утащил их единственную козу. Дни, когда их не трясла лихорадка, по пальцам можно было пересчитать. Но они копали канавы, осушали болота, вырубали кустарники и расчищали землю. Муули, я рассказываю это тебе не только потому, что я горжусь своим младшим братом, но чтобы ты знала, что он не такой, как другие. Йоханнан был ему как отец. И точно так же сын Йоханнана, Самуэль, до конца дней будет рядом с тобой и твоей семьей.

Танкамма рассказала, как брат уговорил искусных индусов-ремесленников, тачана и кузнеца, переехать сюда, предложив им расчищенные участки у реки и заверив, что хижины пулайар будут ниже по течению, чтобы мастера не жаловались на ритуальную нечистоту. Потом сюда переселились гончар, ювелир и каменщик. После того как его дом был готов, муж раздал участки по одному-два акра множеству своих родственников. Если эти родственники возделывали землю и продавали урожай, они могли, если захотят, купить у него еще земли.

— Понимаешь, о чем я, муули? Он раздавал землю! Они могли передать участок своим детям. Он хотел, чтобы это место процветало. И он еще не закончил свой труд. Кто знает, может, в следующий раз,

когда я приеду в гости, здесь будет проложена широкая дорога, появятся магазины, школа...

— Церковь? — предполагает она, но на это Танкамма ничего не отвечает.

Муж смотрел вверх, на высокое дерево, голая грудь его усеяна кусочками коры, крепкий *веттукáти*^[34] свисает с пояса, сзади заткнут топорик. Он удивленно оглядывается на жену. Принимает еду из ее рук.

— Ох уж эта Танкамма! — Улыбка слышна в голосе, но на лице не заметна.

Муж садится, приваливается к стволу дерева, но сначала расстилает свой тхорт, чтобы села жена. Ест он жадно. Она не произносит ни слова. С изумлением понимая, что он смущен не меньше нее.

Закончив, он поднимается и говорит:

— Я провожу тебя.

Она слышит крики и смех. По левую руку от них вдалеке через ручей переброшено бревно, которого она раньше не замечала. На другом берегу на поляне стоит камень для поклажи. Эти нехитрые сооружения торчат, как доисторические памятники, вдоль протоптанных тропинок, позволяя путнику сдвинуть ношу с головы на горизонтальную плоскую плиту и перевести дух. Она видит, как молодой парень толкает и раскачивает поперечную балку, а двое приятелей подначивают его. У всех троих на лбу полоски, нанесенные сандаловой пастой. Тот, что качает камень, крепко сложен, голова его обрита налысо, за исключением пучка волос спереди. Горизонтальная плита падает с опор и грохается о землю, поднимая облако красной пыли. Физиономия вредителя сияет гордостью и восторгом.

Она представляет, как Самуэль возвращается с мельницы с тяжелым мешком рисовой муки на голове, предвкушая, как доберется до камня, где не нужно будет даже наклоняться, чтобы опустить поклажу на плиту. И как ему придется идти дальше без отдыха или опустить мешок на землю и дожидаться, пока кто-нибудь не поможет поднять его и вскинуть обратно на голову. В краю, где почти все грузы переносят таким манером, где дороги постоянно размывает или они слишком изрыты и непроходимы для повозок, где надежны и

постоянны только пешеходные тропы, такие площадки для отдыха настоящее благословение.

Парни замечают их и замолкают. На вид они сытые и гладкие, из тех, кому никогда не приходилось носить тяжести, кому не нужны камни для поклажи. Судя по одежде и внешности, они из *наиров*. Большая семья наиров живет у западной границы Парамбиля. Наиры — каста воинов, многие поколения махараджей Траванкора нанимали их для защиты от вражеских набегов. Друг ее отца, наир, даже выглядел соответствующе, щеголяя свирепыми усами, под стать могучей фигуре. Под властью британцев махарадже больше не нужна была защита, и армия наиров ему тоже больше не требовалась. Говинд-наир был очень огорчен. «Как он может называть себя правителем Траванкора? Он же марионетка, которая отдает наши налоги англичанам. Британцы „защищают“ его — от чего? Когда враг уже внутри стен?»

Муж приподнимает *мунду*^[35], открывая колени, решительно шагает к бревну-мосткам, однако переходит ручей очень осторожно. Молодежь хихикает, но тут же унимается, когда этот пожилой самец-слон приближается к ним. У нее все сжимается в животе. К ее изумлению, муж, не обращая внимания на юнцов, наклоняется к упавшему камню.

— Что ж, у тебя хватило сил сбросить его. А хватит сил поставить на место?

— А может, ты сам? — задиристо отвечает парень, хотя голос его подрагивает.

Муж просовывает пальцы под край упавшей балки, поднимает ее сначала до пояса, а потом делает шаг, устанавливая вертикально. Затем, найдя центр тяжести, опускает камень на плечо, тот ложится, слегка покачиваясь. Напряженные бедра его подобны стволам дерева, а мышцы на шее как толстые канаты, когда он укладывает на вертикальные опоры сначала один, а потом и другой конец каменной балки. Он прислоняется к плите, переводя дыхание. И внезапным толчком вновь сбрасывает ее с опор. Камень падает на землю и катится на юнцов, заставляя их испуганно отпрыгнуть. Приподняв бровь, он призывно смотрит на высокого юношу. *Твой черед.*

Неестественная тишина повисает над поляной, словно вода застыла в воздухе. Наконец муж кричит ей через ручей:

— Они только одеты как мужчины. Мы с отцом этого мальчишки поставили здесь этот камень еще до его рождения. Сейчас в своем преклонном возрасте Куттаппан-наир вынужден будет прибираться за своим придурковатым потомством, но он-то поднимет этот камень, как зубочистку.

Муж поворачивается спиной к парням и удаляется.

Пучок волос падает вперед, когда юнец наклоняется и пытается поднять камень, он морщится, вены на лбу вздуваются, как змеи. Когда ему удастся поставить плиту вертикально, мышцы отказывают, и друзья бросаются на помощь, чтобы растяпу не задавило. Камень удаётся наконец взгромоздить на плечо, но тот дико раскачивается. С трудом парни все же опускают плиту на опоры, но выглядят они уже довольно потрепанно, все в синяках и царапинах, а у высокого кровь течет по плечу. Ее муж ничего этого не видит, он идет к ней, и лицо его искажено гневом, вселяющим в нее ужас. Коротким кивком он выражает благодарность за обед и одновременно необходимость возвращаться к работе. Она стремглав мчится домой.

Увидев ее лицо, Танкамма тут же усаживает ее рядом.

— Этим парням повезло, что он сдержался, — говорит Танкамма, выслушав, что произошло.

Слова не очень успокаивают, и чашка с водой дрожит в руках новобрачной.

— Муули, не тревожься. Он никогда не гневается без причины. И никогда не разозлится на тебя. Он никогда тебя не обидит. — Танкамма приобнимает ее. — Я понимаю, все здесь для тебя внове, все пугает. Когда я вышла замуж, нам с моим мужем было по десять лет. Он был гадким мелким паршивцем. Мы не обращали внимания друг на друга. Мы были просто детьми в большом доме, и нас таких там было много. И все мальчишки были противными. Однажды я увидела, как он сидит на бревне и смотрит на реку. Я подкралась и толкнула его прямо в воду! — Смеялась Танкамма так заразительно, что молодая жена тоже невольно улыбнулась. — Он до сих пор мне напоминает тот день! Да, мы друг друга терпеть не могли. Но видишь, все меняется. Не волнуйся. — Танкамма пристально смотрит на нее и добавляет: — Я хочу сказать, что мой брат, он как кокосовый орех. Твердый он только

снаружи. Ты его жена, и он заботится о тебе, как заботится о тебе Танкамма. Понимаешь?

Она старается понимать. Танкамма, которая никогда не лезет за словом в карман, кажется, чувствует себя неловко, сказав так много.

— Тебе не нужно ничего делать. Не волнуйся. Все откроется в свое время.

глава 5

Домоводство

1900, Парамбиль

После отъезда Танкаммы в доме воцаряется такая тишина, словно он очутился под водой, сквозь которую почти не проникает свет. ДжоДжо, растерянный и печальный, не выпускает мачеху из поля зрения, даже во сне его маленькие пальчики цепляются за ее волосы. В первую их ночь в одиночестве она не сомкнула глаз — не из-за храпа мужа, доносившегося из соседней спальни, но потому что еще никогда в жизни не спала без взрослых рядом. Его храп, пускай издали, все же успокаивал; временами храп прерывается кашлем, а следом недовольным хриплым ворчанием, словно кто-то толкнул дремлющего тигра. Во сне муж разговаривает, произнося больше слов, чем она слышала от него за все время здесь. Глядя, как муж дурачится с Дамодараном, который исчез так же таинственно, как появился, она понимает, что в нем много детской доверчивости и ребячливости. Но по-прежнему осмеливается заговорить с супругом, только чтобы сообщить, что ужин готов.

Несколько раз за день приходит Самуэль, спросить, не нужно ли ей чего, и бывает огорчен, если ничего не нужно. Она тронута его заботой.

— Самуэль, мне кое-что нужно.

— Оох-аах, все что угодно!

— Бумага, конверт и ручка, чтобы написать матери.

Нетерпеливая улыбка на его лице гаснет.

— Аах. — Он определенно раньше не имел дела ни с чем подобным. Но вновь удивляет ее, когда возвращается с рынка, гордо извлекая из мешка на голове конверты, бумагу и перо.

Моя дорогая *Аммáчи*^[36],

Пускай это письмо застанет тебя в добром здравии. Все это время Танкамма была со мной. Я справляюсь. Я научилась готовить некоторые блюда.

Вскоре после смерти отца мать утратила доступ на кухню; она сетовала, что до свадьбы так и не научила дочь готовить.

Сейчас остались только я и ДжоДжо. Он как моя тень. Без него, наверное, я бы гораздо больше скучала по тебе. Трудно с ним бывает, только когда я хочу его искупать.

В первый раз, когда она попыталась искупать мальчика, ДжоДжо начал драться. Но она все равно полила его водой сверху, и тут он побледнел, веки его задрожали, как крылышки мотылька, а глазные яблоки закатились. Она перепугалась, решив, что малыш сейчас забьется в припадке. И с тех пор больше никогда не лила воду прямо на голову, пользуясь влажной тряпкой, чтобы вымыть ему лицо и волосы. Но все равно это ежедневная битва. Сейчас она понимает, что между людьми Парамбиля и водами Траванкора идет война. Но не станет посвящать в это свою бедную мать. Может, мама уже и так знает?

Как бы мне стать хорошей хозяйкой, госпожой этого дома?

Жаль, что нельзя стереть последнее предложение, ведь ее мать больше не хозяйка и не госпожа дома. Машины мытарства в общем семейном доме начались вскоре после того, как она овдовела, отношение ее зятьев и невесток сразу изменилось. Теперь мама спит на веранде, ее обижают и обращаются с ней как с прислугой. Меж тем у ее дочери в Парамбиле ни в чем нет нужды; ара ломится от зерна, а в сундуке не переводятся монеты.

Когда молюсь вечером, я говорю себе: «Моя Аммачи тоже сейчас молится». Так я чувствую, что мы рядом. Я очень сильно скучаю по тебе, но плачу только по ночам, когда ДжоДжо не видит. Жалко, что я не захватила с собой Библию. Здесь ее нет. Я понимаю, что Парамбиль далеко, но прошу тебя, Аммачи, приезжай ко мне. Хоть на несколько дней. Мой муж не любит путешествовать на лодке. Если ты не можешь, тогда я попробую приехать. Мне придется взять с собой ДжоДжо...

Она представляет, как мама читает письмо и слезы оставляют пятна на странице, так же как сейчас и ее собственные слезы. Воображает, как мама складывает письмо и прячет под подушку, а потом хранит в узле вместе с остальными немногочисленными пожитками. А потом в ее фантазиях возникает рука — рука тетки, — которая роется в узле с вещами, пока мама купается. И потому она не спрашивает в письме, лучше ли питается сейчас мама, раз уж одним ртом стало меньше. В глубине души ей *хочется*, чтобы любопытные глаза прочли эти слова и в сердце своем осознали творящуюся несправедливость. Но маме от этого станет только хуже.

Ответ приходит через три недели — с аччаном, который совершал их брак и который каждые две недели ездит в управление диоцеза^[37] в Коттайам; там он отправляет и забирает письма, если они есть. Домой в Парамбиль почту приносит мальчишка. В своем письме мать осыпает ее любовью и поцелуями и говорит, как она гордится, представляя свою дочь в роли хозяйки дома благодаря наставлениям Танкаммы. В конце письма мать непривычно строго отговаривает ее от приезда в гости, никак не объясняя. И не отвечает на страстные призывы дочери навестить Парамбиль. Письмо поселяет в ней еще большую тревогу о матери.

Наставления Танкаммы разлетаются и путаются в голове, как распущенные косы. *На нижнем ярусе банановой грозди всегда четное число плодов, а над ним — нечетное.* Если кто-то попытается стянуть хоть один банан, Танкамма сразу узнает; чтобы скрыть преступление, придется оторвать по банану из каждого ряда, а это непременно обнаружится. Но, с другой стороны, а кому бы воровать? *Будь бдительна* — должно быть, в этом урок Танкаммы. Хотя этим утром она рассеянна. Не обращает внимания на настойчивое квохтанье пестрой курицы, на ее назойливые набегивания в кухню, шугает ее прочь.

— Она собирается отложить яйцо, Аммачи! — сообщает ДжоДжо.

Неужели ДжоДжо назвал ее «Аммачи»? *Мамочка?* Грудь раздувается от гордости. Она обнимает мальчика.

— Что бы я без тебя делала, малыш?

Она подхватывает курицу и усаживает ее в мешок в чулане, потом накрывает ее перевернутой корзинкой. Курица возмущенно кудахчет из темноты.

— Прости. Я послушаю, когда ты закончишь, обещаю.

Гости бывают редко. Ей одиноко. Она грезит, как мать медленно идет от причала, неожиданно приехав навестить их; она так часто вызывает в воображении эту сцену, что начинает поглядывать в сторону реки по нескольку раз за день.

Но единственные гости, которых она встречала, это Джорджи и Долли из ближайшего к Парамбилю домишки с южной стороны. Они приходили к Танкамме, но только один раз. Джорджи — сын брата ее мужа, того самого, что лишил родных законного наследства. Их дом стоит на клочке земли в два акра, который ее муж выделил племяннику, потому что отец Джорджи в конце концов умер в нищете, оставив Джорджи и его брату только долги. *Коччамма*^[38] Долли ей сразу понравилась. (Поскольку Долли старше по крайней мере лет на пять, она обращается к ней «коччамма».) Долли — спокойная тихая женщина со светлой кожей и глазами лани; она не слишком разговорчива, а на лице ее выражение поистине ангельского терпения. Джорджи — живой, компанейский, удививший молодую хозяйку Парамбиля тем, что с радостью толчется в уютной кухне вместе с женщинами, чего ее муж никогда не делает. Интересно, почему ее муж благородно спас племянника, но почти не общается с ним. Самуэль говорит, что Джорджи не земледелец, не такой, как тамб'ран, но если брать ее мужа за образец, то с ним никто не сравнится. А может, Джорджи чувствует, что недостойн такого подарка от дяди.

ДжоДжо никогда не выпускает из виду свою «Аммачи», за исключением времени, когда та идет к ручью мыться или отправляется к реке поплескаться около причала, — она любит это занятие. ДжоДжо нетерпеливо ждет ее возвращения дома. Для самого ДжоДжо «купание» в любой форме остается полем ежедневного сражения. Она любит свой маленький бассейн, где ручей расширяется, образуя озерцо, и вода там настолько спокойна и прозрачна, что видно, как резвятся маленькие рыбешки, хотя там глубоко, она едва достает кончиками пальцев до дна. А на берегу в тени рамбутана, чьи мохнатые красные плоды свисают праздничными украшениями, примостилась покатая плита для стирки.

В Парамбиле невиданный урожай манго. Самуэль-пулайан и его помощники приносят корзину за корзиной, и в прихожей перед кухней образуется целая гора. Даже после того, как раздавали мешками — пулайар, мастерам, родственникам, — все равно остается слишком много. Сладкий мясистый сорт, с оттенками желтого, оранжевого и розового, наполняет кухню фруктовым ароматом. Подбородок ДжоДжо воспалился и покраснел от постоянно капающего на него сока. Она измельчает фрукты, сколько хватает сил, на джемы и сиропы. Из оставшейся мякоти делает *тэра* — мармелад из манго. Сначала варит мякоть с сахаром и поджаренной рисовой мукой. Потом раскладывает массу по плетеной циновке, длиной и шириной с целую дверь, и выставляет на солнце. Обязанность ДжоДжо — отгонять птиц и насекомых. Когда мякоть подсыхает, она добавляет еще слой, и еще, дожидаясь, пока высохнет предыдущий, пока пласт не станет толщиной в дюйм и можно разрезать его на тонкие полоски и свернуть. Она с трепетом наблюдала, как муж брал с собой рулончик *тера* после завтрака и обеда, чтобы пожевать во время работы.

Чтобы позабавить ДжоДжо, она разрезает незрелый манго, раскрывая его, как цветок лотоса, — прием, которому ее научила мать, — и посыпает его солью и порошком чили. ДжоДжо подъедает кисло-острое лакомство, а потом прыгает вокруг, шумно втягивая воздух через поджатые губы, рот его горит, но он просит еще.

Ара — центральное помещение без окон в старой части дома, сооруженное как крепость. Дверь, вырезанная из цельного куска дерева, в три раза толще обычных дверей и заперта на громадный замок, ключ от которого хранится у нее. Порог такой высокий (чтобы не высыпался хранящийся там рис), что ей приходится перелезть через него, хотя муж просто перешагивает. Внутри ноги тонут в зерне, достигающем до колен. Она отпирает ара по меньшей мере раз в неделю — достать деньги из сундука — и чуть реже, чтобы взять немного риса или, наоборот, положить его туда. Из смежной нежилой спальни маленькая лесенка ведет в темный, затхлый погреб, где в высоких фарфоровых горшках она хранит свои заготовки. Сквозь вентиляционную решетку, вырезанную в дереве, пробиваются еле заметные лучики света. В каждом доме есть свои призраки, комнатные и дворовые, и с теми, что живут в Парамбиле, она все еще не знакома. С тем, кто поселился в погребе, она решается заговорить, потому что у

нее есть причины подозревать, что он жуткий сладкоежка. Она чувствует, что призрак прячется в углу, за паутиной, — нежный, печальный и, кажется, напуганный дух; он больше опасается ее, чем она его. «Бери все что захочешь. Я не против, только потом плотно закрывай крышку», — говорит она, храбро стоя прямо перед ним. Она собиралась добавить: *«Пожалуйста, не надо меня пугать»*, но тут донесся требовательный голосок ДжоДжо:

— Аммачи? Ты где? Когда играешь в прятки, ты должна прятаться так, чтобы я тебя видел, иначе нечестно!

Она невольно хихикает. Внезапное движение воздуха в спертый духоте погреба говорит ей, что призрак тоже смеется. И только выбравшись наверх, она задумывается, а не может ли этот дух быть духом покойной матери ДжоДжо.

Когда приходит муссон и разверзаются небеса, ее охватывает безудержный восторг. В отцовском доме они с двоюродной сестрой умащали маслом волосы и выскакивали под ливень, прихватив мыло и кокосовые скребки, наслаждаясь божественным водопадом. Они ждали муссона, как ждут Рождества; это время очищения души и тела. Вода смывает пыль и засохшие хитиновые чешуйки насекомых, налипшие на стебли, оставляя сияющие чистотой листья. Без муссона эта земля, чье знамя — зелень и чья монета — вода, прекратила бы существование. Когда люди ворчат про наводнения, про обострения подагры и ревматизма, они делают это с улыбкой.

Дождь никогда никого не останавливает. Ее зонтик превращается в нимб, сопровождающий ее повсюду вне дома, а босые ноги радостно чавкают по лужам. Самуэль мастерит шляпу из пальмовой коры, защищая голову от воды. Но мужа дождь почему-то удерживает в заточении дома, и это ставит ее в тупик. Ей не хватает смелости разузнать, в чем тут дело. Она постепенно привыкает, что он часами, а порой и весь день напролет сидит на веранде, словно притихший наказанный ребенок, сердито глядя на тучи, словно может убедить их сменить курс. Компанию ему составляет ДжоДжо, потому что ДжоДжо ведет себя точно так же. Однажды внезапный дождевой шквал застал мужа врасплох, когда он без зонтика подходил к дому; при первых каплях он зашатался, ноги его подкосились, и он еле доковылял до укрытия, словно с неба падали камни, а не вода. А еще как-то вечером

она видит, как он сидит возле колодца, намыливает поочередно маленькие участки тела и смывает пену. Он не замечает ее, она хочет убежать, но вид его тела завораживает. Она в смятении, так много чувств одновременно: неловкость, что подглядывает за ним; с трудом сдерживаемое веселье; смущение, как будто это она голая, и восхищение видом мужа, полностью обнаженного. Никогда еще он не казался таким могучим и грозным, пускай и выглядит в этом частичном купании совсем по-детски. В его скупом омовении есть и привычная непринужденность, и даже изящество, но вот чего точно нет в его движениях, так это удовольствия.

Каждое утро, когда она раздувает угли в очаге, кухня приветствует ее, как сестру, от которой нет секретов, и она счастлива. Она пришла к выводу, что причиной тому благожелательное присутствие матери ДжоДжо. Погреб, наверное, и любимое убежище духа, и место, где невидимое подступает так близко, что может обретать физические формы, но дух прилетает и сюда, влекомый потрескиванием дров в очаге или голосом ее ребенка, болтающего с новой Аммачи. Иначе с чего бы блюда, которые готовит молодая жена, становились вкуснее, чем она смела рассчитывать, ведь все рецепты Танкаммы спутались и превратились в кашу в ее голове? Не в одних же старых глиняных горшках дело. Нет, это ей награда за то, что с любовью заботится о ДжоДжо. Она чувствует себя единым целым с этим домом и чувствует, что все делает правильно.

глава 6

Супруги

1903, Парамбиль

За три года, что прошли с ее приезда, она превратила крытый переход перед кухней в свое личное пространство, у нее здесь стоит веревочная койка, где они с ДжоДжо спят после обеда и где она учит грамоте пятилетнего малыша. Ей удобно отсюда присматривать и за горшками на огне, и за рисом, который сушится на циновках в муттаме. Пока ДжоДжо спит, она сидит рядом на кровати, перечитывая единственное в доме печатное произведение — старый номер «Манорамы». Она не может заставить себя выбросить газету. Тогда вообще ничего не останется, ни единого слова, на котором можно отдохнуть глазу. Ей надоело бранить себя, что не захватила в Парамбиль Библию, и она обратила раздражение на мать ДжоДжо. Для христианского дома просто немислимо не иметь Слова Божьего.

ДжоДжо начинает ворочаться, как раз когда она замечает Самуэля, возвращающегося с рынка с покупками, с большим мешком на голове. Он опускается на корточки рядом с ней, опустошает мешок и аккуратно складывает его.

Самуэль вытирает лицо тхортом, взгляд его падает на газету.

— Что пишут? — интересуется он, собирая тхорт в складки и расправляя на плече.

— Ты что думаешь, с тех пор как я читала ее тебе в прошлый раз, Самуэль, в газету просочились какие-то новости?

— Аах, аах, — вздыхает он. Седеющие брови нависают над глазами, которые совсем как у ребенка, не могут скрыть разочарования.

На следующей неделе, когда Самуэль возвращается из магазина и вынимает покупки, он, в своей обычной манере, перечисляет:

— Спички. Второе — кокосовое масло. Третье — горькая тыква. Чеснок, четвертое. «Малаяла Манорама». — И кладет газету, как будто это очередной овощ. И не скрывает удовольствия, когда она хватает

газету и, ликуя, прижимает к груди. — Будет каждую неделю, — сообщает он, гордясь, что сумел порадовать хозяйку.

Она знает, что только муж мог отдать такое распоряжение.

Позже тем же утром она замечает мужа неподалеку от дома, но в десяти футах над землей; он сидит в развилке *плаву*, хлебного дерева, прижавшись спиной к стволу, с зубочисткой в углу рта, ноги его вытянуты вдоль ветки. Ей хочется взмахнуть газетой, показать мужу, как она благодарна. Она до сих пор удивляется, что он предпочитает эти высокие насесты, вместо того чтобы точно так же вытянуть ноги в своем длинном чару касера — его персональное кресло поражало размерами, потому что было сделано по его мерке, но оно все равно стояло на веранде незанятым. Она внимательно разглядывает мужа снизу, в профиль он красивый, решает она. Пулайан, которого ей не видно, снизу говорит что-то, заставляющее мужа вынуть зубочистку и улыбнуться, демонстрируя ровные крепкие зубы. *Тебе нужно улыбаться почаще*, думает она. Муж зевает, потягивается, устраивается поудобнее, и в животе у нее холодеет. Падение даже с такой высоты стало бы сокрушительным. Всякий раз, замечая его высоко на каком-нибудь дереве, где он кажется всего лишь странной шишкой на гладком стволе, она не может спокойно смотреть. Самуэль говорит, что с такой выгодной позиции он изучает свою землю, планирует, в каком направлении прокладывать каналы, где распахивать новые поля.

Вечерами, подав ужин мужу, она читает ему вслух «Манораму», пока он ест. Сам он никогда не берет газету в руки. Газета скрашивает ее дни, но не избавляет от глубочайшего одиночества, в котором ей совестно признаться. Танкамма, которая обещала вернуться, пишет, что ее муж заболел и прикован к постели, так что ей пришлось отложить поездку на неопределенное время. А что касается мамы, миновали уже три муссона, а они с ней так и не виделись! Мама не велит ей приезжать. Даже если бы она и хотела, молодая женщина не должна путешествовать одна. ДжоДжо, который висит на ней, как браслет, даже близко не подойдет к причалу, не говоря уж о том, чтобы залезть в лодку. И, как она подозревает, ее муж тоже.

Закончив обычные вечерние молитвы, она беседует с Господом. «Я так рада, что есть газета. Муж заботится о моих потребностях, это видно. Может, мне следует упомянуть и о других нуждах? Нет, я не

жалуюсь, но если это христианский дом, почему мы не ходим в церковь? Я знаю, Ты это уже слышал раньше. Если бы мама могла приехать, я бы Тебя не беспокоила. Такие вещи я могла бы обсудить с ней».

Возможно, в ответ на ее неустанные молитвы, после долгих месяцев молчания наконец приходит письмо от матери. Самуэль по пути на мельницу заходит в церковь и на этот раз возвращается, взволнованно держа письмо обеими руками, потому что знает, какая это ценность; его восторг почти сравним с ее радостью.

Моя дорогая доченька, сокровище мое, как же мне согревают сердце твои письма. Ты не представляешь, сколько раз я целую их. Твоя сестра Биджи выходит замуж. Я каждый день хожу в церковь. Навещаю могилу твоего отца и молюсь о тебе. Лучшие воспоминания моей жизни связаны с ним и с тобой. Я хочу сказать, пожалуйста, дорожи каждым днем, проведенным в браке. Быть женой, заботиться о муже, растить детей — что может быть ценнее этого? Вспоминай меня в своих молитвах.

В последующие дни она то и дело достает мамино письмо, всякий раз целуя его, как святыню. И сколько бы раз она его ни перечитывала, тревога не становится меньше. Она не желает смириться с правилами этой жизни: выходя замуж, женщина навеки оставляет дом своего детства, а судьба вдовы — навеки оставаться в доме, куда она вышла замуж.

Календарь на стене — вкладыш из газеты — похож на математическую таблицу и астрономическую карту. Каждый день он показывает фазы луны, время, неблагоприятное для начала путешествия. А сейчас календарь сообщает, что начинается пост, пятидесятидневный период воздержания, ведущий к Страстной пятнице. Она откажется от мяса, рыбы, молока, а в первый день вообще не съест ни крошки пищи.

Когда вечером муж садится ужинать, она кладет на стол свежий банановый лист и ставит воду с кумином — джира. Он разглаживает лист. Она готовится произнести слова, которые репетировала. Но едва открывает рот, чтобы заговорить, муж ударом кулака раздавливает

стебель листа, расправляя — *Трах! Трах!* — и пугая ее. Он выплескивает чай-джира на зеленую сверкающую поверхность, смахивает остатки в сторону муттама. Момент упущен. Она тихо подает рис, чатни, йогурт... потом подходит с мясом — проверить, откажется ли он в первый день поста. Но нет, он жадно ест. С чего она решила, что в этом году будет иначе, чем все предыдущие годы?

В дни, которые следуют за первым, ни мясо, ни рыба не касаются ее уст; она тоскует по обществу домочадцев, которые постятся вместе, но одиночество только укрепляет ее решимость.

— Тебе нужно больше есть, — говорит Самуэль примерно в середине поста. — Ты слишком исхудала. — Самуэлю не пристало так говорить, это дерзость с его стороны. — Это тамб'ран говорит. Он беспокоится.

Молодая жена чувствует себя, как люди, объявившие голодовку, про которых написано в газете, как они устроились лагерем около здания Правительства — умалиться, дабы стать заметными.

— Если тамб'ран так думает, он мог и сам мне сказать.

Тем вечером она откладывает молитвы и возится с разными другими делами. В конце концов, уже готовясь засыпать, она покрывает голову и становится лицом к распятию на восточной стене спальни, поскольку, согласно традиции, Мессия придет в Иерусалим с востока. Ни молитвы, ни слова благодарности не рождаются в сердце. Неужели Господь не чувствует ее разочарования? Наконец она произносит: «Господи, я не буду больше просить. Ты видишь препятствия на моем пути. Если Ты хочешь, чтобы я осталась в церкви, Ты должен помочь. Вот все, что я могу сказать. Аминь».

Танкамма говорила, что если хочешь получить что-то от мужа, секрет прост — надо загадать желание, пока готовишь халву. Но путь открывает не халва, а ее *эрэки олартхийрту*^[39]. Она начинает готовить блюдо утром: обжаривает и потом растирает в ступке кориандр, семена фенхеля, перец, гвоздику, кардамон, корицу и звездочки аниса и втирает эту сухую смесь в кусочки баранины, чтобы замариновать. Днем она обжаривает лук со свежим натертым кокосом, зернами горчицы, имбирем, чесноком, зеленым чили, куркумой и листьями карри, добавляет еще немножко сухих специй, а потом мясо. Она гасит огонь, чтобы только угли тлели, не закрывает горшок, чтобы соус загустел и

каждый кусочек мяса обволокло плотной темной подливкой. Вечером, отправив ДжоДжо сказать отцу, что «*чóру вилáмби*» — *рис готов*, она завершает приготовление блюда, еще раз обжарив мясо в кокосовом масле со свежими листьями карри и кубиками кокосовой мякоти. Она подает его обжигаяще горячим, шипящим, масло еще брызжет с зарумяненной мясной корочки. Она еще выкладывает еду на банановый лист, а муж уже сует кусок в рот. Не может удержаться.

Она тихо стоит в сторонке, пока он ест, но ближе, чем обычно. За последние несколько вечеров она уже прочла ему всю газету, и теперь нужно дождаться нового номера. Господь внезапно дарует ей силы заговорить.

— Мясо вкусное? — спрашивает она. И сама знает, что блюдо получилось как никогда.

Слова льются изо рта, как вода из длинного носика *кинди*^[40], и она видит, как они наполняют чаши его ушей. Как будто смотрит со стороны, как будто кто-то другой говорит, а не она.

И когда она уже решила, что муж раздражен ее дерзостью, большая голова вдруг качнулась из стороны в сторону в знак одобрения. От радости, волной поднявшейся внутри, хочется хлопать в ладоши и танцевать. В кои-то веки он остается сидеть, закончив трапезу, не вскакивает мыть руки под струей из кинди.

Интересно, он слышит, как колотится ее сердце?

ДжоДжо, подглядывающий за ними из-за столба, потрясен тем, что она разговаривает с его отцом.

— Аммачи, — громко шепчет он. — Не рассказывай ему! Обещаю, я завтра помоюсь.

Она быстро прижимает ладонь ко рту, но не успевает сдержать смешок.

Следует жуткая пауза, а потом как будто раздается непонятный взрыв — муж хохочет, оглушительно громко и весело. ДжоДжо озадаченно выбирается из укрытия. Когда малыш понимает, что смеются над ним, он подбегает, шлепает ее по бедру, сердито плачет и убегает, прежде чем она успевает его схватить. Это лишь еще больше веселит мужа, и он, гогоча, откидывается на спинку кресла. Смех преображает его, открывая прежде невидимые ей стороны.

Он вытирает ладонью глаза, все еще улыбаясь.

Слова потоком льются из нее. Она рассказывает, что когда сегодня ДжоДжо пришло время мыться, она обыскалась его везде и нашла в итоге на хлебном дереве, малыш застрял там, на этой плаву. Муж все еще сияет улыбкой. Она продолжает: ДжоДжо учит буквы и цифры, но только если подкупить его лакомством — манго с порошком чили. А сама она предпочитает бананы того сорта, который сегодня принес Самуэль... Она слышит свой щебет со стороны и умолкает. Тишину заполняет стрекот сверчков, а потом к хору присоединяется и лягушка-бык.

А потом муж задает вопрос, который должен был прозвучать давным-давно: *Сугхамано? Тебе здесь хорошо?* И смотрит на нее в упор. Впервые с тех пор, как стоял перед ней в церкви почти три года назад, он рассматривает ее так пристально.

Она старается выдержать взгляд, в его глазах все та же могучая сила, что и тогда у церковного алтаря. Она припоминает строку из свадебной службы: *Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви*^[41].

И вдруг понимает, почему со дня их свадьбы он держался на расстоянии, мало говорил, но издали заботился о ней, о том, чтобы она получала все, что захочет, чтобы ей было удобно и спокойно; это вовсе не равнодушие, а ровно наоборот. Он понимает, что она может бояться его.

Она опускает взгляд. Способность говорить улетучивается. Но ей задали вопрос. Он ждет.

Ноги слабеют. Ей отчего-то хочется броситься к нему, погладить пальцами эти узловатые руки. Это жажда любви, близости, человеческого прикосновения. Дома ее постоянно обнимали и целовали, тело матери согревало ее по ночам. Здесь, если бы не ДжоДжо, она бы совсем зачахла.

Она слышит, как скрипнуло кресло, муж отчаялся услышать ответ. И тихо произносит:

— Я скучаю по маме.

Он приподнимает бровь, как будто не уверен, не почудились ли ему эти слова.

— И было бы неплохо ходить в церковь, — неестественно громко добавляет она.

Он, кажется, обдумывает эту мысль. Потом оmyвает руки из кинди, выходит в муттам и удаляется. Сердце ее сжимается. *Какая глупость, глупость просить так много!*

Позже вечером, когда ДжоДжо засыпает, она возвращается в кухню прибраться и прикрыть угли кокосовой скорлупой, чтобы до утра они не погасли окончательно. Потом с тяжелым сердцем идет к себе в комнату, где они спят вместе с ДжоДжо.

И, оторопев, видит на полу открытый металлический сундук. Стопка аккуратно сложенной белой одежды, должно быть, принадлежала матери ДжоДжо. С собой в Парамбиль она привезла только свадебные чатта и мунду и еще три комплекта одежды, все ослепительно белые, традиционный наряд христианок Святого Фомы. Цветастые полусари и юбки остались в детстве. Ее старые чатта стали тесны в плечах и слегка подчеркивают набухающую грудь, тогда как бесформенная одежда должна намекать, что там вообще ничего нет. И потому она уже привыкла носить мешковатые и потрепанные чатта и мунду, забытые Танкаммой. Но чатта из сундука, которые, наверное, остались от матери ДжоДжо, сидели идеально. Она разглядывает себя в зеркале. Ее тело меняется, она стала выше ростом и прибавила в весе. Больше года назад у нее начались кровотечения. Она перепугалась, хотя мать и предупреждала, что такое случится. Она заварила себе имбирный чай от спазмов и смастерила специальные менструальные подкладки, припоминая, как видела такие дома, сохнувшие на бельевых веревках. Когда она развешивала сушиться свои выстиранные тряпки, то прикрыла их полотенцами и простынями. Четыре дня она чувствовала себя неважно, стала совсем рассеянной, но старалась держать себя в руках. Ей некому было пожаловаться и не с кем отпраздновать, если уж на то пошло. Даже сейчас эти четыре-пять дней остаются большим испытанием.

На самом дне сундука она находит Библию. *Все это время у тебя была Библия — и ты мне не говорил?* Она слишком взволнована находкой, чтобы долго сердиться, но решает упомянуть о ней в следующий раз, когда соберется в погреб.

Когда наступает воскресенье, она с удивлением обнаруживает мужа в белой джуба и мунду — его свадебном наряде. Она так

привыкла видеть его с обнаженной грудью и в подоткнутом мунду, с тхортом, перекинутым через левое плечо, — неотличимым от пулайар, которые на него работают. Среди работников муж выделялся только ростом и статью — верный признак, что он вырос в доме, где еды было в достатке. Он обращается к Самуэлю:

— Попроси Сару побыть с ДжоДжо, пока мы не вернемся из церкви.

Она мчится одеваться:

— Господь, как только окажусь в Твоем доме, поблагодарю Тебя как следует.

Они отправляются в путь по суше, в направлении, противоположном причалу. Вцепившись в Библию, она торопливо семенит за ним, делая два своих шага на каждый его. Она исполнена ликования и почти летит, едва касаясь ногами земли. Вскоре они добираются до ручья, через который переброшено бревно, скользкое от мха.

— Иди вперед, — велит муж, и она стремглав проносится над водой.

Он осторожно перебирается следом, крепко стиснув зубы. На другом берегу он задерживается, кладет ладонь на камень для поклажи, словно собираясь с духом, прежде чем идти дальше. Пешком они добираются до церкви гораздо дольше, чем плыли бы на лодке, в конце пути переходят реку по мосту, достаточно широкому для повозок.

Вид людей, стекающих к церкви, вызывает восторженный трепет, хотя она никого здесь не знает.

— Я подожду там, — машет он рукой в сторону раскидистого *пипал*^[42], воздушные корни которого гигантскими усами нависают над церковным кладбищем. Сгорая от нетерпения, она спешит в церковь, натянув кавани на голову. Она и забыла, каково это, когда на службе столько народу, когда совсем рядом чувствуешь других людей; каково это — быть частью ткани, а не ниточкой, выдернутой из целого.

Мужчины слева, женщины справа, их разделяет воображаемая линия. Она наслаждается знакомыми фразами евхаристии. Когда аччан воздевает воздúх над Дарами, она ощущает присутствие Господа, чувствует, как Дух Святой нисходит на нее, волна за волной, как приподнимает ее над землей. Слезы радости застилают глаза. «Я здесь, Господи! Я здесь!» — безмолвно кричит она.

По окончании службы выходя из храма, она замечает, как из ворот кладбища появляется муж, очень задумчивый. От пристани и с парома доносятся радостные голоса и смех. Обрато они идут в молчании.

— Пять лет, как она умерла... — вдруг говорит муж, по голосу ясно, как трудно ему сдерживаться.

Мать ДжоДжо. Она испытывает странное чувство, слыша, с какой нежностью он говорит о бывшей жене. Неужели завидует? Или надеется, что когда-нибудь он будет говорить и о ней с такой же страстностью? Она молчит, боясь, что любое сказанное ею слово прервет поток его речи.

— Как простить Бога? — говорит он. — Который отобрал мать у ребенка?

Паузы между фразами кажутся широкими, как река. Они добираются до бревна через ручей, и на этот раз он идет первым. Ждет на другом берегу, разглядывая свою юную супругу в одеждах жены бывшей, словно увидел ее в первый раз.

— Жаль, что она не видит нас, — говорит он, не двигаясь с места. — Я бы хотел, чтобы она знала, как ты заботишься о ДжоДжо. Как сильна его любовь к тебе. Она была бы счастлива. Я хотел бы, чтобы она это увидела.

От похвалы у нее кружится голова, она крепче сжимает в руках Библию, принадлежавшую женщине, к которой он только что взывал. Она подходит вплотную к мужу, запрокидывает голову, чтобы взглянуть ему в лицо, пускай даже рискуя шлепнуться на спину.

— Я знаю, что она видит нас, — с горячей убежденностью заявляет она. Она могла бы доказать, но ему не нужны объяснения, только правда. — Она все время наблюдает за нами. Она удерживает мою руку, когда я хочу добавить еще немного соли. Напоминает мне, когда рис выкипает.

Он удивленно приподнимает бровь, лицо смягчается.

— ДжоДжо совсем не помнит свою маму, — вздыхает он.

— Верно, — соглашается она. — С ее благословения сейчас я его мать. И не надо ему вспоминать и печалиться.

Они стоят неподвижно. Он пристально смотрит на нее сверху вниз. Она не отстраняется. И видит, как что-то поддается в нем, как будто распахнулась дверь в запертую ара, в крепость его тела. Тень улыбки

словно отмечает конец долгих мучений. И, продолжая путь, он теперь соразмеряет шаг, муж и жена идут дальше в ногу.

В следующее воскресенье муж предлагает ей в одиночку плыть в церковь на лодке — поскольку он не пойдет на службу, ей нет нужды проделывать такой долгий путь пешком. Он провожает ее до причала, где уже собрались несколько женщин и семейных пар. Лодочник отталкивается шестом от берега, она оглядывается и видит мужа, стоящего в рощице ореховых деревьев, их узкие светлые стволы составляют контраст с его широким темным телом. Он врос в землю прочнее дерева. Даже Дамодаран не сможет выдернуть его.

Глаза их встречаются. И, пока лодка отплывает, она успевает понять его чувства — печаль и зависть. Ей больно за него, человека, который не путешествует по воде, который, возможно, никогда не видел, как гладкая поверхность расступается перед носом судна, никогда не ощущал восторга от того, что тебя несет течением, или от брызг шеста лодочника, расчищающего воду. Он никогда не узнает, как плотно обнимает вода, когда ныряешь в реку вниз головой, и как бурлящий шум сменяется окутывающей все тишиной. Все воды связаны между собой, и потому ее мир безграничен. А он стоит на границе своего мира.

В ее шестнадцатый день рождения поутру возле кухни возникает какая-то суматоха, она слышит взволнованные детские голоса. Утки, сгрудившиеся у задней лестницы, крикают и хлопают крыльями, норвя взлететь все разом. Она догадывается, кто это, даже прежде, чем слышит звяканье тяжелой цепи, и прежде, чем оборачивается и видит древнее око, заглядывающее в кухонное окошко. Она хохочет.

— Дамо! Откуда ты узнал?

Совсем новое ощущение — смотреть в этот глаз, не отвлекаясь на огромное тело. Какие восхитительные спутанные ресницы, изящная, тончайшая радужная оболочка цвета корицы. Она вдруг заглядывает в самую душу Дамо... а он в ее. Она чувствует его любовь, его участие — то же, когда он приветствовал ее в самую первую ночь в роли юной жены.

— Погоди минутку. У меня есть для тебя угощение.

Слон застал ее в тонкий момент приготовления меен вевичатху. Она опускает филе макрели в жгучий красный соус, тихо бурлящий в глиняном горшке. Огненно-красный цвет соуса — от молотого чили, а вязкая консистенция — от томленого шалота, имбиря и специй. Но ключ к уникальному вкусу — это *кóкум*, малабарский тамаринд. Соус нужно все время пробовать, выправляя остроту солью, добавляя настой кокума, если карри недостаточно кислое, и вынимая кусочки кокума, если кислит чересчур.

Нетерпеливый гигант топает огромными ногами, стряхивая пыль со стропил.

— Прекрати! Если карри не удастся, я расскажу тамб'рану, кто виноват.

Она выходит из кухни с ведерком вареного риса, наскоро смешанного с гхи. Ухмылка Дамо напоминает ей ДжоДжо, когда тот нашкодит. Цезарь, бродячий пес, игриво приплясывает рядом, но благоразумно держится подальше от ножищ гиганта. Дамодаран подцепляет ведро за дужку, вынимает из ее рук и опрокидывает содержимое себе в пасть, словно это наперсток. Облизывает языком края, ставит на землю и проверяет хоботом, не осталось ли чего на дне.

Унни, восседающий на шее Дамо, сцепив босые ноги за громадными ушами, похож на кошку, взобравшуюся на дерево. Издалека не различить хмурое выражение на смуглом рябом лице погонщика, но густые брови сведены к середине.

— Погляди-ка! — Унни показывает на мусор в муттаме. — Я пытался загнать его на место, около дерева, но нет, ему сначала надо было заглянуть в кухню.

Она кладет ладонь на хобот Дамо.

— Он пришел ко мне на день рождения. Никто здесь не знает, а он откуда-то прознал. Благослови тебя за это Господь, мой Дамо. — И внезапно ей становится стыдно — со своим мужем она никогда не разговаривала с такой любовью.

Дамо торжествующе сворачивает хобот кольцом.

Закончив с делами в кухне, она идет к Дамо на его место около старой пальмы. Унни привязал заднюю ногу слона цепью к пню, но это скорее напоминание, чем ограничение. Дамо может оторвать цепь с такой же легкостью, как ребенок ломает прутик, и частенько так и

делает. И, как обычно, вся детвора Парамбиля слетелась сюда, как только прошел слух, что Дамо дома. На малышах только блестящие *арандж'анам*^[43] на талии, они ничуть не стесняются своей наготы, хотя опасаются Дамо, прячась за спинами ребятишек постарше. ДжоДжо стоит, обняв за плечи сына кузнеца, которому тоже шесть лет, но ДжоДжо на голову выше. Она держится поодаль, наблюдая с равным интересом и за детьми, и за слоном.

Дамо окунает хобот в ведро с водой и обрызгивает зрителей. Малышня разбегается, радостно визжа. Потом они вновь собираются поближе, и слон повторяет игру.

Дамо очень привередливый. В отличие от коровы или козы, он не станет есть, если вокруг разбросаны его какашки. Если Унни желает, чтобы слон оставался на одном месте, он должен вооружиться лопатой и сразу отбрасывать подальше все, что вываливается из задницы Дамодарана. Это бесконечная работа для Унни и бесконечное развлечение для юных зрителей.

— А это что? — спрашивает дочка кузнеца, показывая на толстый изогнутый шланг, свисающий из живота Дамо, закругленный конец его мшисто-зеленого цвета. Девочке семь лет от роду. — Это его второй хобот?

— Нет, дурочка, — усмехается ее брат важно и многозначительно, хотя и младше на целый год. — Это его Маленький Дружок.

Мальчишки смеются. Карапузы, ничего не понимающие, хохочут громче всех.

— Ха! — заносчиво бросает дочка кузнеца. — Не такой уж он и маленький, между прочим. По мне, так его хобот гораздо больше похож на Маленького Дружка, чем эта смешная штука.

Возникает пауза, пока ребятня обдумывает сложный вопрос. Братец поворачивается рассмотреть двухлетнего внука ювелира, смущенного кривоногого пузатого карапуза, не вынимающего пальца из носа, теперь все дружно изучают необрезанный пухлый пенис мальчонки, заканчивающийся сморщенными складками кожи, потом сравнивают с хоботом Дамодарана.

— Похоже на то, — изрекает сынишка кузнеца.

Покачивающийся хобот Дамо живет, кажется, сам по себе, независимо от своего хозяина, движения его определенно человеческие. Пока передняя нога прижимает ветку кокосовой пальмы, кончиком

хобота Дамо одним изящным движением обдирает листья. Он шмякает пучком листьев о ствол дерева, стряхивая с них насекомых, а потом аккуратно кладет на губу. Пока слон жует, хобот опять повисает вниз, но затем, как беспокойный шаловливый школьник, сдергивает полотенце с плеча Унни и машет им, как флагом, прежде чем Унни вырывает полотенце обратно.

— Если бы мой Маленький Дружок мог вытворять такие штуки, как его хобот, — слышит она, как бормочет маленький кузнец, — я бы запросто дотянулся и нарвал манго или даже кокосов.

Она видит, как ДжоДжо внимательно прислушивается, украдкой щупая себя между ног. И поскорее убегает, прижимая ладонь ко рту, а когда детвора уже не может расслышать, раздражается безудержным хохотом.

Тем вечером она подает мужу меен вевичатху. Попробовав, он одобрительно кивает. Скоро будет уже пять лет, но она по-прежнему переживает за свою стряпню.

— Когда я готовила, пришел Дамо и подглядывал в окно кухни.

Муж смеется, качая головой.

— У тебя есть рис с гхи, я угощу его вечером? — Лицо у него, как у ДжоДжо, когда тот выпрашивает еще немножко манго.

— Но он уже съел целое ведро, — говорит она.

— О, вот как? Ну что ж, тогда...

— Но у меня есть еще.

Муж доволен.

— Дамо раньше никогда не приходил в кухню. Это значит, ты ему нравишься, — говорит он, лукаво поглядывая на нее.

Она откладывает газету и идет в кухню приготовить еще риса с гхи.

Да, я знаю, что Дамо меня любит. Он пришел поздравить меня с днем рождения. Я знаю, о чем он думает. А вот что у тебя на уме, мне никогда не понять.

Она возвращается с рисом для Дамо, но муж не обращает внимания на ведерко. Движением брови предлагает ей сесть и кладет на стол перед ней маленький, завязанный шнурком тряпичный мешочек. Она вынимает оттуда две крупные тяжелые золотые серьги, затейливо украшенные снаружи, но полые внутри, иначе под их весом

разорвались бы уши. Филигранная гайка скрывает штифт и винт. Она не верит своим глазам. Неужели ей и вправду принадлежат теперь эти куну́кку?^[44] Так вот почему ювелир сновал туда-сюда весь последний месяц. Всю жизнь она восторгалась куну́кку. Их продевают не сквозь мягкую часть уха, а через изгибающийся ободок наверху, где он истончается, подобно губе морской раковины. Нужно проколоть хрящ, а потом расширить отверстие, вставляя в него листья пальмы арека, пока оно не станет достаточно большим, чтобы поместился толстый стержень. Многие женщины носят только сам стержень, а по особым случаям, когда присоединяют кольца, те торчат над ушами, как сложенные ладони.

В отличие от большинства невест, которые приносят драгоценности в качестве приданого, у нее были лишь обручальное кольцо, тонкое золотое минну, которое он надел ей на шею во время церемонии, да еще пара золотых гвоздиков, ее собственных, которые ей подарили в детстве, когда впервые прокололи уши в пять лет.

Она поверить не может, что муж помнил про ее день рождения, ведь никогда раньше он никак не давал этого понять. И теперь нет слов уже у нее. Муж не заглядывает в газету, но он земледелец и потому внимательно следит за датами и временами года. Слышно, как вдалеке пучки листьев шмякаются о ствол дерева — звуки трапезы Дамо. Не впервые она задумывается, а не в сговоре ли эти два гиганта.

Когда она собирается с духом и решается посмотреть ему в глаза, муж улыбается. Не говоря ни слова, он выходит, прихватив ведро с рисом; он будет спать на койке рядом с Дамо, пока Унни навещает дома свою жену.

Когда Дамо в Парамбиле, земля дрожит под его ногами. Звук кормежки — треск веток, шуршание листьев — успокаивает ее. Но спустя несколько дней Дамодаран возвращается на лесную делянку — как и тамб'ран, он лучше себя чувствует, когда работает. Без него тишина в Парамбиле кажется всеобъемлющей.

Той ночью она уже засыпает, как вдруг появляется муж. Она подскакивает, встревоженная, недоумевая, что случилось. Его фигура заполняет дверной проем, заслоняя свет. Но лицо спокойное, ободряющее. Все хорошо. В одной руке он держит крошечную масляную лампу, а другую протягивает к ней.

Она осторожно высвобождается от спящего ДжоДжо, берется за протянутую руку, и муж без малейшего усилия поднимает ее на ноги. Ее пальцы остаются в уютной нежности его ладони, когда они вместе выходят из комнаты. Новое ощущение — держаться за руки, ни один не отпускает руки другого. Но куда они идут? Сворачивают в его комнату.

Внезапно стук сердца становится таким громким, что она уверена: эхо, разносящееся под крышей, разбудит ДжоДжо. Кровь приливает к членам, как будто ее телу известно, что должно произойти, даже если разум отстает на пять шагов. В этот момент она не может знать, что ночи, когда он будет тихо приходить и уводить ее с собой, станут для нее самыми желанными; она не знает, что так, как сейчас дрожат ее губы, будет трепетать все тело; это сейчас леденеют внутренности, а ноги подкашиваются — вместо этого она будет чувствовать прилив возбуждения, гордости и влечения, когда увидит, как он стоит рядом, протягивая руку, желая ее.

Но сейчас она ощущает лишь панику. Ей шестнадцать. Она имеет некоторое представление о том, что должно произойти, хотя знание это случайное, почерпнутое из наблюдений за прочими божьими тварями... но она не готова. Как это вообще делается? И даже если бы она могла заставить себя задать этот вопрос, кого бы она спросила? Даже с мамой говорить о таком было бы ужасно неловко.

Он ласково предлагает ей лечь рядом с ним на высокой тиковой кровати; он видит, что она напугана, дрожит, вот-вот расплачется, зубы у нее стучат. Вместо того чтобы утешать словами, он притягивает ее поближе, одна рука лежит у нее под головой, укрывая, обнимая. И ничего больше. Так они лежат долго-долго.

Постепенно дыхание ее успокаивается. Тепло его тела унимает дрожь. Это и есть то, о чем сказано в Библии? *Иаков возлег с Лией. Давид возлег с Вирсавией.* Ночь тиха. Сначала она слышит пение звезд. Потом голубь курлычет на крыше. Слышит трехнотный напев соловья. Тихое шарканье в муттаме и сдавленное чавканье — наверное, Цезарь поймал свой хвост. И мерный стук, который она не может опознать. А потом ее осеняет: это стучит его сердце, громко и почти в одном ритме с ее.

Этот низкий глухой стук успокаивает, напоминает, что она в объятиях мужчины, за которого вышла замуж четыре года назад. Она вспоминает, как деликатно он заботился о ее нуждах, как раздобыл

газеты, как провожал в церковь в первый раз и как он теперь каждое воскресенье провожает ее до пристани. Он выражает свою любовь не напрямую, а в этой заботе, в том, с какой гордостью смотрит на нее, когда она воспитывает ДжоДжо или когда читает ему вслух газету. Сегодня вечером за ужином он заявил о своих чувствах открыто, но без слов, вручив вот эти драгоценные серьги, символ зрелой женщины, мудрой жены. Нынешний момент мог наступить в любой из дней их совместно прожитых лет, но он ждал.

Через некоторое время он приподнимает голову и смотрит ей в глаза; чуть изогнув бровь, вопросительно наклоняет голову. Она понимает, что он спрашивает, готова ли она. Правда в том, что она не знает. Но знает, что доверяет ему, она верит, что он привел ее сюда, потому что знает, что она готова. На этот раз она не отворачивается, она выдерживает его взгляд и смотрит прямо в глаза, прямо в его душу, впервые за те четыре года, что она его жена. И кивает.

Господь, я готова.

Он нависает над ней, ведет и направляет, помогая принять его. При первой острой боли она закусывает губу, заглушая вырвавшийся вскрик. Он замирает и участливо отступает, но она тянет его вниз, пряча лицо в ложбинке между его плечом и грудью, чтобы он не стал свидетелем ее потрясения, ее неверия в то, что происходит. Вплоть до момента, когда он взял ее за руку и повел в эту комнату, они не прикасались друг к другу, даже случайно. И даже держа его за руку, даже лежа в его объятиях, она не могла подготовиться к этому. Она чувствует себя совсем дурочкой, ей стыдно, что она не знала, никогда даже не представляла, что загадочное «откроется в свое время», как сказала некогда Танкамма, означало принять его буквально внутрь себя. Ее словно предали все те женщины, которые утаили от нее это знание, которые могли бы подготовить ее к случившемуся. Его невероятная нежность, его внимание к ней противоестественно соседствуют со жгучей болью, которая сменяется тупым противным ощущением. Ритмичные толчки усиливаются, становятся все чаще. Как это вообще должно закончиться? Что она должна сделать? И ровно в тот момент, когда она начинает опасаться, что он ее сломает, когда готова крикнуть, чтобы он остановился, тело его коченеет, спина выгибается, лицо, искаженное болью, становится неузнаваемым — как будто это она нечаянно поломала его. Она, наивный участник и напуганный

наблюдатель. Он пытается сдержать мучительный стон, но безуспешно... и, содрогнувшись, замирает. Он лежит на ней тяжелым грузом, опустошенный, кожа его влажна от пота.

В голове у нее сумбур, но она ликует, когда до нее доходит, что она выдержала испытание. Ей хочется смеяться — и над тем, что ее вот так прокололи и прижали, и над его внезапной беспомощностью. Она не просто вытерпела, но именно ее тело, ее вклад в то, что произошло, лишило его силы и привязало к ней. С опозданием, постепенно восстанавливая самообладание, она осознает, что обрела полноценную женственность, сама того не понимая. Секунды тикают, и его вес давит так, что дышится с трудом, но, как ни парадоксально, она не хочет, чтобы он отодвинулся, не хочет, чтобы заканчивалось это чувство власти, могущества, гордости и господства над ним.

В последующие годы, в тех редких случаях, когда его появление в дверях с протянутой рукой было ей не слишком удобно, она все равно никогда не отказывает, потому что в нежных объятиях и совсем неутонченных действиях, которые за ними следуют, муж выражает то, что не может сказать словами, то, что ей необходимо слышать, и то, что она впервые начинает чувствовать сейчас, лежа под ним, — что она неотъемлемая часть его мира, ровно так же, как и он — ее мир. Сейчас она не может вообразить, что удовольствие, которое видит на его лице, она и сама будет время от времени испытывать и что найдет способ ненавязчиво направлять его и руководить его действиями так, чтобы ей было приятно. Сейчас она настолько наполнена им, что кажется, будто он разделил ее надвое, но вместе с тем впервые с момента замужества она ощущает себя цельной, завершенной.

Постепенно его напряжение, распирающее ее внутри, ослабевает, опадает, и он наконец перекачивается на бок, только бедро остается лежать поверх ее бедер. С его уходом внутри начинает саднить, она остается беззащитной, с ощущением пустоты между ногами в том месте, которое прежде было плотно запечатано от всего мира. Она больше не уверена в этой самой интимной части себя, которая, кажется, изменилась навсегда. По бедрам стекает влага. Ей хочется помыться, но все же, несмотря на жгучую пульсирующую боль, она не торопится уходить, наслаждаясь этим ощущением крепко спящего рядом мужа, — голова прижата к ее плечу, рука лежит на ее груди, в точности как делает его сын.

В последующие дни она гораздо свободнее разговаривает с ним за ужином — не только о хозяйственных делах, но делится мыслями, чувствами и даже воспоминаниями, не дожидаясь от него ответов. Слушать — *это и есть* для него говорить, в этом внимании и состоит его красноречие, редкое свойство, и он щедро наделен им. Муж единственный среди известных ей людей использует два уха и один рот именно в таком изначальном соотношении. Она любит его так, как прежде и не представляла. Любовь, думает она, это не обладание, но ощущение, что там, где когда-то заканчивалось ее тело, оно теперь заново начинается в нем, расширяя ее возможности, ее уверенность и ее силу. И, как бывает со всем редким и драгоценным, новое знание приносит новые тревоги: страх потерять его, страх, что это сердце перестанет биться. Ведь это означало бы и ее собственный конец.

А Парамбиль продолжает жить в своем ритме: голодные рты надо кормить, манго мариновать, рис обмолачивать, Пасха, Онам^[45], Рождество... цикл, прекрасно ей известный, с которым она сверяет свои дни. Для стороннего наблюдателя все остается по-прежнему. Но после той ночи всякая отстраненность между мужем и женой исчезает.

«Господь, благодарю Тебя... — повторяет она в своих молитвах. — Я не буду рассказывать никаких подробностей. К тому же чего бы Ты не знал о моей земной жизни? Но у меня есть вопрос. Когда пять лет назад мой муж убежал от алтаря, я слышала Твой голос, сказавший: „Я с вами во все дни“. Ты с ним тоже разговаривал? Ты ему сказал: „Вернись“? Ты сказал: „Она та, которую Я избрал для тебя“?»

Она ждет. «Потому что это я, Господи. Я его единственная».

глава 7

Мама лучше знает

1908, Парамбиль

Однажды утром, в свой девятнадцатый год на земле, она просыпается уставшей, не в силах подняться, придавленная одеялом тоски. ДжоДжо старается ее развеселить, плетя для нее мячик из листа кокосовой пальмы.

— Сверху-снизу, сверху-снизу, потом *снизу-сверху*, *снизу-сверху*, понятно? — приговаривает он, забывая, кто его научил этому. Ему десять, и он уже выше своей Аммачи, которая скоро станет в два раза старше него, но когда они остаются вдвоем, он ведет себя совсем как малыш. Встревоженный ДжоДжо помогает ей по кухне, но даже от простого раздувания углей она задыхается.

После обеда она возвращается в спальню и просыпается, только когда прохладная ладонь мужа гладит ее лоб. Невероятно, но солнце уже садится. А она ничего не приготовила на ужин; она раздражается слезами. Муж взглядом прогоняет ДжоДжо прочь.

Отчего эти слезы? — без слов спрашивает он.

Она лишь мотает головой. Он настаивает.

— Ты должен простить меня. Не понимаю, что на меня нашло.

Судя по выражению его лица, он знает, что причина гораздо серьезнее.

С тех пор как их брак был подтвержден физически, она доверяется мужу во всем, за исключением случаев, когда дело касается ее матери. Ей стыдно признаться ему, какой нищей была ее жизнь до замужества. Когда ей исполнилось шестнадцать, она набралась смелости попросить Самуэля сопровождать ее в поездке, чтобы навестить мать, она уговорила Самуэля испросить разрешения у тамб'рана. Тот согласился. К Самуэлю она обратилась, потому что не хотела ставить мужа в неловкое положение, если придется отказать ей. Она написала матери, сообщив дату приезда. И заранее решила, что если сочтет положение матери бедственным, заберет ее с собой в Парамбиль. Она могла лишь

надеяться на понимание мужа — мужчина вовсе не обязан заботиться о своей теще. За два дня до отъезда пришло письмо от матери, в котором она категорически запрещала ей приезжать, подчеркивая, что будет только хуже. Мать добавила, что ее деверь обещал, что скоро они все вместе поедут в Парамбиль. Разумеется, этого так и не случилось.

— Я беспокоюсь за маму, — выговаривает она наконец, всхлипывая, и чувствует облегчение, что смогла признаться в том, что так долго таила от него. — Я сердцем чую, что с ней плохо обращаются, что она даже голодает. После смерти отца мой дядя не был добр к нам. В письмах мама пишет обо всем что угодно, только не о себе. Я чувствую, как она страдает.

Громадная, как наковальня, ладонь мужа остается лежать у нее на лбу, но лицо его застывает.

Назавтра они с Самуэлем уходят еще до того, как она просыпается. Их не видно весь день, и даже с наступлением ночи они не вернулись. Она места себе не находит от тревоги.

На следующий день на тропе, ведущей от пристани, задевая кусты разросшейся маниоки, появляется повозка, запряженная буйволами. Рядом с погонщиком сидит Самуэль. А из-за плеча его выглядывает знакомая фигура.

Она и позабыла высокий мамин лоб, ее тонкий нос, и то и другое выделяются на лице, потому что мама страшно исхудала, волосы ее поседели, а щеки ввалились из-за выпавших зубов. Как будто прошло не семь лет, а все пятьдесят. Робко выбираясь из повозки, мама сжимает в руках свои жалкие пожитки: Библия, серебряная чашка и узелок с одеждой. Мать и дочь принимают друг к другу, роли их поменялись: это мать возвращается в безопасность дочерних объятий, рыдает у нее на груди, не скрывая более унижения минувших лет.

— Муули, — начинает мать, когда может наконец говорить. — Благослови Господь твоего мужа. Сначала, когда я его увидела, то подумала, что-то случилось с тобой. А он только глянул вокруг и сразу все понял. «Собирайтесь, поехали», — только и сказал. Муули, мне было так стыдно, потому что твой дядя был совсем нелюбезен — даже воды не предложил. А потом она вылезла и заявляет, что я задолжала им денег за... за то, что дышала, наверное. А твой муж поднял вот так палец. — И она вытягивает вверх указательный палец, как будто

проверяет направление ветра. — «Ни слова больше, — сказал он. — Мать моей жены не должна так жить». Я отряхнула прах с ног моих на тот дом и ни разу не оглянулась.

Самуэль, усмехаясь, все же бранит молодую хозяйку:

— Почему ты ничего не сказала раньше тамб'рану? Твоя мать жила как побирушка на церковной паперти! У нее был только крошечный уголок на веранде, где ей позволяли расстелить циновку.

Мать пристыженно опускает голову.

— Твой муж посадил нас в лодку, — говорит она. — Он сказал, что сам поедет другим путем.

В комнате, которая вскоре станет их общей, мать разглядывает тиковый *альмира́х*^[46], куда она может сложить свои вещи, письменный стол, трюмо с зеркалом. Мать видит свое отражение и застенчиво заправляет за уши пряди белых волос. В кухне она подает матери чай, потом торопливо трет кокос, достает из кладовки яйца, разогревает рыбу и карри с цыпленком, режет стручки фасоли для торан, велит Самуэлю не уходить, пока не поест.

— Ох, детка, — вздыхает мать, когда перед ней ставят еду, и слезы струятся по ее щекам. — Я и забыла, когда видела и мясо, и рыбу, и яйцо на одном подносе.

А потом мама сидит на плетеной кровати и просто смотрит на нее. Вытянув руку, останавливает дочь, мечущуюся туда-сюда:

— Остановись! Не надо халвы, не надо *ладдú*^[47], ничего не надо. Я ничего больше не хочу! Просто сядь рядом и дай мне на тебя посмотреть, дай обнять тебя, родная моя.

И по тому, как смотрит мать, она понимает, что сильно изменилась и она сама — больше не дитя-невеста, какой ее в последний раз видела мама, а опытная мать ДжоДжо, хозяйка Парамбиля. Мать перебирает пальцами густые волосы дочери, которые давно не расчесывала и не заплетала, поворачивает лицо дочери так и эдак в свете лампы.

— Моя маленькая девочка уже женщина... — Внезапно мать отстраняется, брови ее взмывают вверх, когда она замечает бледное пятно на щеках и переносице, словно крылья летучей мыши. Широко распахнув глаза, она восклицает: — Боже правый, муули! Да ты ждешь ребенка!

И она сразу понимает, что мама права. И наверное, неудивительно, что сердце ее воззвало к матери именно сейчас, когда она сама должна

стать матерью.

В полночь она в одиночестве меряет шагами веранду, радуясь воссоединению, о котором мечтала, но и тревожась, и вознося молитвы. В час ночи она видит вдалеке пламя факела из пучка сухих пальмовых веток.

Она бежит навстречу мужу, будто они не виделись много лет. Не владея собой, она, как ребенок, прыгает ему на руки и обвивает ногами могучее тело, которое сейчас, после двухдневного перехода, как раскаленная печь. Он отбрасывает факел, и тот рассыпается искрами, ударившись о землю. Обнимает ее крепко. Она с облегчением утыкается головой в него. И молит безмолвно: *Никогда не старей, никогда не умирай*, понимая, что просит слишком много. *Твердыня моя, прибежище мое, Избавитель мой*^[48].

Муж моется около колодца. После ужина веки его тяжелеют. Он рассказывает, какой дорогой шел, а она вычерчивает у себя на ладони его окольный путь. Он прошел больше пятидесяти миль за восемнадцать часов.

Он идет спать, такой уставший, что даже не берет лампу. Она провожает до порога его комнаты. Она редко заходит сюда без его зова. Ложится рядом с ним. Берет его руку, кладет себе на живот и улыбается ему. Он озадачен. А затем, очень медленно, понимание проступает на усталом лице, и он улыбается. Она слышит тихое восклицание. Он прижимает жену к себе, но тут же одергивает себя, пугаясь, что был слишком груб со своими объятиями. Если бы Господь даровал ей возможность растянуть на всю жизнь один только миг, то пускай был бы вот этот.

Дыхание его становится глубже, ровнее. Даже во сне лицо у него счастливое, и рука все так же лежит на ее животе, обнимая своего ребенка. В этом укромном священном убежище между его рукой и грудью она пребывает в умиротворении. «Прости меня, Господь». Она-то думала, что ее молитвы остались без ответа. Но у Господа свои сроки. Календарь Господа не совпадает с тем, что висит у нее на кухне. *Всему свое время, и время всякой вещи под небом*^[49].

Нет смысла корить себя, что не вызволила мать раньше. *Что случилось, то случилось*, думает она. Прошлое ненадежно, и только

будущее определено, и она должна смотреть в него с верой, что смысл непременно откроется.

Девочка, которая дрожала от страха у алтаря, которая сейчас лежит рядом со своим мужем, которая носит ребенка, не может предвидеть, как однажды станет почитаемым матриархом всего семейства Парамбиля. Она не знает, что придет время — и все будут называть ее прозвищем, которым окрестил ее ДжоДжо, это первое английское слово, которое выучил малыш и сразу же наградил ее этим титулом, вовсе не в насмешку над тем, что она совсем крошечная, а в знак уважения: «Большая». Он назвал ее «Большая Аммачи». Она не знает, что вскоре станет *Большой Аммачи* для всех и каждого.

глава 8

Пока смерть не разлучит нас

1908, Парамбиль

С рождением дочери прежнюю жизнь смело начисто. Тело ее на побегушках у любимого тирана, который грубо прерывает ее сон, требуя доступа, и с бесхитростной силой высасывает молоко из ее груди, настолько разбухшей, что она с трудом признает ее своей.

Она уже забыла те ночи, когда они уютно спали вдвоем с ДжоДжо и его пальчики запутывались в ее волосах, чтобы увериться — она не бросит его в повторяющемся ночном кошмаре, где его уносит бурная река. Неужели и впрямь было время, когда она успевала уследить за тремя горшками на огне, одним ухом прислушиваясь, не отложила ли курица яйцо, а другим — не собирается ли дождь и не пора ли уносить под навес сохнувший рис? И вдобавок еще и изображала тигра для ДжоДжо? Сейчас она почти не выходит из старой спальни, которую приспособили для ее родов. Ее связь с Парамбилем дважды скреплена дочерью, для которой это место стало родным домом — по крайней мере, до замужества.

Долли-коччамма, без всяких просьб, переехала к ним на последних неделях ее заточения, помочь по хозяйству и с ДжоДжо. Тихая и покладистая, Долли никогда не говорит о трудностях, с которыми столкнулись они с Джорджи. На своем крошечном клочке земли компанейский Джорджи должен бы выращивать достаточно кокосов, тапиоки и бананов, чтобы хватало на жизнь и даже оставалось немножко сверх того, но почему-то они едва сводят концы с концами. Самуэль говорит, это от неразумного планирования и от увлечения разными авантюрными идеями — к примеру, посеять пшеницу вместо риса, потому что на это уходит меньше труда, но зато потом выясняется, что пшеница здесь плохо растет, да и продавать ее некому. Джорджи, должно быть, понимает, что для своего дяди он сплошное разочарование, и потому держится подальше, но каждое утро, когда малышка засыпает после десятичасового кормления, Долли-коччамма

умащает волосы молодой матери и делает ей массаж с пряным кокосовым маслом. В ответ на глубочайшие благодарности Большой Аммачи Долли говорит:

— Твой муж спас нас, когда у нас не было ничего, а я ждала первого ребенка. А мать ДжоДжо тогда именно так заботилась обо мне. И сейчас ты делаешь мне одолжение, позволяя быть полезной. — Долли уговаривает ее сходить к ручью и как следует выкупаться. — Не переживай. Малютка Мол (у ребенка пока нет другого имени, кроме «Маленькая Девочка») не перестанет дышать в твое отсутствие.

А мама тем временем взяла на себя кухню. Седовласая женщина со впалыми щеками, так робко сошедшая с воловьей повозки, может поделиться накопившимися за десятилетия мыслями, даже если у нее нет уже прежних сил.

ДжоДжо не понимает, почему Большая Аммачи так много времени проводит с младенцем и почему он должен вести себя тихо, когда малышка спит. Как-то утром он в приступе ревности залезает высоко на плаву и, рыдая, зовет на помощь, словно застрял на дереве. На него не обращают внимания, и он в ярости спускается, заворачивает свои детские ценности в тхорт и объявляет, что навсегда переезжает в дом Долли-коччаммы. Долли и Джорджи пускают его, их дети расстилают для него циновку рядом со своими. И ДжоДжо проводит первую в жизни ночь вне Парамбиля, молясь, чтобы в его отсутствие это место рассыпалось в прах.

Когда на следующий день до него доходит слух, что Большая Аммачи скучает по нему, ДжоДжо рысью мчится обратно, но у порога замедляет шаг, делая вид, что возвращается исключительно поневоле. Мать душит его поцелуями, пока он не сдастся и не отбрасывает свою дурацкую позу.

— Ты мой маленький герой! Как же я без тебя пойду в погреб за соленьями? Тамошнее привидение милостиво ко мне, только пока ты рядом.

Маленький герой приглашает в гости своих новых друзей, и вскоре в муттаме звенит детский смех и раздаются радостные крики — эти звуки напоминают ей о собственном детстве, наполненном голосами кузенов и соседей. Слава Богу, Малютка Мол почти все время спит. Баюкая девочку, она то и дело слышит, как кто-то из детей начинает

реветь. Прежде она помчалась бы выяснять, что случилось, но теперь лишь напоминает себе: «Плачущий ребенок — живой ребенок».

Через месяц она возвращается в свою спальню, предпочитая расстеленную на полу привычную бамбуковую циновку высокой кровати в старой спальне рядом с ара, где она рожала. Малютка Мол лежит рядом с ней на сложенном полотенце, а ДжоДжо и ее мать спят на своих циновках по другую сторону. По утрам каждую циновку сворачивают к изголовью, а постель складывают на специальную полку.

Каждый вечер, совершив омовение, муж появляется на пороге ее комнаты. Мама, если оказывается в это время рядом, тут же придумывает себе дело в кухне и исчезает. Скала может изречь слово, но только когда он наедине с женой. Бицепсы его вздуваются, когда он подносит к обнаженной груди узелок из ткани и плоти, который и есть его дитя, а молодая мать любит Малюткой Мол, целиком уместившейся в его громадных мозолистых ладонях.

— Тебя хорошо кормят? — спрашивает она.

— Да, Большая Аммачи, — поддразнивает он. — Но эреки олартхиярту твоей матери не сравнить с твоим. — Он и не догадывается, какой драгоценный комплимент сделал жене.

Она вспоминает, как Танкамма говорила, что ее брат похож на кокосовый орех — шершавый и неприступный снаружи, но с драгоценным содержимым внутри; сок его унимает колики у младенцев, а нежная белая мякоть составляет суть каждого блюда в кухне малайяли; та же мякоть, высушенная и спрессованная, — копра — дает кокосовое масло; отходы после отжима копры идут на корм скоту; из твердой скорлупы получают отличные *távi*, ковшики, а из толстой внешней оболочки, если ее высушить и спрясть, выходит кокосовый канат. Без кокосовых орехов жизнь в Траванкоре прервалась бы, как пропал бы Парамбиль без ее мужа. Но когда он говорит, что эреки олартхиярту ее матери «не сравнить с твоим», так он признается, что скучает по ней.

Вечером, уложив малышку спать, сидя в промокшей и пахнущей ее собственным молоком блузе, она задумывается, приходит ли муж за ней по ночам, когда она спит. Прикасается ли к ней, потряхивает, старается разбудить? Или вид ее матери и двух сопящих рядом детишек останавливает его в дверях? Правда в том, что сейчас она не готова к

встрече с мужем. Муки родов еще свежи в памяти. У нее остался разрыв, который наконец стал менее болезненным, но тело все еще преподносит странные неловкие сюрпризы, которые, к счастью, постепенно уменьшаются. Пройдет время, прежде чем она окончательно оправится. Каждый месяц до нее доходят рассказы о неудачных родах, или женщина истекла кровью и умерла, или ребенок застрял в родовых путях — случай смертельный и для матери, и для младенца. «Благодарю Тебя, Господи, что провел меня невредимой через это испытание». Она не рассказывает Богу, что тоскует по близости с мужем, тоскует по возбуждению, охватывающему ее на супружеском ложе, когда сердце ее гулко колотится и она слышит, как точно так же стучит и его сердце. «Ну, одного без другого не бывает», — говорит она, но лишь самой себе. Есть вещи, которые не стоит рассказывать Господу.

Ритм Парамбия — это постоянство и непрерывные изменения. ДжоДжо с восторгом сообщает, что брат-близнец Джорджи, Ранджан, явился к ним среди ночи с женой, тремя детьми и всеми своими пожитками. Большая Аммачи не представляет, в каком состоянии Долли, когда столько народу набилось в ее крошечный домишко. Ранджану, как и Джорджи, отец ничего не оставил. Он нашел приличную работу помощника управляющего на чайной плантации в Кúрге^[50]. Платили неплохо, но жизнь в горной деревушке Полибетта была совсем одинокой. Что-то там случилось, что заставило жену связать мужа веревкой, швырнуть в повозку и привезти семью в долину и в итоге нагряться к Джорджи и тетушке Долли. Жена, грузная женщина с квадратным подбородком и привычкой прищуриться, прежде чем заговорить, выглядит устрашающе, особенно потому, что носит громадное деревянное распятие, которое лучше смотрелось бы на стене, чем на ее груди. Она крепко сжимает в руке Библию, как будто боится, что кто-нибудь выхватит ее у нее. Дети Долли между собой прозвали ее «Благочестивая Коччамма», потому что (по словам ДжоДжо) все остальные рядом с ней выглядят неблагочестивыми. Если она вдруг не клеймит грех, совершенный детьми, то осуждает грех, который им еще предстоит совершить.

Спустя несколько дней Большая Аммачи видит, как братья идут навестить дядюшку, держась за руки, как близкие друзья. Они очень

похожи, но у Ранджана одежда потрепанная. Он, как и брат, по-мальчишески непоседлив, как будто внутри у него крутится чудной взбалмошный маховик, заставляющий беспрерывно приплясывать его брови, губы, глаза и конечности, из-за чего походка тоже меняется. На лицах обоих мужчин одинаковое выражение безмятежного оптимизма, несмотря на все их сложные обстоятельства, — качество, вызывающее восхищение. Они стараются вести себя серьезно и торжественно, когда являются к ее мужу, но, едва выйдя от него, начинают резвиться, подталкивая друг друга, прямо как мальчишки, возвращающиеся из школы. Позже она узнает, что муж выделил Ранджану небольшой нерасчищенный участок на склоне, вплотную к участку Джорджи. Должно быть, он принял решение, едва узнав о возвращении племянника, так что теперь он обеспечил и Ранджана, как прежде Джорджи. Она восхищается щедростью мужа, жаль только, что щедрость не сопровождается душевной теплотой или мудрыми советами, которые могли бы помочь племянникам добиться успеха. Это не в его правилах.

ДжоДжо докладывает, что близнецы решили снести маленький дом Джорджи и Долли и построить новое общее жилище из крепкой древесины и добротных медных деталей — именно такой дом, который заслужила многострадальная коччамма Долли, но это возможно только потому, что Ранджан и Благочестивая Коччамма внесли все свои сбережения. Новая постройка будет стоять на участке Джорджи, на котором есть колодец и который лучше осушается, большую часть участка Ранджана займут посадки маниоки и бананов, а также новая подъездная дорога. Общая кухня расположится между двумя крыльями дома. Большая Аммачи невольно беспокоится за Долли-коччамму.

ДжоДжо перерос дом. Поскольку он избегает воды, то не может состязаться с другими детьми в плавании и нырянии, зато ДжоДжо штурмует высоты. Деревья — вот его стихия, и здесь он превосходит остальных в удали и бесшабашности. Любая мартышка позавидует тому, как он стремительно пробегает по верхним ветвям дерева, перескакивает на соседнее или слетает вниз, раскачиваясь на лиане и делая сальто перед приземлением на кучу листьев. Последний трюк делает его героем среди малышни.

Во вторник, просидев целых два дня по домам из-за дождя, старшие дети убегают купаться в реке. Только мелкота остается в качестве зрителей, когда ДжоДжо взбирается на дерево, хватая лиану и раскачивается. Но ладони соскальзывают с мокрой ветки, и сальто не удается. Приземлившись, он слишком сильно подается вперед, по инерции делая несколько шагов, и падает лицом вниз в дождевую канаву, полную воды. Малышня хлопает в ладоши, радуясь всплеску и новому комическому штриху в спектакле, потому что ДжоДжо решил не вставать сразу, а мечется в луже, как пойманная на крючок рыба. Малышня неистово хохочет, держась за животики. *Вот это ДжоДжо! Во дает!* Но когда ДжоДжо так и не поднимается, им становится скучно и они постепенно расходятся.

— ДжоДжо спрятался в воде и больше не хочет играть, — сообщает один из них Большой Аммачи.

Умиротворенная кормлением Малютки Мол, она улыбается.

Секундой позже отрывает младенца от соска. Вскидывает обе руки вверх, словно пытаясь остановить падение. Откладывает ребенка.

— В какой воде? — взвизгивает она. — Покажи мне! Где?

Оторопевший карапуз тычет пальцем в сторону оросительного канала, и она срывается с места.

Она видит гребнем торчащие над водой лопатки и спину ДжоДжо, его мокрые и блестящие волосы — волосы, которые всегда так трудно помыть. Она прыгает в мутную илистую канаву, боль пронзает позвоночник, потому что тут оказывается неожиданно мелко — вода едва доходит до колен, — и вытягивает ДжоДжо на сушу. Она нажимает ему на живот, и грязь выплескивается изо рта мальчика. Она кричит: «Дыши, ДжоДжо!» А потом истошно вопит: «АЙО, ДЖОДЖО, РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО! ДЫШИ!» Крик пронзает воздух и разносится на милю вокруг. Она слышит топот приближающихся шагов. Муж падает на колени рядом с ней. Он сжимает грудную клетку сына, давит на живот. Запыхавшись, прибегает Самуэль и опускается на колени напротив них, тянется ко рту ДжоДжо, вытирая грязь, и еще грязь, и еще, но тот все равно не дышит. Джорджи подхватывает ДжоДжо за лодыжки и переворачивает вниз головой, а Ранджан качает его руки вверх и вниз, и вода выливается из него, но он не дышит. Ранджан накрывает губы ДжоДжо своими и вдвухает воздух в его легкие, пока ДжоДжо висит вниз головой, свесив руки вдоль ушей, подобно рыбе,

которую взвешивают безменом... но он не дышит. Они кладут мальчика на спину и поочередно дышат ему в рот, стучат по спине, нажимают на живот. Она мечется вокруг них как безумная, рвет на себе волосы, рыдает в отчаянии, дико кричит: «Не останавливайтесь! Не останавливайтесь!» Но ДжоДжо, упрямый при жизни, в смерти еще более упрям, и он отказывается дышать — ни ради нее, ни ради отца, ни ради Самуэля, ни ради всех остальных, кто пытается помочь; он не будет дышать, чтобы спасти их разбитые сердца. Их усилия уже кажутся насильем над его безвольным телом. В конце концов муж отталкивает всех и со стоном прижимает сына к груди, тело его сотрясают рыдания.

Краем сознания она отмечает отдаленный пронзительный визг, опустошающий пару крошечных легких, потом судорожный вдох и новый крик. Она совсем забыла про Малютку Мол! *Если ты плачешь, значит, ты жива.* Она медленно пятится, боясь оставить ДжоДжо. Бежит в свою комнату, подхватывает ребенка. Приподнимает накидку, сует грудь младенцу, который, напуганный ее грубостью, начинает завывать еще сильнее. Она рассматривает маленькое личико, беззубые десны, уродливую гримасу недовольства; как отвратительна эта слепая потребность в ее плоти. В конце концов дитя жадно присасывается.

С ребенком у груди она ковыляет, чтобы еще раз увидеть своего ДжоДжо, ее верную тень и товарища восемь из десяти его лет, ее маленького героя, которого отец уложил на скамью на веранде, вверх гротескно раздутым животом. Муж, сломленный и раздавленный, воздевает руки и прижимает ладони к столбу, будто бы пытаясь повалить его, но он и держится на ногах лишь благодаря этой опоре. На лице ДжоДжо застыло недоумение. Она садится на корточки рядом с сыном, кладет ладонь на его похолодевший лоб и воет. Малютка Мол испуганно закатывает глаза и больно кусает ее за сосок. *Господь, думает Большая Аммачи, я с радостью обменяю эту новую жизнь, если Ты вернешь мне моего ДжоДжо.* Стыд за эту мысль отрезвляет ее. И она тянется к мужу, который все так же прирос к столбу, безмолвный в своем горе, как и в радости.

глава 9

Вера в малом

1908, Парамбиль

«Утонул на суше» — так она называет это. Впоследствии ее будет преследовать ночной кошмар: она несет на голове своих детей, мать и мужа, покачиваясь под грузом, зная, что если остановится, то утонет в земле и грязь заполнит ее рот. Когда она добирается до камня для поклажи, где можно отдохнуть, горизонтальная плита валяется на земле. Она оглядывается по сторонам, надеясь на помощь, но никого не видит на дороге, она одна.

Но худо-бедно она справляется, чтобы мог справиться Парамбиль. Будь рядом отец, он призвал бы ее «быть верной в малом». Его-то ничего не смущало, даже собственное страдание. Но в ней все противится этому стиху. Она злится на своего Бога. «Как я могу быть верной в малом, если Ты не верен в важных вещах?»

Неожиданно для себя она чувствует злость на скорбящего мужа. Гнев медленно растет внутри нее. Поначалу, как осиное гнездо, это всего лишь комок грязи на деревянной балке. Но постепенно разрастается, в нем появляются ячейки, а вскоре изнутри доносится ровный гул. Она молится об избавлении от гнева. Молится, хотя Бог обманул ее, ибо что еще остается человеку в таких обстоятельствах, кроме молитвы? «Я никогда не видела, чтобы хоть капля *tóddi*^[51] коснулась его губ. Никто не может обвинить его в лености или скупости. Он ни разу и пальцем меня не тронул и не тронет. Господь, он не заслужил мой гнев. Он тоже потерял ребенка. Откуда же такая злость?»

Дождавшись, пока муж завершит омовение, она идет к нему в комнату, оставив младенца на мать. В этот час, сразу перед ужином, он часто ложится, закинув руки за голову, словно сам процесс мытья утомляет его. Ей известны его причуды, хотя она никогда не понимает, что они означают.

К ее удивлению, он вовсе не лежит, а сидит на кровати — плечи расправлены, голова вскинута, словно он ждет ее и собирается с духом, готовясь к тому, что должно произойти.

— Мне нужно знать, — без предисловий заявляет она, становясь перед ним, лицом к лицу.

Он чуть поворачивается к ней правым ухом. Она уже давно поняла, что муж плохо слышит, но его вечное молчание отчасти скрывает недостаток. Она повторяет свои слова. Он смотрит на ее губы, ожидая продолжения.

Любой другой на его месте переспросил бы: «Знать что?» Но только не он. Ее терпение заканчивается.

— Мне нужно знать. — Она раздраженно заламывает руки. — Про Недуг.

Итак, она назвала его. Это первый важный шаг. Она дала имя тому, что ощутила с того момента, как состоялся уговор о браке, — шепотки насчет утопленников в этой семье, дом, построенный вдали от воды, его отвращение к дождю, его странный способ мыться — все то, чем страдал и их сын. *Недуг*. Нельзя узнать, как охотиться на змею, если не знаешь, как она называется.

Он не прикидывается, будто не понимает, но не двигается с места. Даже сидя, он по-прежнему выше нее, но разница в возрасте сейчас кажется ей меньше, чем когда-либо.

— Ради нашей дочери, — умоляет она. — Чтобы я могла защитить ее. И ради тех детей, которые еще у нас будут, с Божьей помощью. Мне нужно знать то, что знаешь ты. Почему ДжоДжо так панически боялся воды? Почему ты, супруг мой, никогда не вступал в лодку? У Малютки Мол тоже есть Недуг?

Муж встает, возвышаясь над ней, и сердце ее ускоряет ритм. Он никогда не надвигался на нее, угрожая. Она берет себя в руки. Но он проходит мимо, чтобы достать сверток, лежащий на полке под самым потолком. Нечто, завернутое в тряпку и перевязанное бечевкой. Муж вытягивает руку со свертком за порог, стряхивая с него пыль.

— Это принадлежало ей, — говорит он, словно такого объяснения достаточно.

Садится рядом и разворачивает расползающуюся грубую конопляную ткань. Второй слой — это тонкая кавани. Она чувствует запах минувшей эпохи, другой женщины, тот же запах, что порой

возникает в погребке; так пахли наряды, которые он передал ей, когда впервые повел в церковь. Запах матери ДжоДжо. Поверх всего лежит прозрачный мешочек из тончайшего хлопка, в котором хранятся обручальное кольцо и минну — изящная золотая подвеска в форме листа туласи, на котором золотыми бусинками выложено распятие. Он надел его на шею покойной жены, когда они поженились, точно так же, как надел подвеску на ее шею в день их свадьбы.

Он откладывает в сторону мешочек и протягивает ей маленький квадратный лист бумаги — запись о крещении ДжоДжо. В этот миг ее охватывает чувство вины, словно сейчас она сообщит матери ДжоДжо о смерти сына. Она еле сдерживает слезы. И не смеет поднять глаз на мужа. Весь ее гнев мгновенно испаряется.

Большие руки держат свернутый листок, потрепанный по краям. Чешуйницы погрызли уголки, а бумажные жучки проделали в нем серповидные отверстия. Муж бережно разворачивает пергамент. Это огромная карта или схема из полос бумаги, склеенных по длинной стороне, но рисовый клейстер, излюбленное лакомство чешуйниц, изрядно объедин. Он расстилает лист на их коленях. Текст выцвел. Еще несколько лет — и эти бумаги обратятся в прах.

Дерево. Толстый темный ствол изогнут, а на ветвях совсем немного листьев. На каждом листе имена, даты, пояснения. Она припоминает, как такое же генеалогическое древо рисовал ее отец. Она сидела у отца на коленях, а он объяснял: «Матфей описал генеалогию Иисуса, начиная с Авраама. Четырнадцать поколений до Давида, потом четырнадцать от Давида до Вавилонского пленения и еще четырнадцать от Исхода до рождения Иисуса». Отец был убежден, что Матфей пропустил два поколения. «Он был сборщиком налогов. Ему нравилась эта симметрия, трижды по четырнадцать поколений. Но это ошибка!»

Дереву на ее коленях недостает симметрии, и оно до жути точно. Она сразу понимает, что это каталог несчастий, сотрясавших семейство Парамбиля, но, в отличие от Завета Матфея, это тайный документ, спрятанный на стропилах и доступный взору только членов семьи, и только им непременно нужно увидеть его. Неужели требовалось потерять сына, чтобы заслужить право на это знание? У нее с этим мужчиной общий ребенок! Они связаны кровно, а он хранил это в тайне от нее.

Она подносит лампу поближе. Новый почерк, которым сделана запись о рождении ДжоДжо, определенно принадлежит его матери — почему *ей* было позволено увидеть это? Она уже знала о Недуге и сама попросила? Другие руки, некоторые из них старые и дрожащие, судя по разрывам в петлях, завитках и вертикалях письма малаялам, тоже старательно вписывали прибывших в этот мир. Возможно, это была мать ее мужа или его бабушка? И кто-то еще раньше, и еще раньше. Внутри сложенной карты есть еще маленькие листочки старинной небеленой бумаги.

Стиснув кулаки, он подглядывает из-за ее плеча.

Зацепившись взглядом за имя ДжоДжо на ветви, как за якорь, она видит, что династия Парамбия уходит в прошлое как минимум на семь поколений (не считая отдельных бумажных листочков) и на два поколения в будущее. Она вступает в незнакомые воды. Прошлое туманно, как призрачные тусклые чернила, осыпающаяся бумага. Среди родоначальников семейства есть работорговцы, парочка убийц и священник-вероотступник по имени Патроуз — так здесь говорится. Рядом с одним именем она читает: «Как и его дядя, но моложе, — она с трудом разбирает налезавшие друг на друга буквы, — и так никогда и не женился». Пояснение к «Папачан» за три поколения до ее мужа гласит: «Его отец, Захария, тоже глухой и с сорока лет шатался, ежели закрывал глаза». Отдельная записка гласит: «Мальчики страдают чаще, чем девочки. Следите за шустрými детьми, которые не боятся ничего, кроме воды. К тому времени, как их подведут к реке, все вы, матери, будете это знать».

Это прямо про ДжоДжо. Чья мать написала это предупреждение?

Она возвращается к дереву, к символу, который раз за разом появляется на некоторых ветвях.



— Что означают эти завитушки под странным крестом? — спрашивает она.

— Разве это не слова? — тихо переспрашивает он.

Она ошеломленно поворачивается к мужу. Много лет она читает ему газету за ужином, но никогда не видела, чтобы он сам читал. Ей всегда казалось, что ему просто не до того. Он не умеет читать! Как она не догадалась раньше? Бесхитрость его вопроса напоминает ей ДжоДжо, когда она впервые увидела малыша, и ее опять душат слезы.

— Нет, — мотает она головой. — Это не слова.

— Тогда это похоже на воду, — говорит он. — С крестом.

Муж внушает ей благоговейный трепет. Он неграмотен, но видит вещи такими, каковы они на самом деле, как увидел бы налет плесени на стволе дерева.

— Верно, — тихо соглашается она. — Крест над водой. Знак, что они погибли, утонув.

— Там есть Шантамма? — спрашивает он. — Старшая сестра моего отца?

Она находит и показывает: крест над водой рядом с именем.

— Она утонула еще до моего рождения.

Которая из убитых горем матерей придумала этот символ? При пляшущем свете лампы крест над волнистыми линиями напоминает облетевшее дерево в изголовье свежей кучки земли — могилу.

— Смерть от утопления есть в каждом поколении, — ведет она пальцем по бумаге. У некоторых крестов есть пояснения, и она читает вслух: — В озере... ручей... река Памба...

Муж кивает в сторону их общей печали:

— Оросительная канава.

Ей предстоит записать эти слова.

Много ли знал сват, устроивший их брак, о Недуге? А ее мать и дядя? Они знали и скрыли от нее? Или просто не придали значения? Но муж-то знал наверняка. Она не хочет ненавидеть мужчину, которого любит. Но ей нужно сбросить этот камень с души.

— Ты должен был рассказать мне то, что тебе было известно, — говорит она. — Мы могли бы защитить ДжоДжо, запретить ему качаться на ветках, лазать по деревьям...

— Нет! — так яростно выкрикивает муж, что она едва не роняет бумаги.

Он встает. Она видела этот гнев, но раньше он был направлен на других и никогда — на нее.

— Нет! Именно так поступила моя мать. Держала меня в доме, как узника, когда я просто хотел бегать, прыгать, лазать. А после смерти матери то же самое делали Танкамма и братья. Когда я смотрю на это, я вижу только завитки и закорючки, — продолжает он, тыча пальцем в бумаги. — Знаешь почему? Она не позволила мне ходить в церковную школу, потому что та была за рекой. Она не хотела, чтобы я даже близко подходил к реке. Теперь я знаю, что всегда есть способ добраться, куда тебе нужно, просто это дольше. У братьев и сестер никаких проблем с водой не было. Они ходили в школу. Однажды я сбежал. Братья и Танкамма заперли меня. Из любви, утверждали они! Но на самом деле из страха. От невежества! — Тон его смягчается. — Мать и Танкамма желали добра. Они хотели защитить меня, как ты хотела бы защитить нашего ДжоДжо. Но это сделало меня слабым. Братья дразнили меня, потому что я не умел читать. — Он меряет шагами комнату. — Поверь, ни меня, ни ДжоДжо не надо было уговаривать держаться подальше от воды. И пускай мы не умеем плавать, мы умеем делать много всего другого. Мы ходим. Мы лазаем по деревьям. Думаешь, я не оплакиваю своего единственного сына? Но если бы мне дали второй шанс, я ничего не стал бы менять. ДжоДжо не сидел на привязи. Те несколько лет, что отведены были моему сыну на этой земле, он прожил, как тигр. Он лазал по деревьям. Он быстро бегал. Он с лихвой заменил то единственное, чего не умел. — Голос его дрогнул. Он берет себя в руки и продолжает: — Я ничего не скрывал. Я думал, ты знаешь. Твой дядя точно знал. Прости, если ты не знала. Тебе нужно было просто спросить. Но я не хожу повсюду с колокольчиком, как прокаженный, рассказывая об этом. Это часть меня. Как у жены чеканщика, чье лицо побито оспой, или как у сына гончара с его вывихнутой ногой. Вот так и я. Я такой, какой есть.

Она забыла, что надо дышать. За один вечер он произнес больше важных слов, чем за все их совместно прожитые восемь лет. Толпа людей внутри него — маленький мальчик, отец и муж — гневалась и скорбела одновременно.

Лицо его смягчается.

— Тебе нужно было найти мужа получше.

Она тянется за его рукой, но он отодвигается и выходит из комнаты.

В голове у нее все смешалось. До сих пор не было никаких признаков, что Малютка Мол боится воды. Даже если Недуг не коснулся Малютки, она будет считаться порченной, способной передать дурное семя.

Дрожащей рукой она записывает год, когда умерла мать ДжоДжо. Рисует новую ветвь, отходящую от имени ее мужа. Пишет свое имя и дату их брака, потом рисует веточку от их союза, где подписывает «Малютка Мол»; прежде чем Малютке исполнится полгода, ее покрестят, и тогда она вставит ее настоящее имя и дату рождения. Сколько ветвей пойдет от Малютки Мол, когда она выйдет замуж? «Теперь я внутри, Господь, — говорит она. — Это мой Недуг, так же как и его. Как я могу обвинять?»

Под именем ДжоДжо она пишет год его ухода. Рисует три волнистые линии, трясущимися пальцами это легко. Как жестоко, как чудовищно несправедливо, что ДжоДжо погиб от той самой стихии, которой он всеми силами старался избегать. Над волнистыми линиями она рисует крест, похожий на дерево на Голгофе, три вершины разделяются на подветви, напоминающие крест Святого Фомы, но одновременно похожие на отрубленные ветви дерева, царапающие острыми концами небо. Теперь она убивается вместе с матерью ДжоДжо. *Я знаю, что он был твой, но и мой тоже, и со мной он жил дольше. Я так сильно любила его.* Перо скользит по бумаге, с трудом втискивая округлые завитки, хвостики и петли шрифта малаялам в маленький просвет: УТОНУЛ В ОРОСИТЕЛЬНОМ КАНАЛЕ. В памяти всплывают образы совсем маленького ДжоДжо, его щербатая улыбка — если бы только она сохранила эти молочные зубы, у нее оставалась бы хоть частица от него! А он настоял на том, чтобы посадить их и вырастить бивень, а потом забыл где.

Закончив, она смотрит на лист пергамента, Водяное Древо, вот так она назвала бы его. Недуг — это проклятие? Или болезнь? А есть ли разница? Она знает семьи, где кости у детей ломаются сами собой, а белки глаз у них с голубоватым оттенком. Но потом они перерастают это и взрослыми выглядят почти нормальными. Но когда однажды двоюродные брат с сестрой сбежали и поженились, их ребенок переломал все кости, выходя из материнской утробы, и ко второму году жизни ноги его были подтянуты к телу, как у лягушки, грудь сплющена, а позвоночник изогнут. Он умер, не дотянув и до трех лет.

Она сворачивает бумагу, перетягивает свиток своей ленточкой вместо бечевки. И забирает Водяное Древо к себе в комнату. Теперь это принадлежит ей. И впредь она будет хранить и восстанавливать родословие, растолковывать и передавать дальше.

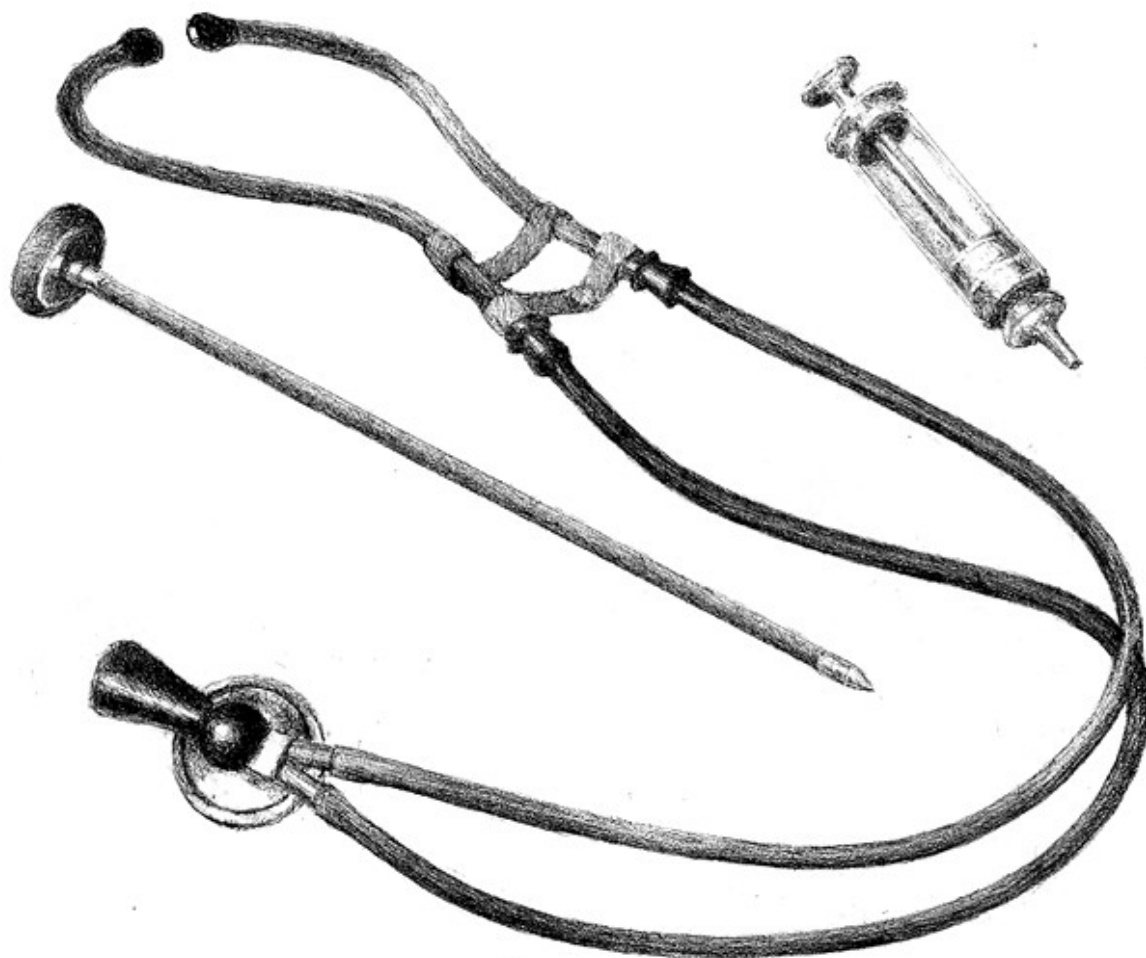
За ужином он не смотрит ей в глаза. Мать приготовила яичное карри в густом красном соусе, трижды надрезав сваренные вкрутую яйца, чтобы они получше пропитались соусом. Мама, с заплаканными глазами, ни разу не спросила, что за разговор на повышенных тонах произошел в спальне мужа за закрытой дверью.

Вечером мать и дочь молятся вместе. «Да возопиют живые и усопшие вместе: Благословен Грядый, и грядущий, и воскресит мертвых».

Потом, сняв платок с головы и баюкая Малютку Мол, ощущая пустоту там, где должен быть ДжоДжо, она чувствует себя вправе откровенно поговорить с Богом.

«Господь, возможно, Ты не хочешь исцелить эту боль по какой-то неведомой мне причине. Но если Ты не хочешь или не можешь, тогда пошли нам того, кто сможет».

Часть вторая



глава 10

Рыбка под столом

1919, Глазго

По субботам мама Дигби водила его в Гэти^[52], лучшее место Глазго. Годы спустя при воспоминании о тех днях нос его будет чесаться, как будто он вновь вдыхает запах чистящего средства, исходящий от кресел. Но даже эта едучая жидкость не могла перебить вонь стоялого табака, которой были пропитаны стены и пол.

У Джонни, продавца билетов в театре, после его боксерских боев в прошлом глаза смотрели в разные стороны. Он больше не указывал, что десятилетнему мальчику не стоит посещать шоу в варьете. Представление открывали танцовщицы, и мамина ладонь прикрывала глаза Дигби, пока не появлялся второразрядный фокусник. Мушки перед глазами Дигби продолжали плавать вплоть до следующего действия, которым обычно бывали шпагоглотатель или жонглер.

После антракта публика, изрядно принявшая на грудь крепкого, становилась более шумной и менее снисходительной. Дым от самокруток сгущался плотнее, чем утренний туман над Клайдом. Комики выходили на сцену, точно гладиаторы, но размахивая сигаретами вместо жезлов. За восемь минут сигарета догорает до окурка, обжигаящего пальцы, и ровно столько они должны были продержаться на сцене. Большинство освистывали уже через пять.

Мама все это время сидела с каменным лицом, мысли ее витали далеко, и это всегда пугало Дигби. Вспоминала, как сама выступала на сцене? Она ведь отказалась от актерской карьеры и, возможно, славы, потому что он должен был появиться на свет. Или думала о мужчине, с которым встретилась здесь, о том, кто разрушил ее жизнь? Дигби разглядывал артистов. Отца он никогда не видел, но Арчи Килгур был из их племени — колесят по городам, в каждом городе они завсегда там и тех же пабов (в Глазго это «Сарри Хейд»), лица трактирщиков знакомы им лучше, чем лица собственных чад, а на ночлег они устраиваются в какой-нибудь театральной норе, вроде пансиона миссис

Макинтайр. Мама однажды рассказала Дигби, как Арчи Килгур приколотил кусок копченой селедки под столешницей обеденного стола, когда миссис Макинтайр отказала ему в кредите. Дигби спросил, а почему под столешницей. «Ну глянь-ка сам, Дигс. Это же распоследнее место, куда суваться будут, коли завоняет. Во всем он такой. Пластается так, ублюдок, что под брюхом у змеи просквозит и шляпы не снимет».

Кто-то говорил, что Арчи уплыл в Канаду, другие — что никуда он не уезжал. У Арчи Килгура настоящий талант исчезать. Все, что Дигби о нем знает, — папаша его был из тех людей, что оставляют под столом пришпиленную рыбину, а Дигби он оставил пришпиленным к материнской утробе. Дигби думает, что и в других городах, где гастролировал отец, у него наверняка имеются братья и сестры: в Эдинбурге и Стирлинге, Данди и Дамфри, в Абердине...

Представление всегда завершалось зажигательной «Для каждого солдата есть девчонка», и песенка все еще звучала в ушах Дигби, когда они выходили из зала. Он радостно взбудоражен и будто парит над землей — точно сделался легче воздуха и мечтал, чтобы и мамуля чувствовала то же самое.

Дигби казалось, что никогда в прежние времена жизнь не была такой захватывающей, как нынче. Братья Райт совершили первый полет на аппарате тяжелее воздуха в 1903 году, но, как знает каждый шотландский школьник, вскоре то же самое повторили братья Борнуэлл в парке Козуйхед. Дигби мечтал управлять бипланом, а еще лучше — самому стать легче воздуха! Тогда он прокатил бы мамулю над Глазго и улетел с ней далеко-далеко. И она смеялась бы. И гордилась им...

По средам они устраивали себе угощение: чай в Гэллоугейт^[53]. Дигби ждал, пока мама и толпа из тысяч других «зингерш» вывалится за ворота фабрики по окончании смены. Продди^[54] появлялись первыми. Католики, к которым относится и его мама, выходили за ними; им платили меньше, и работа у них тяжелее. Ее мастер был из продди и болельщик «Рэйнджерс»^[55], разумеется. Глазго, как большинство шотландских городов, жестко разделен по религиозному принципу. Его деда с бабкой занесло сюда с Ирландской волной, случившейся после Голода^[56], которая превратила Ист-Энд в цитадель католицизма в Глазго (и базу футбольной команды «Селтик»).

Дигби обожал смотреть на квадратную башню с часами, высотой в шесть этажей. Здания фабрики тянулись по другую от нее сторону, как поезд в милю длиной. С каждой стороны башни, самой знаменитой достопримечательности Глазго, громадные часы по две тонны весом, на циферблате которых гигантскими буквами, видными с любого конца города, написано *SINGER*. Дигби мог накосячить печатными буквами *SINGER*, еще когда свое имя не умел писать. Стоя так близко и глядя вверх, Дигби ощущал присутствие Бога, которого зовут *SINGER*. У Бога были собственные поезда и железнодорожная станция, чтобы отправлять детали из литейного цеха в Хеленсбург, Думбартон или Глазго. Бог производил миллион швейных машин в год, на него работали пятнадцать тысяч человек. Благодаря Богу мама могла потратиться на бумагу для рисования и акварель для Дигби. Бог позволил им с мамой переехать от Бабули и жить отдельно, дурачиться, шуметь и лопать варенье с чаем хоть каждый день, если пожелают, и так они и делали.

Грохот сотен подбитых гвоздями башмаков означал, что рабочие спускаются по лестнице. Вскоре он замечал маму, рыжеволосую и прекрасную. Мужчины кидали на нее такие взгляды, что он тут же готов был броситься на них с кулаками. «Хорош! Я завязала с мужиками, Дигс, — сказала она как-то, отшив очередного ухажера. — Прожорливые лживые пасти, больше ничего».

Мать приближалась к нему без обычной улыбки.

— Они урезали сборщиц до одной дюжины, а остальные, значить, должны прикрыть прореху. Ты хоть надорвись — до ветру сбегать времени нет. И это все заради «высокой производительности»!

Сегодня чая не будет. Вместо чая мамины подруги собрались за их обеденным столом и замышляли забастовку. Дигби слышал, как они говорили, что Бог — мистер Айзек Зингер — на самом деле Дьявол. Бог оказался многоженцем с двумя дюжинами детей от разных жен и любовниц. По их словам, Бог больше похож на Арчи Килгура. Всю следующую неделю мама каждый вечер уходила на собрания, организовывала митинги поддержки, возвращалась поздно, с сияющими глазами, но бледная от усталости.

Он нарезает хлеб к чаю, когда вдруг слышит ее шаги на лестнице, но ведь еще слишком рано. Его охватывает дурное предчувствие.

— Они вытурили меня, Дигс. Вышвырнули твою мамку на улицу. Нашли повод.

Если она рассчитывала, что подруги выступят в ее защиту, она жестоко ошиблась. Поскольку она больше не работница фабрики, поддержка из забастовочного фонда ей не полагается.

Делать нечего, пришлось возвращаться к Бабуле, надутой ипохондричке, которая крестится всякий раз, как слышит церковные колокола, а Дигби называет «бастардом». Дигби с матерью спят в гостиной; больше никакого варенья, а порой даже и никакого хлеба. Когда он уходит в школу, мама лежит, накрыв голову одеялом, а когда возвращается, застает ее в том же виде. Ее пустые глаза напоминают глаза пикши, выложенной рядком на льду на рыбном рынке Бриггейт.

— Эт все твои гулянки в «Гэти», — с наслаждением выговаривает Бабуля.

Вот так и рассыпается мир мальчика. Четырехглазое чудовище на башне следит за каждым его шагом по пути из школы. И никакие мелодии из шоу больше не звучат в его голове. Они с мамой незваные гости в доме, где один могильный дух да старческие газы «старой фарисейки-ехидины», как любит приговаривать мама.

Доктор, явившийся в убогую квартирку, сказал, что у мамы «кататония». Когда она смогла встать, Дигби проводил ее до фабричной конторы и аптеки. Работа, любая работа, быстро исцелила бы ее. Но с таким же успехом она могла нацепить на себя табличку РЫЖАЯ АГИТАТОРША ФЕНИЕВ. Так ее обозвал мясник. Она прибирается в чужих домах, когда может, — сама инвалид, а нанимается ухаживать за инвалидами.

Зимы такие холодные, что Дигби не снимает шапку даже дома, но одну перчатку все же приходится стягивать, чтобы делать уроки. Бабуля пилит дочь: «Да займись уже чем-нить. У нас ни угля, ни жратвы. Коль ни на что не способна, кроме как ноги раздвигать, ну так валяй. Ты ж так и вляпалась в энто дерьмо».

Спустя семь лет после маминого увольнения они все еще живут у Бабули. После школы он по привычке приглядывает за матерью, сидит рядом с ней, делая наброски в старом, заплесневелом гроссбухе, который отдал ему сосед. Пером и чернилами он создает яркий,

чувственный мир. Прекрасные женщины на высоких каблуках, превращающих лодыжки в эротичные колонны, женщины с узкими плечами и пышными бедрами, в изящных шляпках и меховых мантиях. Там и сям из декольте выступает грудь. Газетная реклама отлично подходит для совершенствования техники. Глаза, которые он рисует, становятся все лучше, крошечный квадратик отраженного света над радужкой оживляет его творения, позволяет им созерцать своего создателя. Когда в библиотеке «Клайдбанк» на Думбартон-роуд Дигби обнаруживает книжку по анатомии, женщины на его рисунках обзаводятся прозрачной кожей, через которую видны кости и суставы. Его успокаивает мысль о том, что как бы люди ни разочаровывали, их кости, мышцы и всякие внутренности неизменны, их внутренняя архитектура постоянна и одинакова... за исключением «наружных половых органов». Интимные места женщины гораздо менее заняты, чем он ожидал, — мохнатый холмик, двугубый портал, который скрывает больше, чем показывает, оставляя в еще большем недоумении.

Мама когда-то была самой роскошной женщиной из тех, что он знал. Но сейчас, после стольких лет безработицы, она прекратила бороться, почти не говорит, часами лежит в постели. Однако и в линии руки, прикрывающей щеку, и в изгибе между предплечьем и запястьем, и в переходе от ладони к пальцам сохранилась природная грация. Рыжие волосы больше не похожи на пламя, и седая прядь на макушке — как будто мама вляпалась в сырую побелку. По временам она пристально смотрит на сына, словно наказывая за что-то, и он начинает чувствовать себя виноватым во всех ее бедах. Она постарела, но он не верит, что мама когда-нибудь станет похожа на Бабулю, с этими воспаленными трещинками в углах рта, подпорками для матерщины.

Мать напустилась на него один-единственный раз, когда Дигби сказал, что бросит школу и пойдет работать.

— Валяй, и я сразу сдохну, — в ярости шипела она. — Тока коли выбьешься в люди, сможешь вытащить мать из этого ада. Да я тока об твоём будущем и мечтаю. Не смей порушить мои надежды, не подведи меня.

В итоге это она его подвела. К тому времени он уже почти взрослый, со стипендией Карнеги-колледжа, пробившийся вопреки

всему. Он собирается изучать медицину, поскольку ему интересно, как устроено человеческое тело и как оно работает.

В воскресенье, после целого дня занятий, он возвращается домой. Бабули нет. А над его письменным столом мать непристойно показывает ему язык — язык в три раза больше обычного и весь синий. Ее лягушачьи глаза насмеваются над ним. Судя по запаху в комнате, она обделалась. Мать свисает с потолка, пальцы ног не касаются земли. В синюшную плоть шеи врезался его школьный галстук.

Дигби шарахается к двери, роняет учебники. Вот поэтому он и не спал ночами. Вот этого он и боялся, хотя никогда не осмеливался произнести вслух. Он слишком напуган, чтобы приблизиться к телу и снять его.

Он позволяет старухе самостоятельно сделать жуткое открытие. Бабуля визжит, а потом рыдания заполняют комнату. *Пулиция* снимает тело. Соседи глазуют на завернутую в простыню фигуру. Душа его матери была мертва уже много лет, а теперь за ней последовало и тело.

Дигби выходит на улицу. Двадцать второе мая, четверть пути, отмеренного веку, десятилетие после войны, породившей чудовищную бойню. Еще одна смерть едва ли имеет значение, но для него она самая важная. Ноги несут Дигби прочь. Он хочет к людям, к свету, к смеху. И вот он в пабе, битком набитом гуляками. Приходится орать бармену, требуя свои две пинты. «За папаню и его подружку», — возглашает он, кивая в зал. Мерзкий тост. Он думает про Арчи Килгура. *А ты выпиваешь сегодня, а, бродяга? Ты сегодня овдовел, не знал, а?* Для матери у него нет слез, только гневные слова. *Ты подумала обо мне, Ма? Думаешь, сбежала в лучшее место?*

Его вышвыривают из паба, он не понимает почему. Позже Дигби оказывается в маленькой темной пивной, где пьют в суровом молчании. Втискивается в кучку парней, которые встречают его злобными взглядами. «Две пинты за папаню», — повторяет он, но, не потрудившись уйти за стол, осушает первый стакан прямо у стойки. Замечает на стене прямо перед собой сине-белый флажок, а потом видит, как эти цвета повторяются на шарфах мрачных мужиков вокруг. *Твою ж мать, я в пабе «Рэйнджерс»!* Он пытается сдержать смех, но безуспешно. «Долбаные „Рэйнджерс“!» — трясет он головой. Он что, сказал это вслух?

Мужик за стойкой велит Дигби убираться. У Дигби есть предложение получше: он выпьет свою вторую пинту, не сходя с места.

Кулак врезается ему в ухо. Бутылка разлетается вдребезги, и что-то острое впивается в угол рта. Хозяин обходит залитую пивом стойку и вышвыривает его на тротуар. «Проваливай, пока они не дорезали тебе улыбку до конца, а вместе с ней и тебя!» Дигби ковыляет за угол, протрезвев от осознания того, что эти молчаливые мужики могли решить, что убийство гораздо веселее попойки.

Из газетного киоска на углу на него торжествующе льбится море одинаковых симпатичных рож. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЛИНДБЕРГА, кричат заголовки. ГЕРОЙ АМЕРИКИ. Сладковатая влага, стекающая в рот, имеет металлический привкус. Рукав красный. Взгляд не фокусируется. Неужели человек в самом деле смог перелететь через Атлантику? Да! Написано же крупными буквами. На аэроплане под названием *Дух Сент-Луиса*. Линдберг приземлился, а его мать вознеслась. Дигби совсем не чувствует боли.

глава 11

Каста

1933, Мадрас

«Путешествие расширяет сознание и облегчает кишечник». Бараний кебаб, купленный на уличном лотке в Порт-Саиде, поставил Дигби на колени, заточив на двое суток в каюте, — время вполне достаточное, чтобы оценить напутственные слова профессора Алана Элдера в Глазго. К моменту, когда Дигби оклемался, они уже покинули Суэцкий канал и проходили Баб-эль-Мандеб, Врата слез. Этот узкий пролив, едва восемнадцать миль в ширину, соединяет Красное море с Индийским океаном. С одного борта видно Джибути, с другого — Йемен. За вычетом трехмесячной командировки в Лондон все двадцать пять лет своей земной жизни Дигби провел в Глазго и мог бы остаться там до конца дней, так никогда и не увидев этого слияния вод, так и не познав, что Ла-Манш, Средиземное море, Красное море и Индийский океан, несмотря на все их различия, суть одно. Все воды едины и связаны между собой, и только земли и люди разделены. А его земля — это место, где он не может более оставаться.

Судно под его ногами вздыхает и стонет, как живое существо. Дигби бродит по палубе в широкополой шляпе, хотя она не защищает от блеска солнечных лучей, отражающихся от поверхности воды и покрывающих его лицо загаром, от чего заметнее становится бледный неровный шрам, рассекающий левую щеку от угла рта до левого уха. Изменчивый нрав и цвет Аравийского моря — лазурный, густо-синий и черный — отражают приливы и отливы его мыслей. Горизонт вздымается и опадает, соленые брызги холодят лицо, Дигби чувствует, как, стоя неподвижно на месте, он в то же время стремится к собственному будущему.

Дигби заглядывает в пассажирский салон первого класса, ему неловко от собственного любопытства, но роскошь вызывает благоговейный восторг — диваны и бархатные кресла, тяжелые

парчовые шторы и раздвижные двери, пропускающие лакеев и горничных обслужить гостей. На борту судна махараджа, он и его свита забронировали весь первый класс. Дигби плывет классом ниже, у него крошечная, но отдельная каюта. А ниже есть еще два класса, и существуют они настолько отдельно, что он их едва слышит, но никогда не видит.

Волнение на море вызывает то ли морскую болезнь, то ли рецидив кебабной хвори. Если ты сам врач, трудно быть объективным в отношении собственных симптомов. Когда Дигби не появляется в столовой уже во второй раз, Банерджи, сидящий за тем же столом, заглядывает к нему в каюту — проверить, как дела.

Встревоженный видом Дигби, который с трудом может поднять голову, Банерджи возвращается с бульоном и успокоительным. Запах настойки камфары и аниса поселяется в каюте и успокаивает желудок. Банерджи — или Банни, как предложил он Дигби называть его, — около тридцати, у него детское лицо и телосложение мальчика, выросшего на молоке и сливках, не знавшего вкуса мяса; смугловатая кожа, которую он прилежно защищает от солнца, светлее, чем загар Дигби. Для барристера Банни выглядит чересчур юным, его приняли в коллегии адвокатов после четырех лет учебы в Лондоне. Путь, который он избрал, подобен пути Ганди в конце прошлого века, как сдержанно, но с гордостью отмечает Банерджи.

Когда Дигби возвращается за обеденный стол, миссис Энн Симмондс, жена районного налогового инспектора в округе Мадрас, сообщает: «Сегодня вечером утка», словно и не заметив недавнего отсутствия Дигби. На ее широком лице нет ни единого угла, ни единой ровной линии, она напоминает Дигби бульдога с влажными глазами в обвисших складках. С первого дня миссис Симмондс взялась командовать за столом, ведя себя, как пассажир первого класса, по доброте душевной решивший трапезничать с простым людом. Ежевечерне слушая ее разглагольствования, Дигби вспоминает свою трехмесячную стажировку в больнице Святого Барта в Лондоне — награда за блестяще сданный экзамен, который он сдал лучше всех на третьем курсе медицинской школы. Пока он не оказался в палатах Барта, Дигби и не подозревал, что у него есть какой-то акцент и что из-за этого люди будут считать его тупой деревенщиной. Пробуждение

оказалось жестоким. Полностью избавиться от акцента он не смог, но сумел смягчить его; он прилагал огромные усилия, чтобы избегать слов и фраз, которые выдают его происхождение. Впрочем, ему все равно не удалось одурочить миссис Симмондс, которая полностью игнорировала его присутствие. И сейчас Дигби слышит, как она заявляет собеседнику, сидящему напротив: «Мы, англичане, знаем, что лучше для Индии. Вот когда вы туда попадете, сами увидите».

Позже тем же вечером Дигби прогуливается по палубе с Банни. Несмотря на зародившуюся между ними близость, политику они не обсуждают. Дигби признается в полном своем невежестве по части мира за пределами Глазго, да и вообще за пределами больницы.

— Последние несколько лет я фактически прожил в отделении. Газета могла попасть в руки, если только вдруг оказывалась под повязкой на ране или в животе, который я оперировал.

Он компенсировал упущенное, штудировав газеты в судовой библиотеке. Заголовки предупреждают о намерении Германии начать перевооружение, вопреки условиям Версальского договора. Военственный новый канцлер обещает вывести страну из экономической разлухи. Но об Индии новостей мало.

— Ты мог бы расспросить миссис Симмондс.

— Нет уж, благодарю, — фыркает Дигби.

Банни улыбается, протирая очки и косясь на Дигби.

— Зачем ты отправился в Индию, Дигби?

Облака на горизонте выстраиваются в ровную линию. Где-то там земля. Они сейчас плывут вдоль западного побережья Индии, мимо Каликута или Кочина.

— Долго рассказывать, Банни. Я влюбился в хирургию. Был хорошим студентом, потом хорошим стажером в хирургическом отделении. Любознательным, азартным. Ответственным. Если был не на дежурстве, то болтался на «скорой», надеясь пристроиться на какой-нибудь несчастный случай. Но когда настало время поступать в хирургическую ординатуру в Глазго, оказалось, что я рылом не вышел. А если не в Глазго, то вообще никаких шансов. Поэтому я вступил в Индийскую медицинскую службу, надеясь все же стать толковым хирургом.

— Ты католик, в этом все дело? Как они догадались? — недоумевает Баннерджи. — По имени?

— Нет. Мое имя может быть как протестантским, так и католическим. А вот, к примеру, Патрик, Тимоти или Дэвид — это, считай, сразу провал. Но я получил стипендию в колледже Святого Алоизия. Заведение иезуитов. Такое не скроешь. Но и без того я как будто подаю тайные знаки, на мне словно клеймо. — Дигби с сомнением смотрит на собеседника. — Уверен, это трудно понять.

— Вовсе нет, — смеется Банерджи. — Напротив, очень знакомо.

Дигби смущен. Ужасно глупо жаловаться человеку, который с рождения живет под игом британского правления. Но Банни и по виду, и по речи гораздо больше англичанин, чем Дигби.

— Прости...

— За что ты извиняешься, Дигби? Ты жертва кастовой системы. Мы в Индии веками так относимся друг к другу. Неотъемлемые права браминов. Отсутствие каких бы то ни было прав у неприкасаемых. И весь спектр вариаций между теми и другими. Каждый, на кого смотрят свысока, в то же время сам может смотреть свысока на кого-то другого. Кроме самых низших каст. Британцы просто пришли и опустили нас всех на ступеньку ниже.

Судно огибает южную оконечность Индии и направляется к Коромандельскому берегу^[57]. В полночь Дигби стоит на палубе совсем один. Черные волны мерцают зеленым и синим, словно в глубинах океана бушует пожар. И он единственный свидетель невыносимо прекрасного, но таинственного зрелища. (Только на следующий день он узнает от стюарда, что это светящийся планктон, редкое явление.) Для Дигби это как будто еще одно подтверждение, что в путешествии он сбросил прошлое, как грязную перчатку. Он отшвырнул от себя Глазго, разоренный Великой депрессией, отбросил скороговорку его жаргона, оттолкнул последних оставшихся в живых родственников, утратил все, кроме гноящейся раны, которую этот город оставил на нем. Единственной отраслью, которая процветала в Глазго, было насилие. Оно бурлило в Горбалс^[58] за стенами больницы и повсюду в городе, каждую ночь оно являло себя в палатах скорой помощи. Дигби, как стажер, зашивал лица, профессионально исполосованные бритвами воюющих банд, «Билли Бойз» или «Норман Конкс», — симметричная пара косых разрезов от углов рта к ушам, на всю жизнь отмечающих жертву «улыбкой Глазго». Дигби считал, что

ему повезло, у него шрам только с одной стороны; разбитая бутылка, не такая острая, как бритва, оставила всего лишь неровную ложбинку рядом с естественной. Бледная печать той жизни, которую он хочет забыть. Он мог бы простить Глазго свой шрам, свои разочарования, самоубийство матери. Это не причина для бегства — даже в страдании, если оно привычно, есть утешение. Но вот чего он простить не мог, так это того, как после рабского труда, после его неистовой, почти маниакальной преданности хирургии он подошел к заветной двери и не получил пароль. Его наставник, профессор Элдер, человек вне каст, хотя и выходец из высших слоев Эдинбурга, искренне попытался помочь, предложив выход. «Я знаю место, где вы получите колоссальный опыт и, если повезет, найдете великих учителей в хирургии. Что скажете насчет Индийской медицинской службы?» *Твое-то от тебя не уйдет*, думает Дигби. Мама частенько так говорила. Что ж, коли на роду написано, сбудется непременно.

Сойдя с судна в Мадрасе, он будто попал на другую планету. Население города составляет шестьсот тысяч человек, и почти все они собрались на пристани, или так, по крайней мере, кажется Дигби — из-за какофонии звуков, суматохи, толпы и жары. Он вдыхает запахи дубленой кожи, хлопка, вяленой рыбы, благовоний и соленой воды — главные ноты древнего аромата этой тысячелетней цивилизации.

Муравьиной цепочкой тянутся из корабельного трюма докеры, сгибаясь под тяжестью джутовых мешков, перекинутых через плечо, их черная кожа лоснится от пота. Женщины, толпящиеся около таможни, напоминают букет из ярко-зеленых, оранжевых и красных сари с яркими узорами. Он зачарованно разглядывает блестящие искры камешков на крыльях носа, красные отметины на поблескивающих лбах, золотые украшения, свисающие с ушей и словно отражающиеся в мерцании тяжелых складок расшитой ткани. Рикши и повозки, выстроившиеся вдоль пристани, раскрашены во все цвета радуги. Яркая, раскованная палитра Мадраса — это откровение. Нечто внутри него, прежде зажатое, начинает распускаться.

В помещении таможни он наблюдает, как миссис Энн Симмондс приветствует маленького коренастого мужчину, вероятно мужа, налогового инспектора, — ни одна из сторон не демонстрирует особой радости воссоединения. Она, вскинув подбородок, шагает к

маленькому автомобилю, вздернутый нос устремлен в сторону Вестминстера, а на лице истинно королевское выражение.

— Эй! Я сказал нет! Что за наглый *бабу*!^[59] Задать тебе трепку?

Дигби оборачивается и видит, как краснолицый англичанин поднимается из-за стойки таможни и нависает над Банерджи. Картина вызывает у него озноб, мучительное осознание того, что он одним фактом своего прибытия становится оккупантом; его неотъемлемое право — первым сойти на берег, быстро получить печать на своих документах и никогда не слышать, чтобы к нему обращались подобным образом.

В сыром сарайчике таможни стрелки часов замерли — в ожидании, что же дальше. В парниковом воздухе дыхание Дигби учащается, и он рефлекторно делает пару шагов, намереваясь вмешаться.

Но тут вступается другой таможенник. Банерджи хочет всего лишь сойти на берег на двенадцать часов, пока судно стоит у причала, чтобы навестить друга в Мадрасе, прежде чем продолжить путь на север, в Калькутту. Старший чиновник бросает неприязненный взгляд на своего подчиненного, ставит печать в документы Банерджи и пропускает его. Взгляд Банни падает на Дигби. Полуприкрытые глаза стали твердыми, как камень, и в них мрачное негодование и непоколебимая решимость поработенного народа, который выжидает своего часа. Затем это выражение растворяется. Он одаривает Дигби стоической улыбкой и направляется к отдельному выходу для цветных. Не махнув рукой на прощанье.

глава 12

Два просто больших

1933, Мадрас

Клерк из больницы, который встречает его в порту, потрясен тем, что у Дигби с собой только потертый чемодан. Они поехали на рикше, которую тянули не выючные животные, а человек. Дигби плохо соображает из-за жары и *mal de débarquement*^[60], он жадно впитывает картинку — корова, слоняющаяся посреди широкого проспекта; мелькающие с обеих сторон темные лица; сапожник, занимающийся своим делом прямо на пыльном тротуаре; приземистые беленые строения с нарисованными от руки вывесками и кучка хижин на берегу стоячего пруда. Они подкатывают к бунгало недалеко от бухты и рядом с госпиталем «Лонгмер», его новым местом работы.

Босой низкорослый мужчина в белой рубашке и белых штанах надевает на шею Дигби жасминовую гирлянду, затем кланяется, сложив ладони под подбородком. Мутхусами будет слугой и поваром Дигби. Как человек, привыкший называть банку сардин своим завтраком, обедом и ужином, Дигби не может взять в толк, что значит иметь собственного повара, не говоря уж о гирляндах. Белоснежные зубы Мутху ослепительно сияют на угольно-темном лице, на лбу у него пеплом нарисованы три горизонтальные полосы — *вибути*, как позже узнает Дигби, священные индуистские знаки; Дигби увидит, как он будет наносить их каждое утро, после воскурения камфоры и молитвы перед маленьким изображением божества, пристроенным на кухонной полке. Седеющие волосы Мутху разделены на пробор и густо умощены, весь он излучает доброжелательность. Дигби умывается и садится за обед, приготовленный Мутху, — рис со штукой, которую Мутху называет «корма из цыпленка», курица в ярко-оранжевом соусе. Дигби проголодался, и эта корма, смешанная с рисом, очень аппетитная, настоящее буйство вкусов на языке. Он доедает почти все, прежде чем с запозданием замечает, что рот его горит, а лоб усеян каплями пота. Загасив пламя ледяной водой, Дигби ложится отдохнуть под лениво

вращающимся вентилятором. Последняя трезвая мысль, что надо попросить Мутху класть поменьше горючих ингредиентов в стряпню, пока он не попривыкнет. А потом засыпает на целых одиннадцать часов.

На следующее утро помощник гражданского хирурга Дигби Килгур является на службу в комплекс двухэтажных беленых зданий, который оказывается госпиталем «Лонгмер». Он расположен достаточно близко к порту, чтобы запахи дегтя и соленой воды доносились до больничных палат. Дигби должен представиться гражданскому хирургу Клоду Арнольду, каковой, как выясняется, не слишком пунктуален. Проходит час, в течение которого секретарь Арнольда периодически произносит загадочную фразу «Доктор Арнольд в настоящий момент только что пришел, сэр». Секретарь, и его помощник англо-индеец, и босоногий слуга дружно улыбаются Дигби. «Не желаете чаю, доктор? Или градусного кофе?» «Градусный кофе» оказывается приторно-сладким и вкусным, это кофе, сваренный в горячем вспененном молоке. А называется так, объяснили Дигби, потому что лактометр, которым проверяют, не разбавлено ли молоко, очень похож на градусник.

Крутящийся под потолком вентилятор шевелит края бумаг, придавленных камешком. Все прочее застыло неподвижно. Трое служащих демонстрируют томное мастерство не шевелить ни единым мускулом в этой удушающей жаре. Веки хорошенькой секретарши трепещут всякий раз, как он взглядывает в ее сторону, нечто вроде азбуки Морзе, думает Дигби. Изящные руки ее смуглы, но густо напудренное лицо белое как мел, особенно на фоне кроваво-красной губной помады и блестящих черных волос. Она напоминает ему девушек из варьете в свете софитов.

Ближе к полудню персонал вдруг начинает шелестеть бумагами; слуга встает. Они явно получили тайный сигнал. Минутой позже в дверях материализуется светловолосый англичанин лет сорока с небольшим, в щегольском белом льняном костюме и сверкающих коричневых туфлях, слуга подхватывает протянутый пробковый шлем. Присутствие Дигби англичанин отмечает движением брови. Судя по широким плечам, он бывший спортсмен, в целом привлекательный мужчина, но болезненный цвет лица и опухшие, налитые кровью глаза

намекают на распутный образ жизни. Маленькие усики темнее, чем волосы на голове, и Дигби это почему-то кажется забавным.

Главный гражданский хирург Клод Арнольд изучает своего свежеприбывшего подчиненного, он видит молодого человека с густыми волосами, растущими «вдовьим мыском»^[61], неправильной формы ямочкой на левой щеке, с мятым блейзером, перекинутым через локоть, и в шерстяных брюках, которые в Мадрасе может носить только мазохист. Дигби ежится под этим пристальным взглядом. Клод Арнольд уверен в себе, как школьник из хорошей семьи, столкнувшийся с представителем социальных низов. Он просматривает документы Дигби, и листы в его руках слегка подрагивают. Предлагает сигарету; бровь вновь взмывает вверх, когда Дигби отказывается, словно новичок провалил еще один экзамен. В конце концов, выпив кофе, Арнольд встает и жестом предлагает Дигби следовать за ним.

— В вашем ведении два хирургических отделения. Под моим руководством, разумеется, — бросает Арнольд через плечо. — Оба для местных. За ваши грехи, старина. Я веду отделения англо-индийцев и британцев. С вами будут работать два ДПВ, Питер и Кришнан. — Он с наслаждением затягивается сигаретой, будто бы демонстрируя Дигби, что тот упускает. — На ДПВ мне плевать. Я бы предпочел иметь настоящих врачей, чем этих пародийных бабу.

Дигби известно, что дипломированные практикующие врачи проходят сокращенный двухгодичный курс для получения диплома и имеют право заниматься медициной.

— Но это же Индия. Без них не обойтись — по крайней мере, нам так говорят.

Арнольд заходит в мужскую палату для местных.

— Где старшая сестра Онорин? — недовольно спрашивает он у смуглокожей медсестры, которая с улыбкой бросается ему навстречу.

Старшая сестра ушла в аптеку.

В длинной комнате с высоким потолком пациенты занимают койки вдоль стены, а те, кому не хватило места, лежат на матрасах между коек. Снаружи находится крытая терраса, где на циновках лежат еще пациенты. Мужчина с гротескно раздутым животом и изможденным лицом, на котором выделяются скулы, сидит на краю кровати, поддерживая себя руками-палочками. Встретившись взглядом с Дигби, он широко улыбается, но лицо его настолько высохло, что кажется,

будто он скалится. Дигби кивает в ответ. Вид страдания ему знаком, этот язык не знает границ. Палата для женщин располагается напротив через коридор, и она тоже битком.

В англо-индийской палате доктора Клода Арнольда в настоящий момент всего один пациент плюс одинокий стажер при нем. Остальные тщательно заправленные койки стоят пустые. В британское отделение Арнольд Дигби не приглашает. Последняя, как он узнает позже, представляет собой шесть отдельных комнат на верхнем этаже, полностью свободных. Британцы и англо-индийцы могут выбрать для решения своих хирургических проблем Центральную больницу^[62] рядом с вокзалом или даже Больницу Ройапетта^[63].

На втором этаже следом за помывочной располагаются две операционные.

— Сегодня операционный день вашего отделения, — сообщает Арнольд. — Вам отвели вторник и пятницу. Для туземцев некоторое время не было хирурга. Ну да, у нас есть ДПВ. Они могли бы выполнить некоторые манипуляции, если бы я им позволил. Но сразу после, глазом моргнуть не успеете, они откроют в каком-нибудь городишке лавку и назовут себя хирургами. — Арнольд показывает на пробковую доску: — Взгляните, — и исчезает из виду.

Операционный лист на день впечатляет своей длиной: две ампутации, череда гидроцеле^[64] и грыж и четыре Р&Д — рассечение и дренаж тропических абсцессов. Но никакой информации о серьезных операциях. Клод Арнольд возвращается, глаза у него блестят, чего прежде не замечалось. Дигби улавливает медицинский запашок, исходящий от главного хирурга.

— Итак, вы хирург, — с неожиданно теплой полуулыбкой констатирует Арнольд.

— Ну, не совсем, доктор Арнольд. Я, конечно, прошел полный курс и...

— Чепуха! Вы хирург! Кстати, зовите меня Клод. — Его новый задушевный тон — чисто интонации капитана крикетной команды, которому нужно десять ранов от последнего отбивающего. — Научитесь в процессе. И помните, Килгур, для этих людей выбор невелик — или вы, или никто. Дерзайте! — Уголки рта Клода приподнимаются, и непонятно, то ли он поделился секретом, то ли пошутил. — Хватайте быка за рога. — И продолжает, обращаясь к

санитару: — Выдайте доктору Килгуру шкафчик и все, что потребуется.

На этом инструктаж заканчивается.

И, не успев опомниться, Дигби уже помыт, обряжен в халат и перчатки. Аромат этой операционной, находящейся через континенты от Глазго, знаком и привычен: эфир, хлороформ, фенол и стойкий гнойный запах недавно вскрытого абсцесса. Но на этом сходство с Глазго заканчивается. Дигби таращится на поразительное зрелище, обрамленное хирургическими салфетками, — мошонка, раздувшаяся до размеров арбуза, достигает коленных чашечек. Пенис утонул в отеке, как пупок тонет в тучном брюхе. Когда он прочел в списке «гидроцеле», он совсем не так это себе представлял. Он рассчитывал увидеть умеренное количество жидкости, заполнившей пространство под *tunica vaginalis*^[65], укрывающей тестикулы. Он оперировал одностороннее гидроцеле у ребенка, элементарная процедура. Но та нежная, размером с лимон припухлость мошонки не имеет ничего общего с этим бурым морщинистым бегемотом. В соседней операционной полным ходом идет ампутация. Пройдет немало времени, прежде чем ДПВ оттуда сможет ему помочь. Клод испарился. И Дигби наяву переживает ночной кошмар каждого хирурга: пациент под наркозом, полость тела открыта, но анатомия неузнаваема. Ноги у него подкашиваются.

Операционная сестра-тамилка, стоящая напротив, улыбается под маской.

— Это... крупная штука, — мычит Дигби, сложив руки в перчатках наподобие священника.

— Аах, да, доктор... Довольно большая, — соглашается сестра, и, судя по ее тону, «довольно большая» означает, что им повезло, а с мелким не стоило и возиться.

Голова ее, как и у Мутху, совершает движения, сбивающие его с толку: то, что в Шотландии означает «нет», здесь становится «да», наклон с поворотом.

— Но только до колен, — добавляет она с ноткой легкого разочарования.

В течение следующей минуты Дигби уясняет: гидроцеле (и паховые грыжи, как он вскоре узнает) подразделяются на «выше колен» и «ниже колен» и только последние на самом деле заслуживают

называться «довольно большие». Если бы данный образчик был рыбой, сестра, возможно, выбросила бы его назад в реку.

Дигби обливается потом. Чья-то рука вытирает ему лоб, прежде чем капли успевают упасть на пациента, — это босой санитар, который заодно отвечает и за эфирную маску. Операционная сестра открывает поднос с инструментами и ждет указаний.

— Вообще-то я никогда не видел ничего подобного, — тянет время Дигби.

— Довольно большое, — повторяет она, но с меньшим энтузиазмом, озадаченная тем, что доктор никак не делает разрез. Ее седые коллеги в Глазго могли бы на это ответить: «Ай, это отечная мошонка, и ты уж дважды это сказал, но от болтовни-то она меньшей не станет, так хватай ножик-то и дуй вперед».

глава 13

Сверх меры

1933, Мадрас

Корпулентная белая женщина врывается в операционную, узловатыми пальцами прижимает к лицу хирургическую маску, в спешке позабыв про тесемки. Из-под криво сидящей шапочки выбиваются седые волосы.

— Я старшая сестра Онорин Карлтон. Опоздала к вам на обход, не успела поймать вас в отделении, — запыхавшись, говорит она. — Ай, бедняжка, вижу, Клод швырнул вас прямо в бой. Боже милосердный! Мог бы дать время встать на ноги, освоиться, — тараторит она с заметным знакомым акцентом, сразу ясно, что она джорди^[66].

Он чуть отступает от стола.

— Сестра, я...

Синие глаза в гнездах из тонких морщинок смотрят внимательно и понимающе.

Она обходит стол, понижает голос до шепота:

— Все ведь в поряаадке?

— Да, да! Благодарю вас... То есть нет... Я в некотором затруднении, — шепчет он в ответ. — Я бы хотел сначала осмотреть пациента. Мне бы подумать, прикинуть план операции... Я оперировал гидроцеле, но, сестра, это — я не понимаю, с чего начинать.

— Ай, ну конечно! — машет она рукой. — Питер или Кришнан могли бы помочь, но оба заняты. Вот что я вам скажу: *не сдались вам ни разу* никакие помощники, но сегодня ваш первый день, так что, если вы возражений не имеете, я сама пойду в помывочную подготовлюсь.

Он бы ее расцеловал, но она уже убежала. Дигби расцепляет руки и поправляет салфетки вокруг коричневой дыни — надо же чем-то заняться. Сестра-ассистентка одобрительно кивает. Дигби не привык к такому почтительному отношению со стороны персонала. В Глазго его шпыняли сестры, он был объектом для издевок и для ординатора, и для врача-консультанта. Дело не в религии, просто медицинская иерархия,

хотя они не гнушались спрашивать: «В какую школу-та ходил-та, ась?» или выяснять его футбольные пристрастия: «Ну и за кого булешь-та, э?» Со стыдом Дигби осознал, что здесь, в Британской Индии, он белый и одно это возвышает его над всеми, кто не таков. Сестре и делать ничего не надо, чтобы усугубить его смущение.

— Десядинадцатнадцать, доктор? — вежливо осведомляется сестра.

— Он говорит, что предпочитает скальпель номер одиннадцать, спасибо, сестра, — отвечает за него старшая сестра Онорин, возникшая у стола как раз вовремя, чтобы расшифровать вопрос, и теперь у нее выговор, достойный дикторов Би-би-си.

Онорин обеими руками хватает мошонку, как регбийный мяч, который собирается доставить в зачетную зону.

— У нас в Мадрасе очень много филяриоза^[67]. Он закупоривает лимфатические сосуды. Все обращают внимание на раздутые ноги — слоновость, — но в каждой распухшей ноге полсотни этих тварей. — Она туго натягивает кожу. — Я бы сначала сделала длинный вертикальный разрез кожи вот здесь. — Она показывает справа от срединного шва, темной прожилки над перегородкой, которая делит мошонку на два отдела.

Кожа расступается под лезвием скальпеля, по краям струится кровь. Остановившая кровотечение, Дигби успокаивается. Сердце замедляет ритм. Порядок восстановлен.

По совету сестры Дигби обматывает марлей указательный палец и отодвигает кожу мошонки от натянутого пузыря, высвобождая его со всех сторон, пока заполненный жидкостью мешок полностью не выйдет из половины мошонки, эдакое блестящее громадное яйцо Фаберже.

— Теперь можете дренировать. Я принесу таз, — говорит она, отворачиваясь.

Но Дигби уже проткнул пузырь. Струя прозрачной желтой жидкости ударяет ему прямо в лицо, прежде чем он успевает отдернуть голову. Онорин подхватывает мошонку и направляет фонтан в таз.

— Ну что ж, поздравляю с крещением, красавчик, — хохочет она. Санитар вытирает ему глаза.

Когда пузырь опадает, Дигби обрезает лишнюю ткань мешочка, оставляя только краешек, а затем зашивает края разреза.

— Из этого можно целую рубаху сшить, — задумчиво говорит Гонорайн, приподнимая блестящий лоскут иссеченной кожи.

Он повторяет процедуру с другой стороны мошонки и зашивает все окончательно.

— Моя глубочайшая благодарность, старшая сестра. Не представляю, что бы я без вас делал.

— Зови нас Онорин, милоч, — говорит она. — Ты блестяще справился. Это точно такая же операция, которую ты делал в Шотландии, просто патология чрезмерна.

В этом слове сформулировано первое впечатление Дигби об Индии. Этот термин он будет часто использовать, описывая привычные заболевания, которые в тропиках принимают гротескные масштабы, — «чрезмерный».

Каждый день Дигби едет на работу на велосипеде, потому что не может допустить, чтобы его, здорового человека, тащил на себе рикша. Этим утром на маленькой улочке рядом со своим бунгало он обнаруживает ковер из желтых цветов, осыпавшихся с высокого рожкового дерева. Он сворачивает на пыльную оживленную магистраль и обгоняет *дхóби*^[68] с громадным узлом белья на велосипедном багажнике. Баньяновое дерево на пути у Дигби — это центр деловой активности. Составитель писем уже приступил к работе: усевшись со скрещенными ногами и пристроив на бедрах картонку в качестве письменного стола, он выводит текст под диктовку женщины. Уличный торговец раскладывает пластмассовые браслеты на тряпке, расстеленной прямо на земле; знахарь, удаляющий серные пробки из ушей, ждет клиентов. По другую сторону дерева предсказатель в шафрановых одеждах помахивает колодой карт, разминаясь перед началом рабочего дня, рядом с ним неизменная клетка с попугаем. Дигби уже видел раньше, как попугай торжественно появляется из клетки, дабы вынуть карту, открывающую судьбу клиента, и как затем, бросив тоскующий взгляд в небеса, птица возвращается в свою тюрьму.

Проезжая мимо лотка с чаем, Дигби замечает, как клиент щурится, чтобы разглядеть мир сквозь молочно-белые роговицы. Выступающие надбровья, провалившийся вогнутый нос — у мужчины врожденный сифилис, ни малейшего сомнения. Если бы Дигби было кому писать письма, он, наверное, составил бы целый свод своих утренних

наблюдений, описал хрупких изящных тамиллов с их точеными римскими чертами лица, сияющими глазами и вечными улыбками. Рядом с ними он чувствует себя бледным, прыщавым и слишком уязвимым перед солнцем.

Дигби погрузился в руководство туземным хирургическим отделением. Его ДПВ, Питер и Кришнан, мастера мелких операций: гидроцеле, обрезания, ампутации, уретральные стенозы, дренирование абсцессов, удаление липом и кист. Они щедро делятся с ним своими навыками. Дигби подражает ДПВ и в остальном, выпивая в день несколько галлонов воды, заедая ее солевыми таблетками или соленым *ласси*^[69]. Жара и влажность не ослабевают. Говорят, бывает короткий сезон дождей, хотя по большей части его и назвать так трудно.

До прибытия Дигби туземных пациентов, которым необходимо было серьезное хирургическое лечение — резекция щитовидной железы, мастэктомия, удаление язвы двенадцатиперстной кишки, опухоли головы и шеи, — отправляли в Мадрасский медицинский колледж или в Центральную больницу. Теперь Дигби берет на себя несколько крупных операций, в которых он чувствует себя уверенно, из них самая распространенная — лечение язвенной болезни. Бессмысленно прописывать ежедневный прием антацидов пациенту с застарелой язвой, который едва зарабатывает себе на кусок хлеба. В ходе операции Дигби не трогает язву в покрытой шрамами двенадцатиперстной кишке, а вместо этого удаляет кусок желудка, вырабатывающий кислоту, — проводит частичную гастрэктомию. Затем соединяет остатки желудка с петлей тощей кишки, минуя таким образом язву. Он будто чувствует взгляд профессора Элдера и слышит его голос на каждом этапе, особенно когда зашивает кишечник: «Если выглядит нормально, значит, слишком туго. Если на вид провисает, то все нормально». Результаты впечатляют: пациенты перестают страдать от боли и начинают есть. В операционный день он успевает сделать три подобные операции, прежде чем заняться остальными.

У одного из пациентов на четвертый день после частичной резекции желудка все никак не восстановятся пищеварительные функции.

— Не понимаю, — говорит Дигби Кришнану. — Операция прошла хорошо, пульс и температура нормальные, рана заживает. Почему

кишечник не работает?

— Может, ему нужно ваше доброе слово, сэр. Попробуйте искренне подбодрить его. Я переведу.

Дигби, скептически настроенный, присаживается у постели больного.

— Сентил, мы вылечили язву. Внутри тебя все теперь идеально.

Пациент смотрит на губы Дигби, не обращая внимания на Кришнана, словно тамильский исходит прямо с языка врача.

— Ты скоро сможешь есть все что угодно.

Сентил явно успокаивается, его жена пытается благодарно прильнуть к стопам врача. Дигби чувствует себя полным идиотом.

В конце дня, когда Дигби, Питер, Кришнан и Онорин пьют чай в ординаторской, в дверь просовывается голова стажера:

— Старшая сестра! Пациент Сентил сильно пускает газы!

— Хвала Господу! — отзывается Онорин. — Кто пердит, тот живет!

Дигби фыркает чаем.

Арнольд появляется редко, и его палаты пусты.

Когда они со старшей сестрой сидят в ординаторской в конце дня, устало вытянув ноги, Дигби не может удержаться:

— Онорин, я никак не могу понять насчет Клода. В смысле... Не могу взять в толк. Как так получается, что его отделение... ну, то есть, почему он не... Так сказать...

Онорин не перебивает, наслаждаясь его смущением.

— Ну ладно! Долго же ты собирался спросить, Дигби Килгур. Но скоро сам узнаешь, непременно. И тебя это может сильно удивить. Что не так с Клодом Арнольдом? Кто, кроме Клода, может ответить? Ты знал, что он старший из трех братьев и все они служат в Индии? Самый младший — губернатор на севере. Человек управляет территорией большей, чем Англия, Шотландия и Ирландия вместе взятые. Средний — один из первых секретарей вице-короля. Иными словами, оба на самом верху ИГС.

Индийская гражданская служба — машина, посредством которой жалкая тысяча британских чиновников держит под контролем триста миллионов индийцев, — подлинное чудо государственного управления.

— А что касается того, почему Клод не достиг таких же высот, что ж, это и для всех нас загадка. Алкоголь сыграл немалую роль, но он мог стать и следствием. Все три братца выпускники Итона, или Харроу, или чего-то в этом роде. Мальчик из частной школы, корочь говоря, настоящий самородок, вот тока не взлетел, как должен бы, — ворчит она, как настоящая джорди, с выговором, который возвращается к ней, когда они остаются наедине. — Парни из частных школ, они и есть настоящее сердце и душа Раджа^[70]. А ты закончил частную школу, милоч?

— Вы бы не спросили, если бы думали, что я учился в такой, — смеется Дигби.

— Хочешь верь, хочешь нет, а я почти обручилась с выпускником Рагби^[71]. Эти их частные заведения учат трем вещам, Дигби. Знания, манеры и спорт. Мой Хью знал свою классическую литературу, свою латынь и свою «Историю Пелопоннесской войны». Но ему пришлось бы долго чесать в затылке, чтобы нарисовать карту, а на ней наш Ньюкасл, вот так вот! Сплошное «Мы должны стремиться, и мы должны победить». Ихних детей учат, что им предначертано править миром. Глянь на здешние роскошные особняки. Или помнишь дворец, где праздновали, когда королева Виктория стала императрицей Индии, — и она сюда не приезжала, учти. Это отлично работает, умиряет и устрашает туземцев. Но работает только потому, что эти типчики из ИГС, все без исключения, поголовно, *верят*, что творят благо. Что несут миру цивилизацию.

Дигби оторопел от ее яростной злости на миссию Британской империи. Поступая на службу, он не особо задумывался, что это за миссия. Но с самого начала чувствовал себя виноватым из-за вдруг обретенных привилегий. Он не спрашивает Онорин про ее Хью, а сама она не спешит продолжать. Настроение у нее пропало.

Она достает бутылку хереса и, не обращая внимания на приподнятую бровь Дигби, наполняет два стаканчика. Сладковатый орехово-карамельный вкус — как откровение. Его рюмка быстро пустеет.

— Но разве мы не делаем тут *ничего хорошего*, Онорин? — осторожно спрашивает он.

— Ай, ты молодец! — ласково смотрит она на него. — Мы все молодцы! Наш госпиталь, железные дороги, телеграф. Много хорошего.

Но это их земля, Дигби, а мы все забираем и забираем. Забираем чай, каучук, присваиваем их ткацкие станки, а хлопок заставляем покупать у нас, втридорога...

— На судне я познакомился с молодым индийским барристером, — говорит Дигби. — Милый человек, заботился обо мне, когда я заболел. Он сказал, что наш уход из Индии неизбежен.

Онорин разглядывает содержимое стакана, словно не слыша.

— Ладно, проваливай, — вздыхает она после паузы. — Хватит с тебя. — Она решительно отбирает у него стакан. — Нет, и не спорь. Я не могу уйти, пока ты тут торчишь. Ты отлично поработал сегодня. Можешь отправляться в клуб, как настоящий сахиб. Ты заслужил выпивку — настоящую выпивку.

глава 14

Искусство ремесла

1934, Мадрас

Поутру, как только Дигби заходит в туземное отделение, прямо на него наскакивает гигантский зоб. Он выпирает от самых ключиц до подбородка, поглотив все признаки шеи. Лицо поверх зоба смотрится как горошина на шляпке огромной поганки. Аавудайнаяки — стройная женщина с широкой улыбкой, которая отчасти скрашивает суровость ее зоба. Сложив ладони, она приветствует его: «В'анаккам^[72], доктор!» Когда она появилась здесь впервые, прогрессирующий зоб вызывал у нее учащенное сердцебиение, тремор и непереносимость жары. Две недели капель йодида калия перорально остановили симптоматику, и она пришла в восторг. Но никакие капли ничего не могут сделать с громадной бугристой опухолью, растягивающей кожу на ее шее так, что обнажается сеть кровеносных сосудов на поверхности зоба.

— Ванаккам, Аавудайнаяки!

Дигби тошно от того, что ему не хватает умения — или духу — справиться с ее зобом, но он взял на себя труд совладать хотя бы с ее непроизносимым именем. Чтобы удалить зоб, ему нужно научиться этому у опытного хирурга. Точно так же, как и для удаления распространенных здесь раковых опухолей языка и гортани, вызываемых омерзительной привычкой жевать *п'аан*^[73]. Он отправлял Аавудайнаяки в Мадрасский медицинский колледж, но она отказалась. Никто, кроме «Джигиби-доктора», который дал ей волшебные капли, не сможет ее вылечить. Кришнан перевел ее соображения: «Она говорит, что верит только в вас и будет ждать, пока вы согласитесь».

— Онорин, — объявляет Дигби, входя в палату, — прекращаем кормить этот зоб. Клянусь, за ночь он еще больше вырос.

— Он не станет меньше от ваших жалоб. Я отменила ваши операции на вторник. У нас консультация с Рави. С доктором В. В. Равичандром в Центральной больнице. Он потрясающий... Первый из индийцев полный профессор хирургии Мадрасского

медицинского колледжа. Когда губернатору потребовалось хирургическое вмешательство, его супруга втихаря послала за Рави. Всем известно, что он лучший врач, но важнее всего, что он хороший человек и отличный учитель. Я с ним познакомилась, когда нас отправили вместе работать в Танджур^[74].

— Итак, что у нас здесь? — Индиец в белых брюках и белой рубашке с короткими рукавами всплывает в кабинет, по пятам за ним следуют три юных врача; звонко расхохотавшись, он восклицает: — Ассистент Клода Арнольда хочет учиться? Чудеса! Большинство хотят только сбежать от Клода.

Его возбужденная восторженность похожа на поведение человека, постоянно находящегося на грани истерики, глаза его тонут в круглых смеющихся щеках. Дигби и сам невольно улыбается. Доктор Равичандран одновременно пожимает руки Онорин и Дигби. Его преждевременно поседевшие волосы зачесаны назад и уже начинают редеть. *Нама́м*^[75] на выпуклом лбу представляет собой три вертикальные полосы, из которых центральная красная, а две по бокам — белые. Это означает, что доктор — вайшнав, поклоняется Вишну как верховному божеству в пантеоне.

Равичандран отпускает руку Дигби, но не Онорин, его пухлые губы растягиваются в обезоруживающей улыбке, которая, как вскоре узнает Дигби, обычна для него.

— Доктор Дигби, без этой выдающейся дамы я мог скончаться и быть кремированным в Танджуре, столько на меня навалили работы, каждый день, с утра до ночи.

Его певучая речь напоминает Дигби об учителе индийской карнатической музыки^[76], живущем рядом с его бунгалом, тот обучает своих студентов целому легиону нот, помещающихся между обычными западными до-ре-ми.

— Но тут вступилась мадам Онорин. Не слушая никаких возражений, она составила распорядок дня. Включая перерыв на чай, при любых обстоятельствах, ровно в четыре тридцать. А потом я должен был отправляться домой. Частную практику позволялось начинать только в семь часов *пополуудни*. Но вдобавок она постановила, что работать я обязан вне дома, а дома только отдыхать!

— Да толку-то с того, Рави, ты же продолжал давать пациентам свой домашний адрес.

Рави ухающе хохочет над собственной беспомощностью.

— Айо, Онорин, эти пациенты из Танджура до сих пор приходят ко мне за двести пятьдесят миль, хотя я честно пытаюсь их отвадить.

Его профессиональное тщеславие очаровательно.

Санитар ставит на стол чай и печенье, стенографист подталкивает к Рави стопку бумаг, и он подписывает не глядя. Хромой босой мужчина в синей униформе, которого, как позже узнает Дигби, зовут Веераппан, бывший пациент Рави, а теперь его шофер, водружает на заваленный бумагами стол Рави громадный шестиярусный серебряный контейнер с готовым обедом. Он размыкает рамку, выдвигая из кольца длинный засов, и аккуратно расставляет судки, пододвигая каждое блюдо к Рави — посмотреть и понюхать, после чего Веераппан вновь складывает судки в стопку, запирает и удаляется, оставляя в комнате аромат кориандра, кумина и чечевицы.

— Я гляжу, есть вещи, которые не меняются, — замечает Онорин. — Как поживает твоя матушка?

— Мама в порядке, благодарение Небесам, — говорит Рави. — Дигби, никакие другие руки, кроме рук моей матери, не готовят мне еду, поскольку я ее единственное дитя и единственная забота. — Он ехидно хихикает. — Если бы она узнала, что я отдаю ее стряпню пациентам инфекционного отделения, она перебила бы кухонные горшки, трижды в день проходила очищение в храме и пять дней просидела бы на одном рисе с гхи. Но она очень подозрительна. Когда я вернусь домой, она спросит: «Как тебе *момордика*?^[77]» — прекрасно зная, что никакой момордики в помине не было! У Веераппана в машине есть еще один термос, о существовании которого матери неизвестно. Я поем, когда позже поеду на вызовы по домам. Потакаю своей слабости к бараньей *кормá* с *парáтха*^[78]. Именно возлюбленная сестра Онорин стала моей искусительницей и совратительницей. Ее гороховый пудинг с ветчиной — вот так и началась моя плотоядная жизнь. Однажды я искуплю вину: раздам все имущество, облачусь в шафрановые одежды, отправлюсь в Бенарес и скроюсь от мира.

Все это время за ними наблюдает толпа молодых врачей, а офисный паренек протягивает Рави стопку назначений, каждое из

которых он умудряется внимательно просматривать, не теряя нити беседы.

— Глазго, верно ведь? О, Дигби, как бы я хотел там побывать. Глазго! Эдинбург! Священные слова для хирурга, правда? Как чудесно было бы сдавать экзамены. Поставить заветное ЧККХ рядом со своим именем... Член Королевского колледжа хирургии! Айю, у меня даже был билет на пароход!

— Что же вас остановило? — нерешительно спрашивает Дигби.

— Три тысячи лет истории, — мрачно отвечает Рави. — Мы, брамины, верим, что океан нечист и, совершая путешествие в чужую страну через большую воду, душа оскверняется, после него человек проклят навеки...

— Скажи ему правду, Рави, — вздыхает Онорин. — Это же из-за твоей матери.

Он раздражается смехом.

— Онорин у нас всегда права. Айю, моя святая мать... это убило бы ее. Если бы я уехал за море, это стало бы матереубийством. И даже если она вдруг пережила бы разлуку, ее единственное дитя вернулся бы настолько оскверненным, что даже если он сумеет оставаться невидимым, она все равно никогда не сможет заговорить с ним. Потому я остался. Но скажите, Дигби, а что заставило *вас* рисковать быть проклятым навеки и таки пересечь океан? От чего вы бежали? Или к чему?

Шрам Дигби налился кровью. Смеющийся взгляд Равичандрана задерживается на нем с любопытством и сочувствием. Дигби подбирает слова.

— Краснеющий хирург — лучше, чем наоборот, — понимающе кивает Равичандран сестре Онорин. — Не буду усугублять дискомфорт человека, у которого и так уже начальником Клод Арнольд. Дигби, вы в курсе, что перед домом Клода стоит «роллс-ройс»? Зачем он его купил? Потому что у меня такой есть! Мой «роллс» был первым в Мадрасе и занозой под кожей ваших соотечественников! «Какая дерзость со стороны этого бабу!» — Рави имитирует британский аристократический выговор. Но, не удержавшись, хохочет. — Губернатору пришлось покупать такой же. А много позже и Клоду Арнольду тоже. Но автомобиль Клода стоит без дела. Он украшает дом, как *пóтту*^[79] — лоб моей матери. Дигби, я не женат. Я очень много

работаю. Во имя своей профессии я отказываюсь от необходимого, но почему я должен отказываться от излишеств? Я что, в своей собственной стране не имею права делать что пожелаю?

Рави внезапно кричит на кого-то через плечо Дигби на языке, который звучит как грубый и вульгарный тамильский, улыбка его мигом испаряется.

— Вот ведь нетерпеливые люди! — обращается он к Дигби, и улыбка тут же возвращается. — Вечно спешат. Я так отстал, что вчера догоняет завтра. Короче, Дигби, если вы нравитесь святой Онорин, значит, и мне тоже нравитесь. Пошли. Первый случай — резекция желудка по поводу рака. Если еще не поздно.

В операционной Дигби ассистирует, восхищаясь каждым движением Равичандрана, но сдержанно, чтобы не мешать. В антральном отделе, чуть выше привратника, там, где желудок переходит в кишечник, обнаруживается твердое, как камень, образование; даже маленькая опухоль в этом месте довольно скоро обращает на себя внимание пациента, потому что чувство насыщения наступает уже после нескольких кусочков пищи. Рави проводит рукой по поверхности печени, затем извлекает тонкую кишку, все двадцать футов, пропуская в пальцах в поисках метастазов. Потом просматривает полость таза.

— Не распространилось. Будем делать дистальную гастрэктомию. Меняемся местами. Я буду вашим скромным помощником.

Дигби отрезает половину желудка. Когда рядом Равичандран в роли квалифицированного ассистента, деликатно улучшающего обзор и доступ, Дигби ощущает себя гораздо более умелым хирургом, чем на самом деле является. По окончании остается культя двенадцатиперстной кишки — в которую изливается желчь и панкреатический сок — и культя желудка.

— Что дальше, мой юный друг?

— Я зашью двенадцатиперстную, оставив слепую культю. Потом подошью петлю тощей кишки к остатку желудка.

Это та же привычная процедура, которую он проделывал с язвой желудка в «Лонгмер».

— Гастроэюностомия? А почему не соединить желудок напрямую с двенадцатиперстной? По Бильрот-I?^[80] Почему не сохранить

нормальную последовательность? И не оставлять культы двенадцатиперстной, которая может потечь?

Дигби задумчиво складывает ладони в измазанных кровью перчатках, открытая брюшная полость ждет его решения.

— Честно говоря, — запинаясь, бормочет он, — в «Лонгмер» я делал довольно много гастроэнтеростомий. Мне было бы гораздо сложнее соединить то, что осталось от желудка, с травмированной двенадцатиперстной кишкой, чем сделать то, что мне привычно и что я точно смогу сделать надежно. Да, останется слепая культя двенадцатиперстной, но вероятность, что потечет, меньше, чем если бы я попытался соединить желудок с двенадцатиперстной кишкой. Своими руками.

— Отличный ответ! Наилучшая операция из возможных — это не то же самое, что наилучшая возможная операция! Разумеется, если рак вернется, все это станет неактуально. Действуйте!

Еженедельные операции с Равичандром в Центральной больнице и есть то самое хирургическое образование, которого жаждал Дигби, когда ехал в Индию. Он подхватывает каждую жемчужину, предлагаемую блистательным хирургом, задерживается, чтобы наблюдать, как Рави оперирует с другими ассистентами. А меж тем Аавудайнайки ждет, непоколебимая в своей уверенности, что «Джигиби-доктор» избавит ее от зоба. Она зарабатывает на свое пребывание в отделении, став добровольной помощницей старшей сестры и санитарок и поддержкой для остальных пациентов. Она уже почти член семьи.

Через пять недель после своей первой встречи с Равичандром Дигби ранним утром везет Аавудайнайки на рикше в Центральную больницу. Рави любезно приветствует пациентку на тамильском. Пропальпировав опухоль, он просит женщину поднять руки и поддержать так, ее бицепсы крепко прижаты к щекам. Вскоре лицо ее темнеет и раздувается, она начинает задыхаться.

— Видите, Дигби? Можете называть это «симптом Рави». Он означает, что опухоль распространяется в грудную клетку. Если мы не сможем добраться до нее сверху, будем распиливать грудину. И это совсем не банальная операция, уверяю вас.

Встревоженная пациентка рвется в чем-то убедить Рави на тамильском, тот успокаивает ее.

— Я заверил ее, — сухо сообщает он Дигби, — что операцию будет делать только белый человек. А я просто буду ассистировать великому Джигби-доктору.

Когда пациентка засыпает под наркозом, Рави принимается нервно суетиться, требует для начала положить ей между лопаток мешочек с песком побольше, чтобы шея запрокинулась, а край стола опустить, чтобы набухшие вены шеи опорожнялись лучше.

— От мелочей многое зависит, Дигби. Бог в мелочах.

Уже в самом начале работы операционное поле захлавлено кровеостанавливающими средствами, и они прерываются, чтобы остановить кровотечение. Как и предполагал Рави, опухоль Аавудайнаяки распространилась и в грудную клетку, туда не дотягиваются даже его длинные пальцы.

— Ложку Равичандрана, — командует он операционной сестре.

Она протягивает длинный инструмент, неизвестный Дигби. Рави просовывает его под грудинную кость. Вслепую, исключительно на ощупь, он вытягивает из грудной клетки нижнюю часть опухоли.

— Узнали инструмент, Дигби? Это ложка, которая в моем термосе вставляется сбоку и удерживает судки с едой. Моя мать костерит шофера, что тот вечно «теряет» ложки. Но она же и в самом деле многофункциональна, правда же? Можно есть рыбное карри, а можно выудить опухоль!

Закончив оперировать, Рави выглядит не на шутку озабоченным.

— Первая ночь самая опасная. Пожалуйста, проследите, чтобы наготове был набор для трахеотомии, а сестра дежурила у постели пациентки.

Основания для беспокойства имеются: хрящевые кольца в норме удерживают дыхательные пути открытыми, но у Аавудайнаяки они истончились и ослабели от продолжительного сдавливания зобом. Постоперационный отек представляет реальную опасность из-за возможного коллапса трахеи.

Дигби провел весь рабочий день в «Лонгмер» в обходах и консультациях. Но после ужина вновь вернулся в Центральную больницу. Много недель улыбка Аавудайнаяки приветствовала его

каждое утро. Несмотря на всю ее веру в Джигиби-доктора, он боялся, что все закончится плохо.

Ночью все больницы затихают, как кладбище, лишь изредка кашель или стоны нарушают тишину. Звук шагов Дигби эхом разносится по коридорам, когда он проходит мимо открытых дверей палат. Сестра, сидящая при тусклом свете настольной лампы, удивленно вскидывает глаза и смущенно улыбается. Ее улыбка чуть подбадривает. Дигби хочется остаться рядом с ней.

Аавудайнаяки спокойно спит, набор для трахеотомии лежит на тумбочке рядом, но сестры не видно. Вялая неряшливая сестра-стажер появляется спустя час и с изумлением застает Дигби у кровати больной. Он отпускает сестру — подежурит сам. Чтобы скоротать время, зарисовывает в блокноте стадии операции.

Дигби просыпается от пронзительного свистящего хрипа и видит, как Аавудайнаяки отчаянно пытается вдохнуть. Этот грозный звук — стридор — сигнализирует об обструкции дыхательных путей. Он бросается к ней, злясь на себя, что заснул. На искаженном ужасом лице больше нет радости при виде Джигиби-доктора; ей кажется, что она умирает. Дигби вскрывает упаковку с набором для трахеотомии, одновременно громко зовя помощь. Вот он, его ночной кошмар: трахеотомия при плохом освещении с сопротивляющимся пациентом. Он разрезает повязки и с изумлением обнаруживает, что шея больше не дрябло обвислая, как сразу после операции, а вздутая, как будто зуб заново вырос, да еще и стал вдвое массивнее! Дигби рассекает три кожных шва, и из его пальцев прямо на простыню выскальзывает громадный сгусток крови, эдакий жележный шарик. Аавудайнаяки мгновенно становится легче. Прибывает подмога, яркие лампы направлены на рану, которая, кажется, не кровоточит. Трахея открыта, и он мог бы с легкостью провести трахеотомию. Но свежего кровотечения не видно, дыхание Аавудайнаяки ровное, лицо спокойное. Она даже пытается улыбаться.

Надо бы перевести ее в операционную и обследовать под анестезией операционный шов, отыскать источник кровотечения, если кровь еще сочится. Но сейчас четыре утра. Чтобы постороннему в такой час поднять на ноги операционную бригаду, нужно вмешательство Бога. Дигби не хочется звонить Рави. Он опускает на

место кожный лоскут, не зашивая, а просто прикрыв марлевой салфеткой. *Если появится хоть малейший признак свежей крови, я заберу ее в операционную.*

Утром на обход прибывает хирургическая команда во главе с Рави. Он тут же замечает расплывающийся в тазу кровавой сгусток. На лицо Аавудайнаяки вернулась улыбка, но доктор В. В. Равичандрани мрачен. Он осматривает рану. Свита интернов и ассистентов нервно шаркает ногами.

— Кто из вас осматривал эту пациентку ночью? (Тишина в ответ.) Хорошо, что вы оказались здесь, Дигби. Но когда был эвакуирован этот сгусток, ее нужно было перевести в операционную. Вы должны были немедленно вызвать меня.

— Но ее дыхание нормализовалось. Если...

— Никаких «если», никаких «но» и прочего *метания икры!* — резко обрывает его Рави. — В интересах пациента вы можете разбудить среди ночи не только меня, но и самого Иисуса Христа. Чтобы подняться с постели анестезиолога, вам, может, и понадобится божественная помощь. Но вы обязаны доставить пациента в операционную. Это не обсуждается! — Несколько секунд он яростно сверлит взглядом Дигби, потом лицо смягчается. Рави берет в руки блокнот с набросками Дигби. — Аах, мило. В хирургических атласах никогда не бывает кровотечений, правда же?

Уже выходя из палаты в сопровождении свиты, он останавливается и поворачивается так резко, что свитские натыкаются друг на друга. Голос его заполняет палату:

— Доктор Килгур. Хорошие хирурги могут провести любую операцию. Великие хирурги предотвращают осложнения.

Дигби расцветает от похвалы.

глава 15

Отличная партия

1934, Мадрас

— Сроду не видала в городе столько военной формы, — ворчит Онорин.

Они с Дигби спасаются от палящего солнца в кинотеатре «Нью Эльфинстоун». Толпа на субботнем дневном сеансе — море форменных коротких стрижек и хаки.

— А я-то надеялась, что «Лонгмер» будет моим последним рабочим местом. Если опять начнется война, меня переведут из гражданского подразделения в военное. Я, конечно, исполню свой долг. Но, как по мне, мир сошел с ума. Япония вторглась в Китай? А что, если они решат, что Индия — следующая? Не говоря уж о немцах, с их новым канцлером. Не доверяю я ему.

— Когда читаешь газеты, это кажется неизбежным — война, я имею в виду.

Дигби был поражен, узнав, что в Первой мировой сражался миллион индийских солдат и погибло не меньше ста тысяч. Газетные передовицы высказывают мнение, что если индийцев вновь призовут в Британскую Индийскую армию, они не согласятся на меньшее, чем свобода в обмен на участие в войне.

— Неизбежно? Господи, не смей так говорить! — Онорин роется в своей здоровенной плетеной сумке. Отчаивается, хватает предложенный Дигби носовой платок и вытирает глаза. — Я потеряла старших братьев в той войне. Это убило мою бедную маму. Политики? Они все говнюки, Дигби, — горько вздыхает она. — Будь у власти женщины, мы бы ни за что не посылали парней на смерть.

Если начнется война, Дигби направят в воинскую часть. Он вспоминает, как профессор Алан Элдер в Глазго говорил, что война — единственная настоящая школа для хирурга. Но этой мыслью Дигби не стал делиться с Онорин.

Сеанс из трех фильмов заканчивается «Огнями большого города». «Медицинская» комедия Чаплина вызывает у них гомерический хохот. Романтичная доброта самой истории — бродяга, который влюбляется в слепую девушку и собирает деньги на операцию, чтобы вернуть ей зрение, — идеальное противоядие от разговоров о войне.

На улицу они выходят будто бы жизнь спустя. Сгустились сумерки, но стоит изнуряющая жара, воздух будто застыл. Дигби тут же взмок, капли пота повисли над верхней губой, брови влажные. Несмотря на запах жареных *váda*^[81], доносящийся от уличного лотка, аппетита в такое пекло не было совсем.

— Марина-Бич, — решительно командует Онорин кучеру *джáтки*^[82], чьи крупные, в пятнах от бетеля зубы напоминают оскал его кобылы; ни человек, ни лошадь не испытывают восторга от необходимости шевелиться. — Чаплин искупает грехи всех мужиков. — Настроение Онорин поднялось. — Настоящая любовь все побеждает. Эх, будь моя воля, я б его отбила.

— Однако он не слишком разговорчив, не так ли?

— И это было бы настоящим благословением!

На Уолладжа-роуд лошадь обрадованно ржет, ускоряя шаг. Кучер садится ровнее. Онорин прикрывает глаза и шумно втягивает носом воздух. Дигби ощущает первые позывы голода.

Такими едва уловимыми знаками, подобными звукам настраивающегося оркестра, возвещает о себе ежедневное событие, занимающее центральное место в жизни Коромандельского побережья, — вечерний бриз. Мадрасский вечерний бриз обладает собственной плотью, его атомарные элементы, соединяясь вместе, создают осязаемую ткань, которая ласкает и охлаждает кожу; это словно медленный глоток ледяной влаги или погружение в горный источник. Он прорывается широким фронтом, вверх и вниз по побережью, неспешный, надежный, он не ослабевает вплоть до полуночи, а к тому времени успевает убаюкать всех сладостным сном. Ему неведомы касты и привилегии, он утешает и услаждает и экспатриантов в кварталах особняков, и клерка с голым торсом, отдыхающего рядом с женой на крыше своего скромного коттеджа, и бездомных обитателей улиц, сидящих на корточках вдоль обочин. Дигби видел, как жизнерадостный Мутху становится рассеянным, ответы его — краткими и брюзгливыми в ожидании облегчения,

которое приходит со стороны Суматры и Малайи, собираясь над Бенгальскими заливом, и несет с собой ароматы орхидей и соли; витающий в воздухе опиат, что размыкает зажатое, развязывает стянутое узлом и позволяет наконец забыть о жестокой дневной жаре. «Да-да, у вас есть Тадж-Махал, Золотой храм, эта ваша Эйфелева башня, — скажет образованный житель Мадраса. — Но что может сравниться с мадрасским вечерним бризом?»

Песчаный пляж настолько широк, что синева океана — лишь узкая лента, тающая на горизонте. Они приближаются к тому самому месту, где британцы обрели первый плацдарм в Индии — крошечную торговую факторию, предтечу Ост-Индской торговой компании. К 1600-м торговой базе потребовался военный форт — форт Сент-Джордж, — где можно было хранить пряности, шелк, драгоценные камни и чай, подготовленные к отправке на родину, дабы эти товары не попали в лапы местных правителей, и французов, и голландцев. По другую сторону стен форта расцвел город Мадрас. В самом городе Дигби уже освоился, колеся по нему на велосипеде, и даже немного ориентировался в окрестностях. Старый Черный город рядом с фортом сменил имя на Джорджтаун в связи с визитом Принца Уэльского. Англо-индийцы селятся в Пурасавалкам и Вепери, тогда как иностранцы предпочитают Эгмор или модный пригород Нунгамбаккам. Анклав браминов — Милапор, а мусульмане сконцентрированы поблизости от Больницы Гоша и в квартале Трипликейн. Дигби с Онорин прибыли к марине Мадраса^[83], заложенной еще бывшим губернатором с непроизносимым именем Маунтстюарт Эльфинстоун Грант Дафф. Широкая набережная тянется на мили в обе стороны.

Вдоль Марины фасадами к морю выстроилась череда внушительных зданий, сооруженных на века. На взгляд Дигби, архитекторы, свободные в силу расстояния от ограничений Уайтхолла, отдались на волю собственных ориентальных фантазий, сооружая эти резные храмы во славу Империи. Они с Онорин сошли с экипажа около здания Сената Университета. Его высокие минареты, казалось, спарились и породили выводок юных башенок, увенчанных белоснежными куполами. Дигби представляет, как все эти ренессансные, византийские, исламские и готические элементы сражаются друг с другом, втиснутые в одну конструкцию. Это якобы

должно вселять благоговейный трепет в аборигенов, думает он. Как часовая башня «Зингер».

— Я *должна бы* ненавидеть эти здания, — замечает Онорин. — Но наверняка буду скучать по ним, когда уеду.

Дигби озадачен. Онорин прожила в Индии дольше, чем в Англии.

Глядя на выражение его лица, Онорин смеется:

— Ох, Дигби, я люблю этот город. Хотела бы жить здесь. Но страна скоро станет свободной. Я помалкиваю про это, потому что звучит как ересь, да? Но, конечно, если индийцы позволят нам остаться, я останусь.

Бредя босиком по песку, они представляют странную парочку: грузная седая женщина под руку с сухопарым молодым человеком, чьи темные волосы отливают рыжиной, как будто он подкрашивает их хной. Из-за шрама он похож на мальчишку. Они садятся на песок и смотрят на море. Трое рыбаков присели на корточки покурить в тени катамарана, повернувшись спинами к воде.

— Мне стыдно, что я совсем мало знал об Индии, когда подписал контракт, — вдруг признается Дигби. — Я думал только о хирургической практике, как будто Медицинская служба существовала исключительно ради моих интересов. — Ему приходится повышать голос, чтобы перекричать грохот набегающих волн. — И вряд ли я привыкну к привилегиям, которые тут на меня обрушились. Боюсь, что может случиться, если вдруг это произойдет.

Мимо них, прижавшись друг к другу, проходит юная парочка. Цветок жасмина в волосах девушки оставляет душистый шлейф в воздухе. Онорин провожает их взглядом и вздыхает.

— И о чем ты только думаешь, болтаясь вечно со старой Онорин, Дигби? Ты же знаешь, все мои сестрички положили на тебя глаз.

Он застенчиво смеется.

— Я пока не готов. Это слишком сложно для меня.

— А, ну ясно, со мной ты в безопасности.

— Я хотел сказать...

— Знаешь, в чем проблема моих англо-индианочек, Дигби, моих сестричек и секретарш? Им всем не на что рассчитывать. Некоторые из них на вид белее нас с тобой, но толку-то с того. Девчонки мечтают, что если выйдут замуж за кого-то вроде тебя, то *станут* британками. Но беда в том, что тебе едва ли удастся ввести их в Мадрасский клуб. И

твои потомки останутся все теми же англо-индийцами и столкнутся с теми же трудностями. У тебя образ страдальца, милок, и ты толковый хирург. Это делает тебя привлекательным. Будь осторожен, вот все, что я хочу сказать.

Дигби нервно хихикает, радуясь, что в сумерках она не видит, как он покраснел.

— Опасаться нечего, Онорин. Мое одиночество — привычное состояние. Это безопаснее, чем... — Он не может придумать альтернативы.

Лицо Онорин печально — или это жалость?

— Прости ее, Дигс. Отпусти.

На миг он теряется. Она единственный человек в Мадрасе, кому он выложил историю маминой смерти, трудных лет до и после. Тайна всегда живет вместе с одиночеством. Его тайна — и его беда — в том, что после предательства матери он не может рискнуть полюбить.

— Я простил, Онорин.

— Ну ладно. — Она смотрит в морскую даль, ветер развеивает ее волосы. — Тебе же не меня надо убеждать, верно, милок?

Накануне Рождества, когда Дигби уже собирается идти домой, в палату влетает Онорин, а следом за ней высокий крепкий белый мужчина.

— Дигби, пойдём с нами. Это Франц Майлин. Два дня назад доктор Арнольд осматривал его жену. Ей хуже.

Майлин сложен как регбист, с могучей шеей и мощным торсом. Он совсем рыжий, а сейчас и лицо его, искаженное гневом, тоже пылает красным. Они спешат наверх, а Онорин по пути пересказывает главное, ради несчастного мужа смягчая выражения: Майлины только что пароходом вернулись из Англии, и в последние три дня путешествия у Лены Майлин начались боли в животе и рвота, которые становились все сильнее. Сойдя с судна, она направились напрямиком в «Лонгмер». Клод Арнольд диагностировал расстройство желудка.

— Это было тридцать шесть часов назад, — добавляет Онорин.

— Он ее даже не осмотрел! — взрывается Майлин. — И с тех пор вообще не появлялся! А она лежит там, и ей с каждым часом все хуже.

Палата для англичан пуста, только птичья фигурка Лены Майлин неподвижно застыла на койке, больная учащенно дышит. Пряди темных

кудрявых волос прилипли ко лбу. Она со страхом смотрит на приближающегося Дигби.

— Прошу вас, не трясите кровать, — говорит Франц. — Малейшее движение усиливает боль.

Уже одно это утверждение говорит о перитоните и абдоминальной катастрофе, которую подтверждает осмотр Дигби: правая сторона живота напряженная. Он отмечает и сухой язык, и приоткрытые губы, и желтушность глаз, и холодную липкую кожу. Когда он просит женщину глубоко вдохнуть, а сам одновременно аккуратно прощупывает область под ребрами справа, она вздрагивает и прерывает вдох. Пальцы Дигби упираются в воспаленный желчный пузырь. Он решительно заявляет:

— Я убежден, что ваш желчный пузырь закупорен камнем и теперь он распух от гноя. — Он избегает слова «гангрена», чтобы не пугать их еще больше. — Нужна срочная операция.

— Этот убудок сказал, что у нее морская болезнь! — стонет Франц. — Где он? Это же преступление!

На операционном столе, вскрыв брюшную полость, Дигби видит именно то, чего боялся, — вздутый воспаленный желчный пузырь с темными гангренозными вкраплениями. Вот оно, твое расстройство желудка, Клод. Он делает маленькое отверстие в распухшем пузыре. Слизкая смесь из желтого гноя, зеленой желчи и мелких пигментных камней изливается на марлевые тампоны и в отсасыватель. Он удаляет, насколько возможно, желчный пузырь, оставляя только ту его часть, что прилипла к печени. Обходит пузырьный проток, через который поступает и изливается желчь. Иссечение его на фоне такого воспаления крайне опасно. Ткани сильно кровоточат. Прежде чем зашивать брюшную полость, он оставляет резиновый дренаж возле ложа печени. Лена после операции очень бледная, давление низкое. Дигби бежит в «банк крови» — обычная кладовка с холодильником, — где при помощи типизирующей сыворотки выясняет, что у нее группа крови В, довольно редкая. Банк крови — это его нововведение, одна из тех областей, где они обогнали другие городские больницы. После пинты крови давление у Лены поднимается, лицо вновь обретает цвет.

— Чья это была кровь? — спрашивает Франц.

— Моя, — отзывается Дигби. Благодаря своей группе крови он универсальный донор. По счастью, в холодильнике всегда хранятся две

дозы его крови на такой вот экстренный случай. — Позже я волью ей вторую бутылку.

Дигби остается дежурить вместе с Францем. К утру Лене явно лучше. А Дигби узнает, что у Майлинов поместье на другом побережье, рядом с Кочином. Лицо Франца светлеет, когда он описывает их старинный дом в Западных Гхатах, где он выращивает чай и пряности.

— Вы обязательно должны приехать к нам в гости, доктор Килгур.

В полдень Дигби возвращается в отделение и застаёт у постели пациентки Клода Арнольда, изучающего карту Лены; Франц, с гневно пылающим взглядом, стоит рядом, скрестив руки на груди, готовясь выложить все, что думает. Лена отвернулась.

— Ну что ж, — хмыкает Клод, заметив присутствие Дигби. — Доктор Килгур, кажется, спас положение... — И с этими словами проскальзывает мимо Дигби и исчезает, прежде чем они успевают опомниться.

Дигби успокаивает беснующегося Франца.

Как только Дигби выходит из палаты, Клод мгновенно возникает у него за спиной. Должно быть, дожидался за колонной. Если Дигби воображал, что Арнольд будет смущен или даже благодарен молодому коллеге, он стремительно избавляется от иллюзий.

— Нужно было просто поставить дренаж и зашивать. Отгрызть куски желчного пузыря? Крайне странная практика. — Клод стоит спиной к двери палаты и не видит, как позади маячит Франц Майлин. — Я бы назвал это безответственным и безрассудным, Дигби.

Прежде чем оторопевший Дигби находится с ответом, Клод вновь удаляется. Но на это раз Франц с проклятием бросается вперед и хлопает могучей ладонью по плечу Клода, разворачивая его к себе. Надменное выражение на лице Клода сменяется удивлением и страхом. Дигби впрыгивает между ними ровно в тот момент, когда Франц замахивается, и удар, изменив направление, попадает Клоду в грудь. Арнольд убегает. Франц рычит вслед удаляющейся фигуре главного хирурга «Лонгмера»:

— Вернись, проклятый трус! Кого это ты назвал безответственным? Да ты и половины Килгура не стоишь!

Слова эхом разносятся по пустым отделениям Клода. Все оставшееся время, пока Лена лежала в больнице, Клод держался подальше.

Лена оказалась гораздо более общительной и разговорчивой половиной супружеской пары. Она знает по имени каждого стажера, и они от нее не отходят. Дренаж вынимают через три дня, а спустя десять дней после операции Лена готова к выписке.

Когда приходит пора прощаться, Франц обхватывает Дигби за плечи, крепко стискивает; здоровенный мужчина растроган настолько, что не может говорить.

Лена берет Дигби за руку.

— Дигби, — говорит она, неожиданно называя доктора просто по имени. — Как я могу отблагодарить вас? Вы спасли мне жизнь. Мы будем очень обижены, если вы не навестите наше поместье. Вам нужен отпуск. Прошу вас, обещайте, что приедете?

Дигби бормочет в ответ что-то неубедительное.

— Дигби, — повторяет она, — у вас есть родственники в Индии?

— Нет.

— О, разумеется, есть. Мы ведь с вами теперь кровная родня.

глава 16

Ремесло искусства

Рождество 1934, Мадрас

Нунгамбаккам, где обитает Клод Арнольд, это образ Англии, написанный на холсте Южной Индии. Обсаженные деревьями широкие улицы, носящие названия вроде Колледж-роуд, Стерлинг-роуд или Хэддоус-роуд. Фигурно выстриженные кусты перед бунгало и садовыми домиками — птица-на-пирамиде, мяч-на-шаре и толпа Кроликов Банни, с незначительными вариациями. Похоже, это работа одного и того же странствующего *маали*^[84], иначе не объяснить, почему каждый Кролик Банни похож на мангуста.

Эта фантазия о Белгравии в Мадрасе игнорирует реальность трупа бродячей собаки посередине Колледж-роуд; упорно настаивает, что сейчас и в самом деле восьмой день Рождества, несмотря на влажность, которая отвратила бы восемь юных молочниц от любых действий^[85], и жару настолько безжалостную, что бродячая собака, оказывается, не сдохла, а просто в обмороке от солнечного удара. Она, пошатываясь, встает на ноги, вынуждая Дигби, вильнув, объехать ее на велосипеде.

Фарфорово-белый дом Клода выделяется на фоне красной глины подъездной дорожки, забитой автомобилями. Керосиновые лампы, расставленные на балюстраде балкона второго этажа и между колоннами первого, создают эффект неземного сияния, по мере того как солнце клонится к горизонту. «Если бы ты столько же внимания обращал на детали, работая в госпитале, Клод», — бормочет себе под нос Дигби. Он колебался, идти ли на рождественскую вечеринку, в конце концов решил, что если не пойдет, их и без того натянутые отношения станут только хуже.

Под навесом стоит сияющий черно-зеленый «роллс-ройс». Не успел Дигби прислонить свой велик к стене, как тут же с понимающей улыбкой его подхватил слуга, давая понять, что компрометирующий предмет немедленно спрячут и никто о нем и не узнает.

Гостиная полна народу. Рождественская елка возвышается над головами, хлопковый «снег» на ее ветвях скукожился и намок в сыром воздухе. Дамы в длинных платьях, некоторые с открытой спиной, а уж без рукавов все абсолютно, с шелковыми накидками на плечах.

Дигби, потный после поездки на велосипеде, больше всего на свете хочет скинуть пиджак, который он надел, перед тем как войти в дом. Он проходит мимо трех дам, повернувшихся к нему спиной, их цветочные духи вызывают в памяти Париж или Лондон. Доносится голос Клода, отдельные слова звучат слегка невнятно:

— ...заднее сиденье было единственным местом, где махарани могла выпить, скрывшись за шторкой, пока шофер колесил по поместью.

Женщина задает вопрос, который Дигби не расслышал, но зато слышит ответ Клода:

— «Роллс» никогда не ломается, моя дорогая. В редких случаях может заглохнуть.

Рядом с Дигби застекленный шкаф, набитый спортивными трофеями и фотографиями в рамках: два мальчика в разном возрасте, на последних фото — подростки. Официант предлагает виски, Дигби вместо спиртного берет салфетку. Украдкой проскальзывает в столовую, чтобы потихоньку вытереть там лицо и шею; он чувствует себя бедным родственником, которому тут не место. Массивный дубовый обеденный стол, кубки и металлические подставки для тарелок словно из времен рыцарей короля Артура. Повернувшись спиной к веселящейся толпе, Дигби, все еще безудержно потея, останавливается перед тремя большими пейзажами в рамах. Он злится на самого себя.

Вот что, Дигс. Через пару минут ты ныряешь обратно в это сборище, пожимаешь убудку руку, желаешь ему счастливейшего из всех счастливых Рождеств и, поскольку ты не увидишь его в госпитале, пока часы не пробьют Новый год, в довершение пожелай «всего наилучшего и счастливого Нового года ему и всем евойным». Но сначала остынь, Дигс, вытри уже лоб и заложи за воротник. Восторгайся живописью — пастбище, да, Клод? Скажи «очень мило» про его убогое озеро с полевыми цветочками. Нет, никто прежде этого не отмечал. А последнее полотно... темный лес, говорите? Темная... навозная куча, я бы сказал. Это убожество, благодарю вас.

Изысканные золоченые рамы, которые вопиют: «Нам место в музее...» — но они все равно убожество и останутся убожеством. И неважно, насколько громко орешь...

— Не выдающиеся работы, верно? — произносит хрипловатый женский голос.

Он оборачивается и вдруг оказывается неприлично близко к женщине; она высокая и потрясающая. Оба делают шаг назад. Ее мускусные благовония с нотками сандала и древних цивилизаций — полная противоположность парижским ароматам. Его как будто волшебной силой перенесло в будуар махарани.

— Официант сказал, что вы отказались от виски. Я принесла вам гранатового сока. Я Селеста, — улыбается она.

Пожалуйста, только не это! Она не может быть его женой.

— Жена Клода, — представляется она, держа в каждой руке по стакану сока.

Каштановые волосы стянуты серебристой лентой и уложены в узел, открывая шею. У нее треугольное лицо и слегка неправильный прикус, от чего губы кажутся недовольно надутыми. Если начистоту, она прелестна, с этими чуть-чуть андрогинными чертами. На вид ровесница Клода, немного за сорок. Три рубина парят над ее грудиной, цепочка на ключицах едва заметна.

— Дигби Килгур, — протягивает он руку.

Но ее руки заняты. Он берет один стакан.

— Клод говорит, вы настоящий художник.

Откуда, черт побери, он узнал? Она терпеливо ждет ответа.

— Скорее, любитель, — признается он с пылающими щеками. — Просто пытаюсь запечатлеть то, что вижу.

Ее большие глаза цвета каштанового меда согреты сиянием рубинов. В отличие от Клода, отчужденного и надменного, ее взгляд прям и любопытен. Впрочем, у губ он замечает жесткую складку, которая пропадает, когда она улыбается.

— Масло?

— Акварель, — отвечает он. Она ждет. — Я... э, мне нравится загадка, непредсказуемость того, что возникает.

— Вы рисуете портреты? — спрашивает она, склонив голову набок.

Интересно, она отдает себе отчет, что позирует? Она не стремится вызвать неловкость, а, напротив, хочет сгладить ее.

— Иногда — да. Я... в Мадрасе столько всего привлекает внимание. Лица на улицах, женщины в своих сари. Дерево баньяна, пейзажи... — растерянно мямлит Дигби, жестом указывая на картины на стенах.

Она подается ближе и шепчет:

— Дигби, скажите честно, каково ваше мнение об этих картинах?

— Э, что ж... они не так уж плохи.

— То есть вам нравится? — Каштановые глаза пристально смотрят на него. И он не может солгать.

— Ну, так далеко я не стал бы заходить.

Она радостно смеется.

— Они принадлежали родителям Клода. На мой взгляд, они отвратительны — картины, я имею в виду.

Впервые за весь вечер ему становится спокойно.

— Могу я показать вам кое-что? — Она вновь кокетливо наклоняет голову и направляется в другую комнату, не дожидаясь ответа. Он идет следом, не сводя глаз с ее затылка, где тонкие волосы образуют узорчатую беседку.

В гостиной возле лестницы висит простая картина на холсте. Примерно двенадцать на шестнадцать дюймов, в скромной деревянной раме: сидящая индийская женщина, голова повернута в одну сторону, плечи развернуты в другую. Рисунок примитивный, почти детский, но одновременно очень тонкий и выразительный. Без претензий на анатомическую точность или реалистичность, но завораживающе убедительный. Дигби внимательно изучает картину.

— Невероятно! — выдыхает он наконец. — Я хочу сказать, эта линия носа, овалы глаз... эти изгибы, передающие складки сари, позу... — он водит руками, рисуя в воздухе контуры фигуры, — и всего три цвета, но возникает женщина! Вроде бы незамысловато, но это подлинное искусство. Это ваше?

И вновь звонкий смех. Плавный изгиб ее шеи словно повторяет рисунок на картине. Впечатление высокого роста, которое она производит, в основном и создается этой линией да еще длинными худыми руками. Ее изящество граничит с нескладностью, и ему это кажется очаровательным.

— Нет. Это рисовала не я. Но это *принадлежит* мне. Пришлось побороться, чтобы выставить эту картину на обозрение. Это живопись *калигхат*, искусство, которое я видела, когда девочкой росла в Калькутте. Там их штампуют для паломников, приходящих на поклонение из самых отдаленных мест. Обычно на них изображены персонажи Махабхараты или Рамаяны. Будь моя воля, я бы выкинула на помойку то чудовищное старье и выставила вместо них вот это. (Они смеются вместе.) Да, у меня есть целая комната калигхат. — Она поднимает руку, запястье изгибается, когда она раскрывает веером пальцы, словно разбрызгивая калигхат по стенам. Его взгляд скользит по выпуклости трицепса, вниз по скату предплечья, изгибу запястья, костяшкам суставов и от полированных ногтей вновь к стене. Перед внутренним взором возникает комната, увешанная этими своеобразными яркими портретами.

Дигби заставляет себя вновь обратиться к картине. Кончиком пальца обводит в воздухе фигуру, стараясь запомнить.

— Она так поэтична, — замечает он. — Даже если художник и штампует их десятками. Простой, но красноречивый словарь.

— Именно! Невероятно: крестьянин совершает грандиозное паломничество, на такое решаются только раз в жизни, а потом тратит заработанные тяжким трудом деньги на сувенир, который родом *из его же* деревни! Это деревенское ремесло, как плетение корзин, но тут ремесленник переехал в город, чтобы удовлетворить запросы паломника. И вот он продает свое изделие бывшему соседу, а тот вешает картину на стену в деревне, где все это и началось!

— Или ее демонстрируют в гостиной самой... проницательной англичанки, — говорит Дигби. И краснеет. Слово «прекрасной» повисает невысказанным.

— Убеждена, что вы стараетесь мне польстить, Дигби, — мягко произносит она. Но не выглядит недовольной. Следует долгое молчание. — У меня есть еще калигхат. Но их бессмысленно показывать этим людям. Они сочтут это экзальтированностью. — Она беспечно взмахивает рукой, но в уголках губ опять проступает горькая складка. — Итак, вам нравится Мадрас?

— О да! Хирургическая практика потрясающая. И люди очень доброжелательные.

Он вспоминает Мутху, который заботится о нем с такой любовью и с такой гордостью выполняет малейшие поручения. Спустя несколько месяцев Мутху, стесняясь, привел познакомиться свою жену и двух маленьких ребятшек. И теперь они ему как семья.

— Дигби, вы бывали в Махабалипурам? — изучающе смотрит она на него.

— Я слышал о нем. Скальные храмы, верно?

— О, трудно описать одним словом... — Она задумчиво отводит взгляд. — Это мое любимое место. Знаю, вам понравится. Вы мне верите?

— Безусловно.

— Представьте себе длинную полосу прекрасного песчаного пляжа. — Волшебные руки вновь сплетают образы в воздухе. — И внезапно вы натываетесь на природное скальное образование. Валуны больше этого зала, а некоторые раз в двадцать больше этого дома. Одни из них утоплены в воде, другие тянутся вдоль пляжа. И в них древние мастера вырезали храмы — крошечные, размером с кукольный домик, и огромные, как театр вместе со зрительным залом. Вытесаны из скалы, представляете? Считается, что там некогда учились скульпторы. Махабалипурам — это словарь храмовых образов. Каждый жест имеет определенное значение. Там и все боги собрались — танцующий Шива, Дурга, Ганеша. Львы, буйволы, слоны — животных больше, чем в зоопарке.

Дигби переносится на этот пляж и уже видит, как бриз раздувает волосы над ее шеей, а позади в полумраке силуэты древних храмов; он ощущает соленые брызги на лице, запах океана смешивается с ароматом ее духов. Он глубоко вдыхает.

— Вижу, — говорит он.

— Правда? — Палец указывает куда-то вперед: — А теперь всмотритесь туда, за кромку прибоя. Видите темную массу под водой? Это храмы, Дигби! Целая цепь храмов. Поглощенных морем. До поры до времени. Вещи имеют свойство возвращаться, когда мы думаем, что они утрачены навеки.

Взрыв бурного смеха возвращает их на землю, песок уступает место деревянному полу и полной народу гостиной, где Радж веселится вокруг рождественской ели, бокалы с виски подают официанты в тюрбанах и никто не подозревает, что празднику скоро настанет конец.

— Это было великолепное путешествие, миссис Арнольд.

— Селеста. Прошу вас. От «миссис Арнольд» я чувствую себя старше, чем подводный храм. Мы с вами должны туда съездить. Здешняя публика никогда не посетит Махабалипурам. — Она поворачивается лицом к нему. — Я так рада, что вам здесь нравится. В этом не принято признаваться, не знаю почему. Долгое время я думала, что наше пребывание здесь временно. Клод был уверен, что его переведут в Калькутту, где я выросла. Или в Дели. Поэтому я не спешила обживатьсь тут.

Дом выглядел более чем обжитым. Но она здесь не к месту. Дигби представляет ее в маленьком дворце Четтинада^[86]: внутренний двор с декоративным бассейном, окаймленным каменными лавками, на которых можно отдохнуть, тиковые качели на двоих, спальни, овеваемые бризом...

— Скоро будет двадцать лет, неужели вы не знали?

— Уверен, скоро он получит повышение, — запинаясь, бормочет Дигби.

— Боже упаси! Раньше я, может, и хотела бы этого. Но мне здесь нравится. Мои дети считают это место своим домом, хотя и появляются лишь раз в два года. Зачем уезжать? Если мы и уедем, Клод останется Клодом, а я останусь... — Она отворачивается, внимательно разглядывая картину, как будто она тут гостя, которой показывают хозяйскую коллекцию.

Он запоминает силуэт: бровь, нос, изгиб верхней губы с луком Купидона, переходящим в алую кайму нижней губы, взгляд скользит по щитовидному хрящу, перстневидному, к нежной выемке над грудиной. Ему хотелось бы обвести пальцем этот контур.

Селеста поворачивается как раз вовремя, чтобы заметить, как он покраснел. Она внимательно смотрит на него, и он не может понять выражение ее лица. Затем она оглядывает гостиную. Шум вечеринки кружит вокруг, но не проникает внутрь их кокона. Они замечают Клода, щеки его покраснелись, веки отяжелели.

— Почему я рассказываю вам все это, юный Дигби Килгур? — едва слышно произносит она. Вопросительно приподняв бровь, ждет ответа.

— Потому что вы знаете, что мне не все равно, — искренне отвечает Дигби.

Зрачки ее резко расширяются. Рубины на груди приподнимаются. Глаза вспыхивают. И после паузы она говорит:

— Вы ведь не повторите моей ошибки, правда? — Взгляд смягчается и теплеет, тоски как не бывало.

— Какой ошибки... Селеста?

— Ошибка, Дигби, в том, чтобы пытаться увидеть в своей будущей половине больше, чем свидетельствует очевидность.

глава 17

Расы врозь

1935, Мадрас

Оуэн и Дженнифер Таттлберри — англо-индийские друзья Онорин, а теперь и Дигби; Дженнифер работает телефонисткой на коммутаторе, а ее муж — машинист паровоза. Оуэн целыми днями стоит на рулевой площадке своей «Бесси», громадной свистящей «подружки», перед ним множество приборов, манометров и рычагов — свершившаяся мечта мальчишки. Маршрут до Шоранура^[87] редко дает ему возможность присесть.

— Я вижу, как солнце встает над Бенгальским заливом, — рассказывает Оуэн. — А потом вижу, как оно садится над Аравийским морем. Ну разве я не самый счастливый человек на свете?

Дигби озаботился поисками нового транспортного средства. Машина — слишком дорого, а вот подержанный мотоцикл вполне подошел бы. Оуэн обмолвился, что у него имеется подходящий и по цене, которая устроит Дигби. И Дигби с Онорин отправились на джатке в железнодорожную колонию Перамбур. Этот англо-индийский, обнесенный стеной анклав на окраине города напоминает детскую игрушечную деревню, он весь утыкан маленькими одинаковыми домиками. На центральной поляне мальчишки играют в крикет теннисным мячом. Подростки собираются вокруг качелей под бдительным присмотром взрослых. В поле зрения никаких сари или мунду — сплошь платья, брюки и шорты.

Перед домом Таттлберри стоит автомобиль неведомой марки, некрашенный и с заметными швами от сварки. Онорин сразу направляется в дом, а Оуэн ведет Дигби на задний двор знакомиться с «Эсмеральдой», которая за умеренную сумму может перейти в его руки. Цена действительно выгодная, хотя Дигби и сомневается, вправду ли она «стоцентная жемчужина!», как уверяет Оуэн. Оуэн обещал поднатаскать Дигби в механике — тут он не силен, в отличие от устройства человеческого тела. Формально «Эсмеральда» — это

обычный английский «Триумф», но Оуэн признается, что топливный бак, руль, передняя стойка, опора двигателя, шасси, выхлопная система и деревянная коляска были изготовлены в депо Перамбургской железной дороги, так что технически этот мотоцикл — отчасти локомотив. Родной у него только одноцилиндровый двигатель.

— Она неприветлива, пока не познакомишься поближе, — признается Оуэн. — Но будет верна тебе как никто другой. Я так сильно ее люблю, что готов всю жизнь быть твоим механиком. Обещаю.

С Оуэном в коляске в роли инструктора Дигби заводит «Эсмеральду» и делает несколько кругов по анклаву. А когда они возвращаются к дому, он уже влюблен в мотоцикл.

— Она же как семья, Дигби. Если бы у меня теперь не было машины, ни за что бы с ней не расстался. Видел мою тачку? Красотка, да? Только покрасить надо.

Они *должны* остаться на ужин, «никаких возражений». Онорин усаживают рядом с широкоплечим парнем в безукоризненно отглаженных черных брюках и безупречно голубой рубашке, рукава которой закатаны достаточно высоко, чтобы продемонстрировать могучие бицепсы. Дженнифер представляет его как своего брата Джеба. Он светлее сестры, шатен. Сжимая руку Дигби в своей могучей ручище, он говорит:

— Док, а мой зять, должно быть, любит вас, если решился расстаться с «Эсмеральдой».

— Док, — вмешивается Оуэн, — вы пожимаете руку будущему олимпийскому чемпиону, запомните мои слова. Если уж Джеб не попадет в нашу хоккейную команду, тогда уж не знаю кто, черт побери.

— Не сглазь, бога ради, — улыбается Джеб.

— Мой братец не отличит билет от баклажана, но числится билетным контролером. — Дженнифер ослепительно улыбается, ровные зубы оттеняет красная губная помада. — Его каждое утро пичкают сырыми яйцами, кормят бараниной на обед, и весь день он играет в хоккей. Чем не жизнь, а?

Контраст между светлым Джемом и его темнокожим зятем поразительный. Оуэн, с его руками, черными от загара, с вечной полоской машинного масла под ногтями, вдобавок еще и простодушный добряк.

Джеб живет с матерью в нескольких домах отсюда. Она вскоре присоединяется к ним, как и тетушка Оуэна, двое детей Таттлберри и племянница. Вся семья собирается за столом вместе с почетными гостями. Дигби очарован этой картиной семейного уюта: детишки устроились на коленях у взрослых, их дядя Джеб разливает по рюмкам домашнюю настойку, сшибающую с ног почище любого локомотива, а Дженнифер подает еду, которую называет «пиш-паш», — рис, баранина, картофель, горошек и много специй, тушенное все вместе, пальчики оближешь.

Оуэн явно гордится женой.

— Она настоящая находка, а, Док? Кто бы подумал, что такая девушка пойдет за такого чернявого, как я!

Оказавшись за пределами железнодорожной колонии, «Эсмеральда» проезжает мимо кучки жалких хижин и убогих лачуг, сколоченных из всего, что подвернулось под руку. Контраст ошеломляет: анклав англо-индийцев, в котором нет места туземцам, хотя одновременно и сами обитатели анклава исключены из общества правящей расой, и в этом отношении они не отличаются друг от друга. Но тогда и он такой же. Дигби Килгур — угнетенный в Глазго, угнетатель здесь. Мысль повергает его в отчаяние.

глава 18

Каменные храмы

1935, Мадрас

Автомобиль Селесты останавливается перед жилищем Дигби. Из соседнего дома доносится дребезжащий старческий голос, выводящий мелодию, которую подхватывают юные девушки, — «*Супрабхатам*»^[88]. Краткая нотная азбука религиозного песнопения, ее мелодия и синкопа вошли в плоть и кровь Селесты. Джанаки — тамильская *айя*^[89], которая живет с ней еще с тех пор, когда она маленькой девочкой росла в Калькутте, — напевает эту молитву, расчесывая волосы Селесты. В знаменитом храме в Тирупати^[90] этот гимн поют, пробуждая божество, Господа Венкатешвару.

После смерти родителей Селесты ее единственной семьей стала Джанаки. Много лет спустя, когда Клод, несмотря на ее возражения, отправил мальчиков в пансион в Англию, для Селесты словно сама жизнь покинула дом. Чтобы вывести ее из депрессии, Джанаки повезла Селесту в Тирупати. Босые, они присоединились к тысячам людей, взбиравшихся на гору по ступеням, отполированным миллионами паломников прошлого, и она вновь слышала «*Супрабхатам*». Единение с великим множеством преданных, каждый из которых нес свои горести, придало ей сил. Когда Джанаки подставила голову под бритву цирюльника, пожертвовав храму свои волосы, Селеста последовала ее примеру. По мере того, как локоны падали на землю, скорбь разжимала свои когти. А когда после долгих часов в очереди она смогла наконец узреть Господа Венкатешвару, то почувствовала, как кожа покрывается мурашками. Десятифутовое, усыпанное драгоценными камнями миролюбивое существо больше не было идолом, изображением, но воплощением самого Вишну, излучающим такую мощь, что Селеста ощутила, как гора дрогнула под ногами, и жизнь ее перевернулась.

Когда Клод вернулся из Англии, он вполне мог бы узнать, что в ней изменилось, о ее обете *сева*, если бы спросил. Но он лишь молча уставился на стриженую голову жены. «*Сева*» означает избавление от

эгоизма посредством служения. Для Селесты служение принимало разнообразные формы, в частности, ежедневной добровольной работы в Мадрасском детском приюте.

Дигби появляется с тряпочной *санджй*^[91] через плечо, такую сумку решались носить очень немногие англичане. Немножко вздернутый и взволнованный, он забирается в машину. Как школьник, собирающийся на пикник, думает Селеста.

В окошко автомобиля просовывается темная рука с жестяной коробкой.

— Саар^[92] забыл самосы, — сообщает Мутху.

— Можно? — Селеста с любопытством приподнимает крышку жестянки. Надкусывает самосу, начинка исходит паром. — Божественно. — Она чуть наклоняется вперед, чтобы крошки не просыпались на ее оранжевую *курту*^[93]. — В жизни ничего вкуснее не пробовала.

— Если мисси нравится, я приготовлю много, — улыбается Мутху.

Они отъезжают, и Селеста хохочет:

— Он назвал меня «мисси». Как школьницу.

Дигби лишь молча усмехается.

На подъезде к Адьяру, когда они пересекают реку и едут мимо обширного болота, Дигби неуверенно начинает:

— Признаюсь, я прошлой ночью почти не спал.

— А что случилось?

— Переживал, что ввел вас в заблуждение, представив дело так, будто бы что-то понимаю в искусстве. Я не получил такого воспитания, как, думаю, вы. Я не видел великих музеев Европы и всякого такого. Те несколько месяцев, что провел в Лондоне, я не выходил из больницы. Ну вот, я должен был сбросить камень с души. — Признавшись, он покраснел.

— Дигби, я вас разочарую. В моем детстве не было никаких великих музеев. Мои родители служили миссионерами в Калькутте. Мы жили в доме из двух комнат. И у нас была только одна аяя, а не десяток слуг, как у прочих наших знакомых. Не нужно делать такое лицо. Это был подарок судьбы! Поскольку мы были слишком бедны, чтобы отправить меня в Англию, я избежала душевной травмы разлуки с родителями в пятилетнем возрасте. Вы же знаете, это считается

обычным делом — отослать ребенка за океан в пансион, именно это Клод проделал с моими мальчиками. Раз в два года повзрослевший ребенок сходит с судна в Индии. И *нет никакого шанса*, что это по-прежнему твой малыш. Он пожимает тебе руку и говорит: «Здравствуйте, мама», потому что «мамочку» он уже не помнит.

Свободная подвеска автомобиля заставляет их раскачиваться в унисон — ритм, располагающий к откровенности.

— Мне еще повезло, что они вообще приезжают домой. Некоторые дети проводят каждое лето в Илинге или Бэйсуотере^[94] с «бабулей» Андерсон или «тетушкой» Полли, которые за умеренную плату играют вашу роль. Невыразимая жестокость.

— Но тогда зачем?

— Зачем? Потому что существует признанное медицинское мнение, что если ребенок останется в Индии, он непременно сляжет с тифом, проказой или оспой. А если доведется уцелеть, он станет слабым, ленивым и лживым. И неважно, что множество из нас отлично выживают. И эту чушь можно прочесть в руководстве для Гражданской службы! «Качество крови ухудшается», согласно утверждениям сэра Болвана Такого-то и Такого-то, члена Королевского медицинского колледжа. А здесь, прошу заметить, просто образцовые школы. Но в таком случае мои несчастные сыновья вынуждены будут учиться вместе с англо-индийцами. У них появится акцент полукровок, чи-чи, как у их матери, за спиной их будут называть «пятнадцать анна», хотя они даже не англо-индийцы.

В рупии шестнадцать анна, а быть Селестой означало быть на одну меньше. Горечь ее слов потрясает Дигби, но и он удивляет Селесту. Он слушает всем своим существом, как ей кажется, предлагая чистый холст своего разума для ее мыслей. *Боже, да он, кажется, влюблен. Будь бережна с ним.*

— Я не могу представить, — говорит он, — англичанку, нога которой никогда не ступала на землю Англии.

Когда Клод упомянул между делом, что у него появился новый ассистент-хирург, он сказал лишь, что это католик из Глазго. Вот и все, что Клод считал существенным для характеристики человека. Но мужчина, сидящий рядом с ней, гораздо сложнее. Она, не отдавая себе отчета, тянется к его щеке и касается рваного шрама. Он густо краснеет, как будто она обнажает в нем нечто непристойное, хотя намерения у

нее были ровно противоположные. Она поспешно продолжает разговор, скрывая их обоюдное замешательство:

— Вообще-то я *бывала* на родине. Когда я окончила школу, друг моих родителей оплатил поездку. Было ужасно любопытно.

Она вспоминает, как корабль входил в холодную туманную бухту Тилбери и свое первое впечатление от Лондона. Величественные здания, которые она так мечтала увидеть, оказались серыми и закопченными из-за дыма угольных печей. В унылых провинциальных городках крохотные домишки тесно жались друг к другу, как халва в кондитерской. Даже белье на веревках было серым.

— Я получила стипендию в школе, где из девочек готовили миссионерок. Хотите верьте, хотите нет, но я жаждала изучать медицину. Но через несколько месяцев после моего отъезда из Индии родители умерли. Холера, — буднично добавляет она.

Она смотрит на океан, как раз появившийся по левую руку. Навстречу движется другой автомобиль, и обоим приходится разъезжаться медленно и аккуратно, чтобы не застрять в песке.

Обернувшись, она видит, что Дигби внимательно изучает ее, как художник — свою модель.

— Я тоже осиротел, — застенчиво говорит он.

В Махабалипурам Селеста ведет Дигби через дюны. Молочно-белую ленту пляжа, лежащего перед ними, разрывают темные глыбы скал, похожие на разбитые остовы кораблей.

— Вон те пять фигур, вырезанных из одного валуна, называются *ратхас*, — рассказывает Селеста. — Потому что они имеют форму колесниц. Целая процессия. И.. — Она обрывает сама себя. — Нет ничего хуже экскурсий. Дигби, ступайте и смотрите. Я буду ждать вас около пятой фигуры, там рядом каменный слон. Увидите.

Он подчиняется без колебаний. Она даже немножко разочарована, что он не стал протестовать.

Перед первой ратхой стоит на страже пара колоссальных пышных женских фигур, полоска ткани едва скрывает их соски, а другая — лобковую область. Селеста видит, как Дигби достает блокнот. Что этот сирота из католического Глазго — как зловеще звучит, однако, — думает о чувственной скульптуре на священном сооружении?

Она садится в тени пятой ратхи, снимает темные очки, разглядывая округлости статуи. Первое посещение этого места подвигло ее к изучению всего, что возможно, о храмовом искусстве. Что, в свою очередь, несколькими годами позже привело к организации выставки южноиндийских художников. Венгерский дилер, купивший множество работ, восхищался ее галерейной деятельностью. Он посоветовал «покупать то, что нравится и что можно себе позволить». Так она стала коллекционером.

Неужели поэтому я здесь? А Дигби — часть коллекции?

Проходит немало времени, прежде чем она замечает Дигби, вынырнувшего из четвертой ратхи, как кролик из шляпы. Он видит Селесту, и тревожная тень омрачает его улыбку — он заставил ее ждать? Они идут по дюнам к северу, туда, где в тени палисандра их ждет шофер с корзиной для пикника. Она расстилает плед. Прямо перед ними возвышается гигантский валун песчаника высотой в пятьдесят футов и вдвое длиннее, поверхность его представляет собой пространственный рассказ о богах, людях и животных. Дигби глаз не сводит с изображений, одновременно уничтожая сэндвичи с помидорами и чатни, уже совершенно не стесняясь.

— А это что такое? — спрашивает он с набитым ртом.

— *Происхождение Ганги.* Вот эта расщелина — это Ганга, пролившаяся в ответ на мольбы правителя, но если бы она излилась прямо на землю, это перевернуло бы мир, поэтому Шива пропустил ее через свои волосы — видите, вон он, с трезубцем? А вон те летающие на самом верху пары мои самые любимые. *Гандхárвы.* Полубоги. Мне нравится, как свободно они парят. А дальше видите — пахари, карлики, садху... Видите, кошка стоит на задних лапах, прикидываясь мудрецом? И мышка, идущая к ней на поклон? Здесь и юмор, и трагедия, и всякий раз что-то новое.

Дигби торопливо приканчивает свой сэндвич, тянется за блокнотом.

— Мы можем задержаться здесь еще немножко?

— Конечно! У меня есть книжка. — Она прислоняется спиной к стволу дерева и раскрывает роман.

Проснувшись, видит, что Дигби разглядывает ее. Когда она успела задремать? Она садится, требовательно протягивает руку:

— Позвольте?

Он колеблется, но все же уступает. Он делал быстрые наброски, три-четыре на странице. Глаз художника в сочетании со знанием анатомии рождает предельно точную картину всего, что он видит.

— Вот это да, да вы мастер сисек! Ой, простите, *рисунка!* Клянусь, я хотела сказать «рисунка».

Дигби вовсе не подчеркивал грудь, не больше, чем сам скульптор, но за него это сделали карандаш и белая бумага. Он уловил и запечатлел каждый жест, каждую мудру — словарь танцовщика.

— Дигби, нет слов. Какой талант!

Она переворачивает страницу — женщина в темных очках, с тончайшей шелкой между приоткрытыми губами, сквозь которую она впитывает воздух во сне. Она чувствует себя вуайеристом, заглядывающим в храм сластолюбца на покое. Ее образ на бумаге рядом с высеченными в скале фигурами слил воедино эпохи. Селеста рассматривает себя со стороны. Лесть — не правильное слово для описания портрета. Эмпатия — качество, что присутствует и в окружающих их скульптурах. Художники древности были в первую очередь преданными, верующими. Без любви к предмету изображения они стали бы просто резчиками, ремесленниками, их обожание — вот что оживляет камень. Она чувствует, как пылает лицо. Дигби целомудрен, но он разбирается в женском теле благодаря своей профессии, которая предполагает многие часы внимательных наблюдений вкупе с чудовищной степенью близости.

Дигби волнуется.

— Мне нравится, — признается Селеста, но эти слова словно произносит совсем другой человек. — У вас дар...

А Клод, стремился ли он когда-либо воздать ей должное? Сейчас ей нестерпимо хочется порвать с прежней жизнью.

— Бегство, — слышит она Дигби, точно тот читает ее мысли.

— Простите? — вспыхивает она вновь.

— Это бегство, а не дар. Мальчиком я рисовал воображаемые миры, которые были счастливее, чем мой. Лица. Фигуры. Ровно то, что я вижу здесь.

Неужели стремление творить сопровождается стремлением разрушать? Дабы воссоздать вновь?

— Бегство от чего, Дигби?

Лицо его застывает, как скала. Как будто она опять коснулась его шрама. Наконец он отвечает, и голос звучит слишком звонко и радостно, отвлекая от дальнейших расспросов.

— А они не стеснялись обнаженного тела, да? Это сразу заметно. Для них это было естественно. — Дигби смотрит на нее в упор.

— Верно, — кивает она. — Вместе с моей айей, Джанаки, я бывала в храмах Кхаджурахо на севере. Поразительные изваяния совокупающихся пар, куртизанок... скажем так, воображению места не остается. Паломники, приходящие туда, были бы оскорблены, увидев подобное на киноафишах. Но на стенах храма это священные изображения. Скульптуры просто повторяют священные тексты. Их основная мысль: «Это и есть жизнь»

— И уж точно это не прокатило бы в Хай Кирк^[95] в Глазго! — Дигби невольно выпускает из-под контроля свой акцент. И вознагражден ее смехом. — Seriously, — продолжает он. — В христианстве мне всегда не нравилось, что все начинается с того, что мы грешники. Если бы я получал пенни каждый раз, когда моя бабуля говорила, что все мальчишки вороватые лживые распутники, и я не исключение... Простите, Селеста. Надеюсь, моя вера — или ее отсутствие — вас не оскорбляет.

Селеста мотает головой. Разве после смерти родителей она может цепляться за веру? Они с Дигби окружены призраками, и не только древних скульпторов, оставивших отметины на этих камнях.

— Дигби, как умерли ваши родители? — Вопрос парит в воздухе, как гандхарва. Лицо Дигби темнеет; маленький мальчик пытается сохранить мужество перед лицом невыразимого. — Забудьте, что я об этом спросила, — торопливо поправляется она. — Забудьте.

Губы Дигби приоткрываются, как будто он собирается заговорить. Но затем снова плотно сжимаются.

По пути домой оба молчат. Селеста испытывает удивительное послевкусие путешествия во времени — дар, который Махабалипурам преподносит своим гостям. Она беспокоится о своем спутнике. Они оба выкроены из ткани потерь. Она украдкой поглядывает на него, на твердый подбородок, крепкие мускулистые плечи. *Да ради всего святого, вовсе не из фарфора он сделан. С ним все будет в порядке.*

— Селеста... — начинает Дигби, когда они подъезжают к его дому, голос хриплый от долгого молчания.

Она берет его за руку, прежде чем он успевает продолжить.

— Дигби, спасибо за прекрасный день.

— Но я это и хотел сказать!

Она улыбается, хотя сердце ее переполняют печаль и желание. Она сжимает его пальцы, удерживая свое тело в узде, выпрямляется. Взгляд падает на их соединенные руки.

— Вы хороший человек, Дигби, — говорит она. — Прощайте. Вот, я сказала это за нас обоих.

глава 19

Пульсация

1935, Мадрас

Дигби клянется не думать о ней. И постоянно только о ней и думает. Она высечена в его памяти, как скальная скульптура; мысли о Селесте занимают весь дождливый сезон, который не заслужил своего названия, и тайфун, который, безусловно, заслужил, и «весну», промелькнувшую в мгновение ока. Он по-прежнему чувствует запах прибоа, вкус сэндвича с чатни и вызывает в воображении лицо спящей Селесты — лицо, в котором читается все, что она пережила, пускай ее шрамы менее заметны, чем его.

У него есть только одно утешение — «Эсмеральда». До сих пор она оправдывала рекламное заявление Оуэна насчет «стопроцентной жемчужины». Она капризна, но щедро вознаграждает терпеливого владельца. По выходным она сопровождает его к новым впечатлениям, обследуя окраины города: гора Святого Фомы, пляж Адьяр и даже Тамбарам^[96].

Хотя радиус его поездок существенно увеличился по сравнению с былыми велосипедными деньками, круг друзей остается небольшим: Онорин, Таттлберри и Равичандран. Лена Майлин пишет Дигби пространные письма: она быстро поправляется, а Франц передает приветы. Лена шлет соблазнительные фотографии их гостевого домика в поместье «Аль-Зух», где, как она говорит, Дигби сможет расслабиться и порисовать. Он пообещал приехать летом, когда Мадрас становится абсолютно невыносимым.

Дигби и Онорин стали гостями Таттлберри на осеннем балу Железнодорожного института; Дженнифер назвала это событием, которое «никак-нельзя-пропустить», — как выяснилось, нельзя пропустить никому из англо-индийской общины. Седовласые дедули и бабули вместе с младенцами клевали носом по углам, не обращая внимания на «Дензел и Дьюкс» на сцене, наявивавших все подряд, от

джаза до польки. На «Апрельских ливнях» и «Звездной пыли»^[97] к ним присоединилась знойная певичка. Дигби наблюдает за пожилой парой, ловко маневрирующей на забитой людьми танцевальной площадке, они женаты так давно, что их тела словно отпечатались друг в друге.

Дженнифер тянет Дигби танцевать, не обращая внимания на возражения.

— Я научу тебя, не переживай, — уверяет она. — По сравнению с хирургией это ерунда.

Дигби, впрочем, предпочел бы гастрэктомию.

— Двигай бедрами, — командует Дженнифер.

Появление ее брата Джеба в сопровождении свиты симпатичных приятелей вызывает небольшой переполох.

— Принц Перамбура почтил нас своим присутствием, — насупившись, хмуро бросает Дженнифер.

В тот же миг какая-то молодая женщина резко отодвигает стул и вылетает из зала, ее родители, братья и сестры следуют за ней, бросая злобные взгляды на Джеба. Джеб стоит в сторонке — смиренный, вежливый, глаза в пол. Дженнифер, грустно качнув головой, объясняет:

— Мэри и Джеб были вместе с тех пор, как еще подгузники носили. Он даже подарил ей кольцо. А месяц назад мой братец взял и бросил ее. Я до сих пор в ярости.

Со своего места Дигби видит, как Джеб проплывает по залу, словно босс, инспектирующий офис, как он машет «Дензел и Дьюкс», которые приветствуют его, как королевскую особу. Он проходит мимо Дженнифер, презрительно фыркнувшей в сторону брата, но потом внезапно возникает у нее за спиной, подхватывает под руку, поднимает и увлекает на танцпол. «Дензел и Дьюкс» играют ча-ча-ча, все взгляды устремлены на брата с сестрой, Джеб мастерски ведет, едва касаясь партнерши кончиками пальцев, плавно покачивая бедрами. Дигби завидует умению, которым ему точно никогда не овладеть. Опять его удивляет контраст между голубоглазым шатеном Джебом и Дженнифер с ее угольно-черными глазами и смоляным пучком волос со свисающим слева локоном. В сари, с окрашенным хной пробором^[98] и потту на лбу, она могла сойти за тамильскую жену, в то время как Джеба легко принять за загорелого англичанина, только что вернувшегося с летних каникул в Италии.

Джеб, изящно закружив напоследок, подводит улыбающуюся сестру обратно к ее креслу, но тут же нацеливается на скромную юную красотку в эффектном белом платье, разрисованном крупными красными розами и скроенном так, чтобы продемонстрировать роскошное декольте. Но нет — оказывается, целью была ее громадная мамаша. В брюках с высокой талией и белой сорочке с жабо Джеб похож на матадора, когда профессионально ведет тетушку по залу, всячески демонстрируя благоговение перед ее скрытыми талантами, а она подтверждает, каждым движением доказывая, что двадцать лет назад была горячей штучкой... а тем временем скромная дочурка все больше нервничает, сидя на своем месте, потому что знает то, что Дигби заметил только сейчас, — с того момента, как Джеб вошел в зал, все прочее было лишь маскировкой, сплошным дымом и зеркалами, потому что жребий брошен и для него существует только одна девушка на свете, вот эта очаровательная тетушкина дочка в белом с розами платье, эта любовь-с-первого-взгляда-драгоценная-дорогая, и забудь-все-рассказни-обо-мне, это гадкая клевета, распускаемая этой задницей Мэри и ее Чарли-Билли-бала-болы братцами, деревенщина, сплетни, вздор, лягушки, угодившие в ведро и норовящие утянуть с собой на дно отважную душу, которая стремится увидеть мир...

Дигби почти не удивлен, узнав от Оуэна, что новую пассию Джеба зовут Розой. Он невольно представляет, как понравилась бы Селесте эта драма и этот вечер. Но Селеста — всего лишь мечта, а тут настоящие женщины из плоти и крови проплывают мимо в облаке духов, взглядами зовут к приключениям. Час спустя, когда Дигби и Онорин собираются уходить, танцы в самом разгаре.

Дигби едет неторопливо, с той единственно возможной для «Эсмеральды» скоростью, если в коляске пассажир, а это немногим быстрее велосипеда. Морской бриз бодрит и очищает. Дигби сдвигает очки на лоб, волосы Онорин развеваются за спиной, и сестра улыбается.

— Все розы для Джеба, — кричит через плечо Дигби; образ кружащегося платья, усеянного красными розами, еще жив в памяти.

Ему хотелось бы поговорить о Селесте, но, разумеется, он никогда не упоминает ни о ней, ни об их поездке, никогда не произносит вслух ее имени.

Онорин смеется и кричит в ответ:

— Розы жутко раздражали бы, если бы не увядали и не засыхали со временем. Красота и состоит в том, что она недолговечна.

Джеб это наверняка знает, думает Дигби. А вот знает ли Роза? И если красота столь эфемерна, как насчет прекрасных вещей, которыми вы не можете обладать? Возможно, именно такая красота сохраняется навеки.

Наступление летней жары знаменует собой начало очередного года в «Лонгмер», Мутху отмечает это событие в кухонном календаре.

Проходя через предоперационную и утирая носовым платком едкий пот со лба, Дигби узнает пациента на каталке. Мужчину с голубыми глазами и слегка загорелой кожей можно принять за англичанина — редкое зрелище, если дело касается хирургических пациентов в «Лонгмер».

Дигби заглядывает в список Клода и видит там только одно имя — Джеба.

— Пустяки. — Джеб смущен встречей с Дигби. — Просто абсцесс. — Он показывает на пылающий красный желвак на шее. — Подумал, что доктор Арнольд вычистит его. Клод любит спортсменов, приходит на каждый наш матч.

— И давно он у тебя? — спрашивает Дигби, хотя на самом деле хочет сказать: *«Я бы не доверил Клоду выдавить прыщ у меня на заднице»*. Внимательно вглядывается в желвак.

— О, уже много месяцев. Но теперь мешает, сволочь.

Когда появляется Клод забрать Джеба в операционную, тот беспечно машет Дигби на прощанье.

Много месяцев? Мысль не дает Дигби покоя. А потом ему становится не по себе.

Он отправляет стажера попросить Онорин прийти в операционную, если она не занята. Переодевается, моет руки и заходит взглянуть на больного еще разок. Хлороформ уже подействовал, глаза Джеба закрыты. Вздутие на шее красное, воспаленное — очень похоже на абсцесс. *Может, я и ошибаюсь*, думает Дигби. Но когда прикладывает ладонь к коже, она вовсе не горячая, как должно быть при абсцессе. И, к ужасу Дигби, пульсирует, с каждым ударом сердца приподнимая и чуть раздвигая его пальцы.

— Неужели это доктор Килгур? — появляется из-за его спины Клод, уже полностью готовый к операции, и одновременно с ним в операционную проскальзывает Онорин, прижимая маску к лицу. До полудня еще далеко, но Дигби чувствует отчетливый запах алкоголя. — Разве нам недостаточно работы с туземцами? Пришли взглянуть? — Если на лице Клода и присутствует улыбка, то она надежно скрыта хирургической маской, а уж в глазах ее точно не видеть.

— Прошу прощения. Просто мы с Джебом знакомы, — оправдывается Дигби. — Он брат моего друга. И я случайно увидел его в предоперационной. — И продолжает, понизив голос: — Я подозреваю... я уверен, доктор Арнольд. А что, если это не абсцесс, а аневризма?

Глаза Клода становятся ледяными. Откровенная ненависть во взгляде пугает Дигби. На миг ему кажется, что это из-за Селесты, но все грехи, в которых его можно обвинить, существуют лишь в его голове.

Клод берет себя в руки.

— Чепуха, дружище, — говорит он. — Вы ведь здесь уже достаточно давно, чтобы узнать абсцесс. Этот разбух от гноя. А пульсация передается от сосудов, расположенных позади него. Мы же в тропиках. Гнойные абсцессы здесь встречаются чаще, чем прыщи.

Каждое слово отчетливо и уверенно. Клод всегда прав.

— Просто он даже не теплый... — лепечет Дигби. — Возможно, пункция тонкой иглой для начала могла бы прояснить...

— Это гнойный абсцесс, — невозмутимо констатирует Клод. — Я вскрывал эти штуки, еще когда вы пешком под стол ходили! Отойдите отсюда и смотрите.

Антисептик не успевает высохнуть, как доктор Клод Арнольд взрезает скальпелем вздутие. Наружу вытекает гной, густой и вязкий, и Клод оборачивается к Дигби, уже открыв рот, чтобы сказать: «Видишь?» — как в следующее мгновение струя крови, яркой артериальной крови, ударяет в лицо Клода. Он отпрыгивает, ошеломленный, но все же недостаточно быстро, потому что его настигает следующий залп, мощный фонтан, бьющий в ритме сердца Джеба.

Клод, шарахнувшись назад, спотыкается о табурет. Дигби бросается вперед, голыми руками хватая хирургические салфетки,

зажимает ими аневризму, потому что это именно она: очаговое ослабление стенки каротидной артерии. Онорин отбрасывает маску и спешит на помощь.

Разрез, проделанный Клодом, настолько длинный и глубокий, что простым зажимом не зачинить брешь в дамбе. Салфетки становятся алыми, как и пальцы Дигби, кровь капает со стола и собирается в лужицу на полу. Дигби орет, требуя зажим и нитки. Лицо Джеба уже обрело мертвенную бледность. Когда Дигби вытаскивает салфетки, кровь из рваного разреза пульсирует не так интенсивно. Он яростно зашивает сосуд, но к тому времени сердце Джеба уже остановилось, потому что не осталось крови, которую нужно перекачивать. Пациент истек кровью. Скончался от кровопотери. Глаза Джеба полуоткрыты, и Дигби кажется, что он смотрит прямо на него, словно спрашивая: *«Почему ты позволил ему сделать это?»*

Звук падающей на пол табуретки собрал всех, находившихся в пределах слышимости. В операционной стоит небольшая толпа, разглядывая жуткую картину.

— Да уж, черт меня побери! — с расстояния в шесть футов мямлит Клод, нарушая повисшее в операционной безмолвие.

Клод бледен почти как Джеб, не считая пятен крови на лице. Все глаза устремлены на Клода Арнольда, жалкое зрелище.

— Эта чертова штука все равно убила бы его. Вреда не причинено, — бормочет он, вываливаясь в коридор.

глава 20

В стеклянном доме

1935, Мадрас

Сквозь церковное окно видно кладбище. Клод, сколько душ ты сюда отправил? Этот человек на следующий день вернулся на «работу» как ни в чем не бывало. Дигби вздрагивает, когда внутренний голос предупреждает: *Не суди строго, Дигби. Все хирурги ошибаются.*

Службу пришлось перенести из Перамбура в более просторное место в Вепери^[99]. Собралось все англо-индийское население; женщины в шляпках и черных вуалях. Алтаря почти не разглядеть под венками, обступившими гроб. Фотография потрясающе красивого Джеба, опирающегося на хоккейную клюшку, напомнила Дигби Рудольфо Валентино. В церкви жарко, служба долгая, воздух насыщен приторным ароматом гардении.

Когда команда Джеба, строй парней в синих блейзерах и белых брюках, несет по проходу гроб, женский вопль разрывает тишину и звуки рыданий разливаются под церковными сводами.

На улице Дигби окликают по имени. Оуэн хватается за руку. Он ссутулился и выглядит так, будто давно не спал.

— Док, мы все знаем, что случилось в операционной. Знаем. И знаем, что вы пытались это предотвратить.

Дигби никому ни слова не говорил.

— И я хочу, чтобы вы знали, — произносит Оуэн, расправляя плечи. — Мы встречались с главным врачом больницы. Скользкий говнюк! Он беспокоился, только как бы прикрыть Арнольда. Сам начальник Железной дороги обратился с ходатайством к губернатору от имени семьи. Губернатор позвонил директору Индийской медицинской службы. Тот обещал расследовать дело. Мы этого так не оставим, Дигби. — Он внимательно изучает его лицо. — Я знаю, что он ваш босс и все такое. Но, док, не надо защищать ублюдка.

— Оуэн, если меня спросят, я скажу всю правду, — говорит Дигби прямо.

Оуэн кивает.

— Джеб не был святым. Ему нужно было время, чтобы перебеситься, взяться за ум. Но такого он не заслужил.

Дигби решился задать вопрос, беспокоящий его:

— Оуэн, а почему Джеб не обратился в Железнодорожный госпиталь?

Причиной оказалась, как выяснилось, его новая пассия, Роза.

— Роза — дочка чертова главного врача. А Джеб, он типа Ромео, вы же в курсе. Короче, когда Роза узнала, что он крутит с другими девчонками, она устроила сцену ревности. И ее папаша вмешался в это дело. Хуже всего, что этот сукин сын живет напротив нас. Заявился к нам домой, закатил скандал, а потом еще и его сынок начал подтягивать, направо и налево брехать, что, мол, наша семья такая-разэтакая, а следом случилась чертова *гумбалода Говинда*^[100], с хоккейными клюшками, камнями, костями и все такое. Даже моей матери досталось несколько тычков. Так что сами понимаете, док. Железнодорожный госпиталь Джебу не годился.

Редактору «Мэйл».

Смерть Джеба Пеллингема, олимпийской надежды нашей хоккейной команды, это национальная трагедия. Но то, как обошлись с его семьей, это национальный позор. Мистер Пеллингем скончался из-за преступной некомпетентности хирурга больницы «Лонгмер», но, несмотря на обещание губернатора провести расследование, прошло уже два месяца, а сроки его так и не назначены. Меж тем семья и представители англо-индийской общины не могут получить копию заключения патологоанатома.

Мистеру Пеллингему не повезло попасть в руки хирурга, чья репутация настолько дурна, что его уволили из Государственной центральной больницы. Ни один из европейцев не обращается к нему за помощью. Но тем не менее он продолжает работать в «Лонгмер», получает приличное жалованье, ничего не делая, а то, что делает, угрожает жизни пациентов. Неравнодушный гражданин обязан спросить: неужели это потому, что один из его братьев является главным секретарем вице-короля, а другой —

губернатором Северного округа? По какой иной причине покрывают этого убийцу?

Когда-то мы, англо-индийцы, были гордыми сынами и дочерьми граждан Британии, со всеми привилегиями этого гражданства. Но времена изменились. Если Индия получит самоуправление, мы, без сомнения, будем полностью лишены гражданских прав. Тем не менее страна полагается на нас во имя бесперебойного функционирования своего механизма. Англо-индийскому сообществу пора пересмотреть свою безоговорочную поддержку правительства: вспомним мятеж 1857 года, когда героически выстояли мальчики из колледжа «Ла Мартиньер» в Лукхнау, или Брендиша и Пилкингтона из телеграфной конторы Дели, которые, несмотря на страшную опасность, не сбежали и сообщили британцам, что мятежники вошли в город. Во время Мировой войны три четверти англо-индийского населения служили с отличием. Но больше мы держаться не станем.

В лице Джеба Пеллингема Индия потеряла достойного человека и, возможно, верный шанс получить олимпийское золото. Равнодушие к его смерти и отсутствие расследования — это удар в самое сердце англо-индийской общины. Мы этого так не оставим.

Искренне Ваш,
Veritas

Селеста роняет газету на стол. Внезапно она оказалась в стеклянном доме на виду у всего Мадраса. Раздел «Письма» в «Мэйл» популярнее передовицы. В прошлом месяце умы читателей были заморожены полемикой вокруг проблемы приема квалифицированных индийцев в Индийскую гражданскую службу. Изменение в правилах призвано было умиротворить индийцев, но старая гвардия британских офицеров ИГС была в ярости из-за разбавления их рядов туземцами. «Индия без „Стального каркаса“ британской ИГС рухнет», — утверждалось в одном письме, в то время как в другом возражали, что «хорошо известно, что брамины терпят неудачу, когда их допускают к высшим должностям». Поступило множество писем от офицеров ИГС (подписанных только инициалами), о которых говорили как о «Белом мятеже», к огромному неудовольствию вице-короля.

Письмо от «Веритас» несло на себе печать истины, хотя и обвиняло ее мужа практически в убийстве. Человек, который может быть равнодушен к мольбам жены и отрывает маленьких детей от груди матери, должно быть, столь же чудовищно бездушен в своей работе. Она где-то прочла, что секрет лечения заключается в заботе о пациенте, и если это действительно так, Клод точно полный ноль в своей профессии. Он тоже родился в Индии, но в семье военных. Долгое время Селеста считала, что он травмирован тем, что его совсем маленьким отправили в Англию, вырвали из рук его айи. Но ведь то же самое произошло и с его братьями, а они выросли заботливыми, великодушными и успешными. Клод был столь же многообещающ, когда они познакомились, она была очарована его внешностью, его уверенностью и решимостью заполучить ее. Прошло время, прежде чем она поняла, что в нем кое-чего не хватает, и эта недостающая часть стоила ему и счастливого брака, и профессионального роста.

Тем вечером она сидит в гостиной, когда Клод, в белоснежном теннисном костюме, возвращается домой. Взгляд его падает на «Мэйл», лежащую на столе перед ней. На жену он не смотрит. Подходит к подносу с виски и наливает себе.

— Газон очень сухой. Поговоришь с маали, дорогая? — безмятежно произносит он.

И направляется со стаканом в свой кабинет, неуклюже прикрывая телом бутылку с виски, которую потихоньку стянул с подноса.

На следующее утро за завтраком мешки под глазами Клода массивнее, чем обычно. Он срезает верхушку с вареного яйца, внезапно откладывает нож и уходит. Кажется, его расстроило что-то в «Новой Индии», лежащей рядом с его тарелкой. Но нет, дело в телеграмме, скрытой газетой.

ПИСЬМО ВЕРИТАС ОПУБЛИКОВАЛА БОМБЕЙ
КРОНИКЛ ТОЧКА ТОБИ НАВЕЛ СПРАВКИ ТОЧКА НЕ
ОБРАЩАЙСЯ К ТОБИ И КО МНЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПУТЕМ ТОЧКА

Это от брата Клода, Эверетта, губернатора Бомбейского округа. Тоби, второй брат, упомянутый в телеграмме, — главный секретарь вице-короля.

В последующие дни раздел «Письма» в «Мэйл» вдохнул жизнь в проблему смерти Джеба. Клода не упоминают, зато звучат имена вице-короля, его главного секретаря и губернатора Бомбейского округа, что, разумеется, не доставляет им удовольствия.

Две недели спустя вице-король прибывает в Мадрас с запланированным визитом, о наличии которого в планах он очень жалеет. Специальный вагон вползает на Центральный вокзал, полуодетый вице-король чуть отодвигает шторку в спальном купе и приходит в ужас, когда видит строй хоккеистов в форме с черными лентами на рукавах. Позади них толпа в сотню человек держит плакаты с именем Джеба и призывом **ОПУБЛИКУЙТЕ ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ!** И все молчат, как призраки.

Взбешенный вице-король задерживает занавеску. Именно этого он и боялся и приказал, чтобы вагон отцепили в депо, задолго до платформы. Машинист каким-то таинственным образом не получил этого распоряжения, и таким же чудом за всю ночь по пути перед поездом ни разу не загорелся красный светофор благодаря англо-индийским начальникам станций. В результате поезд прибыл не в восемь, а в шесть утра. Нигде не видно полицейских отрядов, которые должны сопровождать вице-короля, да и в любом случае они встречали бы его в другом месте.

В толпе присутствуют репортеры и фотографы всех индийских газет. В конце концов багровый вице-король, с остатками крема для бритья на мочке уха, появляется в дверях вагона, наклоняется ровно настолько, чтобы высунулась голова, но не выходит наружу. Он милостиво принимает петицию из рук матери Джеба. Откашливается, готовясь произнести речь, но едва выдавливает слова «судебный процесс», как голос откуда-то из толпы вопит: «*Чаа!*^[101] Это мы уже слышали, да, парни?» Женщина кричит: «ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР», толпа подхватывает ритм. Сверкают вспышки фотокамер, и вице-король ныряет обратно в вагон, только чтобы подвергнуться дополнительному унижению — хоккейные клюшки колотят по металлическим стенам, оглушая находящихся внутри. Газеты описывают эту сцену в мельчайших деталях, сопровождая выразительными фотографиями.

Тем вечером главный секретарь вице-короля является к ним домой, застав Селесту врасплох. Тоби самый привлекательный из трех братьев, но ростом пониже Клода. Не обращая внимания на Клода, он целует Селесту и протягивает ей подарок, перевязанный ленточкой. Она сразу же открывает.

— Это старинная шкатулка из слоновой кости, — улыбается он. — Я заметил ее в Джайпуре и сразу понял, что должен подарить ее своей любимой невестке.

— Твоей единственной невестке, Тоби. О, скажу тебе, это же...

— Селеста, — перебивает ее Клод, — вели бою подать напитки. Мы пойдем в кабинет...

— Что за спешка, Клод? — раздраженно бросает Тоби. — И забудь про напитки.

Улыбка застывает на лице Клода, как яичный желток, но он молчит. Обычно, когда братья собираются вместе, Клоду позволяют играть роль старшего. Теперь Селеста задумывается, а не из жалости ли поступают так братья, понимая, что превосходят его в остальном.

Тоби не выпускает ее руки.

— Селеста? Передай мои теплые приветы Джанаки, хорошо?

Тоби, по всей видимости, не желает идти в кабинет, потому что, когда она поднимается по лестнице, слышит, как он говорит тоном, разительно отличающимся от того, каким только что обращался к ней:

— Да что за бред, Клод! Ты что, действительно думал, что вице-король пожелает выслушать твою версию событий? Ты что, не понимал, что это поставит его в еще более дурацкое положение? И меня заодно? (Ответ Клода не разобрать.) Нет, это *ты* послушай. Нет! Ровно наоборот. Я пришел сообщить, что по распоряжению вице-короля слушание дела *состоится*. У нас связаны руки. — Она не слышит, что мямлит в ответ Клод, но Тоби перебивает его: — Прекрати! Ни слова больше. Я хочу иметь возможность с чистой совестью заявить, что пришел в гости к Селесте и никогда не обсуждал с тобой данную тему. Не смей впутывать ни вице-короля, ни братьев. Не присылай телеграмм и не звони. Вбей уже это себе в голову, Клод. Это не формальность. Вице-король хочет знать *правду*. — Следует долгое молчание. Потом она слышит, как Тоби уже мягче произносит: — Прости, Клод. Все внимание будет обращено на тебя.

Прошлое *непрерывно* всплывет. Взгляни на себя честно. И ради всего святого, держись подалеже от бутылки с виски, пока все не закончится.

В дверях Тоби оглядывается и замечает Селесту, застывшую на верхней площадке лестницы. Лицо его невыразимо печально.

В газетах сообщают, что вице-король распорядился выплатить пособие семье Пеллингем за причиненный ущерб и назначил комиссию под председательством бывшего губернатора, в которую вошли два активных представителя англо-индийской общины, глава Индийской медицинской службы и два знаменитых профессора хирургии из Бомбейского и Калькуттского медицинских колледжей. Слушание должно было состояться через два месяца. Комиссия имеет право вызывать свидетелей; ее решение будет обязательно к исполнению.

Следующие несколько дней они живут каждый своей отдельной жизнью. И если Селеста вся на нервах, то можно представить, как себя чувствует Клод. Долгие часы он проводит в клубе, несмотря на то что стал объектом пересудов. Наверное, оставаться дома наедине с ней ему еще сложнее; в клубе он находит убежище в одном из темных закутков, в одиночестве или компании собутыльников, допившихся до бесчувствия и потому не способных судить его строго.

В конце этой долгой недели, вернувшись ближе к вечеру, Селеста с удивлением застаёт Клода дома. Он любезно встает навстречу жене. Прежде чем она успевает снять шляпку, посылает прислугу за чаем. От него крепко несет джином.

— Дорогая, — начинает Клод. — Скоро начнется это слушание. (Она молчит, руки неподвижно лежат на коленях.) Это все политика, ты же понимаешь. В хирургии случаются неприятности, да. Надеюсь, мне удастся убедить комиссию. У меня есть план. — Он ослепительно улыбается. — Нужно иметь веру. Никогда нельзя сдаваться.

Под глазами у него появились новые мешки. Тонкая сеточка капилляров на щеках и носу стала заметнее. Она, возможно, пожалела бы его, покажи он хоть немного раскаяния или если бы не пытался так отчаянно скрыть свой страх.

— Дело в том, дорогая, что дело может скверно обернуться. В том случае, если твой *друг* Дигби решит опорочить меня.

— Он твой коллега, Клод, — возмущенно отвечает она. — Я всего лишь свозила его в Махабалипурам, давным-давно, и, кстати, рассказывала тебе об этом.

— А кто, по-твоему, написал то письмо? Кто этот *Veritas*? Это точно он.

— Ты сошел с ума. — Ее глаза изумленно распахиваются. — С чего бы ему прикидываться англо-индийцем? — И это первое, о чем они заговорили в связи с его неприятностями. Возможно, именно потому Селеста чувствует, как в ней закипает гнев.

— Ну вот и причина, дорогая. Ревность, что же еще? Он хочет занять мое место. Он *случайно* сунул свой нос в операционную, когда этот... когда произошло непредвиденное осложнение. Он неверно истолковал то, что увидел, и вот уже местные сплетники начинают распространять лживые слухи. Вот этого я не хочу допустить. Если он будет придерживаться своей версии, это может потопить наш корабль.

Он ждет. Селеста готова расхохотаться ему в лицо. Личина его любезности дает трещину.

— Ради всего святого, Селеста, каким образом, по-твоему, мне удержаться на плаву? Все эти годы ты жила в довольстве и комфорте. Но колодец может оказаться мельче, чем ты думаешь... (Селеста видит лица своих мальчиков, представляет, как они возвращаются из Англии, потому что Клод не может больше платить за пансион. Мысль ее радует, а Клод, очевидно, вовсе не это имел в виду.) Если меня уволят из Медицинской службы, если я потеряю пенсию — черт побери, Селеста, это будет конец всему.

А когда мои дети вернутся, у меня не будет абсолютно никаких причин оставаться с тобой, Клод.

— Видишь ли, дорогая, я должен быть уверен, что юный Дигби не даст ложных показаний.

— Чего ты хочешь, Клод? — тихо спрашивает она. — Бога ради, просто скажи, чего ты хочешь.

— Ничего! Я... от тебя я ничего не хочу, бедняжка моя. Но должен признаться... я намерен сообщить Дигби, что объявлю его ответчиком в бракоразводном процессе.

В первый момент фраза кажется бессмысленной. Но затем она понимает.

— Клод, как ты смеешь использовать меня? В качестве разменной монеты в твоей гнусной афере!

— Но, послушай, до этого не дойдет! Дигби быстро сменит тон. Надо просто напомнить ему его место. Кто поверит человеку, который опустился до того, чтобы улечься в постель с женой начальника?

— Улечься в постель с... со *мною*? — Она поражается собственному самообладанию. Его слова настолько омерзительны, что кричать на него в ответ было бы чересчур благородно. И поэтому она просто долго пристально смотрит на него, наблюдает, как он корчится, извивается как уж на сковородке. Она улыбается, что в нынешней ситуации ранит его сильнее, чем если бы она дала ему пощечину. — Клод, я столько вытерпела от тебя за эти годы. А теперь ты хочешь спасти свою шкуру ложью, которая превращает меня в прелюбодейку? И это все, на что ты способен? Забудь пока о Дигби; ты с такой легкостью готов оклеветать меня? Или быть рогоносцем? Или замазать в этой дряни моих сыновей? Неужели и в самом деле под этой приличной внешностью в тебе нет ни чести, ни достоинства? Недостающая деталь. У твоих братьев она есть, и в этом все дело, разве ты не видишь?

Приводить в пример братьев означает провоцировать его. До какого же жалкого состояния он дошел, если не реагирует, не вздрагивает, а вместо этого смотрит на нее молящими глазами.

— Уверяю тебя, до этого не дойдет, Селеста. Это просто тактический ход, — скулит он. — Черт возьми, Селеста, ну придумай вариант лучше? Я ведь именно о будущем детей и думаю. О нашем будущем...

— В прошлый раз, когда ты угрожал мне разводом, это тоже было «ради детей», — бросает она с отвращением. — Какой же я была дурой, что позволила запугать себя тем, что отберешь их. Больше такого не повторится.

Она встает, намереваясь уйти. Он хватает ее за запястье. Она вырывает руку и резко разворачивается, глядя на него в упор. Он отшатывается.

Тихим субботним вечером на пороге спальни Дигби появляется Мутху, с вытарашенными глазами. Дигби приподнимается, отрываясь

от чтения. Он весь день в апатии водил кисточкой по бумаге и долго спал.

— Саар, гости! Мисси, саар! — выдыхает Мутху и убегает.

Что еще за мисси? Озадаченный Дигби умывается и надевает свежую рубашку. Снаружи на веранде замечает женский велосипед.

В гостиной, узнав, кто пришел, он жалеет, что не сменил заляпанные краской брюки. На фоне прилива адреналина каждый звук усиливается, от звяканья тарелок в кухне до щебета соловья на улице. Она стоит к нему спиной. Интересно, что она подумала о декоре его жилища, терракотовых лошадях на веранде? Он видел их гигантские версии, когда ездил на «Эсмеральде» по деревням, — подношение Айнару, защитнику от голода и эпидемий. На полу его гостиной лежит сотканная вручную тростниковая циновка из Паттамадай^[102]. Но, разумеется, взгляд ее прикован к стене, в которой должны быть окна. Но вместо этого стена от пола до потолка увешана картинами калигхат в грубых деревянных рамках, каждая не больше почтовой открытки. На Селесту смотрит целая деревня калигхат. Руки она притиснула к груди, застыла в первом миге изумления.

После долгой паузы она поворачивается к нему.

Дыхание перехватывает. Она даже прекраснее, чем в его воспоминаниях. Оранжевый отблеск заходящего солнца освещает левую половину ее лица, как у женщин на полотнах Вермеера. Он вспоминает ее прощальные слова тогда, в машине, много месяцев назад, такие решительные и бесповоротные.

Чтобы избавить ее от этого бремени, Дигби заговаривает первым:

— Я купил их в Калькутте. — Он подходит ближе и становится рядом с ней. — Меня отправили сопровождать домой жену губернатора Бенгалии, которая здесь почувствовала себя дурно. Я провел там всего одну ночь, успел попасть в храм Кали, который на...

— На берегу реки, — шепчет она. — Я жила совсем рядом.

— Торговцы прямо набрасывались на паломников. А я и был паломником... *я хотел увидеть дом, в котором ты выросла, твою старую школу, навестить могилы твоих родителей...*

Она кивает, руки теребят вышитый носовой платок.

Ее присутствие, запах ее благовоний опьяняют.

— Я заглянул в мастерские художников, — продолжает он. — Репертуар у них гораздо шире, чем религиозные сюжеты. Вот это,

например, — он показывает, — известная трагедия, британский солдат и его индийская возлюбленная. Или эти театральные сценки. Видите занавес, как в европейском театре? Но с танцующим Шивой. Запад и Восток в нескольких штрихах кисти.

Они подошли к тому порогу, за которым слова теряют смысл. Так близко к ней, в собственном доме... на свете нет никаких слов, которые он хочет произнести, кроме ее имени. Он примеряется, как оно прозвучит в темноте, отражаясь от пола и стен. *Селеста. Селеста.* Последний слог зависает в углах комнаты, подобно пойманному в паутину шепоту. Теперь он хочет произнести вслух. Рука, словно по собственной воле, потянулась к ее руке. Он не может знать, что совсем недавно ее муж так же потянулся к ее запястью, а она отдернула руку.

— Селеста, — почти поет он ее имя. — Селеста, вы должны взглянуть и на другие картины.

Ее пальцы находят убежище в его ладони.

Не разнимая рук, они переходят в соседнюю комнату, его «студию», в прошлом столовую. Картины, законченные и незаконченные, скромного размера калигхат, но с неизменным сюжетом: одна и та же женщина. Она возникает из нескольких штрихов и цветов: каштановые глаза; копна каштановых волос; изгиб длинной шеи; чуть неправильный прикус, подтверждением чего становится пухлая верхняя губа, которую Дигби считает самой прекрасной на свете. Селеста помнила наброски, которые он делал в тени скалы в Махабалипурам. Художник видит в модели гораздо больше красоты, чем сама она замечает в себе.

Ее рука вздрагивает в его ладони. Он увлекает ее в спальню.

В стране, где попугаи предсказывают будущее, вытаскивая карту из колоды, где браки заключают в соответствии с гороскопами, предчувствие Селесты, к чему все это приведет — не в следующий миг, но спустя много дней и недель, — побуждает высвободить руку, но уже поздно. Он привлекает ее к себе, прижимает теснее, и она со вздохом позволяет себе утонуть в его теле.

Никто из них не знает, что всякий раз, когда они украдкой в послеполуденной жаре будут жаждать друг друга, начинаться все будет, как и сегодня, перед стеной с деревенскими портретами, где каждая фигура в рамке издает свою ноту, поет *rágu*^[103], которая принадлежит только им. Его язык скользит по ее губам и ниже к подбородку, по

средней линии мимо щитовидной железы, перстневидного хряща, к маленькой впадине над грудиной. Раздев ее, он сделает шаг назад и поведет ее, как танцор, поворачивая, вращая, словно на крутящемся пьедестале. Он будет жадно вбирать взглядом высокую худощавую фигуру; маленькую грудь; нежную выпуклость ниже пупка; разлет тазовых костей, которые, подобно крыльям, парят над длинными, как у газели, ногами; хрупкий подъем и, наконец, пальцы ног, изящный зазор между большим и вторым пальцами. Он впитывает всю ее, запоминая каждую деталь...

У Селесты был один муж и один любовник, последний, как и она, скиталец в пустыне несчастливого брака, и роман не помог ни одному из них притерпеться к своему положению. Она уступает искренности и застенчивости Дигби, его невинности и чистоте, которые дают ему право обладать, как и смелые линии, которые он рисует в блокноте. Его страсть обжигает кожу, вдыхает в нее жизнь. Кто не захочет, чтобы его любили вот так?

Она не в силах сейчас говорить о цели своего визита. Она пришла *не просить* его о молчании, на что, вероятно, рассчитывал Клод, но предупредить о вероломном и очевидно ложном обвинении, которое вскоре дойдет до его слуха, — что они якобы любовники.

Если она ничего не скажет, если они не остановятся... обвинение перестанет быть ложным. Почему она молчит? Почему он ни о чем не спрашивает?

Она должна рассказать. Должна.

глава 21

Тот, кто предупрежден

1935, Мадрас

Спустя четыре дня после того, как они стали любовниками, Селеста еще раз приезжает к Дигби. Она пересекает железнодорожные пути, ведущие в Килпаук, минуя центр города. Уворачивается от коровы, догоняет рабочего, толкающего тачку, доверху нагруженную металлоломом. Она смотрит на Мадрас новыми глазами, ведь она уже не та Селеста, какой была пять дней назад.

Кучка не улыбочивых индийцев провожает ее взглядами. Они стоят рядом с Саткар Лодж, высоким узким зданием на Миллер-роуд. Наверное, клерки или студенты, в «современной» одежде: белые *дхóти*^[104], одним концом пропущенные между ног, и твидовые пиджаки — абсурдный выбор, учитывая погоду, но не более абсурдный, чем льняные костюмы и галстуки офицеров ИГС. Их «ганди-пилотки», заостренные впереди и сзади, символизируют борьбу за самоуправление. Один из них восклицает: «*Вáнде Мáтарам*», *Слава тебе, Родина*, — лозунг, что на устах у всей страны. Спящий гигант просыпается.

И вам Ванде Матарам, хочется крикнуть в ответ. Я родилась здесь. Это и моя родина тоже. Но что, если это ложь? Какое имеет значение, что она чувствует себя более индианкой, чем англичанкой, если все ее привилегии — ложь? А самая большая ложь — жизнь с Клодом. Страх потерять детей парализовал ее, не давал уйти от мужа. Этот страх изменил ее, превратил в иное существо, но она больше не в силах покорно терпеть. И все же каким-то образом трусливая подлая ложь Клода в стремлении спасти свою шкуру стала правдой — у нее *действительно* роман с Дигби. Почему это случилось? Разве тело может объяснить? Может ли разум найти причины постфактум? Она благодарна Дигби, что разбудил ту часть ее, что дремала, подлинную ее часть. Он восхищался ею в портретах, он заставил ее вновь почувствовать себя живой, он *любил* ее. Неужели для того, чтобы

существовать, ей необходимо подтверждение от него или еще от кого-нибудь? Если бы пришлось начинать все сначала и будь она моложе, Дигби вполне мог бы стать тем, кого она ищет. Но сейчас? Любовь?

Она крутит педали все быстрее. Побег от чего или к чему? До дома Дигби она добирается, вся взмокнув. Несколько минут спустя, слившись с его телом, двигаясь с ним как одно целое, она недоумевает, как смогла продержаться так долго в браке, где близость случалась лишь время от времени. Прикосновения Дигби как наркотик; его свежесть, его вожделение превращают все в могучую силу. Их растущая потребность друг в друге как скульптура из песка, которую они создают вместе. Она не узнает эту требовательную бесстыдную женщину, которая командует своим молодым любовником, поворачивая его так и эдак, даже кусая в порыве страсти.

Но пылкие ласки заканчиваются, и скульптура оседает. Мир и его страдания напоминают о себе. Рано или поздно придется сесть за трапезу последствий. Чувствуя слабость в ногах, Селеста встает и одевается. Дигби лежит на кровати, любясь ею, глаза умоляют не уходить, никогда, остаться навеки. Они не упоминают имени ее мужа. И вообще почти не разговаривают. И он не спрашивает, когда увидит ее вновь.

Вскоре влюбленные окончательно теряют голову. В те дни, когда она не может прийти, ему кажется, что он сойдет с ума. Возбуждение приводит его в клуб Адьяра, сыграть в теннис — недавнее его увлечение. Мадрасский клуб — место обитания Клода. В клубе Адьяра, вернувшись с корта, Дигби обнаруживает в раздевалке письмо, оставленное кем-то в кармане его брюк.

Килгур. Пожалуйста, простите за этот способ передачи информации. Сами решайте, что с нею делать. Всем известно, что Ваши показания могли бы погубить Клода Арнольда, и автор сего послания не будет лить по нему слезы. Но Вам следует знать, что Арнольд намерен подать на развод и назвать Вас ответчиком. Это, конечно, бред. Тем не менее, обвинив Вас, Арнольд поставит под сомнение Ваши показания. Нет оснований полагать, что миссис Арнольд часть этого плана. Эта женщина — настоящее сокровище. Думаю, она не в курсе, что затеял ее муж. Это лишь

доказывает, какой он мерзавец. Арнольд намерен заставить Вас отступить. А если нет, это человек настолько низкий, что он готов пойти на что угодно. Имейте в виду, что он из тех, кто с радостью сфабрикует улики. Если Вас признают виновным, суд может обязать Вас заплатить существенные убытки. *Praemonitus, praemunitus*^[105].

Тот, кто считает, что Вам следует знать.

Тот, кто предупрежден, вооружен, точно. Но что ему делать с этим предупреждением? И почему письмо анонимно? Кто из случайных знакомых, которых он завел в клубе, написал эту записку?

Дигби складывает листок и кладет обратно в карман. Его возмущение и ярость сходят на нет от того, что обвинения Арнольда справедливы. По пути домой он со всех сторон рассматривает содержание письма. На краткий миг даже задумывается, а не сам ли Клод его написал и подбросил. Нет. Это слишком уж изощренно.

Подъезжая к дому, он говорит вслух, обращаясь к автору письма: «Я намерен дать показания. У меня нет выбора. Я видел то, что видел. Мне наплевать на свое доброе имя, карьере или что там люди скажут». *А если Клод разведется с Селестой, она станет полностью моей.*

глава 22

Натюрморт с манго

1935, Мадрас

В четыре тридцать, когда Селеста пьет чай в прохладе библиотеки, она видит, как подруливает «модель Т». Из «форда» вываливается Клод. Натыкается на стоящий «роллс», шарахается в сторону, по пути к двери опрокидывает горшок с жасмином. Похоже, муж пил с самого утра. Заметив жену, Клод удивленно таращит глаза. Тщетно пытается взять себя в руки, но не способен сфокусировать взгляд.

— Как прошел день? — старательно произнося слова, вопрошает он, но все равно язык заплетается.

Селеста не скрывает отвращения.

— На что ты, черт побери, уставилась? — наконец выпаливает он мерзким тоном, отбросив все претензии на любезность, даже не дожидаясь, пока шофер выйдет из комнаты.

В былые времена она в любых обстоятельствах могла рассчитывать на его вежливость. Разве это не признак *английского* воспитания, в противовес ее туземному? Он, может, и планирует выволочь ее за волосы на площадь и четвертовать, но до тех пор будет вежливо подвигать ей стул за обедом.

— Сделай мне выпить, Селеста, — командует он, нависая над ней.

Слава богу, без «дорогая». Она поднимается, чтобы уйти, его близость отвратительна. Клод, полагая, что жена направляется к подносу с напитками, великодушно взмахивает рукой:

— И себе налей.

— Слишком рано, — отвечает она. — И ты угомонись, Клод. Тебе точно хватит пить.

Он дергается, будто она залепила ему по физиономии.

— Селеста! — орет Клод, шатаясь и тыча пальцем в воздух в бестолковой попытке указать на нее. — Ты должна знать... — Тут он теряет равновесие и падает, стукнувшись головой о кофейный столик.

Касается рукой лба, и пальцы его окрашивает кровь. — О господи! — испуганно восклицает он, а потом его рвет прямо на кофейный столик.

Муж смотрит на нее жалким взглядом, ниточка слюны свисает из угла рта.

Она лишь горько смеется:

— Клод, раньше твой единственный подлинный талант состоял в том, что ты мог держать себя в руках. Не понимаю, зачем я так долго жила с тобой.

Селеста выходит и садится на велосипед. Есть еще один человек, с которым она должна быть честной.

В сумерках она врывается к Дигби, напугав его. Дигби у себя в студии, с голой грудью, моет кисти в керосине. Парафиновая свеча отбрасывает призрачный свет на натюрморт: причудливый глиняный сосуд и три манго на деревянном верстаке. Рядом с сосудом словно случайно брошено изумрудное шелковое сари, ткань водопадом спадает вдоль ножки стола, складки образуют на полу небрежный букет.

Селеста залпом осушает стакан воды. Глядя в лицо Дигби, чувствует: что-то изменилось. Он ему сказал? Скользит взглядом по комнате, как будто стараясь запомнить, а затем поворачивается к Дигби.

Дигби видит ее лицо и сразу понимает, что она пришла проститься. Внутри все обращается в камень. Стрела вонзается прямо под ребра, в солнечное сплетение.

Неужели она часть заговора?

В конце концов Селеста решает:

— Дигби... — Глаза блестят от слез. — Я...

— Не надо! Не сейчас. Подожди... не говори ничего.

Он подходит ближе, вдыхает ее запах, замечает капельки пота над бровями, след, оставленный шляпой. В медицинской школе он видел выступление алиениста Гарри — тот вытаскивал человека из публики, а потом, прижав палец к виску, открывал остолбеневшим зрителям все подробности его жизни.

— Ты решила остаться с Клодом, да? — Он не в силах скрыть горечь в голосе.

— Нет. Как раз наоборот.

Он тут же отказывается от своего сценария. Лицо его светлеет.

— Дигби, я пришла рассказать тебе, что Клод намерен подать на развод и обвинить тебя...

— Я знаю.

Теперь ее черед удивляться:

— Как? Откуда?

— Получил анонимное письмо с предупреждением. В клубе Адьяра. От кого-то, недолюбливающего твоего мужа. Но я хочу знать, Селеста, откуда Клод узнал?

Ее смех похож на щелканье кнута.

— Он ничего *не знает* о нас, Дигби! Это лишь уловка. Поскольку он не может угрожать тебе напрямую, он решил пожертвовать мной, чтобы дотянуться до тебя.

— Постой... И поэтому ты пришла сюда тогда, когда мы в первый раз... В тот день, когда ты внезапно явилась в гости? Ты пришла по его просьбе просить меня отказаться от показаний?

— Боже, нет! Я пришла *предупредить* тебя. Когда он признался, что именно намерен сделать — выставить меня изменницей, чтобы выгородить себя, — я была в ярости. Я ушла от него, бросила. Села на велосипед и поехала куда глаза глядят. И оказалась здесь. Да, я собиралась предупредить тебя. — В голосе появляются сердитые нотки. — И так и не сделала этого, если помнишь.

Слова Дигби полны ехидства:

— Почему же? Решила, зачем страдать за просто так? Или сказала себе: «Пересплю-ка я со стариной Дигсом, чтобы утихомирить его»? А может, ты и *сейчас* работаешь на него. — Дигби повышает голос.

— Дигби, остановись! — Она спокойна, собранна... и уязвлена его словами. — Если ты будешь кричать, я уйду. На сегодня с меня достаточно. — Селеста гордо выпрямляется, побелевшие пальцы вцепляется в сумочку, как будто это поможет безопасно перебраться к тому, что будет дальше.

В свете парафиновой свечи она напоминает натурщицу художника. Художник отводит взгляд. Художника берет оторопь.

— Прости, — лепечет он, пристыженный и раскаивающийся.

— Клод пойдет на что угодно, лишь бы защитить себя, он с легкостью принесет меня в жертву. *Все что угодно*, лишь бы очернить тебя. Но он думает, что до этого не дойдет. Думает, что если пригрозит, ты сломаешься и отступишь, — умоляю, не отступай. Возможно, он

решил, что *я сломаюсь* и начну уговаривать тебя. Но со мной это не сработает. Я *хочу* развода...

Смеет ли он торжествовать? Отчего же она не торжествует вместе с ним?

— Селеста... Тогда для нас нет препятствий... мы можем быть вместе.

Она отрицательно качает головой.

— Селеста, я не понимаю... Я люблю тебя. Я никогда не говорил этого ни одному человеку на свете, кроме матери. Я люблю тебя.

— Дигби, я хотела бы сказать, что тоже люблю тебя. Но я не понимаю, кто эта *я*. Мне нужно это узнать. Я *хочу* жить *своей собственной* жизнью и *самостоятельно*, чтобы выяснить это.

Глаза у него умоляющие, как у ребенка. Она кладет ладонь ему на щеку, но он отстраняется.

— Куда ты отправишься?

Она вздыхает.

— У меня был план, хотя я не подозревала, что расставание примет такие формы. Я откладывала деньги. Понемногу, конечно, но почти за двадцать лет набралось вполне достаточно. У меня есть драгоценности, которые он дарил в первые годы. У меня есть сарай, полный произведений искусства, и я знаю, какие из них кое-чего стоят уже теперь, а какие будут представлять ценность в будущем. Я могу снять комнату у Теософского общества. Мы с Джанаки, если будем жить вдвоем, можем обходиться малым и быть счастливы. Единственный крючок, на котором он меня держал, это дети, но они уже достаточно взрослые, я надеюсь, чтобы разобраться, что за тип их отец. Достаточно взрослые, чтобы захотеть познакомиться со мной поближе. Когда я выясню, кто я такая.

Дигби переваривает ее слова. Он ей не нужен — она же это хотела сказать? Он злится на себя, что позволил себе размечтаться.

Дверь открывается, и на пороге возникает Мутху; он явно удивлен, застав Селесту, застав их стоящими лицом друг к другу, словно оба готовы броситься в драку. Он складывает ладони перед грудью:

— Добрый вечер, мисси, я не слышал, как вы пришли.

— Мутху, — кивает она, не сводя глаз с Дигби.

Мутху растерянно переводит взгляд с одного на другого.

— Дигби саар... Я уезжаю к родным. Я говорил раньше? Я уезжаю только на два дня. — Дигби продолжает сверлить взглядом Селесту. Тогда Мутху обращается к ней: — Мисси желает что-нибудь поесть, пока я не ушел? Мне приготовить самосы?

— Мутху, — вздыхает она, и голос внезапно звучит очень устало, очень хрипло. — Мисси желает двойной виски, пожалуйста. И еще один для него.

— Да, мисси! — автоматически отвечает Мутху, но не двигается с места.

Она наконец поворачивается к нему, приподняв бровь:

— Мутху?

— Простите, мисси... У нас нет виски.

— Тогда джин?

Он мотает головой:

— Доктор саар не пьет...

— О, ради всего святого, Дигби... — почти взвизгивает Селеста так, что все трое пугаются.

— Но виски быстро-быстро будет, мисси! — поспешно говорит Мутху, огорченный тем, что из-за него у Дигби неприятности. И выбегает за дверь.

Они остаются вдвоем. С улицы слышны голоса, Мутху огрызается злобным тоном, совсем на него не похожим. Вскоре Мутху, несколько взъерошенный, возвращается с подносом, на котором два стакана, ведерко со льдом, сифон с содовой и бутылка виски, на четверть пустая, как будто все это богатство дожидалось за дверью. Он ставит поднос, стараясь не встречаться взглядом с потрясенным Дигби.

— Молодец Мутху, — благодарит Селеста.

Она подозревает, что Мутху ворвался к соседям и утащил их выпивку.

— Да, мисси, — кивает Мутху, заходит за спину Селесты и открывает ящик, где Дигби держит деньги.

Он никогда прежде ничего такого себе не позволял. Мутху отсчитывает несколько банкнот, демонстрирует их Дигби.

— Саар, я объясню потом. Прошу, просто оставьте поднос и все прочее на веранде, саар. Я вернусь через два дня.

Мутху выходит через переднюю дверь, и они сразу слышат мужской голос, кричащий что-то на тамильском, женский голос, тоже

на повышенных тонах, и Мутху, успокаивающий обоих. Вопли стихают до глухого бормотания.

Селеста наполняет стаканы, протягивает Дигби. Все это время оба стоят. Уязвленный, не решаясь встретиться с ней взглядом, Дигби берет выпивку. Еще несколько минут назад он и представить не мог жизни без Селесты. А она, оказывается, с готовностью представляет жизнь, в которой ему вообще нет места. Каким образом мечта, где нужны двое, может существовать усилиями одного?

Замешкавшись, он чокается с ней. Залпом осушает. Виски обжег горло. Как странно пытаться утопить боль в пламени. Левую щеку и лоб Селесты освещает парафиновая свеча; оранжевое сияние, просочившееся сквозь слои муслина, рождает оттенки охры и горчицы, которые подкрадываются исподволь, прежде чем утонуть в темноте ее глазниц. Селеста, кажется, готова заговорить. Но он не желает слушать. И останавливает ее уста своими губами.

Он медленно расстегивает ее платье, прямо перед мольбертом, словно готовится прикрепить ее к нему. Перед ее обнаженной красотой растворяется боль принесенной ею вести. Она больше не Селеста, чьи слова причиняют горе, но чудо природы, великолепное тело, скрывающее под покровом кожи целое созвездие органов. В сравнении с их беспорядочными бурлящими эмоциями тело всегда неизменно и надежно.

Он окунает указательный палец в неразбавленную краску на палитре — мареновый розовый. Селеста тихонько ахает, когда палец замирает над ее грудью. Глаза ее расширяются. Неужели он решится? Она выдыхает, когда палец касается тела. Да, решится. Он обведет ее органы, действуя медленно, дабы отсрочить неизбежное — что она покинет его. Он вырисовывает левый желудочек, торчащий из-под грудинной кости и достигающий соска. Может, лучше желтым? Ее сердце изменницы? Нет, это слишком грубо. Кроме того, несмотря на всю метафорическую нагрузку, сердце — орган, лишенный воображения, два последовательно работающих насоса, один из которых проталкивает кровь через легкие, а другой — через все остальное тело. И ее сердце ничем не отличается от его.

Она могла бы воспротивиться, если бы захотела, но не хочет, захваченная его священнодействием, осознавая, какую боль причинила ему, с облегчением отказываясь от слов. Селеста отпивает из своего

стакана, наблюдая за ним. Дигби обводит дугу аорты. Отбирает у нее стакан, улыбается и нежно укладывает Селесту на кусок парусины, развернув его на полу. Пристраивает палитру ей на лобок, на венерин бугорок, где та рискованно покачивается. Свет свечи подрагивает на женской коже. Он обводит печень, ведет линию выше и правее, добирается до соска в пятом межреберье. Селена покрывается мурашками, сосок напрягается. Дыхание учащается. На очереди селезенка, почки.

Дигби оглядывает шедевр ее тела, которое он теперь еще и украсил. Или осквернил? Вывернул ее наизнанку. И внезапно чувствует раскаяние. Он зашел слишком далеко. Это все виски? Он не привык к спиртному.

— Прости меня, — говорит Дигби. — Мне больно думать, что мы не можем быть вместе. Но это не мешает мне любить тебя. — Он пробует на вкус слезы на ее лице — слезы, которые могут быть и его слезами.

Она приподнимает голову, чтобы взглянуть на его работу, на холст своего тела. Изумленно качает головой.

— Ты помог мне найти себя, ты понимаешь? — шепчет она.

Тогда почему ты уходишь? Я готов украшать твое тело до конца дней. Он так любит ее, что готов произнести это вслух. Она приняла решение. Дигби одновременно и возбужден, и обижен, что она готова уйти от того, что есть у них обоих. Она читает его мысли. Тянет его вниз. Впускает в себя.

После они лежат в изнеможении, обливаясь цветным потом, их оргазм как наркотик, который не дает сползти с парусины на прочный пол и добраться до постели. Они погружаются в сон, их тела — сложенные вместе смазанные холсты.

Почему я ухожу от него? Была какая-то причина, но сон настигает Селесту прежде, чем она вспоминает. Она поворачивается на бок, высыхающее тело остывает, ей становится зябко. Она стягивает со стола изумрудное сари — будь он проклят, этот его натюрморт, — и заворачивается в ткань.

Дигби просыпается с гудящей головой; требуется огромное усилие, чтобы открыть глаза. Комната необычно светла, в пляшущей

эфирной дымке. Краски буйствуют на его обнаженном теле, ярость их тревожна.

Он чувствует запах дыма. Поворачивает голову, и тайна рассеивается: они, должно быть, опрокинули во сне парафиновую свечу. Дигби шарит вокруг, пытаясь нащупать ее, но тут замечает, словно издали, оптическую иллюзию: рука у него синяя, и кожа свисает, как мед, стекающий с уступа. Все синее: пол, парусина, на которой они уснули, мольберт, холст на нем. Ему хочется рассмеяться при виде такой дурацкой картины. Рассмеяться недоверчиво. Расплавленный парафин нашел кучу пропитанных скипидаром тряпок, и синее пламя взметнулось по стенам.

Повернувшись, Дигби видит еще более странное зрелище: шелковое сари, которое он использует как задник, лежит на полу, но оно живое, оно корчится и извивается. Оно коралловое, имбирное, оливково-зеленое, а под ним — наконец замечает он — Селеста, рвущаяся на свободу. Он бросается к сари, стягивает его, хотя горящий плавящийся шелк прилипает к коже, но нет, он не отпустит ее. Если только сумеет содрать ткань, вернуть тончайший шелк на место, туда, где он изящными складками лежал рядом с глиняным сосудом, рядом с фруктами и ниспадал к полу, если сможет восстановить все как было, как должно быть — *натюрморт с манго*, — тогда все будет хорошо. Он в этом уверен.

Часть третья



глава 23

Что познал Господь, прежде нежели мы вышли из утробы^[106]

1913, Парамбиль

После кончины ДжоДжо Большая Аммачи, чувствуя себя выброшенной из колеса жизни, изо всех сил пытается найти свой ритм. Но петух по утрам кукарекает раньше, чем она готова проснуться; цирюльник приходит в дом, прежде чем она вспомнит, что уже первое число месяца. Если бы не мама, которая взяла на себя кухню, они добывали бы себе пищу, как дворовые куры.

Парамбиль потерял единственного наследника-мужчину, потерял дитя, которое она считала своим первенцем, пускай он и не вышел из ее утробы. Но это не только ее утрата. Когда она спустилась в погреб, с полки над головой ни с того ни с сего упала пустая банка из-под солений. Она успела заметить краем глаза и отдернуть голову в последний момент, посудина разлетелась вдребезги у ее ног. Аммачи взлетела вверх по лестнице и наткнулась на испуганный взгляд своего бесстрашного мужа, который смотрел в проем погреба за ее спиной. *Так ты все это время знал, что она там?* Выражение его лица приводит ее в ярость. Как смеет этот дух, к которому она относилась так радушно, стращать ее мужа? Большая Аммачи решительно бросилась вниз по крутым ступеням, не обращая внимания на осколки, вонзающиеся в ступни. Схватила здоровенный пустой горшок с силой, которой в себе и не подозревала, и поволокла его в дальний темный угол.

— ДжоДжо был и мой тоже! — крикнула она. — И у меня он был дольше, чем у тебя! Если можешь сбросить горшок мне на голову, почему не вытащила ДжоДжо, когда он упал в воду?

Ей чудятся глухие рыдания. И гнев испаряется. С тем она и вылезла из погреба.

Но этим дело не кончилось. Спустя несколько дней Аммачи обнаружила, что банка со сладким сиропом перевернута и погреб

кишит огромными красными муравьями, чьи укусы мучительно болезненны. Большая Аммачи обмотала ноги тряпками и, соорудив факел из сухих пальмовых веток, истребила муравьев пламенем, едва не спалив подвал, но успела погасить факел в ведре с водой. Она вымыла полы, а потом еще раз протерла их керосином.

— Будешь продолжать — и я позову аччана. Хочешь, чтобы тебя запомнили такой? Не доброй матерью, а злобным демоном, от которого нам пришлось избавиться?

В подвале воцаряется перемирие, но не на кухне — карри в ее верных глиняных горшках имеют странный привкус, молоко, которое она каждый вечер заквашивает для йогурта, портится. Она терпит эти выходки, и постепенно они сходят на нет. Но сердцебиение Парамбиля по-прежнему неровное. Ни молитвы, ни церковь, ни слезы не восстанавливают ритм.

В этот неустойчивый период, и слишком скоро после утраты, как-то раз ночью муж безмолвно возникает в дверях комнаты, ее мать и младенец крепко спят. Почувствовав его появление, она удивленно приподнимается. Она не готова. Запах ДжоДжо все еще витает в этой комнате, отпечаток его тела по-прежнему на циновке рядом с ней. Муж, кажется, тоже не уверен, он не протягивает ей руку, но лишь стоит, заполняя собой дверной проем. Она не двигается. Его присутствие здесь кажется кощунством. Он уходит. И на следующий день сторонится ее. Тогда она понимает: дело в том, что Парамбилю необходим наследник мужского пола. Но даже если и так, ей самой необходимо время.

Утешение и душевное равновесие Аммачи обретает в садике позади кухни. Впервые оказавшись в Парамбиле, она заметила, как козленок обгрызает ягоды с чахлого кустика у заднего крыльца, а потом начинает резвиться. Она решила проверить, что там такое, и запах ягод открыл ей истину. Сейчас, после тщательной обрезки и удобрения, куст возвышается над ее головой, обеспечивая Парамбиль свежим кофе. У темного напитка маслянистая мерцающая пленка на поверхности и неожиданные едкие нотки во вкусе — напоминание, что сладость жизни неотделима от горестей. Но подлинный восторг — ее банановые деревья. Она начинала с крошечного отростка сорта *п'уван*, от Долликоччаммы. А сейчас у нее плантация, орошаемая стоком с кухонной крыши. Листья защищают от полуденного солнца, шелестят и тихо

постукивают на ветру, успокаивая ее. Аммачи снимает грозди еще зелеными, оставляя их созревать в прохладе кладовой. Миниатюрные пуван приводят в восторг дочку, а отец девочки в один присест может съесть целый десяток. Поразительно, как щедра земля, не имея ничего, кроме воды, солнца и ее любви. Для каждого дерева настает день, когда его приходится срубить, скормив труп коровам и козам. От выводка побегов вокруг старого пня она отсекает все, кроме одного счастливчика, который начинает чудо возрождения, неся в себе память о предках.

Малютку Мол до сих пор не окрестили. В своих диалогах с Богом она избегает этой темы, но чувствует Его неодобрение. И однажды вечером ставит вопрос ребром:

— Как Ты себе представляешь, я смогу пройти мимо могилы одного ребенка, а потом зайти в храм, чтобы крестить другого? — Кроме того, у нее есть сомнения относительно самого ритуала, призванного даровать благодать, которую она понимает как Божью безусловную любовь, милость и прощение. — Благодать не спасла ДжоДжо.

Бог молчит.

Ночью она просыпается и видит мужа, сидящего на циновке у нее в ногах, очень тихо, чтобы не разбудить мать и Малютку Мол. Как давно он здесь? Он протягивает руку, и в этот раз она тянется навстречу. Она чувствует, как привычно обостряются слух и зрение, когда он тихонько поднимает ее на ноги. Она и не сознавала, как сильно соскучилась по близости. Их задача столь же неотложна, сколь и нежна.

Прошло четырнадцать месяцев и много встреч в комнате мужа, прежде чем в конце концов у нее не прекратились месячные. А потом случился выкидыш. Она была потрясена. Такая возможность даже не приходила ей в голову. Она представляла, что скоро, даже если придется подождать, родится еще один ребенок, но вот такое — никогда. Как будто собственное тело предало ее. Муж раздавлен, хотя и не говорит об этом. «Не принимай ничего как должное, — напоминает ей Бог. — Если не хочешь это потерять». Остается только продолжать, а что еще? И вновь выкидыш. Оправившись, она принимается искать виновных: а вдруг порчу навел дух из погреба? Неужели он настолько

коварен? Она спускается в подвал, садится на пустой горшок, нюхает воздух, внимает звукам. К своему удивлению, чувствует, что дух сочувствует ей. И выбирается наверх успокоенная. Одному Богу известно, почему случаются выкидыши. Одному Богу известно — но Он не трудится объяснять.

Когда Малютке Мол исполнилось пять, они едва не потеряли ее из-за коклюша, что следовал по пятам за корью. Как только ребенок выздоровел, Большая Аммачи договаривается о крещении, опасаясь за душу малышки. Она просит Долли-коччамму стать крестной матерью. Долли качает головой в знак согласия, лицо ее озаряется радостью от такой чести, но вслух она ничего не произносит. Описывая этот разговор мужу за ужином, Большая Аммачи говорит:

— Вы с Долли похожи. Скупы на слова и никогда не сплетничаете и слова дурного о других не скажете. — Он лишь хмыкает в ответ. Она продолжает: — Невестка Долли, конечно, будет брюзжать, что я не пригласила ее в крестные.

За годы, прошедшие со времени неожиданного прибытия в Парамбиль их семейства, демонстративная праведность Благочестивой Коччаммы более чем оправдала ее прозвище, чревоугодие, однако, не относилось к числу признаваемых этой женщиной грехов, поэтому теперь она увеличилась в размерах вдвое, лицо слилось с шеей, а тело превратилось в бесформенную бочку. Громадное распятие, которое некогда обвиняюще указывало на каждого, к кому она обращалась, поднялось вместе с ее вздымающейся грудью и ныне было обращено к небесам. Долли-коччамма, несмотря на склоки со своей невыносимой родственницей и соседкой по дому, сохраняет юную фигуру, лицо ее по-прежнему гладко, без морщин, и ее дружелюбный нрав не изменился, а Благочестивая Коччамма, должно быть, воспринимает все это как личное оскорбление.

Большая Аммачи добавляет:

— Благочестивая Коччамма наверняка уверена, что из них двоих она более праведна.

Муж бормочет нечто, от чего она теряется и не успевает прийти в себя, как он уже выходит из-за стола. «Только если измерять праведность в тоннах». Невероятно, ее муж только что пошутил!

Во время крещения Малютка Мол радуется водичке, проливающейся ей на голову, ДжоДжо такого никогда не выносил. Аччан произносит нараспев крестильное имя, которое она выбрала, и Долли-коччамма подхватывает и повторяет его. Но для слуха Большой Аммачи имя звучит фальшиво, а на языке оно жесткое, как недоваренный рис.

Муж ждал их возвращения из церкви. Он подбросил дочку в воздух, и малышка издала хриплый восторженный вопль.

— Ну и как тебя теперь зовут? — спросил отец.

— Малютка Мол! — Веселый хохот в ответ.

Отец вопросительно взглянул на жену.

— Это правда. В свидетельстве о рождении я записала другое имя, и пускай там оно и остается.

Прошло уже пять лет, а она живет с болью от смерти ДжоДжо, как живут с помутневшим от катаракты зрением или с артритной болью в суставах. Но новокрещеная Малютка Мол — их спасение; даже отец малышки, давно отрекшийся от Бога, наверное, видит божественное в ее постоянной улыбке и великодушном характере. Она всеобщая любимица. Совсем маленькой она обожала, когда ее носили на руках, но ровно так же счастлива была качаться в своем крошечном гамаке. Сейчас, став постарше, девочка любит часами сидеть на веранде, на скамеечке, сделанной специально для нее. Там обнаруживается ее странная способность объявлять о гостях до того, как те покажутся в поле зрения. «Самуэль идет!» — могла она сообщить, и они вроде никого не видят, но через три минуты точно появляется Самуэль. Бабушка считает удивительным, что Малютка Мол редко плачет. Единственный раз, когда она помнит ее плачущей, случился в тот самый ужасный день, когда крошка рыдала до посинения, в тот день, когда Большая Аммачи пожелала, чтобы... Лучше не вспоминать, чего она пожелала. Она знает, что жестокая утрата порождает еще большую жестокость.

В тот год во время муссона они все заболели лихорадкой. Очаг оставался холодным весь день, потому что некому было присмотреть за ним. Последней выздоровела ее мать, но с тех пор она постоянно устает, рано засыпает, а встает, когда солнце уже высоко над головой. Даже подняться с постели для нее тяжкое усилие, и волосы ее в

беспорядке, потому что руки слишком слабы, чтобы причесать их. Когда мать в конце концов появляется в кухне, она вялая, апатичная и слишком слаба, чтобы помогать. Самый тревожный знак — затихает безудержный поток маминой трескотни. Они послали за *ваидьяном*^[107], тот пощупал мамин пульс, осмотрел язык, прописал свои обычные массажные масла и притирания, но ничего не помогает. Маме все хуже. А у дочери хлопот полон рот: она пытается одновременно и заботиться о маме, и вести хозяйство.

Благодать имеет множество форм и размеров, но та, что явилась в праздник Онам, оказалась кривоногой. О ее прибытии возвестила Малютка Мол — «старушка идет» — за несколько минут до того, как кривоногая Одат-коччамма приковыляла к их порогу, словно услышав безмолвный призыв о помощи. Эта седоволосая горбоносая тетка может встать, соединив ступни, а Малютка Мол все равно пролезает между ее колен. Она дальняя родственница Большого Аппачен, как Малютка Мол называет отца (постепенно и все они стали за глаза называть его этим прозвищем). Позже Большая Аммачи узнает, что пожилая женщина странствует по домам своих многочисленных детей, задерживаясь на несколько месяцев то у одного, то у другого. Но в Парамбиле она останется надолго.

— Где ты хранишь лук? — спрашивает Одат-коччамма, входя в кухню; говорит она половиной рта, чтобы не выронить табачную жвачку. — И дай мне нож. Всю жизнь молюсь, чтобы лук резал себя сам и прыгал в горшок, но знаете что? — косится она на каждого с убийственно серьезным видом, — до сих пор чуда так и не случилось.

А потом невозмутимая маска дает трещину, лицо разбегаются мириадами морщинок, и за обезоруживающей улыбкой следует гоготанье настолько неожиданное и беззаботное, что оно разгоняет темные тучи над кухней. Малютка Мол в восторге хлопает в ладоши и смеется вместе с ней.

— Боже милосердный. — Заметив выкипающий рис, Одат-коччамма воздевает руки к небу, ну или пытается воздеть, но горб не дает поднять руки выше лица. — Кто-нибудь присматривает за этой кухней? — Выговор смягчают веселый огонек в глазах и добрые интонации в голосе. — Кто тут главный — кошка?

Она сбрасывает с плеча конец тхорта и подхватывает им, как прихваткой, горшок, снимает его с огня, потом высовывает голову за

дверь, прикладывает два пальца к сжатым губам и выпускает струю табачного сока. Она возвращается как раз вовремя, чтобы засечь, как кошка ворует жареную рыбу. Застигнутая на месте преступления кошка замирает. Верхняя губа Одат-коччаммы выворачивается, и на свет появляются, будто грязные клыки, грубо вырезанные деревянные зубы — она вынимает протез. Это уже чересчур для бедной кошки, которая стремительно улепетывает, поджав хвост. Протез возвращается на место, и старуха опять весело хохочет.

— Кстати, — театральным шепотом произносит она, озираясь, не подслушивает ли кто чужой. — Это не мои зубы. Тот *анпуннан*^[108] бросил их на подоконнике.

— Что за старик? — недоумевают Большая Аммачи.

— Ха! Отец моей несчастной невестки! Кто же еще? Я ушла из их дома после того, как он назвал меня старой козой. Увидела зубы и подумала, аах, если я старая коза, то мне они нужнее, чем ему? Раз он их бросил, значит, они ему ни к чему, *але?*^[109] — с невинным видом поясняет старушка, но взгляд у нее ехидный.

Большая Аммачи безудержно хохочет. И все ее тревоги моментально испаряются.

Одат-коччамма становится тем целительным бальзамом, который так нужен Парамбилю. Старушка неустанно в трудах. Всего за неделю Большая Аммачи привыкает к тому, что над ней хлопчут, уговаривают присесть и отдохнуть или смешат так, что порой трудно не обмочиться. Единственное, что ей не нравится, это то, что после купания Одат-коччамма всегда надевает одно и то же заляпанное куркумой мунду, хотя сама она горячо отпирается:

— Да я только вчера приделась!

Глубокой ночью до Большой Аммачи наконец доходит, и она злится на себя: у Одат-коччаммы только одна смена одежды. На следующий день она преподносит старушке в подарок два новых костюма со словами: «Мы с вами не виделись в прошлый Онам, эти подарки дожидались вас».

Одат-коччамма возмущается, брови ее насуплены, пальцы теребят белоснежную ткань, которая никогда больше не будет такой белой, как сейчас. Но глаза выдают ее.

— Ого! Это что такое? Ты что, намереваешься выдать меня замуж, в мои-то годы? Аах, аах. Если б знала, ни за что бы к вам не пришла.

Гони жениха прочь! Видеть его не желаю. Поди, урод какой-нибудь, раз мне ничего не сказали заранее. Он что, слепой? Припадочный? Хватит с меня мужиков. Да этот горшок умнее любого мужика! — приговаривает она, вроде как пытаюсь всучить одежду обратно Большой Аммачи, но при этом крепко держит обновку, не выпуская из рук.

Едва завидев отца, Малютка Мол сразу мчится навстречу. С ней он терпеливее, чем с ДжоДжо, который в любом случае благоговел перед отцовскими размерами и молчанием, а вот Малютка Мол — ничуть. Она показывает Большому Аппачену свои ленточки и кукол. Однажды дождливым днем, когда ливень не выпускает хозяина из дома, Малютка Мол останавливает нервное хождение отца по веранде и тянет его к *своей* скамейке:

— Садись! (Он покорно подчиняется.) Почему дождь падает на землю и не поднимается опять в небо? Почему...

Он, оторопев, молчит под канонадой вопросов. А Малютка Мол и не ждет ответов. Она влезает на скамейку, чтобы нацепить на отца шапочку, которую с помощью Одат-коччаммы сплела из пальмовых листьев. Удовлетворенная результатом, хлопает в ладоши. Потом обвивает отцовскую шею коротенькими ручонками и прижимается щечкой к его щеке, сплющивая их лица.

— Теперь можешь идти, — заявляет она. — В шляпе ты не намокнешь.

Он с благодарностью взмахивает шляпой. Большая Аммачи прикусывает губу, чтобы не рассмеяться при виде своего закопченного годами палящего солнца гиганта-мужа, увенчанного крошечной бесформенной шапочкой. Отойдя подальше, когда дочь его уже не видит, он снимает шапочку и внимательно разглядывает ее.

— Не представляла, что доживу до такого, — признается Большая Аммачи Одат-коччамме.

— Аах. Почему нет? Сердце отца всегда открыто для дочери.

Здесь есть и моя заслуга, думает она. Я помогла ему стать мягче. Помогла избавиться от бремени тайны.

Чемачч^{ан}[\[110\]](#), который однажды утром приходит собирать пожертвования, совсем мальчишка, растительность над его верхней губой такая жиденская, что каждый волосок можно назвать в честь

апостола. Голос у него еще ломается. В белой сутане не по размеру и черной камиллавке, сползающей на лоб, он кажется актером школьного театра в костюме священника. Семья наверняка «посвятила» его церкви, чтобы мальчика воспитали (и прокормили) в семинарии, — большое подспорье, когда риса на всех не хватает. Таких мальчишек посвящают в сан без разбору, но Большая Аммачи не уверена в искренности их веры.

Бестолковый чемаччан сначала долго пялился на Дамо, пока Унни не отогнал его. А теперь неотрывно глазееет на Малютку Мол, позабыв, зачем он здесь, пока Большая Аммачи не окликает мальчишку, попросив гроссбух. Детские глаза недоуменно обращаются к ней.

— Эта штука у тебя под потной подмышкой, — показывает пальцем Большая Аммачи.

Протянув книгу, он заботливо интересуется:

— А чем больна малышка?

Она вздрагивает, последив за его взглядом. Малютка Мол сидит на своей скамеечке, качая ножками, как делает это часами каждый день.

— Что значит, чем больна? Ничем она не больна!

Прошло несколько секунд, прежде чем мальчишка сообразил, что сморозил ужасную глупость. Он испуганно пятится, потом вспоминает про свой гроссбух, осторожно тянется за ним, опасаясь, что получит книгой по башке, не успев сбежать.

Разъяренная Большая Аммачи внимательно изучает улыбающуюся дочь. Что такое углядел глупый мальчишка? Это из-за языка? В семье уже привыкли к манере Малютки Мол высовывать язык на нижнюю губу, как будто во рту ему места не хватало. Лицо у нее широкое, или так кажется из-за выступающего лба. Мягкий родничок, который пульсирует на голове у всех младенцев, до сих пор виден под кожей Малютки Мол, хотя ей уже шестой год. Черты лица у нее грубоваты, это верно. Нос, в отличие от родительских, широкий и плоский и на лице выглядит как картофелина на тарелке.

Большая Аммачи чувствует, как муттам уходит у нее из-под ног, и прислоняется к столбу веранды, чтобы не упасть. Ходить без опоры Малютка Мол начала в три года и только к четырем научилась складывать слова в фразы. Большая Аммачи была так довольна, что ребенок не стремится лазать по деревьям и качаться на лианах, что не обращала внимания на подобные вещи.

Она с пристрастием допрашивает Одат-коччамму:

— Скажите честно — что вы думаете?

Та внимательно разглядывает Малютку Мол.

— Что-то тут не то. Голос у нее чересчур хриплый. И кожа неправильная, бледная какая-то.

Старушке неприятно это говорить, но Большая Аммачи понимает, что она права.

— Но что это значит? — продолжает Одат-коччамма. — Что она ангел!

Большая Аммачи пригласила ваидьяна, который, мельком глянув на пациентку, вытащил пузырек с микстурой.

— Давайте ей это, — произносит он торжественно. — Трижды в день, с теплой водой.

— Погодите-ка! Но что с ней, по-вашему? — настаивает она, не обращая внимания на пузырек.

— Аах, аах, это должно помочь. — Он отводит глаза, настойчиво протягивая лекарство.

— Но это та же самая микстура, которую вы давали, когда у нее был коклюш.

— И что? Коклюш ведь прошел?

Большая Аммачи прогоняет лекаря и срочно беседует с мужем. Он абсолютно спокоен. И после долгой паузы молча кивает.

Тем же вечером патриарх Парамбиля вызвал Ранджана и попросил его сопроводить Большую Аммачи и Малютку Мол в Кочин — из двух братьев он более опытный путешественник и хорошо знает Кочин. Долли рассказала, что с Благочестивой Кочаммой случился припадок, потому что муж был откровенно счастлив исполнить поручение — он ведь ускользнет из-под ее контроля. Праведная супруга заставила мужа преклонить колени, помолилась над ним, намазала освященным маслом и пригрозила содрать с него кожу заживо, если будет дурно себя вести.

Большая Аммачи упросила мать поехать с ними, надеясь, что путешествие поможет той взбодриться и исцелиться от апатии. Они пускаются в путь до рассвета — женщины в своих лучших нарядах, с зонтиками и упакованным ланчем. Радость Малютки Мол поддерживает во всех хорошее настроение. Лодочник везет их по реке, потом по петляющим каналам и заводям, пока они не добираются до

озера Вембанад, берег которого Большая Аммачи в прошлый раз видела двенадцатилетней невестой во второй-самый-печальный день своей жизни. Лодка побольше перевозит их через озеро.

До Кочина они добрались в темноте и сразу отправились через весь город в гостиницу. Мама тут же легла отдыхать, но Большая Аммачи и Малютка Мол по настоянию Ранджана идут взглянуть на океан — впервые. Он шумно плещется о берег, словно Цезарь, пьющий из своего ведра, только в тысячу раз громче; океан, конечно, громаднее озера Вембанад. Корабль, стоящий на якоре в море, такой большой, что непонятно, как он держится на плаву. На улицах полно людей, а в больших магазинах светло как днем из-за электрического освещения. В своих вечерних молитвах Большая Аммачи говорит: «Господи, прости меня, но иногда мне кажется, что Ты Бог только моего маленького Парамбиля. Я забываю, как огромен этот мир, созданный Тобою и Тобою хранимый». После смерти ДжоДжо она читала и перечитывала Книгу Иова, искала смысл в их бессмысленных потерях, но смысл ускользал. Сейчас она вспоминает, как Иов, несмотря на все свои страдания, восхвалял Бога, «делает великое, неисследимое и чудное без числа!»^[111].

Наутро в компании мучающегося похмельем и сонного Ранджана они посетили громадный рынок пряностей, помолились в Португальской базилике, гуляли по магазинам, мимо дворцов и долго сидели на берегу океана, глядя, как рыбаки управляются со своими странными рычажными сетями^[112] прямо с берега. Когда к вечеру они возвращаются в гостиницу, то повидали уже так много белых мужчин — *saxinnu* — и даже белых женщин, что Малютка Мол больше не рвется потереть их слюной, чтобы проверить, не сойдет ли краска. Они умываются и отправляются в клинику в Маттанчерри; Большая Аммачи говорит Ранджану, что они сами найдут дорогу обратно, и тот с радостью сбегает. Большая Аммачи, ее мать и Малютка Мол встают в очередь возле клиники человека, который, говорят, самый умный врач во всем Траванкоре и Кочине. Большая Аммачи пытается прочитать вслух имя доктора, написанное на табличке, но это же язык можно сломать.

Доктор Руни Орквист появился в форте Кочин в 1910 году от Рождества Христова, выброшенный на берег, как Аск и Эмбла^[113]. Как

и первые люди скандинавской мифологии, Руни быстро обрел ноги, и они принесли его к еде, жилищу, выпивке, женщинам и шумной компании. Новоприбывший светловолосый бородатый иностранец, с его гигантскими размерами и гулким баритоном, производил впечатление оракула — такой же человек в апостольских одеждах с посохом в руках мог бы сойти с дау вместе с апостолом Фомой. И прибытие его овеяно почти таким же мифом, как и явление святого Фомы. Известно лишь, что Южная Индия была последней остановкой в путешествии, начавшемся в Стокгольме. По словам доброго доктора, однажды ночью, надравшись аквавита и «напевая себе под нос на Стура-Нюгата́н^[114], я был похищен. А очнулся уже корабельным врачом на судне, направлявшемся в Кейптаун!». Врачебное ремесло привело Руни во все главные порты Азии и Африки. Но на пороге сорокалетия он сошел на берег в Кочине. Красота островов, образующих этот город в месте слияния бесчисленных водных путей, дружелюбие населяющих его людей, его храмы, его церкви, базилики и синагоги, мощные голландские колониальные улицы и дома заставили могучего шведа навсегда бросить здесь якорь. Осев тут, он вскоре принялся за изучение малайялам с одним наставником и за изучение Вед, «Рамаяны» и «Бхагавад-гиты» — с другим. Его тяга к знаниям сравнима была с тягой к пуншу и женскому обществу — коктейль желаний, погубивший немало медиков.

У большинства западных людей раскатистое «ррхха» малайялам царапает нёбо и вызывает судороги языка, но не у Руни. Он запросто может подтрунивать над ребятишками, играющими возле его клиники, которые хихикают над скандинавскими нотками в его малайялам; он даже щеголяет несколькими фразами на иудео-малайялам, обращаясь к *пардэзи* — «иностранным» евреям. (После того, как он избавил жену раввина от громадной кисты яичника, пардэзи — прибывшие с Иберийского полуострова в обширную сефардскую диаспору — не желают обращаться ни к кому другому.) Старые дамы-христианки из общины Святого Фомы посещают его клинику столь же преданно, как и церковь; они рассказывают ему о своих болях и страданиях, которые зачастую оказываются суррогатами хронических семейных неурядиц, а он прописывает им плацебо и сочувственные пастырские наставления вроде «*Муллу элайил виналлум, эра муллел виналлум, элакка насхтам*» — «*Шип ли падает на лист или лист падает на шип, страдает все равно*

лист». «Аах, аах, как вы правы, доктор. Мой муж просто шип, что ж поделаться?»

Судьба доктора неожиданным образом изменилась в 1912 году благодаря миссис Элеанор Шоу, даме среднего возраста с дивертикулитом, рефлюксом и желчнокаменной болезнью — совокупность не связанных между собой расстройств, которые он называет «триадой Орквиста», потому что они, по-видимому, всегда встречаются вместе у таких женщин, как миссис Шоу, — белая, в перименопаузе, с избыточным весом. Руни удалил ей желчный пузырь, вылечил рефлюкс и отрегулировал работу кишечника, но Элеанор Шоу не почувствовала облегчения. В момент божественного озарения Руни задал ей деликатный вопрос, который не приходилось задавать беднякам, чья сексуальная жизнь никогда не страдала, несмотря на болезни и лишения: «Миссис Шоу, возможно, супружеское ложе перестало вас привлекать в последние годы? Или даже вызывает болезненные ощущения?» На его певучие шведские интонации невозможно было обижаться. «Элеанор, — могу я вас так называть? — эти органы жизненно важны для организма и не могут ржаветь без тяжелых последствий». Руни догадался, что проблема в недостатке смазки, а вовсе не в недостатке либидо. Он выдал ей тридцать две унции защитной маслянистой жидкости и прописал шестнадцать унций свежего пальмового вина — которое должно настаиваться не меньше восемнадцати часов, чтобы обрести нужную крепость, — с максимальным усердием растолковав, какое снадобье для какого отверстия предназначено. Муж Элеанор, мистер Бенедикт Шоу, был советником махараджи Кочина и главой крупного британского торгового концерна. Вмешательство Руни в личную жизнь его супруги оказалось столь успешным, что благодарный Бенедикт Шоу поручил своему торговому дому отремонтировать старый голландский особняк, реконструировав его в лечебницу для доктора Руни, с полноценной операционной, отделением на десять коек и амбулаторией. Случай миссис Шоу стал превосходным подтверждением того, как благотворно влияет на всю семью правильное лечение и как единственный пациент может изменить судьбу врача.

И вот в 1913 году однажды вечером в амбулаторию являются Большая Аммачи, ее мать и Малютка Мол; скамья для ожидающих

приема уже полна, и им приходится стоять. Руни Орквист вбегает, сжимая под мышкой немислимых размеров стопку только что купленных книг, и улыбается собравшимся пациентам. Гонорары Руни символические для бедных и довольно чувствительные для богатых. Семейная пара пардези — он в белом костюме, с вышитой кипой на голове, она в длинном платье, застегнутом до подбородка, — смущенно сидит бок о бок с полуголыми «черными евреями»; община последних осела в Кочине еще во времена Соломона, и они недолюбливают «новичков» пардези за их высокомерие по отношению к своим темнокожим сородичам. На той же лавке сидят грузчик, массирующий околоушную опухоль, суетливый полицейский, англичанин с расстройством желудка и дама-брамин в золотых цепях, таких здоровенных, что можно пришвартовать баржу.

Когда наконец подходит их очередь, доктор Руни Орквист приветствует Большую Аммачи обезоруживающей улыбкой. У доктора-сахиппу на шее висит стетоскоп. Отполированный камень пресс-папье прижимает стопку бумаг на столе перед ним. Взгляд доктора останавливается на Малютке Мол, и он как будто узнает ее. Когда доктор протягивает свою громадную руку, Малютка Мол, которая в жизни никому не пожимала руки, с радостью протягивает в ответ свою.

— И кто эта такая красивая юная леди? — приветствует он на идеальном, хотя и с легким акцентом, малайялам.

— Я Малютка Мол!

— У меня есть для тебя красная конфетка или зеленая. Какую ты хочешь?

— Обе! — звонко отвечает Малютка Мол. — Одну для Кунджу Мол, — показывает она свою куклу.

Веселый смех доктора заполняет комнату. Он вручает малышке лакомство.

И поворачивается к Большой Аммачи, которая все не может прийти в себя от потрясения, что доктор говорит на малайялам. Она неуверенно начинает с Недуга, утонувшего ДжоДжо, родословного древа — она уверена, что все это имеет значение, — прежде чем перейти к Малютке Мол. Доктор внимательно слушает.

А выслушав до конца, говорит:

— Очень интересно. Я не знаю, как объяснить череду утопленников в семье. Но, — наклонившись, он теребит щечку

Малютки Мол, — не думаю, что эта проблема касается вашей милой девочки...

— Слава Богу! Мой муж тоже так не думает.

— Но я знаю, что происходит с Малюткой Мол.

— Правда? — в ужасе переспрашивает Большая Аммачи.

— Да. Вы же видели, я ее сразу узнал.

— В каком смысле? Вы разве встречались с ней раньше?

— Можно и так сказать. — Он разглядывает ладошки Малютки Мол. — Полагаю, у нее есть припухлость, грыжа вокруг пупка, верно?

Он приподнимает рубашонку девочки, и, как и сказал, там выпуклость, о которой Большая Аммачи никогда и не задумывалась, поскольку это никак не беспокоило ее малышку. Малютка Мол хихикает. Доктор просит девочку походить, высунуть язык.

Тяжело опустив руки на стол, он чуть наклоняется вперед и говорит:

— То, чем страдает Малютка Мол, это хорошо известный недуг. Он называется «кретинизм» — впрочем, название не имеет значения. (Большой Аммачи оно в любом случае ни о чем не говорит.) Вот здесь, внутри шеи, есть железа. Щитовидная. Вы видели, как у некоторых людей она разрастается в зоб? (Да, она видела.) Эта железа производит жизненно важное вещество, благодаря которому тело растет, а мозг развивается. Иногда эта железа не работает с самого рождения. Тогда вырастают такие дети, как Малютка Мол. Язык. Широкое лицо. Хриплый голос. Тонкая кожа. Она неглупая девочка, но медленно учится тому, что другие дети в ее возрасте уже умеют. — Доктор перечислял все, что она отказывалась замечать в дочери.

— И вы все это знаете, просто посмотрев на нее? — Большая Аммачи все еще сомневается.

Доктор подходит к книжным полкам и, не колеблясь, вытаскивает толстый том. Он пролистывает страницы, как ее отец листал Библию, ему знакома каждая глава и каждый стих. Поворачивает книгу, показывая фотографию. Верно, Малютка Мол похожа на этого ребенка больше, чем на кровных родственников. Малышка тычет в картинку пальцем и весело хихикает, узнавая себя.

— От этого есть лекарство?

Доктор вздыхает и печально мотает большой головой.

— И да и нет. Существует вытяжка из щитовидной железы, но в Индии ее не достать. Но даже если найти, то принимать надо было с самого рождения. Сейчас никакая вытяжка не сможет изменить то, что уже случилось.

Большая Аммачи неотрывно смотрит на этого человека, чьи волосы и борода подобны золотым нитям, а глаза цвета океана. У многих малаяли светлые глаза, это влияние арабских и персидских гостей в древности, но никакого сравнения с глазами доктора. Гораздо больше, чем цвет, в них поражает доброта, но от этого еще больнее слышать его слова. Двери в будущее ее дочери распахнулись. И вид впереди сокрушительный. Ей хочется возразить. Доктор читает ее мысли.

— Она навсегда останется ребенком. Я обязан вам это сказать. Она никогда не вырастет, мне очень жаль. — Он улыбается Малютке Мол. — Но останется счастливым ребенком! Дитя Господа. Благословенное дитя. Я хотел бы сказать вам что-нибудь другое. Правда, хотел бы, — очень серьезно произносит он, и его добрые глаза печальны.

Мать растерянно смотрит на доктора, глаза ее полны слез, рука лежит на плече дочери. Малютка Мол безмятежно улыбается, слишком увлеченная доктором и его бородой и инструментами на столе, чтобы беспокоиться из-за разговоров.

— Благослови вас Господь, — с трудом выдавливает Большая Аммачи, голос ее срывается. Она поблагодарила человека, который только что сообщил ей ужасную новость, но привычка слишком сильна.

— Прошу вас, поймите. Это произошло *еще до* ее рождения. Она родилась такой. Ни вы, ни кто-либо другой в этом не виноваты. Понимаете? Это не ваша вина. Разве не говорит Господь в Книге пророка Иеремии: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя»? [\[115\]](#)

— Говорит! — выдыхает она, пораженная тем, что слышит библейский стих от мирского человека.

Он разводит руками, словно говоря: «Дела Господни неисповедимы».

Аммачи не может сдержать слез. Доктор кладет ладонь на ее руку, и она вцепляется в нее, склонив голову. *Ничто не может оправдать*

меня, хочет она сказать. Чуть помедлив, поднимает голову.

— А как же с Недугом, с утоплениями, про которые я вам рассказала? Если у меня будут еще дети. У них тоже будет эта болезнь? Они тоже будут такими, как Малютка Мол?

— Насчет утоплений... — говорит Руни, — тут я ничего не знаю. Что-то явно передавалось из поколения в поколение. Просто я не могу сообразить, что это такое. Но того, что случилось с Малюткой Мол, со следующим ребенком точно не случится. Это я вам обещаю.

Они уже в дверях, когда доктор вдруг окликает:

— Минуточку, коччамма.

Но его внимание привлекает не Малютка Мол, а бабушка девочки. Она сидела в кабинете вместе с ними, не вмешиваясь, хотя вовсе не безразлично.

— Позвольте? — Он кладет пальцы на ее шею и задумчиво ощупывает.

Когда доктор убирает руку, Большая Аммачи видит шишку, которую он заметил у ее матери. Будет ли конец дурным новостям в этом кабинете?

— Ее глаза желтоваты, — говорит доктор.

— Она уже несколько месяцев очень слаба, — признается Большая Аммачи. — Ей трудно поднимать руки, а когда садится, потом с трудом встает.

Доктор подводит мать к кушетке. Ощупывает живот. Большая Аммачи замечает, что живот вздутый, несмотря на мамину худобу. Мать сконфужена и растерянна, но не протестует. А вот доктор откровенно подавлен.

— Коччамма, — обращается он к ее матери, — я дам вам лекарство. Вы не погуляете с Малюткой Мол в саду, пока я его приготовлю? Я отдам лекарство вашей дочери.

Когда лодка приближается к причалу, Большая Аммачи видит знакомый силуэт высоко на кокосовой пальме. К тому времени, когда красная земля родного дома касается ее ног, муж уже ждет. Малютка Мол потчует отца чудесами, которые она повидала: океан, электрический свет, доктор с кожей, выкрашенной в белый цвет, — сказка, которую она будет повторять всю оставшуюся жизнь.

Когда муж и жена остаются наедине в комнате, она, сидя на краю кровати, рассказывает ему все.

— Тело и разум Малютки Мол застыли во времени. Она всегда будет такой же, как и год назад. И годом раньше.

Могучая грудь приподнимается. Он вздыхает, повесив голову. После долгого, долгого молчания муж наконец хрипло произносит:

— Если, как ты говоришь, она всегда будет Малюткой Мол, ребенком, счастливым ребенком... это не так уж плохо.

— Нет, — сквозь слезы соглашается она. — Не так уж плохо. Ангел навсегда.

Он обнимает ее, притягивает поближе к себе.

— Это еще не все, — всхлипывает она.

И рассказывает про желтуху, которую доктор-сахиппу заметил в глазах ее матери, про твердую, как камень, шишку, которую он нащупал у нее на шее, а вдобавок и в животе, про увеличенную печень — вот чем объяснялась ее усталость и апатия. Доктор рассказал Большой Аммачи наедине, что рак из желудка распространился в печень и железу на шее. Оперировать уже слишком поздно. И нет никакого лекарства, кроме как создать матери покой.

— Я чувствовала себя так, будто тот же самый мул, что ударил меня десятью минутами раньше, опять сбил меня с ног, — плачет она.

— Она чувствует боль?

— Нет. Но доктор сказал, что скоро будет. Мы должны купить пилюли с опиумом, чтобы избавить ее от страданий, их нужно принимать до самого конца. Он сказал: «Некоторые христиане считают, что боль — это вознаграждение, что в боли есть христианское искупление. Но я так не считаю». Этот доктор святой.

В вечерней молитве она говорит: *«Ты ведь знал обо всем этом, Господь. Что мне Тебе сказать? Прежде чем мать моя появилась на свет и прежде чем появилась на свет Малютка Мол, Тебе известно было, что начертано у них на лбу. — Она понимает, что должна поблагодарить Бога за несколько счастливых лет, что прожила вместе с матерью. Но не сегодня. Это было бы не от души. — Молю Тебя, сохрани ее от страданий. Их уже достаточно было в маминой жизни».*

Она молится и о добром докторе. Какой он мудрый, как мгновенно сумел понять, что за болезнь у Малютки Мол, а потом увидел, что с

матерью тоже беда. Впрочем, хотя он и назвал эти болезни, но лечения никакого не предложил. В этом смысле назойливый вайдьян со своим единственным бальзамом от всех хворей мог бы похвалиться, что он ничуть не хуже. Но вайдьян ничего не знает. «Господь, тот доктор знал все... но он не знал про Недуг. Заклинаю Тебя: если Ты не хочешь исцелить Недуг, пошли нам того, кто сможет».

глава 24

Перемена сердца

1922, Кочин

Руни запирает амбулаторию в полночь. Сегодня вечером он поздно начал прием пациентов из-за двух подряд неотложных операций. Прошло уже десять лет, с тех пор как миссис Элеанор Шоу изменила его судьбу. Он приобрел привычку идти домой пешком вдоль каменистого берега форта Кочин, обычно с книгой под мышкой, и, если позволяет погода, выкурить последнюю трубку на бетонной скамье с видом на море, наслаждаясь бризом. Волны празднуют окончание своего долгого пути финальным всплеском о скалы. Луна висит в небе ярким фонарем, освещая угловатые рамы китайских рыболовных сетей, больше дюжины их расставлено у кромки воды. Шесты нависают над водой, как длинные шеи журавлей, а сети раздуваются, как паруса дау.

Руни считает себя счастливым. Один день не похож на другой. Ему всего хватает, у него отличные друзья и много интересов помимо медицины. Тогда почему, когда он сидит вечерами на этой скамье, на душе у него беспокойно? Смятение подступает столь же неизменно, как старик-мусульманин, который является в конце каждого месяца с потрепанной бухгалтерской книгой арендной платы и гримасой простите-что-потревожил-вас. Но это не то беспокойство, что бросало Руни из порта в порт, пока он не обрел дом в Кочине, оно не связано с географией. Он там, где должен быть. Но тогда что?

Мерный стук становится громче. На фоне луны вырисовывается силуэт шаркающей мимо фигуры, с посохом в одной руке. Сглаженный профиль и отсутствующий нос легко узнаваемы: лицо прокаженного. Культи, а не пальцы сжимают посох. Монеты звякают в жестянке, свисающей с шеи. Он напевает тихим голосом — возможно, мантры, лицо запрокинуто к небу и покачивается из стороны в сторону, исследуя невидимые выси. Призрак останавливается, голова перестает раскачиваться маятником, словно он почуял низко висящую луну. Он —

статуя, неподвижная, если не считать поднимающихся и опадающих при каждом вдохе-выдохе плеч.

Непостижимым образом восприятие Руни вдруг смещается, он *превращается* в прокаженного: это он, Руни, смотрит сквозь изъязвленные непрозрачные роговицы; он, Руни, видит мутные, размытые образы без контуров; Руни, который не различает свет и тень, но помнит, каково это, когда лунный свет падает на лицо; это уродливые, разлагающиеся ступни Руни завернуты в окровавленный джутовый мешок, завязанный кокосовой веревкой... Мгновение миновало. Руни не может объяснить, что сейчас произошло, что это за чувство кратковременного воплощения в теле другого человека.

Фигура удаляется, поглощаемая ночью, стук посоха о камень стихает. Во вспышке откровения Руни осознает все, чего лишен прокаженный, — далекая линия горизонта, где море встречается с небом, небо с висящей луной и луна, окутанная шалью из звезд... Он растворился в безмерности Вселенной. Он стал и провисшей сетью, и слепым прокаженным, который вынужден спать под звездами... Перед беспредельностью космоса Руни ощущает себя ничем, иллюзией. Между ним и прокаженным нет никакой разницы, все они лишь проявления вселенского сознания.

И в этом новом осознании нескончаемая болтовня в его голове внезапно прерывается. Как океан проявляет себя в волнах и прибое, но ни волна, ни прибой не являются океаном, так и Творец — Бог или Брахма — создает образ Вселенной, которая принимает форму шведского доктора или слепого прокаженного. Руни существует. Прокаженный существует. Рыбацкие сети тоже существуют. Но все это майя^[116], их разделенность иллюзорна. Все суть одно. Вселенная — это лишь клочок пены на безграничном океане, каковой есть Создатель. Руни в эйфории, он чувствует себя радостным и свободным — *мир Божий, который превышает всякого ума*^[117].

Ранним утром его разыскал встревоженный сторож. В былые времена старик вытаскивал хозяина из кабака, где добрый доктор дремал, сгорбившись над столом. Но сейчас он находит его погруженным в грезы, словно садху, глядящим вдаль расфокусированным взглядом. Сторож ласково трясет доктора за плечо.

Руни с улыбкой возвращается в иллюзию, которая сейчас является его миром.

К концу недели он раздал всю свою мебель, а инструменты и стерилизатор отдал на хранение Саломону Халеви, еврейскому купцу и банкиру. В Кочине теперь много врачей, выпускников медицинских школ Мадраса и Хайдарабада, и широкая система государственных больниц. Он будет скучать по своим пациентам, но они без него справятся.

Через две недели, обойдясь без официальных прощаний, Руни отправился в ашрам Бетель в Траванкоре. Эта монашеская обитель была основана священником по имени БиЭй Аччан^[118], который руководствовался писаниями Василия Великого о приверженности физическому труду, молчанию и молитве, дабы стать ближе к Создателю. Он был одним из первых священников, получивших степень бакалавра, и потому известен всем исключительно под именем БиЭй Аччан. Монах ободряет Руни тихим примером: служение, молитва и молчание. Спустя семь месяцев похудевший, почти неузнаваемый на свет родился новый Руни — как бабочка из куколки, уверенная в своем предназначении, даже если полет ее хаотичен. Борода, жизнерадостность и утробный смех остались прежними, но ныне он одержим мистической целеустремленностью. БиЭй благословил Руни перед уходом:

— Я верю, что Господь привел тебя сюда и открыл тебе твою жизненную миссию. Но главное, что ты ее принял. Помни, Бог обращался не только к Исаие, но к каждому из нас, когда сказал: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» Исаия сказал: «Вот я, пошли меня»^[119].

Руни уговорил предприимчивого лодочника, снабжавшего монастырь рыбой, керосином, свечами и прочими продуктами, отвезти его до конца пути.

— Куда? Туда? Как это? Да зачем вам туда? — не верит лодочник. — Вы что-то забыли в тех местах? — Но, поняв, что Руни настроен серьезно, он вопрошает: — А что, если лодка застрянет? А что, если каналы пересохли? А может, там вообще больше никого не осталось?

И вот на рассвете двое отплывают вглубь континента — громадный белый человек и его темнокожий спутник. Каноэ скользит по череде каналов, стенки которых сложены из камней и глины. Днем они пересекают громадное озеро и входят еще в один узкий канал, который должен привести их к месту назначения. Они окликают парня, сидящего на верхушке пальмы и срезающего кокосы, и тот дает последние указания:

— Плывите вся время прямо — не оглядывайтесь ни налево, ни направо! Через фарлонг будет еще один канал. Сворачивайте туда. А потом увидите десять или сто ступенек вверх.

«Десять или сто ступенек» оказались четырнадцатью и так плотно заросли мхом, что они их едва не пропустили. Лодочник помог Руни донести пожитки до задней калитки, которая проржавела и свисала с петель, но дальше идти отказался.

— Еще одна просьба, — говорит Руни, отсчитывая столько банкнот, сколько лодочник за раз никогда в жизни не видел. — Продай мне свою лодку.

Его первая ночь проходит в единственном из шести полуразрушенных кирпичных домов, в котором сохранились две целые стены и ключья соломы наверху. На закате видно, как камень шевелится — змея грелась на солнце. Лежа на спине, прислушиваясь к шебуршанию мышей, Руни глядит в звездное небо и сомневается, в здравом ли он уме. Словом «лазарет» раньше называли карантинные пункты, где можно было изолировать инфекционных больных, но со временем в Индии так стали называть больницы для прокаженных. Здешний лазарет спрятан в самом дальнем углу этой земли заводей. Его построили и разрушили португальцы, восстановили и разрушили голландцы, вновь отстроили шотландские протестантские миссионеры. Клеймо неудачи легло на это место столь прочно, что и через десятилетия после того, как последняя миссия покинула его, никто не предъявил права на участок.

Утром, взяв в руки палку покрепче, Руни изучает обширные владения. Он обошел периметр, обследовал каждое разрушенное здание, прозондировал колодец и осмотрел сохранившиеся, но ржавые парадные ворота. Выйдя за ворота, он обнаружил ухоженную гравийную дорогу, которая проходит прямо перед лазаретом; в одну

сторону она ведет обратно к хижинам и домам деревушки, чей канал он проплывал накануне и где они встретили сборщика кокосов. В другом направлении дорога идет прямо, как пробор, через бескрайние пыльные равнины, потом медленно ползет вверх, а потом резко петляет туда-сюда, превращаясь в горную тропу, похожую на извилистый шрам у подножия призрачных, далеких, титанических, окутанных туманом гор, — Западных Гхатов.

Вернувшись на свою территорию и прикинув стоящую перед ним задачу, Руни падает духом.

— Реальность всегда неприглядна, Руни, — вслух констатирует он. — Когда вскрываешь брюшную полость, она всегда выглядит иначе, не так аккуратно, как на странице учебника.

Взгляд цепляется за белое пятно у парадных ворот. Высокая трава скрывает выцветшие кости человеческого скелета, разбросанные животными. Череп и таз относительно целы, пришпиленные к земле лианами. Это женщина, судя по тазу, и определенно прокаженная, что подтверждает эрозия над скулами. Руни представляет, как она пришла в это место, обессиленная, возможно в лихорадке, надеясь на помощь и облегчение, а вместо этого нашла руины. Она лежала тут, одинокая, без еды и воды. И она умерла. Отполированные кости навевают чудовищную печаль. «Это знак, да, Господь?»

Ночью Руни снится сестра Бригитта из приюта в Мальме, где он вырос. Раньше ему было жалко ее, посвятившую жизнь месту, из которого сам он стремился как можно скорее вырваться. Но сейчас он понимает. В его сне сестра Бригитта вяжет, сидя под лампой, свет которой становится все ярче и ярче, слепит глаза.

А проснувшись, Руни видит в нескольких дюймах от себя две жуткие физиономии, их черты подчеркнуты пламенем свечи, которую они держат под подбородками. Руни испуганно вскрикивает. Они отшатываются с воплем. Две напуганные фигуры прячутся в углу. Руни зажигает лампу.

— Я не хотел напугать вас, — говорит на малаялам Руни, справившись с шоком.

— Мы думали, ты умер, — отвечает мужчина с дырой вместо носа.

Его зовут Шанкар, а женщину — Бхава. Они вернулись с храмового праздника. Бывают такие праздники, где прокаженные собирают милостыню.

— Сюда идти далеко, — признается Шанкар. — Но зато есть стены и крыша, под которой можно спать.

— Всего две стены и не так уж много крыши, — хмыкает Руни.

— Лучше, чем в открытом поле, где нападают дикие собаки, — вступает Бхава, при каждом вдохе она издает свистящий звук. Ее гортань поражена инфильтратами проказы, догадывается Руни. — Люди не подпускают нас даже к своим хлевам.

— Ты же не прокаженный, — замечает Шанкар. — Зачем ты здесь?

— Колодец забит илом, — говорит Руни. — Сперва надо его очистить. Потом починим остальное, потихоньку. — Он обводит рукой запущенный участок, кучи кирпича, которые прежде были зданиями.

— Ты и кто еще? — интересуется Шанкар.

Руни указывает пальцем в мерцающее звездами небо.

На рассвете двое прокаженных желают Руни удачи и ковыляют прочь по утреннему холодку. Свисающие с их шей помятые жестянки, предназначенные для еды или монет, наполнены кофе, который сварил для них Руни.

Но через час, когда Руни вытаскивает из кучи мусора уцелевшие кирпичи, он видит, как они возвращаются.

— Мы решили, что тебе не помешает помощь, — объявляет Шанкар. Он со смехом показывает Руни свои руки: — Когда-то я был плотником.

На правой руке у него не хватает двух пальцев, а остальные скрючены. Мягкие ткани ладони атрофировались, от чего рука похожа на обезьянью. Пальцы левой руки сохранились, но указательный и средний торчат неподвижно в жесте папского благословления. Но он все равно подгребает с земли кирпич и прижимает к себе. Бхава, чьи руки выглядят лишь немногим лучше, следует его примеру. Эти двое, понимает Руни, ангелы, посланные ему на пути.

Так совершенны небо и земля и все воинство их^[120].

К вечеру Руни варит рис и чечевицу и слушает их рассказы. Шанкар был молодым отцом, когда заметил рубец у себя на лице, а в следующие месяцы появилось еще несколько. Руки у него стали неметь.

— Не мог удержать плотницкий карандаш. Брат жены прогнал меня. Вся деревня швыряла в меня камнями. А жена смотрела. —

Чувства в голосе Шанкара не отражаются на лице, навеки застывшем в уродливой бугристой львиной маске.

Кожа на лице Бхавы постепенно уплотнялась, становилась неестественно гладкой, у нее выпали брови. Муж запер ее в доме.

— «От тебя даже собаки разбегаются», — сказал муж. Аах, это не мешало ему взбираться на меня по ночам. «В темноте ты по-прежнему хорошенькая», — говорил.

Когда же пальцы ее свернулись крючком и вонзились в ладонь, муж выгнал ее, не дав попрощаться с детьми. При этом воспоминании Бхава хихикает, единственный зуб торчит у нее во рту, как одинокое дерево на кладбище. Шанкар вторит ей.

Руни озадачен их странным смехом. Должно быть, разум несчастных поврежден горем — от того, что их отвергли столь жестоко. Эти двое умерли для своих любимых и для общества, и это ранило страшнее, чем провалившийся нос, отвратительное лицо или утрата пальцев. Проказа убивает нервы, и потому больной не чувствует боли; но подлинная травма, единственная боль, которую они ощущают, это боль отверженности.

Вот для чего нужен лазарет, думает Руни. Дом на краю мира. Место, где мертвые могут жить с себе подобными и где дух может воспарить. Он устался на свои ладони в мозолях. Один лишь большой палец может служить доказательством существования Бога. Рабочая рука — это чудо; его собственные руки способны удалить почку или сложить кирпичи. *Господи, что, если я потеряю возможность ими пользоваться?* Руни учили, что проказой редко заражаются. Болезнетворная бактерия живет в окружающей среде, по большей части в условиях антисанитарии, но заболевают исключительно те, кто обладает особой восприимчивостью. Он вспоминает, как профессор Мерр в Мальме перевязывал раны прокаженных, приговаривая: «Опасайтесь других болезней, которые вы можете подцепить от ваших пациентов, только не проказы». И в самом деле, один из однокурсников Руни умер от туберкулеза, а другой — от сепсиса после пореза скальпелем. Мысленно Руни сейчас спорит с профессором Мерром. *А как же отец Дамиен, годами работавший с прокаженными в Молокаи? Он заразился и умер от проказы!* И мысленно слышит ответ Мерра: *Но вспомните сестру Марианну,*

которая ухаживала за отцом Дамиеном. Вспомните всех остальных сестер, которые работали в Молокаи, — они все здоровы.

Руни решает, что он просто не будет бояться заразиться. *Не полагайся на разум твой*^[121]. Доверься Богу.

Через месяц на парадных воротах появляется табличка на двух языках: ЛЕПРОЗОРИЙ СВЯТОЙ БРИГИТТЫ. «Сент-Бриджет» по-английски. Название в честь его любимой сестры Бригитты из приюта в Мальмё. Так вышло, что одновременно и в честь святой — покровительницы Швеции, и, возможно, это поможет получить поддержку от шведской миссии. Они восстановили два здания и вычистили колодец. Продукты Руни покупает в деревне в магазине у Мудалали. Матхачен, тот самый сборщик кокосов, который подсказал лодочнику дорогу, — толковый посредник, он оставляет прочие покупки — солому, доски, инструменты, койру — перед воротами или на ступеньках со стороны канала. Если у жителей деревни имеются сомнения по поводу трудов Руни, против его денег у них нет возражений. Вскоре в придачу к лодке у него появляется и велосипед. К первым двум ангелам присоединяются Тамби, Эсау, Мохан, Рахель, Ахмед, Намбьяр, Наир и Патрос. Подобно тиковому лесу с подземными корнями, прокаженные имеют свою скрытую сеть; слух о возрождении лазарета быстро распространяется.

В полумиле по дороге от «Сент-Бриджет» находился обнесенный стеной участок, где традиционное крытое соломой жилище с резными фронтонами и деревянными стенами было со вкусом объединено с большим современным домом: беленые стены, красная черепичная крыша, высокие окна, широкая круговая веранда, большой навес над центральным входом, где стоял автомобиль, а к дому вела гравийная дорожка, обложенная по сторонам кирпичом. Вмурованная в каменную колонну ворот табличка гласила: ТЕТАНАТТ-ХАУС, это личное имя дома, и пониже имя владельца — Т. ЧАНДИ. Однажды, проезжая мимо на велосипеде, Руни мельком увидел, как обрюзгший мужчина курит на скамейке-качелях на веранде, на руке его поблескивали золотые часы. В другой раз этот же мужчина проезжал в автомобиле мимо ворот «Сент-Бриджет», а рядом с ним сидела женщина. Руни как раз выходил и приветственно махнул им рукой, пара заулыбалась и помахала в ответ.

Каждый раз, проезжая мимо их дома, Руни хотел заглянуть в гости, но впервые в его карьере врачебная деятельность, которой он занимался, могла вызвать у людей неловкость. Матхачен, сборщик кокосов, рассказал, что Чанди служил в Британской армии в Адене — «ковал деньги». По возвращении Чанди приобрел поместье в несколько тысяч акров, расположенное далеко в горах, которые видно из «Сент-Бриджет». На неделе Чанди остается в бунгало в поместье, присматривая за посадками и сбором урожая, по выходным едет в долину, три часа пути, в родительский дом, где живут его жена и престарелая мать.

Прошло уже три месяца, как Руни появился в лазарете. Сегодня у ворот возникает какая-то суматоха — кто-то зовет: «Доктор-ой! Доктор-ой!» Взволнованный слуга из Тетанатт-хаус стоит в десяти футах от ворот, у него сообщение: жена Чанди очень просит прийти срочно, потому что мистера Чанди хватил удар. Руни помчался на велосипеде на помощь. На веранде валялись мужские шлепанцы. Над пепельницей рядом с коробкой сигар «Стейт Экспресс 555» лениво струился дымок.

Из дома доносится стук падающей мебели. Чанди бьется на полу, его мунду съехало набок, крупные ноги подергиваются. Напуганная жена склонилась над лежащим телом. Она в сари, блестящих серьгах, с браслетами на обеих руках — супруги одеты для выхода в свет.

Руни опустился на колени, проверил, свободны ли дыхательные пути Чанди, пощупал пульс, сильный и частый.

— Что произошло? Расскажите.

— Благодарю вас, доктор, — отвечает по-английски женщина, заливаясь слезами. — Он сегодня вел себя странно. Не разрешил мне отвезти его в больницу. А потом вдруг вскрикнул и упал вот так на пол. А потом оцепенел — очень сильно, совсем замер — и потерял сознание. Водителя сегодня нет. Я не знала, что делать. Послала слугу за вами. А он вдруг как задержался.

Краем глаза Руни замечает пожилую женщину в чатта и мунду, с огромными золотыми шпильками в ушах; она бледная, руки, вцепившиеся в косяк двери, побелели, нижняя губа дрожит. Он обращается к ней на малайялам:

— Аммачи, не бойтесь, это просто припадок, скоро пройдет. (Судороги уже ослабевают, пока он говорит.) Но я хочу, чтобы вы

присели, потому что, если вы упадете в обморок, это делу не поможет.

Она подчиняется.

Руни отмечает припухшие околоушные железы Чанди, его красные ладони, женственную грудь и свежелопнувшие кровяные сосуды на груди и щеках. Похоже, Чанди потребил в своей жизни столько спиртного, что большинству мужчин и не снилось. Аммиачный запах урины предшествует появлению желтого пятна, расплывающегося по первоначально-белому мунду.

— Такое случилось раньше? — спрашивает Руни.

— Никогда! Вчера вечером он вернулся из поместья такой же, как обычно. Уставший после долгой дороги. — Она переходит на малаялам.

— Нет, не такой, *как обычно*, — подает голос пожилая дама. — Его как будто муравей укусил. Аах, ругался со всеми. — Смущенная жена бросает на нее сердитый взгляд, но старушка стоит на своем: — Муули, это же правда, доктор должен знать.

— В начале поста он всегда раздражительный, — признает жена.

— Ага, — хмыкает Руни. — Он отказывается от виски на сорок дней?

— Пятьдесят дней. Да. Не пьет бренди. Ради меня, — стыдливо опускает она глаза. — Он поклялся, в первый год после нашей свадьбы.

Пост начался накануне. Внезапное воздержание, вероятно, спровоцировало у Чанди «ромовый припадок», приступ алкогольной абстиненции. Руни поднимается на ноги.

— Не тревожьтесь. (Чанди дышит шумно, но ровно.) Он скоро очнется, но будет плохо соображать. Я сейчас вернусь с лекарством.

Матхачен еще и варит нелегально *аррак* — не тот североафриканский анисовый арак, известный Руни, а безвкусный дистиллят, который Руни использует в качестве антисептика.

У себя в «Сент-Бриджет» Руни смешал настойку опиума, аррак, лимон и сахар в аптекарском пузырьке и вернулся к пациенту.

Чанди лежал на полу, но уже в сознании, под головой у него подушка, испачканное мунду сменили. Он растерян, но, как ребенок, послушно глотает лекарство.

— Давайте ему по столовой ложке еще четыре раза до полуночи, — обращается Руни к Лииламме, так зовут жену мистера Чанди. — Завтра — три раза в день. Послезавтра — два раза, а потом один раз в день. Я все вот тут записал.

Заглянув к ним еще раз вечером, — к тому времени Чанди полностью пришел в себя, но был очень сонный — Руни объяснил, что в будущем Чанди нужно будет заранее сократить потребление бренди, еще до Пепельной среды.

Неделей позже у ворот раздается автомобильный гудок. И на территорию въезжает Чанди. Помимо самого Руни, он первый непрокаженный, появившийся в лазарете с тех пор, как там обосновался Руни. Теперь, когда он выздоровел и воспрял, видно, что Чанди — коренастый мужчина с бочкообразной грудью и могучими ручищами, вдобавок таскающий немалый лишний вес на талии. Он редкий тип малаяли без усов, волосы разделены на пробор и гладко зачесаны. В своей желтой шелковой джубе и грязно-белом мунду Чанди выглядит человеком, чувствующим себя непринужденно где угодно, даже в «Сент-Бриджет». Его благодарность принимает форму бутылки виски «Джонни Уокер».

— Мы почтем за честь, — говорит он, — если вы присоединитесь к нам за пасхальным обедом. Мы бы пригласили вас гораздо раньше, но Лииламма не хочет угощать вас простым рисом и зелеными бобами. А я хотел бы иметь возможность предложить вам выпить.

Руни принимает приглашение.

Чанди с интересом разглядывает окружающее, его не смущает любопытство столпившихся неподалеку обитателей лазарета. Руни предлагает показать владения, и Чанди с готовностью соглашается. Они обходят постройки, которые находятся в процессе восстановления. Руни надеялся использовать деревянные балки от одного из старых зданий, но Шанкар считает, что они изъедены термитами. Чанди присаживается на корточки, внимательно изучает бревно, потом говорит:

— Я согласен с вашим парнем. Термиты и еще последствия наводнения. Видите, как цвет отличается на другой половине?

Чанди разбирается в цементе и разных видах черепицы. В поле он несколько раз наклоняется, зачерпывает горсть земли и разминает ее в пальцах.

— Я надеюсь, когда-нибудь мы сможем сами себя кормить, — говорит Руни.

Чанди ничего не отвечает на это, но через несколько дней возвращается с шофером на автомобиле, у которого убрано заднее сиденье, а еще у машины есть платформа, приваренная к задней части. Шофер выгружает горшки с саженцами манго, сливы и банана, а также мешки с удобрениями — смесь костной муки и компоста. Чанди разворачивает начерченную от руки схему территории, на которой он отметил свои рекомендации — где лучше расчищать место для сада. Влажная низина возле канала идеально подходит для бананов.

— Это удобрение, кстати, годится для ваших кокосовых и финиковых пальм. Не похоже, чтобы ими занимались. А вон тот участок между кокосовыми пальмами сохраните для скота, он легко прокормит пару коров. Да и курятник не помешает.

Пасха в Тетанатт-хаус знаменовала собой начало долгой дружбы. Руни стал постоянным гостем за обеденным столом по воскресеньям, наслаждаясь щедрым угощением от Лииламмы и бренди от Чанди. Летом, когда жара невыносима, семья на два месяца перебирается в поместье. Они приглашают Руни погостить в горах, хотя бы по выходным.

Саломон Халеви прислал Руни его хирургические инструменты, и теперь у них есть больница и простейшая операционная. Он может позволить себе больше, чем просто бинтовать раны и дренировать абсцессы. Руни выборочно оперирует руки, пытаясь сохранить функции или восстановить их путем устранения контрактуры. Чтобы собрать денег, Руни рассылает множество писем. Евреи пардези финансировали печь для обжига кирпичей, а лютеранская миссия в Мальмё оплатила пилораму и маленькую столярную мастерскую. На Рождество та же лютеранская миссия принимает решение выплачивать лепрозорию ежегодную пенсию; многословные письма Руни по-шведски публикуют в их информационном бюллетене. Мистер Шоу, чья супруга Элеанор была пациенткой Руни, передает в дар двух дойных коров и штабель древесины.

Через пятьдесят лет после того, как Армауэр Хансен^[122] увидел в микроскоп в тканях прокаженных палочковидную бактерию, *Mycobacterium leprae*, все еще не существует лекарства от проказы. Руни может обеспечить жилище и осмысленную работу, но он огорчен

и раздосадован тем, что почти бессилён предотвратить прогрессирующее разрушение рук и ног. На следующий день после открытия пилорамы он обнаруживает в стружках отрубленный палец. Владелец пальца продолжал работать, не заметив утраченного члена, пока Руни не указал на кровоточащий обрубок. Это событие побуждает Руни проводить еженедельные беседы по предотвращению травм. Он разбивает обитателей на пары для ежедневного осмотра рук и ног друг друга, перевязывает свежие раны. На поврежденный палец или ногу он сразу накладывает гипс, чтобы предотвратить дальнейшие травмы и чтобы рана заживала. К каждому инструменту в «Сент-Бриджет» прикреплен мягкий ремешок, чтобы помочь пальцам, которые плохо держат, и защитить кожу. Ведро и тачка снабжены сбруей, которую можно зацепить за шею.

В первый год работы лазарета во двор однажды вошел ухмыляющийся новичок, в блаженном неведении, что его лодыжка нелепо вывернута и кость торчит сквозь кожу. Любой, кроме прокаженного, визжал бы от боли, а этот пустомеля гордился, что целый день брел пешком в новый лазарет. Такую же извращенную гордыню Руни заметил и в местных обитателях: их «преимущество» перед теми, кто их отверг, состоит в том, что они могут ходить вечно; они могут часами стоять неподвижно, как статуи, не испытывая потребности даже переминаясь с ноги на ногу, потому что не ощущают неудобства. Кумулятивная травма при ходьбе на поврежденных ногах и продолжительном стоянии приводит к воспалению, растяжению и в конечном счете разрыву связок, удерживающих кости стопы вместе. Когда таранная кость — седловидная кость, расположенная под большеберцовой, которая переносит вес тела на пятку, — окончательно разрушается, свод стопы становится плоским, как *анпáм*^[123], а затем выпуклым, как дуга кресла-качалки. Вес тела больше не распределяется равномерно на всю стопу, а концентрируется в одной точке, в результате чего образуется пролежневая язва. Если ее не лечить, язва разрастается и становится гангренозной, вынуждая Руни ампутировать конечность. Но это совсем не больно.

глава 25

Чужак в доме

1923, Парамбиль

Когда ей исполнилось тридцать пять, в год 1923-й от Рождества Господа нашего, она вновь забеременела. Это было словно чудо. Первый признак — металлический привкус во рту, вслед за которым пропал аппетит. Когда она рассказывает мужу, тот, кажется, напуган. Ей хочется воскликнуть: *«Только не говори мне, что ты понятия не имеешь, как это произошло!»* Но его встревоженное лицо останавливает ее; за годы, прошедшие со времени рождения Малютки Мол, они пережили три выкидыша, каждый из которых оставлял после себя тяжкую печаль и чувство, что ее наказывают за ДжоДжо. Муж никогда не высказывал своих страхов, но она знает, как отчаянно ему хочется сына, которому можно будет передать созданный им Парамбиль, — сына, который будет заботиться о родителях в старости. Но если он был снова встревожен, то она на этот раз абсолютно спокойна, уверенная, что эта беременность завершится в срок. Уверенность ее, должно быть, от Господа. Неужели минуло пятнадцать лет, как она произвела на свет дитя? Единственное, что огорчает, это то, что матери нет рядом. Рак забрал ее за два месяца после их поездки к доктору в Кочин.

На седьмом месяце центр тяжести тела опустился, она ходит, широко расставляя ноги. Как-то раз после ужина застаёт мужа на веранде — он сидит, глядя на залитый лунным светом двор. Лицо мечтательное, редкое зрелище. В профиль кажется, что годы его не коснулись, хотя волосы поредели и поседели и слышит он плохо. В свои шестьдесят три он по-прежнему берется ремонтировать насыпи или копать оросительные каналы наравне с другими. Муж с улыбкой подвигается, освобождая для нее место. В последнее время его часто беспокоит головная боль, хотя он никогда не жалуется, она сама

понимает — по крепко сжатым челюстям, нахмуренным бровям и по тому, что он тихо укладывается в кровать с влажной тряпкой на глазах.

Аммачи опускается рядом с мужем; спина болит, ребенок давит на поясницу. Она замечает, как отекли и распухли ноги, — невероятно, как это у Одат-коччаммы было десять детей... В свободные минутки она иногда жадно подглядывает за Самуэлем и его женой Сарой, как они разговаривают, порой переругиваются, но даже споры их кажутся задушевными. А вот она должна вести беседу и за себя, и за мужа.

Он следит за ее губами, чтобы не упустить ни слова. Ноги едва заметно покачиваются в ритме сердца.

— Почему ты так мало говоришь, муж мой? — спрашивает она.

Он отвечает безмолвно, приподнимая и медленно опуская одновременно брови и плечи. *Кто знает?* Она рассерженно трясет его. Все равно что пытаться трясти ствол баньяна.

— Ты же заполняешь все уголки, куда я мог бы уронить несколько слов... вот я и молчу.

Она порывается обиженно встать, но он с тихим смехом притягивает ее к себе. Смех его, беззвучный или наоборот, возникает даже реже, чем слова, и как же она любит, когда хохот вырывается из него, безудержный и гулкий. Его руки обвивают ее. И она смеется вместе с ним. Почему она должна стесняться, что кто-нибудь увидит их обнимающимися? Племянники мужа — близнецы — ходят, держась за руки (хотя их супруги готовы вцепиться друг другу в глотки), по дороге в церковь они замечают обнимающихся женщин. Но супруги всегда держатся на расстоянии, словно отрицая, что в темноте они касаются друг друга, и не только касаются.

Он отпускает ее, но продолжает прижиматься плечом. Она ждет. Слишком легко спугнуть то, что может прозвучать, если он заговорит первым.

— Я никогда не учился читать, — произносит он наконец. — Но я выучил, что невежество никогда не обнаружат, если держать язык за зубами. Слова — вот что выдает.

Ты вовсе не невежествен! Ты мудр, муж мой. Его признание покоится между ними в дружелюбных сумерках. Она обнимает его обеими руками, словно пытаясь окутать, обхватить целиком, но это все равно что пытаться обнять Дамодарана.

В родовых муках она выкрикивает и свое негодование — почему мужчины избавлены от того, чему они виной, — и свое возмущение этим неблагодарным младенцем, которого она вырастила внутри своего тела и который теперь стремится разорвать ее надвое. Но затем, когда крошечный ротик вцепляется в ее сосок, Аммачи чувствует прилив молозива и прощения, и последнее вызывает своего рода амнезию. Иначе кто бы соглашался еще раз переспать с человеком, из-за которого потом столько страданий?

После первого крикливого вдоха ее малыш настороженно, очень серьезно, сосредоточенно нахмурившись, оглядывает мир Парамбиля. Она уже решила (с благословения мужа), что назовет его в честь своего отца Филипом. Но профессорское выражение лица новорожденного заставило ее записать крестильное имя как Филипос. Она могла выбрать «Пилипус», «Потен», «Пунан» — любой местный вариант имени «Филип». Но ей понравилось «Филипос» — за отголоски древней Галилеи, за мягкий последний слог, звучащий как текущая вода. Она молится, чтобы мальчик познал радость быть унесенным потоком, а затем прибитым обратно к берегу.

Крестильное имя пригодится в школе и в официальных бумагах. Хоть бы ее молитвами оно до тех пор не превратилось в уменьшительное. Слишком многие дети рано получают ласковое прозвище, от которого потом не избавиться: «Реджи», «Биджу», «Саджан», «Ренджу», «Тара» или «Либни», и к этому приделывают хвостик — «мон» (маленький мальчик), или «мол» (маленькая девочка), или совсем уж безликое «кутти» (ребенок). У Малютки Мол целых два таких хвостика вместо ее христианского имени, которое осталось забытым в свидетельстве о рождении. Когда Филипос станет взрослым, люди помоложе будут обращаться к нему с уважительным суффиксом: Филипос-ачаян или Филипочаян (а к женщине обращаются коччамма, или чечи, или *чэдетти*^[124]). А став отцом, он будет Аппачен или Аппа для своих детей, точно так же, как вскоре начнет называть свою маму Аммачи или Амма. Путаница неизбежна. Она слыхала про человека, известного в своей семье как Крошка Кутти, а для взрослых друзей он был Крошка Гудиер^[125], хотя после свадьбы ушел из той фирмы и теперь работал в Джайпуре в налоговой службе. И поэтому родственники жены звали его Крошка из Джайпура. Сановный дядюшка его жены совершил долгое путешествие до самого Джайпура,

пошел искать родственника в налоговой инспекции и устроил скандал, когда ему сообщили, что никакой Крошка там не работает; вызвали полицию. А когда Джордж Черьян Куриан (известный как «Крошка из Джайпура») узнал об этом и помчался вносить залог, он не смог отыскать дядюшку, потому что знал его как Малыша *Тадьян* («пухлый малыш»), а не по имени, которое значилось в документах, Джозеф Чирайапарамб Джордж.

Через несколько недель после рождения Филипоса муж на пять дней слег в постель с дикой головной болью и неукротимой рвотой. Она не находила себе места от тревоги, одновременно пытаясь нянчить младенца, втирать целебное масло в лоб мужа и успокаивать Малютку Мол, расстроенную отцовской болезнью. Самуэль обосновался в коридоре возле комнаты тамб'рана, отказываясь уйти домой. Пилюли и припарки ваидьяна не помогали. Аммачи хотела отвезти мужа в Кочин, к сахиппу-доктору Руни, но муж против путешествия на лодке. Потом, таким же таинственным образом, как появилась, головная боль проходит, но оставляет след: левая половина лица у мужа провисает, он не может полностью закрыть левый глаз, и вода вытекает из этого уголка рта. Ее это беспокоит гораздо больше, чем его. Муж опять отправляется в поле. Самуэль докладывает, что тамб'ран работает так же много, как и раньше, хотя полностью оглох на левое ухо.

Всякий раз, как муж видит новорожденного сына, лицо его светлеет, хотя улыбка выходит перекошенной; она привыкает смотреть на правую сторону лица, чтобы понять подлинное его выражение. В глазах его появляется нечто новое, сначала она думает, что это печаль. Он вспоминает о судьбе первого сына? Но нет, это тревога, а не печаль, — тревога, не привязанная ни к чему конкретному, на что можно указать пальцем, и это беспокоит ее. Малютка Мол тоже волнуется; забыв о своей скамеечке, она хвостиком ходит за отцом, когда тот дома, или тихо сидит на краешке его кровати, пока мать не заберет ее спать.

Когда Филипосу исполняется год, Большая Аммачи не может отрицать истину: сын купается охотно. Но всякий раз пугает мать, когда она выливает воду ему на голову, — глаза его закрываются, потом открываются, глазные яблоки нависают, а руки и ноги обмякают. Но

при этом мальчик, в отличие от ДжоДжо, смеется, как будто ему нравится такой полубморок. Он думает, это такая игра. Его помутневшие глазки словно уговаривают мать повторить еще разок. Когда сынишка становится достаточно большим, чтобы можно было посадить его в неглубокую *урули* — гигантскую миску, предназначенную для приготовления *най'асам*^[126] по праздникам, — он с удовольствием плещется там и хохочет, когда с закружившейся головой вываливается из урули на землю. Он, как подвыпивший матрос, встает на четвереньки и забирается обратно. Потрясенные родители смотрят, не веря своим глазам.

— Я не смогу потерять этого удивительного ребенка, — говорит мужу Большая Аммачи.

— Тогда отпусти его жить на воле. Не запирай его, — страстно отвечает он. — Именно так мой старший брат смог взять надо мной верх. Потому что мать не выпускала меня из дому. Я тебе рассказывал эту историю? (Неужели он и вправду забыл?) Вот чего я не могу понять, так это почему мой сын рвется в воду, если она ему не друг, — размышляет он.

Проходит еще несколько месяцев, и как-то вечером, оставив Одаткоччамму приглядывать за Филипосом, Большая Аммачи сбегает поплескаться в реке. В этом она не похожа на мужа и сына — ничто не восстанавливает силы и не обновляет ее лучше, чем купание. На обратном пути, подходя к дому, она слышит ритмичный скребущий звук. Муж сидит на корточках в углу муттама и неуверенно копает палкой. Как будто она застала ребенка за игрой, но лицо у него серьезное.

— Зачем ты роешься в земле? Ты же помылся!

Он поднимает глаза. На краткий миг кажется, что муж не узнает ее. Он встает и, пошатываясь, бредет прочь. Но через несколько неуверенных шагов падает на землю. Сердце выскакивает у нее из груди. Она вглядывается в будущее.

В последующие недели история повторяется: она застает его копающим землю, но муж не признается зачем. Это побуждает ее просить Самуэля:

— Не спускай глаз с тамб'рана.

— А что случилось? — Старик озадачен. — Почему ты это говоришь?

Она молча смотрит на Самуэля.

— С ним все нормально, — горячо убеждает тот. — Лицо у него с одной стороны увяло, но кому нужны обе стороны? Так я ему и сказал. Одной вполне достаточно.

— Но он уже не молод. Сколько тебе лет, Самуэль?

Волосы у Самуэля седые, и даже усы его, там, где не пожелтели от *б́иуди*^[127], тоже белые. Морщин вокруг глаз у него не меньше, чем у Дамодарана.

Самуэль рассеянно взмахивает рукой.

— Лет тридцать точно, может, и больше, — говорит он.

Она весело прыскает, а вслед за ней и он, и оба хохочут — редкий для них звук в последнее время.

Она решается рассказать Самуэлю про возню в земле. И того будто обухом по голове.

Обретя вновь дар речи, старик лепечет:

— Может, тамб'ран ищет монетки, которые закопал. Пока не построили ара, мы так их прятали. Там может быть одна монета или целая сотня. Золото, серебро, медь, — бормочет он, прячась в существительных, которые он предпочитает числительным.

— Ты всерьез думаешь, что там закопано сокровище? — прерывает она.

Он отводит взгляд и дрожащим голосом возражает:

— Какая разница, что я думаю? Я говорю про то, что думает тамб'ран.

Его ужас физически ощутим. У предков Самуэля никогда не было постоянной крыши над головой и уверенности в завтрашнем дне. Они были наемными работниками в чужих имениях, навеки обреченными выплачивать долги своих предшественников. Но сейчас такая практика запрещена законом. Самуэлю платят за его труд, и у него есть собственный участок земли, на котором стоит его собственный дом. Он может работать где угодно. Но не представляет, как можно служить кому-то другому. Сердце ее болит за этого человека, который всю жизнь провел плечом к плечу с ее мужем, был его тенью. Она чувствует безграничную любовь Самуэля к ее мужу. Без тамб'рана что станет с

его тенью? Если он не сможет служить тамб'рану, должен будет служить ей.

Проходит еще несколько дней. Аммачи стоит на веранде, держа на руках Филипоса, они вместе любят Дамо. Внезапно волоски сзади на шее приподнимаются от присутствия чего-то гигантского за спиной. Это, конечно, не Дамо, но то же самое ощущение необъятной фигуры, отбрасывающей на нее тень. Обернувшись, она видит мужа. Он смотрит через ее плечо туда, где шумно чавкает Дамодаран, расшвыривая кучу приготовленных для него листьев. Рядом с отцом стоит Малютка Мол, обеими ладошками вытирая мокрое лицо. Малютка Мол, которая никогда не плачет, не понимает, что с ней такое, что такое слезы, и почему они соленые, и почему их никак не унять.

Дамо затихает, пристально уставившись на тамб'рана. Два старых гиганта бесстрастно стоят лицом к лицу, и на какой-то миг Большой Аммачи кажется, что они сейчас бросятся в атаку и скрестят бивни. Муж кладет ладонь ей на спину — не для поддержки, а лишь отмечая право собственности.

— Чего он хочет? — глухо шепчет он, и слюна поблескивает в уголке рта.

— В каком смысле «хочет»? Это же наш Дамодаран!

— Нет, это другой слон. Прогони его. — Он уходит, сначала не в ту сторону, и только с помощью Малютки Мол находит дорогу к своей комнате.

Во время ужина Дамодаран топчется около дома, не обращая внимания на свежие пальмовые ветки, которые нарезал для него Унни. Слон как будто дожидается тамб'рана — может, чтобы пожаловаться, что его назвали самозванцем. Большая Аммачи берет ведро сдобренного гхи риса для Дамо. Тот отказывается и от лакомства.

На ужин она готовит любимое блюдо мужа, эреки олартхиярту. Он усаживается за стол на веранде в старой части дома, словно не замечая, что туда прибрел Дамо, хотя слона невозможно не заметить. И, как обычно, едва шипящее мясо касается бананового листа, муж нетерпеливо пробует, не дожидаясь, пока подадут рис. Но затем, к ее крайнему изумлению, он выплевывает еду. Губы его не слушаются, и еда повисает на подбородке. Все, что осталось на банановом листе, он вышвыривает в муттам.

— Это не годится для собак! — восклицает она.

Но Цезарь, недавно появившаяся у них дворняжка, не согласен и мчится слизнуть мясные кубики с брусчатки. Дамодаран подступает поближе.

— Айо! Зачем ты это сделал? — Она никогда прежде не повышала голос на мужа. Пробует мясо сама. — Ради всего святого, все ведь в порядке! Что на тебя нашло? Я готовлю это блюдо уже почти четверть века!

— Аах, вот это я и хочу сказать. Ты так давно готовишь эту еду. И думаешь, что не можешь ошибиться. Значит, ты сделала это специально.

Она смотрит на него, не веря происходящему. Этот человек, из которого слова не вытянешь, а уж грубого — и вовсе никогда, сейчас колет ее каждой фразой.

— Всю жизнь я мечтала, чтобы ты говорил больше! А надо было благодарить за твое молчание.

Она поворачивается к нему спиной и уходит, кипя негодованием, и это тоже впервые. Видит, как Дамо смотрит прямо на нее, завернув хобот к пасти. *Прости своего мужа, он не ведает, что творит.* Она слышит это так ясно, словно сказано человеческим голосом.

Последовав совету, она приносит с кухни овощи и соленья. Муж почти ничего не ест. Она поливает ему из кинди, направляя струйку прямо на пальцы. Он медленно ковыляет к себе, мимо Малютки Мол. Большая Аммачи вдруг понимает, что впервые Малютка Мол не сидела за ужином рядом с отцом. Наоборот, она ушла на свою лавочку. Слезы ее высохли, она радостно лопочет со своими куклами и больше не следует неотвязно за родителем. Он медлит рядом с дочерью, глядя на Малютку Мол, ждет, что малышка уцепится за него, как делала все последние дни. Но дочка смотрит сквозь него.

Накрыв угли в очаге, Большая Аммачи заходит проведать мужа. Она все еще переживает из-за случившегося. Он лежит на кровати, уставившись в потолок. Она садится рядом. Он смотрит на нее и просит воды. стакан стоит рядом, она протягивает ему. Он приподнимается и, как ребенок, накрывает своими ладонями ее пальцы, держащие стакан. Руки его могучи, но корявы и заскорузлы, обветрены и состарены временем, покрыты мозолями от ветвей деревьев, на которые он взбирался, от веревок, топоров и лопат, которыми работал.

Вместе они подносят стакан к его губам, и он пьет. Ее рука, укрытая его ладонью, больше не рука той девочки, которая пришла в Парамбиль жизнь назад; на ней шрамы от бесчисленных вылетевших из очага искр, от брызжущего масла. Ее узловатые пальцы с распухшими суставами показывают, сколько лет прошло в бесконечном измельчении, нарезании, шелушении, чистке, перемешивании, мариновании... Их соединенные руки скрепляют воедино долгие годы, прожитые ими вместе, мужем и женой. Когда в стакане не остается ни капли воды, он отпускает ее, ложится обратно, вздыхает и закрывает глаза.

Потом она уходит. Уложит Малютку Мол и Филипоса и вернется. Но, вопреки своим искренним намерениям, засыпает вместе с детьми. Она просыпается среди ночи и встает проверить, как там муж, это вошло в привычку уже несколько месяцев назад. Темная фигура на кровати слишком неподвижна. А когда она прикасается к нему, кожа ледяная. И, еще не успев зажечь лампу, она понимает, что он скончался.

На его неподвижном лице застыло выражение тревоги и раскаяния. В тишине она слышит, как яростно стучит сердце, стремясь вырваться из груди и стучать для него, за него, потому что сердце Парамбиля, трудившееся столько лет, больше не в силах биться.

Тихо рыдая, она забирается на кровать и ложится рядом с мужем, глядя на лицо, которое впервые увидела мельком у алтаря и испугалась и которое потом полюбила так неистово, — лицо своего молчаливого мужа, который был так непоколебим в своей любви к ней. Повсюду вокруг нее звуки земли, которую он сделал своей и где прожил всю жизнь, звучат резче и громче — стрекотание сверчков, кваканье жаб, шелест листвы. А затем она слышит протяжный трубный рев, плач Дамо о человеке, который спас его, когда он был ранен, о добром человеке, которого больше нет.

Муж был бы рад, что ему не пришлось принимать и развлекать беседами многочисленных скорбящих, которые хлынули в дом, всех этих родственников и ремесленников, чьи жизни и судьбы он изменил столь глубоко. Пришли выразить уважение наиры из *тхаравáда*^[128] на окраине Парамбиля. И все пулайар тоже здесь, из каждого дома, молча стоят в муттаме, с лицами, потемневшими от горя. Среди них главный — Самуэль, надломленный и рыдающий, Самуэль, которого она провела в спальню, несмотря на его возражения, чтобы он мог в

последний раз попрощаться с тамб'раном, которого боготворил. Муж спешил бы с похоронами, желая как можно скорее оказаться в земле, которую так любил, лечь рядом со своей первой женой и своим первенцем.

Через несколько недель после похорон, когда жизнь в Парамбиле с трудом возвращалась в нормальное русло, она, уже засыпая, слышит, как кто-то скребется и роет землю во дворе. Потом звук пропадает. Но в следующую ночь возникает вновь. Она выходит на веранду, садится, поворачивается лицом к звуку.

— Послушай, — говорит она. — Ты должен простить меня. Я и так казню себя, что не пришла к тебе, когда уложила детей спать. Я уснула. Мне так жаль, что мы поругались за ужином. Я вспылила. Да, я тоже хотела, чтобы все было иначе. Но это ведь всего один вечер из столь многих, которые были прекрасны, разве нет? Я надеялась на еще много прекрасных ночей, но каждая из минувших была благословением. И послушай: я прощаю тебя. После целой жизни великодушия и заботы ты имел полное право немножко позлиться. Так что покойся с миром!

Она прислушивается. И знает, что он ее услышал. Потому что, как и всегда, выражает свою любовь к ней единственным привычным ему способом — молчанием.

глава 26

Невидимые стены

1926, Парамбиль

Когда сыну уже почти три, она везет его на лодке в церковь Парумала, где похоронен Мар Грегориос, единственный святой христиан Святого Фомы. Филипос в восторге от своего первого плавания, но мать не спускает с него глаз. Ни мужа, ни ДжоДжо невозможно было уговорить сесть в лодку, а этот только завидит воду, сразу туда лезет. Его друзья шныряют в пруду как рыбы. А он никак не возьмет в толк, почему у него не получается. И становится неукротимо настойчивым, как огненный муравей, преодолевающий препятствие. Бесконечные попытки сына «плавать» пугают мать, жалко смотреть на его неудачи.

Гробница святого находится в боковой части нефа церкви Парумала. Над ней фотография Мар Грегориоса в натуральную величину, этот образ (или еще более известный портрет работы художника Раджи Рави Варма) на календарях и просто в рамках висит в каждом доме христиан Святого Фомы. Борода Мар Грегориоса подчеркивает изящные губы, а белоснежные локоны обрамляют красивое доброе лицо с удивительно юными глазами. Он единственный выступал за то, чтобы пулайар были обращены и приняты в общину, но при его жизни этого не произошло. И ей не верится, что это может случиться и при ее жизни.

Маленький сын охвачен благоговейным трепетом, но потрясен не столько гробницей святого, сколько сотнями свечей перед ней. Он тянет мать за мунду:

— Аммачи, попроси его помочь мне плавать.

Мать не слышит его; она стоит, покрыв голову платком, глядя прямо в лицо святого. Она в трансе.

А Мар Грегориос смотрит прямо на нее и улыбается.

Правда? Ты проделала весь этот путь, чтобы я наложил чары на мальчика?

Аммачи остолбенела. Она слышала голос, но, оглянувшись, понимает, что вокруг никто ничего не заметил.

Мар Грегориос заглянул ей прямо в душу. Она не в силах выдержать взгляд святого.

— Да, — признается она. — Это правда. Ты же слышал, что сказал мальчик. Он полон решимости. Что мне делать? Сын потерял отца. Я в отчаянии!

Одна из легенд про Мар Грегориоса гласит, что однажды ему нужно было перебраться через реку, текущую мимо этой самой церкви, чтобы навестить прихожанина на другом берегу. Но у причала на мелководье купались три высокодуховные женщины, мокрая одежда облепила их тела, их радостный визг и смех струился в воздухе подобно праздничным лентам. Из скромности святой вернулся в церковь. Но полчаса спустя они все еще резвились на берегу. Он сдался, пробормотав себе под нос: «Ну и сидите там в воде. Схожу в гости завтра». А вечером дьякон сообщил, что три женщины, кажется, не могут выбраться из реки. Мар Грегориос ощутил раскаяние за свои неосторожные слова. Он пал на колени и помолился, а потом велел дьякону: «Скажи им, что теперь они могут выйти». Так и получилось.

Большая Аммачи здесь, чтобы беззастенчиво попросить об обратном: пускай Мар Грегориос сделает так, чтобы ее единственный сын не смог войти в реку.

— Я вдова с двумя малышами на руках. И вдобавок должна сходить с ума из-за этого мальчика, которому, как и его отцу, опасно находиться у воды. Он родился с таким Недугом. Одного сына я уже потеряла в воде. Но этот рвется плавать. Пожалуйста, умоляю тебя. Что, если всего четыре твоих слова, *«Держись подальше от воды»*, будут означать, что он проживет долгую жизнь во славу Господа?

Ответа она не слышит.

Филипос перепугался, видя, как его мать, с лицом таинственным в призрачном свете множества свечей, стояла перед гробницей святого и разговаривала с картинкой.

По пути домой мать рассказывает Филипосу:

— Мар Грегориос наблюдает за тобой каждый день, мууни. Ты же слышал, как мы давали обет перед его могилой, верно? Я поклялась, что никогда не позволю тебе войти в воду в одиночку. А если ты так сделаешь, кара постигнет твою маму. (Так оно и есть. Она умрет, если с ним что-нибудь случится.) Поможешь мне сдержать клятву? Никогда не пойдешь к воде один?

— Даже когда научусь плавать?

— Да, даже тогда. Всегда. Никогда не будешь плавать один. Клятву нельзя нарушать.

Мальчик вздрагивает, представив, как маму настигает кара.

— Обещаю, Аммачи, — искренне говорит он.

Она будет часто напоминать ему об этом путешествии, о своей клятве и о его обещании.

По достижении пяти лет ее маленький мальчик идет в новую «школу» — три часа каждый день; это просто навес с соломенной крышей, открытый с трех сторон. В свой первый учебный день Филипос и еще пятеро новичков приносят листья бетеля, орехи арека и монетку для *канияна*^[129], который принимает дары, потом подзывает по очереди каждого малыша и указательным пальцем ребенка рисует первую букву алфавита на *тáли*^[130], наполненном белым рисом. Эта школа — идея Аммачи, место, где дети могут несколько часов побыть в тишине и покое, где их научат буквам. Где малыши, дети и внуки семейств Парамбиля — *ашиáри*^[131], гончара, кузнеца и чеканщика, — выучат свой алфавит.

Каниян — маленький суетливый лысый человечек с блестящей шишкой, или кистой, на макушке, которую Малютка Мол окрестила «Крошка Бог». Каниян перебивается составлением гороскопов для потенциальных женихов и невест. Учительство дает ему желанный дополнительный доход. Некоторые брамины считают касту астрологов и учителей жуликами и псевдобраминами, но этот каниян не морочит себе голову подобными предрассудками.

Едва Большая Аммачи скрывается из виду, Джоппан, сын Самуэля, высовывается из банановых зарослей, где он прятался. Подмигивает Филипосу и заходит в класс. Эти двое — верные друзья и товарищи по играм. Поскольку Джоппан старше на четыре года, он еще и нянька для

Филипоса, и телохранитель. Где бы они ни появлялись, обнимая друг друга за плечи, их принимают за братьев, особенно издалека, потому что Джоппан совсем небольшого роста для своего возраста.

Джоппан принес какой-то зеленый листочек, но вовсе не лист бетеля, камешек, который должен символизировать орех арека, и монетку, вырезанную из дерева. Обнаженный до пояса, он входит в класс, протягивает свои дары, демонстрируя в улыбке безупречные зубы, волосы он пригладил, смочив водой, но они уже опять приподнимаются, как примятая трава.

— Ах ха! — удивленно восклицает каниян. — Так ты, значит, тоже хочешь учиться? — Улыбка у канияна какая-то неестественная, шишка у него на голове набухает. — Я тебя научу. Встань там, за порогом. Аах, хорошо.

Каниян поворачивается к мальчику спиной, а потом резко разворачивается и хлещет своей бамбуковой розгой прямо по бедрам Джоппана. Протестующий крик Филипоса заглушают вопли канияна:

— Наглый выскочка пулайан! Дерьмо! Вонючий пес! Забыл свое место? Больше ничего не хочешь? А дальше что? Пожелаешь помыться в храмовом бассейне?

Джоппан отбегает в сторону, но оборачивается, не веря своим глазам, на лице его боль и стыд. Остальные дети испуганно съеживаются, наблюдая происходящее. Джоппан — их герой. Он самый решительный и храбрый, только он может переплыть реку туда и обратно или бесстрашно прикончить кобру. Впрочем, некоторые из мальчишек (маленькие будущие взрослые, просто пока не выросли) втайне довольны унижением Джоппана.

Джоппан расправляет плечи и рявкает громовым голосом, известным всей округе:

— СНИМИ ЯЙЦО СО СВОЕЙ БАШКИ И СОЖРИ! КТО ЗАХОЧЕТ УЧИТЬСЯ У ТАКОГО ДУРАКА, КАК ТЫ?

Это святотатство доносится аж до рисового поля, Самуэль поднимает голову. Каниян вскидывает палку, замахивается. Джоппан уворачивается, отпрыгивает в сторону, каниян спотыкается. Громкий хохот удаляющегося Джоппана вызывает ухмылки у других мальчишек. Учитель недоумевает: неужели Большая Аммачи прислала отпрыска пулайана? Известно, что Парамбиль раздает землю своим пулайар, но неужели подобная эксцентричность распространяется и на образование

для них? *Может, она и платит мне жалованье, но я скорее умру с голоду, чем буду воспитывать детей, вытасщенных из грязи.*

Дома Филипос, заливаясь слезами злости, все рассказывает матери. Лицо его пылает от лицемерия этого мира. Большая Аммачи берет на руки своего малыша, утешает его. Ей стыдно. Несправедливость, которой он стал свидетелем, вина не только канияна. Корни этой предубежденности столь глубоки и древни, что она кажется частью самой природы, как реки, впадающие в море. Но боль в детских глазах напоминает о том, что легко забывают: кастовая система — это отвратительно. Она противоречит всему, что написано в Библии. Иисус выбрал себе в спутники и ученики бедных рыбаков и сборщиков податей. И Павел сказал: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе»^[132]. Им пока очень далеко до всеобщего единства.

Мать пытается простыми словами объяснить Филипосу кастовую структуру, сама понимая, как абсурдно это звучит: брамины — или *намбудури*, как их называют в Траванкоре, — высшая каста, каста священнослужителей, и, подобно европейским властителям, они владеют огромными землями по божественной воле. Махараджа, конечно, тоже брамин. У намбудури есть почетное право получать бесплатно еду в любом храме, потому что это честь — кормить брамина; они бесплатно живут в гостиницах, содержащихся за государственный счет. Только старший сын в доме намбудури, *иллам*, может жениться и наследовать имущество, он единственный имеет право брать множество жен и часто так и делает, уже в глубокой старости, выжив из ума. Сыновьям, которые *не являются* первенцами, позволены только неофициальные браки с женщинами из семей наиров, касты воинов, которые на ступень ниже намбудури. Дети от таких союзов становятся наирами. Наиры — это тоже высшая каста; они, как и намбудури, не оскверняют себя общением с низшими кастами, они управляют громадными владениями намбудури, но в наше время и сами тоже стали землевладельцами. На ступени ниже, чем намбудури и наиры, находятся *ежава* — ремесленники, которые прежде были сборщиками кокосов, но теперь все больше занимаются производством койры или владеют участками земли. Низшая каста — это безземельные работники, пулайар и *черуман* (их еще называют *адиваси*,

парай'ар, «неприкасаемые»). «Туземные племена», живущие в горах, находятся вне кастовой иерархии, но их изначальное право на землю, где они жили и охотились, которую возделывали, никогда не было записано на бумаге, чем легко воспользовались пришельцы с равнин.

— А мы христиане, мууни, — уточняет Большая Аммачи, прежде чем малыш успевает спросить. — Мы скользим между этими слоями людей.

Легенда гласит, что первые семьи, обращенные святым Фомой, были браминами. Ритуалы хинду по-прежнему вплетены в христианские, как та крошечная золотая минну в форме листа базилика, которую муж надел ей на шею на их венчании, или принципы *Васту*, в соответствии с которыми построены их дома. Христиане и сами не избавились от кастовых различий. В Парамбиле, как и в любом христианском доме, пулайан никогда не заходят в дом; Большая Аммачи подает Самуэлю еду в отдельной посуде, но Филипос, конечно же, видел все это.

Чего она не рассказывает сыну, так это что христиане Святого Фомы никогда не пытались обратить в свою веру пулайар. Английские миссионеры, прибывшие спустя века после святого Фомы, знали в Индии только одну касту — язычников, которых нужно было спасти от гибели. Пулайар охотно крестились, возможно надеясь, что, приняв Христа, они станут равными с остальными христианами вроде обитателей Парамбиля, на которых они работали и к которым были привязаны. Но не тут-то было. Им пришлось строить собственные церкви, уже англиканские, и становиться частью Церкви Южной Индии^[133].

— Представлению о кастах уже тысячи лет, его очень трудно изменить, — вздыхает она.

На лице сына отражается разочарование — в матери, утрата иллюзий о мире. Он молча уходит. Она хочет окликнуть его. *Ты не сможешь перейти озеро посуху только потому, что решил назвать его «землей». Ярлык имеет значение.* Но он слишком мал пока, он не поймет. Сердце ее разрывается.

Ювелир и ашари, гончар, зовут Самуэля из его хижины.

— Твоему сыну нужна хорошая трепка, — заявляет гончар. — С чего это он взял, что может ходить в школу? Ты что, ничему его не

учишь?

Самуэль смиренно и униженно приносит извинения, он кланяется, скрестив руки и дергая себя за мочки ушей, одновременно подгибая колени, — жест почтения, заставляющий улыбнуться Младенца Ганешу. Позже Самуэль устраивает порку Джоппану, и сечет он его куда сильнее, чем каниян, и громко орет, что Джоппан навлек позор на всю семью, — чтобы покаяние слышали те, кто живет выше по течению. Но единственный плач, который доносится от хижины Самуэля, это рыдания матери мальчика; девятилетний ребенок принимает побои молча и ничуть не раскаивается. Он отступает, как раненый тигр, уползающий в заросли. Ожесточенный взгляд Джоппана пугает Самуэля. Он боится *не* своего сына, но *за* него.

Большая Аммачи могла бы заставить канияна принять Джоппана в ученики. Но она знает, что тот откажется, а даже если и согласится, родители других детей заберут их из школы. На следующий день уроки канияна начинаются всерьез, вместо классной доски используют песок. Большая Аммачи посылает за Джоппаном, но Самуэль говорит, что мальчишка, видать, купается где-то на реке. Вернувшись домой, Филипос показывает матери «учебник» из пальмовых листьев, где учитель написал первые буквы — *a* и *aa*, *e* и *ee* (ᱠᱟ и ᱠᱟᱨ, ᱡᱟ и ᱡᱟᱨ) — острым ногтем. Назавтра следующий лист будет тесемкой прикреплен к предыдущему.

А позже она замечает, как Филипос и Джоппан обдирают пальмовые листья, чтобы сделать Джоппану его собственный учебник, и как ее сын выводит на песке буквы, а Джоппан их переписывает. Радость ее гаснет, когда она видит на спине Джоппана рубцы от палки Самуэля. Почему мальчика наказывают за систему, которой он не создавал? Она говорит Джоппану, что будет учить его сама, пока остальные в школе. Пороки кастовой системы она не может устранить, но вот это ей по силам. А через год дети подготовятся к поступлению в государственную начальную школу, куда принимают *всех*. Позади церкви строится средняя школа, куда будут ходить дети из нескольких окрестных городков и деревень.

Джоппан — старательный, смысленый и благодарный ученик. Наказание не изменило его задорный лихой нрав. Но она видит, как мальчику хотелось бы сидеть в классе рядом с товарищами. И для ее

сына, и для Джоппана наступит день, когда учеба закончится и им придется столкнуться лицом к лицу с этим миром и его лукавым двуличием.

глава 27

Наверху лучше

1932, Парамбиль

Прошло шесть лет, как Филипос под руководством канияна вывел свои первые буквы, но ему все еще не удается овладеть более существенным для себя умением — плаванием. Он отказывается признавать поражение. Каждый год, как только завершается паводок, Филипос вновь и вновь повторяет попытки. Джоппан, который в воде чувствует себя увереннее, чем на суше, упорнее всех старается научить беднягу. Но приходит день, когда и Джоппан отказывается идти с другом на реку, и не только потому что весь день работал. Это первая размолвка между друзьями. Филипос уговаривает Самуэля пойти с ним, потому что поклялся не купаться в одиночку.

Когда Филипос пошел в начальную школу, Джоппан поступил туда вместе с ним. Самуэль не одобрял затею, но не мог возразить Большой Аммачи. К чему сыну пулайана буквы? Но однажды, уже после третьего класса, Джоппан как-то раз увидел баржу, дрейфующую в новом канале возле Парамбиля. Она накренилась и черпала бортом воду. Лодочник был в стельку пьян. Джоппан каким-то образом умудрился выровнять посудину, а потом в одиночку провел до реки, а оттуда до причала перед складом владельца, Икбала. Благодарный хозяин предложил Джоппану постоянную работу, и тот согласился. Большая Аммачи так злилась на Самуэля, как будто это он был во всем виноват! Но работа хорошая. Хотя Самуэль все равно предпочел бы, чтобы мальчик занимался хозяйством Парамбиля. Когда придет час Самуэля, Джоппан стал бы его наследником. Разве это не естественный порядок вещей?

— Как думаешь, Самуэль, в этом году я научусь? — спрашивает Филипос, когда они вдвоем идут к реке; девятилетний мальчуган машет руками в воздухе, повторяя новые движения, которые, он убежден, помогут держаться на воде.

Самуэль не отвечает, поспешая за «маленьким тамб'раном», как некогда он торопливо семенил, чтобы не отставать от отца мальчика.

На причале два лодочника считают мух. У одного парня передние резцы торчат, как нос его каноэ, а верхняя губа едва прикрывает их. Вид Филипоса, стягивающего с себя рубашку, пробуждает парней от летаргии.

— *Адада!*^[134] Смотри-ка, кто пришел! — лениво тянет зубастый, движения его томны, как медленное течение реки. — Великий пловец!

Филипос их не слышит. Зажав нос и широко распахнув глаза, он делает глубокий вдох и прыгает в воду. Это он уже освоил: с полными легкими он всегда всплывет, хотя пробует только на мелководье. И он действительно всплывает, мокрые блестящие волосы закрывают глаза будто темной тканью. А теперь руки дико колотят по воде — это и есть его попытка «плавать».

— Открой глаза! — орет Самуэль, потому что за долгие годы он понял, что эта бестолковая суета с водой у тамб'рана только хуже, когда глаза закрыты.

Но мальчик его не слышит.

Джоппан считает, что Филипос глуховат, но Самуэль уверен, что маленький тамб'ран, в отличие от большого, слышит только то, что хочет слышать.

— Здесь мелко, мууни, — окликает зубастый лодочник. — Просто встань на ноги!

Неистово бултыхаясь, Филипос поднимает со дна ил, кружит сначала на животе, потом на спине, потом ныряет вниз головой, только пятки сверкают в воздухе. Самуэль насмотрелся достаточно, он прыгает в воду и ставит мальчика на ноги, как опрокинутый кувшин.

Лодочники хлопают в ладоши, Филипос радуется. Несмотря на то что глазные яблоки у него навывкате и смотрят в разные стороны, он победно ухмыляется, прерывая ликование, чтобы срыгнуть и выплюнуть грязь, которую зачерпнул со дна реки.

— Я, кажется, почти половину проплыл, да ведь? — радостно булькает он.

— Оох, аах, да больше половины! — поддакивает зубастый. А второй лодочник хохочет так заливисто, что даже теряет свою бииди.

Филипос сникает. Самуэль ведет его домой, крикнув напоследок через плечо:

— И зачем вам, олухи, весла, могли бы грести своими длинными языками!

Он озабоченно поглядывает на непривычно притихшего мальчика. Тот вообще-то не унаследовал отцовской молчаливости. Неужто маленький тамб'ран обескуражен?

— Я что-то делаю неправильно, Самуэль.

— Неправильно ты делаешь то, что лезешь в воду, мууни, — строго выговаривает Самуэль. Он будет суров и тверд, даже если сама Большая Аммачи не желает говорить напрямую. — Твой отец не любит плавать. Ты его хоть раз видел возле воды? Вот и ты будь таким же.

Самуэль, не сознавая, говорит о тамб'ране, как будто тот прямо сейчас работает в поле неподалеку. В конце концов следы жизни его хозяина повсюду и постоянно напоминают о нем: мостки, кирка, плуг, валы и каналы, которые они копали вместе, каждое поле, которое они вспахали, каждое дерево... Ну разве это не значит, что тамб'ран рядом?

Филипос отбегает в сторону погонять плетеный мяч. Самуэль идет в кухню.

— На этот раз он сумел проплыть дальше? — интересуется Большая Аммачи.

— Дальше в ил. Он зарылся головой в дно, как *карим'еен*^[135]. Я выковыривал грязь у него из ушей и из носа.

Большая Аммачи только вздыхает.

— Представляешь, как мне тяжело отпустить его на реку?

— Так запрети ему!

— Не могу. Муж заставил меня дать слово. Могу лишь убеждать его сдержать клятву и не ходить туда в одиночку.

Филипос сидит с мячиком в тени старой кокосовой пальмы, рассеянно ковыряя палочкой заброшенный муравейник. Малыш хмур и печален. Мать садится рядом, ерошит его волосы.

— Может, мне лучше попробовать взобраться наверх, — задумчиво говорит он, указывая на верхушку дерева. — Вместо...

Да почему же мужчинам вечно надо лезть ввысь или вглубь, превращаться в птицу или рыбу? Почему нельзя просто оставаться на земле?

Сын смотрит так пристально, что она вздрагивает.

Он думает, у меня есть все ответы. Что я могу защитить его от разочарований этой жизни.

— Наверх лучше, — вздыхает она.

Помолчав, мальчик продолжает:

— Ты знала, что мой отец забирался на это дерево всего за неделю до смерти? Самуэль говорит, он срезал кучу молодых орехов и в тот день все смогли напиться! — Голос вновь оживляется, как иссохший кустарник, распутившийся после дождя.

Благодарение Господу, он не унаследовал отцовской молчаливости.

— Аах. Ну... он почти свалился...

— Но все равно сумел добраться до самого неба. — Мальчик встает, ставит одну ногу на срезанный клин на стволе пальмы, устремляет взгляд вверх, словно воображая предстоящий путь туда, где заканчивается дерево и начинается небесный свод.

— Аах, это правда, — соглашается она.

Но это совсем не правда. Самуэль, разумеется, не рассказал Филипосу, что произошло на самом деле. В последний год жизни муж перестал лазать по деревьям. Но за неделю до смерти что-то повлекло его наверх. Дерево было знакомо ему, как тела двух женщин, подаривших ему детей. Десятки лет назад он обрубал побеги, которые стали опорами для стоп. Не дерево, нет, а его силы изменили ему, и он застрял на четверти пути. Самуэль полез за ним, с веревочной петлей, свисавшей между ног, подтягивая колени к самой груди, пока не добрался до тамб'рана. Самуэль коснулся стопы тамб'рана, потянул вниз и поставил ее на следующий выступ.

— Аах, аах, вот так. Вы запросто справитесь, верно? А теперь другую... а рукой перехватываем пониже.

Она смогла вдохнуть, только когда муж твердо встал на землю, единственное место, где теперь должны были стоять эти ноги.

— Я нарезал тебе молодых кокосов, — сообщил муж, показывая куда-то за спину, но никаких кокосов там не было.

— Аах. Я очень рада, — ответила она.

Держась за руки, они вернулись в дом, не заботясь о том, что кто-то может их увидеть.

Филипос возвращает ее на землю:

— Может, я и не хочу пока лезть на это дерево. Оно для меня высокогато, да?

Мать отмечает редкие нотки рассудительности в голосе сына.

— Пока да.

— Аммачи, если он был такой сильный, что мог залезть на это дерево... тогда почему он умер?

Он застал ее врасплох. Красные муравьи у ее ног тащат лист, поглощенные своей работой. Если бросить сверху камешек, они подумают, что это стихийное бедствие? Обращаются ли муравьи к Богу или, может, тоже отвечают на невозможные вопросы своих детишек?

— В Библии сказано, что мы живем семьдесят лет, если повезет. Семьдесят лет, именно так. Твой отец подошел к этому рубежу. Почти шестьдесят пять. Я намного моложе его. Когда он умер, мне было тридцать шесть. — Заметив тревогу на его лице, она понимает, что сын подсчитывает. — Сейчас мне сорок пять, мууни.

Сын обнимает ее тонкими руками. И так они стоят долго-долго.

Внезапно он вскидывает голову:

— Я никогда не научусь плавать, и это ведь не просто так? Мой отец тоже не просто так не умел плавать. — И лицо у него больше не похоже на лицо девятилетнего мальчика. Признав поражение, он стал старше и мудрее. — А в чем причина, Аммачи?

Она глубоко вздыхает. Она *не знает*, в чем причина. Возможно, *он сам* станет тем, кто раскроет тайну. Чудесно, если его упрямая решимость превратилась в стремление исцелить Недуг! Он мог бы стать спасителем будущих поколений. Мог бы избавить своих детей от того, от чего страдает сам. Пока мать может лишь признаться ему, что тайна существует, описать те опустошения, которые это несчастье вызывало в их семье с древних времен. Наверное, она не станет пока показывать ему родословное древо — Водяное Древо, — чтобы не пугать видениями ранней смерти. Она делает глубокий вдох:

— Я расскажу тебе то, что знаю.

глава 28

Великая ложь

1933, Парамбиль

Десятилетний мальчишка, который не может совладать с водой, яростно обратился к земле. Гончар жаждет голубой аллювиальной глины, которая есть в склонах по берегам рек, а кирпичник ныряет в мелкие протоки с корзиной в руках, наполняя свою лодку речной грязью и не интересуясь никакой другой. Вкусы Филипоса разнообразны; чуткие и цепкие пальцы его ног измеряют пропорции песка, глины и ила. Мягкая песчаная почва около церкви не имеет себе равных для усталых стоп, не сравнить с неподатливым красным латеритом возле колодца Парамбиля. Вымощенный гранитом двор возле его школы цвета свернувшейся крови и холоден, как рукопожатие директора, но этот же сорт камня, будучи измельченным, отфильтрованным и высушенным, оставляет яркие цветные пятна на бумаге. Колдуя, как алхимик, Филипос находит формулу чернил, которые блестят на странице лучше любых покупных и превращают письмо в удовольствие. Окончательный рецепт включает в себя толченый панцирь жука, крыжовник и несколько капель из бутылочки, где в человеческой моче болтается медная проволочка (моча его собственная).

Как и его покойный отец, Филипос становится заядлым ходоком. Пускай всех остальных везут в школу на каноэ, лодках и паромках. Он пойдет пешком. Да, называйте это водобоязнью. Он не утратил жажды повидать мир. Но обойдется без семи морей. Пешеход больше видит и больше узнает, убеждает он себя. Только пешеход может подружиться с легендарным *паттаром* Султаном, который вечно сидит на дренажной трубе около большого дома найра. Паттарами называют тамильских браминов, которые переселились в Кералу из Мадраса. Прозвище «Султан» происходит от его привычки оборачивать тхорт вокруг головы, оставляя торчать маленький павлиний хвост. Но что превратило его в легенду, так это его *джалэби*^[136]. Гости на свадьбе

вскоре забудут, была ли невинна невеста или уродлив жених, но никто не забудет десерт от паттара Султана, венчающий пир. Иногда по утрам он угощает юного путника кусочком джалеби, оставшимся от праздника накануне. Филипос больше года выпрашивал у Султана-паттара секретный рецепт. И однажды, без всякого предупреждения, прежде чем Филипос успел записать или хотя бы запомнить, Султан отбарабанил список ингредиентов, как священнослужитель, читающий санскритскую шлоку^[137]. Рецепт все равно оказался бесполезным, потому что Султан измерял нутовую муку, кардамон, сахар, гхи и все прочее в ведрах, бочонках и воловьих повозках.

Как-то днем, когда путник возвращается из школы, испуганный голос за его спиной выкрикивает: «С дороги!» Мимо тархтит велосипед, вылетая из колеи, продавленной в мокрой грязи колесами телег и теперь запекшейся на солнце. Седовласый ездок катапультирует за мгновение до того, как его транспортное средство влетает в неподвижный объект — насыпь. Филипос помогает старику подняться. Очки у него заляпаны, а мунду в полосах грязи, но он удовлетворенно ощупывает шариковую ручку в кармане рубашки. Кустистые седые усы свисают до нижней губы.

— Тормозов нет! — поясняет он. Пары алкоголя сопровождают это заявление. Старик приводит в порядок себя и свой велосипед, выпрямляет руль, а потом тыкает пальцем в ручку, вставленную в карман Филипоса, и спрашивает, но по-английски. — Что за модель? «Шиффер»? «Паркер»?

Филипос отвечает на малаялам:

— Нет, не такая модная. Но это все равно, важны ведь чернила, а в моей те, что я называю «Медная Река Парамбия». Я сам их сделал из фильтрата латеритной почвы, меди и мочи. — Источник мочи он упоминать не стал.

Филипос вытаскивает блокнот, демонстрируя рецепт. Брови старика, такие же кустистые, как и усы, взлетают вверх.

— Хрррххх! — изрекает он, трепеща всеми зарослями на лице.

Через полмили Филипос снова видит старика, уже без рубашки, стоящего на верхней ступени крутой лестницы, ведущей от дороги к ветхому дому. Он громогласно разглагольствует по-английски, будто бы обращаясь к многочисленной аудитории, хотя Филипос не видит вокруг

ни души. «Теперь уж и фланги огнем полыхают, чугунные чудища не отдыхают...»^[138] — вот все, что может разобрать Филипос. Но для мальчика этот английский звучит мелодично и правдоподобно, в отличие от английского языка господина учителя Курувилла, подозрительно похожего на малайялам господина учителя Курувилла, слова у него вечно наступают друг другу на хвост — «Собака всегда идет за хозяином» или «Поражение на поле на приватерлоо» — вдобавок с вкраплениями «*наинте мон*» (сукин сын) и прочими выражениями на малайялам; видимо, предполагается, что у его учеников кокосовая скорлупа вместо мозгов. На слух Филипоса, английский этого старика — подлинный шедевр, язык прогресса, высшего образования, даже если это язык колонизаторов.

— Чернильный Мальчик! — зовет его мужчина по-английски, подвязывая мунду под самые соски. — Добрый самаритянин! Я к вам обращаюсь, назовите себя, мой добрый друг.

— Это вы со мной говорите, саар? — переспрашивает Филипос на малайялам.

— ПО-АНГЛИЙСКИ! — ревет старик. — Мы будем беседовать только по-английски. Каково твое доброе имя?

— Меня зовут Филипос, саар. — Он надеется, что это и есть его доброе имя.

— Сэр! Никакой не «саар».

Филипос послушно повторяет. Усы одобрительно трепещут.

— Хорошо, тогда поднимайся. Давай начнем.

— Аммачи! — влетает в кухню Филипос. — У Коши саара на каждой стене полки, полные книг. И еще на полу целые стопки книг!

Большая Аммачи пытается переварить новость. Ее «библиотека» — это две Библии, молитвенник и кипа старых номеров «Манорамы». Про Коши саара она знает, потому что свежий улов от торговки рыбой включает в себя и свежие сплетни. Коши учился в Калькутте, получил диплом, а потом много лет работал клерком. Но во время Великой войны, прельстившись льготами и жалованьем, он поступил на службу. И вернулся другим человеком. Потом он поступил в Мадрасский Христианский колледж и остался там преподавать. А теперь вернулся,

живет на небольшую пенсию в родовом доме на крошечном клочке земли, которого хватает для грядки маниоки и еще кое-какой мелочи.

— А жену ты видел, мууни? — встречается из-за его спины Одат-коччамма.

Филипос не слышит старушку, поэтому ей приходится постучать его по плечу и повторить вопрос.

— Оох, аах. Видел. Саар отправил меня за чаем. Она спросила, откуда я, из какой семьи и всякое такое. Саар закричал из своей комнаты по-английски: «Эта женщина взяла тебя в плен?» А она ему в ответ крикнула на малайялам, — передразнивает Филипос: — «Ты, старый барсук, если будешь говорить со мной по-английски, сам делай свой чай!»

— Старый барсук! — весело прыскает Малютка Мол.

— Бедная женщина, — замечает Большая Аммачи.

— Ты не понимаешь, — перебивает Одат-коччамма. — Я с юности знаю Коши. Такой был умный... Айю, и такой красавчик был в форме, пока не уплыл за море. Ботинки сияют, и ремень, и *атхум итхук окке*^[139]. — Руки ее порхают вдоль тела, показывая блестящие тут и там пуговицы, медали и эполеты.

Она выпячивает грудь, как голубь-дутьш, встает по стойке смирно, но с ее кривыми ногами и вдовьим горбом это выглядит ужасно забавно. Малютка Мол копирует ее, и они дружно отдают честь. Одат-коччамма грустно вздыхает:

— В молодости он мог найти себе кого получше... С чего ему взбрело жениться на ней, не возьму в толк.

Тут на крыше каркает ворона.

— Господу, может, и понятно, а мне нет.

Заметив, как все уставились на нее, она фыркает:

— Что такого?.. Я хочу сказать, что если б мозги были керосином, у этой курицы не хватило бы даже на самую маленькую лампу.

— А вы с ней знакомы? — озадаченно спрашивает Филипос.

— Аах, аах. Ни к чему мне с ней знакомиться. Я и так кой-чего знаю.

— Британская армия разрешила ему оставить себе велосипед. Он говорит, что велосипед стоит больше, чем пособие. Он воевал во Фландрии. Досадовал, что мне ничего об этом неизвестно. Ой, а еще он дал мне почитать вот эту книгу. Говорит, в ней о жизни сказано все.

Малютка Мол, Одат-коччамма и Большая Аммачи уставились на книжку.

— На Библию что-то не похоже, — с сомнением проговорила Большая Аммачи.

Шрифт мелкий, и есть картинки, но стихи не пронумерованы.

— Это история про гигантскую рыбу. К следующей неделе я должен прочесть десять страниц. И записать все незнакомые слова. Он дал мне вот этот словарь. Саар говорит, это сделает мой английский лучше и научит меня всему на свете. В следующий раз я должен быть готов обсуждать то, что прочту.

Большая Аммачи невольно ревнует. Оставив попытки научиться плавать, сын словно в отместку направил свое любопытство на изучение всего прочего в этом мире. Его жажда знаний давно уже превзошла все, что мог предложить мальчику Парамбиль. Да и школы хватало еле-еле. Коши саар, несомненно, более образованный, повидавший мир человек, чем школьные учителя Филипоса. Мать видит, как ее голодающий сын получает пищу, но не из ее рук.

— Ему нужно будет платить?

— Регулярными поставками моих чернил «Медная Река Парамбиля», — гордо объявляет Филипос.

— Аах, — довольно усмехается Одат-коччамма. — Только не рассказывай ему, что ты добавляешь в эти чернила, мой тебе совет.

На следующей неделе Филипос возвращается еще более воодушевленный.

— Аммачи, он может цитировать наизусть целые страницы из этой книги! «Не думай» — это у меня одиннадцатая заповедь, а двенадцатая: «Спи, когда спишься»^[140].

Подобного рода знания ее как раз тревожат.

— И что с того, что он помнит ту книгу. Одат-коччамма может рассказать наизусть целиком Евангелие от Иоанна, хотя даже не читала его. В былые времена так ведь и учились, верно? — обращается она к старушке, пытаясь защитить ту единственную книгу, которую Филипосу надо бы выучить. Но та с нетерпением ждет, что еще расскажет мальчик.

— Саар задал мне только один вопрос: «Кто рассказывает эту историю?» Ответ: Измаил! Об этом сказано в первой же строке. Измаил

— «рассказчик». Я точно знаю, что мой английский станет лучше, потому что он не позволяет мне ни слова произнести на малаялам.

Следующие несколько недель семья собирается слушать заданные Филипосу страницы «Моби Дика» в его переводе и пересказе. Когда он говорит: «Уж лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином», все дружно хохочут. Большая Аммачи шокирована этой историей, но одновременно и зачарована. Однажды утром, как только Филипос уходит в школу, она решает еще раз внимательно рассмотреть иллюстрацию с татуированным дикарем, Квикегом. Но в комнате сына обнаруживает склонившихся над книжкой Одат-коччамму и Малютку Мол.

— Он пулайан, этот Квик-*ашин*!^[141] — восклицает Одат-коччамма. — Кто еще видит свою судьбу в игральных костях? Кто другой будет мастерить собственный гроб? Помнишь, как Павлос-пулайан думал, будто ему в спину вцепился дьявол? И все никак не мог от него избавиться. В конце концов заполз в щель в скале, такую узкую, что дьявол не смог пролезть следом...

— И содрал половину кожи, и чуть не умер от укусов муравьев, — продолжает Большая Аммачи.

— Аах, но вылез-то он с улыбкой! Дьявол был изгнан.

До сих пор годы в Парамбиле отмеряли Пасхой и Рождеством, рожденьями и смертями, наводнениями и засухами. Но 1933-й стал годом «Моби Дика». На середине книги Большая Аммачи попросила Филипоса спросить у Коши саара, не выдумка ли весь этот «Моби Дик».

— Это занимательно. Но, может, это одна большая ложь? Спроси его.

Коши саар ответил очень возмущенно:

— Это художественная литература! Художественная литература — это великая ложь, которая рассказывает правду о том, как устроен этот мир!

Муссон, как и положено, пришел в Траванкор ровно в тот момент, когда утонул «Пекод». В Парамбиле не замечают дождя, барабанящего по крыше, потому что гроб Квикега стал спасательным кругом для Измаила, а самого Квикега последний раз видели цепляющимся за

мачту. При свете лампы четыре головы склоняются над книгой, которую может читать только одна.

— Спаси Господь их души, — шепчет Одат-коччамма, когда все заканчивается, Малютка Мол печальна, а Большая Аммачи осеняет себя крестным знаменем.

Она успела полюбить Квикега. И думает про Самуэля: как это слово, «пулайан», унижает его, когда на самом деле он, как Квикег, лучше почти всех известных ей людей. Сердце Самуэля исполнено великодушия, он трудолюбив и всегда стремится выполнить работу как можно лучше — такие качества не помешали бы, к примеру, близнецам, Джорджи и Ранджану. Она больше не чувствует себя виноватой, что оказалась в плену этой лжи-которая-рассказывает-правду, этого «Моби Дика».

— Коши саар не верит в Бога, — признается вечером Филипос, вернувшись с урока с новой книгой.

Он явно держал в тайне атеизм своего наставника, пока они не закончили «Моби Дика». Сын выглядит виноватым и боится, что мать прекратит его визиты к учителю, но зато он облегчил совесть.

Мать же с жадным нетерпением глядит на новую книгу в его руках, «Большие надежды» — роман, который задаст тон их 1934 году, как «Моби Дик» определил 1933-й.

— Ну, Коши саар, может, и не верит в Бога, но хорошо, что Бог верит в этого старика. Иначе зачем бы Он послал его тебе на пути?

глава 29

Утренние чудеса

1936, Парамбиль

День выдался ненастный, Большая Аммачи полна дурных предчувствий, отправляя сына в школу в рассветной тьме. В сонных понурых плечах ни малейшего намека на стать его отца. Сын более хрупок — скорее тростинка, чем ствол дерева.

— Аммачи? — доносится голос из-за спины, где заворчалась дочь.

Она взволнованно ждет, пока Малютка Мол усядется рядом. Способность дочери загодя объявлять о визите гостей распространяется и на предсказание плохой погоды, катастроф и смертей.

— Аммачи, скоро появится солнце!

Большая Аммачи с облегчением выдыхает. За двадцать восемь лет жизни Малютки Мол солнце исправно восходило каждый день, но каждое утро малышка восторженно приветствовала его возвращение. Видеть чудо в обыденном — более ценный дар, чем пророчество.

После завтрака Малютка Мол протягивает свою широкую ладонь, и Большая Аммачи отсчитывает три бииди. Ни одна уважающая себя женщина-христианка не курит, но некоторые жуют табак, а старушки бережно хранят свои коробочки с опиумом. Никто не знает, откуда у Малютки Мол взялась привычка к бииди, а сама она не сознается. Но она так радуется, что невозможно отказать в ежедневной порции в три бииди. Ее мать не представляет себе мира, где дочь не сидит на своей скамеечке и с улыбкой на увядшем морщинистом лице не напевает своим тряпичным куколкам. Муттам — это ее сцена. А когда пропаренный рис оставляют сушиться во дворе, никакое пугало не может сравниться с бдительностью Малютки Мол.

— Где мой милый малыш? — спрашивает Малютка Мол.

Мать напоминает, что он ушел в школу.

— Какой он милый! — хихикает Малютка Мол.

— Верно. Но не такой милый, как ты.

Дочка громко смеется, хриплым восторженным смехом.

— Я знаю, — скромно соглашается она.

Но потом, ни с того ни с сего, тень набегает на лицо Малютки Мол.

— С нашим малышом что-то случилось! — говорит она.

Когда Филипос идет в школу, небо низкое и тяжелое, точно мокрые простыни на провисшей бельевой веревке. Высокие замшелые насыпи по обе стороны тропинки образуют темный туннель. Вспышка молнии очерчивает извилистый, похожий на веревку предмет, лежащий впереди на земле. Филипос замирает, пока не убеждается, что предмет неживой. Просто ветка.

Его тринадцатилетняя память все еще хранит воспоминания о том дне, когда ему было семь лет и он бежал с Цезарем через каучуковую плантацию. (Цезарь и Джимми — единственные имена, которые дают собакам в Траванкоре, независимо от пола животных.) Маленькая дворняжка вертелась, приседала на задние лапы, ухмылялась, подзадоривая Филипоса пуститься наперегонки, и так неистово виляла хвостом, что рисковала оторвать и потерять свою заднюю часть, вновь срывалась с места, обезумев от радости. Внезапно песик взмыл в воздух, как будто наступил на пружину, и Эдема не стало. Филипос краем глаза заметил капюшон и услышал шорох в зарослях. Это была *эттади муркхан*, «змея восьми шагов». Восемь шагов — все, что вам остается, если она укусила, и то ежели не мешкать. Цезарю осталось всего четыре. «У собак есть имена», — с горечью шепчет Филипос, чувствуя боль от смерти Цезаря так, словно это случилось только вчера, а заодно продолжая утренний диалог с кошкой, которая забрела в кухню, провожая взглядом рыбу, которую мама укладывала ему с собой на обед. «Собака живет *ради* тебя. А кошка просто живет рядом с тобой».

Воротник влажный, рубашка прилипла к телу, пока он бредет вдоль взбухшего ручья. Филипос ощущает чье-то присутствие позади, волна мурашек бежит по рукам.

Не дай Сатане овладеть твоей волей, ибо он приведет тебя к гибели.

Он кричит вслух слова, которым научила мама: «Господь мой заступник!»

Оборачивается и видит на реке зловещую громаду, заслоняющую небо. Неповоротливая рисовая баржа замедляет свой ход и останавливается. Швартуется. По словам Джоппана, у развратных лодочников, которыми он командует, есть тайные места для швартовки, где женщины продают свои услуги и домашнее вино, освобождая от заработанных денег и подворовывая часть груза. Филипос завидует Джоппану, который вместо школьной каторги наслаждается закатами на озере Вембанад и смотрит кино в Кочине и Килоне. Джоппан мечтает оснастить баржи моторами и совершить революцию в перевозке грузов; он говорит, что никто об этом не задумывается, потому что каналы мелкие, а баржи ветхие, но у Джоппана есть подробная нарисованная схема, как можно подвесить мотор.

Водный поток расширяется и двумя протоками огибает маленький остров, вода подступает к ступеням построенных на нем двух новых церквей. То, что было некогда одной общиной пятидесятников, раскололось надвое, когда внутри нее внезапно, подобно пламени на соломенной крыше, вспыхнули раздоры. После потасовки отколовшаяся группа построила свою церковь рядом, но на своем отдельном участке земли. Здания стоят так близко друг к другу, что воскресная проповедь в одном пытается заглушить другую.

Теперь Филипос слышит рев большой реки, в которую впадают эти каналы, и шум гораздо громче, чем обычно — земля гудит под ногами. Он припоминает рассказы Самуэля, как внезапные наводнения смывают берега рек. Теперь понятно, почему баржа решила пришвартоваться. Жирные капли дождя оставляют в красной почве мелкие воронки и выбивают татуировку на его зонтике, а ветер пытается вырвать зонт из рук. Филипос прячется под пальмами. В школу точно опоздает. У него есть два варианта: остаться сухим и быть выпоротым за опоздание — или прийти вовремя, но промокшим до костей. В любом случае он получит несколько ударов по пальцам от Сааджи саара, учителя математики и футбольного тренера в «Мужской школе Сент-Джордж». Атлетизм саара проявляется в силе и точности, с которыми он швыряется мелом или раздает подзатыльники. Как может засвидетельствовать Филипос, испытавший на себе всю тяжесть учительской руки, предвидеть опасность не способен никто. «Я не был невнимателен, — жалуется он Большой Аммачи, — саар просто невнятно мямлит! Когда он поворачивается лицом к доске, никто не

может понять, что он говорит!» Большая Аммачи сходила к саару и настояла, чтобы Филипоса посадили впереди, потому что сзади он ничего не слышит. Его оценки взлетели до небес, он превзошел даже Курупа, который обычно лучше всех, но зато теперь стал легкой мишенью для шариков из жеваной бумаги с тыла и лобовых атак саара. Филипос становится школьной знаменитостью, но не по лучшей из причин.

Но есть и третий вариант. «Наполни утробу, потом решай!» Он разворачивает пакет с ланчем. «Я был введен в искушение», — вслух произносит Филипос, обращаясь к матери. Он медитирует на восхитительную поджаристую корочку и ароматы перца, имбиря, чеснока и красного чили. Язык нащупывает тонкие косточки рыбы каримеен, как бы сама природа подсказывает: *Не торопись и наслаждайся вкусом.*

Жуткий, но человеческий звук врзается в его уши. Кусок рыбы на языке превращается в глину. Волосы встают дыбом. Это мужской голос, вопль по умершему.

Фигура в набедренной повязке, колотящая себя в грудь, взывающая к небесам. Филипос узнает торчащие передние резцы, приподнимающие верхнюю губу, как шест палатки. Лодочник с причала, тот самый, что до сих пор дразнит Филипоса, называя его «Великим пловцом». Он нерешительно идет в сторону мужчины. Челнок лодочника, долбленка с мачтой, вытасен на берег. На этом суденышке он зарабатывает себе на жизнь, перевозя лишь одиночных пассажиров вроде торговли рыбой с ее корзиной. Но когда река вот так поднимается, лодочнику нелегко найти пропитание. Погодите-ка, а что за куча тряпья у его ног? Младенец! Филипос видит крохотное, опухшее, неподвижное личико и глаза в точности как у умирающего Цезаря. Неужто ребенка укусила эттади?

Вопящий лодочник колотится головой о ствол пальмы, пока Филипос не оттаскивает его. Тот оборачивается, черное лицо застыло в ужасе, обезумевшие глаза налиты кровью, как у мангуста, он тарачится на нависающую над ним фигуру — мальчишку вдвое моложе его самого.

— Змея? — мягко спрашивает Филипос.

Лодочник трясет головой и опять начинает завывать.

— Мууни... сделай что-нибудь, прошу! Ты же образованный... спаси его!

Филипос садится на корточки, чтобы рассмотреть получше, только бы мужчина перестал вопить. Образованный? Какая здесь польза от всего, чему он научился в школе? Он осторожно касается груди ребенка. И потрясен, когда та мощно вздымается в ответ. Но, несмотря на это, воздух, кажется, все равно не выходит из рта. Шея ребенка странно вздута. Что-то белое, как свернувшийся сок каучукового дерева, торчит из пенной слюны.

— Прекрати! Пожалуйста! — приказывает он рыдающему лодочнику.

Преодолевая отвращение, Филипос ощупывает указательным пальцем полость рта младенца. Белая резиновая пленка, кровящая по краям. Он тянет, и сначала пленка легко подается; чтобы удалить последний кусок, приходится дернуть и оторвать. Крошечная грудь поднимается, и раздается клекот входящего воздуха — звук жизни! Это же просто здравый смысл, а не образованность. Просто удалить то, что закупорило рот. Но после нескольких звуков дитя издает сдавленный звук, грудь опадает, рот открывается и закрывается, как у рыбы, а воздух не входит. Зрелище мучительное, тягостное — Филипосу самому становится трудно дышать. На этот раз он пробирается пальцем глубже и вытаскивает большой комок окровавленной резиновой пленки. Воздух входит с гудком, похожим на крик гусака, дребезжа, как будто по пути в трахее рассыпаны камешки.

— Саар! Я знал! Я знал, что ты можешь спасти моего ребенка!

Что, больше не «Великий пловец»? Теперь я саар?

— Послушай, — говорит он лодочнику, — мы должны отвезти ребенка в больницу.

— Но как, по такой реке? — вновь принимается ныть лодочник. — И у меня нет денег, и...

— Замолчи! — кричит Филипос, прерывая нытье. — Я не могу думать, когда ты воешь.

Но беднягу не унять. Этот сводящий с ума звук и отчаянная борьба младенца за каждый глоток воздуха доводят Филипоса до исступления. В следующий момент, забыв о своей вражде с рекой, Филипос хватает ребенка на руки, а потом толкает лодочника с такой силой, что тот опрокидывается в свой челнок. Не дожидаясь, пока мужчина

поднимется, Филипос сует ребенка на колени отцу и сталкивает лодку в реку. И в последний момент запрыгивает сам.

— Давай! — кричит Филипос. — Весло!

— Господи! Что ты натворил? — верещит лодочник.

Филипос отбирает у него ребенка, и мужчина машинально шарит по дну каноэ в поисках весла, пока могучий поток раскачивает челнок и грозит опрокинуть его. Лодочник рефлекторно делает единственное, что может удержать их на плаву, — направляет нос по течению. Они оказываются в цепких объятиях реки и мчатся по стремнине на головокружительной скорости. Покосившись в сторону, Филипос видит, как вода бешено бурлит под обрывом, отрывая от берега новый кусок.

— Мы обречены! — воет лодочник.

— Греби! Греби! — орет Филипос.

Водяные залпы обрушиваются с неба. Оглушительный рев реки будто выдавливает стоны из человека. Каноэ взмывает вверх и падает, и Филипос чувствует, как его желудок подлетает к горлу, и ему приходится крепко прижимать младенца, чтобы тот не вылетел за борт. Неужели возможно двигаться на такой скорости? Могучая стена воды поднимается сбоку, с гребня ее в лодку обрушивается струя. И то, что было ревом, превращается в еще более оглушительное шипение, как будто вода смеется над их глупостью. Впервые в жизни Филипос испытывает настоящий ужас.

— Шива, Шива! — визжит лодочник. — Мы погибаем!

Аммачи, я нарушил клятву.

Да, он не вошел в воду в одиночку, но никуда не годный лодочник не считается.

Но я не в воде, а только на ней.

Беспольный лодочник и не думает грести, позволяя лодке вертеться и поворачивать и быть унесенной, куда пожелает сама река. Вид этого человека приводит Филипоса в бешенство. Он слишком горд, чтобы признаться в своем страхе или признать свою ошибку. Подавшись вперед, он изо всех сил дает лодочнику пощечину.

— Да будь же мужчиной, идиот! Правь лодкой! Или ты годишься только на то, чтобы смеяться надо мной? Ты что, не хочешь спасти своего ребенка? Гребь!

Лодочник вонзает весло в воду, густую и бурную, как кипящий рис. Филипос одной рукой отчаянно вычерпывает воду. Опускает взгляд и видит, что младенец опять перестал дышать. Вслепую он сует два пальца в маленькое горло, чувствуя, как молочные зубы царапают костяшки пальцев. Он подцепляет ногтями резиновые пленки, пока не чувствует, как сквозь пальцы начинает струиться воздух. Грудь малыша опять задвигалась вверх и вниз.

Это может закончиться в любую секунду, но каким-то чудом секунды бегут, а они несутся дальше. Быстрее скорого поезда пролетают мимо стоящих на берегу деревьев. Филипос вычерпывает воду ради спасения своей жизни. Как долго это может продолжаться? Сколько еще они продержатся на реке, прежде чем перевернутся?

Кошмару, кажется, нет конца, а потом вдруг, на крутом речном повороте, челнок вылетает из стремнины и кормой устремляется в бурный полноводный канал. С деревянным треском они врезаются в невидимое препятствие — подтопленный лодочный причал — у каменных ступеней. Филипос выпрыгивает, подняв повыше задыхающегося младенца. Ошеломленный лодочник в последнюю минуту выскакивает на берег, от его прыжка челнок стремительно, как дротик, отлетает от причала, и его немедленно утягивает бурлящий водоворот. Глядя на это, Филипос начинает дрожать всем телом. Не от холода, а от злости на собственную глупость. Он ведь мог погибнуть! Вспоминает плавающий гроб Квикега: тот спас жизнь. Но не Квикегу.

Крепко прижимая к себе младенца, Филипос на подгибающихся ногах карабкается вверх по ступеням, скользкая лестница вырезана прямо в скале, лодочник, пыхтя, ковыляет позади. Ступени заканчиваются у деревянных ворот.

Часть четвертая



глава 30

Динозавры и горные селения

1936, поместье «Аль-Зух», Траванкор — Кочин

Образы ада, память о Селесте, вертящейся в пылающем шелковом сари, будто ребенок, играющий с платьем, о дыме, обжигающем горло в крике, о грохоте выбитых дверей и вытаскивающих его руках сливаются с мучениями на больничной койке. Дигби перевязан и обезболен, но огонь продолжает бушевать и сквозь пелену морфия, пожар длится еще пять дней. Он видит лицо Селесты, скрытое оплывающей тканью, искаженное страхом, когда он рвется к ней. Ноздри наполнены вонью мясной лавки, запахом опаленной туши животного. С кашлем Дигби выплевывает частички сажи; хриплый голос, выкрикивающий ее имя, больше ему не принадлежит. Тело и разум расстались. Но жуткая боль все равно меньше того, что он заслужил. Он понятия не имеет о степени своих ожогов. Чудовищная, угрожающая жизни травма нанесена его разуму, рассыпавшемуся, как осколки фарфора; нет больше Дигби из Глазго, Дигби — преданного сына, Дигби — целеустремленного студента, Дигби — хирурга с золотыми руками.

Каждое лицо, возникающее над его кроватью, — Онорин, Рави, Мутху и стажера, чью заячью губу он восстановил в предыдущей жизни, — пронзает его стыдом. Ему стыдно, что он разочаровал их всех. Стыдно, потому что теперь он Дигби — прелюбодей, Дигби — убийца. Стыд преследует его при пробуждении. Ему хочется заползти в пещеру, куда не проникает солнечный свет, где он мог бы укрыться от взглядов других людей, особенно своих великодушных друзей. Если бы можно было отказаться от человеческого облика и стать дождевым червем, каковым только он и заслуживает быть. А друзья в отчаянии из-за его психического состояния.

На шестой день после пожара Дигби встал еще затемно. Морщась от боли, снял повязки. При свете ночника обследовал свои раны. Больше всего пугала тыльная сторона правой кисти: от запястья до

суставов пальцев обнажена вся анатомия, видны блестящие ленты сухожилий, обрамленные почерневшей плотью. Если бы не темный струп на поверхности, выглядело бы в точности как иллюстрация в «Анатомии Грэя». Боли не чувствуется, и, значит, это ожог третьей степени — самый глубокий, затронувший кожные нервы. В пожаре он, должно быть, рефлекторно сжал руку в кулак, обнажая тыльную сторону и защищая ладонь и пальцы. На левой обожжены и ладонная, и дорсальная поверхности, кожа цвета пожарной машины, сочащаяся и покрытая волдырями, а пальцы раздуты как сосиски, вдвое больше обычного. Это, вероятно, ожоги первой-второй степени, нервы не затронуты, и поэтому боль мучительная. Здесь кожа со временем регенерирует, пускай даже останутся шрамы. О правой руке такого сказать нельзя.

Он обнажен. Спину жжет. Там тоже, должно быть, ожоги. Дигби, прихрамывая, подошел к зеркалу, стараясь не заорать от боли, комната вращалась вокруг него. Кто это опаленное существо без ресниц, бровей, без волос, с распухшими, как у побитого боксера, похожими на цветную капусту ушами? На него смотрит получеловек, полустегозавр с лысыми глазами. И говорит: *Ты уж наполовину поджарился, может, и прикончишь себя-то вконец-то. Нету тебе никакого оправдания, ее кровь на твоих руках. И никакой к тебе жалости, дурак ты и посмешище. У людей сердца будут кровью обливаться за несчастного овдовевшего Клода, а не за тебя. Убирайся! Беги!*

Небо светлеет. В углу на матрасе кто-то лежит.

— Мутху, — шепчет Дигби, и Мутху мгновенно подскакивает. — Мутху, пожалуйста, умоляю тебя. Я не могу здесь оставаться.

Босиком, завернувшись в простыню вместо повязок, он выскользнул из больницы вместе с Мутху. Поездка на рикше вызывала дикую боль. В приюте для путешественников возле Центрального вокзала парень за стойкой изумленно тарашился на гостя, похожего на привидение, да вдобавок, кажется, белого. Мутху поспешил по поручениям Дигби.

К вечеру Дигби, в свежих повязках, свободной рубаше и мунду, уже вытягивается на полке в багажном вагоне «Шоранур-экспресса». В этом рейсе Оуэн Татлберри не машинист паровоза, а сопровождающий, скрывающий свое беспокойство. Заплаканный Мутху остался в одиночестве на платформе. Оуэн говорит:

— Если жена узнает, что я ей соврал, ох и закати́т она мне *джайп*^[142] прямо по физиономии. Она наверняка думает, что у меня завелась подружка на стороне.

Оуэн разочарован: Клод Арно, убивший Джеба, избежит наказания, потому что драгоценный главный свидетель путался с женой этого мясника.

На рассвете поезд встретили Франц и Лена Майлин и Кромвель, их водитель, приехавшие на автомобиле из «Аль-Зух». Они уложили одурманенного бесчувственного беглеца на заднее сиденье, поставили рядом на пол его чемодан с бинтами, мазями и опиумом. Он стонет, но не произносит ни одного внятного слова за всю трехчасовую поездку по горному серпантину. В «Аль-Зух» есть отдельный гостевой коттедж. Дигби уложили в постель, и он проспал весь день.

Ближе к вечеру Лена с Францем стучатся в дверь. Дигби открывает, голова и тело его укутаны простыней, а крошечные зрачки уставились на человека в шортах-хаки, рубаше и шлепанцах, стоящего позади супругов.

— Это Кромвель, — говорит Лена. — Он будет помогать вам со всем, что вам...

— Я справлюсь! — резко бросает Дигби. Осознав свою грубость, он печально опускает голову. — Простите.

Он обязан все объяснить им. Стыд, откровенно сознается Дигби, гораздо большее, чем ожоги. Ему пришлось бежать из Мадраса. Их гостеприимство — это подарок судьбы. Он умоляет никому не рассказывать, что он здесь.

— Когда-нибудь я смогу отблагодарить вас. Мне нужны инструменты. Пинцеты — лучшие, что удастся найти. И хорошие ножницы. Спирт для дезинфекции. Виски для поднятия духа. Побольше вот таких бинтов. Вазелин. И бритвенные лезвия.

Высоко в горах, в отсутствие вокруг лиц, в которых отражается его стыд, Дигби в состоянии подумать. На правой руке уже сформировалась плотная черная корка. Если этот струп не удалить, он станет твердым, как камень, со временем отвалится, и тело заполнит дыру грануляционной тканью, превратив это место в толстый кожистый рубец, который навсегда закрепостит связки. Получив пинцет, Дигби немедленно начинает ковырять струп, используя при необходимости

бритвенное лезвие — пока сухожилия и мышцы не станут чистыми. Омертвевшие нервы делают процесс безболезненным только до определенной степени, ткани по краям кровоточат, и боль довольно сильная.

Он двигает мебель, потому что должен делать хоть что-нибудь, если надеется восстановить функции правой руки. Пропускает очередную дозу опиума, чтобы оставаться в ясном сознании — левая рука должна повиноваться его приказам. Втиснув переднюю часть правого бедра между комодом и краем стола, Дигби оттягивает кожу — «донорский участок». Протерев спиртом, вырезает тонкий, как паутинка, кусок размером с кнопку. Кричит, когда бритвенное лезвие разрезает плоть. Боль острая, невыносимая. Он выпивает глоток виски. Пинцет подрагивает в пальцах, когда Дигби подцепляет пластину кожи, а затем укладывает ее на обнаженную поверхность тыльной стороны правой кисти, расправляя. В течение следующего часа хозяева слышат периодические вскрики, как будто медленно вращающееся пыточное колесо режет гостя при каждом обороте. Они окликают Дигби через закрытую дверь, тот отказывается от помощи. Еду для него оставляют снаружи за дверью, Кромвель караулит. Дигби надеется, что эти «отщипнутые» кожные трансплантаты, подобно скоплению мелких островков, укоренятся, разрастутся и заполнят собой пространство. Да уж, это совсем не банальная операция. Хирург не должен быть сам себе пациентом, и не следует заменять эфир стаканом виски.

На следующий день Дигби, пошатываясь, выходит из коттеджа. Кромвель тенью материализуется у него за спиной.

— Я должен гулять, — сообщает Дигби.

Каждый день он увеличивает расстояние своих прогулок, придерживаясь ровных тропинок через тенистые леса каучуковых деревьев; природа успокаивает Дигби. Он сторонится Франца и Лены, стесняясь разговаривать с ними после того первого откровенного признания. Кромвеля он терпит. С этим парнем у него нет общей истории, перед ним не в чем оправдываться. Кромвель деликатно руководит этими прогулками-дважды-в-день, всякий раз провожая Дигби в разные части поместья.

Через три недели после приезда Дигби Кромвель сообщает Лене:

— Доктор очень печально. Не двигаться.

Лена обнаруживает Дигби сидящим без рубахи на ступенях гостевого коттеджа. Выражение абсолютного отчаяния на его лице повергает ее в ужас. Он молча показывает правую руку: темная пятнистая лавовая яма. Лена не знает, что с этим делать, хотя сам хозяин руки, кажется, готов ее отрезать.

— Лена, — говорит он, — я ничего не добился. Связки по-прежнему не работают.

Не в силах справиться с собой, она тянется к нему утешить. Лена выбирает плечо, где кожа выглядит нормальной. Дигби вздрагивает, но не отодвигается.

— Ох, Лена, что стало с моей жизнью?

Она сидит рядом, тесно прижавшись, самым своим присутствием убеждая, что он не один. И наконец говорит:

— Дигби, взгляните на меня. Вы сказали, никаких гостей. Сказали, что немедленно уедете, если кто-нибудь решит вас навестить. Прошу, я должна рассказать вам о друге, который по выходным приезжает из долины. Он хирург. Специалист по рукам.

глава 31

Большая рана

1936, «Сент-Бриджет»

В последние дни лета «Сент-Бриджет» изнемогает от жары, вода в колодце остановилась в нескольких дюймах над илистым дном. Руни едет по серпантину в горы, в поместье Чанди, оставляя позади шлейф пыли. За четырнадцать лет жизни в «Сент-Бриджет» он стал частью их семьи. Когда они на лето перебирались из Тетанатт-хаус в просторное бунгало в поместье, Руни частенько навещал друзей по выходным. С промежутком в три года Чанди с Лииламмой родили сына, а следом дочь. Сын уродился буйным и капризным и в свои двенадцать, по мнению Руни, таким и остается. А девочка, Элси, — полная противоположность, она сразу признала бородатого Руни своим «дядюшкой». Жизнь детей круто переменилась всего пять месяцев назад, когда Лииламма заболела брюшным тифом. Лихорадка, казалось, пошла на спад, но затем женщина внезапно свалилась со страшными болями в животе. Чанди срочно повез ее в Кочин, где хирурги обнаружили, что тифозная язва в кишечнике прорвалась; Лииламма умерла на операционном столе. Словно коса прошла сквозь дом: месяцем раньше она скосила у детей их любимую бабушку, а теперь, на обратном взмахе, срезала и маму. Руни пообещал навещать их по выходным все лето и приглядывать за семьей. Бедняжки едва справляются.

Предыдущие годы были сравнительно благоприятны для Руни. Он своими руками выстроил небольшое бунгало у наружной стены, на краю участка, с отдельным входом, достаточно отделенным от лепрозория, чтобы внешние друзья могли без опаски навещать его. У «Сент-Бриджет» теперь имелся официальный автомобиль, подаренный шведской миссией, в дополнение к древнему «хамберу», на котором ездит Руни. Благодаря птичнику, небольшой молочной ферме, огороду и саду — все хозяйство ведут сами обитатели — они обеспечивают себя, и даже с избытком, и могли бы продавать или

раздавать излишки. Но даже голодный нищий не позволит своим устам коснуться того, что исходит от лепрозория. Исключение составляет сливовое вино «Сент-Бриджет», спасибо Чанди. Как-то раз, в первый день Великого поста, Чанди, оставшийся в поместье в одиночестве, вдруг вновь ощутил дрожь в конечностях, грозившую перейти в судороги. Лииламма во избежание искушения убрала из дома все спиртное. Но упустила из виду несколько пыльных бутылок со сливовым вином из «Сент-Бриджет», один-единственный стакан исцелил недуг супруга. И тогда Чанди решил, что, учитывая святое происхождение вина, его позволительно употреблять в течение поста. Теперь он закупал его ящиками. Вино пришлось по вкусу обитателям поместья, особенно дамам, потому что было легким, сладким и (побожился Чанди) «целебным». В этот раз Руни везет с собой четыре ящика.

Когда Руни прибывает в Тетанатг-бунгало, дети спят, но Чанди ждет друга. Он сообщает о просьбе Лены Майлин — они с Францем хотели бы встретиться с Руни завтра вечером, и это очень срочно. Плантаторы всей округи и их семейства — друзья Чанди, теперь и друзья Руни тоже.

Перед сном Руни выкуривает на веранде последнюю трубку, прислушиваясь к ночным звукам. Туманная завеса над головой расступается, открывая взгляду звезды, небо так близко, что, кажется, протяни руку — и сможешь коснуться одежд Господа. Он тих и умиротворен. Боли в груди, беспокоящие его, — это, несомненно, стенокардия, но Руни невозмутимо принимает реальность. Он живет своей верой, сплавом христианства и индуистской философии. Медицина — вот его подлинное священство, служение исцелению тела и души его паствы. И он будет продолжать, пока в силах.

После утра, проведенного с детьми, и послеобеденного бриджа Руни отправился в «Аль-Зух» уже на закате. Свернув на дорогу, ведущую к дому Майлинов, он узрел привидение: белый мужчина в клетчатой *лунги*^[143] быстро шагал по тропинке, руки его были забинтованы. Руни опешил: это все равно что встретить леопарда, случайно забредшего на территорию человека.

В гостиной Майлинов Лена пересказывает историю, которая начинается с того, как один хирург в Мадрасе спас ее жизнь, сделав

экстренную операцию, и заканчивается рассказом о том, как они с Францем приютили этого хирурга в своем гостевом коттедже. И поклялись держать в тайне его пребывание тут — вплоть до сегодняшнего дня. Франц хранит молчание.

Руни направляется к гостевому коттеджу с бутылкой сливового вина в руке. Обитатель коттеджа — то самое привидение — сидит на террасе, голова и плечи его прикрыты кашемировой шалью, а руки обнажены. При виде совсем еще юного хирурга, которому, наверное, нет и тридцати, сердце Руни тает. Он словно встретил товарища по оружию, однополчанина, павшего на поле боя. И что бы он ни намеревался сказать, это больше не имеет значения. Не произнеся ни слова, Руни находит стаканы, наливает и садится рядом с молчаливым незнакомцем. Веранда нависает над крутым склоном. При взгляде в долину голова начинает кружиться, такое ощущение, что стоишь на краю пропасти. Внизу аккуратными параллельными рядами тянутся чайные кусты, как будто по склонам холмов прошлись гигантским гребнем.

Через некоторое время Руни придвигает лампу, поворачивается лицом к незнакомцу и надевает очки. Осторожно приподнимает кисть руки молодого человека. Зрелище разрушенного инструмента, которым хирург зарабатывает себе на жизнь, наполняет глубокой печалью сердце Руни. Кроме всего прочего, это и его собственный кошмар, хотя в его снах виновником всегда является проказа. Он берет себя в руки. Делает глубокий вдох. Совместное путешествие, в которое они отправятся вдвоем, должно начинаться с любви, решает Руни. Любить больного — разве это не всегда первый шаг?

Он выразительно и долго сжимает предплечье Дигби, глядя ему в глаза. Молодой человек напуган. Он как дикое животное, думает Руни, инстинкт заставляет его оскалиться, свернуться в клубок, отстраниться, отвернуться... но Руни удерживает его взгляд и его предплечье. И надеется, что этот парень увидит в глазах Руни не жалость, а признание; они воины, сражающиеся плечом к плечу против общего врага. Секунды бегут. Юноша яростно моргает, а затем отводит взгляд. Обычно разговорчивый Руни сумел — своим молчанием, прикосновением, своим присутствием — передать мысль: *Прежде чем*

мы начнем лечить плоть, мы должны признать наличие более глубокой раны, той, что повредила дух.

Руни пытается разобраться с тем, что видит. Тыльная сторона правой кисти представляет собой мозаику с островками тонюсенькой морщинистой кожи, усеивающей грубый шрам, который сжал ткани, выгнул запястье. Руни с усилием тянет, но это мало что дает. Пальцы превратились в скрюченные неподвижные корешки, потому что связки застыли. Руни бережно приподнимает лунги Дигби, обнажая правое бедро со струпьями размером с монету — хорошее решение. Доказательство, как доведенный до отчаяния хирург пытался вылечить сам себя. Что, кроме стыда, подвигло бы его на такой трюк?

Левая рука выглядит получше, ущерб ограничивается ладонью, которую полосой рассекает толстый шрам, края у него как по линейке — очевидно, Дигби схватился за какой-то раскаленный предмет. Контрактура от шрама стягивает ладонь, собирая пальцы в подобие клюва. На ушах и щеках кожа у Дигби шелушится и потеряла цвет из-за поверхностных ожогов. А шрам в углу рта, должно быть, какая-то старая история, не имеющая отношения к нынешней.

Руни вручает Дигби стакан с вином, а затем задумчиво набивает и раскуривает трубку.

— Я когда-нибудь смогу вновь оперировать? — Голос как треск сухих веток под ногами.

Что ж, констатирует Руни, *мы можем поговорить.* Прищурившись, он обдумывает ответ, попыхивая трубкой.

— Левую я поправлю сразу. У меня есть метод, позволяющий убрать контрактуру вашей ладони. Рука будет работать. А вот правая... Знаете, это была отличная попытка, трансплантация графтов^[144].

— И...

— И, друг мой... — Руни наполняет свой стакан, жестом предлагая Дигби присоединиться. Тот делает глоток. — Дигби — могу я вас так называть? Вы слышали про нос Ковасджи?

Дигби уставился на Руни как на умалишенного. А затем кивнул:

— Да.

Руни доволен. Ковасджи был возникшей у британцев. Воины Типу-султана захватили его в плен в битве с англичанами в восемнадцатом веке. Они отрезали Ковасджи руку и нос и отпустили. Без руки жить можно, но нет ничего более уродливого и постыдного, чем дыра на

лице. Британские хирурги ничего не могли поделать с его внешностью, и тогда Ковасджи исчез, чтобы спустя несколько месяцев вернуться, демонстрируя свой новый нос. Ему сделали операцию каменщики в Пуне, которые использовали технику седьмого века, переданную самим Сушрутой, «отцом хирургии»^[145]. Каменщики смастерили восковой нос — полую пирамидку, — подходящий по размерам к дыре на лице Ковасджи. Потом убрали модель, расплющили ее и поместили вверх тормашками по центру лба Ковасджи, как лекало. Скальпелем вырезали по контуру кожу, оставив нетронутой нижнюю часть, между бровями. Убрав шаблон, они подрезали и подняли кожу одним лоскутом, держащимся между бровей. Откинув лоскут кожи вниз, они пришили его края к дыре, оставшейся от носа, вставив маленькие палочки, чтобы ноздри оставались открытыми. Зажило все отлично, потому что кровоснабжение кожи сохранилось в месте ее прикрепления в межбровье. Нос, правда, немножко провисал из-за отсутствия хрящей, но воздух проходил свободно, и, главное, лицо было восстановлено. Британский хирург описал эту методику в медицинском журнале.

— Именно это вы планируете для меня? Лоскут кожи? — спрашивает Дигби.

Руни отвечает вопросом на вопрос:

— Почему нам на Западе понадобились столетия, чтобы изучить технику, которая у нас прямо под носом? Чего еще мы не знаем, а, Дигби? Чего еще?

— Доктор Орквист. Прошу вас. Что вы предлагаете?

— Зовите меня Руни, пожалуйста. *Homo proponit, sed Deus disponit*^[146], — показывает пальцем вверх Руни. — Я предлагаю вам отправиться в «Сент-Бриджет». Мы поедем завтра утром. Но при одном условии.

— Каком? — Дигби встревожен.

— Скажите, что вам нравится сливовое вино.

глава 32

Раненый воин

1936, «Сент-Бриджет»

Дигби высадился на чужой планете. После недель жизни высоко в горах в поместье «Аль-Зух» жара и влажность долины лишь усугубили его смятение. Он гость в уютном бунгало Руни. В первый же день Руни ведет его в клинику через ухоженные сады, болтая на малаялам со встреченными по дороге пациентами. Дигби плотно складывает ладони, отвечая на их приветствия. Его опыт работы с проказой ограничивается наблюдениями за уличными попрошайками в Мадрасе. У него слишком много других забот, чтобы беспокоиться еще и о заражении проказой; вдобавок и Руни, похоже, равнодушен к этому вопросу.


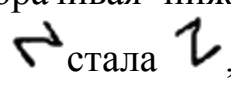
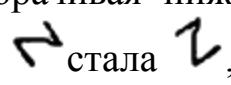
В помещении, похожем на ортопедическую процедурную, огромный швед яростно массирует и растягивает руки Дигби, оценивая степень контрактуры. Обитатели «Сент-Бриджет» толпятся около открытых окон, как зеваки на карнавальном шоу уродов, заинтригованные этим зрелищем. Когда Дигби кричит от боли, публика раздражается взволнованным ропотом.

— Что ж, вы убедили их, что проказы у вас нет, — улыбается Руни. — Они кричат по многим причинам, но никогда от боли. — Руни готовит шприц. — Правой руке необходимо вернуть больше подвижности в запястье, прежде чем я подумаю об операции. Но вот левая? Давайте починим ее прямо сегодня, идет?

Он как большой ребенок, думает Дигби и внезапно раскатисто смеется над собственным каламбуром. Руни рисует для Дигби на листке бумаги, что именно он намерен сделать.

— Я думал, будто это я изобрел. Но какой-то француз запатентовал раньше меня. Он назвал это *méthode de pivotement*^[147]. А я — знак Зорро. Методика позволяет превратить горизонтальный шрам в вертикальный, и тем самым создается свободное пространство. Ясно?

Не дожидаясь ответа, Руни вводит местное обезболивающее в двух точках на запястье Дигби и прямо в толстый горизонтальный шрам. Он

протирает ладонь антисептиком, а затем рисует на ней хирургической ручкой, используя транспортир и линейку. К тому моменту, когда Руни ведет Дигби по коридору в маленькую операционную, ладонь уже полностью утратила чувствительность. Руни надевает перчатки, маску и делает длинный горизонтальный разрез вдоль отметки, прямо посередине шрама. От концов этого длинного разреза он делает два надреза поменьше, под углом в шестьдесят градусов, и получается . Дигби наблюдает, как будто это не его тело. Руни с помощью щипцов и скальпеля приподнимает треугольные лоскуты с обоих углов, подрезая кожу. А потом перемещает их, разворачивая нижний клин вверх, а верхний вниз и пришивая их на место.  стала , образовав в шраме провисший участок. Дигби видит, как его пальцы уже выпрямляются.

— Вуаля! — удовлетворенно констатирует Руни, стягивая перчатки. — Знак Зорро!

Каждое утро и каждый вечер Руни работает над расслаблением правого запястья пациента, устраивая мучительные сеансы массажа, после которых Дигби обливается потом. Шведу, кажется, нравится, что можно поболтать с гостем, даже если беседы больше похожи на монологи. Однажды вечером Руни входит в дом с пепельно-серым лицом и, прижимая правую руку к груди, приваливается к дверному косяку. Дигби бросается навстречу, но Руни отмахивается:

— Мне просто нужно отдышаться... У меня бывает... иногда дискомфорт в груди. Когда в жару поднимаюсь от клиники к дому. Это проходит.

И правда прошло.

Через десять дней после прибытия Дигби в «Сент-Бриджет» Руни объявляет:

— Сегодня вечером без ужина, Дигби. Завтра оперируем вашу правую руку. На этот раз мы вас усыпим.

Дигби пришел в восторг, услышав, что именно придумал Руни.

Как только эфир начинает действовать, Руни готовит и дезинфицирует правую руку Дигби и то же самое делает с кожей на левой половине его груди. С помощью скальпеля и хирургических щипчиков он тщательно и аккуратно обрабатывает тыльную сторону кисти, удаляя пересаженные Дигби графты и остатки шрама.

— Совсем неплохо, дружище, — бормочет Руни. — Твои графты немножко помогли. Без них связки уже превратились бы в цемент. Но сейчас их просто заглушают сорняки.

Потребовалось больше часа, чтобы очистить поверхность от запястья до суставов пальцев, открыв кровоточащее поле с голыми, но свободно двигающимися связками. Скрюченное запястье распрямляется, когда Руни прижимает его книзу.

Руни помещает правую руку Дигби ладонью вниз на левой стороне его груди. Потом обводит контур ладони хирургической ручкой, глубоко заводя кончик между растопыренными пальцами.

Отложив руку, накрытую стерильными салфетками, он делает вертикальный разрез с левой стороны грудины, соответствующий запястью на контуре руки. Через этот разрез он прокладывает туннель под кожей, вставляя и раздвигая лезвия закрытых ножниц, пока не образуется карман достаточно широкий, чтобы в него могла войти рука Дигби. Затем, используя чернильный контур руки в качестве ориентира, он делает на груди пять разрезов, соответствующих основанию каждого пальца. Потом сует оголенную руку Дигби в только что созданный им кожаный карман, вытаскивая каждый палец через колотый разрез. Теперь рука Дигби спрятана под кожаным мешочком у него на груди, наружу торчат только здоровые пальцы, как из митенки. *Мой юный Бонапарт*, улыбается Руни. Он накладывает гипсовую повязку от плеча до локтя и вокруг туловища, обеспечивая полную неподвижность.

Назавтра еще слабый Дигби неуверенной походкой бродит по двору, рука его заперта в собственном сумчатом кармане, а локоть, залепленный гипсом, вывернут наружу. Когда он проходит мимо столярной мастерской, все работы останавливаются. Пациенты, заметив его, высыпают наружу, и их кривые улыбки и качающиеся головы говорят: *Мы уже видели этот трюк раньше*. Но Дигби-то не видел. Ни в одном учебнике такого не было. Его приглашают внутрь; тараторя на малайялам, его еле ковыляющая свита показывает гостю токарный станок, дрель, пилу и пока не покрытые лаком стул и стол, изготовленные в их мастерской; они выставляют руки и ноги, демонстрируя работу Руни на их собственной плоти. Дигби потрясен таким великодушным приемом. И ведь это вовсе не из почтения к его профессии, потому что у него больше нет таковой. Может, потому что

он гость Руни? Потому что белый? Нет, потому что он один из них, раненый, искалеченный и обезображенный. И они хотят, чтобы он убедился в их полноценности и полезности, даже если мир в них более не нуждается. Мимикой и жестами левой руки Дигби выражает свое благоговение, свое восхищение. Их покрытые шрамами перекошенные лица, их застывшие уродливые конечности ошеломляют его, он задумывается над собственным положением. И задается вопросом: избежал ли он своей судьбы или нашел ее?

В течение нескольких следующих дней Дигби справляется с задачей, на которую прежде не мог решиться, — он пишет письмо Онорин, вкладывая туда записки для Мутху и Рави. Печатать левой рукой — сущая ерунда по сравнению с поиском слов, выражающих его раскаяние.

Через двадцать дней после первой операции Руни решает, что у кровеносных сосудов в коже было уже достаточно времени, чтобы пустить корни в саду оголенной руки Дигби. Погрузив пациента в эфирный наркоз, Руни надрезает кожу вокруг зафиксированной кисти руки, высвобождая ее, теперь щеголяющую новым, немного отечным кожным покровом. Рану, оставшуюся на груди Дигби, он покрывает тончайшими лоскутами кожи, снятыми с его же бока. В отличие от крошечных графтов, которыми пытался решить проблему сам Дигби, эти длинные тонкие полоски не съезжаются и не пропадут, заполняя прямоугольный дефект на груди.

Дигби просыпается с рвотой после наркоза. Лицо, склоняющееся над ним, теплая рука, поддерживающая голову, и голос — все такое знакомое. Ему кажется, что все это снится. Бок жжет от боли, но он чувствует, что правая рука выбралась из заточения. И вновь проваливается в сон. Когда Дигби полностью приходит в себя, уже темно. На него ласково смотрит Онорин.левой рукой он касается ее лица — убедиться, что она настоящая. А потом в уши текут струйки слез, а он и не знал, что умеет плакать. Дигби закрывает глаза — слишком стыдно смотреть на Онорин.

— Ну будет, будет. Тшш, перестань. Посмотри на меня! Все хорошо, милоч. Все хорошо. — Она прижимает его голову к груди, успокаивая. — А теперь, Дигби, давай-ка пойдём к Руни, с ногами у

тебя все в порядке. А потом опять ляжешь поспать. У нас много времени, чтобы наверстать упущенное.

Утром Дигби мутит, но он чувствует себя отдохнувшим. От вида правой руки, покрытой новым кожным покровом, захватывает дух, и даже острая боль на груди и боку становится вполне терпимой.

— А, мы проснулись, да? — Онорин входит с подносом. — Хорошо себя чувствуем, милоч?

Он начинает лепетать извинения.

— Так, ну-ка уймись! Да, ты заставил нас изрядно поволноваться. Думали, учинишь над собой какую-нибудь глупость. Хорошо, что Мутху не смог мне соврать. Я знала, что ты дашь о себе знать, когда будешь готов. А сейчас давай-ка поешь.

Он жадно поглощает омлет и два куска домашнего хлеба, испеченного Руни, с маслом и джемом. Онорин сидит рядом с кроватью и гладит пробившийся ежик его волос.

— Милый Дигби. Чего же тебе стоило написать то письмо! Растрогал меня до слез, честно. Пришлось ехать к тебе, глянуть своими глазами. Я и не знала про операцию.

— Я такой дурак, Онорин, — нет, пожалуйста, выслушай меня. Мне это поможет. Мы с Селестой стали любовниками только после смерти Джеба. Это правда. До того я с ней встречался всего дважды, просто как знакомые. Но влюбился с первого взгляда. Может, потому что точно знал, что из этого ничего не выйдет. — Он горько усмехается. — И ничего *не вышло бы*, если бы она не пришла предупредить, что Клод намерен обвинить меня в их разводе. И ему наплевать было, что это неправда и что он запятнает ее имя! — Осознав ханжество собственного возмущения, он краснеет. — Ну и вот, в тот раз вранье Клода и стало правдой.

Онорин, ерзавшая все время, пока он говорил, перебивает:

— Дигби, к чему копаться в прошлом? Да, ты совершил ужасную ошибку. С трагическими последствиями. Да, мы все злились на тебя. Были разочарованы. Могу прямо в глаза сказать, да. Но я перестала переживать по этому поводу задолго до твоего письма. Ты ж просто человек! Несовершенный. Как и все мы. И достоин прощения. Как и все мы. Не знаю, сможешь ли ты сам простить себя когда-нибудь, но должен постараться. Хочу, чтобы ты услышал это от меня.

Дигби тревожит судьба детей Селесты, но Онорин о них почти ничего не известно. Знает, что они не успели приехать на похороны. Дигби спрашивает себя, а что он надеялся услышать. Что они поклялись отомстить за смерть матери? Знали ли они, как несчастна в браке была их мать? Будут ли они судить ее исключительно в свете ее романа с ним? Призрак Селесты всегда с ним, но сейчас явно как никогда.

Онорин удивилась, что он ничего не слышал о расследовании в связи со смертью Джеба. Но ведь Дигби прятался от мира.

— Я думала, с учетом обстоятельств, дело превратится в фикцию, — рассказывает Онорин. — Клод выглядел ужасно, больше от пьянства, чем от горя, — ну да, это немилосердно с нашей стороны. Он врал, Дигс. Это было некрасиво. Обвинял тебя. Заявил, что она изменяла ему с тобой с того самого времени, как ты приехал. А дело Джеба состоит в том, что ты пытался подорвать его профессиональную репутацию, несмотря на то что он потратил уйму времени, чтобы научить тебя хирургии! Вот так.

Дигби горько смеется.

— Сказал, что смерть Джеба была прискорбным, но хорошо известным осложнением абсцесса, который приводит к ослаблению стенок артерии. Независимый патологоанатом быстро поставил его на место, заявив, что никакого абсцесса не было, а был некроз над аневризмой. И что убило Джеба вскрытие Клодом аневризмы. Аневризма, может, и лопнула бы без лечения, но точно не в тот день. — Голос ее крепнет. — Потом настала моя очередь. Я сказала, что ты позвал нас в операционную, потому что мы с Джебом приятели и еще потому, что ты не считал, что у него абсцесс, и что Арнольд не прислушивался к твоему мнению. Я описала все, что видела. И что ты вовсе не у Клода учился, который почти не оперировал, а учился ты у Равичандрана в Центральной больнице. Рави тоже там сидел, и все обернулись в его сторону. Рави сам встал, без приглашения, и сказал, что это правда и что он доверил бы тебе оперировать его самого и любого из его родных, настолько ты хорош. И так оно и есть, Дигби.

Убийственной частью показаний Онорин стал рассказ о бездействии Клода перед лицом бурного кровотечения. Она и Дигби вмешались и сделали все возможное.

— Главному врачу пришлось затребовать операционные и госпитальные истории болезней Клода. Мы-то с тобой знаем. Но эти пустые страницы все равно выглядели шокирующе. Комиссия все еще не вынесла окончательного решения. Бог весть, почему так долго. Но они сразу рекомендовали отстранить Клода от работы. Не больничный, а отстранение. Кстати, ты тоже в бессрочном отпуске по болезни. Автоматически, после того, как тебя госпитализировали с ожогами.

Онорин уезжает следующим вечером. В последующие дни руки Дигби готовы лишь к нежнейшему массажу и растяжкам. Нужно выждать время, вот уж этого у него с избытком.

Уже больше месяца Дигби жил у Руни. Его беспокоило здоровье шведа, человека более чем вдвое старше него. Дигби неоднократно замечал, как Руни останавливается, пережидая, пока «отпустит» в груди. Как-то вечером, когда они сидели в гостиной, Дигби поднял эту тему, но Руни отмахнулся. Тогда Дигби умолк, наблюдая, как Руни чистит трубку, набивает табаком, утрамбовывает и, наконец, обжигает чашку двумя спичками. Вероятно, такая непринужденность скоординированных, сложных и по большей части автоматических движений навсегда останется ему недоступной. Сладко пахнущие шлейфы табачного дыма плывут в воздухе.

Руни изучает своего молодого коллегу; парню скоро тридцать, родился накануне Великой войны. Руни было уже под сорок, когда он осел в Индии. К этому шотландцу, отгородившемуся стеной молчания в их первую встречу, он питает отцовские чувства. Со временем стены рухнули. Можно стать свидетелем исцеления души, размышляет Руни, точно так же, как наблюдаешь заживление раны.

— Итак, Дигби. Вам нравится наш «Сент-Бриджет»?

— О да. — Дигби считал «Сент-Бриджет» промежуточной станцией своего путешествия, не пунктом назначения. Необъяснимым образом за то время, что он находился здесь, — перенося операции и последующую боль, дожидаясь выздоровления, — Дигби начал чувствовать себя как дома. Изгой в сообществе изгоев. — Я здесь среди своих, Руни.

— Ну и дела! Вы швед и до сих пор не проболтались?

Смех Дигби звучит почти по-человечески.

— Я из Глазго. С рабочей окраины.

— Бывал я в Глазго. А что, там есть и другие окраины?
Дигби наполняет стаканы, действуя обеими руками.

— Вы понимаете, что я имею в виду. Каждая рука, которую я вижу здесь, родня моей. «Паства», как вы их называете, они... мои братья и сестры. — Он смущенно умолкает.

— Так и есть, Дигби. И мои тоже. — Руни осушает стакан, удовлетворенно чмокнув губами. — Руки — это проявление божественной силы, — продолжает он. — Но вы должны пользоваться своими руками. Нельзя же им сидеть без дела, как писарю в кадастровой конторе, упаси боже. В наших руках тридцать четыре отдельные мышцы — я посчитал. Но они не совершают изолированных движений. Это всегда коллективное действие. Рука знает прежде, чем узнает разум. Нам нужно освободить ваши руки, Дигби, для начала научив совершать естественные повседневные движения — особенно правой рукой. Итак, что вам нравится делать руками?

— Оперировать. — Дигби не может скрыть горечь в голосе.

— Так. А что еще? Вязать крючком?

— Ну... жизнь назад я любил рисовать, писать картины.

— Великолепно! Господь свидетель, эти стены и двери давно пора освежить.

— Акварель. Уголь.

— О, чудесно! Этим мы и займемся. Лучшая реабилитация — заниматься привычным для рук и мозгов делом, помогает и тем и другим. И у меня есть для вас учитель.

глава 33

Рукописание

1936, «Сент-Бриджет»

Новый наставник Дигби является днем из Тетанатт-хаус, ее чернильно-черные косички прыгают по плечам, а художественные принадлежности лежат в школьном портфеле. Горничная, сопровождающая девятилетнюю девочку, садится на корточки на веранде Руни, прикрыв нос тхортом и стреляя глазами во все стороны, как дозорный. Руни представляет юного хирурга еще более юному физиотерапевту и забавляется, обнаружив, что из них двоих Дигби смущен гораздо больше.

Руни хлопочет, предлагая Элси горячий шоколад и тосты со сливовым джемом. Смерть Лииламмы лишила игривую общительную девчушку детской беззаботности. Она потеряна, она как цветок, лепестки которого свернулись внутрь. Но смогла найти утешение в горе и обрести свой дар, все благодаря подарку Руни — альбому для рисования, углю и акварели. Элси нет нужды торжественно заявлять об этом, но она собирается стать художницей.

Элси расстелила лист бумаги, вручила Дигби палочку угля и села рядом рисовать собственную картину. Вскоре ее лист заселяют разные персонажи. Глядя на нее, Дигби вспоминает свои бесконечные маниакальные наброски в те дни, когда он дежурил рядом с матерью, лежавшей в депрессии. Элси сумела ухватить Руни в движении: борода устремлена вперед, джуба мешковато болтается позади, как надувающийся парус. Набросок поражает точностью и скоростью исполнения. Его же лист по-прежнему чист.

Элси достала для себя новый листок. И сняла толстый том с книжной полки Руни. Дигби узнал иллюстрации Генри Виндайка Картера^[148] благодаря которым «Анатомия Грэя» стала классикой, сочетающей точность с художественным мастерством. Текст потускнел в памяти Дигби, но образы остались. Интересно, Элси знает, что

лондонец Генри Грэй надул Генри Виндайка Картера с гонораром и авторскими правами? Оскорбленный и ожесточившийся Виндаик Картер вступил в Индийскую медицинскую службу, где и провел остаток профессиональной жизни, видя, как его имя удалено из всех последующих изданий канонического учебника, хотя все иллюстрации остались на месте. Генри Грэй умер в тридцать четыре года от оспы, но имя его обессмертил этот учебник. Судьба которого из Генри печальнее? — размышляет Дигби. Умершего молодым, но знаменитым? Или прожившего долгую жизнь, но так и не получившего заслуженного признания?

Когда Элси уходит, на листе Дигби всего несколько линий и много ямок, где уголь, неуклюже зажатый в правой руке, вонзался слишком глубоко. Образ, который он мысленно представлял, — вдохновленный Виндайком Картером профиль с мышцами головы и шеи — на пути от мозга к пальцам наткнулся на дорожное ограждение.

Дигби собирает наброски, оставленные Элси. Сначала ему кажется, что девочка нарисовала руку прокаженного. Но эти квадратные ногти, отечная бесцветная кожа, следы швов — это же *его* рука. Он смотрит в зачарованном ужасе. Корявый, неповоротливый и костлявый обрубок, стискивающий угольную палочку, словно противоположность рукам в «Сотворении Адама» Микеланджело. От дара, которым обладает Элси, захватывает дух. Юная художница не выказала ни отвращения, ни отчужденности к своей модели — ровно наоборот. С ошеломляющей точностью и без всякого осуждения она изобразила руку Дигби именно такой, какой та выглядит, и приняла ее такой, какова она есть. Самому Дигби это еще предстоит.

Вечером приходит письмо от Онорин; его неуклюжие попытки совладать с ножом для бумаги заканчиваются тем, что письмо рвется пополам. Комиссия постановила, что Клод Арнольд должен быть уволен из Индийской медицинской службы. Семья Джеба получит щедрую компенсацию за его трагическую смерть в результате врачебной ошибки. *Бог весть, что будет дальше делать Клод*, писала Онорин.

Слабое утешение. Клод сможет заняться частной практикой и опять оперировать где-нибудь в другой стране. Убийственно некомпетентный хирург живет, чтобы вновь убивать. А ты, Дигби? Не

совсем убийца? Разорванные половинки письма напоминают, что его собственные руки более приспособлены к разрушению, чем к чему-нибудь еще. Мысли о Селесте, никогда не оставляющие, поглощают его целиком. Если бы она не пришла в тот день, если бы... Слишком много «если». Собственная вина запечатлена навеки на его плоти точно так же, как и «улыбка Глазго».

— Это просто великолепно! — показывает Дигби на наброски Элси, когда та приходит к нему на следующий день.

— Большое спасибо, — чуть улыбнувшись, вежливо отвечает девочка на официальном школьном английском.

Похоже, Дигби просто произнес вслух то, что ей и так уже известно. Она кладет перед Дигби новый лист бумаги, но вдруг говорит:

— Можно... — И придерживает палочку угля, неловко покачивающуюся между его неподвижным большим пальцем и указательным.

Он изо всех сил пытается найти правильное усилие, которое не сломает палочку, но в то же время плотно прижмет уголь к бумаге, — то самое действие, которое когда-то было простым и бессознательным. Сняв со своей косички ленточку и сосредоточенно закусив губу, Элси несколькими оборотами закрепляет уголь в руке. Потом аккуратно опускает его руку на бумагу, как граммофонную иглу на пластинку.

— А теперь попробуйте, пожалуйста.

На бумаге возникает темная прерывистая линия. Движение, похоже, начинается в плечах. Вроде бы получается и тут же останавливается. Она чуть подталкивает его предплечье, как будто надеясь завести, придать импульс. Появляется еще одна заикающаяся линия, но уголь вертится в руке — граммофонная иголка погнута. Он поднимает взгляд и встречается с ее серыми глазами, слегка раскосыми в уголках, радужная оболочка бледнее, чем у большинства индийцев, которых он встречал. В этих глазах сострадание, но не жалость. И она не намерена сдаваться.

Поколебавшись, Элси развязывает ленточку, потом кладет свою ладонь поверх его кисти и связывает их руки, теперь и ее пальцы поддерживают угольную палочку. Качнув подбородком, показывает «а

теперь попробуйте». Он не понимает малайлам, но с такими условными знаками чувствует себя увереннее.

Движение его руки (или ее?) по бумаге становится мягче, механизм скользит на новых подшипниках. Его кисть несет на закорках ее ладонку, описывая большие, раскрепощающие окружности, — разминка, безрассудная шалость. Она подкладывает чистый лист, и они так же раскованно мчатся по новому полю, разогревая шины, покрывая бумагу петельками и извилистыми буквами S, а потом, на следующем чистом листе, — треугольниками, квадратами, кубиками и заштрихованными пирамидками.

Вид собственной руки, блуждающей по странице плавными текучими траекториями, которые она, похоже, способна совершать, завораживает. Эта картина пробуждает мозг, выталкивая наружу образы, воспоминания, звуки: лопнувший стручок снежнотодника в саду Майлинов; разлетающаяся стайка испугнутых скворцов; шум прибора на мокром песке; кожа, расступающаяся под скальпелем номер одиннадцать.

Луч из окна падает на бумажный лист. Он что, светил все это время? Пылинки, будто свободные от силы притяжения, кувыркаются внутри луча, как акробаты в свете прожектора, и это так прекрасно, что у него в груди перехватывает. Свежий лист заменяет испчерканный, будто Элси понимает, что движение благотворно и не должно прерываться; и в самом деле — плавные линии усмиряют спазм в запястье и ладони, замороженная часть мозга оттаивает, порождая всплеск идей, которые рука выводит на бумаге. Он смеется и сам удивляется этому звуку, а его рука — *их* руки — теперь двигается неторопливо, ловко и целеустремленно.

На бумаге необъяснимым образом возникает женское лицо. Это не Селеста — ее лицо он рисовал сотни раз. Нет, его мать, это ее прекрасные черты постепенно проявляются на портрете: томные глаза, длинный нос, капризные пухлые губы — триада, которая была ее визитной карточкой. Обозначив линию волос, уголь рисует клубы дыма надо лбом, а затем длинные волнистые локоны, обрамляющие скулы.

Это мама в ее счастливые времена, его мамулечка по средам, когда они пили чай в Галлоугейт. Ей бы понравился этот рисунок. «Отличная работа, — сказала бы она. — Чертовски замечательный подарок этот твой талант!» Алхимия соединенных рук, их па-де-де поднялось вверх

по его пальцам, по нервным волокнам и высвободило портрет из затылочной коры, вырвало из памяти, притянув образ, отмеченный любовью и смехом.

В медицинской школе он вызубрил диагностическую мимику, лица болезни: застывшие амимичные физиономии при болезни Паркинсона; «маска Гиппократата» больных в терминальной стадии — с изможденными впалыми щеками и висками; *risus sardonicus*, сардоническая усмешка, столбняка. Его рука, связанная с рукой этой девочки, породила и образ, и форму, вытянув из прошлого портрет, полный любви. Он поднимает глаза на свою напарницу.

Элси, олененок, тоже потерявший маму, знаешь ли ты, что мы каким-то образом сумели совершить то, с чем не справилось само время? Все эти годы единственным образом матери, который я сохранил, лицом, которое вытеснило все прочие, была непристойная, чудовищная смертная маска.

Мама, как живая, поднимается с бумажного листа. Он ощущает запах лаванды, которой она переключивала свои свернутые кофты, вновь чувствует себя в ее объятиях. *Прости ее*, слышит он голос.

— Да, — произносит он вслух. — Да.

Слезы беспомощности текут по его щекам. Элси встревоженно поджимает губы... живая подвижная скульптура их рук спотыкается и останавливается. Неуклюжей левой рукой Дигби распускает ленточку и высвобождает ее руку, пытаясь ободряюще улыбнуться.

В день, который никто в «Сент-Бриджет» не забудет вовеки, голос Руни, как и каждое утро, разносился над всей округой — голос звучал с открытой банной террасы позади его бунгало, великан распевал «Хелан Гор», задорную шведскую застольную песню, как объяснял сам Руни. Дигби, работавший в саду, с изумлением слушал, как подпевают трое его помощников. Смысла слов они не знают, но отлично понимают эмоции — это призыв к дневным трудам. Пение сопровождалось всплесками воды, которую Руни зачерпывал ведром из бака, а потом опрокидывал себе на голову.

Но песня оборвалась на середине строчки, а потом раздался металлический грохот. Во всем поместье все пациенты разом замерли. Отбросив мотыгу, Дигби помчался к бунгало. На террасе, с трех сторон закрытой соломенными стенами, неподвижно лежал на спине Руни —

рука прижата к груди, кусок мыла, сваренного в «Сент-Бриджет», зажат в пальцах. Сердце выброшенного на берег Голиафа, великое скандинавское сердце остановилось. И, несмотря на все усилия Дигби, больше не будет биться.

Обычно с заходом солнца лепрозорий становится темным и тихим местом, но в тот вечер он сияет светом ламп, ворота широко распахнуты. Сборщик кокосов, Мудалали и остальные жители деревни, все, кто знал и любил великана-шведа, явились отдать долг уважения, хотя для этого им впервые пришлось пересечь границу лепрозория. Из многих поместий прибыли автомобили: Франц и Лена Майлин, Тэтчеры, Кариappa, вся команда «Форбс», секретарь клуба, повар и два кедди-помощника — все они друзья Руни и ехали несколько часов, чтобы непременно быть рядом. Гости почтительно стоят за стенами крохотной часовни, пока рыдающая община заполняет изготовленные вручную скамьи, а один из ее членов ведет службу. Воздух в часовне благоухает свежесрубленным хлебным деревом, из которого на собственных станках они выпилили гроб.

Гроб Руни несет его паства, его ученики, впереди всех Шанкар и Бхава — пошатываясь и шаркая ногами, они ковыляют на костылях во главе нестройной процессии, которая сопровождает Руни на кладбище, устроенное на поляне прямо у передней стены. Руки, на которых не хватает пальцев, руки, скрюченные в когти, и руки, которые вовсе и не руки, а комки плоти, отпускают веревки, предавая земле смертные останки святого, который посвятил свою жизнь тому, чтобы облегчить их жизни. Плач общины разрывает небосвод и разбивает сердца прибывших из внешнего мира, которые впервые смогли за гротескными изуродованными лицами разглядеть и узнать самих себя.

В последующие дни обитатели лепрозория, еще не пришедшие в себя от горя утраты, обращаются к Дигби, как некогда обращались к Руни, а сам он находит опору у Шанкара и Бхавы. Дигби, при помощи Басу, который немного говорит по-английски, подбадривает людей, напоминая, что нужно делать все то, что они делали раньше, ухаживать за полем, за садом и за скотом. Вечерами в уединении бунгало Дигби дает выход своему горю. Руни был для него не просто хирургом, но спасителем, исповедником, человеком, который стал ему почти отцом.

Возможно, Руни предчувствовал свою смерть. Он наверняка знал, что у него стенокардия, потому что завещание составлено недавно. Значительную сумму с его сберегательного счета получает Шведская миссия, с указанием сохранить основную сумму, а проценты использовать для содержания лепрозория.

Дигби телеграммой сообщает индийской Шведской миссии о случившемся. Ответ приходит незамедлительно.

ГЛУБОЧАЙШИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ТОЧКА НЕ
БЫЛО ЧЕЛОВЕКА ЛУЧШЕ ТОЧКА МЫ НЕ ОСТАВЛЯЕМ
МОЛИТВ ТОЧКА ЖДИТЕ УКАЗАНИЙ ИЗ УППСАЛЫ

Он отправил письмо индийскому епископу в Трихинополи, который возглавляет миссию, приложив копию соответствующей части завещания Руни. И закончил следующим:

Я хирург Индийской медицинской службы, в настоящее время нахожусь в бессрочном отпуске по болезни в связи с травмой руки, не связанной с проказой. Доктор Орквист провел мне две операции. Я питал к нему глубочайшую любовь и привязанность, как и к здешним пациентам. Я делаю все возможное, чтобы поддерживать работу «Сент-Бриджет» и оказывать базовую медицинскую помощь. Если это соответствует вашим требованиям, я могу продолжить свою деятельность здесь. Однако мои руки никогда не будут способны проводить операции такого уровня, какие делал доктор Руни.

Через десять дней прибыл ответ. Для управления «Сент-Бриджет» миссия направляет двух монахинь; в будущем они надеются найти и врача. Саркастически рассмеявшись, Дигби комкает письмо. «Но ты же спросил, так?»

В настоящий момент отпуск по болезни Дигби остается бессрочным. А как поступит Индийская медицинская служба, когда этот период закончится? Заставит его вернуться к исполнению каких-нибудь медицинских обязанностей? Уволит без содержания?

Неужели нигде в этом мире нет для него дома? Даже в лепрозории?

глава 34

Рука в руке

1936, «Сент-Бриджет»

Филипос, промокший до нитки, с младенцем на руках, стоял, уставившись на табличку и прикидывая, а не утонул ли он на самом деле? Может, река все же поглотила их всех? Табличка гласила:

സെന്റ് ബ്രിജിറ്റ് കുഷ്ഠരോഗ
ചികിത്സാ പരിരക്ഷാ കേന്ദ്രം.

Мысленно он перевел это как *Лечебный Центр Святой Бригитты / Приют для больных проказой*, хотя ниже по-английски написано гораздо короче: ЛЕПРОЗОРИЙ «СЕНТ-БРИДЖЕТ». Это и вправду ворота лепрозория или врата в ад? И в чем разница?

Легкие горят, но, по крайней мере, он вдыхает воздух, а не речную воду. Младенец тяжелый, как гиря, лиловое личико застыло. В лепрозории ведь есть врач или медицинская сестра? Там есть прокаженные, это все, что он знает. Шагнуть внутрь столь же безрассудно, как столкнуть челнок в бушующую реку. Как он объяснит Большой Аммачи, зачем рисковал жизнью ради ребенка лодочника? *Аммачи, я чувствовал, что этот ребенок как будто бы я сам. Я чувствовал, что это я тону, борюсь за глоток воздуха, пытаюсь выбраться на поверхность, выжить. У меня не было выбора.*

И выбора по-прежнему нет. Он врывается в ворота и бежит со своей ношей вперед. Лодочник понятия не имеет, куда они попали. Небо темное, но изредка свет прорывается сквозь прорехи в небесной ткани. Впереди высится главное здание с черепичной крышей, а вокруг него, словно побеги, домики поменьше, оштукатуренные и побеленные,

но понизу, где смыкаются с землей, выкрашенные грязно-красным. Если это ад, тогда в аду чисто и опрятно. Он направляется к главному зданию.

— Что происходит? Сюда нельзя детям! Зачем вы пришли?

Худой мужчина в голубой рубахе и мунду преграждает им путь. Филипосу он кажется похожим на яйцо, с его гладким невыразительным лицом, лишенным бровей и какой-либо растительности. Один глаз у него с бельмом, а нос приплюснут. Лодочник шарахается от него.

— Этот ребенок умирает! — кричит Филипос. — Позовите вашего врача.

— Айо! Наш врач умер! — вопит в ответ человек. — Ты не знал? Он не может тебе помочь.

Откуда-то сзади, услышав перепалку, выходит белый мужчина. Высокий красивый мужчина лет тридцати. Но покрытые шрамами руки, неловко возящиеся с пуговицами, как будто принадлежат старику; глаза у него глубоко запали.

— Если он умер, — орет лодочник, — тогда кто этот белый? Скажи ему, чтоб помог нам, ради бога!

— Я не про этого доктора говорю. Про другого, большого доктора. А теперь уберите! Детям нельзя, я же сказал.

Белый человек вздрагивает от их криков. Рассматривает перепачканных и тяжело дышащих незнакомцев, один — темнокожий, низенький, голый по пояс и худой, другой — мальчишка в промокшей школьной форме, волосы прилипли ко лбу. Мальчик держит на руках полумертвого младенца со стеклянными глазами скумбрии на рыбном прилавке.

— Угмонитесь! — Мужчина по-английски строго обрывает скандалящих, кивком головы подзывая Филипоса к свету. Смысл его жеста понятен на любом языке. — Так, что у нас тут? — бормочет он, склоняясь над младенцем.

— Ребенок задыхался, — поясняет Филипос.

И краснеет, когда доктор в изумлении поднимает на него взгляд. Филипос ни разу в жизни не стоял так близко к белому человеку, никогда не говорил на английском с теми, для кого этот язык родной. В глубине души он даже сомневался, что мир, где люди говорят на языке «Моби Дика», действительно существует.

— У ребенка много белых... наростов во рту и в горле. Подобных китовому жиру. Но жесткие... как кожа. Я загарпунил кусок, и малыш немножко задышал. Но вскоре дыхание вновь прервалось, сэр.

Доктор недоуменно таращится на мальчика, озадаченный странным выбором слов. Загарпунил? Он раскрывает рот младенцу своими неуклюжими руками, скованными, неловкими движениями, начинающимися от локтя, а не от запястья. Жестом велит Филипосу положить ребенка на стол, а сам в это время с грохотом роется в инструментах на лотке, что-то ищет.

— Руни, ну в самом деле, нет интубационной трубки? — бормочет он.

Странности доктора вполне соответствуют этому месту, как будто он, как и белоснежные домики с глиняной полосой снизу, вырос прямо из земли и его руки не успели полностью оформиться, почва все еще цепляется за них.

— Ты, мой гарпунер! Мне понадобится твоя помощь, — приказывает доктор, протирая шею младенца какой-то резко пахнущей жидкостью. — Вы, значит, с ним родственники? — кивает он в сторону лодочника.

— Не родственники, сэр. Я шагал напрямиком к школе и, казалось, следовал прямым курсом к месту назначения. — Филипос невольно декламирует, как будто читает роль Измаила. Мелвилл музыкален, Диккенс — чуть менее, а английский Филипоса в значительной степени опирается на громадные куски их прозы, засевшие в памяти. — Стрелка компаса указала на крик, я внял ему и узрел дитя. Отец его устрасился реки... но не я, мне явилась цель, и, благословясь, мы поплыли на челне по воле волн.

— Но почему сюда?

Мальчик, кажется, сбит с толку:

— Божья милость?

Доктор кривится. Он наклоняет лампу пониже к шее ребенка. Пытается подцепить инструмент, но безуспешно. Тычет пальцем, Филипос послушно хватает и протягивает ему скальпель.

— Как тебя зовут?

— Зовите меня Филипос.

Губы доктора двигаются, словно он тренируется выговаривать слова.

— Послушай, это придется сделать тебе, — говорит он и сует скальпель обратно мальчику, рукоятку вперед.

— Нет! — Получилось громче, чем он хотел.

— Этот младенец все равно что мертвый, — шипит доктор. — Понимаешь? Ты ничем не навредишь. Уже сейчас его мозг начинает умирать. Давай же. Ты уже один раз спас ему жизнь.

— Но я всего лишь школьник, а не...

— Послушай, я не могу этого сделать своими руками. У меня была операция. И я пока не выздоровел. И нет, у меня нет проказы. Я буду тебе подсказывать, что надо делать.

Голубые глаза не оставляли ему выбора. Пальцем, застывшим странной дугой, доктор намечает вертикальную линию, по которой Филипос должен сделать разрез в нижней части шеи, где она переходит в грудину.

— Трахея. Вот туда нам нужно попасть. Быстро! Режь!

Филипос видел, как Самуэль перерезает горло цыплятам, но вовсе не для того, чтобы спасти им жизнь. Он проводит скальпелем по воображаемой линии и отступает в ужасе, ожидая, что сейчас хлынет кровь, младенец всплеснет руками и примется носиться по комнате. Но ребенок даже не вздрагивает.

— Слишком мелко. Держи скальпель как карандаш. И нажимай сильнее. Пока не увидишь, как расступается кожа. Вперед!

Он так и делает, и теперь там, где прошло лезвие, появляется светлая полоска, а следом за ней выступает темная кровь, выплескивающаяся, как река, выходящая из берегов. Комната вокруг начинает вращаться, а желудок переворачивается. Доктор, не обращая внимания на кровь и обернув марлей кончик пальца, раздвигает кожу по обе стороны от разреза, обнажая пелену бледной ткани.

Он вручает Филипосу хирургический инструмент, похожий на ножницы, но без режущих лезвий.

— Вставь под кожу и раздвигай, — командует он, показывая двумя пальцами, как надо действовать. Филипос заводит закрытый инструмент под края раны, а затем раскрывает его. Видимо, он действует слишком нерешительно, потому что застывшая клешня доктора стискивает его руку, направляя в нужную плоскость. — Раздвигай. До конца.

Он чувствует, как рвутся ткани. Кровь течет сильнее, темная и грозная.

— А кровотечение?

— Это значит, что он еще жив, дружище, — успокаивает доктор, орудуя марлей, как муравьед хоботом, пока не открывает взору бледный гофрированный цилиндр, не толще соломинки для питья.

— Это трахея. Сейчас мы сделаем маленький вертикальный разрез в передней стенке, самым кончиком скальпеля. — Видя колебание Филипоса, он поясняет: — В трахее только воздух, крови там нет. Но глубоко не режь. Мы хотим сделать только маленькое отверстие.

И, поскольку Филипос продолжает колебаться, крепкая клешня смыкается на тонкой кисти мальчика, удерживая ее. Вместе они даже с некоторым изяществом вставляют кончик скальпеля в трахею, где он застревает, как топор в стволе дерева. Лодочник тихо подкрадывается и с ужасом смотрит на рану в горле сына.

— Стоп. Глубже не надо, — распоряжается доктор. — Теперь очень нежно вниз.

Лезвие скользит, как сквозь древесину пробкового дерева. К глотке Филипоса подступает желчь. Он поднимает взгляд: *что дальше?*

И сразу раздается влажный сосущий звук, исходящий не изо рта, не из носа, но откуда-то из окровавленного горла, вокруг кончика скальпеля пузырится воздух. Грудная клетка малыша надувается. На выдохе тонкая струйка вырывается из раны, и не успевает Филипос увернуться, как она ударяет ему в щеку.

Доктор вынимает скальпель, переворачивает его, потом вставляет тупой конец в щель, которую они проделали, и поворачивает на девяносто градусов, расширяя отверстие. Внутри полый трахеи, соперничая за пространство с бурлящим воздухом, находится плотный сгусток. Доктор вытягивает длинный эластичный кусок, похожий на обрывок простыни. Через маленькое отверстие немедленно начинает с хрипом входить и выходить воздух, с грубым и жадным хрипом.

— Это пленки дифтерии. «Кожа» по-гречески. Ты ведь именно это слово употребил, верно? «Кожа»? И когда произнес его, ты уже поставил диагноз. Это мертвая оболочка горла, которая отслаивается, вся опутанная клетками гноя. Ты слышал о дифтерии? Да, известная болезнь. Сейчас от нее есть вакцина. Умирают от этой болезни только дети.

Филипос видит брызги крови на лице доктора, такие же, наверное, и на его собственном лице.

— А мы можем заразиться?

— Мы, вероятно, уже болели в детстве, неважно, помним мы или нет, так что у нас иммунитет. Этот малыш недоедал, потому не мог сопротивляться инфекции. А для взрослых, если мы вдруг заражаемся, это не так опасно, потому что наши дыхательные пути гораздо шире.

Доктор берет металлическую трубку и вводит ее в разрез на трахее, толкая вниз. Дыхание струится по трубке, жесткое, но ровное. Лицо младенца постепенно обретает цвет. Потом он начинает сучить ножками.

Филипос благоговейно наблюдает за воскрешением. Руки его обгажены чужой кровью, и это зрелище вызывает новый приступ тошноты. Момент одновременно сверхъестественный и омерзительный; он чувствует, как парит над этой комнатой, пропахшей едким антисептиком, глядя вниз на младенца, его отца, доктора и на свои руки. Металл, кровь, вода, почка, плоть, сухожилия, белая и коричневая кожа — все едино. Он не испытывает чувства торжества, но лишь безудержное желание сбежать отсюда. Но доктор протягивает ему щипцы с зажатой в них изогнутой иглой с прикрепленной к ней ниткой, и бледная клешня вновь смыкается вокруг его пальцев. Движения порождены не его волей, но Филипос все равно совершает их и пришивает трубку к коже, закрывая рану.

— Ты мой личный секретарь, — говорит доктор своему помощнику, который понятия не имеет, что тот имеет в виду.

Глаза малыша устремлены на них, настороженные и словно готовые что-то сообщить. А потом, заметив своего отца, ребенок тянет к нему ручки, и уголки рта ползут вниз. Он набирает полные легкие воздуха, и лицо уже искажается для могучего рева... но ни звука не доносится изо рта, только воздух шипит в трубке. Малыш удивлен.

— Твои голосовые связки пока вне игры, кроха, — улыбается доктор. — Добро пожаловать в этот чертов мир. Может, ты сумеешь изменить его к лучшему.

глава 35

Средство от всех хворей

1936, «Сент-Бриджет»

Филипос пулей вылетает на веранду, и желудок его извергает содержимое. Горечь и кислота обжигают горло. Он моет руки и споласкивает рот под водосточной трубой. Под ногтями чернеют полоски крови. Он иступленно оттирает руки.

А когда поднимает голову, в нескольких дюймах оказывается чудовищное лицо, плотоядно разглядывающее его. У наваждения дырки вместо ноздрей и безбровые невидящие глаза, и оно чуть склонило голову, будто прислушиваясь к дыханию мальчика. Вопль вырывается из Филипоса сдавленным бульканьем. И от этого звука вурдалак отшатывается, напуганный больше, чем сам Филипос.

Нужно выбираться отсюда. Он должен вернуться домой. Но где именно он находится?

Прокаженный, тот сторож, что встретил их и пытался прогнать, дает ответ на этот вопрос, но Филипос не верит — нет, не может быть. Еще один прокаженный, подошедший к ним, подтверждает. Филипос удивляется, как хорошо им известны все дороги. «Да где только мы не бродили! Или ты думаешь, мы ездили на автобусе? Или на пароме?» Их смех звучит жутко. Прежде общение Филипоса с прокаженными сводилось лишь к тому, что он бросал монетки в их жестянки; кто мог знать, что эти существа разумны и даже умеют разговаривать? Домой придется возвращаться окольным путем, потому что главный мост в Пулате смыло. Это крюк в пять миль в другую сторону, а потом еще десять обратно. Мимо лепрозория автобусы не ходят. Сердце сжимается. Подумать только, а он еще волновался, что опоздает в школу! Похоже, домой он доберется только глубокой ночью.

На улицу вышел доктор, разыскивая его.

— Филипос, да? Меня, кстати, зовут Дигби Килгур. Сможешь перевести?

Они возвращаются к лодочнику, который успокаивает своего беззвучно плачущего ребенка.

— Скажи ему, что я надеюсь, что через двадцать четыре часа эту трубку можно будет вынуть. А до тех пор ему лучше остаться здесь.

— Разве у меня есть выбор? — отвечает лодочник. — Я потерял лодку. Мне больше нечем зарабатывать на жизнь. Ну и что с того? У меня ведь есть мой сын.

Доктор Килгур заметил, что Филипос чем-то встревожен.

Услышав объяснения, Дигби успокаивает:

— Мы отвезем тебя домой. Ты сегодня спас человеческую жизнь.

Доктор сообщил, что ждет друга по имени Чанди, который после обеда должен вернуться из своего поместья в горах — на автомобиле. Шофер Чанди отвезет Филипоса домой.

Ожидание тянется бесконечно, особенно потому что Филипос, страшась заразы, отказался поесть или выпить чего-нибудь. Выглянуло солнце, облака рассеялись, будто утренний ливень был всего лишь глупой шуткой. Филипос находит в саду тенистое местечко и, когда уже совсем нет сил терпеть, набирает воды из колодца и пьет, зачерпывая ладошкой и стараясь не касаться краев ведра. От жары грязевые водовороты и гребни на дороге запеклись твердой коркой.

Автомобиль приехал к полудню. Из него выбрался массивный, по виду состоятельный мужчина и направился к бунгалу, где скрылся Дигби. Филипос украдкой прочел название, написанное на табличке на машине: «Шев-ро-летт». Знакомое слово. Есть в нем ощущение движения, этакий щелчок в конце. Звучит именно так, как Филипос представляет себе Америку: земля трудолюбивых честлюбивых людей, таких как обитатели Тисбери и Мартас-Виньярд^[149]. Этот автомобиль — как богатый человек, который сбросил свой наряд, чтобы работать в грязи наравне со своими пулайар. Крылья сняты, колеса и механизмы обнажены, и автомобиль грязный, как воловья повозка Куриана, сборщика кокосов. Из-под бампера торчит крюк. На переднем пассажирском сиденье лежит какая-то железяка, завернутая в кусок брезента. Сзади к кузову приварена металлическая платформа, на которой закреплены канистры с бензином, трос, лебедка... и сидит темная фигура, равнодушно разглядывающая мальчика. Филипос

заметил человека только потому, что блеснули белки глаз, когда тот моргнул.

Появились Дигби и Чанди, который на малаялам спросил у Филипоса, где тот живет.

— Отлично, не переживай, мууни. Мы доставим тебя домой. Подожди пока здесь. Я сейчас вернусь.

Но возвращается Чанди только к пяти часам — посвежевший, умытый, в переливающейся шелковой бежевой джубе и ослепительно белом накрахмаленном мунду. На запястье болтаются золотые часы, под цвет сигары «Стейт Экспресс 555», зажатой в пальцах. Филипос садится сзади, рядом с девочкой в бело-голубой школьной форме. Ее блестящие черные волосы разделены на пробор посередине, над ушами свисают косички. Наверняка дочка Чанди. Она улыбается Килгуру, который машет ей. Девочка на несколько лет младше Филипоса, но держится так непринужденно и так откровенно разглядывает его, что кажется старше. И он смущается еще больше: ему еще никогда не доводилось сидеть так близко к девчонке, если не считать Малютку Мол.

Рокот мотора напоминает Филипосу рев реки. Они трогаются, окна автомобиля открыты, и он высовывает голову наружу. Ветер сдувает волосы со лба и растягивает щеки в улыбку. Это его первая в жизни поездка на автомобиле.

Голос Чанди перекрывает шум мотора.

— Ну что, мууни, — кричит он через плечо, — доктор сказал, ты спас жизнь тому кутти. Ты, наверное, тайный святой? — Он оборачивается и улыбается, из-под густых усов поблескивает золотой зуб.

— Руки доктора лежали сверху на моих и показывали, что делать.

На сиденье между ними проскальзывает рука девочки. Филипос, не веря глазам, смотрит, как она приближается. И вот ее пальчики ложатся поверх его ладони, нажимают на пальцы один за другим, как будто она играет на фисгармонии. Но не успевает он отреагировать, как соседка уже убирает руку, эксперимент завершен. Девочка достает блокнот.

— Мууни? — окликает Чанди.

Филипос замирает. Чанди подумал, что он осмелился взять за руку его дочь?

— Младенец уже здоров?

— Пока нет. Доктор сказал, что дифтерия порождает яд, который действует на нервы и сердце. Но он сказал, что если повезет, ребенок поправится.

— У Элси была дифтерия. Помнишь, муули?

Девочка заинтересованно вскидывает голову.

— Тебе было шесть лет. Просто болело горло. Мы даже не знали, что это дифтерия, пока через неделю не повезли тебя к врачу — пришлось, потому что всякий раз, как ты пила воду, она выходила через нос. — Чанди смеется, громко, раскатисто, а Элси улыбается Филипосу. — Оказалось, у тебя небо не смыкается. Нерв был временно поврежден. Как заклинивший клапан.

Филипос весь поглощен соседством Элси. Ему ужасно хочется потрогать ее густые блестящие волосы. Но лишь подумав об этом, он заливается краской. Филипос чувствует, как она изучает его, и от этого смущается еще больше. Он старается сосредоточиться на проносящихся мимо пейзажах и домах, на ощущении скорости, гораздо более ярком, чем в автобусе. *Шев-ро-ЛЕТТ.*

Когда показались знакомые крыши Парамбиля, он с трудом сохраняет самообладание, вид родного дома неожиданно трогает до слез. В последние два года Филипос жаждал приключений, желал странствовать, как Джоппан, только еще дальше. Но сегодняшнее утро едва не стало для него последним на этой земле. По всем правилам он должен был утонуть. Даже проказа и дифтерия не сравнятся с опасностью плавания по разлившейся реке. В тот миг, когда он выпрыгнул из челнока, когда ноги его коснулись твердой земли, Филипос понял, что обманул смерть. Но вплоть до момента, пока не увидел Парамбиль, он не чувствовал себя в безопасности. Он всегда представлял, как, став взрослым, поселится в шумном городе далеко отсюда, в месте, где бурлит жизнь. Только сейчас Филипос осознал, насколько важен для него Парамбиль, что он нужен ему — необходим, как сердце или легкие. Человек покидает дом на свой страх и риск.

По этой дороге подъезжали на телегах, конных повозках, здесь громыхали тачки и топали слоны, но никогда прежде — транспортное средство с мотором. На веранде столпились люди. Должно быть, вся большая семья собралась, в страхе ожидая дурных вестей. Завидев

автомобиль, все они замирают, как застигнутое врасплох в лесу семейство медведей-ленивцев. Филипос узнает близнецов, Джорджи и Ранджана, держащихся за руки, высокую стройную Долли-коччамму рядом с невысокой фигурой его матери и совсем коротышкой Малюткой Мол. И отдельно — крупный и бесформенный контур Благочестивой Коччаммы. А в муттаме несет дежурство одинокая тень. Самуэль.

Большая Аммачи наблюдает, как ее сын спускается с подножки, но не может двинуться с места. И только когда он бежит к матери, она преодолевает свой паралич. Обнимает его, ощупывает родное тело.

— Мууни, мууни. Это правда ты? Ты ранен? Что случилось? — Она хватается за горло, показывая, как настрадалась, приговаривая: *«Аммачи тее тхинну пойи!»* — *Мама просто вне себя!*

Малютка Мол, оперев руки в бедра, сердито смотрит на него, а потом шлепает по ноге. Но потом прыгает в объятия брата, высунув язык и весело хохоча. Даже Благочестивая Коччамма прижимает его к своей груди, и он задыхается от запаха пудры «Кутикура», смешанной с потом, а распятие больно тычется в щеку. Самуэль стоит рядом, и слезы радости катятся по его щекам. Филипос приобнимает старика:

— Самуэль, со мной все в порядке.

Оказывается, родные пошли по его следам, Самуэль нашел зонтик и выброшенную обертку из банановых листьев. Они обыскали берега реки, опасаясь худшего.

— Завтра мы поедem в церковь в Парумала, — говорит мама. — Я дала обет посетить святыню и возблагодарить Господа, если Он вернет тебя.

Филипос опасается, что такому человеку, как Чанди, который ездит на «шев-ро-летт», Парамбиль покажется убогим и захудалым. Но Чанди чувствует себя тут как дома, будто он давно потерянный кузен, а вовсе не вестник Господень, вернувший потерянного сына.

— Айо, коччамма, — своим гулким басом обращается он к Большой Аммачи, — ваш мальчик настоящий герой, вы знали?

Он потчует собравшееся семейство рассказом, всячески приукрашивая историю, но говорит так убедительно, что даже Филипос, который сам присутствовал при всех событиях, начинает

верить в его версию. Но истинный гений Чанди проявляется в том, что он умудряется в своей байке ни словом не упомянуть о прокаженных. Он заканчивает словами:

— Коччамма, это знак Всевышнего, что ваш сын должен стать врачом, не правда ли? Это же дар Господень.

Филипос чувствует, что все глаза устремлены на него. Он с трудом выдавливает вежливую улыбку, но внутренне содрогается. Никогда в жизни у него не было ни малейшего желания стать врачом. А если бы и было, утренние события излечили бы его от подобных мыслей.

Женщины убегают в кухню помочь Большой Аммачи организовать угощение. В их отсутствие Джорджи делает знак большим и указательным пальцами, чуть наклонив голову, на что Чанди отвечает легким кивком и движением бровей. Близнецы исчезают и тут же возвращаются с утренним тодди, которое к этому позднему часу уже достаточно забродило, чтобы ударить в голову. Филипос удивляется, какое пиршество появляется из кухни: блинчики аппам прямо со сковородки, тушеное мясо, свежеподжаренные *ооперу* — банановые чипсы, тера из манго, жареная рыба и жареный цыпленок. Он понимает, что еду принесли соседи в преддверии долгого бдения и, возможно, ужасных вестей.

Когда гостям уже пора уезжать, Чанди зовет:

— Элси, ты где?

С веранды отзывается Малютка Мол:

— Она со мной!

Они застают Элси на скамеечке Малютки Мол, девочка сидит, подобрав ноги под плиссированную голубую юбку, и рисует, а Малютка Мол стоит позади нее и пухлыми ручонками вплетает свои ленточки в косички Элси. Вокруг них разбросаны эскизы рисунков, которые просила Крошка Мол, — продавец бииди, слон, одна из ее куколок... все фигуры переданы мастерски. Элси сворачивает наброски в рулон и перевязывает его одной из ленточек Малютки Мол.

— Чечи, — говорит Малютка Мол, как будто Элси ее старшая сестра, хотя на самом деле сама годится ей в матери. — *Пову аано?*^[150]

— Да, — отвечает Элси. — Мне надо идти.

— Ты скоро вернешься?

Элси утвердительно качает головой из стороны в сторону^[151].

Малютка Мол повторяет жест, добавив:

— *Пойезте вах.*

Тогда иди-и-возвращайся.

Позже Филипос по просьбе Малютки Мол разворачивает свиток. Первый лист — портрет кого-то очень знакомого: мальчишеский профиль, лицо обращено к ветру, глаза полузакрыты, ветер оголил лоб, и волосы развеваются за спиной. Он никогда не видел себя глазами другого человека, это так непохоже на того, кого он разглядывает в зеркале. Удивительно, как всего несколькими линиями очерчены ноздри и губы, позволяя воображению зрителя завершить образ. Элси уловила ощущение движения, скорости. В том, как она изобразила его глаза, изгиб бровей, тревожную складку на лбу, она увековечила для потомков безумие и ужас дня, не похожего на прочие, — дня, который мог стать для него последним. И хотя она и не знает этого, но уловила его жгучую потребность оказаться дома.

глава 36

Нет мудрости в могиле^[152]

1936, «Сент-Бриджет»

Прибывают монахини из Шведской миссии, и Дигби прощается с Бхавой и Шанкармом. Остальных отыскивает на винокурне, в амбаре, в саду и на грядках. Когда он только появился в «Сент-Бриджет», пациенты казались ему почти неразличимыми, слишком одинаковыми в своем уродстве. Но теперь он знает каждого, знает, что у всех тут свой особенный характер: балагур, миротворец, стоик, скряга — здесь представлен каждый тип личности. Однако все вместе они обладают озорным и игривым нравом. Или обладали, пока был жив Руни.

Дигби благодарит каждого за то, что приняли его в свое племя, он стремится выразить эту мысль и свою печаль расставания, складывая ладони перед грудью и глядя прямо в глаза. В этом перевернутом мире оскал означает улыбку, уродство красиво, а калека работает лучше здорового, но слезы везде одинаковы. В ответ они бросают свои инструменты, чтобы сложить ладони, стараясь изо всех сил. Дигби растроган кривыми «намасте» — со скрюченными, а то и вовсе отсутствующими пальцами или даже вовсе без ладоней. *Изъян* — символ нашего племени, наш тайный знак. Руни сказал, что нигде ему не была так очевидно явлена божественная сила, как в «Сент-Бриджет», — именно в несовершенстве. *Господь говорит: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»*^[153]. Будь Дигби верующим, эта мысль его утешила бы.

Дигби пришел в «Сент-Бриджет» безо всего. Оставшись в одиночестве в бунгало Руни, он вспоминает их вечера, приправленные сливовым вином и дымкой роскошного, с древесным ароматом, табака. Именно в такой вот вечер, за несколько дней до смерти Руни, Дигби вновь задал ему вопрос, что впервые прозвучал, когда они только встретились в поместье у Майлинов: «Я буду снова оперировать?» Руни размышлял, клубы дыма поднимались над ними, как пузырьки для текста в комиксах, пока не заполненные словами. Потом он постучал по

голове черенком трубки. «Дигби, от других животных нас отличает вовсе не отставленный большой палец. А наш мозг. Именно это сделало нас доминирующим видом. Не руки, но то, что мы придумали делать руками. Вы знаете наш девиз в „Сент-Бриджет“? Из Экклесиаста: *„Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости“*».

Напоследок оставалось еще одно дело. Чанди с сыном отбыли куда-то по хозяйственным надобностям, в Тетанатт-хаус только Элси и горничная. Дигби сидит напротив Элси на веранде, изумляясь, каким косноязычным становится в ее присутствии, как будто это *ему* девять лет от роду, а ей двадцать восемь.

— Я пришел попрощаться. Я... Ты знаешь, что операции Руни восстановили мои руки. Но, Элси, это ты вернула в них жизнь.

Вдохновенный акт соединения их рук, ее ладонь поверх его новой кожи воспламенила нервы, возродила скованные пальцы, разрушила заржавевшие неподвижные преграды, воссоединяя мозг с рукой. Он хочет, чтобы Элси знала: увидев на листе бумаги прекрасное лицо своей матери, он стер уродливую маску смерти, отпечатавшуюся в его памяти, — образ, который заслонял все прочие воспоминания о маме. Но сейчас, чувствуя, как кровь приливает к лицу, Дигби понимает, что слишком стеснителен для таких откровенных признаний. Возможно, позже, когда Элси станет старше. Если их пути когда-нибудь вновь пересекутся. Он вручает подарок, который принес своему юному терапевту.

Элси разворачивает сверток. Глаза радостно вспыхивают, она узнала «Анатомию Грэя» из библиотеки Руни. Дигби уверен, что девочка обладает особым даром Генри Виндайка Картера — изображать предмет таким, каков он есть, позволить образу самому говорить за себя.

Элси шевелит губами, читая надпись, сделанную Дигби. Первая строка принадлежит великому шотландцу Роберту Бёрнсу, а следующие строчки написаны шотландцем, который не оставит никакого следа в истории.

«Иные книги лгут нам сплошь. А есть неписаная ложь»^[154].

Но в этой — правда, я клянусь, поскольку знаю наизусть.

Элси, которая помогла мне понять, что прошлое и настоящее идут рука об руку.

С вечной благодарностью,

Дигби Килгур

1936 год, лепрозорий «Сент-Бриджет»

Она притискивает фолиант к груди, прижимается к нему щекой, так ребенок обнимает куклу. А когда поднимает взгляд, ее лицо выразительней любых слов благодарности.

Дигби встает, готовый уйти. Элси откладывает книгу и выходит вместе с ним. Просовывает свою ладошку в его руку так, словно это самый естественный жест на свете. А на улице отпускает.

Дигби чувствует, как швартовы души соскальзывают, и он пускается в дрейф без паруса и карты.

глава 37

Благоприятный знак

1937, поместье «Аль-Зух»

На новогодний ужин Франц и Лена пригласили самых близких; праздник с привкусом горечи, потому что это еще и день рождения Руни. Чанди задержался в долине, но остальные друзья — Кариappa, Черианы, Грейси Картрайт (но без Ллевеллина), Би и Роджер Даттон, Айзеки, Сингхи — все сидят за столом, чинно положив руки на камчатную скатерть, и свет канделябров освещает их лица, как на полотнах Рембрандта. Они поднимают бокалы со сливовым вином в честь Руни и вспоминают его со слезами и смехом.

Дигби тоже тут, он приехал три недели назад и вновь занял гостевой коттедж в «Аль-Зух». В молодом человеке не осталось ничего от обернутого саваном обугленного существа, которое пряталось в гостевом домике Майлинов ото всех, кроме Кромвеля, пока Руни не забрал его оттуда. В этот раз он разделяет трапезы с Францем и Леной; Франц провез гостя по всему поместью, Дигби участвовал в дегустации чая и сопровождал Франца на еженедельный чайный аукцион. А еще он ездил верхом с Кромвелем, изучая тонкости сбора чая, кардамона и кофе. Каждое утро Дигби дисциплинированно в течение часа делает карандашные наброски, восстанавливая если не изящество движений, то как минимум подвижность пальцев. Он собирался вернуться в Мадрас к Онорин, но Майлины настояли, чтобы он задержался до дня рождения Руни. Дигби не представляет, что будет делать дальше, когда закончится его отпуск по болезни.

Сейчас, за новогодним ужином, застенчивый Дигби, воодушевленный уговорами гостей и благодаря вину забывший о своих комплексах, вспоминает те стороны личности Руни, что были известны только ему. Он говорит о таланте хирурга; свободно жестикулирующие руки Дигби — сами по себе свидетельство искусства шведа. Дигби даже смущенно расстегивает рубашку, чтобы гости увидели алый шрам

в форме щита, пылающий на левой стороне его груди. («Священное сердце Иисуса!») — восклицает Грейси, прижимая ладошку к груди.)

— Он умер посреди песни, — рассказывает Дигби. — Полный жизни в тот момент, как и в любой другой... — Он запинается и сглатывает комок в горле, не в силах продолжать.

Последовавшая за этим тишина не прерывается, даже когда Франц разливает всем бренди, друзья лишь молча поднимают бокалы еще раз за Руни. Их окружает пульсирующее безмолвие ночи. Бетти Кариappa подносит спичку к золотистой лужице на дне своего бокала. Голубое призрачное пламя пробегает по поверхности бренди, по стеклянным стенкам, прежде чем погаснуть.

В первые часы нового, 1937-го, года они все еще сидят за столом, настроение меняется с ностальгического на праздничное, а потом — возвышенное, словно уровень алкоголя в крови преодолел порог, за которым раскрывается их глубинная суть. Именно тогда, в предрассветные часы, эти плантаторы переходят к предмету, который знают лучше прочих, — горные склоны, с которыми связана их жизнь, плодородная, щедрая земля. Санджай первым поднимает тему чокнутого Мюллера и блестящих возможностей, которые открывает продажа его отдаленного поместья, — но только если цена окажется подходящей. А потом — никто впоследствии не мог вспомнить, каким образом, — они создают консорциум, тут же на салфетке составляют устав и единогласно выносят первую резолюцию: Дигби и Кромвель, прямо как Льюис и Кларк^[155], должны отправиться туда первыми, делегатами от имени консорциума, встретиться с Мюллером и осмотреть земли.

В третий день нового года Кромвель и Дигби пускаются в путь на «шевви» Майлинов, снабженные запасом покрышек, бензина и туристического снаряжения. Западные Гхаты тянутся параллельно береговой линии на четыре сотни миль, большая часть их покрыта нетронутыми густыми лесами, за исключением дюжины отдаленных поместий, основанных отчаянными авантюристами еще в прошлом столетии. Эти первопроходцы отыскивали путь по старым слоновьим тропам, известным только «туземцам», и застолбили участки на плодородных склонах. Но если бы затем они не проложили дорогу в Гхатах, взрывая скалы, пробивая тоннели и сооружая серпантины, их претензии не стоили бы ничего — нужно было найти способ

доставлять рабочих с равнин на плантации, расположенные в пяти тысячах футов выше, и возить вниз на рынок чай, кофе и специи. Первые владельцы продавали землю по номиналу или просто раздавали даром огромные участки, чтобы разделить с партнерами стоимость строительства и поддержания горной дороги. Крупнейший район, где есть такие поместья, — Ваянад, Хайуэйвис, Анаималаи, Нилгири и Синнамон-Хиллс, в последнем как раз и расположены поместья Майлинов и их друзей.

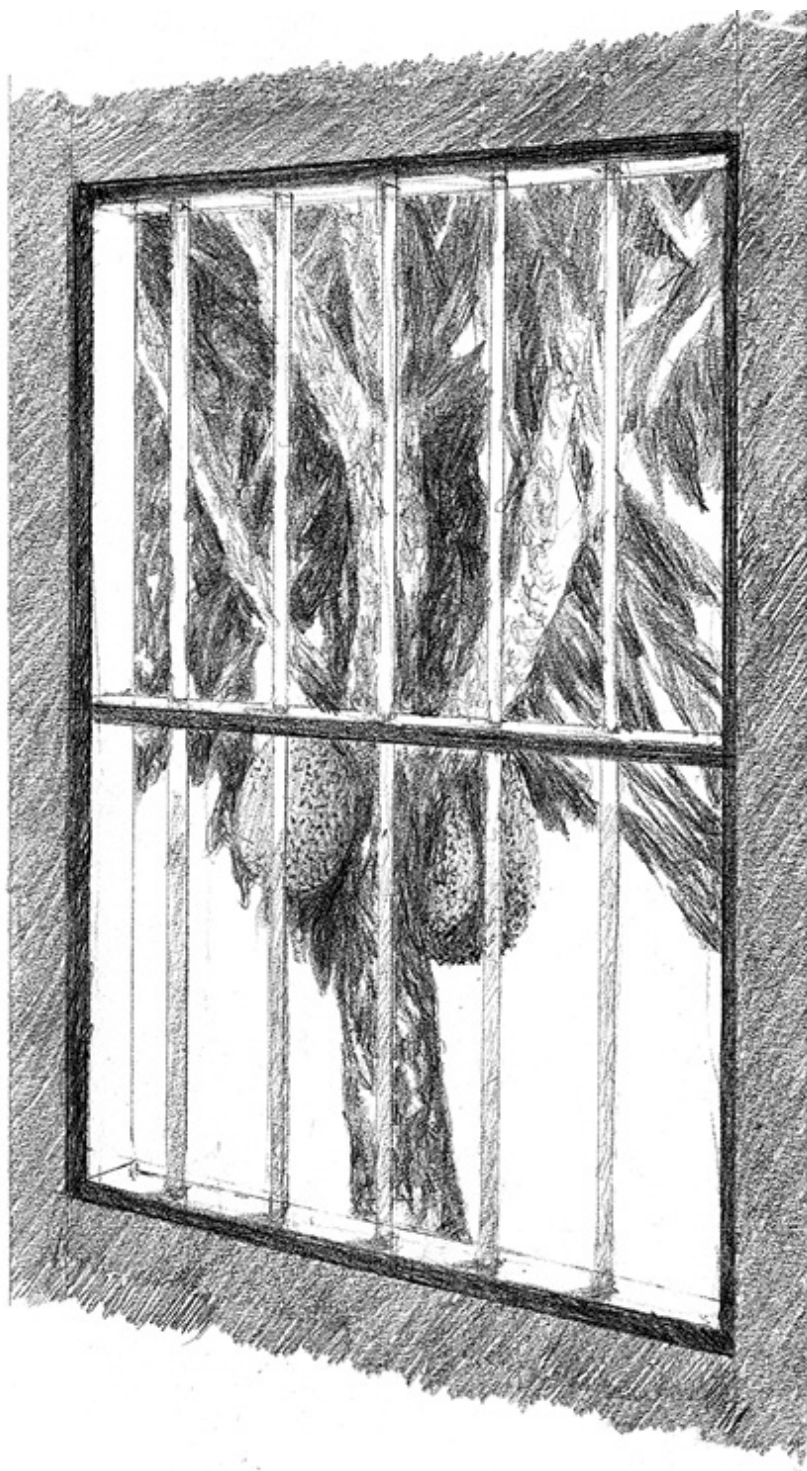
Начало путешествия не предвещало ничего хорошего, мотор почти сразу заглох, но Кромвель починил его прямо под деревом — вытащил, почистил и перебрал карбюратор. Кромвель сам из бадагас — автохтонного племени в горах Нилгири, которое живет сплоченными общинами, совместно занимается сельским хозяйством и гордится тем, что никогда не было в рабстве. Бадагас, которые покинули родные места, известны как искусные механики, сварщики, плотники, многие содержат мастерские. Дигби легко с Кромвелем. Бывший работодатель прозвал парня «типичным Кромвелем» за то, что однажды тот храбро и ловко разрешил взрывоопасную ситуацию с участием сына работодателя, замужней женщины и оскорбленного мужа, — эту историю Дигби услышал от Лены. Сам же Кариабетта, как только уяснил смысл сравнения, решил, что предпочитает «Кромвеля» своему настоящему имени. Теперь даже мать зовет его Кромвелем.

На ночь они поставили лагерь около ручья, а к полудню следующего дня прибыли к подножию высокой горной цепи, чьи зубчатые очертания напоминают Дигби скалистые пики Карн-Мор-Дирг или Лохнагар^[156]. Где-то в облаках скрывалось «Безумие Мюллера». Герхард Мюллер был из тех первых поселенцев, кто не считал нужным проложить дорогу в Гхатах. Сидя в громадном поместье, земли которого никогда не смогли бы освоить — отсюда и «Безумие», — они с женой проповедовали Евангелие окрестным жителям и едва сводили концы с концами. Их сын Бернард действовал немногим лучше, выискивая, а потом отпугивая потенциальных покупателей запрашиваемой ценой на землю. Он соорудил жалкое подобие горной дороги, которую смывало в каждый сезон дождей. И вот вдруг Бернард Мюллер внезапно все продает и возвращается в Берлин, на родину, которой никогда не видел. За несколько месяцев он сбросил цену втрое, что свидетельствовало о его отчаянии.

Добраться до владений Мюллера оказалось той еще задачей, и, пропоров последнюю запасную шину, оставшуюся часть пути они пробрели пешком в тумане. *Что я тут делаю?* — удивляется Дигби. Ясно, что хирургом он больше работать не сможет. Но он так долго был сосредоточен на хирургии, что попросту не представляет себя в какой-либо иной области медицины. Будущее в роли плантатора кажется даже более заманчивым, чем служба врачом общей практики, раздающим мази и настои наперстянки и принимающим по сотне пациентов в день. Если он бежит от прошлого, то эти горы отличное место, чтобы спрятаться, не хуже любого другого. Дигби, с трудом переводя дыхание, бредет следом за Кромвелем. Если Мюллер примет предложение консорциума, план состоит в том, что Дигби — с Кромвелем в роли управляющего — будет руководить поместьем и со временем получит часть земель в награду за свои усилия. В общем, если Мюллер примет предложение, Дигби будет считать это знаком судьбы. *Руни одобрил бы. Все, что может рука твоя делать, по силам делай.*

Долина внизу, скала под ногами и горы впереди переживут его. В масштабе этой земли он ничто, слова вроде «стыд» и «вина» здесь ничего не значат, а репутация — не более чем мимолетное голубое пламя, спирт, испаряющийся в бокале бренди.

Часть пятая



глава 38

Парамбиль П. О

1938–1941, Парамбиль

Появление в Парамбиле человека, который станет известен как Мастер Прогресса, вместе с его женой Шошаммой прошло незамеченным. Мог ли кто-нибудь предугадать, что один человек сумеет добиться такого прогресса для их общины? Вскоре никто и не вспоминал уже его крестильное имя. Эта пара счастливо жила себе в Мадрасе, когда вдруг скоропостижно умер брат Шошаммы — от пьянства. Он был не женат, бездетен, и вот так неожиданно Шошамма стала наследницей его имущества. Участок с домом и прилегающие два акра находились на западной окраине Парамбиля, довольно далеко от реки, это был один из дюжины участков, которые отец Филипоса продал или раздал родственникам в последнее десятилетие своей жизни.

По мнению Большой Аммачи, у покойного брата Шошаммы предприимчивости было меньше, чем у камня для стирки. Дом, оставшийся после него, весь разваливался, зато лес и кокосовые пальмы на его участке росли хоть куда. Когда супруги впервые навестили Большую Аммачи, ее приятно удивило, как хорошо воспитаны их дети, мальчик и девочка, семи и девяти лет. Лицо у Шошаммы милое, улыбочное, и она, кажется, полна энергии. Муж ее, несмотря на годы работы в престижной британской компании, держался скромно и ненавязчиво. Большая Аммачи представила Филипоса, сказала, что мечтает, как он будет изучать медицину в Мадрасе. Мастер Прогресса поддержал:

— Замечательно! Медицинский колледж Мадраса — старейший в стране. Я там бывал. Видел, как вокруг кровати собрались все студенты и британский профессор... — Он умолк, потому как что-то в улыбке мальчика подсказало ему, что Филипос вовсе не рвется изучать медицину, но слишком воспитан, чтобы спорить с матерью.

Вскоре после переезда Мастер получил кредит от Государственного комитета по развитию — кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Он купил корову, уложил новую подъездную дорожку и перестроил дом. Соседи, которым он предложил присоединиться к его заявлению о пересмотре налога на имущество, встретили идею насмешками; Благочестивая Коччамма фыркала: «Какая дерзость! Парень явился из Мадраса и думает, что правительство должно снизить ему налоги!» Одна только Большая Аммачи подписала заявление, разделив с Мастером стоимость межевания и гербовой бумаги. Просьбу удовлетворили. Когда скептики поняли, сколько денег могли бы сэкономить, они принялись взывать к помощи нового соседа. «С удовольствием, — отвечал он. — Следующая оценка имущества через два года, так что у нас уйма времени».

Прибытие Мастера Прогресса и Шошаммы совпало по времени с переменами в традиционных взглядах добрых людей Траванкора. Появлялось все больше разных газет и все больше читателей. Даже неграмотный мог теперь запросто найти чайную, где газеты читают вслух. Новости о растущей оппозиции британскому правлению и о том, что мир стоит на грани войны, просачивались даже в самые далекие и крошечные деревушки. Грамотность меняла образ жизни, который оставался неизменным на протяжении многих поколений. Подтверждением этим переменам, как рассказывает Мастер Шошамме, стала его встреча в чайной.

— Этот парнишка, сидящий без рубахи на скамейке, заявляет — наверное, чтобы произвести на меня впечатление: «Махараджа — британская марионетка. Я с Ганди! Когда Ганди на прошлой неделе устроил марш к морю, почему он мне ничего не сказал? Я бы пошел с ним! Зачем платить налог на соль, когда ее можно взять просто так?» Бедолага. У меня не хватило духу сказать ему, что Соляной марш Ганди^[157] состоялся восемь лет назад. Но сам факт, что он *знает* об этом марше, уже прогресс!

Узнав, что Филипос ненасытный читатель, Мастер радуется за него и объясняет свою собственную страсть к учению:

— Чтение — это дверь к знаниям. Знания повышают урожай риса. Знания побеждают бедность. Знания спасают жизни. Есть ли в округе семья, не потерявшая кого-нибудь из близких от желтухи или тифа? К

сожалению, немногие понимают, что причиной тому заражение воды или пищи и соблюдение санитарных правил может предотвратить болезни!

Энтузиазм Мастера в подобного рода социальных вопросах притягивает к нему как магнитом Филипоса и его сверстников. Подростки принимают девиз Мастера, как свой собственный: *Каждый должен научить хоть одного*. Новый житель Парамбиля вдохновляет ребят на организацию отделений YMCA и YWCA^[158] и создание Библиотеки Парамбиля с Читальным Залом — все это помещается на одной половине его сарая, на котором красуется вывеска, извещающая, что тут располагаются все три организации. Филипос, которому исполнилось тринадцать, руководит своими товарищами по YMCA, они копают отхожие места в каждом хозяйстве, чтобы сливать туда нечистоты и таким образом предотвратить заражение анкилостомами. Девочки из YWCA дают уроки по хранению и обработке пищевых продуктов.

Другая половина сарая отведена под контору Мастера Прогресса. Рядом с высоким картотечным шкафом стоит небольшой стол, на котором восседает, как божество, его драгоценная пишущая машинка. С помощью этого инструмента Мастер осыпает различные ветви власти петициями по поводу дорог, санитарного состояния, санитарного просвещения, автобусной остановки и других улучшений, и все это на самом официальном английском языке Раджа.

— Мууни, — разъясняет Мастер Прогресса свою философию самому преданному помощнику, своей правой руке, Филипосу, — чтобы добиться социальных изменений, ты должен уяснить первый принцип, касающийся денег: никто не хочет с ними расставаться. Будь то муж, дающий деньги жене на хозяйство, или ты, когда платишь цирюльнику, или махараджа, выплачивающий британцам свою десятину, или правительство, выделяющее нам деньги, — кто делает это добровольно? Я называю это «сопротивлением». Крестьяне не понимают, что правительство *обязано* финансировать гражданские проекты, улучшающие нашу жизнь. Иначе для чего мы платим налоги? Наши деньги идут в бюджет! Но какой-то клерк в Секретариате сопротивляется, когда видит нашу заявку на грант. Парень думает: «Аах, они там в Парамбиле всю жизнь обходились без моста. А если мой кузен получит грант и мост построят в моей деревне, тогда

стоимость *нашей* земли вырастет?» Мууни, вот почему я печатаю «копия Его Превосходительству Махарадже» на каждом своем письме. И «копия» каждому функционеру, который сидит выше того человека, которому письмо адресовано. Это заставит парня из Секретариата подумать дважды, верно?

Филипос заинтригованно спрашивает, не забывает ли Мастер вставлять копирку.

— Аах, — в глазах Мастера мелькает лукавая искорка, — на самом деле никаких копий не существует. Но *они-то* об этом не знают.

Когда Мастер Прогресса пригласил махараджу (и на этот раз отправил машинописные копии целому легиону чиновников) на открытие «Первой ежегодной парамбильской выставки новых достижений в области удобрений, ирригации и животноводства», даже Большой Аммачи кажется, что он зашел слишком далеко. Мастер Прогресса уверяет, что ни на миг не допускал мысли, что к ним приедет махараджа, он просто изыскивает пути сотрудничества с чиновниками, которым разослал копии, для организации выставки.

И никто не был удивлен больше, чем сам Мастер Прогресса, когда махараджа принял приглашение! В тот незабываемый день люди, в лучших своих нарядах, съезжаются отовсюду, калеки выбираются из постели, чтобы собственными глазами увидеть королевский визит Его Превосходительства Шри Читира Тирунала^[159]. Все ожидали, что махараджа выйдет в точности как на раскрашенных фотографиях, вывешенных повсюду в школах, магазинах и правительственных учреждениях, — благодушное лицо с откормленными щеками, голова увенчана усыпанным драгоценностями тюрбаном, а грудь полна медалей и крест-накрест перевязана атласными орденскими лентами. А вместо этого они потрясенно наблюдают, как из королевского автомобиля выпрыгивает уверенный в себе светский молодой человек лет двадцати с небольшим, безо всяких тюрбанов, в безупречно черном пиджаке с воротником-стойкой, брюках-галифе цвета хаки и начищенных коричневых туфлях. Его искреннее любопытство и интерес к каждой детали каждого экспоната заставляют зрителей пристыженно обратить внимание на то, что им демонстрируют. Любовь махараджи к своему народу видна и в мягком дружелюбном взоре, и в его смущенной улыбке. Этот самый махараджа всего два года назад открыто бросил вызов своим родственникам и советникам, отважно

провозгласив «Манифест о входе в храм», позволяющий *всем* индусам *всех* каст входить в храмы. Этот революционный закон вызвал гнев браминов и побудил Ганди сказать, что вовсе не он, а именно махараджа заслужил титул «Махатма», то есть Великая Душа.

Юный махараджа следит за тем, чтобы Мастер Прогресса оставался рядом с ним в течение всего визита, предоставив районным чиновникам толкаться локтями, чтобы подобраться поближе к начальству; в своей речи Его Превосходительство называет Мастера по имени и приветствует прогрессивный дух развития деревни Парамбиль как «пример для Траванкора». Фотография Его Превосходительства рядом с Мастером, которая была опубликована в газете, отныне висит в рамочке в библиотеке-клубе. Это и был тот самый день, когда человек, придумавший грандиозную идею, проделавший громадную работу и призвавший самого махараджу в их отдаленный уголок земли, получил имя Мастера Прогресса. А теперь никто и не помнит его христианского имени.

Прошло четыре года после его приезда в Парамбиль и три года после исторического визита махараджи, и Мастер Прогресса обратился к Большой Аммачи с еще более дерзкой идеей: если они пересчитают по головам все семейства, включая пулайар и ремесленников, а вдобавок учтут рисовую мельницу, лесопилку, однокомнатное здание дошкольного обучения, чайные, лавки портных и другие заведения и если подсчитают общее количество скота, тогда Парамбиль мог бы стать «районным центром». Он объяснил преимущества такого обозначения. И Большая Аммачи сразу же дала свое благословение. Она видит в Мастере того самого человека, который воплощает в жизнь мечты ее мужа о земле, которую он обустроил. Мастер получил подписи от всех семейств, ссылаясь на имя Большой Аммачи, если кто-то сопротивлялся. Скептики ворчали: «Зачем это? Что, если мы станем районным центром, это заставит петухов кукарекать по часам? Или рис сам себя соберет?»

Потребовался целый лес для нужного количества бумаги, множество поездок на автобусе в Секретариат в Тривандраме и семь месяцев и шесть дней, прежде чем Парамбиль получил статус «районной деревни», а с ним и вливание средств из казны махараджи на «подъем деревни». Скептики умолкли. Наемные государственные

рабочие строят водоотводы и кладут дренажные трубы, чтобы новое дорожное полотно не смывало. Близлежащий канал расширен, углублен, очищен от ила, и берега его укреплены новыми каменными стенками, что увеличивает поток барж. Новый статус приносит с собой «Почтовое отделение *Анчал*»^[160] и почтмейстера на государственном жалованье. Поколениями махараджи Траванкора отправляли почту через систему Анчал: гонцу, держащему в руке посох с бубенчиками, все обязаны уступать дорогу, согласно королевском указу, хотя в наши дни гонцы не бегут, а пользуются автобусами, железной дорогой и паромами. «Почтовое отделение Анчал» является частью Британской Индийской почтовой службы, жители Парамбиля смогут отправлять письма по всей Индии и даже за границу — нет нужды больше беспокоить аччана просьбами отвезти или забрать письмо в диоцезе Коттаям.

И приходит день, когда открывается скромное однокомнатное здание администрации, табличка на котором гласит: ПАРАМБИЛЬ П. О. Мастер Прогресса настаивает, что Большая Аммачи, как матриарх Парамбиля, должна перерезать ленточку. Единственная в жизни фотография Большой Аммачи на следующий день появляется в газете. На первый взгляд кажется, что в центре фото стоит улыбающаяся девушка с ножницами в руках, а позади нее толпятся более рослые взрослые. Но это не кто иной, как сама Большая Аммачи, и лицо ее, вне всяких сомнений, светится гордостью.

В тот вечер, когда опубликовали фотографию, она сжимает ее в руке, беседуя с Богом.

— Мой покойный муж не умел ни читать, ни писать, но умел видеть будущее, так ведь? И оно свершилось, да так, как он и не мечтал. — Она плачет. — Как бы я хотела, чтобы он мог это увидеть.

Обычно Бог молчалив, но этим вечером она слышит Его голос так же ясно, как Павел на пути в Дамаск.

Твой муж видит это. Он видит тебя. И он улыбается.

глава 39

География и супружеская судьба

1943, Кочин

Обеспечивая потребности военного времени, все портные Кочина строчили исключительно форму для армии, им не до Мастера Прогресса и Филипоса, которым срочно нужно снарядить Филипоса в колледж. Один из портняжек предложил попытать счастья в Еврейском городе. Вот они и побрели через рынок пряностей, глаза на горы перца, гвоздики и кардамона под высокими сводами складов. Остановились понаблюдать за старинным ритуалом: покупатель садится на корточки перед продавцом и берет его за руку, продавец набрасывает свой тхорт поверх их рук. Безмолвно высказанные пальцами, сложенными в символы, которым сотни лет и которые понятны на любом языке, — предложения и контрпредложения летают туда-сюда под колышущимся тхортом, скрытые от взглядов других покупателей.

У портного в Еврейском городе нашлась подходящая готовая одежда, а в мануфактурной лавке они купили металлический сундучок, матрас и постельное белье, кожаные сандалии, голубое мыло для стирки, белое мыло для тела и зубную пасту.

— Больше никакой бобовой пасты для мытья волос или толченого угля для чистки зубов, дружище! — радостно восклицает Мастер Прогресса, изо всех сил стараясь подбодрить юношу.

Самым горячим желанием Большой Аммачи было, чтобы ее сын изучал медицину, — спасение жизни сына лодочника означало, что Господь показал ему предназначение. Но сам Филипос считал, что Господь показал ему ровно противоположное: что он слаб желудком и духом. Он и прежде был брезглив, а после того события начал падать в обморок от одного только вида крови, если не успевал быстренько присесть. Вдобавок ребенок лодочника спустя полгода умер от кишечной инфекции, что тоже не добавило убедительности доводам Большой Аммачи. Если у ее сына и было призвание, истинная страсть,

то к словам, начертанным на книжных страницах, и к тому волшебству, которое могло перенести его самого и его слушателей в дальние края.

— Аммачи, когда я заканчиваю книгу и поднимаю голову, оказывается, что прошло всего четыре дня. Но за это время я проживаю жизнь трех поколений и узнаю о мире и о себе больше, чем за год в школе. Ахав, Квикег, Офелия и другие персонажи, они умирают на страницах книг, чтобы мы в нашей жизни могли жить лучше.

Это граничило с богохульством, но мальчик получил благословение матери на изучение литературы. Филипос подал заявление в престижный Христианский колледж Мадраса — то самое место, где учился и преподавал Коши саар, давший ему рекомендательное письмо. Когда Филипоса приняли в колледж, старик был в упоении. Но за две недели до отъезда юноши Большая Аммачи и Мастер Прогресса заметили, что восторги Филипоса уступили место опасениям, он замкнулся и ушел в себя. Мастер Прогресса всеми силами пытался успокоить и ободрить юношу.

В три часа дня Мастер Прогресса и Филипос садятся в коляску рикши, чтобы ехать на вокзал. Жара и влажность в Кочине отупляют настолько, что комнатные мухи теряют высоту и шмякаются на пол. После обеда продавцы в лавках сидят с отяжелевшими веками, недвижимые, как цементные заграждения в гавани. Город вновь оживет только к вечеру, когда станет прохладнее.

Но на платформе нового Южного вокзала в Эрнауламе^[161] скорое отправление «почтового» создает собственные вихри и циклоны. Носильщики с напряженными лицами снуют по перрону, покачивая груды багажа на головах. Ромео с гирляндой в руке перепрыгивает через тележку и мчится сказать последнее прощай возлюбленной. Инженер англо-индиец, поставив ногу на подножку, высовывается рассмотреть дымовой шлейф глазом художника, смешивающего краски, предвкушая, как скоро отпустят тормоза.

— Первый свисток, — жизнерадостно объявляет Мастер Прогресса.

Он стоит на перроне, с легкой завистью заглядывая через решетку в вагон третьего класса. Филипос, сидящий внутри у окна, обосновался в своем купе самым первым, семеро остальных пассажиров еще устраиваются.

— К тому времени, как окажетесь в Мадрасе, — шепчет Мастер Прогресса, — вы станете одной большой счастливой семьей, точно тебе говорю.

Филипос, не расслышав, вопросительно приподнимает бровь. Мастер говорит чуть громче:

— Я сказал, что многое бы отдал, чтобы поехать с тобой до конца. Большая Аммачи предлагала... но Шошамма... — Он мысленно отстраняет воспоминание о том, как нахмурилась жена. — Тебя ждет столько радости! — Хлопает ладонью по стенке вагона, как по крупу любимого буйвола. — Знаешь, лучше всего мне всегда спалось в поезде.

Мастер Прогресса в брюках и рубашке с воротником — Филипос никогда не видел его в этом официальном костюме, — с носовым платком, сложенным прямоугольником и засунутым под воротник, чтобы защититься от пота.

— Второй свисток запаздывает, — взглядывает он на часы.

И тут же слышится скрип сотен башмаков, и вскоре перрон заполняется марширующими солдатами индийской армии, с винтовками и вещмешками в руках. Молчаливые, загорелые, свирепого вида мужчины едва замечают окружающих. Треть из них — бородатые сикхи в тюрбанах. Эмблема «Красный орел» Четвертого пехотного полка нанесена трафаретом на сундуки на тележке, едущей следом.

— Аах, все понятно, — тянет Мастер Прогресса.

Эти люди были брошены в Британский Судан и сражались за освобождение Абиссинии от итальянцев, они видели смерть и сами несли ее. «Четвертый» направляют в Бирму, где наступают японцы. Война, которая казалась такой абстрактной в Парамбиле, вдруг становится слишком реальной, запечатленная на лицах этих отважных мужчин.

Мастер Прогресса поглаживает усы ногтем большого пальца. Он видит, как Филипос неосознанно копирует его, хотя, по его мнению, этот пушок девятнадцатилетнего лучше бы сбрить, чем придавать ему форму. Но кто может винить мальчика? Мужчина без усов обнажен и уязвим, как некрещеный младенец, чья душа пребывает в опасности.

— Кстати, — вспоминает Мастер, — держи-ка на всякий случай это письмо. Оно к моему другу Мохану Наиру. Обращайся к нему в крайнем случае. Он хозяин «Саткар Лоджа», рядом с вокзалом Эгмор.

Филипос прячет письмо. Мастер Прогресса вздыхает:

— О, Мадрас... как я скучаю по нему! Марина-Бич, рынок Мур...

Никогда прежде Филипос не слышал этих ноток сожаления.

— Зачем вы уехали?

— А и правда, зачем? У меня была хорошая работа, пенсионная касса... Но разве не каждый малаяли мечтает вернуться домой? У моего отца не было своей земли. И когда Шошамма получила в наследство участок в Парамбиле, наша мечта сбылась. Благословение Господне.

— Для нас тоже, — тихо произносит Филипос. — Моя мама всегда так говорит.

Мастер Прогресса отмахивается, но ему приятно. Вагон вздрагивает. Мастер протягивает руку, стискивает плечо Филипоса.

— Мы все очень гордимся тобой! Житель Парамбиля поступил в Христианский колледж Мадраса. Ты будешь первым человеком в своей семье, кто получит диплом! Как будто мы все едем вместе с тобой в этом поезде. Благослови тебя Господь, мууни!

Мастер идет рядом с тронувшимся поездом; вагон пока ползет как улитка; он огорчен, видя ужас на лице Филипоса.

— Не волнуйся, мууни. Все будет хорошо, обещаю тебе! — И еще долго машет вслед, даже когда рука его воспитанника давно скрылась из виду.

Мастер Прогресса едва не плачет, ему хочется кинуться следом за поездом. Все существо его разрывается надвое, и это не имеет никакого отношения к Филипосу. Одна его половина, лучшая, всей душой жаждет прыгнуть в этот поезд и вернуться к жизни клерка В-Том-Что-Некогда-Было-Старой-Доброй-Ост-Индской-Компанией. А другая — одинокая фигура с поникшими плечами и в штанах, которые он уже не может застегнуть, — стоит в унынии на пустынном перроне, в компании бродячего пса, не в силах представить возвращение домой.

Закрывая глаза, он чувствует запах кожаного переплета бухгалтерских книг Того-Что-Некогда-Было-Старой-Доброй-Ост-Индской-Компанией (это название он предпочитал «Постлетуэйт & Сыновья», от которого язык сломать можно). Для сына бедного рыбака, закончившего только среднюю школу, получить должность клерка уже было выдающимся достижением. Они с Шошаммой были счастливы

в Мадрасе. Подобно всем малаяли, мечтали, как в один прекрасный день купят участок в родном Земном Раю и вернутся в цветущий зеленый край своего детства, где в каждом дворе ветви клонятся под тяжестью бананов и буйно растет *káppa*^[162]. По пятницам они с Шошаммой ходили на Марина-Бич, сидели на песке, прислонившись друг к другу, и даже держались за руки. Когда мимо проезжала тележка с лотерейными билетами, они всегда покупали один и возносили молитвы. А вернувшись домой, неизменно занимались любовью, и волосы Шошаммы пахли соленым бризом и жасмином.

Когда Шошамма получила наследство, супруги даже не обсуждали, что делать дальше. Они выиграли в свою лотерею. Он уволился, они попрощались с друзьями и переехали в Парамбиль. Программа «подъема деревни» не дает ему скучать, но он тоскует по суете мадрасской конторы, по брокерам и агентам — англичанам и местным, — которые вечно толклись там. Он был винтиком в механизме мировой торговли и рассказывал восхищенной Шошамме о событиях дня. И конечно, никогда не упоминал о Блоссом, стенографистке англо-индианке в цветастых платьях с узким лифом, которая многозначительно улыбалась ему. Блоссом открывала двери его воображения. О, чего только не вытворял его разум! В моменты близости с Шошаммой он иногда представлял, как Блоссом нашептывает ему всякие непристойности, потому что их с Шошаммой интимная жизнь происходила в гробовом молчании. А сейчас, в Парамбиле, даже Блоссом померкла. Фантазию трудно поддерживать вдали от ее источника, так же как выигрыш в лотерею не приносит вечного счастья.

«География — это судьба», — любил приговаривать его босс, Дж. Дж. Гилберт. Мастер Прогресса полагает, что, скорее, «География — это личность». Потому что Шошамма из Мадраса, которая перед его возвращением со службы принимала ванну, жевала бутон гвоздики, надевала свежее сари и украшала прическу цветками жасмина, уступила место Шошамме из Парамбиля, в бесформенной чатта и мунду. Пропала соблазнительная полоска обнаженной талии, проглядывавшая между сари и блузкой, одежда больше не подчеркивает ее грудь и ягодицы. В Мадрасе они ходили в церковь лишь изредка, а теперь Шошамма настаивает, чтобы они являлись на каждую воскресную службу, и вдобавок завела привычку молиться по

вечерам. Она все такая же любящая и игривая, но теперь начала вмешиваться в деловые вопросы, которые прежде всегда оставляла на его усмотрение. Сначала по мелочам, вроде отмены его распоряжений пулайанам. А тут не так давно он вернулся из Тривандрама и обнаружил, что Шошамма продала весь урожай кокосов торговцу Куриану. Мастер Прогресса был ошеломлен, обижен и зол, но сдержался. Решил наказать жену молчанием. И вдруг на следующий день вышел указ о запрете создавать запасы продовольствия и цены на кокосовые орехи резко упали, застав врасплох Куриана и многих других, а вот они сами благодаря Шошамме отлично заработали. Это было простое везение и вовсе не оправдывало ее действий. Той ночью он, все так же храня молчание, по привычке потянулся к жене. Они занимались любовью очень часто, на самом деле почти каждую ночь, и уж непременно по субботам и воскресеньям. Жена всегда занимала привычную позицию, и Мастер полагал, что это означает готовность, если и не страстное желание, с ее стороны. Но в ту ночь, когда он нежно потянул ее за бедро, Шошамма не перевернулась. Он потянул еще.

— Это все, что у тебя на уме? — сонным игривым голосом пробормотала она, не поворачиваясь к нему. — У нас двое детей, уж точно можно закончить с этим.

Он сел в кровати, уязвленный словами, которые были не прелюдией и вообще никакой не шуткой! Это что, выходит, все эти годы она страдала от секса с ним? Нарушив молчание, Мастер с негодованием обратился к спине жены:

— Значит, долгие годы я беру на себя инициативу в исполнении супружеских обязанностей, как и предписывается в Послании к Коринфянам, а теперь в награду меня называют развратником?

Она не реагировала, и это привело Мастера в неистовство.

— Если ты так к этому относишься, тогда попомни мои слова, Шошамма, отныне я не буду искать близости!

Жена медленно повернулась, внимательно посмотрела на него, напуганная угрозой, — ну или ему так почудилось.

— Да, клянусь перед лицом Мар Грегориоса, что никогда не начну первым. Отныне, Шошамма, ты сама должна будешь приставать ко мне.

Она, кажется, удивилась, а потом ласково улыбнулась и проговорила:

— Аах. *Валаре, валаре* спасибо.

Большое, большое спасибо. И произнесенное по-английски «спасибо» сделало ее сарказм еще обиднее. Жена отвернулась и уснула.

Он сразу же понял, что совершил чудовищную ошибку, Шошамма ведь никогда не начинала первой их любовные игры. А с ее нынешним христианским благочестием никогда и не начнет! Он глаз не сомкнул, меж тем супруга спала сном праведника. Утром Шошамма с улыбкой наливала ему кофе. Если она и чувствовала себя виноватой, то никак не подавала виду.

Его добровольный обет безбрачия, длящийся уже больше года, подобен преддверию смерти. Со временем чувства к супруге ожесточились, но желание никуда не делось. В своих снах Мастер следует плотскими тропами. В часы бодрствования вся его энергия уходит на «подъем деревни».

Сейчас, когда поезд уносит вдаль частицу его души, Мастер чувствует, будто расплзается по шву, и на сердце у него неизмеримая тяжесть. Разве может один лишь «подъем деревни» поддержать его дух? Даже если в один прекрасный день махараджа дарует ему титул, разве это облегчит боль? Неужели лучшая часть его жизни позади?

Недалеко от станции его внимание привлекает табличка, прибитая к пальме около канала. Под написанными от руки буквами пририсована грубая стрелка: *കളളി*. *Калл-ух*. Тодди. Он идет в направлении, указанном стрелкой, вдоль канала, вдоль поблескивающей зеленым воды, пока не видит лачугу, скрывающуюся в высоких тростниках, с точно такой же надписью, словно потту на ее деревянном лбу. В полумраке заведения Мастер пьет в одиночестве, впервые в жизни. Когда у мужчины дома все в порядке, ему нет нужды шляться по забегаловкам. Он делает длинный глоток из бамбуковой чашки. В тодди нет ничего нового. Но сегодня днем, к его изумлению, мутно-белый напиток превращается в волшебный эликсир, который восстанавливает душевное равновесие, облегчает страдания. Как будто с той досадной ночи с Шошаммой на его груди лежал камень размером со слона. А сейчас в сумрачном кабаке этот камень, увлажненный тодди, соскальзывает. И в тот же миг Мастер понимает, что влюбился и что не для всякой любовной связи нужен другой человек.

глава 40

Клеймо изгоев

1943, Мадрас

Когда Филипос открывает глаза, уже утро и они с грохотом несутся мимо запруженных людьми и машинами железнодорожных переездов в пригородах Мадраса, вдоль мощеных дорог и приземистых домов. В любую сторону, сколько хватает глаз, небо и горизонт и не видать ни одной кокосовой пальмы. Палитра Мадраса в одной-единственной гамме: почва коричневая, асфальтовые дороги покрыты коричневой пылью, а побеленные здания имеют коричневый оттенок. Здесь, кажется, вообще нет ни реки, ни каналов. Локомотив гроыхает через городской тоннель, свист усиливается, и вот они вползают в похожее на ангар пространство Центрального вокзала, город в городе. Носильщики в красных тюрбанах сидят на корточках у края перрона, их носы, в дюймах от движущихся вагонов, неподвижны. При звуке свистка они запрыгивают, как мартышки, в купе, не обращая внимания на пассажиров, бросаются на багаж и скалят клыки друг на друга.

Белые усы носильщика торчат, как отбойник на носу паровоза, когда он плывет сквозь толпу на перроне с сундуком и матрасом Филипоса на голове. Шум давит на барабанные перепонки Филипоса: скрип тележек на металлических колесах, оси которых изнемогают без *масла*; резкие свистки; вопли уличных торговцев; детский визг; наглые громадные вороны, каркающие над остатками риса на разбросанных банановых листьях; непрекращающиеся крики носильщиков «*Вáжи, важи!*» — *Посторонись, посторонись!* — и надо всем этим громоподобный глас из репродукторов, объявляющий прибытие на платформу какую-то-там. Голова Филипоса идет кругом от сенсорной атаки.

Платформы сливаются в огромный вестибюль с цементным полом, размером больше, чем три футбольных поля, и высотой в пять этажей, накрытый металлической крышей, которую поддерживают стальные балки. Солдат здесь больше, чем на перроне в Кочине. Бурлящая толпа

роится, как муравьи на трупe, струится потоками, завиваясь водоворотами вокруг неподвижных островков — путешественников, примостившихся на своих пожитках. Один такой островок — семейство с обритыми головами, похожие на яйца, укутанные шафрановой тканью, — паломники из Тирупати или Рамешварама^[163]. Носильщик обходит еще одну компанию, пестро одетых цыган, одна из которых — женщина в огненно-красном сари — впивается в Филипоса темными подведенными глазами. Она сидит на низеньком деревянном ящике, задрав колени и скрестив ноги, словно восседает на бархатных подушках, эдакая зачуханная махарани. Филипос не может отвести взгляд. Она приподнимает свое красное сари и одновременно показывает Филипосу язык, влажный мясистый орган скользит меж белоснежных зубов, а потом она хохочет над его испуганным лицом. *И это только вокзал, деревенщина. погоди, что еще будет, когда окажешься на улице.* Под ее взглядом стремление юноши стать литератором кажется просто смешным. А уж что чувствуют его нос, глаза, уши и все тело, и вовсе не поддается описанию словами. Если бы Филипос мог немедленно развернуться и вскочить в обратный поезд, он так и поступил бы.

— ОЙ! ОЙ! ОЙ! — кричит кто-то, и, обернувшись, Филипос видит краснолицего коренастого белого мужчину в соломенной шляпе, с выражением крайней тревоги на лице.

Мужчина указывает куда-то рукой, продолжая кричать. Пуговицы его льняного костюма выпирают на бочкообразном туловище. Наверное, белые — существа холоднокровные, думает Филипос, иначе как можно носить столько одежды? Мужчина едва успевает оттащить Филипоса в сторону, как мимо проносится тележка, груженная металлическими ящиками, и острый край разрывает его рубаху. Носильщики, толкающие тележку, орут на Филипоса на тамильском, который достаточно похож на малаялам, чтобы юноша понял, что его просят вынуть голову из задницы, дабы звуки могли достичь его ушей. Они, должно быть, уже давно кричали ему, но с этим шумом со всех сторон откуда ему было знать?

Белый человек многозначительным жестом указывает на свои уши, как бы говоря: *Пользуйся ими!*

Сконфуженный Филипос трусит за своим носильщиком через брешь в трехэтажной горе посылок, обшитых джутовой тканью, с

фиолетовыми надписями на боках. Пот огромных машин, шумные выдохи паровозов, пар от скопления людей разрывают его легкие. Снаружи он наконец оглядывается на кирпичную топку здания, из которого вырвался. Никогда в жизни он не видел такого высокого рукотворного сооружения, как часовая башня Центрального вокзала. И уж лучше он отправится домой пешком, чем еще раз войдет туда.

На рикше и электрическом трамвае Филипос добирается до пригорода Тамбарам, в Христианский колледж Мадраса, и встает в очередь из новичков возле кабинета казначея, чтобы внести плату. Свежеступившие студенты опасаются того, о чем Филипос и не задумывался, — испытаний при вступлении в студенческое братство, иными словами, «издевательств» над новенькими со стороны старшекурсников. Мастер Прогресса предупредил его. А он совсем позабыл.

И действительно, в общежитии, куда его направили, Сент-Томас-Холл, когорта старших ведет молодняк в «болота» — общие ваннные комнаты — и заставляет их сбривать усы и укорачивать бачки на дюйм выше мочки уха, чтобы по облику оципанной курицы их легко было опознать. Затем, покрикивая, как сержанты, они учат отдавать салют первокурсника, обязательный для приветствия старшего, он включает в себя прыжок вверх с одновременным зажатием в пригоршне собственных тестикул. Для Филипоса все это шокирующе и немного комично. Некоторые из однокурсников дрожат от страха, а один так даже хлопнулся в обморок. Через несколько часов после заселения в общежитие Филипос уже на посылках у старших в своем крыле: покупает сигареты для Тангавелу и стирает исподнее Ричарда Баптиста Д'Лима III.

Утром в воскресенье первокурсники бреют старших, которые рассаживаются в ряд на веранде. Филипос орудует бритвой, и задача у него нелегкая, поскольку Ричард Д'Лима III не замолкает ни на минуту, его адамово яблоко гуляет вверх-вниз по горлу, когда он приветствует проходящих мимо товарищей. Филипос и остальные новенькие здесь вроде низшей касты, невидимки, выполняющие черную работу за своих хозяев.

— Ну что, братья, кто идет к мадам Флори в Сент-Томас-Маунт? — вопрошает Д'Лима. — Девственникам скидка. Эй, Тамби, пошли,

начнем год правильно!

Тамби и остальные старшекурсники не обращают на него внимания. Филипос с трудом удерживает бритву ровно. Д'Лима замечает его смущение и хохочет:

— Эй, Филипос. Что толку в образовании, если не научишься полезным навыкам?

— Сэр, да, сэр, — лепечет Филипос. И чувствует, как краска заливает лицо.

Д'Лима смотрит на него с выражением, похожим на сочувствие. И продолжает чуть тише:

— Послушай, дурень, пока не сходишь к Флори, считай, не жил. По крайней мере, узнаешь, что делать в первую брачную ночь. Шутки в сторону, я серьезно. Я свожу тебя. Угощаю. Что скажешь?

У Филипоса язык прилип к нёбу. Д'Лима некоторое время ждет ответа, затем встает, раздосадованный отказом.

— Японский самолет две недели назад бомбил Цейлон, ты в курсе, Филипос? Просто чтобы показать нам, что они могут дотянуться и сюда. И если нас разбомбят сегодня ночью, ты помрешь девственником, держа в одной руке свой член, а в другой долбаную книжку, дрожа прямоком в загробную жизнь. Чертов идиот, ты упускаешь свой шанс.

Филипос краем глаза замечает свое лицо в зеркальце. И видит примерно то же, что и цыганка, сидевшая на ящике на вокзале, когда показала ему язык, — сконфуженный мальчик, теперь еще и с голой верхней губой и подбритыми висками, мальчик, которому суждено умереть девственником.

Первая лекция, «Английская грамматика и риторика», — общая для всего первого курса, и для гуманитариев, и для студентов естественных наук. Занятие проходит в старой темной аудитории, где полукруглые ряды скамей поднимаются под потолок. В расписании сказано, что лекции читает А. Дж. Гопал, занятие должно начаться с короткого приветственного слова профессора Браттлстоуна, директора. Горстка женщин заполняет первый ряд; мужчины, оставив один ряд позади женщин пустым, будто те заразные, занимают остальные места. Филипос забирается подальше, на самую верхотуру. В аудиторию входят двое: высокий стройный индеец — это, наверное, Гопал, а второй — белый. Филипос сразу его узнает, это тот самый мужчина,

который спас его от тележки на Центральном вокзале. Который велел ему пользоваться ушами. Сейчас на нем, как и на Гопале, черная профессорская мантия поверх костюма! Филипос пытается стать невидимым.

Однокурсники записывают что-то — видимо то, что сказал Гопал. Но что именно? Он подглядывает в тетрадку соседа. «Первая консультация, пятница, 14:00». Пока Филипос пишет в тетради, тот же сосед толкает его локтем:

— Эй, это же ты? Ты Филипос?

Филипос поднимает голову и видит, что все глаза в аудитории обращены к нему. Кажется, Гопал назвал его имя. Филипос подскакивает с места:

— Да, сэр?

— Просто скажите «Присутствует», — строго говорит Гопал. — Понятно?

— Присутствует, сэр.

Профессор Браттлстоун долго задумчиво разглядывает Филипоса. Когда он наконец отворачивается, покрасневший Филипос шепчет соседу:

— Я не расслышал Гопала!

— Ерунда, не переживай, — успокаивает тот, хотя выражение лица, жалостливое и слегка насмешливое, говорит об обратном.

Никакая это не ерунда. Когда все обернулись и уставились на него — и Браттлстоун в том числе, — Филипосу захотелось, чтобы под его стулом распахнулся люк. Занятия еще толком не начались, а он уже чувствует себя заклеянным, как человек с вороньим дерьмом на голове.

Приветственная речь Браттлстоуна затягивается. Она, должно быть, забавна, потому что в аудитории то и дело раздаются смешки. Филипос слышит преподавателя, но, удивительное дело, не может толком разобрать, что именно тот говорит, за исключением отдельных слов. Как только Браттлстоун удалился, Гопал выдвинул свое кресло, достал конспекты лекций и скомандовал:

— Записывайте!

Студенты застыли наготове. Затем Гопал уткнулся в свои записи, так что Филипосу сверху видно было только его лысину. И начал бубнить по бумажке, только иногда поднимая взгляд, чтобы качнуть

головой или подчеркнуть особо важный момент. Вокруг Филипоса народ усердно водил перьями, сам же он замер без движения. Следующая лекция, «Введение в поэзию», проходит в той же аудитории. Филипос потихоньку перебирается в первый мужской ряд, но все равно это в трех скамьях от кафедры. Преподаватель, К. Ф. Куриан, кажется, любит свой предмет, он расхаживает перед студентами, отпускает шутки. Филипос отлично слышит его, но только когда Куриан стоит к нему лицом.

В течение всей недели Филипос терпел тиранию старшекурсников в общежитии, но это беспокоило его гораздо меньше, чем чувство неуверенности на занятиях. Он как будто оказался в стране, где люди говорят на другом языке. Он берет конспекты у однокурсников и переписывает их. Учебники, которые он купил на рынке Мур, — толстые «Поэты Елизаветинской эпохи» и «Средневековая английская литература» — ужасно скучны. За исключением «Шекспир: Введение», нет ни единой книги, которую он читал бы с удовольствием.

На третьей неделе учебы Филипоса разыскал посыльный от профессора Браттлстоуна. И вот юноша уже ждет вызова в приемной. Профессор предлагает сесть.

— Как ваши дела с учебой? — интересуется профессор, медленно направляясь к своему столу.

— Очень хорошо, сэр.

— Прошу простить, что задаю этот вопрос, но вы... плохо слышите лектора?

Филипос удивленно замирает.

— Нет, сэр! — автоматически отвечает он. Дрожь пробегает по телу. Древний инстинкт подсказывает, что он в опасности и загнан в угол, внутренний зверек затравленно моргает при виде преследователя. Браттлстоун разглядывает юношу с откровенным любопытством, почти с сочувствием.

Затем отворачивается и начинает поправлять книги на полке. Потом вновь поворачивается к Филипосу и смотрит на него вопросительно:

— Вы слышали, что я только что сказал?

Филипос чувствует, что тонет. Он вновь мальчик, который упорно пытается научиться плавать, но неизменно идет ко дну; его

вылавливают, и он отплеывается грязью, пока лодочники хохочут, сгибаясь от смеха.

— Нет, — тихо признается он. — Нет, не слышал.

— Мистер Филипос, я был свидетелем того, как вы попали в опасную ситуацию на Центральном вокзале. Убежден, вы это помните. Некоторые — хотя и не все — ваши преподаватели заметили, что вы прислушиваетесь во время занятий. Что когда вам задают вопрос, вы либо не слышите его, либо ваш ответ неудовлетворителен, потому что вы не поняли, о чем вас спросили. Боюсь, ваша глухота может оказаться достаточно серьезной и помешает вам продолжить обучение.

«Глухота». Слово обрушилось как удар дубиной по затылку. Назовите его невнимательным, скажите, что он непригоден, недостаточно усерден, но только не это. *Я не глухой*. Вопрос в степени. Люди ведь по большей части либо бормочут себе под нос, либо говорят обрывками фраз, а то и вовсе шепчут. Филипос гнал от себя это страшное слово. Он презирает ярлыки, которые отвергают людей. *Не умеет плавать. Не слышит. Не...*

В молчании, которое последовало за страшным словом, Филипос расслышал многое: тиканье больших часов, скрип кресла, в которое уселся директор. Ему, должно быть, тоже неловко.

В конце концов Браттлстоун подводит итог:

— Мне очень жаль. Я направлю вас к врачу колледжа. Он, возможно, порекомендует обратиться к специалисту. Я не вижу для вас возможности продолжать обучение, если ваш слух не улучшится. Будьте готовы.

глава 41

Преимущество недостатка

1943, Мадрас

Но он не готов. Не готов к тому чувству облегчения, что охватило его, — облегчения, смешанного с унижением. Облегчения, потому что его тело, должно быть, знало, что колледж будет в тягость, а душа рвалась в Парамбиль. Его романтические представления об изучении английской литературы жестоко раздавлены сухими текстами и еще более сухими лекторами — судя по конспектам сокурсников, которые он листал. Он тайно мечтал о чуде, которое освободит его, но не готов к такому унижительному исходу.

Как и не готов к очереди, змеящейся у «Клиники уха, горла и носа» при Центральной больнице прямо напротив Центрального вокзала. Пациент дышит в шею пациенту до самой смотровой табуретки доктора Сишайи, и никто не задерживается на этой табуретке дольше минуты. У доктора Сишайи челюсти бульдога, рык бульдога и дыхание бульдога. Он поворачивает Филипоса на крутящемся сиденье, захватывает мочку его уха своей лапой мастифа, настраивает налобное зеркальце так, чтобы разглядеть ушной канал, потом крутит Филипоса в другую сторону, проделывая все то же самое с другим ухом.

Сишайя прижимает кулак к уху Филипоса и приказывает:

— Скажи, что услышишь.

— Услышу что?

— Неважно.

Доктор повторяет в другое ухо, разжимает кулаки и поправляет часы на запястье. Потом прижимает к разным местам звенящую вилочку, устало вздыхая: «Скажи, когда звук затихнет» и «Ты одинаково слышишь обеими сторонами?» — не обращая внимания на ответы Филипоса. Осмотр окончен, Сишайя царапает несколько слов на листке бумаги.

— Барабанные перепонки у тебя в порядке. Среднее ухо в норме. Покажешь санитару это направление. Он отведет тебя к Гурумурти на

аудиометрию.

— Так я здоров, сэр?

— Нет, — не поднимая головы от бумажек, бросает доктор. — Я сказал только, что проблема не связана с барабанными перепонками и слуховой косточкой — с костными структурами уха. Это мы могли бы вылечить. Проблема с нервом, который передает звук в мозг. У тебя невральная глухота. Распространенная вещь. Наследственная. Ты совсем молод еще, но так бывает.

— Сэр, а есть лекарство для лечения нервов...

— Следующий!

Следующая пациентка, тетка с красным грибообразным наростом, торчащим из ноздри, сталкивает своей задницей Филипоса с табурета, и санитар ведет его к другому доктору.

Вадивел Канакарадж Гурумурти, бакалавр (не аттестован), не слышит, как они стучат в дверь, не слышит, когда они входят и окликают его по имени, он озабоченно выписывает что-то измазанными в чернилах пальцами, стол перед ним завален бумагами, покрытыми его каракулями. Санитару в итоге приходится орать:

— ГУРУМУРТИ СААР!

— Да?.. А, да, добро пожаловать! — Доктор торопливо отодвигает бумаги и читает направление. — Студент колледжа, аах? О... как жаль. — И ему действительно жаль, в отличие от Сишайи, который едва заметил Филипоса. Пациенты Гурумурти, должно быть, очень глухи, потому что разговаривает он неестественно громко. — Не беспокойтесь! Мы еще проверим! И слуховой, и вестибулярный. Сделаем полную проверку всего!

Тесты у Гурумурти посложнее, чем у Сишайи. С помощью звукового генератора выясняется, что Филипос слышит частоты, которых не улавливает сам Гурумурти, — у сурдолога слух еще хуже, чем у его пациента. Доктор использует целых два камертона, проверяет чувство равновесия, а под конец впрыскивает в каждое ухо ледяную воду, исследуя движение глаз Филипоса. Последнее действие вызывает дикое головокружение.

— Доктор Сишайя совершенно прав, — констатирует Гурумурти. — Простите, дружище. Это невральная глухота. Как у меня! Не задеты ни ушной канал, ни кости, но только нерв.

— Неужели ничего нельзя сделать? — Губы рефлекторно произносят вопрос. Мозг Филипоса все еще в шоке.

— *Все* можно сделать! Вы ведь уже делаете, просто пока не осознаете! Чтение по лицу! Этот термин точнее, чем «чтение по губам», потому что мы должны научиться воспринимать лицо целиком. Я покажу вам, как понимать этот мир, друг мой, не волнуйтесь! Я поделюсь с вами советами и некоторыми личными наблюдениями, опубликованными в буклете. Знаете, может, я и не врач, но сурдолог. А еще физик. Всего лишь бакалавр! Мадрасский университет!

— Да, я видел табличку на дверях.

— Аах, да. «Не аттестован», но однажды там появится «Диплом с отличием». — У него жизнерадостная улыбка человека, который очень часто проводит сам с собой духоподъемные беседы. — Видите ли, письменные экзамены я сдаю блестяще! — поясняет он, как будто бы Филипос спрашивал. Улыбка доктора сияет уже во все лицо. — Но каждый год на устном экзамене профессор Венкатачарья меня заваливает. Он просто шепчет вопросы — ну кто может их расслышать? В любом случае — если не до его кончины, то уж точно после — я сдам устный экзамен.

Следующие два часа Филипос проводит у Гурумурти. Сишайя, видимо, отправляет коллеге немногих пациентов, поэтому у Гурумурти масса времени и желания поделиться всем, что он знает.

Вернувшись в общежитие, Филипос собрал свои вещи, свернул матрас и снял со стены «картину», подаренную Малюткой Мол. Ее автопортрет запечатлел главное: улыбка от края до края плоского диска, изображающего ее лицо, и красная ленточка, торчащая из волос. Филипос подождал, пока стихнут голоса в коридоре, — студенты расходятся на занятия. И достал письмо, которое Мастер Прогресса вручил ему на вокзале.

«Саткар Лодж» — это узкое пятиэтажное здание в лабиринте таких же, каждое из которых расположено всего в нескольких дюймах от соседнего. Мохана Наира, «человека, к которому обращаться в крайнем случае», нигде не видать. Заслышав треск радиоприемника, Филипос окликает. Из-за занавески позади стойки высовывается лицо, помятое, как старая карта. У Мохана Наира мутные и налитые кровью глаза, но зато дружелюбная улыбка трактирщика.

— Как там поживает старый козел? — спрашивает он, изучив рекомендательное письмо наставника. — Все еще носит часы «Фавр-Леба»?^[164] Не спрашивай, как я их для него раздобыл. И по какой цене!

Филипос сообщает, что ему нужна комната на две ночи «и билет на поезд до Кочина через три дня, если можно, пожалуйста». Он старается говорить уверенно, как человек, который знает, чего хочет, а не так, будто ему отрубили ноги.

— Аах, аах! — восклицает Наир. — Билет? Через три дня? А больше ничего? Может, ковер-самолет? Мууни, если встать в очередь на Центральном вокзале, то билетов не достать как минимум на два месяца вперед.

Сердце у Филипоса обрывается. Мохан Наир понимает его чувства.

— Но... давай прикинем, что можно сделать. — Подмигнув, он расплывается в улыбке, которая означает «с волками жить — по-волчьи выть».

На следующий день, прихватив недавно купленные учебники, Филипос выходит в город. Рынок Мур представляет собой грандиозный четырехугольный павильон из красного кирпича, больше всего напоминающий мечеть, но с лабиринтом внутренних переулков, заставленных прилавками. Визгливый голос орет прямо в ухо: «Подходите, мадам, лучшая цена!» Два скворца в клетке подзуживают угадать, кто же из них говорящий. Филипос отворачивается от продающихся здесь щенков, котят, кроликов, зайцев, черепах и даже детенышей шакалов. Едко пахнувшая аммиаком зона уступает место секции, благоухающей газетной бумагой, типографской краской и книжными корешками. Это как вернуться домой.

Полки и заваленные книгами столы в «ДЖАНАКИРАМ, КНИГИ СТАРЫЕ И НОВЫЕ» разделены на отделы юриспруденции, медицины, естественных наук, бухгалтерского учета и гуманитарных знаний. Джанакирам восседает на возвышении, под самым потолочным вентилятором. Его очкам-половинкам недостает дужек, но они удобно устроились на горбинке прямо посередине носа.

— Т. Е. Торп^[165] — это «Гита» и «Веды» с точки зрения экономии, — обращается он к юноше. — Зачем платить за Пристли, когда экзамены можно сдать с Торпом? — Его взгляд падает на Филипоса, потом на книги, которые тот держит.

Букинист спускается с помоста, паучьи пальцы аккуратно касаются учебников, которые Филипос совсем недавно обернул крафтовой бумагой. Посылает слугу за чаем и приглашает юношу в отгороженный альков — его комнату для *пуджи*^[166].

— *Тамби*^[167], я верну тебе деньги полностью, не переживай. Но, айю, расскажи мне, что случилось? — спрашивает он, как только они усаживаются, скрестив ноги, друг против друга.

Филипос не собирался откровенничать, но доброта этого легендарного книготорговца, друга всех студентов Мадраса, вдохновляет его. На лице Джаны последовательно сменяются понимание, возмущение, а затем печаль. Быть выслушанным — это уже целительно, так же как пить густой кирпично-красный очень сладкий чай с молоком и плавающими сверху жирными стручками кардамона.

— Отличный чай, скажу я тебе, — восклицает в конце концов Джана, чмокая губами. — Жизнь так устроена. Бывает крах, бывает успех. И никогда *только* успех. — Он делает паузу, чтобы подчеркнуть важность мысли. — Я хотел учиться. Отец умер. Катастрофа! Что делать? Я работаю! Сначала покупаю старые газеты и перепродаю их, а дальше и старые книги. И что теперь? Я сижу на знаниях! Читаю все и повсюду. Это *лучше*, чем образование. И говорю тебе — у тебя все *получится*! Никогда не сдавайся!

Катастрофы, да их у Филипоса было хоть отбавляй. Он хотел плавать по морям, как Измаил, но Недуг рано развеял эту мечту. Он сказал себе, что будет исследовать мир по суше, но вот он в Мадрасе, а уже рвется домой. Сокрушительное поражение он уже пережил. Как теперь может выглядеть успех? У Джанакирама есть ответ:

— Успех — это не деньги! Успех в том, чтобы всей душой любить то, что делаешь. Только это и есть успех!

В гостинице Мохан Наир ждал Филипоса с билетами на поезд, отходящий через неделю с небольшим.

— Это чудо, что удалось купить. Все перепугались, что японцы бомбят Цейлон. Поезда переполнены. Кстати, позволю-ка покажу тебе кое-что. — Он заводит Филипоса в комнатку за занавеской около стойки, где юноша с удивлением обнаруживает больше дюжины радиоприемников. — Я их продаю без лицензии. Никого не волновали

лицензии до прошлой недели, до всех этих ужасов с японцами. Все теперь подозрительны. Ох, не должно быть никаких лицензий.

Поворотом ручки Наир включает голос, говорящий по-английски. Филипос инстинктивно кладет ладонь на приемник. И мгновенно оказывается *внутри* места, где рождается звук, он слышит его всем телом. Ручка вращается до оркестровой музыки.

— С радио, — уговаривает Наир, — весь мир приходит к твоему порогу. А дешевле ты нигде не найдешь.

На следующий день льет дождь, странное и долгожданное зрелище. Дороги затоплены. К вечеру в Мадрасе отключается электричество. Сумрачные интерьеры рынка Мур освещают только свечи и лампы, потому что электричества нет во всем городе. Филипос здесь, потому что ему не дает покоя мысль Наира про «весь мир приходит к твоему порогу». *Может, я и возвращаюсь домой, но я не изгнанник. Пока у меня есть глаза, а с ними и литература — великая ложь, которая рассказывает правду, — мир в его самых героических и непристойных проявлениях всегда будет принадлежать мне.* После покупки радиоприемника у него еще оставались деньги из возвращенных за обучение. Это деньги, которые мать копила на его образование; Филипос надеется, что она оценит, как он потратит их ровно с этой целью.

— Блестяще, друг мой! — радуется Джанакирам, выслушав его. — Но ты не первый, кому пришла в голову эта мысль!

Он подводит Филипоса к комплекту томов в синем переплете с золотым тиснением, аккуратно расставленным на трех полках в отдельном картонном шкафчике — очень красиво. На корешке каждого тома начертано: *ГАРВАРДСКАЯ КЛАССИКА*^[168]. Джана читает фрагмент из первого тома:

— На одной лишь книжной полке длиной в пять футов уместится достаточно книг, чтобы стать достойной заменой гуманитарному образованию любому, кто будет читать их ревностно и самоотверженно, даже если сможет уделять этому занятию всего пятнадцать минут в день.

Цена отпугивает Филипоса.

— Не волнуйся, — успокаивает Джана. — У меня найдутся такие же, но подержанные. И вообще, у меня есть претензии к выбору

Гарварда. Недостаточно русских! Слишком много Эмерсона... Ты доверишь Джане выбор *настоящей* классики?

Филипос доверяет. Он покупает еще один сундук для своих сокровищ: Теккерей вместо Дарвина; Сервантес и Диккенс вместо Эмерсона. Харди, Флобер, Филдинг, Гиббонс, Достоевский, Толстой, Гоголь... Хотя он уже читал «Моби Дика» и «Историю Тома Джонса, подкидыша», но хочет иметь собственные экземпляры. «Том Джонс» — самая пикантная вещь, которую он читал в своей жизни. В качестве прощального подарка Джана вручает тома 14, 17 и 19 из «Энциклопедии Британника»: от HUS до ITA, от LOR до MEC и от MUN до ODD. Потрепанные тома пахнут белыми людьми, плесенью и кошками.

На полу в его комнате теперь красуются два сундука книг и перевязанная веревкой картонная коробка с радиоприемником из полированного красного дерева с ручками из искусственной слоновой кости. Его приобретения — единственное, что позволяет возвращаться домой с ощущением цели в жизни, а не позорного поражения. Филипос вовсе не отступает в Парамбиль П. О. и не бежит от большого мира. Он приносит этот мир к своему порогу.

глава 42

Поладить могут все

1943, Мадрас — Парамбиль

Пассажиры в купе уже давно заняли места, разложили багаж и вытащили свои подушки и игральные карты к тому времени, когда промокший, заляпанный грязью Филипос вваливается в вагон. Его носильщик расталкивает багаж других пассажиров, пытаясь найти место под лавками для двух сундуков и коробки с радиоприемником. Крупная дама в желтом сари, с ребенком на коленях, негодует, когда носильщик опрокидывает ее чемодан, и бранит его по-тамильски; носильщик не остается в долгу. Молодая женщина в темных очках и в платке, покрывающем волосы, разряжает обстановку, предложив поставить коробку и один сундук на верхнюю полку — ее полку — ровно в тот момент, когда поезд трогается.

В вагоне десять купе, в каждом купе по шесть пассажиров, по трое на лавке друг против друга. На ночь две полки над каждой скамьей опускаются, и скамейки тоже становятся спальными полками. Из соседних купе доносятся смех и радостные голоса. Но в его купе братства совместного путешествия поначалу не сложилось, и виноват в этом Филипос.

Он вытаскивает блокнот. На первой странице записаны аксиомы от Гурумурти. «Человек пишет, чтобы узнать, о чем он думает»; «Если слух нарушен, обоняние и зрение должны стать сверхострыми».

Краем глаза Филипос отмечает движущийся кадык худого парня, сидящего рядом, беспокойные пальцы, поправляющие очки, — верный признак зарождающейся речи. От соседа исходит таинственный аромат камфоры, ментола и табака.

— Следующая станция — Джоларпет, — выпалил сосед. — Якобы самый оживленный перекресток в Азии!

Оказывается, в поезде Филипос слышит гораздо лучше, как и предсказывал Гурумурти, потому что в шумных местах люди повышают тон и громкость речи.

— Неужели? — Филипос закрыл ручку колпачком, признательный, что с ним заговорили.

— Безусловно! Технически это не совсем перекресток. Перекресток предполагает четыре дороги, верно? Но в Джоларпете сходятся только три! В Салем, Бангалор и Мадрас!

Филипос демонстрирует свое восхищение. Сосед, просияв, протягивает костистую руку:

— Арджун-Кумар-Железнодорожник.

Он раскрывает крошечную гравированную металлическую коробочку, объясняющую происхождение таинственных ароматов, вынимает щепотку табака и нюхает, ловко втягивая сразу обеими ноздрями. Откидывается на спинку скамьи с явным облегчением.

Юная дама в шали, сидящая рядом с Арджуном, та самая, которая позволила носильщику разместить багаж Филипоса на ее полке, снимает очки и наклоняется к нему.

— Можно взглянуть? — вежливо интересуется она.

Ноготь скользит по выгравированному узору из листьев и бутонов. Одинокая женщина обычно не начинает разговор первой. Филипос заморожен тончайшим рисунком вен на тыльной стороне ее кисти — словно притоки реки стекаются из промежутков между пальцами. Рука у нее ловкая, как у портного или часовщика.

— Какая изысканная гравировка! — Голос неожиданно низкого тембра. Она переворачивает коробочку и вглядывается в надпись, вытертую от времени. — Вы знаете, что тут сказано?

— Да, я знаю, юная мисс! — хихикает Арджун-Кумар-Железнодорожник и нервно сглатывает, глаза его кажутся громадными за стеклами очков. Девушка ждет.

— И... можете сказать?

— Безусловно, могу!

Девушка и Филипос переглядываются и приходят к одному и тому же выводу: для Арджуна-Кумара-Железнодорожника любой ответ, кроме буквального, столь же недопустим, как назвать «перекрестком» то, что им не является по определению. Девушка улыбается. От нее пахнет свежестью, а еще немножко душистым мылом, которое Гурумурти не одобрил бы (потому что парфюмерия пагубна для обоняния), но Филипос находит восхитительным.

— Тогда не будете ли вы так любезны рассказать мне, что там написано?

— Конечно! Там написано: «Не ругайся, вот оно».

Следует пауза, а затем девушка смеется чудным мелодичным смехом.

Арджун-Железнодорожник чрезвычайно доволен.

— Видите ли, юная мисс, нюхающие табак очень раздражительны! Предположим, подошло время, и предположим, вы уже хотите свою понюшку, и если вы ее не получаете, вот тут-то и начинается брань, а? — Его высокий взбудораженный голос — полная противоположность ее интонациям. — У меня дома целая коллекция табакерок, — гордо заявляет Арджун. — Мое хобби. Вот эта для путешествий. Но как раз сейчас в Мадрасе я купил новую. Минутку, юная мисс.

Пока он роется в вещах, Юная Мисс вырывает листок из блокнота, кладет его на крышку табакерки и трет грифелем карандаша по бумаге, так что проявляется изящный растительный орнамент. Арджун демонстрирует свое новое приобретение — инкрустированную табакерку с тончайшим рисунком: всадники в тюрбанах скачут по перламутровой пустыне.

— Настоящий шедевр на простой табакерке! — потрясенно ахает Юная Мисс, замороженно обводя ногтем рисунок.

— Верно вы сказали, мисс! Каждая вредная человеческая привычка рождает произведения искусства! Коробки для сигарет, бутылки виски, опиумные трубки, не так ли?

— Я читала, что это называется «анатомическая табакерка», — говорит Юная Мисс и чуть отводит назад свой большой палец, тем самым подчеркивая неглубокую треугольную впадинку на тыльной стороне ладони между двумя сухожилиями, которые тянутся от основания большого пальца к запястью.

Филипос зачарован изящным изгибом, напоминающим лебединую шею, и тонкими полупрозрачными волосками на предплечье. Девушка вопросительно смотрит на спутников. Близко посаженные глаза приподняты к внешним уголкам, и этот изгиб повторяют брови, придавая ей экзотический облик египетской царицы. Нос тонкий, очень подходящий к ее узкому лицу. Юная Мисс моментально стирает из

памяти Филипоса всех женщин на земле, как в пьесе Шекспира Джульетта вытесняет Розалину.

Арджун хмурится:

— Некоторые насыпят туда *пóди*^[169] и давай фыркать! Брать щепотку гораздо правильнее.

Юная Мисс даже сидя кажется высокой благодаря осанке танцовщицы. Платок соскользнул, открыв густые черные волосы, заплетенные в простую косу, которую она бессознательным движением перекинула через левое плечо; узкий кончик шелкнул, как хлыст, и упал до самой талии. Ее красота не из тех, что понятны каждому, думает Филипос. (Позже в своем дневнике он запишет: «Женщина нетрадиционной красоты вселяет надежду, что тот, кто увидит, осознает и оценит, может быть тем единственным, кто создал ее красоту».)

Юная Мисс говорит:

— Что ж, полагаю, мы должны попробовать. — Губы озорно изгибаются. В глазах лукавые искорки. Она смотрит прямо на Филипоса: — Что скажете?

Если это доставит удовольствие Юной Мисс, ты готов втянуть носом хоть детенышей скорпиона.

Юная Мисс и Филипос зачерпывают каждый по щепотке, следуя предупреждению Арджуна: «Только понюхать! Не вдыхать. Нююююхать нежно у самого края ноздри! Тщательно избегать попадания в дальнюю часть. Тщательно наблюдать».

Арджун демонстрирует, как надо поступить, и тут же, как отдача винтовки, дважды громко чихает, после чего лицо его расслабляется.

— Два чиха, точь-в-точь. Если не получится больше.

Юная Мисс и Филипос нюююююхают... а потом чихают в унисон, дважды. Застывают с разинутыми ртами, там застрял очередной чих. А потом чихают еще четыре раза. Дуэтом. Миссис Желтое Сари раздражается бурным смехом, остальные присоединяются к ней. Лед растаял.

После Джоларпета Филипос укачивал младенца, пока Мина — Миссис Желтое Сари — отлучалась в туалет, а ее муж готовил их койки. Арджун сдает карты, обучая Юную Мисс играть в «Двадцать восемь». Когда солнце садится, появляются разносчики еды с судками. И тут все социальные различия в купе «С» третьего класса стираются.

Филипоса пичкают едой со всех сторон, он искренне благодарен, потому что ничего не захватил с собой. Молчаливый брамин с поблескивающими в ушах бриллиантами и в поношенных сандалиях, конечно же, вегетарианец, и он предлагает *tхайр садам* (рис, замоченный в соленом йогурте) в обмен на кусочек жареного цыпленка от Мины. «Не надо рассказывать жене. Зачем понапрасну ее тревожить?» Восьмиуровневый контейнер Мины — размером с артиллерийский снаряд. Вклад Юной Мисс — коробочка восхитительного печенья «Спенсер» в розовых бумажных розетках.

К десяти вечера муж Мины с младенцем спят на средней полке, а брамин похрапывает на верхней. Мина, чей рот алеет от паана, наклонившись, признается по секрету Юной Мисс (а значит, и Арджуну с Филипосом), что мужчина, сопящий на средней полке, «всего лишь кузен». Они прожили в Мадрасе три года как муж и жена.

— Как так вышло? — спросите вы. (Хотя Юная Мисс ни о чем таком не спрашивала.) Мы учились вместе до пятого класса. Он мне нравится, и я ему тоже. Но мы же кузены, да? Что делать? Родители выдали меня замуж. Мужа я увидела впервые только в день свадьбы. Симпатичный, лицо светлое, как у тебя. Но после свадьбы выяснилось, что он просто ребенок. Снаружи-то выглядит нормально. А внутри лет десять, не больше. Два года прошло, а я все оставалась девственницей. Он не знал как!

Родня во всем винила Мину. А когда ее кузен, удачно устроившийся в Мадрасе, приехал в гости, они влюбились друг в друга и сбежали.

Анонимность путешествия, размышляет Филипос, дает незнакомым людям право на такую откровенность. Или свободу выдумывать. *Если меня спросят, кто я, откуда и зачем, я непременно что-нибудь сокру. Если они хотят интересной истории, они ее получают. Но какова на самом деле моя история?*

— Я? Полагаю, я тоже сбежала, — отвечает Юная Мисс на вопрос Мины.

Слушатели заинтригованы. Неудивительно, что девушка возраста студентки колледжа путешествует без сопровождения. Общинная атмосфера вагона третьего класса гораздо безопаснее, чем первого (второго класса тут нет), в отдельном купе с запирающимися дверями женщина более уязвима перед случайным соседом.

— Монашкам в колледже было на меня наплевать, — признается она. — Наверное, потому, что мне наплевать на них.

— А ваши добрые отец и матушка?

— Матери у меня больше нет. Отец не слишком обрадуется, конечно.

Филипос с волнением осознает, что они с ней оказались в похожем затруднительном положении. Ее признание уменьшает болезненность отступления в Парамбиль. Но Юная Мисс легче переносит свое возвращение. Он замечает крест на ее ожерелье — она, должно быть, из христиан Святого Фомы, хотя все разговоры в их купе с пассажирами из Мадраса, Мангалора, Виджаявада, Бомбея и Траванкора до сих пор велись по-английски.

Мина сочувственно хмыкает:

— Да к чему вообще этот колледж? Трата времени. После свадьбы будет все равно.

— Надеюсь, мой отец тоже так думает. Но я не готова к замужеству, Мина. Еще не сейчас.

Вскоре и Мина вытянулась на полке, и вот уже бодрствуют только три нюхача. Полка Филипоса — та, на которой они сидят, он сможет улечься отдыхать, только когда лягут остальные. Карандаш Юной Мисс летает по кремовым страницам блокнота, размером вдвое большего, чем у него. Филипос дожидаться не может, когда же Арджун отправится на свое место, но тот все делает какие-то подсчеты на программе скачек. Но ведь когда Арджун ляжет спать, Филипосу придется набраться смелости, чтобы разговаривать с Юной Мисс. Перо его сочится сверкающими чернилами, давая голос внутреннему диалогу, который, возможно, всегда звучал внутри. Как это, оказывается, будоражит. Почему же Чернильный Мальчик, как прозвал его Коши саар, так поздно пришел к этому открытию? Сколько прозрений и откровений растворилось в эфире только потому, что не были записаны?

Из блокнота выскальзывает сложенный листок. Это список возможных профессий, которые он рассматривал, — профессий, которые не требовали ни учебы, ни нормального слуха. В памяти всплывает болезненное воспоминание, как однокурсник поворачивается к нему со словами: *Проснись! Это разве не тебя вызывают?* Обескураженный Филипос убирает листок. Впрочем, все

профессии из этого списка он уже вычеркнул. Да, он и раньше понимал, что слух у него не такой острый, как у остальных, но в обособленном мире средней школы, сидя за первой партой настолько близко к учителю, что порой долетали даже капли слюны, он справлялся. Ему всегда казалось, что бремя заботы о том, чтобы быть услышанными, лежит на других людях. Вплоть до настоящего момента всю жизнь его врагом была вода — Недуг, — которая и являлась настоящим препятствием; вода ограничивала его возможности. Но никогда — слух.

Юная Мисс ушла умыться. Арджун забирается на среднюю полку и очень быстро начинает похрапывать. Если Юная Мисс решит лечь, Филипос должен снять свой багаж с ее полки. Он убирает громоздкую коробку с радиоприемником, пристраивает на полу. Потом хватается за сундук, набитый книгами, подтягивает его к краю, наклоняет, но тот накрывается, грозя обрушиться прямо на Филипоса. Пара крепких рук — Юной Мисс! — приходит на помощь, и вместе они опускают сундук на полку. Она улыбается, как будто они вместе совершили сверхчеловеческий подвиг. И ждет чего-то.

— Пожалуйста, — говорит она, глядя прямо в глаза Филипосу.

Он не поблагодарил! Наверное, все оттого, что она так близко. Опьяненный ароматом ее мятной зубной пасты, он забыл о манерах, забыл вообще обо всем.

— Простите! В смысле, спасибо. И спасибо, что позволили носильщику... — Ужасно неловко так откровенно таращиться прямо в ее зрачки. Он никогда в жизни не смотрел так долго в глаза никакой женщине, только родным. Поезд как будто завис в пространстве.

— Ваш сундук словно кирпичами набит, — как ни в чем не бывало замечает она.

— Да, все книги, какие смог купить. (*Она сказала «книгами» или «кирпичами»?*) А в том еще больше, — показывает он под сиденье.

Она обдумывает информацию.

— А эта коробка? Тоже книги?

— Радиоприемник. Понимаете, я еду домой. Примерно по тем же причинам, что и вы, — выпаливает Филипос. А как же планы выдумать историю? — Не из-за монашек, но меня тоже исключили из колледжа.

Проблемы с моим слухом... как утверждают. Но я доволен. Возможно, это благословение. — Он потрясен собственной откровенностью.

— Для меня тоже, — кивает она. — Я изучала ведение домашнего хозяйства, — она скривилась и тут же рассмеялась, — которое, безусловно, можно изучать и дома. Впрочем, можно было и остаться в колледже. Но это не по мне.

— Мне очень жаль.

— О, не стоит. Как вы сказали, это благословение.

— Что ж... А для того, что хотел изучать я — литературу, — не было нужды оставаться в Мадрасе. И мне ничто не сможет помешать. Единственное, что я знаю наверняка, — я люблю учиться. И люблю литературу. Благодаря книгам я смогу переплыть семь морей, загарпунить белого кита...

Она перевела взгляд вниз:

— Но, в отличие от Ахава, у вас обе ноги на месте.

Она знает его любимую книгу! Филиппос беспомощно следует за ее взглядом, как будто подтверждая, что у него и в самом деле две ноги. И хохочет.

— Да, — с чувством соглашается он. — Мне повезло больше, чем Ахаву. Жизнь ломала меня и била, но мне хочется верить, что я стал лучше^[170].

— Молодец, — поразмыслив, не сразу отвечает она. — А вместе с радио к вам придет и весь мир, верно?

Он никогда не произносил столько слов, беседуя с женщиной своего возраста. Филиппос не сводит взгляда с ее губ. Она задала вопрос. Он уже призвал Ахава. И Диккенса. И вообще, наверное, звучит чересчур напыщенно. Нужно разрядить обстановку шуткой. Но что, если шутка покажется дурацкой? Кроме того, ни одна не приходит в голову. Он открывает рот, собираясь заговорить, произнести что-нибудь умное... но, Господи Боже, она так прекрасна, у нее такие светло-серые глаза... И она видит каждую мысль, болтающуюся в его черепной коробке. Мозг его перегрет и заторможен, а ему всего лишь нужно сказать «да».

— Что ж, тогда доброй ночи, — мягко произносит она. Подходит к лесенке, ставит ногу на первую ступеньку, но медлит. — Это были «Большие надежды»?

— Да! Да, именно. Эстелла!

— Простите, вы не могли бы повторить?

— Несомненно, могу.

Она замирает на секунду, а потом весело хохочет. Оба виновато косятся на спящего Арджуна, потом она наклоняется к нему и шепотом просит:

— Так повторите, пожалуйста, что вы сказали.

— Жизнь ломала меня и била, но мне хочется верить, что я стал лучше.

Она благодарно улыбается. Медленно кивает. Потом лицо скрывается за краем полки.

Он наблюдает, как ее бледные ступни, такие нежные и мягкие, плавно взмывают вверх по ступенькам, окруженные подолом хлопкового сари и блестящей нижней юбки. Она исчезает, но образ остается — мимолетный проблеск подушечки стопы, обратная сторона большого пальца ноги, остальные пальцы, расправляющиеся следом, как дети, спешащие за матерью. Мягкое тепло зарождается в животе и растекается по конечностям. Он грузно опускается на лавку, стучит головой по оконной решетке — но тихонько. *Идиот! Ну почему ты не продолжил беседу? Почему даже не спросил, как ее зовут? Я не хотел показаться назойливым. Что значит «назойливым»? Это и называется поддерживать беседу!* Он с опозданием припомнил шутку: «Как называется малаяли, который не спрашивает, как вас зовут, где вы живете, чем зарабатываете и что у вас в сумке?» — «Глухонемой». *Вот это ты и есть.*

Филипос с горем пополам устраивается на полке, заставленной его багажом, вытянуть ноги не получается. Откладывает в сторону выпавший листок со списком перечеркнутых профессий, и перо его летает по страницам блокнота.

Она, должно быть, думает, что я из тех, кто нюхает табак, когда нюхают другие, ест, когда едят все вокруг, и говорит, только когда к нему обращаются. Но я же не такой! Прошу вас, Юная Мисс, не осуждайте меня за нерешительность. А разве с его стороны честно судить о ней, как он судит, — уверенная в себе, готова расспрашивать обо всем, что ей интересно, но при этом вполне согласна промолчать, когда не получает ответа? Он физически остро ощущает, что она лежит над ним и разделяет их только Арджун-Железнодорожник.

Филипос просыпается при ярком свете, за окном сияет зеленый пейзаж: залитые водой поля с петляющими меж ними узкими земляными насыпями, едва удерживающими воду, в неподвижной поверхности отражается небо; кокосовые пальмы, бесчисленные, как листья травы; спутанные плети огурцов по берегам канала; озеро, усеянное каноэ, и величественная баржа, раздвигающая мелкие суденышки, словно процессия, шествующая по церковному проходу. Ноздри улавливают запахи хлебного дерева, сушеной рыбы, манго и воды.

Но еще прежде, чем мозг регистрирует эти образы, его тело — кожа, нервные окончания, легкие, сердце — узнает географию родины. Он никогда не понимал, насколько это важно. Каждый кусочек этого цветущего пейзажа принадлежит ему, и он сам присутствует в каждом его атоме. На благословенной полосе побережья, где говорят на малаялам, плоть и кости его предков впитались в почву, проросли деревьями, проникли в переливающееся оперение попугаев на раскачивающихся ветвях и рассеялись по ветру. Филипосу известны имена сорока двух рек, текущих с гор, тысячи двухсот миль водных путей, питающих эту землю, и он един с каждой ее частицей. *Я росток в твоей руке*, думает он, глядя на мусульманок в разноцветных блузах с длинными рукавами, в мунду, в платках, наброшенных поверх голов; они согнулись в талии, как листки бумаги, сложенные посередине, и ровной линейкой движутся по рисовому полю, погружая в почву ростки новой жизни. *Что бы ни было со мной дальше, как бы ни складывалась история моей жизни, корни, которые должны питать ее, находятся здесь*. Филипос чувствует, как внутри него происходит трансформация, подобная мистическому опыту, однако это не имеет никакого отношения к религии.

Юная Мисс возвращается из умывальной комнаты, останавливает Филипоса, когда тот бросается убирать чемодан и ящик с полки, и втискивается между ним и Арджуном. Она надела свои солнечные очки с загнутыми «кошачьими» уголками, повязала платок вокруг шеи, как будто прикрываясь доспехами от того, что ждет впереди. Арджун свежесбрив и переоделся в накрахмаленную сорочку, на лбу у него намама Вишну, трезубец, — в противоположность намаму старого брамина, у которого горизонтальные полосы символизируют

преданность Шиве. Линии раздела проведены — шиваиты против вайшнавов, — но мужчины улыбаются. Арджун признается Филипосу:

— Половина моей жизни прошла в поездах. Незнакомцы всех религий и всех каст, собравшись в одном купе, отлично ладят между собой. Почему за пределами поезда все иначе? Почему нельзя просто дружно жить всем вместе? — Арджун отворачивается к окну и тяжело вздыхает.

Филипос не успевает ответить, потому что они прибыли в Кочин. Носильщик уже хватает один из его чемоданов, в то время как второй носильщик вместе с вещами Мины норовит ухватить радиоприемник. Юная Мисс в замешательстве постукивает Филипоса по плечу и затем протягивает сложенный листок бумаги. Должно быть, выскользнувший из его блокнота. Она прощается без слов, коротким наклоном головы и улыбкой. *Удачи*, говорят ее глаза. И она уходит.

Только в автобусе по пути в Чанганачерри, пересчитав весь багаж, Филипос может наконец расслабиться. Но ужасно зол на себя, что не спросил, как зовут Юную Мисс. «Идиот! Идиот!» В гневе стучит он по спинке сиденья перед ним. Сидящий впереди пассажир возмущенно оборачивается. Филипос выуживает бумажку, врученную Юной Мисс; ужасно неловко, что она прочитала его список профессий. Но внутрь, оказывается, вложен еще один листок. Один из ее рисунков — портрет. На котором Филипос изображен спящим: голова прислонена к окну вагона, тело склонилось набок, под ребра упирается коробка с радио. Губы его плотно сомкнуты, а над ярко-красной каймой верхней губы заметен глубокий желобок.

Мы не можем по-настоящему увидеть себя со стороны, думает он. Даже перед зеркалом мы неосознанно поправляем выражение лица, чтобы себе понравиться. Но Юная Мисс уловила самую его суть: его разрушенные мечты, его тревоги, но вместе с тем нетерпеливое ожидание того, что ждет впереди. Она ухватила и его решимость. Филипос воспрял духом и радуется еще больше, увидев, как она изобразила его руки — одна лежит на коробке с радио, а другая на чемодане, полном книг. Их спокойная расслабленность говорит о зрелом мужестве, уверенности, это руки решительного человека. *Мой отец расчистил джунгли; он сделал то, что другие считали невозможным. Я сделаю не меньше.*

Как получилось, что всего несколькими карандашными штрихами Юная Мисс сумела передать все это, даже прохладный ветерок, дувший ранним утром, от которого онемела одна сторона лица? Слава богу, что он не стал выдумывать никаких баек и рассказал ей правду. Потому что она же видит его насквозь.

А внизу приписка:

Побит и сломан, но стал лучше. Удачи.

Всегда,

Э.

Жизнь назад школьница по имени Элси нарисовала Филипоса, когда он впервые в жизни ехал в «шевроле» ее отца. В тот день он был слишком занят собственными мыслями, очень волновался, понимая, что из-за внезапного наводнения его мать будет бояться самого страшного. Юная Мисс, тогда гораздо более юная, сидела рядом на заднем сиденье и прикоснулась к его руке, к той руке, что чудом помогла младенцу выжить. Тот свой ранний портрет Филипос прикрепил к внутренней стороне дверцы гардероба, и это было гораздо более точное отражение, чем в зеркале на внешней стороне.

Если Юная Мисс и есть та самая дочь Чанди, повзрослевшая и теперь еще искуснее владеющая карандашом, тогда определенно их свела вместе сама судьба. Филипос перебирает в памяти их диалоги в поезде и то, как она выглядела... ее безмолвное «прощай», ее последняя улыбка, неизгладимая в памяти.

Автобус резко останавливается, и шофер пулей несется в кусты.

— «Надо выйти», да? — ворчит женщина. — Если бы мужчины знали, как мучаются женщины! «Надо выйти» означает, что остальным приходится ждать!

Запах его попутчиков — кокосового масла, древесного дыма, пота, листьев бетеля и табачных палочек — душит и возвращает к реальности. Христиане Святого Фомы — сравнительно небольшая община, и они редко заключают браки с кем-то из внешнего мира. Тем не менее у Чанди, с его «шевроле», обширными чайными плантациями и образом жизни в стиле рекламы сигарет «Стейт Экспресс 555», наверняка много, очень много кандидатов на роль жениха его единственной дочери, и все они мальчишки чрезвычайно богатые и невероятно образованные или как минимум чрезвычайно богатые. По

меркам Парамбия их семья — очень обеспеченные люди, но это не идет ни в какое сравнение с кругом Тетанатт-хаус.

Автобус трогается, и это движение дает толчок изменению в его взглядах, им овладевает вновь обретенная решительность. *Я не намерен сдаваться.* Элси красивая, талантливая, волевая. Она наверняка почувствовала, что между ними существует связь, что у них больше общего, чем какой-то нюхательный табак. Она, должно быть, сразу узнала его, хотя открылась только в самом конце путешествия. *Элси, я создам себе имя. Я буду достоин тебя,* взволнованно думает Филипос. *А потом отправлю Большую Аммачи к свату Анияну с предложением о свадьбе. Худшее, что может случиться, это если твоя сторона скажет «нет». Но я по крайней мере попытаюсь, и ты узнаешь об этом. Но, Элси, умоляю, дождись. Дай мне хотя бы несколько лет.*

Сидящая впереди пара оборачивается к нему — должно быть, последние слова он произнес вслух. Мужчина обращается к жене:

— *Ав'анеу в'атта.*

Да, я сумасшедший. Чтобы достичь цели, нужно быть немного безумцем.

глава 43

Возвратись в дом твой^[171]

1943, Парамбиль

В отсутствие Филипоса в Парамбиле все идет через пень-колоду. Самуэль упал, взбираясь на пальму, на которую ему совсем ни к чему было лезть, теперь у него лодыжка размером с кокосовый орех. Седой призрак в погребке уронил горшок и издает шумные стоны. Большая Аммачи, уже и без того раздраженная, спустилась туда, готовясь, если потребуется, вступить в бой. Но на этот раз в душном, затянутом паутиной пространстве погреба не обнаруживается никакого ущерба — горшок был пустым и даже не разбился. Аммачи понимает, что призраку просто одиноко. Она садится на перевернутую посудину и принимается тараторить, в точности как торговка рыбой, описывая череду недавних бедствий:

— С тех пор как он вернулся из Кочина, Мастер Прогресса днем — человек надежный и солидный, а как только солнце садится, напивается до одури. А наша Благочестивая Коччамма поскользнулась в кухне и сломала запястье и давай костерить Долли-коччамму, что та, мол, пролила жир на их общий пол. А Долли возьми да и скажи, миролюбиво, как всегда: «В следующий раз, Бог даст, ты шею сломаешь».

Выбираясь из погреба, Большая Аммачи напоследок обещает заглядывать почаще.

Днем она по привычке все еще ждет, что услышит, как Филипос кричит «Аммачио!», возвращаясь из школы. «Аммачио!» означает, что в голове его, как головастики в луже, плавают новые идеи. Сколько же всего она узнала о мире от своего сына! Нарисованные от руки карты покрывали стены его комнаты, а на них — схемы сражений, где воевала и погибала индийская армия. Триполи, Эль-Аламейн — от одних названий дух захватывает. Они с Малюткой Мол и Одат-коччаммой скучали по вечерним чтениям, когда они втроем сидели на плетеной койке, как скворцы на бельевой веревке, не сводя глаз с Филипоса, а тот

важно расхаживал перед ними. В прошлом году он представлял для них два рассказа В. Т. Бхаттатхирипада^[172] на малаялам. И эта незабываемая английская пьеса, где он выступал в каждой из ролей — убитого короля, его брата, который женился на жене короля, призрак покойного короля. Когда прекрасная Офелия сошла с ума, плела венки, чтобы развесить их на ветвях, а потом упала в ручей, женщины Парамбиля испуганно вцепились друг в друга. Ее платье, раскинувшееся по воде, как сари, задерживало воздух, еще некоторое время удерживая девушку на плаву. Но потом, несмотря на отчаянные молитвы из Парамбиля, она утонула. Когда Филипос уехал, Одаткоччамма объявила: «Я пойду навестить сына. Без нашего мальчика здесь скучно». Но у сына хватает ее только на неделю.

С отъезда Филипоса прошло меньше месяца, как-то ясным солнечным утром Аммачи присела почитать «Манораму».

ЯПОНСКИЙ САМОЛЕТ БОМБИТ МАДРАС, МАССОВОЕ БЕГСТВО ИЗ ГОРОДА.

Заголовок царапает глаза, в горле внезапно начинает саднить, будто глотнула щелочи. Аммачи вскакивает, готовая бежать к сыну.

Тут же подскакивает и Малютка Мол с криком: «Наш малыш идет!»

В газете сказано, что бомбежка произошла три дня назад. Одинокий японский самолет-разведчик пролетел над городом, уже темным из-за отключенного после проливных дождей электричества. Он сбросил три бомбы над пляжем. Никаких сирен воздушной тревоги не включали, и потому никто не понял, что это за взрывы; в течение двух дней жители не знали о бомбежке, потому что на радиостанции не было электричества и военные не хотели провоцировать панику. А когда слухи все же распространились, страх перед вторжением японцев вызвал лихорадочное бегство из города.

Господи, помоги мне найти сына.

Малютка Мол взволнованно подпрыгивает на месте, отвлекая и раздражая Большую Аммачи. Вдобавок к дому с грохотом подъезжает воловья упряжка. Что там еще? Затравленный вид животных вполне отражает выражение лица одинокого пассажира, который слезает с телеги и обращается к ней с приглушенным: «Аммачио...»

Она крепко прижимает ладони к глазам. Неужто галлюцинация? А потом они с Малюткой Мол кидаются навстречу и приникают к нему так крепко, словно стараются удержать, чтобы он больше никуда не ушел. Сын похудел и осунулся.

Филипос обрадован, но и озадачен.

— А вы не хотите спросить, почему я вернулся?

Большая Аммачи, так и не выпустившая из рук газету, прижимает ее к груди, словно соизмеряя реальность с печатным словом.

— Я увидела это и чуть не умерла. Господь привел тебя домой, чтобы спасти тебя и пощадить меня.

Филипос читает. А он и не знал.

Вечером, когда Малютка Мол и Одат-коччамма уснули, Большая Аммачи приносит к нему в комнату два стакана горячего чая-джира. Мать и сын садятся рядышком на кровати, как было у них заведено. Без всяких предисловий Филипос рассказывает, что его отчислили из колледжа. Не скрывает ничего: встреча с профессором на Центральном вокзале — предзнаменование. Потом оплошность во время лекции, когда он не услышал, как его вызывают. У матери сердце разрывается — как бы она хотела спасти мальчика от таких унижений.

— Аммачи, — говорит он, — прости, что разочаровал тебя.

— Мууни, ты никогда не сможешь меня разочаровать. Я так рада, что ты дома. Господь услышал тебя. Тебе там не место.

Поколебавшись, Филипос демонстрирует матери содержимое двух сундуков с книгами, не в силах скрыть свой восторг. А потом и радиоприемник, уже распакованный и стоящий в углу. Он торопится оправдать свои приобретения:

— Радиоволны повсюду вокруг нас, Аммачи, и теперь у нас есть машина, чтобы поймать их, принести весь мир прямо в наш дом. Нужно только электричество.

— Все в порядке, мууни. Ты потратил деньги с пользой.

Они тихо сидят при мягком свете лампы. Она держит сына за руку, совсем непохожую на руку ее мужа, у мальчика длинные пальцы, как у нее. Он как будто никуда и не уезжал.

— Есть еще кое-что, Аммачи.

Господи, а теперь что? Лицо у него вдохновенно-взволнованное, как в тот день, когда он пришел домой с «Моби Диком», издалека

громко окликая: «Аммачио!»

Сын рассказывает о юной женщине, которая ехала с ним в поезде.

— Дочь Чанди? — восклицает она. — Господи Боже! Я помню ее маленькой девочкой, как она рисовала с Малюткой Мол. Какое совпадение. И как она?

— Аммачи, она прекрасна! — с чувством произносит Филипос, глядя на мать в упор, и зрачки его восторженно расширены.

Он вспоминает каждую деталь их встречи, словно пересказывает древнюю легенду — с того момента, как он сел в поезд, и до того, как она вложила ему в руку свой рисунок. Показывает матери портрет. Сердце сжимается: это он, ее сын, возвращается домой, мучимый сомнениями и окруженный горами коробок.

— Аммачи, я женюсь на ней, — тихо говорит он. — С Божьей помощью. Да, я понимаю. Теперь, когда я не получу диплома колледжа, перспективы мои не так уж обнадеживают. Не говоря уже о моем слухе и Недуге. — Он отмахивается от ее возражений. — Но я обязательно стану кем-то значительным. Я не подведу. И лишь молюсь, чтобы она не вышла замуж до того, как у меня появится шанс.

Сердце матери полно тревоги.

— А ей ты ничего такого не говорил? Насчет женитьбы?

Сын мотает головой.

Мать уходит к себе, но Филипосу не спится. Он ведь понятия не имел, кто такая эта загадочная и пленительная Юная Мисс, и упустил свой шанс спросить. На этом все могло бы закончиться. Но Элси позаботилась, чтобы он ее узнал. Его мечты, его надежда, его молитва — чтобы сегодня ночью он поселился в ее душе так же, как она живет в его сердце.

Возможно, как раз сейчас она думает о нем, представляет, каким было его возвращение домой, — точно так же, как он старается представить, как встретил ее отец. Если два человека в один и тот же момент мысленно видят друг друга, возможно, атомы сливаются в невидимые формы, как радиоволны, и соединяют их. Ее чудное лицо возникает перед ним, когда Филипос погружается в безмятежный сон, какой бывает только в собственной постели, в родном доме, на земле Парамбиля, Земле самого Бога.

глава 44

Земля, текущая молоком и медом

1943, Парамбиль

Филипосу повезло вовремя выбраться из Мадраса. В газетах пишут, что автовокзалы и железнодорожные станции забиты беженцами. Интересно, его однокурсники тоже уехали? Весь Мадрас замер в ожидании. Да он сам замер в ожидании.

Он боялся, что придется объяснять, почему вернулся, но теперь никаких объяснений не требуется. Ужас перед вторжением японцев охватил Траванкор. Цены на неочищенный рис в одночасье взлетели до небес. Южноиндийский рис настолько ценится, что обычно весь идет на экспорт, потребителям в Индии был доступен только дешевый бирманский рис. Но с падением Рангуна импорт прекратился, а на местный бурый рис наложили лапу британские власти и заперли его на складах для нужд армии. Вот так и начинается голод.

Вскоре война сползает со страниц «Манорама» и ковыляет в каждый дом; она принимает облик прилично одетого мужчины с сардонической ухмылкой — все оттого, что на щеках его совсем не осталось плоти и кожа обтягивает кости. Плечевые суставы его торчат, как орехи арека, а над ключицами залегли глубокие впадины. Жена его ждет с ребенком в тени. Голос мужчины дрожит. Изгнанный из Сингапура японцами, он вернулся домой ни с чем.

— Простите меня. Сегодня утром я сказал себе: «Неужели мой ребенок должен умереть от голода только потому, что я слишком горд, чтобы просить милостыню?» И вот я прошу, но не денег. Только горсточку риса или хотя бы воды, в которой он варился. Мы жили на мякине, а теперь и той нет. Груды моей жены сморщились, как у старухи. А ей ведь всего двадцать два.

В другой раз к ним является изможденный парень, говорит от имени своего брата, молча стоящего поодаль. Жена брата бросилась вместе с детьми в колодец, посчитав такую судьбу более легкой, чем медленная смерть от голода. Одна из девочек сумела выбраться и стоит

сейчас рядом с отцом, стискивая его руку, пока дядя рассказывает их историю и клянчит еду. Филипос узнал теперь новый запах — фруктовый ацетоновый душок тела, переваривающего самое себя, запах голода.

Терзаемый этими картинами, Филипос вытаскивает в муттам громадный медный котел, в котором готовят на Онам и Рождество, ставит его на кирпичи. С помощью Самуэля он варит кашу из риса и каппы, сдабривая ее размятыми бананами и кокосовым маслом вместо гхи. Он готовит свертки из банановых листьев, которые можно потихоньку всунуть отдельным просителям. Если об этом узнают, начнется столпотворение.

Через несколько недель после возвращения Филипоса хмурые родственники собираются в Парамбиле на чай после церкви. Филипос слушает и читает по губам, успевая следить за безрадостной беседой. Гости, которые не испытывают недостатка в пище, толкуют только о том, как нынешние невзгоды влияют на их жизнь. К ним, конечно, тоже каждый день приходят за подаванием голодающие.

— Слышали про нашего Филипоса? — обращается к собравшимся Управляющий Кора своим обычным шутивным тоном, как бы подбадривая всех. У него хроническая одышка, и приходится прерывать фразу, чтобы перевести дух. Он говорит так, как будто Филипоса нет рядом, хотя при этом ухмыляется, глядя прямо на юношу. — Филипос вернулся с радиоприемником! Но проблема в том, что для радио нужно электричество. Аах! Если уж в Траванкоре нет электричества, откуда ему взяться в Парамбиле?

Слова больно задевают Филипоса. Отец Кору получил от махараджи почетное звание «Управляющий» за добровольную работу в ту пору, когда жил в Тривандраме. Папаша свое звание заслужил, даже если единственной привилегией было просто обращение «Управляющий». Но этот титул не наследуется, хотя Кора настаивает на обратном. Его бедолага-отец стал поручителем по кредиту, который Кора взял для ведения бизнеса, но бизнес прогорел, и отец потерял свое имущество в Тривандраме. И стал бы бездомным, если бы троюродный брат — отец Филипоса — не подарил ему участок в Парамбиле. А сразу после кончины отца сюда явился Кора со своей молодой женой — требовать наследство. Это случилось в тот самый год, когда приехали

Мастер Прогресса с Шошаммой. Из двоих мужчин Кора был моложе и казался более компанейским, Филипос предполагал, что уж скорее Кора добьется успеха. Он жестоко ошибся. Кора вечно строит планы, но до дела так и не доходит.

Зато все обожают жену Кору, Лизиамму, или Лиззи, как ее зовут в округе. Лиззи — сирота, воспитанная в монастырском приюте. Она доброжелательная, красивая и вылитая богиня Лакшми с картины Раджа Рави Вармы^[173], той, что красуется на всех календарях. Художник Варма происходил из королевской семьи Траванкора. Предусмотрительно обзаведясь собственной типографией, он сумел распространить репродукции своих работ по всей Керале. Лакшми он изобразил с характерными чертами малаяли: круглое лицо херувима, густые темные брови, глаза лани и длинные волнистые волосы, достигающие бедер. Благодаря популярности и деловой хватке Вармы его малаяли-Лакшми — теперь та самая Лакшми, что запечатлена в сознании индуистов по всей Индии. Лиззи, наверное, и не подозревает, какая она красавица, а еще она скромная, полная противоположность своему чванливому мужу. Большая Аммачи очень любит Лиззи и относится к ней как к дочери. Лиззи много времени проводит на кухне у Большой Аммачи, а когда Кора уезжает на несколько дней по очередным «делам», Лиззи ночует с Большой Аммачи и Малюткой Мол. Но в чем нужно отдать должное Коре — он обожает свою жену; при всех недостатках этого человека, его преданность Лиззи вызывает восхищение.

— Кора, — вздыхает Мастер Прогресса, — ты же накоротке с махараджей, как же ты не знаешь, что в Тривандраме есть электричество? Диван организует кампанию по электрификации всего Траванкора.

Диван — это вроде главного министра в правительстве махараджи.

— Кто это сказал? — Тон у Кору вызывающий, но новость для него явно неожиданная.

— В Колламе и Коттаяме уже стоят термогенераторы! А я-то думал, ты держишь руку на пульсе событий в Тривандраме.

Джорджи, сидящий рядом с братом, замечает:

— Кора держит руку в карманах Тривандрама, а не на его пульсе.

Улыбка сползает с лица Кору. Пробурчав извинения, он уходит. Филипос не поймет, доволен ли он, что Кору поставили на место, или

ему жаль этого человека. Но «шутка» Кору его все равно задевает, потому что он осознает: деньги, потраченные на радиоприемник, пылящийся в углу, могли бы накормить многих и многих.

Лица голодающих, прибывающих с каждым днем, преследуют Филипоса. Свертки с кашей, которые он раздает, — это мертвому припарки. *Мы должны сделать больше. Но что?*

Филипос разработал план и привлек Мастера Прогресса для его воплощения.

Они соорудили около лодочного причала навес с соломенной крышей, потом одолжили у местных жителей большие котлы, которые имеются в хозяйстве на случай свадьбы и семейных торжеств. Отыскали старого Султана-паттара, легендарного свадебного повара, который сперва отнекивался, пока не увидел навес, поленницы дров, четыре очага и начищенные котлы. И тут у старика вскипела кровь. Он придумал дешевую питательную еду на основе каппы — уж несколько клубней может пожертвовать каждая семья.

И вскоре открылся Центр питания. Каждый голодный получает здесь горку каппы, солидную порцию торан из маша^[174], немножко маринованного лайма и чайную ложку соли — и все это на банановом листе. Повеселевшего Султана-паттара и не узнать: чисто выбритый, без рубашки, старик, подпрыгивая на цыпочках, раздает команды своей армии — полным энтузиазма ребятишкам Парамбиля, которых привлекли к делу: резать, скоблить, черпать и чистить. Султан-паттар развлекает их, пританцовывая мелкими шажками, и грудь его покачивается, когда он распевает озорные песенки с игривым двойным смыслом.

В первый день они накормили почти двести человек. А через две недели нагрянули репортеры. Они расхваливают простую еду Султана-паттара как лучшую на их памяти и превозносят Филипоса, молодого человека, который не смог оставаться в стороне, видя людские страдания. Филипос цитирует Ганди: «В мире есть люди настолько голодные, что Бог может явиться им только в форме пищи». К газетному материалу прилагается фотография, на которой Султан-паттар, Мастер Прогресса и Филипос стоят позади «армии паттара», младшему из детишек всего пять, а самому старшему пятнадцать. Статья привлекла пожертвования, волонтеров... и еще больше

голодающих. Вдохновленные этим примером, люди начинают открывать Центры питания по всему Траванкору.

В конце каждого дня Филипос делает записи в дневнике, стараясь передать разговоры, подслушанные в Центре Питания, — истории бедствий и жертв, но вместе с тем и героизма, и благородства. Он удивлен, что люди сохраняют чувство юмора перед лицом страданий. Его записи — это упражнение, не журналистский репортаж, и потому он может объединять персонажей, додумывать детали, отсутствующие в первоначальном рассказе, изобретать свой собственный вариант финала; «не-художественная литература» — так он называет свой жанр. За этим занятием Филипос часто вспоминает про Элси — может, она сейчас делает то же самое, при помощи палочки угля придавая смысл нынешним смутным временам? Он внимательно перечитывает те рассказы и эссе в еженедельном журнале «Манорама», которые ему особенно нравятся. Но то, что пишет он, это совсем иное. Филипос решает отправить одну из своих «не-художественностей» на конкурс рассказов в «Манораму».

СУББОТНЯЯ КОЛОНКА

ЧЕЛОВЕК-ПЛАВУ

В. ФИЛИПОС

Разве можно спутать человека с хлебным деревом — плаву? Да. Со мной произошло именно это. Я обычный человек, не писатель, так что с самого начала расскажу, чем все кончилось. (И почему не каждая история начинается с конца? Зачем нам Бытие, Книга пророка Софония и все такое, когда можно начать прямо с Евангелия?) Словом, эта история началась в нашем Центре питания. Не называйте его Центром борьбы с голодом, потому что правительство уверяет, что никакого голода нет, и неважно, что вам говорят ваши собственные глаза. После того как все уже разошлись,

появился худой как палка старик, волокущий *чакка*^[175] размером больше себя. Это вам, накормить детей завтра, сказал он. Хороший повар сможет приготовить вкусное *пужукку*^[176]. Брат, сказал я, простите, но вы выглядите так, будто сами голодаете, зачем вы отдаете чакка? Ха, возразил он, это не я отдаю. Это плаву отдает! Природа щедра. Я хотел было сказать: «Тогда пускай плаву пришлет еще риса и маринованных овощей». На следующий день старик притащил чакка еще большего размера. Издалека он был похож на муравья, волокущего кокосовый орех. Я сказал: брат, поешь пужукку, не уходи так. Он отказался. Кто в наше время отказывается от еды? Я спросил: брат, как такой худой старик может носить такие тяжелые предметы? В чем секрет? Он сказал: «Секрет спрятан на самом видном месте».

В тот день я проходил мимо нашей знаменитой Аммачи-плаву — матери всех хлебных деревьев, той самой, в дупле которой много столетий назад наш Махараджа Мартханда Варма прятался от врагов. Да, в вашей деревне утверждают, что легендарное дерево растет у них, но вы ошибаетесь. Оно здесь, так что не спорьте. В общем, я услышал голос, говорящий: «Ты пришел узнать мой секрет?» И узнал голос старика. Но никого не увидел. Покажись, попросил я. А он сказал: «Ты смотришь прямо на меня».

Если бы я сказал, что старик стоял, прислонившись к дереву, вы бы неправильно поняли. Нет, он стоял в дереве. Кожа его стала корой, а глаза — сучками в древесине. Он сказал: «Когда начался голод, у меня не осталось больше риса. Я сидел около этой плаву и ждал смерти. Кора была жесткой, но я подумал: к чему жаловаться? Я и так скоро покину этот мир. А спустя несколько часов я погрузился в дерево. И было так удобно и спокойно, будто я лежал на груди своей Аммачи. И я сказал: о могучая плаву, если ты можешь даже в засуху рожать гигантские плоды, не могла бы ты накормить и меня? И плаву отвечала: почему бы и нет? Вот так я оказался здесь. Плаву дает мне все необходимое. Природа щедра».

Я сказал: «Старик, если природа так щедра, то почему существует голод?» А он сказал: «Вини в этом человеческую природу, которая заставляет торговцев копить, а Черчилля — отбирать наш рис для своих солдат, в то время как мы умираем от голода». Я спросил: «А тебе не грустно жить здесь совсем одному?» Он улыбнулся: «А кто говорит, что я один? Взгляни на ту маленькую плаву — видишь Кочу Чериана? А вот тут рядом со мной — видишь Понамму? Не хочешь устроиться с другой стороны? Природа дарует все».

Друзья, я сбежал, спасая свою жизнь. Разве стыдно в этом признаться? Дорогой читатель, мораль проста: отдавайте так же щедро, как отдает природа. И присмотритесь повнимательнее к вашей плаву, ведь секрет спрятан на самом видном месте.

«Человек-плаву» завоевал первую премию и единственный из трех рассказов-победителей был опубликован. Филипос решил, что это знак. Прошло всего несколько месяцев, а о нем уже написали в «Манораме» в связи с открытием Центра питания, а теперь даже опубликовали его рассказ. Может, работа в газете и есть его истинное призвание. Впрочем, успех не заглушил ехидных шуточек Управляющего Кору про бегство Филипоса из Мадраса и его бесконечные присказки про то, как всем наплевать на «Человека-плаву». А Благочестивая Коччамма и вовсе считает рассказ богохульством. Но есть один читатель, чье мнение важно Филипосу, — читатель, для которого он и писал. Филипос молится, чтобы Элси увидела рассказ, и надеется, что теперь она точно поймет, что он побит, но не сломлен.

Уже больше года, как Филипос вернулся из Мадраса, однако рана от того краткого путешествия все еще свежа. После первого опубликованного рассказа редактор «Манорамы» хочет напечатать и другие, но отклоняет последовательно целых три, прежде чем опубликовать четвертый под заголовком «Колонка Обыкновенного Человека». Для Филипоса это намек, что он мог бы стать постоянным автором, хотя юноша и не в восторге от выбранного редактором названия — кому хочется, чтобы его называли обыкновенным?

В течение этого года и следующего Филипос публикует еще несколько своих «не-художественностей». Судя по письмам читателей,

его рассказы хорошо принимают, хотя малаяли всегда найдут к чему придраться, и придираются. Тем не менее ни сам Филипос, ни газета оказываются не готовы к шумихе, поднявшейся после публикации статьи под названием «Почему ни одна уважающая себя крыса не работает в Секретариате». Рассказчик — раненая крыса, которая ночью заползла в величественное правительственное здание и с восторгом не обнаружила там никого из себе подобных, кто мог бы составить конкуренцию. А наутро явились сотрудники Секретариата.

Я пришел к выводу, что это огромное открытое пространство, должно быть, является местом поклонения. Бог высоко, и Он невидим. Вентиляторы на потолке — это воплощение Бога, потому что они расположены прямо над верховными жрецами (которые называются Старшие клерки). Чем ниже ваша каста, тем дальше от вентилятора вы сидите. В чем состоит работа? Аах, мне потребовалось много времени, чтобы разобраться, хотя ответ был прямо перед глазами: работа заключается в том, чтобы сидеть. Приходишь утром, садишься и таращишься на стопки папок перед собой, причем с кислой рожей. В конце концов берешь ручку. Когда в твою сторону посмотрит верховный жрец, берешь первую папку и развязываешь тесемки, скрепляющие бумаги. Но как только верховный жрец выходит, ты вместе с остальными вскакиваешь и встаешь около его стола под вентилятором и перебрасываешься шуточками с коллегами. Вот и вся работа.

Союз конторских служащих выразил возмущение статьей Филипоса и потребовал головы Обыкновенного Человека, но скандал лишь увеличил количество читателей колонки. Общественное мнение (как и Профсоюз журналистов и репортеров) было на стороне автора, поскольку каждый гражданин Траванкора имел личный опыт канцелярской волокиты и печального исхода из Секретариата не солоно хлебавши. Мастер Прогресса — редкий случай человека невиданного терпения и навыков общения с бюрократами; он даже находит удовольствие в битве с ними.

Один из читателей Филипоса заявляет о себе поздно вечером криком горлицы — крещендо, смешливое фырканье девушки, которую

щекочут. Филипос вылетает из дома и крепким тычком в плечо приветствует Джоппана:

— Это тебе за то, что так долго не появлялся.

— Аах, ну что, тебе полегчало? — Джоппан грубоватый, как всегда, коренастая фигура прочно стоит на земле, а плечи такие же широкие, как его улыбка. В одной руке у него бутылка тодди, а другой он в ответ стучает Филипоса: — А это за то, что я последним узнаю, что ты, оказывается, всегда был коммунистом.

— Это я-то? — потирает плечо Филипос.

— А разве не ты открыл Центр питания? Ты стараешься сделать хоть что-нибудь. Я горжусь тобой. Владимир Ленин сказал: «Газета должна стать не только коллективным агитатором, но и коллективным организатором масс». Так что, как видишь, твои действия, твои слова подтверждают: ты — революционер!

— Аах, ну ладно. Теперь могу спать спокойно. А ты-то как, Джоппан?

Джоппан пожимает плечами. Баржевые перевозки Игбала, как и любой другой бизнес в округе, застопорились. Игбал больше не может платить жалованье, но, поскольку Джоппан ему как сын, он его кормит.

— Посмотри на меня, — говорит Джоппан. — Я говорю и пишу на малайялам, умею читать по-английски. Умею вести бухгалтерию. Знаю все внутренние воды страны как свои пять пальцев. Но сейчас мне повезло, что время от времени могу работать поденщиком. По вечерам хожу на партийные собрания. Это питает хотя бы мой мозг, если уж не утробу. Ночую на барже, потому что если пойду домой, непременно сцеплюсь с отцом.

— Нет смысла надеяться, что он переменится, — замечает Филипос.

Джоппан вздыхает:

— Они с Амма хотят, чтобы я женился, представляешь? Да я себя-то с трудом могу прокормить! — Он смеется. — Но вообще-то могу и жениться, чтобы их порадовать. Больше-то ничего хорошего от меня не дождешься.

Они болтают, как в старые добрые времена, уже за полночь Джоппан собирается уходить, разгоряченный тодди, львиную долю которого сам и выпил.

— Насчет Центра питания. Я серьезно, Филипос, — я горжусь тобой. Ты спасаешь человеческие жизни. Но подумай вот о чем, Филипос: если ничего не изменится, если люди не могут выбиться из нищеты, если пулайар никогда не смогут владеть землей и передать по наследству своим детям, то когда в следующий раз придет голод, те же самые люди будут стоять в очереди за едой. И опять понадобятся такие, как ты, чтобы накормить голодных.

С этой мыслью Филипосу нелегко было уснуть.

Спустя несколько недель Большая Аммачи объявляет, что назавтра Джоппан женится.

— Что? Не может быть! Он мне ничего не сказал. Он нас пригласил?

— Не дело Джоппана нас приглашать. Нас сегодня пригласил Самуэль. Вот я тебе и сообщаю. — Глядя на потерянное лицо сына, она пытается утешить: — Послушай, это не тот союз, что планируют долгие месяцы. Должно быть, все произошло буквально на днях.

— А где будет свадьба? В нашей церкви? Я пойду.

— Не глупи. Так не делается.

— А я все равно пойду, — ворчит Филипос. — Джоппан будет рад меня увидеть.

— Нет, не пойдешь, — твердо говорит мать. — Эта семья слишком много значит для всех нас. И не надо ставить их в неловкое положение только потому, что ты не хочешь понять, где твое место.

После церемонии молодые супруги и родители жениха являются с визитом, вручают сладости из пальмового сахара. Джоппан застенчиво усмехается, пожимая руку Филипосу.

— Я же сказал, что женюсь, — бормочет он.

— Ты сказал, что мог бы!

Невеста, Аммини, смущается и не снимает покрывала с головы, так что Филипосу не удается ее рассмотреть. Самуэль сияет, как будто все его тревоги позади, и нежно держит сына за руку. Большая Аммачи дарит молодым три рулона хлопковой ткани, новый сияющий набор медной посуды и толстый конверт. Джоппан складывает ладони перед грудью и склоняется, чтобы коснуться ее стоп, но она его удерживает. Самуэль и Сара, как обрадованные дети, глядят подарки ладонями.

Филипос восхищен предусмотрительностью матери. Когда гости уходят, она рассказывает, что выделила Самуэлю прямоугольный участок земли сразу за его домом, чтобы построить отдельное жилище для Джоппана и невестки, если захочет, или просто отдать его молодоженам.

Спустя год и четыре месяца от того момента, как Мастер Прогресса впервые начал кампанию по сбору петиций, электричество пришло в Парамбиль — с подстанции в двух милях отсюда. За прокладку линии согласились заплатить вскладчину только четыре семейства.

— Когда остальные решат, что тоже хотят электричество, — говорит Мастер Прогресса, — им придется оплатить часть наших первоначальных затрат, с учетом роста цен. Так что мы, возможно, даже вернем свои инвестиции.

При свете двадцативаттных лампочек электрифицированные семейства празднуют новшество, пока их соседи недовольно ворчат. Для Филипоса выражение лица Малютки Мол, когда загорается «маленькое солнышко», означает, что все было не зря. Из темноты налетают насекомые и роятся вокруг лампочки, словно явился их беспозвоночный Мессия. Филипос включает радио, так долго пылившееся в бездействии. Мужской голос заполняет комнату, читая новости по-английски; Филипос кладет ладонь на боковую панель и чувствует, что он полностью оправдан. Он принес мир к своему порогу. Одат-коччамма, слышав бесплотный иноземный голос, вылетает из комнаты, хватая с бельевой веревки первую попавшуюся вещь и накрывает голову — случайно это оказываются трусы Малютки Мол. В дверной проем видно, как она истово крестится, натягивая на лоб странную тряпку.

— Встань, мууни! — призывает она хохочущего Филипоса. — Голос из ниоткуда — это голос Господа!

Объяснения не слишком ее убеждают. Филипос нашел музыкальную волну, и Малютка Мол танцевала, пока не пришло время ложиться спать. Несколько часов спустя он все еще сидит, склонившись над приемником, ощущая себя Одиссеем, ведущим свою галеру по потрескивающему коротковолновому океану. Натыкается на театральную постановку и переносится из Парамбиля на далекую

сцену, повторяя слова, которые знает наизусть: *Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этого не миновать. Самое главное — быть всегда наготове*^[177].

Большая Аммачи отказалась провести электрическое освещение в свою спальню и в кухню. Ее вполне устраивает старая масляная лампа, надежная верная подруга, вытертое основание которой так удобно устраивается в ладони и пальцах; Аммачи обретает покой, глядя на золотистый ореол, на пляшущие тени, которые лампа отбрасывает на пол и стены, вдыхая запах горящего фитиля. Этих зыбких спутников своих ночей она предпочитает оставить как есть.

Перед тем как отправляться в постель, Большая Аммачи всегда приносит сыну чай-джира. Эфирное сияние от панели приемника освещает его лицо. Мир заслуживает его любопытства, его доброго сердца, его статей, думает мать. Когда-то мальчик стремился в большой мир, такой большой, что она и представить себе не могла. Но удовлетворился своими книгами и радио. Мать надеется, что этого ему достаточно. *Господь*, просит она в молитве, *скажи, что мой сын там, где он должен быть.*

Филипос обернулся:

— Аммачио! — И радостно помахал ей, впервые за много часов оторвавшись от своего радио. Лицо его светится восторгом, но он отчего-то нервничает.

Мать собирается с духом, готовясь услышать, что за новая страсть настигла мальчика.

— Аммачи, — начинает он, — я хочу, чтобы ты послала за сватом Анияном. Я готов.

глава 45

Помолвка

1944, Парамбиль

Сват Аниян — человек представительный, его блестящие черные волосы гладко зачесаны на висках, придавая ему прилизанный аэродинамический вид, однако манеры его неторопливы. «Ани́ян» означает «младший брат», его детское и христианское имя давно забыто. Он не улыбается и не выражает удивления, когда Филипос пересказывает историю своей встречи с Элси в поезде, но пристально смотрит на Большую Аммачи.

К удивлению Филипоса, Аниян отлично знает и кто такая Элси, и что она пока не замужем, «по крайней мере, позавчера не была». По сравнению с индуистами и мусульманами Траванкора и Кочина община Святого Фомы крошечная, но все же их сотни тысяч рассеяно по миру. Сваты вроде Анияна должны быть ходячими хранилищами семейных имен и родословных, восходящих к первоначальным обращенным.

— Хорошо, — говорит Аниян. — Я предложу стороне Тетанатт — то есть Чанди. Если его это заинтересует и поскольку вы с девушкой уже познакомились, в *пéнну кáанал* нет нужды. — Он имеет в виду смотрины будущими родственниками — событие, на котором жених обычно не присутствует.

— Я все равно хочу пенну каанал, — заявляет Филипос.

Лицо Анияна не дрогнуло. Его профессия не позволяет выдавать никаких чувств ни при каких обстоятельствах.

— Если у Чанди создастся впечатление, что ты ее еще не видел, тогда... это возможно.

— И я хотел бы поговорить с ней, — добавляет Филипос.

— Невозможно.

— Я настаиваю.

Вены на висках Анияна слегка вздуваются. Едва заметно улыбнувшись, он встает:

— Позвольте для начала обратиться к Чанди с предложением. Это первый шаг.

— Послушайте, Аниан. Я намерен жениться на ней. Давайте считать, что это будет пенну каанал плюс помолвка. Тогда уж точно можно обменяться с невестой парой слов.

— Помолвка нужна для окончательного решения о браке. А не для разговоров с девушкой.

К концу недели Аниан возвращается с ответом: Чанди предложение заинтересовало. Можно переходить к пенну каанал.

Но у Большой Аммачи есть вопрос:

— Они не спрашивали про ДжоДжо? Или про Малютку Мол? Про воду...

Аниан приподнимает бровь:

— А о чем тут спрашивать? Несчастный случай, ребенок утонул. Это же не сумасшествие, передающееся по наследству. И не припадки. Такого я никогда не скрываю. И знаете, Аммачи, в нашей общине гораздо больше Малюток Мол, чем вы можете себе представить. Это вовсе не помеха брачному союзу.

Большая Аммачи поворачивается к Филипосу:

— Если этот брак состоится, ты должен все рассказать Элси, слышишь? Никаких тайн.

Аниан терпеливо дожидается, пока она закончит.

— Итак... Аммачи, вы и кто-нибудь из старших родственников приедете в Тетанатт-хаус. Аах, и ты тоже можешь прийти, мууни, — якобы вспомнив, добавляет он. — Если не возникнет никаких препятствий, помолвка может состояться в тот же день, и мы назначим дату свадьбы и приданое...

— Мне нужно поговорить с Элси наедине, — говорит Филипос.

Аниан поворачивается к Большой Аммачи, но видит, что здесь не найдет поддержки.

— Хорошо, может быть, после молитв и чая...

— Наедине?

— Аах, аах, наедине, конечно. Но все остальные будут неподалеку.

Большая Аммачи сидит на бесконечно длинном белом диване в Тетанатт-хаус, сжимая в руках чашку с золотой каемкой и блюдце.

Высоко на стене, чуть наклоненные вниз, висят фотографии уже умерших людей. Она считает эту новую моду зловещей. Покойная жена Чанди взирает на них сверху. Рядом с ней — правда, несколько утешающий — портрет Мар Грегориоса работы Рави Вармы.

Большая Аммачи тихонько обращается к святому: *Дай знак, что мы правильно поступаем.*

— Эна-ди?^[178] Что ты там бормочешь? — сварливо ворчит Одаткоччамма. — Пей свой чай. — Старуха страшно довольна, что ее пригласили как старшую родственницу, наравне с Мастером Прогресса. Ее ничуть не смущают ни дом, ни торжественный повод; наливает дымящийся чай в фарфоровое блюдце («А для чего еще оно нужно?») и дует на него. — Аах, отличный чай, должна я вам сказать!

Сват Аниян не ест и не пьет, лицо его неподвижно, как стоячая вода, а глаза обследуют пространство, регистрируя будущих клиентов, даже если те пока еще в младенческих летах.

Большая Аммачи наблюдает, как Чанди, их общительный хозяин, беседует с Мастером Прогресса. *Почему мой Филипос?* Ее сын, разумеется, сокровище, самый достойный жених, и он наследник Парамбиля, в котором без малого пятьсот акров. Но это не сравнить с поместьем Чанди в нескольких часах езды отсюда, а там, как ей рассказывали, несколько тысяч акров чайных и каучуковых плантаций, да в придачу родовая усадьба и еще множество владений повсюду. Его богатство видно и в обстановке дома, и в двух автомобилях, стоящих снаружи, — один под навесом, гладкий и блестящий, с длинным носом и ребристыми плавниками, сияет, как сапфир, а другой, припаркованный у дома, — тот самый, на котором Филипоса привезли в Парамбиль много лет назад, — рабочий транспорт, с обнаженным нутром и торчащей позади платформой. Чанди мог бы присмотреть для Элси богатого наследника другого поместья, или врача, или налогового инспектора. Может, ему просто понравился школьник Филипос еще при первой встрече — тогда Чанди назвал его героем. С тех пор мальчик сделал себе имя литературным творчеством. Или Элси (которая пока не появилась) была столь же настойчива, как и Филипос, насчет их союза. Аммачи вздыхает, глядя на сына, как же он хорош собой, несмотря на волнение, — спину держит прямо, густые волосы волнами спадают вдоль щек, белая джуба лишь подчеркивает светлую кожу.

После общей молитвы юная девушка в сари, кузина Элси, вновь подала всем чай и *палах'арам*^[179], а затем вывела Филипоса на широкую веранду и усадила на одну из двух стоящих там лавок — прямо напротив открытого французского окна, на виду у всех гостей. Три древние тетушки со стороны Тетанатт, с ушами, оттянутыми тяжестью золота, тут же подхватились с мест и последовали за ним. Каждая складка на их подолах отглажена до остроты лезвия, а чатта их накрахмалены в рисовом отваре так крепко, что едва не трескаются, когда старухи плюхаются на вторую лавку. И поправляют расшитые золотом кавани, понадежнее прикрывая груди.

Одат-коччамма, сурово нахмурившись, со стуком ставит блюдце и следует за ними, от кривоногой поступи тело ее грозно раскачивается из стороны в сторону. Старухи с тревогой наблюдают за этим демаршем. Она втискивается между ними на лавку, энергично работая локтями и приговаривая: «Полно тут места. Подвиньтесь-ка». Одат-коччамма берет кусочек халвы с подноса, которым обносит всех юная кузина, нюхает, недовольно морщит нос, бросает халву обратно на блюдо и решительным жестом отмахивается от девушки, таким образом лишая лакомства и всех остальных. Старухи протестующе открывают было рты, но Одат-коччамма, не обращая на них внимания, громко клацает деревянной челюстью. Сквозь туман своих катаракт и массивную фигуру тетушки Одат старухи пытаются разглядеть Филипоса. Переговариваются они неестественно громко, потому что все как на подбор глуховаты.

— Поговорить с девушкой, а? Зачем это, а? Ему нужно только на свадьбе появиться — на что он еще нужен!

— Аах, аах! Да что он там хочет сказать, у него же на это будет целая жизнь, правда же?

— Аах, аах. Сберег бы слова на потом, когда состарится. Только слова-то у него и останутся, когда остальное перестанет работать!

Плечи их трясутся от смеха, узловатые ладони прикрывают беззубые рты. Тетушка Одат делает вид, что не слышит. Она подмигивает Филипосу, а потом громко пукает и обводит соседок по лавке осуждающим взглядом.

Филипос чувствует, что все смотрят на него. Воздух так сгустился, что в нем можно пальцем выводить буквы. Там, в гостиной, маме тоже неловко, она такая крошечная на этом огромном диване, на котором у

нее ноги до пола не достают. Филипос видит, как головы и глаза собравшихся поворачиваются в одну сторону, голоса постепенно смолкают — должно быть, появилась Элси. Филипос встает, напоследок еще раз утерев платком лицо. Сердце колотится так громко, что Элси запросто может идти на звук.

Она еще прекрасней, чем девушка из поезда, которую он запомнил. Филипос онемел от потрясения и не в силах даже поздороваться. Они садятся бок о бок. Ее кораллово-голубое сари — безмятежный фон для ее рук, на которых нет никаких украшений, даже браслета. Пальцы — длинные изящные линии, продолжение кистей и карандашей, которыми она так искусно владеет. В голове у Филипоса все пьяно кружится от аромата гардении в ее волосах.

Он откашливается было, готовясь заговорить, но тут из-под подола сари показываются пальцы ее ног, и все слова мигом улечиваются. Он будто снова в купе поезда, и вновь ее ступни мелькают перед его лицом, когда она взбирается на свою полку.

Голосовые связки, кажется, окаменели. *О Господи, неужели это и называется «хватил удар»?* Он тянется за платком, но рука ныряет в другой карман, пальцы выуживают монетку в один чакрам с изображением Баларама Вармы^[180]. Он протягивает монету Элси, но кругляш вдруг исчезает. Филипос демонстрирует руки, ладони и тыльные стороны. *Прошу вас, смотрите внимательно, леди и джентльмены, убедитесь, что ничего не спрятано.* Потом тянется к уху Элси, неведомо откуда достает монетку и вкладывает в ладонь девушки.

Одна из древних тетушек в ужасе прижимает ладонь ко рту, как будто только что стала свидетельницей насилия.

— Вы видели, как он это сделал?

Нет, никто не заметил.

— Аах, он схитрил! Прятал туда-сюда!

— Это было чудо. — Филипос наконец обрел дар речи. И перешел на английский — не умышленно, но, как оказалось, совершенно правильно, если они хотят поговорить конфиденциально. Элси берет ладонь Филипоса, переворачивает ее, разглядывая.

— У тебя красивые руки. Мне вообще нравятся руки, — произносит она по-английски.

И в поезде они тоже говорили на английском. Он помнит ее голос. Низкий чарующий тембр заставляет его старательно следить за движением ее губ.

— Я обратила на них внимание, еще когда мы впервые встретились.

— А я на твои, когда ты гладила табакерку, — признается он.

На ладони у нее крошечное пятнышко зеленой краски. Кожу покалывает там, где девушка прикасается к нему.

— У меня есть блокноты, целиком заполненные рисунками рук, — рассказывает Элси.

Он спрашивает — почему.

— Наверное, потому, что все, что я рисую, начинается с моих рук. Порой я чувствую, что меня ведет моя рука, а разум лишь следует за ней. Без руки у меня ничего бы не было.

— А у меня есть блокнот про ноги, — сообщает он. — Ноги раскрывают характер. Можно ведь быть королем или епископом и украсить свои руки драгоценностями. Но ноги — это личность без прикрас, и неважно, кем вы себя провозглашаете.

Она наклоняется взглянуть на их босые ноги. Плавно придвигает свою стопу к его. Второй палец, выступающий чуть дальше большого; чистые блестящие ногти; волнообразные неровности суставов — все говорит об артистической натуре. Его ноги кажутся огромными рядом с ее. Кожа касается его кожи.

Старух, наблюдающих за ними, похоже, вот-вот хватит удар. Будь у них свисток, они бы уже надрывно дули в него.

— Айо! Сначала берет за руку! Теперь трогает ноги. Что, невтерпех?

— Ты слышишь? — тихонько хихикает Элси.

Поколебавшись, он отвечает:

— Не все могу разобрать. Но у меня есть отличная идея.

Вообще-то отличной идеей было говорить по-английски.

— Филипос? — произносит она, будто пробуя его имя и глядя прямо в глаза. От звука ее голоса замирает сердце. — Ты хотел побеседовать со мной? — Она улыбается.

Потерявшись в ее улыбке, он запаздывает с ответом:

— Да, о да, конечно! И нарушил все правила своей просьбой. Да, я хотел поговорить. Можно я честно скажу — зачем?

— Честно гораздо лучше, чем нечестно.

— После того как мы... после поезда... я надеялся. Я хочу сказать, показалось, что это судьба, что спустя столько лет мы оказались в одном поезде, в одном купе, на одной лавке... Мы слишком быстро попрощались. И с тех пор я... мечтал жениться на тебе. Но я тогда был тем, кого изгнали из колледжа. Был избитым и сломленным. Я много работал и вот стал совсем другим, я больше не сломлен, и вот тогда решил позвать свата Аниана. Я помню, в поезде ты сказала Мине, что не готова к браку. Элси, я очень хочу жениться. Но я хочу быть уверенным, что... что ты тоже хочешь. Что тебя не заставляют.

Она обдумывает его слова. А потом улыбается, без слов давая понять — *да, я тоже этого хочу.*

— О, слава богу! Я боялся, что твой отец хотел бы кого-нибудь вроде... кого-нибудь более...

— Это я захотела. Тебя.

Она будто поцеловала его словами. Филипос чувствует, как погружается в ее взгляд, в этот взрыв коричневого, серого и даже голубого в ее радужке. Он готов прыгать от радости. Улыбается Одат-коччамме, которая радостно подмигивает ему в ответ. Она сползает с лавки, перебрасывает хвост кавани через плечо, задев по физиономиям сидящих старух. Высоко задрав нос, тетушка Одат присоединяется к Большой Аммачи, по пути прихватив кусочек халвы.

— Я просто счастливчик. Но почему я?

Теперь молчит Элси, неожиданно замкнувшись.

— Это секрет?

— Секрет спрятан на самом видном месте.

Он польщен. Это же последняя фраза из его «Человека-плаву».

— Ты и вправду хочешь знать, Филипос? Могу я рассказать *честно*? — поддразнивает она, но тут же становится серьезной. — Потому что я художник, — просто говорит она.

Он не понимает.

— В смысле, как Микеланджело? Или как Рави Варма?

— Ну да, пожалуй... Но только не как Рави Варма.

— Тогда как кто?

— Как я, — произносит она без улыбки. — Если бы Рави Варма родился девочкой, смог бы он после свадьбы учиться у голландского преподавателя, как ты думаешь? Или устраивать выставки в Вене?

Путешествовать по всей Индии? Он купил типографию в Бомбее. Мудрый ход. Поэтому его работы известны повсюду. Он встречался со всеми знаменитыми красавицами своего времени, махарани и знатными особами, и рисовал их. С одной или двумя был довольно близок.

Неужели для нее нет запретных тем? — восхищенно думает Филипос.

— Я хочу сказать, что если бы Рави Варма был женщиной, он не был бы Рави Вармой.

Он понимает, что она имеет в виду, но не понимает, какое это имеет отношение к делу.

— Филипос, ты ведь тоже художник.

Как приятно слышать такое.

— И можешь посвящать творчеству большую часть времени. И никто не скажет тебе, что хватит уже писать или когда именно писать. И брак ничего для тебя не изменит.

С этим не поспоришь.

— С самого моего возвращения отец присматривал для меня женихов. Сначала парень из землевладельцев... потом еще один, хозяин текстильных мануфактур в Коимбатуре^[181]. Я отказывалась. Думала, что из всех мужчин, за кого я могу выйти, только ты всерьез относился бы к моему творчеству, к моим стремлениям. — Лицо ее вдруг становится очень печальным. — Я хорошо обеспечена. Отец не гонит меня из дома. Но если с ним что-нибудь случится, то все имущество, за исключением моего приданого, то есть *абсолютно все* перейдет моему брату. Так устроено наше общество. Несправедливо, но такова жизнь. И если я не выйду замуж к тому времени, то у меня больше не будет своего дома. Поэтому отец так стремится устроить мой брак. Ради моего же будущего.

— Мужчин тоже заставляют жениться. Чтобы удовлетворить семейство, — вспомнил он про Джоппана.

— Да, но после свадьбы никто не скажет: «Филипос, бросай уже свою писанину. Твой долг — служить супругу и его родителям до конца твоих дней. Заниматься кухней, растить детей». — И она добавляет с ноткой горечи: — У моего брата будет жизнь, которая должна была бы быть у меня. Надеюсь, он разумно распорядится ею.

Они оба косятся в сторону ее брата. Живот у него выпирает даже из-под роскошного двойного мунду, лицо отечное, под глазами залегли

темные круги, которые уже никогда не сойдут. Парень словно чересчур прожорливая копия своего отца, так же неважно выглядит и по тем же причинам, но в куда более юном возрасте: сигареты и слишком много бренди. Но ему недостает юмора Чанди, его обаяния, доброты и жизнелюбия. Почувствовав взгляд, братец поднимает пустые глаза. *Между братом и сестрой совсем нет любви*, видит Филипос.

Элси наклоняется поближе к Филипосу:

— Я рассказала тебе только потому, что ты спросил. Ты не представляешь, как сильно девочки любят своих отцов. Выйти замуж — это лучший подарок, который я могу для него сделать. А потом я стану твоей головной болью. И я подумала: если уж придется выйти замуж, то кто будет уважать меня как художника и позволит мне быть тем, кем я должна быть? И решила, что это ты.

И вновь он польщен. Но ее слова немного обескураживают. А где же *любовь*? Где в этом объяснении страсть? Она читает его мысли.

— Послушай, если мои слова тебе разочаровали, прости. Это ведь просто смотрины. Ты можешь сказать, что пришел, увидел и понял, что я не для тебя. Можешь отказаться. Или я могу. Ты спросил. И я честно ответила.

Какая жестокая честность! А у него хватило бы мужества быть таким же искренним, как она?

— Элси, последнее, чего мне хочется, это отказаться...

— Когда я рисовала тебя тем утром в поезде, я думала, что заглядываю в твое сердце. Я больше не была той девочкой, что ехала с тобой в машине. И ты не был тем храбрым мальчиком, который спас младенца. Я видела мужчину, решительно ищущего свой путь. И ты нашел — я вижу это в твоих рассказах. А когда явился сват, я была просто счастлива. Подумала — вот наконец человек, который видит мир так же, как я. Который жадно стремится изобразить его, так же как пытаюсь изображать я. Скажи, в чем я ошиблась.

— Нет, ты все правильно поняла. Но я хочу, чтобы и ты знала — я не хочу жениться только потому, что так надо. Я хочу жениться *на тебе*. И когда мы поженимся, я сделаю все, чтобы поддержать тебя в творчестве. А как же иначе?

Ей это по душе.

— Ты уверен? Твоя милая мама надеется, что я буду заниматься кухней, приглядывать за домом, готовить вкусное рыбное карри. Она

будет в ужасе, если придет торговка рыбой, а я не сумею отличить матхи от *ваала*... [\[182\]](#)

— Погоди, правда не умеешь? В таком случае... — Он делает вид, что возмущенно встает.

Ее брови-крылья изумленно взмывают, но миг спустя она хохочет — какой чудный звук, словно звон колокольчиков. От вида ровной полоски ее зубов, кончика языка, краешка нёба у него голова идет кругом.

— Элси, пока ты вот так смеешься, мне все равно, какая ты хозяйка. Обещаю. У тебя будет столько же времени и возможностей заниматься рисованием, сколько и у меня для моей работы. Ты пока не знакома с моей мамой, но она просто чудо. Она все поймет.

— Филипос... — нежно и благодарно произносит Элси, склонив голову и прислоняясь к нему.

А он прислоняется к ней, принимая и поддерживая вес ее тела, и пошли к дьяволу древние старухи. Его рука там, где он прикасается к девушке, горит огнем. Сердце неистово скачет — не от страха или в панике, но от осознания, что он обрел то, что искал. Филипос горд собой. Обыкновенный человек сумел добиться необыкновенного.

глава 46

Брачная ночь

1945, Парамбиль

Война, длившаяся шесть лет, почти закончилась. Два с половиной миллиона индийских солдат будут демобилизованы, включая — впервые — сотни индийских офицеров. Во время Великой войны Британия никогда не призывала офицеров индийского происхождения, опасаясь, что тем самым подготовит будущих повстанцев. И англичане были правы. Нынешние возвращающиеся с фронта индийские офицеры — это люди с наградами за доблесть, люди, которые видели, как под их командованием солдаты погибали за освобождение абиссинцев, французов, за освобождение Европы от гитлеровского ига. Они не согласятся на меньшее, чем свобода Индии. Англичане выступили с идиотским заявлением, что тех индийских солдат, которые были захвачены японцами в плен и вынужденно вступили в Индийскую национальную армию Субха Чандра Боса^[183] или тех, кому отрубили головы, будут судить как «предателей». Ярость каждого индийского военного и всего индийского общества напугала британцев. Если хотя бы один гарнизон взбунтуется, ничто не остановит падения цепочки домино. Двести тысяч гражданских англичан в Индии будут в одну ночь вырезаны тремя сотнями миллионов местных жителей.

В Траванкоре будущий жених ночь за ночью обшаривает эфир, из Парамбиля наблюдая за освобождением Ленинграда и Рима, Рангуна и Парижа. К карте на стене он добавляет новые листы, но войну на Тихом океане невозможно изобразить ни в каком масштабе. Он подписывает точки на карте: Гуадалканал, атолл Макин, Моротаи, Пелелиу. Люди толпами гибнут на этих крошечных островках. Какое-то массовое безумие. И личное тоже: один из внуков гончара записался в армию по единственной причине — ради единовременной премии и жалованья. Бедный мальчик погиб в Северной Африке.

Они с Мастером Прогресса решили закрыть Центр питания, потому что продовольственное снабжение неуклонно ухудшается.

Филипос не может отделаться от чувства, что меняющийся ход войны, надежды Индии на неминуемое освобождение неразрывно связаны с переменами в его собственной судьбе.

Их брак заключают в той же церкви, где когда-то выходила замуж Большая Аммачи и где крестили Филипоса. Появляется Элси — *nállu*^[184] сари прикрывает волосы; глаза, как положено, опущены вниз; первой через порог переступает правая нога. И всеобщий восхищенный вздох при виде прелестной невесты — возможно, первой, которая в стенах этой церкви вступает в брак в сари. Филипосу кажется, что золотистая аура, как пыльца корицы, окружает ее. Вместо того чтобы обвешаться с головы до ног украшениями матери, Элси надела лишь по одному браслету на запястья, тонкую золотую цепочку с подвеской и золотые серьги. В свои девятнадцать она держится с самообладанием и уверенностью женщины, прожившей вдвое больше. А вот когда Филипос в последний раз перед выходом из дома разглядывал себя в зеркало, у него сложилось о себе абсолютно противоположное впечатление: двенадцатилетний мальчик пытается выдать себя за двадцатидвухлетнего.

В первом ряду на мужской стороне, рядом с Мастером Прогресса и парамбильскими родственниками, гордо стоял Джоппан в своих лучших мунду и джубе. Но Самуэль, несмотря на все мольбы и уговоры Филипоса, категорически отказался входить в церковь. Он наблюдал за церемонией через окно.

Домой молодых доставил длинный, блестящий, украшенный розами «форд» Чанди — тот, что с «плавниками». К Парамбиллю они подъехали по недавно расширенной дорожке, по одну сторону которой громадный белый *nánda*^[185] забит сидящими гостями. А по другую сторону возвышается громада Дамодарана, который понимает значение происходящего события. Не успели они выбраться из автомобиля, как Дамо тычется хоботом в Большую Аммачи, а та тянется погладить его. Затем Дамо по-товарищески подцепляет хоботом Филипоса и ерошит ему волосы, семейство Тетанатт благоговейно ахает. На голову невесты Дамо водружает гирлянду из цветов жасмина, которую передал ему Унни. Хобот задерживается у лица, обнюхивая щеки и шею, Элси в восторге хохочет. Она благодарит слона ведром подслащенного риса, приготовленного Большой Аммачи.

подавальщики носятся по шатру с дымящимися блюдами восхитительного *бирьяни*^[186] из ягненка, приготовленного Султаном-паттаром. Слышен шокирующий звук легкого и свободного смеха Благочестивой Коччаммы, очаровательного и звонкого, — никто и не подозревал, что она так умеет. «Пунш поместья Чанди», сливовое вино, названное в честь святого, производит фурор на женской половине.

Филипос и Эlsi, сидя на возвышении, принимают ошеломительную череду гостей, среди которых есть и несколько белых пар из числа землевладельцев — друзей Чанди. Снаружи пандала Филипос высматривает Самуэля, тот выглядит царственно в яркой шелковой джубе горчичного цвета, подаренной Филипосом, и ослепительно белом мунду. Когда Филипос машет ему, подзывая, старик хмурится и не двигается с места, всем видом говоря, что уж тамб'ран должен бы понимать. Поэтому Филипос выбирается наружу сам и тянет за собой Эlsi; он обнимает старика — не только из любви, но еще и потому, что тот намеревается сбежать.

— Эlsi, это Самуэль, единственный отец, которого я знал.

Потрясение Самуэля, вызванное их приближением, сменяется ужасом от богохульства маленького тамб'рана. Он не смеет смотреть в глаза Эlsi, почтительно складывая ладони под подбородком. Она отвечает на приветствие, а затем склоняется коснуться его ног. Самуэль, вскрикнув, вынужден схватить девушку за руки, удерживая. Она ласково берет его ладони, склоняет голову и тихо произносит: «Благословите нас». Не в силах отказать ей, старик молча, с трясущимися губами, простирает дрожащие заскорузлые ладони над их головами. Филипос тянется обнять, но Самуэль в притворном гневе отталкивает его. И указывает на помост, безмолвно приказывая молодым вернуться на место, а сам отворачивается, чтобы они не увидели его слез.

Почти в полночь они наконец остаются наедине в комнате Филипоса. В письмах, которыми жених и невеста обменивались перед свадьбой, он упомянул повеление Одат-коччаммы, что ему следует убрать со стен свои карты, чтобы приготовить комнату для молодой жены. Это стало поводом для телеграммы от Эlsi, впервые в истории Парамбиля.

ОСТАВЬ КАРТЫ НА МЕСТЕ ТОЧКА НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙ ТОЧКА ХОЧУ ВИДЕТЬ ТЕБЯ ТАКИМ КАК ЕСТЬ ТОЧКА

Элси улыбается, увидев, что ее телеграмма прикреплена к карте и стала частью густо исписанного пометками гобелена с народами, армиями, флотами и глупостями человеческими. Когда чемоданы Элси внесли в комнату, там сразу стало тесно. К их спальне пристроили новую ванную комнату, каждое утро большой резервуар нужно наполнять водой из колодца, чтобы потом она лилась из кранов, но Филипос планирует вскоре установить электрический насос. Элси, захватив свои туалетные принадлежности, направилась в ванную, как будто давным-давно живет в Парамбиле и уже привыкла. Слава богу, что ей не нужно пользоваться уборной во дворе или совершать омовения за загородкой у колодца. Филипос торопливо помылся именно там и поспешил обратно.

К ее возвращению он зажигает масляную лампу — мягкий свет не такой резкий, как от электрической лампочки на стене. Элси переделалась в белую ночную рубашку с рисунком из светло-розовых цветов, а он остался в одном мунду, с обнаженной грудью. Они ложатся рядом, глядя в потолок. Во время церемонии всякий раз, как их руки соприкасались, он чувствовал, как мурашки пробегают по телу. А по пути домой они прижимались друг к другу и улыбались, как дети, словно хвастаясь: *Мы сделали это!*

Он прикручивает фитиль. Они долго лежат молча, прислушиваясь, как ветер шевелит кроны пальм, как воркует голубь, как позвякивает цепь на ноге Дамо. В комнате темно, но постепенно на дальней стене проступают два бледных прямоугольника окон, занавеска прикрывает только нижнюю половину, а на фоне неба виден силуэт верхних ветвей хлебного дерева во дворе. Три плода, свисающих в развилке, похожи на ребятишек, играющих на дереве.

Он поворачивается к Элси, и она тут же прижимается к нему, словно ждала. Колени их неловко стучаются друг о друга. Он кладет ногу поверх ее лодыжек, ее ноги скользят между его, и вот уже ступни их рядом. Он видит только ее лицо, чувствует ее дыхание на щеке, запах зубной пасты и мыла и природный аромат ее кожи. Ее пальцы робко ощупывают его виски, подбородок, шею — как скульптор оценивает модель. Его пальцы путаются в ее волосах. Тела прижаты

друг к другу, он ощущает ее мягкую грудь. Она не может сдержать зевок, и он зевает почти одновременно с ней. Оба коротко сдавленно хихикают. Элси вздыхает и зарывается в него. Голова покоится в углублении, образованном его плечом и туловищем, а длинные пальцы вытянулись на груди.

Постыдное бегство из Мадраса оставило в нем ощущение незавершенности, недостающих частей и нераспутанных нитей. Но сейчас, когда Элси прилепилась к нему, Филипос чувствует себя цельным. Ее живот сначала крепко давит ему в бок, а затем с каждым выдохом все больше расслабляется, дыхание ее замедляется. Он наблюдает за этим чудом. А потом, несмотря на возбужденное сердцебиение от того, что обнимает прекрасную женщину — свою жену, — Филипос тоже засыпает.

Когда после полуночи он просыпается, ноги их по-прежнему переплетены, но ее рубашка и его мунду сбились, и стала видна обнаженная кожа ее бедра. Он мгновенно, будто плеснули водой из ведра, приходит в себя. Место, где их кожа соприкасается, горит огнем. Филипос осторожно придвигается теснее, и, удивительно, она отвечает. Глаза ее открываются. Он не уверен, как именно надо действовать дальше. Голова медленно приближается к ней. Она прижимается к этой его новой твердости, которой не было в нежных объятиях перед тем, как они заснули.

Губы их встречаются, неловкое касание — волнующее, но сухое. Не то, что он себе представлял. Они повторяют попытку, проникая более решительно, и теперь языки соприкасаются — будоражащая искра и близость настолько глубокая, что по всему телу озноб. Он неловко ощупывает ее рубашку, и внезапно грудь обнажается. Ничто и никогда в его жизни не сравнится с этим моментом, когда он впервые увидел ее, прикоснулся к ней, почувствовал, как она отзывается. Рука застенчиво движется вниз, а тыльная сторона ее ладони, а затем и пальцы робко трогают ту часть его тела, которую невозможно не заметить. Их обоюдная робость и неловкость эротичны так же, как и все, что этому предшествовало. Он приподнимается и нависает над ней. Как слепой, который уперся в угол и пытается своей палкой нащупать дорогу, но она одной рукой направляет его, положив другую ему на грудь, чтобы притормозить. Очень медленно она впускает его. Чуть морщится болезненно, но удерживает его внутри. Только когда он

чувствует, как она расслабилась, очень нежно начинает двигаться. Боже, думает он, если существует это, как можно заниматься чем-то еще? Филипос растворяется в теле своей молодой жены, сливается с ним, их дыхание, их соки и жилы — все едино. Никакие эксперименты с самим собой и ничто из «Фанни Хилл» и «Тома Джонса» не подготовило его к трепету и нежности происходящего.

Они погружаются в забытье под таинственной, укрывающей от всего завесой, распростертой над ними, напоенной их смешанными ароматами. Очнувшись, Филипос вспоминает случившееся, и воспоминание вновь встряхивает его, возбуждая безудержное желание повторить снова и снова. Он ждет, чтобы возлюбленная открыла глаза, и вскоре она выныривает из сонной дымки, не сразу понимая, где же оказалась. Элси, проснувшаяся в своем новом доме, кажется неожиданно уязвимой. Почувствовав ее состояние, он бережно заключает ее в объятия и прижимает к себе. Наверное, ей больно. То, как она приникает к нему, убеждает, что он поступил правильно. Спустя некоторое время Элси чуть отстраняется, смотрит ему в лицо и целует, в ее дыхании вкус сна и его самого. Она что-то шепчет, но Филипос не может прочесть по губам.

— Элси, я не разбираю шепот. Прости.

Она прижимается губами прямо к его уху:

— Я сказала, что не чувствовала бы себя так спокойно ни с кем, кроме тебя. Вот что я сказала.

Она устраивается поудобнее, обнимая его, и они вновь засыпают.

Просыпаются они одновременно. Свет струится сквозь крестообразные вентиляционные отверстия и окна. Ленивый петух кукарекает «*Солнце-встало-раньше-меня-ай-я-яй*». Слышно звяканье ведра о стенки колодца, скрип ворота и жужжание веревки. Дом пробуждается.

В ямке ключицы поблескивают капельки пота. Их общий запах такой острый, такой чувственный. Филипосу хочется рассказать ей, какой умопомрачительной была ночь, как... Но не существует таких слов. Поэтому он целует ее веки, брови, каждый дюйм ее лица.

— Я хочу, чтобы ты была счастлива здесь, Элси, — шепчет он. — Я исполню любое желание, только скажи... Все, что захочешь.

Даже для него самого слова звучат торжественно. Возвышают его. Милостивый, опьяненный страстью государь, он влюбленно смотрит на свою королеву, ее тонкий нос, вытянутые к вискам глаза, напоминающие изящный овал ее лица. Многие месяцы после их поездки в поезде он вспоминал, что глаза у нее близко посажены, но это лишь видимость из-за того, как они вытянуты к носу, его Нефертити. И память так и не запечатлела толком изысканную дугу Купидона ее верхней губы. Он пьян, опьянен красотой своей невесты, его разрывает от щедрости, как императора Шах Джахана^[187], который предлагал выстроить дворец для своей возлюбленной.

— Все что угодно? — сонно повторяет она, руки крыльями вытягиваются в стороны, губы едва двигаются, глаза полуприкрыты. — Как джинн в лампе Аладдина? Уверен?

— Да, все что угодно.

Она приподнимается, опираясь на локоть, поворачивается к нему, ее грудь опускается на его грудь — зрелище при дневном свете настолько поразительное, что если бы она попросила его отрубить себе голову, чтобы продолжать им наслаждаться, он бы тут же согласился. Ее забавляет и радует его внимание; нисколько не смущаясь, она остается в этом положении, чтобы он мог любоваться и дальше. Кожа на груди немислимо гладкая, кремовая и бледнее, чем остальное тело, пока не переходит внезапно в более темный кружок вокруг соска. Их влечение к телу друг друга, совсем недавно обнаруженное, берет верх над стыдливостью. Школьница на сиденье автомобиля, Юная Мисс в поезде — ныне она его жена, и глаза ее говорят: *Смелее, смотри, целуй, трогай...*

— Все что угодно. — Слова полны любви и удовлетворенного желания. — И я не имею в виду построить мастерскую. Это мы и так сделаем. Я уже начертил план — расширим южную веранду и накроем крышей. Там хорошее освещение, но как ты решишь. Нет, я имею в виду нечто большее. Отвоевать Святую землю? Победить дракона? — Он нежно гладит ее по лицу.

Она внимательно, с улыбкой разглядывает его, прикидывая. Потом переводит взгляд к окну — и решение принято. Он старается проследить за ее взглядом, увидеть привычный мир ее глазами.

— Я люблю утренний свет. А эта плаву, — указывает она на дерево, с которого на них смотрят плоды размером с детскую

головку, — она затеняет комнату. Ты мог бы срубить ее. Вот таково мое желание.

Срубить плаву? Дерево, которое приглядывало за ним, спящим, с самого его детства?

— За ним, должно быть, открывается чудесный вид, — говорит она.

глава 47

Бойся дерева

1945, Парамбиль

К вечеру его не будет, дорогая!

Вот что он должен был сказать. А вместо этого растерянно колеблется так долго, что петух успевает прокукарекать еще раз.

— Вот это дерево? — переспрашивает Филипос. И самому тошно от фальшивых интонаций в голосе.

Элси отводит взгляд. Улыбка съеживается, как у ребенка, которому предложили сладости, а потом сразу отобрали. В мире, разделенном на тех, кто держит слово, и тех, кто лишь разглагольствует, она отдала свое тело одному из последних.

— Все в порядке, Филипос...

— Нет, нет, прошу тебя, Элси, милая, позволь мне объяснить. Я срублю его. Обязательно. Обещаю. Но можно ты дашь мне немного времени?

— Конечно, — говорит она.

Но он уже чувствует трещину, шов в их союзе. Если бы можно было отступить. Или она изменила бы желание.

— Спасибо тебе, Элси. Понимаешь, тут такое дело...

Его рассказ «Человек-плаву» вызвал у некоторых читателей своеобразный отклик. Кое-кто из них совершает паломничество к этой плаву, считая историю подлинной и думая, что в ней описано именно это дерево, и как бы ни убеждал Филипос, они остаются при своем мнении. А другие пишут на адрес газеты, просят, чтобы письма поместили внутрь дерева, засунули в его полости — их слова адресованы усопшим душам, которых они пытаются разыскать. Все это побудило редактора заказать фотографию Филипоса под знаменитым деревом.

— Фотограф скоро прибудет. А я пока получу благословение от Самуэля. Понимаешь, он часто рассказывал мне, как они с моим отцом посадили это дерево, когда расчищали участок. Оно было самым

первым деревом на плантации. Когда я был маленьким, Самуэль показал мне, как это происходило. «Мы выкопали ямку, положили внутрь один гигантский чакка, целый. Из сотни семян под его крокодиловой кожей пробилось два десятка ростков. Любой из них мог стать отдельным деревом. Но мы связали их вместе, заставив вырасти одним могучим плаву». — Он понимает, что наговорил лишнего.

Из кухни слышно звяканье горшков. Хриплый ворон каркает своей подруге: *Только взгляни на нашего идиота-приятеля, открывает рот, когда надо бы держать его на замке.*

— Не переживай. И не надо спрашивать Самуэля. Ты не должен...

— Элси, нет! Представь, что дерева уже нет. Что твое желание исполнено. Попроси меня о чем-нибудь, что я могу сделать прямо сейчас, попроси...

— Все в порядке, — говорит она гораздо нежнее, чем он заслуживает, натягивает ночную рубашку на плечи, скрывая от взгляда свою грудь. — Мне не нужно ничего другого.

Она встает, высокая и гордая, застегивает пуговики сверху донизу, пока темный треугольник ее женственности и светлая полоска бедер не остаются лишь воспоминанием.

В дверях она задерживается. Солнечный луч, процеженный сквозь листву плаву, подсвечивает серо-голубые радужки, мерцающие, как графит.

— Но, Филипос... Прошу тебя... пожалуйста, сдержи свое обещание насчет моего творчества.

Он слышит, как Элси болтает во дворе с Малюткой Мол, а потом с Большой Аммачи и Лиззи, у них голоса звонкие, радостные, а у нее пониже, и ее голос легче различать, чем остальные.

Фотограф приехал и уехал, идут недели и месяцы. Каждую ночь, засыпая после любовных ласк, Филипос обещает себе отдать тайное распоряжение Самуэлю, чтобы его прекрасная жена проснулась в море света и поняла, что муж — человек слова. Элси, кажется, и не вспоминает про дерево. Эта тема никогда не возникает. Но Филипос не может выбросить ее из головы.

По радио звучит джаз в исполнении дюка^[188] из Америки по имени Эллингтон. Филипос сидит у самого приемника, Элси — рядом,

делает наброски. Он подглядывает, что рождается на ее странице, — он сам, склонившийся над радио, волосы падают ему на глаза. Дрожь пробегает по телу — от гордости за нее, но еще и от беспокойного чувства, которое не решается назвать. Рисунок льстит Филипосу — энергичные линии подбородка и тонкие линии, очерчивающие губы, пухлые и чувственные. Но сознательно или невольно она ухватила и его замешательство, его сокровенные страхи. Он, ущербный смертный, вовсе никакой не император Шах Джахан и не джинн — он карлик рядом с ее талантом; он больше не уверен в себе и ищет способ оставаться с женой на равных, быть достойным ее.

Вдохновленный супругой, Филипос работает больше, чем когда-либо. Но для Элси работа — это покой и свобода, состояние естественное, как дыхание, а он, напротив, чересчур придирчиво и избирательно использует свое перо, хотя изображаемый предмет — жизнь — вокруг него постоянно. Его искусство, как объясняет себе Филипос, заключается в том, чтобы заставить звучать обыденное, но неожиданным образом. И тем самым пролить свет на человеческие поступки, на несправедливость мира. Но он просто не умеет творить так, как она.

В их любовных играх жена порой удивляет Филипоса, передвигая его руки и ноги, демонстрируя свои желания так полно и властно, что он чувствует себя куклой Малютки Мол. Это ужасно возбуждает. Насытившись, она отстраняется от мира, оставаясь лишь дышащей плотью, пока он выпутывается из объятий. Глядя на ее распластавшееся в забытьи тело, он чувствует, как вновь поднимается на поверхность беспокойство: а что, если он просто бумага, камень, палочка угля, которые удовлетворяют ее ночные вожеления? Когда он проявляет инициативу, она отдается так страстно, что сомнения исчезают... только чтобы всплыть позже, в назойливом подозрении, что некая часть ее души скрыта от взгляда в запертом чулане, ключи от которого ему не доверены. Он все это выдумал? Но если нет, то винить надо только себя, всему причиной его необдуманное обещание насчет дурацкого дерева. Всякий раз, вспоминая о нем, Филипос морщится, это изводит его, гложет изнутри. Нужно найти наконец топор для этой плавы.

Большая Аммачи влюблена в невестку. Она с восхищением наблюдает, как счастливы молодые, как увлечен ее сын молодой женой.

Еще до свадьбы он рассказал матери о том, что теперь стало очевидно: Элси не должна заниматься домашним хозяйством. Она настоящий большой художник. Большая Аммачи притворно возмутилась: «А кто сказал, что мне нужны помощники? Что я буду делать, если передам хозяйство? Что мне, читать твою колонку, пока не прожгу дырку в газете?» Ее вполне устроит, если Элси будет делать только то, что сама выберет. Элси выбирает подолгу сидеть в кухне на низкой табуретке, мешками просеивать рис, смеяться над болтовней Одат-коччаммы, внимательно слушать рассказы Большой Аммачи. Привязанность Большой Аммачи к Элси растет день ото дня. Мать Элси умерла совсем молодой, кто же рассказывал девочке сказки, называл ее муули, расчесывал волосы и отправлял на масляный массаж? Большая Аммачи делает все это и даже больше. И всякий раз, когда бы ни появилась Элси, ее хвостик, Малютка Мол, сопровождает ее. А еще у них часто бывает Лиззи, жена Управляющего Кору; они с Элси очень скоро становятся близки, как сестры.

Элси одобрила проект, и стройка началась. Их спальня (в прошлом спальня его отца) увеличена в три раза. Третью стала кабинетом Филипоса, с книжными полками по двум стенам и альковом для радиоприемника в дальнем углу, а оставшиеся две трети отданы под собственно спальню. Для студии Элси залили цементом патио, которое тянется на двадцать пять футов от задней стены их новой спальни. Спальню, студию и патио покрывает островерхая крыша, черепичная, а не соломенная. Патио окружает кирпичная стенка высотой по колено, от непрошенных визитов коров и коз она защищает, но не заслоняет света. Сзади расположены широкие распашные ворота. Рулонные жалюзи из койры по трем сторонам патио можно опускать, укрываясь от солнца или дождя. Шофер привез из Тетанатт-хаус художественные принадлежности Элси: холсты; стопки неоконченных картин; коробки с кистями, карандашами и перьями; деревянные ящики с красками в тубиках и банках; мольберты; столярные инструменты; бочонки скипидара, льняной олифы и лака. Запах краски и скипидара вскоре становится столь же привычным в Парамбиле, как и аромат жареных горчичных зерен.

Большая Аммачи случайно стала свидетельницей, как Благочестивая Коччамма заказывала Элси свой портрет («маслом, как

у Раджи Рави Вармы»). Элси нерешительно возражала. Возможно, когда-нибудь позже. И вежливо добавила, что, она уверена, Благочестивая Коччамма понимает три важные вещи: художник волен изобразить ее так, как посчитает нужным, модель не увидит работу до тех пор, пока та не будет закончена, и портрет будет принадлежать Элси независимо от того, кто его заказал. С каждым ее словом челюсть у Благочестивой Коччаммы отвисала все ниже. И только присутствие Большой Аммачи удерживало женщину от резкого ответа. С лицом, багровым от гнева, дама возмущенно удалилась.

Случайно или намеренно, но душевные разговоры между Лиззи и Элси приводят к тому, что первой моделью становится Лиззи. Филипос жалеет, что не может слышать их долгие беседы. Он отмечает, что Лиззи уже две недели как ночует в Парамбиле, но прежде не задумывался об этом, пока Мастер Прогресса не сообщает, что Кора сбежал. Кредитор обнаружил, что Кора подделал документы на землю, которую предложил в залог, оригиналы находятся у другого кредитора, и тот кредит тоже просрочен.

— Может, бегство и вправду лучший выход, — вздыхает Мастер.

Филипос изумлен тем, что на лице Лиззи не дрогнул ни один мускул. Она ни слова никому не сказала, и никто не поставил ей это в вину. Ровно в тот день, когда становится известно об исчезновении Кора, Филипос получает возможность первым увидеть *Портрет Лиззи*; на картине видны и самообладание Лиззи, ее спокойствие и хладнокровие, но при этом очевидно, что Парамбиль — это ее дом. А еще Филипос с потрясением обнаруживает на портрете то, чего не замечал в самой модели живьем, — гнев Лиззи, несомненно связанный с дурацкой историей, в которую впутался Кора. Когда Филипос стоит перед картиной, в комнату заходит Лиззи посмотреть на готовую работу, она замирает перед ней так надолго, что Филипосу становится неловко. Они с Элси потихоньку выходят. Когда Лиззи наконец появляется на пороге студии, лицо ее светится новой решимостью. Она молча нежно обнимает Элси, кивает Филипосу, а потом отправляется к себе домой.

Семья никогда больше не увидит ее вновь. На следующее утро они узнали, что ночью Лиззи исчезла. Большая Аммачи убита горем — она потеряла дочь.

— Я сказала, что она может остаться у нас навсегда. Что здесь ее дом. Она не попросилась со мной, потому что не могла соврать про то, куда направляется. Думаю, она поняла, что ее долг быть с ним, где бы он ни скрывался.

Элси рыдает, решив, что именно портрет каким-то образом спровоцировал бегство Лиззи.

— Если это и так, — утешает Филипос, — то по лучшей из причин. Думаю, в твоей работе Лиззи впервые увидела себя по-настоящему, увидела собственную силу. Она давно знала, что Кора не в состоянии наладить свою жизнь и надежно обеспечить ее. Да, она могла бы остаться здесь. Но она выбрала пойти к Коре по одной-единственной причине: не для того, чтобы быть послушной женой, нет, Лиззи решила взять бразды правления в свои руки, стать главой семьи. Кора будет бесконечно благодарен, он согласится на ее условия или пропадет навсегда. И все благодаря твоему портрету.

Элси слушает, изумленно вытаращив глаза:

— Это одна из твоих «не-художественностей»?

— Нет. Это лишь истина, которую ты смогла увидеть. Неужели сама не замечаешь? А для меня вот абсолютно ясно. Ты забываешь, я тебе уже позировал. Поверь, подобный опыт дает модели глубокое видение того, кем она на самом деле является.

После ухода Лиззи родственники потянулись вереницей — взглянуть на ее портрет. Филипос наблюдает, что они ведут себя точно так же, как и Большая Аммачи, — надолго замирают, вовлеченные в безмолвный диалог не только с изображением, но и с самими собой, и выходят подавленными. Возможно, портрет помогает каждому смириться с исчезновением Лиззи. Но одновременно заставляет понять то, что Филипос уже давно знает: Элси — художник самого высокого полета. Не *как* Раджа Рави Варма, а гораздо лучше, Элси — художник со своим собственным взглядом. На фоне портретов Элси работы Рави Вармы выглядят плоскими и безжизненными, несмотря на всю их театральную красочность.

Однажды в июне того же года Филипос нарушает вечернюю тишину радостным воплем, который собирает домочадцев около радио:

— Неру на свободе! После девятист шестидесяти трех дней в тюрьме! Британцы признали, что все кончено.

Филипос до поздней ночи не отрывается от радио. В прошлом от Британии отделились Америка, Ирландия и Новая Зеландия. Он представляет, как англичане в оставшихся еще колониях — Нигерия, Бирма, Кения, Гана, Судан, Малайя, Ямайка — сидят, нервничая, у своих радиоприемников, потому что Великобритания скоро потеряет бриллиант своей короны и солнце, которое никогда не заходит над Британской империей, вот-вот закатится. Переговоры об освобождении Индии уже начались. Путь, лежащий впереди, опасен и полон ловушек, поскольку Джинна^[189] и Мусульманская лига^[190] хотят отдельного государства для мусульман, которые составляют почти треть всего населения Индии. Джинна не доверяет Партии Конгресса^[191], где доминируют индусы.

Когда он забирается в кровать, Элси читает книгу.

— Как вышло, что маленький остров заправляет половиной глобуса? — недоумевает Филипос. — Вот что я хотел бы знать.

Элси откладывает в сторону «Историю Тома Джонса, найденыша» с загнутыми уголками. Вот уже несколько дней она читает ее перед сном.

— А вот что я хотела бы знать, — говорит она, — какое влияние негодяй Том оказал на маленького мальчика, прочитавшего эту книгу.

— Ну... — начинает Филипос, — в сущности...

Она заставляет его умолкнуть, накрыв губами его губы. Он нашаривает выключатель лампочки.

В августе, с интервалом в три дня, атомные бомбы стерли с лица земли Хиросиму и Нагасаки. Сотни тысяч людей погибли в мгновение ока. Обитатели Парамбиля собираются вместе, рассматривая газетные фотографии из обоих городов. Из всех ужасных картин войны, что видели в Парамбиле, с этим не может сравниться ничто.

Филипос позже застал Одат-коччамму, которая, уединившись, потерянно смотрела на развернутый газетный лист, и слезы текли по ее щекам. Он обнимает старушку. Она делает вид, что отпихивает его, а сама устало прижимается.

— Я, может, и не умею читать, но понимаю больше, чем ты думаешь, мууни. Думаешь, мне грустно? Ошибаешься! Это слезы радости. Я рада, что я уже такая старая, что меня не затронет грядущее.

Если мы так легко убиваем друг друга, значит, конец света уже наступил, правда же?

Филипос снял карту, покрывающую целую стену. Наблюдение за ходом военных действий стало его греховным увлечением, но он больше не в силах вести учет человеческим страданиям. Элси молча наблюдала за мужем.

— В последние годы произошли гораздо более приятные события, которые я хотел бы запомнить, — объясняет он. — Я вернулся домой в Парамбиль, где моя родина. Я стал писателем. Но самое главное, в моей жизни появилась ты. Вот это и нужно увековечить.

Пришло письмо от Чанди, где он сообщает, что переезжает на лето из Тетанатт-хаус, и приглашает в гости в свое бунгало. Элси обрадовалась:

— Здесь будет очень влажно, а там мы сможем любоваться утренним туманом над садом... Ты сможешь писать. Я — рисовать. Мы будем гулять, играть в теннис или в бадминтон. А по выходным ездить на скачки, если захочешь. Ты обязательно должен увидеть поместье. Всем не терпится познакомиться с тобой.

— Что ж... звучит чудесно. — Но на самом деле каждое ее слово повергает его в тревогу. Голова идет кругом, он покрывается липким потом.

— Давай выберем дату, и я попрошу папу прислать машину, и...

— Нет! — резко бросает он. Увидев испуганное лицо Элси, Филипос берет себя в руки. — Я хотел сказать, давай еще подумаем. Ладно?

Жалкие остатки прежней улыбки цепляются за ее губы, не желая расставаться с надеждой. Ведь тот, кто делает зазорные пометки, слушая радио, кто читает даже за обеденным столом, кто заказывает книг больше, чем выдерживают полки, — такой человек наверняка пожелает исследовать новые территории, испытать новые ощущения.

— Филипос... Нам полезно время от времени покидать Парамбиль. Немного посмотреть мир. — И, словно спохватившись, добавляет: — Полезно для твоего творчества.

— Я знаю.

Но если знает, тогда почему сердце колотится так бешено и откуда тогда это чувство ужаса, от которого перехватывает дыхание? Поездка

в Мадрас, несмотря на краткость пребывания там, выпотрошила Филипоса. Ему пришлось возвращаться домой, чтобы восстановиться, воссоздать себя заново. Но вплоть до этого самого момента, когда Элси заговорила об отъезде, он не подозревал, что сама мысль об этом вызовет ужас, подобный страху утонуть. Парамбиль — это его твердая почва, основа его равновесия, а все прочее, оно как вода. И дело не в том, что нужно ехать высоко в горы; ритуалы клубов, вечеринок, скачек наверняка станут серьезным вызовом его слабому слуху. Люди, которые знают Элси с детства, будут оценивать ее мужа, и это лишь усугубляет его смятение.

Элси стоит на месте, ожидая объяснений. Его страхи иррациональны, и ему стыдно от этого. Но Филипос не может просто взять и признаться ей, без того чтобы не почувствовать себя униженным, он будет выглядеть в ее глазах слабаком, жалким неудачником и как мужчина, и как муж. Мысли скачут, колотятся в мозг, вызывая головную боль.

— Пускай мир приходит к нам, — слышит он наконец собственный голос, и тот звучит надменно и резко.

Элси вздрагивает. Какая глупость, и Филипос это понимает. Но, произнеся вслух, он загнал себя в угол. Отступать некуда.

— Все, что мне нужно, у меня есть здесь. А у тебя разве нет? С помощью радио я могу посетить любой уголок большого мира.

Женщина, которую он боготворит, смотрит на него, словно не узнавая.

— Филипос, — после долгой паузы тихо произносит она — так тихо, что ему приходится приглядываться к ее губам. Рука робко тянется к нему, как ребенок, который хочет погладить любимого пса, вдруг странно себя ведущего. — Филипос, все будет хорошо. Мы поедем на машине. Никаких лодок, никаких рек, чтобы...

Намек на другой его недостаток еще больше пристыдил съезжившееся, отступающее, огрызающееся эго, и уродливая защитная реакция прорывается наружу, прежде чем он успевает затолкать ее обратно.

— Элси, я запрещаю, — заявляет некто, кого он сам не узнает, некто, завладевший его голосом и устами. Слова, слетевшие с языка, звучат ужасно. — Я запрещаю тебе ехать. — Все. Он это сделал.

Рука ее отдергивается. Лицо каменеет. Он видит, как она отступает в ту зону, куда ему нет доступа. Отворачивается, произнося что-то, что он не расслышал.

— Элси, что ты сказала?

Она поворачивается к нему, высоко подняв голову. В словах, которые он читает по ее губам и которые достигают его слуха, нет ни злорадства, ни обиды, ничего, кроме печали.

— Я сказала, что поеду навестить своего отца.

В ту ночь Элси не приходит в супружескую постель. Разыскивая жену, Филипос находит ее спящей на циновках вместе с тремя остальными женщинами семьи; Элси поступала так, только когда Малютке Мол нездоровилось и та просила побыть рядом. Он не стал будить жену из гордости и из опасения потревожить мать. За ужином, когда Большая Аммачи спрашивает, что происходит, он делает вид, что не слышит.

В последующие дни оба держатся отстраненно. Но молчание все равно кажется лучшим выходом, чем признание. Кроме того, как можно рационально объяснить иррациональные страхи? Всякий раз, оказываясь рядом с Элси, Филипос примеряет свой новый образ, так мужчина надевает новую рубашку или отращивает усы, надеясь, что окружающие (и жена) воспримут его по-другому. Однако ничего не получается. Всякий раз, когда они остаются наедине, на кончике языка у него вертится «Прости меня, я вел себя как идиот». Но воинственный голос внутри предостерегает от такого шага, иначе всю оставшуюся жизнь придется уступать. Как долго может продолжаться эта междоусобица?

Не так уж долго, как выясняется, потому что Малютка Мол со своей скамеечки возвещает, что едет машина. Час спустя подрулил автомобиль с шофером из поместья. Элси, наверное, написала домой. Она вручает шоферу стопку холстов и возвращается в дом за следующей. Филипос идет следом — разъяренный, не верящий в происходящее, раздираемый противоречивыми чувствами, кровь стучит у него в ушах. Жена закалывает шпилькой локоны, мимолетно бросив взгляд в окно на плаву...

Он цепляется за повод.

— Послушай, — начинает Филипос, — все ведь из-за этого проклятого дерева, да? Я займусь им, я же сказал. И на случай, если ты вдруг позабыла, я запретил тебе ехать.

Элси поворачивается, спокойно разглядывает мужа — похоже, его слова не удивили и не задели ее. Он ждет. Она молча собирает гребни и расчески. Ее реакция обескураживает. Он стоит на месте, с каждой секундой чувствуя себя все более глупо.

— Тогда оставайся в этой комнате, пока не передумаешь, — заявляет он, повысив голос, и выбегает вон, хлопнув нижней половиной двери, но поскольку засов находится внутри, он должен протянуть руку и задвинуть его. И выглядит еще глупее — тюремщик, оставляющий ключ внутри.

Он возмущенно пыхтит, а обернувшись, оказывается лицом к лицу с матерью. Она прибежала на звук хлопающих дверей и его крики. Филипос пытается обойти ее, но Большая Аммачи не сдвинется с места, пока сын не объяснится. Он бормочет что-то бессвязное насчет дерева...

— Что за чепуха! Да сруби ты это дурацкое дерево. Оно же жуткое на вид, — возмущается она. Решительно отодвинув сына, протягивает руку и отпирает дверь. И, прежде чем войти в комнату, шепчет, обернувшись к нему: — Ты что, не видишь, что она беременна? Какая глупость с твоей стороны отпускать ее одну!

Филипос беспомощно смотрит вслед уезжающей жене.

В течение следующей недели у него есть время свыкнуться с новостью о беременности Элси, с ее отсутствием, с собственным идиотизмом. Малютка Мол с ним не разговаривает. Гнев Большой Аммачи стихает, когда она видит, как потерянно Филипос слоняется по дому.

— Ей полезно повидаться с семьей. Мне очень не хватало этого, когда я была молодой женой. Будь мать Элси жива, Элси все равно уехала бы туда рожать. Как бы ты ни любил родной дом, ради жены тебе нужно чаще выходить из него.

Филипос хотел бы поехать к жене, но понятия не имеет, где она — в Тетанатт-хаус или в поместье в горах, где он никогда не бывал. Он пишет длинные покаянные письма на оба адреса и ждет. Две недели спустя Элси присылает короткую формальную записку, никак не

ссылаясь на его послания. Она дает понять, что находится в бунгало в горах и намерена остаться там еще на неделю, а потом вернется с отцом в Тетанатт-хаус в долине. Больше ничего.

Через неделю и один день Филипос впервые со дня помолвки является в Тетанатт-хаус. К счастью, Чанди и его сына нет дома. Филипос сидит в просторной гостиной на низкой кушетке, лицом к тому самому длиннющему белому дивану, у которого ножек больше, чем у сороконожки. Одна из фотографий наверху на стене — *memento mori*: семья вокруг открытого гроба. Элси, лет шести или семи, с остекленевшим взглядом стоит рядом с братом — как же он мог забыть? Это усугубляет раскаяние Филипоса.

Появляется Элси, и при виде нее, ее красоты, у него перехватывает дыхание. Она садится на диван напротив. И если он за время их короткой разлуки толком не спал и места себе не находил, то она, наоборот, выглядит отдохнувшей, как будто разлука пошла ей на пользу. Беременность добавила зрелости ее лицу, а еще густого загара на скулах и переносице. На ней то же кораллово-голубое сари, что и в день помолвки, — это хороший знак? Она смотрит на него без гнева, вообще без всякого выражения, как смотрела бы на геккона на стене, прикидывая, что тот станет делать дальше.

— Элси, прости меня.

Она ничего не говорит в ответ. Филипосу стыдно вспоминать, как он сидел тут рядом с ней на веранде в день их помолвки и обещал, что будет понимать и поддерживать ее стремление стать художницей. И поддерживал! Поддерживает. И все же он здесь.

Филипос пробует еще раз:

— У нас будет ребенок! Если бы я только знал! — Никакого ответа. Он вздыхает. — Элси, я был не прав, когда так вел себя. Как буйвол, опрокидывающий груженую телегу. — Его слова, кажется, опечалили ее, и выражение лица уже не такое бесстрастное. — Элси, ты хорошо себя чувствуешь?

Она пожимает плечами и плотно стискивает губы. Ему хочется броситься к ней и прижаться к себе.

Она опускает взгляд на свой живот. Ничего не заметно пока.

— Живот крутит... мутит. Не выношу запаха краски. Приходится рисовать углем. Но мне было хорошо с папой в поместье. Повидалась

со старыми друзьями.

— Элси, ты должна увидеть свою студию. Ашари сделал замечательный тиковый шкаф для твоих вещей. Я разложил их там. Получилось очень красиво.

Он не признается, что, занимаясь этим, понял, насколько продуктивно работала жена. И как почувствовал себя ничемным позером. Тоже мне писатель — его размышления длиной в несколько дюймов публикуют в местной газете на местном языке, пускай даже у нее громадный тираж.

— Элси, пойми, прошу тебя, после Мадраса... все, что выдергивает меня из привычного, выбивает из равновесия, заставляет чувствовать себя неприкаянным, неуверенным, особенно если нужно встречаться с незнакомыми людьми, беспокоиться, расслышу ли я, что они говорят. Когда ты сказала о приглашении отца, в тот самый момент, у меня так забилося сердце, я чуть в обморок не упал. Но хуже всего то, что мне было так стыдно, слишком стыдно, чтобы сказать правду, и вот...

— Все хорошо, Филипос, — говорит она.

И смотрит на него с жалостью и, может, даже с сочувствием. Он открылся ей. Его смятение, его замешательство — это и есть самое настоящее в нем. Он вообразил, что как только объяснится, она тут же вернется домой в Парамбиль. Но теперь видит, что если он любит ее, то должен принять любое ее решение. И все равно, только бы позволила ему сесть рядом, взять ее за руку.

Горничная принесла на подносе два стакана лаймового сока и поставила возле Элси. Украдкой с любопытством покосилась на Филипоса. Элси берет оба стакана и пересаживается к нему. Он вздыхает, и его облегчение настолько явно, что, должно быть, растрогало ее. Всякий раз, когда они сидели так близко, возникало магнетическое притяжение, которое влекло их друг к другу, и они ничего не могли с собой поделать. Элси, наверное, тоже чувствует это, потому что прислоняется к нему и улыбается. Он тянется к ее руке, пальцы их переплетаются. И стон облегчения вырывается у него, когда утихают муки минувшего месяца.

— Элси, прости меня, — молит Филипос. — Я так сильно тебя люблю. Что мне делать?

Она смотрит на него с нежностью, но все еще настороженно, по-прежнему откуда-то издалека.

— Филипос... Ты можешь любить меня немножко меньше.

глава 48

Боги дождя

1946–1949, Парамбиль

В год от Рождества Господа нашего 1946-й Малыш Нинан появляется на свет, как летний шквал с безоблачного неба — ни шелеста листвы, ни шороха белья на веревке в качестве предупреждения.

В тот день Большая Аммачи и Одат-коччамма хлопчут на кухне, пальмовые листья и сухая кокосовая шелуха потрескивают на раскаленных углях, и дым сочится из-под соломенной крыши, словно из волосатых ноздрей. «*Йешу маха магенай неннаку*», *Во имя Твое, Господи Иисусе, сын Божий*, — напевает Одат-коччамма, помешивая в котелке. Филипос ушел на почту.

АММАЧИ!

Мир благословенного утра разлетается вдребезги. От ужаса в голосе Элси, доносящемся из главного дома, все замирает. Они застают Элси в дверях комнаты, бедняжка пытается устоять на ногах, пальцы, вцепившиеся в дверной косяк, побелели. Распушенные волосы ниспадают, обрамляя смертельно бледное лицо. Свет, заливающий дом, так прекрасен и так материален, что на него, кажется, можно опереться, — это Большая Аммачи запомнит навсегда.

Сквозь стиснутые зубы Элси выдавливает:

— *Аммáй!*^[192] Но еще слишком рано!

Она тянется к Большой Аммачи, но волна боли снова накрывает ее. Большая Аммачи чувствует под ногами что-то мокрое и видит чистую прозрачную лужицу: у Элси отошли воды.

Неестественно спокойным голосом Большая Аммачи говорит:

— *Саарам илла, муули. Вешамиканда. Все в порядке, девочка. Не волнуйся.*

Но ничего не в порядке. Большая Аммачи и Одат-коччамма переглядываются, и старуха, не говоря ни слова, ковыляет обратно в кухню за иголкой и ниткой, и, слава Богу, вода на огне еще кипит.

Большая Аммачи ведет Элси в кровать, как маленькую сонную девочку, а не взрослую женщину, которая выше нее ростом.

Большая Аммачи моет руки и слышит, как Элси окликает ее: «Аммай!» Не «Аммачи», а «Аммай», во второй раз. Сердце Большой Аммачи тает. *Да, я теперь ее мать. А кто же еще?* Она успевает подбежать как раз вовремя, когда появляется крошечная головка. Возвращается Одат-коччамма с горшком кипятка.

И тут же, без всяких усилий, в руки Большой Аммачи вываливается самый крошечный ребенок, которого она когда-либо видела, — влажный синий обмякший комочек.

Две пожилые женщины недоверчиво уставились на это крошечное создание, прелестного миниатюрного мальчика, чья жизнь еще не написана... И вообще он появился слишком рано в этом мире. Младенец похож на восковую куклу, грудь его неподвижна. Большая Аммачи и Одат-коччамма вновь переглядываются, последняя резко наклоняется вперед, вытянув за спиной руки для равновесия, кривые ноги широко расставлены, и хрипло шепчет прямо в крошечный завиток, заменяющий ухо: *«Марон Йезу Мишиха». Иисус есть Господь.*

Младенец вздрагивает, дергает ручками и издает писк. О это сладостное, ласкающее слух, драгоценное пронзительное мяуканье новорожденного — звук, подтверждающий, что Бог есть, и да, Он по-прежнему творит чудеса. Но этот — слабейший из криков, едва различимый. Цвет младенца почти не изменился.

Одат-коччамма перевязывает и обрезает пуповину. Выскальзывает плацента. Заметив, как Элси приподнимается на локте и в тревоге вглядывается в малыша, тетушка недовольно ворчит: «Мальчишки! Вечно они спешат!»

Большая Аммачи нежно обтирает малыша — нет времени для ритуального купания. Он весит меньше маленького кокосового ореха. Без оболочки. Она раздвигает складки блузы Элси и кладет ребенка на ее обнаженную грудь, повыше, где он становится похож на крупную подвеску, и накрывает мать и ребенка легкой тканью. Элси бережно обхватывает сына ладонями и смотрит на него с удивлением и страхом, слезы катятся по ее лицу.

— О Аммай! Разве он выживет? У него такое холодное тельце!

— Он согреется на твоей груди, муули, не волнуйся, — успокаивает Большая Аммачи, хотя сама охвачена тревогой.

Она замечает Малютку Мол, беззаботно болтающую сама с собой на любимой скамеечке — или с невидимыми духами, которые позволяют ей заглянуть в грядущее. Спокойствие Малютки Мол либо хороший знак, либо дурной.

Малыш Нинан — такое имя Элси выбрала для мальчика — похож на новорожденного кролика, голубые ноготки у него едва сформировались, глазки плотно сжаты, кожа совсем бледная на фоне кожи матери. Все неправильно, думает Большая Аммачи. Слишком рано, слишком маленький, слишком синий, слишком холодный, и отца нет рядом. Слова «Марон Йезу Мишиха» в ухо младенца должен произнести родственник-мужчина или священник. Она восхищена сообразительностью Одат-коччаммы: время имело решающее значение, и они обе были уверены, что дитя вернется к своему небесному Отцу, прежде чем отец земной успеет вернуться с почты.

Губы Элси дрожат, она в тревоге смотрит на старших женщин, ожидая знака, что делать дальше. Большая Аммачи утешает:

— Он услышит биение твоего сердца, муули. Он согреется.

Одат-коччамма молча снимает с Элси обручальное кольцо, соскребает крошку золота изнутри, роняет ее в каплю меда и кончиком пальца наносит эту смесь на губы младенца, ибо каждое дитя христиан Святого Фомы должно ощутить вкус благодати, хотя бы на миг.

Филипоса тетушка Одат перехватывает на крыльце. Он внимательно выслушивает, потом спрашивает:

— Элси знает, что ребенок может умереть?

Одат-коччамма притворяется, что не расслышала.

Элси знает. Едва войдя в комнату, он понимает это по ее лицу. Прижимается щекой к ее щеке. Смотрит на их сына. И ноги ему отказывают.

Три часа спустя Малыш Нинан все еще пребывает в этом мире, пальчики у него уже не такие синие, а дыхание его, лежащего на груди Элси, ровное, хотя и частое. Мать пробует дать ему грудь, но кружок соска накрывает детское личико целиком, а сам сосок слишком велик и не помещается в крошечный ротик. Большая Аммачи помогает Элси сцедить в чашку молозиво, густое и золотистое.

— Это концентрированная суть тебя самой. Ему очень полезно.

Элси опускает в чашку мизинец, потом подносит его к губам Нинана, капля падает в рот.

Большая Аммачи предлагает Элси снять малыша с груди, отдохнуть немного.

— Нет! — решительно возражает Элси. — Нет. Много месяцев он слышал стук моего сердца. Пускай и дальше его слышит.

Держать совсем не тяжело, все равно что прижимать к груди плод манго. И мягкая повязка из муслина, обернутая вокруг Элси и поддерживающая ребенка, тоже помогает. Такой же кисеей Большая Аммачи покрывает голову младенца.

Той ночью они втроем не смыкают глаз: Элси — на кровати, Большая Аммачи — рядом с ней, а Филипос — на циновке на полу. Элси не отрываясь смотрит на сына. «Мое тело согревает его так же, как когда он был внутри меня. Его температура — это моя температура. Он слышит мой голос, мое сердце, мое дыхание, как и раньше. Если он намерен победить, то у него есть все шансы». Масляная лампа освещает рождающуюся жизнь в этом чреве-вне-чрева.

Следующие два месяца Элси избегает гостей. Она прогуливается только по веранде, Филипос тенью следует за ней. Она не читает и не хочет, чтобы читали ей, не рисует, она всецело сосредоточена на сохранении их хрупкого шедевра. Обычно новорожденный выталкивает отца на периферию семейной жизни, но этот младенец втянул Филипоса в самое сердце семьи.

Однажды ночью, когда мама и бабушка кормят его трудоемким и кропотливым пальцевым методом, Нинан открывает глаза, веки растворяются вполне достаточно, чтобы он смог оглядеться, а они — впервые посмотреть ему в глаза. Какие же ясные, какие лучистые глаза у внука, думает Большая Аммачи.

Через десять недель, энергично возясь и суча ножками, Малыш Нинан дает понять, что перерос свое гнездо; когда он не спит, глазки его чаще открыты, чем закрыты. Он даже может сосать грудь — правда, пока по чуть-чуть. А в один из дней Малыш Нинан впервые прижимается не к материнскому телу, а к отцовскому, к его уютной пушистой груди. В это время родные торопливо умащают маслом Элси, делают ей массаж и очищают кожу кокосовой шелухой, а потом она погружается в ручей, нежась в струящейся воде. И спешит обратно,

восстановленная и обновленная, — какое наслаждение после нескольких недель лишь частичных омовений.

Большая Аммачи в первый раз купает Малыша Нинана, вытирает его, пеленает и впервые в его жизни укладывает на кровать. И он мирно спит. Отец и мать лежат по обе стороны от сына, привыкая к виду малыша, отделенного наконец от материнского тела. Младенец внезапно вытягивает руки, как будто ему снится, что он падает. А потом указательные пальчики остаются вытянутыми, благословляя родителей. Они счастливо улыбаются друг другу.

Безудержная влюбленность в Малыша Нинана заново открывает его родителям их взаимную любовь. Филипоса будоражит и возбуждает тот особенный взгляд, которым Элси награждает отца своего ребенка всякий раз, когда он входит к ней. Их руки постоянно ищут друг друга, а если никого рядом нет, Филипос бесконечно целует жену. Когда-то прикосновение губ сводило обоих с ума, но теперь оно сообщает о новой близости и о терпении, позволяющем отложить иные радости.

Вспоминая о своей детской реакции на желание Элси навестить поместье отца, Филипос сжимается от стыда.

— Это был не я, — ни с того ни с сего признается он однажды, когда Нинан на руках у бабушки, а они с женой остались наедине. И хлопает себя по голове. — Это был кто-то другой, Элси. Глупый напуганный ребенок, который овладел моим телом и чувствами. У меня есть единственное объяснение случившемуся.

Она снисходительно смотрит на него.

И каждый раз, выглядывая в окно спальни, Филипос вспоминает о своем невыполненном обещании. Фотограф пришел и ушел, и колонку Обыкновенного Человека теперь украшает зернистая фотография Филипоса перед деревом; у Самуэля не было ни малейших возражений насчет того, чтобы срубить дерево. Но плаву по-прежнему стоит на месте. К счастью, Элси, кажется, позабыла о своей просьбе.

Комочек голубой глины, так стремительно появившийся на свет, наверстывает упущенное время. Его неумная подвижность и не по годам развитая природная любознательность малаяли убеждают всех: малыш наверняка сам организовал свое преждевременное появление — он, должно быть, вскарабкался на стены своей водяной тюрьмы в поисках выхода. И сейчас, оказавшись снаружи, возобновляет свои

исследования. Жизненная миссия Малыша Нинана очень проста: ВВЕРХ! Оказавшись на руках у кого-нибудь, он норовит забраться на плечи или на шею, используя как опору уши, волосы, губы или нос. Он с готовностью прыгает в любые подвернувшиеся руки, но на самом деле ему нужны движение и высота. Грудь его матери — это родной дом, но даже сладостное утешение соска не перекрывает восторг от подпрыгивания, раскачивания и подбрасывания, и пускай при этом захватывает дух и дыхание замирает. Малыш смеется и требовательно сучит ножками: еще!

И наступает день, когда Элси без лишнего шума возвращается в свою студию и садится за мольберт, и делает это регулярно, если позволяет ребенок. Филипос видит, что последний из ее пейзажей имеет мало отношения к реальности: разве вода на рисовых полях бывает рыжего цвета, а небо — светло-зеленым? Игрушечные облака выстраиваются в ряд, как товарные вагоны. Но этот подчеркнуто примитивный стиль отчего-то удивительно располагает к себе. Кроме того, уступая мольбам Благочестивой Коччаммы и обещаниям принять все условия художника, Элси начинает ее портрет. Глядя, как сидит и позирует грозная дама, Филипос уверен, что та воображает себя эдаким Мар Грегориосом, только без посоха, облачения и святости.

Умение ходить совершенно не интересует Нинана, если оно не связано с лазанием. *Зачем использовать две конечности, когда у нас есть четыре?* — вот его философия. Четыре позволяют подняться вертикально. Вскоре звук глухого удара от приземления крошечного тела на неумолимый пол становится привычным. Следует короткая пауза, за ней непродолжительный жалобный вой — больше негодования, чем боли, — а затем ползун повторяет попытку.

— Он как его дед, немножко леопард, — улыбается Самуэль.

Большая Аммачи знает, что малыш похож на своего деда и отца и в другом: вода, льющаяся на голову, приводит Нинана в замешательство, заставляет его скашивать в сторону глаза, затем сводить их к середине, в расфокусированном взгляде одна лишь растерянность. У него есть Недуг.

Большая Аммачи зовет обоих родителей к себе в комнату и, копируя движения своего покойного мужа, достает и разворачивает перед ними «Водяное Древо» — так она называет родословие. Перед свадьбой Филипос рассказал Элси про Недуг. Тогда она не слишком

обеспокоилась и, кроме того, уже кое-что слышала об этой истории раньше. «В каждой семье что-то такое бывает», — сказала тогда Элси. А как насчет ее собственной семьи? «Выпивка. Мой дед. Мой отец. Его брат. Даже мой брат».

Большая Аммачи показывает Элси всю родословную.

— Вам просто нужно быть очень внимательными, когда Нинан подходит к воде. Не стоит учить его избегать воды. Он и сам не захочет туда лезть. Ну если только не пойдет в твоего мужа, который упорно старался научиться плавать, — слава богу, отказался-таки от этой идеи.

Филипос молчит. Он никогда в жизни не боялся за себя так, как сейчас боится за сына.

Около полуночи 14 августа 1947 года по радио раздается голос премьер-министра Джавахарлала Неру, и это самые важные слова, что звучали до сих пор из этого репродуктора. Чуть раньше в этот же день в мире появился Пакистан. «Много лет назад, — говорит Неру на превосходном английском настоящего англичанина, — мы назначили встречу с судьбой. Сегодня, когда часы пробьют полночь и весь мир будет спать, Индия пробудится к жизни и свободе».

Но пробуждение Индии оказалось кровавым. Двадцать миллионов индусов, мусульман и сикхов, вынуждены покинуть родные земли, где их семьи жили многие поколения. Мусульмане устремляются в новообразованный Пакистан, а индусы и сикхи, которые внезапно оказались вне Индии, направляются туда. На поезда, забитые беженцами, нападают бандиты иных религиозных взглядов. Кроважидные толпы крушат черепа младенцев, насилюют женщин и калечат мужчин, прежде чем убить их. Жизнь и смерть мужчины и его семьи зависит от наличия или отсутствия крайней плоти. Филипос вспоминает свое путешествие на поезде из Мадраса и Арджуна-Кумара-Железнодорожника, любителя нюхательного табака, восторгавшегося тем, как мирно уживаются в одном купе все религии и все касты. «Почему за пределами поезда все иначе? Почему нельзя просто дружно жить всем вместе?»

В Южной Индии, в Траванкоре, Кочине, Малабаре, люди и в самом деле живут дружно и мирно. Насилие, творящееся на севере, воспринимается так, будто оно происходит на каком-то другом континенте. Мусульманам малаяли, чья родословная восходит к

аравийским купцам, дау которых принесло течением на Берег Пряностей, нечего бояться своих соседей — немусульман. География — это судьба, а общая география Берега Пряностей и язык малайлам объединяют все веры. И вновь твердыня Западных Гхатов, которая веками сдерживала завоевателей и лжепророков, спасает их от безумия, ведущего к геноциду. Филипос пишет в своем дневнике: «Быть малайли — это само по себе религия».

Прямо перед вторым днем рождения Малыша Нинана на имя Элси приходит запечатанный восковой печатью конверт, который переслали из резиденции Тетанатт. «Портрет Лиззи» принят для участия в выставке Национального фонда в Мадрасе. Глаза Элси сияют гордостью.

— Я даже не знал, что ты подавала заявку! — удивляется Филипос.

— Да смысла не было рассказывать. Я подавала заявки с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать. Приятель моего отца, чайный брокер из Мадраса, отправлял за меня документы — ему нравятся мои работы. Но их всегда отвергали, вплоть до настоящего момента. — Она лукаво косится на мужа. — А в этом году я попросила его вместо «Т. Элсиамма» подписать заявку «Э. Тетанатт».

— А что, есть разница?

— В жюри одни мужчины, — пожимает она плечами. — Они подумали, что я тоже мужчина. Короче, мне нужно отправить еще несколько работ в дополнение к «Портрету Лиззи». А у меня не так много времени.

— Это... Элси, это невероятно. Я так горжусь тобой, — сумел выдать Филипос.

Она обнимает его так крепко, что ему становится трудно дышать. И с опозданием он понимает, что должен был бы первым обнять жену.

Он рад за Элси, но со стыдом должен признать, что новость выбила его из колеи. Это оттого что она воспользовалась девичьей фамилией? Пожалуй, нет. Филипос вспоминает обо всех отвергнутых рукописях, о чем он брюзгливо жаловался жене, и как он хандрил потом целыми днями. А вот Элси считала, что ее отказы даже не стоят упоминания.

Она все еще задумчиво смотрит на него, мысли ее далеко. Филипос безжалостно говорит себе, что сейчас жена, наверное,

представляет, как ее работа получает первый приз. Но он ошибается.

— Филипос, участникам выставки необязательно присутствовать лично. Но что, если мы вместе съездим в Мадрас на открытие. Побудем там немного, только вдвоем. Большая Аммачи может присмотреть за Нинаном. Представляешь, как здорово будет проехаться опять вместе на поезде, но в обратном направлении?

Он заметно бледнеет, не в силах скрыть смятение. На бровях проступают капли пота. Она замечает. Он решается объяснить:

— Элси, я обещал поехать с тобой в поместье. В любое время. Или в любой другой город. Только скажи. Но Мадрас? У меня сердце выскакивает, когда я только слово это слышу. Он прямо физически угнетает меня. Это город, где я был побежден, унижен, изгнан.

— И я тоже, Филипос. Потому и оказалась в том поезде. Но на этот раз мы будем вместе.

— Дорогая, — начинает Филипос. Он хотел бы порадовать ее, но горло как будто кто-то сжимает и пот градом катится по лицу. — Я так сильно горжусь тобой. Прошу, пойми, я поеду с тобой куда угодно. В Канпур, Джабалпур, в любой «пур». Но только не в Мадрас.

— Да я просто так предложила, — соглашается Элси. Но грустная нотка в родном хриловатом голосе цепляет его, как рыболовный крючок.

Противоядие стыду — негодование, праведный гнев. К счастью, на этот раз Филипос может его подавить — он понимает, что подобным чувствам нет оправданий. Он просто боится возвращения в Мадрас и не скрывает этого. Но еще больше боится потерять ее, боится, что Элси его перерастет.

В ту ночь Нинан вдруг ни с того ни с сего забирается на грудь матери, приникает и крепко засыпает там, поджав ножки, напомнив родителям о том времени, когда он жил, привязанный к этому месту.

— Для него стало бы потрясением, — признается Элси, — если бы я пропала даже на одну ночь. Да и я скучала бы по нему. — И игриво обращается к Филипосу: — А ты скучал бы, если бы я уехала одна?

— Ужасно! И терзался бы ревностью, представляя, как ты нюхаешь табак с незнакомцами. И, наверное, прыгнул бы в следующий поезд, вдогонку за тобой.

Она улыбается, ласково смотрит на Нинана.

— Да, уехав, мы скучали бы по нему вдвоем. И заменили бы одни болезненные воспоминания о том городе другими.

— Понимаю, — соглашается Филипос. — Но давай для начала съездим в какой-нибудь другой город. А Мадрас оставим до той поры, пока я не почувствую себя увереннее.

Спустя шесть недель, когда он уже ложится в постель и выключает свет, Элси сообщает:

— Сегодня, пока тебя не было, папин шофер привез письмо. «Портрет Лиззи» завоевал золотую медаль на Мадрасской выставке. А портрет Благочестивой Коччаммы получил поощрительную премию.

Филипос рывком садится на кровати:

— Что? И ты только сейчас мне об этом говоришь? Я должен разбудить Аммачи, должен...

Она прижимает палец к его губам. И убеждает подождать до завтра.

А на следующий день новость появляется в «Индиан Экспресс». Репортер задается вопросом, почему же талант художника так долго оставался непризнанным. Под именем, которое не раскрывало ее пол, художница завоевала золотую награду. Но разве это не та же самая Элсиамма и не те же самые работы, которые в прежние годы были отвергнуты тем же самым жюри? (Источник информации репортера — друг Чанди и ярый сторонник Элси, глава чайной брокерской компании в Мадрасе, тот самый человек, который подавал заявку от ее имени.) Три из работ Элси были проданы в день открытия. «Портрет Лиззи» получил самую высокую цену на аукционе. На следующий день все газеты на малаялам цитируют статью из «Экспресс».

Когда Нинану исполняется три года, Мастер Прогресса предрекает, что мальчик — подающий надежды политик Партии Конгресса, потому что малыш регулярно наносит визиты в каждый из домов Парамбиля. Больше всего он любит нежные маринованные манго, но ест все, что ему предлагают, и аппетит у него настолько поразительный, что люди недоумевают, кормят ли ребенка дома вообще. По счастью, плавать он не стремится. Взор его устремлен ввысь — верх гардероба, верхушка стога сена, конек крыши. Высшая точка его достижений на нынешний момент — спина Дамодарана, куда он был поднят самим Дамодараном,

прямо в руки дождавшегося Унни. Святой Грааль восхождений, недостижимый для принца, — плодоносящая верхушка пальмы, где сборщик урожая зарабатывает себе на жизнь. Подражая своим героям, малыш щеголяет матерчатым ремнем, за который заткнута иссохшая кость и ветка, изображающая нож. За ним хвостом ходит юная пулайи, ее единственная работа — держать мальчика как можно ближе к уровню моря. В один памятный вечер семья сидит на веранде и в изумлении наблюдает, как Нинан лезет вверх по столбу, его подошвы прижимаются к гладкой поверхности, как лапки ящерицы, а руки плотно обхватывают столб. Взрослые не успевают опомниться, как малыш уже улыбается им со стропил.

Утром, вернувшись с почты, Филипос находит Элси в кровати — лицо испуганное, а кожа пылает. Он протирает жену влажной тканью, чтобы сбить температуру. Несколько дней жар не спадает, и семья предполагает, что у Элси тиф. Филипос, не считаясь с расходами, нанимает машину и привозит в Парамбиль доктора, тот подтверждает тиф. Специального лечения не существует, говорит врач и заверяет, что вскоре Элси полегчает.

Филипос ухаживает за женой в одиночку, отвергая любую помощь. Оказывается, его лучшие качества — *их* лучшие качества — проявляются полнее всего, когда жена зависит от него, вот как сейчас. Но ведь любовь и должна выглядеть именно так, как две ножки буквы А? Когда жена поглощена своей работой и ей не требуется опора в нем, Филипос чувствует себя неуравновешенным, неустойчивым.

К третьей неделе болезни Элси становится лучше. Филипос помогает жене принять ванну, после которой она так слаба, что он на руках относит ее в кровать. Она сжимает его руку, не отпуская. Палец попадает в углубление на тыльной стороне ладони. Лицо расплывается в дурашливой усмешке.

— Только *нюююхать*, — припоминает она, поглаживая выемку этой «анатомической табакерки».

— Две понюшки туда точно поместятся, — говорит он. — Если не больше.

Она беззвучно смеется. Он целует ее в лоб. И ощущает невероятный прилив нежности и острое желание выразить в словах

неоформленные пока эмоции. Но знает, что именно в такие моменты он особенно опасен сам для себя.

Элси спрашивает, как там Нинан, которого из осторожности не подпускали к матери.

— Забрался на крышу сарая Благочестивой Коччаммы и обобрал ее манго, — докладывает Филипос. — Она не в восторге. Сказала, что выше пояса он коза, а ниже — обезьяна. Описание нелестное ни для тебя, ни для меня.

Элси весело смеется, но тут же морщится. Живот все еще дает о себе знать. Она открывает глаза, смотрит на мужа. Наклонившись, он прижимается лбом к ее лбу, и они смотрят в глаза друг другу, улыбаясь, как глупые ребяташки.

Какое название дать волшебной силе, бурлящей в комнате, связывающей их воедино? Если бы можно было запечатать в бутылку этот эликсир, которому болезнь придала могучую силу. Возможно ли любить сильнее? Или чувствовать себя столь же значимым, как сейчас? Что это, если не любовь? Но вскоре на глаза Элси наворачиваются слезы. Наверное, вспомнила о матери, которую унесла та же самая болезнь, когда сама Элси была немногим старше, чем Нинан сейчас? В отчаянном желании немедленно утешить жену Филипос восклицает:

— Что случилось? Что я могу сделать для тебя, Элсиамма? Только скажи. Все что угодно...

Идиот! Ты опять вляпался! Он смущенно умолкает и ждет ответа. Ликующая жизненная сила, наполнявшая комнату, испаряется, оставляя после себя печаль.

Она поворачивает голову к окну.

— Ладно, — драматически вздыхает он. — Обещаю. Дерево уберут. Больше никаких оправданий.

Глаза ее прикрыты. Но ведь именно это означал ее взгляд в окно? В любом случае, он дал слово. Опять. И не может ее подвести.

Первого июня того же 1949 года все домашние на взводе. Обнаженные, воспаленные нервы — предмуссонный симптом, от которого страдают все жители западного побережья Индии. Газетчики пишут вздорные брюзгливые статьи, которые лишь повторяют прежние брюзгливые статьи о характерной раздражительности, единственным лекарством от которой является дождь.

Муссон всегда приходит первого июня, а вот уже пятое.

Крестьяне требуют, чтобы правительство приняло какие-то меры. Устраивают массовые молебны. В Мавеликаре женщина отрезает голову своему двадцатипятилетнему мужу. Объясняет, что жизнерадостность и болтливость супруга стали невыносимы и в ней что-то надломилось.

Именно в этот период, когда у пулайар мало работы, Филипос отдает распоряжение Самуэлю срубить дерево. Старик выслушивает инструкции и уходит, озадаченный.

Вскоре Самуэль возвращается с подручными, включая и редко появляющегося Джоппана. Жену Джоппана, Аммини, работающую вместе с Сарой, Филипос видит часто, а вот Джоппана — нет. Он слышал, что Джоппан перестроил дом, заменил соломенные стены деревянными, положил цементный пол, переходящий дальше в крыльцо. Бизнес с баржами снова процветает. Аммини работает вместе со свекровью, плетет соломенные панели для хижин, а еще взяла на себя подметание муттама, за что получает плату.

— Сначала снимите плоды. Все, до которых сможете дотянуться, — велит подручным Самуэль. И садится на корточки наблюдать.

Появляется Сара и пристраивается рядом. Мужчины опускают тяжелые колючие шары вниз.

— Хорошо, что фрукты растут близко к стволу, — обращается к жене Самуэль. — Они же как валуны! Падающий кокос опасен, но упавший чакка может прибить человека насмерть. Глянь на мой палец, если думаешь, что я шучу! Ты же помнишь, да?

Сара делает вид, что не слышит мужа, и молча удаляется. Самуэль как-то встал за дерево помочиться, кругом были женщины, спрятаться негде. Вытащил пенис — Маленького Дружка — и опустил взгляд вниз. Но в возрасте Самуэля, чтобы вызвать струю, нужно покашлять, сплюнуть, представить водопад, опереться свободной рукой на что-нибудь или посмотреть вверх. Рассказ его всегда завершался одинаково:

— Если б я пялился на своего Маленького Дружка, тут бы все и закончилось. Не взгляни я наверх, мы бы с вами сейчас не болтали!

Он едва успел отдернуть голову, и джекфрут приземлился прямо на большой палец ноги.

Сара, уходя, думает: *И зачем мужчины вечно смотрят на него? Он что, куда-то денется? Не сбежит же он. Да просто наведи и стреляй!* И возвращается к Аммини закончить очередную соломенную панель.

— В этом мужчине — вся моя жизнь, — говорит она невестке. — Но если он сегодня еще раз повторит рассказ про чакка-упал-мне-на-ногу, я завершу то, что недоделал чакка.

Когда фрукты убраны, Самуэль велит обрубить каждую ветку у основания. Парни недоумевают. Племянник, Йоханнан, спрашивает:

— А почему нельзя срубить все дерево целиком?

— *Эда Вайнокки!* — возмущается Самуэль. *Каждой бочке затычка!* — Какое твое дело? Потому что тамб'ран так сказал. Недостаточно?

Да что такое с Йоханнаном? — раздраженно думает Самуэль. *Он что, спросонья забыл, что значит быть одним из нас?* Но дело в том, что он и сам не понимает, почему дерево нужно обрезать таким странным образом. И что с того? Сколько раз он делал что-то только потому, что так велел тамб'ран? Какие еще нужны причины?

Острыми *ваккати*^[193] парни обстругивают каждую ветвь с двух сторон, пока та не истончается и не падает, оставляя после себя заостренный шип торчащего вверх пенька. Из обрезков сочится сок, и парни торопливо собирают его в подставленные тыквы. Ребятишки используют клейкий сок для ловли птиц — жестокий способ, по мнению Самуэля. Но еще из сока выходит отличный клей, которым он законопатит свое старое каноэ. Кто бы мог подумать, что можно починить каноэ в июне? Капли белого сока усеивают кожу парней, налипают на ваккати. Лезвия и рукояти придется оттирать маслом и отскребать кокосовой кожурой.

— Отличное дерево, — кричит Самуэль. — Сохраните для меня одну ветку, весло сделаю. Древесина непростая, но если все сделать правильно, она красиво блестит. Берите что захотите и делайте с ней что пожелаете. Продайте ашари, если сами ленитесь возиться, мне-то что за дело?

Вскоре воздух густеет от тошнотворного приторного запаха спелого джекфрута. Когда все разошлись, Самуэль и Джоппан долго стоят и смотрят на то, что осталось от дерева, — толстый ствол, как

туловище с торчащими руками-кинжалами и острыми пальцами. Злое божество.

— Какая дурость, — горько бормочет Джоппан. — Людям, которые не знают, как обращаться с землей, нельзя позволять ею владеть.

Разворачивается и уходит, пока ошеломленный отец растерянно ищет ответные слова.

Из своей спальни Филипос наблюдает за окончанием работ. Может, Элси подумает, что оставшееся похоже на скульптуру, на канделябр с дюжиной заостренных вверх конечностей. Но к чему обманывать себя. Осталось неприглядное пугало, царапающее небо. Компромиссное решение должно было обеспечить жене хорошо освещенную комнату, одновременно сохранив его талисман, но результат оказался уродлив и смущает, как нагота старика. Надо было свалить это дерево. Самуэль еще не ушел, и Филипос уже открыл рот, чтобы крикнуть: «Самуэль! Пускай они срубят уже до конца», когда заметил Джоппана рядом с отцом. И гордость не позволяет ему произнести эти слова. От чего он чувствует себя еще глупее.

В спальне теперь действительно светлее, видно паутину в углу. Элси была права: дерево заслоняло вид. И что же теперь видно? Филипос присматривается. Небо изменилось? Облаков нет, но голубая ткань обретает иную структуру. И в воздухе новый аромат. Неужели?

Филипос выходит из дома. Цезарь лает. Порыв ветра задувает мунду между ног. Над головой вьется стайка потревоженных птиц. Случись ему накануне оказаться на пляже в Каньякумари^[194], Филипос увидел бы, как накатывался великий юго-западный муссон, повторяя путь, который некогда привел к этим берегам древних римлян, египтян и сирийцев.

Обходя ампутированную плавую, Филипос отводит глаза. Он пересекает пастбище, добирается до высокой насыпи на краю рисовых полей, которая простирается вдаль, оттуда открывается беспрепятственный вид на небо и окаймленный пальмами горизонт. К Филипосу присоединяются обитатели окрестных хижин, лица их напряжены и полны предвкушения. Люди успели позабыть, что муссон на долгие недели заточит их в домах, затопит эти выжженные рисовые поля, просочится сквозь соломенные крыши и истощит запасы зерна,

люди помнят только, что их тела, подобно пересохшей земле, ждут дождя; их шелушащаяся кожа жаждет этого. Как поля будут лежать под паром, так и тело должно отдохнуть, дабы обновиться, посвежить, вновь стать гибким и податливым.

Высоко в небе недвижимо повисла на распростертых крыльях хищная птица, паря на восходящих потоках. Небо вдалеке краснеет и постепенно темнеет. Вспышки молний вызывают взволнованную рябь среди зрителей. Они смакуют эти минуты перед потопом, забыв, что скоро будут тосковать по сухой одежде, которая не рискует покрыться плесенью и не имеет прокисшего затхлого запаха древности; они будут проклинать двери и выдвижные ящики, от сырости застревающие, как младенцы в тазовом предлежании. Все дурные воспоминания глубоко похоронены до поры до времени. Налетает внезапный шквал, Филипос теряет равновесие. Растерянная птица пытается лететь против ветра, но порыв приподнимает кончик крыла, отправляя ее в штопор.

Самуэль стоит рядом, кожа его забрызгана белым соком, он улыбается, глядя в небо. Наконец передний край темной горы облаков подступает ближе, черный бог, — о, непостоянные верующие, отчего вы сомневались в его приходе? Кажется, что до него еще много миль, но вот он уже над головами — дождь, благословенный дождь, косой дождь, дождь снизу и со всех сторон, новый дождь, не тот, от которого можно убежать, и не тот, от которого можно защититься зонтом. Филипос стоит лицом вверх, а Самуэль наблюдает за ним, улыбаясь и бормоча: «Глаза открой!»

Да, старик, да, мои глаза открыты для этой драгоценной земли и ее людей, для скрижалей воды; для воды, что смывает грехи мира, воды, что собирается в ручьи, озера и реки; реки, которые текут в моря; для воды, в которую я никогда не войду.

Филипос спешит обратно домой, и Самуэль следом, потому что там их ждет гораздо более важный ритуал. И люди из других домов тоже спешат. Они успевают как раз вовремя.

Малютка Мол, напоследок взглянув в зеркало, вперевалку ковыляет на веранду — маленький ребенок, плечи расправлены, несмотря на то что спина с каждым годом все больше сгибается, тело ее раскачивается из стороны в сторону, словно противовес ногам. Едва учуяв влажный аромат дождя, Большая Аммачи поспешно влетает в

волосы Малютки Мол свежие ленточки и цветы жасмина и втискивает ее в особое платье: блестящая голубая юбка с золотой оторочкой, а сверху шелковое полусари поверх золотистой блузки, заколотое на плече. Элси рисует в центре лба Малютки Мол большое красное потту, обводит глаза *каджáлом*^[195], и та сразу кажется старше.

Малютка Мол смущенно улыбается, видя, как собирается публика, ее родные и близкие, чтобы стать свидетелями танца муссона. Она ощущает груз ответственности, ведь от нее зависит, чтобы дожди не заканчивались. Эта традиция зародилась, когда Малютка Мол была ребенком, а поскольку она будет ребенком всегда, то и традиция сохранится. Она встает по центру муттама, зрители толкуются на веранде или, если они пулайар, прижимаются снаружи к стене веранды, прямо под скатом крыши.

Малютка Мол начинает раскачиваться, хлопая в ладоши, отбивая ритм и подстраиваясь под него шаркающими ногами. По мере того как она разогрывается, случается чудо: неуклюжие мелкие шажки становятся плавными и текучими, а вскоре и прочие недостатки — кривая спина, приземистая фигура, короткие руки и ноги — растворяются без следа. Двадцать пар ладоней хлопают вместе с ней и подбадривают ее. Она воздевает руки к небу, манит к себе облака, кряхтя от натуги, а глаза мечутся из стороны в сторону. Это собственный *мóхинийаттам*^[196] Малютки Мол, а сама она *мóхини* — заклинательница и чародейка, — покачивающая бедрами, рассказывающая о самом главном глазами, выражением лица, жестами рук и положением тела. Ее мохинийаттам плотский, приземленный, необученный и подлинный. Пот смешивается с каплями дождя в драматургии танца. Смысл послания, заключенного в ее вращениях, каждый наблюдатель раскрывает сам для себя, но темы его — тяжкий труд, страдание, вознаграждение и благодарность. *Счастливая жизнь*, сообщает это послание Филипосу, пока дождь льет на землю. *Счастливая, счастливая жизнь! Счастье, что ты можешь видеть себя в этой воде. Счастье, что можешь очиститься ею вновь и вновь...* Завершив танец, Малютка Мол закрепила их завет, муссон поклялся в верности, семья в безопасности, и в мире все в порядке.

глава 49

Вид из окна

1949, Парамбиль

Но на второй день сезона дождей Малютка Мол необъяснимо беспокойна и несчастна, она не сидит на своей скамеечке, а расхаживает взад-вперед, не наслаждается ливнем, как обычно. Все боятся, что она заболела, что ее беспокоят легкие или чрезмерно натруженное сердце. Она ложится к Элси, которая массирует ей ноги, а Большая Аммачи баюкает голову. Никто не может себе представить, что Малютке Мол уже сорок один год, она совсем не ребенок, хотя все же ребенок навсегда.

— Скажи мне, что с тобой, — умоляет Большая Аммачи, но Малютка Мол лишь стонет и безутешно плачет, по временам резко обгрызаясь в ответ призраку, который что-то нашептывает ей на ухо.

Ночью муж с женой лежат, прислушиваясь, как небеса обрушиваются на Парамбиль, Нинан спит рядом с Элси, а Филипос теснее прижимает к себе жену, и обоим тревожно — что же так терзает Малютку Мол.

С утра странное затишье, небо очистилось. Вышло солнце. Люди с опаской выбирают на улицу, не уверенные, как долго продлится такая погода. Мастер Прогресса мчится к Большой Аммачи получить подпись на налоговой жалобе. Джорджи и Ранджан решают, что сейчас подходящий момент потолковать с Филипосом об аренде земли с отсрочкой платежа. Самуэль и все остальные тоже кучкуются около кухни — получить плату и рис из амбара, как повелось в начале муссона. Из своей хижины появляется Джоппан. Одат-коччамма выносит белье — развесить на веревке, но сомневается, что оно успеет высохнуть. Как только она заканчивает, с неба тончайшими иголками сыплются мелкие струйки. Старушка ворчит на небо — мол, ему пора уже принять решение.

Тишину и покой разбивает крик, такой жуткий, что морозящий дождь прекращается. Сидевший за столом Филипос мгновенно понимает, что звук донесся из соседней комнаты, из уст Элси, хотя никогда прежде он не слышал такого истошного вопля ужаса, от которого холодеет кровь. Он первым успеваает к жене.

Элси вцепилась в решетки окна, продолжая кричать. Филипос думает, что ее ужалила змея, но нет. Он следит за взглядом жены, устремленным на голую плаву. И от того, что увидел, рот заливают желчью.

Малыш Нинан. Он висит вниз головой, белое, без кровинки, лицо застыло в удивленном выражении, тело дико скрючено, так что описать невозможно.

Заостренная ампутированная ветка дерева растет прямо у него из груди, кровь причудливой бахромой запеклась вокруг раны.

Филипос с диким криком выскакивает наружу и лезет на дерево, ноги скользят по мокрой коре, он обдирает голени о пропитанный дождем ствол, царапает в кровь руки, цепляясь ногтями, — как Нинан вообще умудрился забраться наверх? — но находит наконец опору в одном из острых обрубков. Подгоняемый адреналином и отчаянием, он нащупывает новую опору для ног, и еще одну, и добирается наконец до сына. Одной рукой пытается освободить его. Самуэль, который в момент крика стоял возле комнаты Филипоса, уже лезет следом, забыв про свой возраст, поспевая за тамб'раном. Джоппан прибегает, как раз когда отец догнал Филипоса. Тело старика, одного цвета с корой, прижато к Филипосу. Тот чувствует горячее дыхание Самуэля, пахнущее орехом бетеля и дымом бииди, когда они вместе — и справиться можно только вдвоем, — крикнув, тянутся за Нинаном: сначала его нужно снять с шипа. Они приподнимают мальчика, с тошнотворным чмокающим звуком туловище отделяется от заостренного обрубка.

Тело соскальзывает в подставленные руки Джоппана и множество других рук, протянутых снизу; Нинан лежит на земле, обмякший и недвижимый, позвоночник изогнут под странным углом, дождь льется на неподвижное тело и на всех них. Самуэль сползает вниз, и когда он уже на земле, Филипос, не размышляя, просто отталкивается от ствола и тяжело приземляется, коротко вскрикнув от внезапной боли, пронзившей обе лодыжки, когда пятки врезаются в землю, но уже в

следующее мгновение он склоняется над сыном, жутко крича, и голос его разносится над полями и верхушками деревьев. «Айо! Айо! Энте понну мууни!» «Мое драгоценное дитя! — кричит он. Мууни! Нинан! Поговори со мной!» — отказываясь принять то, что видят глаза, глухой к крикам Элси, Большой Аммачи и всех остальных, причитающих над ним, глухой к стенаниям, ударам в грудь, звукам рвоты. Он ничего этого не слышит, потому что дыра в животе Нинана — это обрушившийся мир, темная бездна ужаса, центр вселенной, которая предала ребенка, предала мать, отца, бабушку и всех, кто любил его. Все, что принадлежало этому маленькому телу — дыхание, биение пульса, голос и мысли, — ушло, и умерло, и запредельно мертво.

Он поднимает своего поломанного мальчика. Когда чьи-то руки пытаются оттащить его, Филипос отталкивает их, отбивается. Он баюкает сына на руках — безумец, рвущийся бежать в сгущающуюся тьму муссонных туч. Если не в эти целительные облака, куда ему бежать? Для человека на сломанных, искривленных ногах, ищущего помощи своему первенцу, ближайшая больница дальше, чем солнце.

Самуэль и Джоппан несутся за обезумевшей фигурой, рука Джоппана обхватывает за пояс друга детства, обнимает это хромящее существо, которое вопит, как будто растущие децибелы могут поднять того, кто никогда больше не очнется. «Мууни, не покидай нас! Мууни, айо, Нинанай! Подожди! Остановись! Послушай меня! Мууни, прости меня!»

Жители Парамбиля — дядюшки, племянники, двоюродные братья, работники, — поднятые этим воплем, идут по кровавому следу, не поспевая за отцом и погибшим сыном. Почти целый фарлонг вдоль по дороге бредет Филипос, пошатываясь, как пьяный, на подкашивающихся ногах, его левая ступня неестественно вывернута внутрь, он рыдает, и мужчины рыдают вместе с ним — взрослые мужчины; они окружают его со всех сторон, но не смеют останавливать, размеренно вышагивая бок о бок с отцом, который думает, что бежит, хотя на самом деле еле волочит ноги и наконец просто стоит на месте, покачиваясь, как дряхлый старик.

Лодыжки Филипоса подгибаются, но люди подхватывают его, сильные руки Парамбиля опускают наземь своего брата, на колени, а он по-прежнему сжимает в руках страшный груз. Филипос, обратив лицо к

небесам, пронзительно кричит, умоляет своего Бога, любого Бога. Бог молчит. Дождь — это все, что могут сделать небеса.

Самуэль, старейший и благороднейший из людей Парамбиля, присаживается рядом с Филипосом, у него одного достает смелости и авторитета нежно освободить окровавленные руки отца. Самуэль накрывает мальчика своим собственным тхортом, и каким-то образом эта выцветшая обыденная ткань превращается в священный саван, воплощение любви старика. Самуэль берет на руки тело маленького тамб'рана, бережно, с любовью баюкает его, старые кости скрипят, когда он поднимается на ноги; Ранджан, Джорджи, Мастер Прогресса, Йоханнан и десяток других рук помогают старому Самуэлю встать — братья все до единого, все кастовые барьеры и обычаи стерты в трагической солидарности перед смертью, а Джоппан в одиночку заботится о раздавленном отце, поднимает его на ноги, подсовывает голову под мышку Филипоса, обнимает за талию и поддерживает, едва не тащит на себе, и тот ковыляет на абсолютно сломанных ногах.

Рыдающие женщины вернулись на веранду Парамбиля, они плачут, причитают или тихо скулят, зажимая рот скомканными подолами одежды. Элси стоит на коленях, руки прижаты к груди, Большая Аммачи приникла к столбу, а Одат-коччамма то молчит, размеренно стуча то одним, то другим кулаком себе в грудь, то стонет, запрокинув лицо, и все они ждут. В последний раз они видели, как Филипос хромает на гротескно вывернутых ногах по дороге, с безжизненным телом сына в руках; вопреки всему женщины надеялись, что каким-то чудом, когда он окажется вне поля зрения, отец, или Бог, или оба, сумеют сотворить чудо, сделать сломанного мальчика целым, сделать искривленное прямым.

А потом надежды разлетаются в прах, когда женщины видят возвращающуюся фалангу отцов и сыновей, стену усатых свирепых мужчин, обнимающих друг друга за плечи, братьев в едином на всех горе, шагающих как один, рыдающих или молчащих, но каждое лицо искажено болью, горем и гневом, потрясением и яростью. И с ними убитый отец, лишившийся разума, одна рука лежит на плечах Джоппана, друг детства поддерживает его — друг, чьи мускулы бугрятся от напряжения под тяжким весом, пока Йоханнан не подныривает под вторую руку Филипоса.

В центре фаланги — Самуэль, почти голый, в одной испачканной грязью набедренной повязке, мунду его осталось на проклятом дереве; Самуэль, шествующий с великим достоинством, взгляд устремлен вперед, и лицо его единственное остается спокойным; голый торс как самый уместный фон для страшной ноши в руках старика, которую не может полностью скрыть его тхорт; Самуэль медленно приближается к ожидающим женщинам, шаг его размерен, как будто каждая минута тяжкого труда на протяжении всей его жизни — расчистки этой земли рука об руку с тамб'раном, нескончаемой работы, которая создала эти жилистые бицепсы и плоские щиты грудных мышц, — вела его к этому моменту, горестному долгу: с величайшей торжественностью нести на руках первенца последнего сына своего покойного тамб'рана, который отныне воссоединяется со своими предками в блаженной вечности.

После похорон Филипос тяжело опирается на костыли, глядя в окно, где когда-то стояла плаву. Никого не спрашивая, Самуэль срубил остатки дерева. Он с такой яростью орудовал топором, давая выход злости и горю, что Филипос жалел лишь, что не может оказаться на месте этого дерева, чтобы топор старика мог вонзиться в его собственную плоть. Джоппан без приглашения пришел на помощь отцу — на самом деле, чтобы просто отобрать топор, по мере того как удары Самуэля становились все более ожесточенными и безрассудными, а потом появился и Йоханнан с остальными, и на этот раз они не оставили ни следа от плаву, яростно набросившись и выкопав все до последнего корешка, а потом еще забросали яму, чтобы не видно было даже шрама от его прежнего бытия: жестокая казнь для проклятого дерева. Филипосу хотелось, чтобы и с ним самим было покончено так же, чтобы его похоронили в той же яме, в раскисшей почве, где уже прорастает мох, питаемый дождем и кровью, скрывая любые следы места, где некогда стояло дерево Парамбиля.

Самуэль позже рассказал Филипосу, что они нашли обрывок рубашки Нинана на предпоследней ветке, на высоте вдвое большей, чем та, на которой было проткнуто его тело. Больше он ничего не сказал, но оба мужчины представили, как малыш зацепился рубашкой за ту ветку, повис, покачиваясь, на мгновение, прежде чем ткань разорвалась и он рухнул на торчащий кверху обломок ветки восемью

футами ниже. Филипос работал в кабинете. Он не слышал звука падения, только крик матери.

Теперь в спальне слишком много света — зловещего ненавистного света. Филипос кипит от гнева на себя. Что не видел, как Нинан полез на дерево. Что не услышал, как тот зовет на помощь. Что не срубил сразу дерево. Или не оставил его в покое. Все это только его вина. Но... Если бы Элси не посягнула на дерево, *его* дерево, если бы она уважала его работу так же, как он уважает ее, тогда Нинан, их первенец, до сих пор был жив. Если бы только много лун назад, когда Элси заявила о своем желании, он сказал «нет». Или честное «да». В жизни роковыми становятся именно промежуточные решения, нерешительность убила его сына. Но в своем горе, в самой глубине его Филипос считает, что все началось с рокового желания Элси: «Ты можешь срубить это дерево?»

Почему это оказалось так трудно? Он ведь всегда хотел одного — любить ее. Разве с самого момента их помолвки он не вынужден был бесконечно приспосабливаться? Изменять свои привычки в угоду ее прихотям? Вот это и убило маленького Нинана — *ее* упрямство. Какая-то часть Филипоса должна понимать, что это несправедливо, даже если он и вправду так думает. Но разум отказывается принимать альтернативу. Если это всецело его вина, какого черта он до сих пор дышит?

Он слышит шаги позади и, не оборачиваясь, знает, что это она вошла в комнату. Они с Элси не оставались один на один с момента смерти. Он поворачивается лицом к жене, пошатнувшись на костылях, не обращая внимания на боль, с трудом скрывая гнев.

И встречается с гневом, не уступающим, но превосходящим его. В глазах ее пылает ярость и нечто худшее, чего он не в состоянии вынести, — укор. Лицо у нее жесткое, как металлические решетки на окне, и изборождено сухими полосками соли от высохших слез.

Воздух между ними пропитан желчью взаимных обвинений и презрения. Она вынуждает его напуститься с упреками, а он вынуждает ее произнести вслух то, о чем она думает.

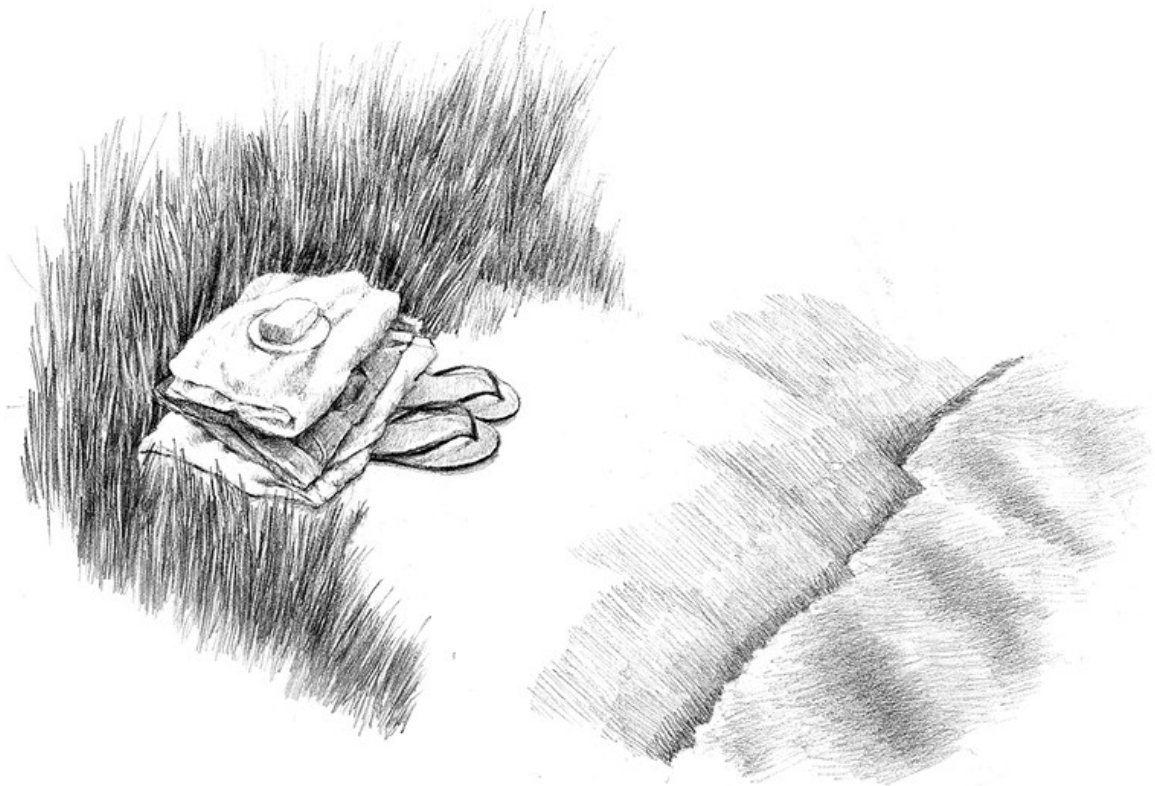
Потом она смотрит через его плечо и видит, что смертоносные останки дерева исчезли... но слишком поздно. Встречается с ним взглядом. Филипос до конца дней своих не забудет выражение ее лица. Лик мстительной богини.

Он чувствует, что первым порывом ее было наброситься на него, ударить, вцепиться в глаза, разодрать ногтями щеки. Он внутренним взором видит все этапы атаки и свой дикий прыжок в попытке отразить нападение, отбросить ее с дороги, проклясть за то, что желала того, чего никогда не должна была желать, обвинить в убийстве его сына, проклясть за то, что вошла в его жизнь и не принесла ничего, кроме трагедии.

В следующий миг она уже смотрит сквозь него, как годами смотрела сквозь плаву, притворяясь, что никакое уродство не может заслонить ей вид на мир. В ту самую минуту она стерла его, смыла с холста, на котором осталось лишь размазанное пятно, сквозь которое проступают неверные линии: не получившаяся фигура, ошибочные мазки брака и мир, не подлежащий ремонту, вовсе не тот, что она себе представляла. Элси проходит мимо него, отодвигая плечом, — пустое место, невидимка, меньше-чем-обыкновенный человек, муж, которого нет, — и собирает свои немногочисленные вещи.

Филипос слышит скрежет выдвигаемых и задвигаемых ящиков шкафа. И как затем она говорит кому-то: «Пойдем».

Часть шестая



глава 50

Переполах в горах

1950, «Сады Гвендолин»

Поскребывание пальцами по кухонной двери и мокрый хлопок сброшенных Кромвелем резиновых сапог знаменовали начало их ежевечернего ритуала. Верный товарищ босиком прошлепал в кабинет Дигби в своих вечных шортах-хаки и рубашке с короткими рукавами. И с вечной улыбкой.

— Мне двойной, — просит Дигби, пока Кромвель наполняет стаканы. Улыбка становится шире.

Одна порция и никогда в одиночку — правило Дигби. «Вопрос самосохранения. Риск жизни в поместье», — объяснил бы он, если бы кто-нибудь спросил. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как он приобрел поместье Мюллера для консорциума друзей, собравшихся в канун нового года за столом у Майлинов. И тринадцать — с того момента, как Дигби заработал на часть этого поместья, которое назвал «Сады Гвендолин» в честь матери. За это время он стал свидетелем последовательного падения трех помощников управляющего в соседнем «Перри & Со» — молодых людей, которые дома у себя знали толк в пинте пива. Сначала все это казалось им грандиозным приключением: бунгало, слуги, служебный мотоцикл, статус лэрда и такие объемы чая, кофе и каучука, которых парни и вообразить не могли. Но они недооценили опасность одиночества и изоляции и в первый же муссон нашли противоядие в бутылке.

Единственное, что не нравится Дигби в его владениях, — далеко от Франца и Лены. Даже в хорошую погоду это целый день пути на юг, мимо Тричура и Кочина, в окрестности «Сент-Бриджет», а потом еще несколько часов вверх до «Аль-Зуха». Его семья, как она есть, состоит из Кромвеля, Майлинов и Онорин, которая каждое лето проводит здесь два месяца. Когда она уезжает, Дигби погружается в меланхолию. Без Кромвеля, без их ежевечернего ритуала в период муссона он бы пропал.

Пренебрегая креслами, Кромвель пристраивается на корточках возле камина со стаканом под самым носом: виски нужно не только пить, но и вдыхать. Неторопливое, взвешенное удовольствие присутствует во всем, что он делает. Дигби кажется, что Кромвель неподвластен возрасту, поэтому с извращенным удовольствием замечает седину, ползущую по вискам друга. Сам Дигби стрижется очень коротко, так что его седина меньше бросается в глаза. Ему сорок два, но выглядит он значительно моложе; Кромвель, наверное, чуть старше.

В процессе своего ритуала они «прогуливаются» по девяти сотням акров «Садов Гвендолин». Будь это один только кофе, было бы проще, кофе почти не требует забот, да и тех стало еще меньше, когда они перешли на робусту из-за листовой ржи, уничтожившей плантации арабики. И непременно одним волшебным мартовским утром сотни акров «Садов Гвендолин» внезапно окутает снежное покрывало, потому что всего за ночь буйно расцветут роскошные белоснежные цветы кофе. Однако конкуренция с Бразилией снизила цены. Чай приносит больше дохода и занимает основную часть владений, но он нежное дитя и требует много рабочих рук. Близость к экватору позволяет собирать свой чай круглый год, в отличие от Ассама и Дарджилинга. Спрос на чай неутолим. А на более теплых участках, расположенных ниже, раскинулись бесконечные акры каучуковых деревьев.

— На одиннадцатом вираже. Оползень. На том же самом месте, — сообщает Кромвель в заключение своего доклада.

Я ведь чувствовал, что не зря прошу двойной.

Оползень на одиннадцатом вираже дороги — это катастрофа. Через неделю у них закончатся запасы риса — для их работников возможность получать рис гораздо важнее выплаты жалованья. Дигби хорошо представляет это место, где дорога внезапно обрывается расщелиной из грязи, валунов и вырванных с корнем деревьев. Наверху из плоской скалы таинственным образом бьет родник. Стигма. Туземцы ставят там пирамидки из камней, подношения Варуне и Ганге, но боги не унимаются. Выход из положения довольно болезненный: нужно прорубаться параллельно оползню через дремучий лес, пока не окажешься под преградой, а потом прорубаться обратно наверх, чтобы опять вернуться на дорогу. Участвовать в деле будет каждое поместье.

Работникам придется таскать грузы по этому U-образному объезду, пока дорогу не восстановят. Или объезд станет новой дорогой.

На следующее утро муссон прекращается, как по щелчку выключателя, непрерывный монотонный стук дождя по крыше стихает. Долгие недели перед Дигби открывался вид лишь на клубящийся туман, или изредка, когда облака спускались в долину, он смотрел сверху, как Зевс, на верхушки кучевых облаков и грозовых туч. Сейчас снаружи ярко и солнечно, сараи для переработки сырья и соломенная крыша амбулатории напоминают промокшего замызганного бродячего пса. Несмотря на историю с оползнем, настроение у Дигби приподнятое.

Скария, помощник и аптекарь, торопится в амбулаторию, в своем нарядном свитере цвета желчной блевотины. Из ноздрей его струится табачный дым, клубами густеющий в прохладном воздухе. Этот человек настолько зависим от никотина, что сосет забористые сигары, как бииди. При виде Дигби он задерживает дыхание, скрывая дым, и приветственно взмахивает рукой. С пустяковыми жалобами больных нервозно-истеричный Скария еще может справиться, но в экстренной ситуации он хуже чем бесполезен, он помеха.

Кромвель приводит лошадей. Глаза у него осоловелые, но все равно улыбается. Кромвель уже умудрился побывать на оползне, прихватив с собой всех трудоспособных мужчин, чтобы начать пробивать обход. Рассказывает, что корова вот-вот отелится, а полидактильная кошка^[197] в том же коровнике родила котят. «И у малышей тоже по шесть пальцев! Сплошные добрые знаки!»

Дигби вспрыгивает на Бильрота. Земляные насыпи по сторонам подъездной дорожки зеленеют от «недотроги»^[198] и трепещут в ответ на внезапный ветерок, в точности как кожа у жеребенка. От окрестных видов мурашки по телу. Урони в здешний дерн обычную зубочистку — и вскоре вырастет деревце. Да уж, из городского парнишки — в хирурга, а потом в плантаторы. Плодородная почва — вот что держит его здесь, бальзам для ран, которые никогда не затянутся.

Бильрот внезапно дергает ушами и тихонько ржет, задолго до того, как до Дигби доносится звук — грохот воловьей повозки, несущейся на безумной скорости, вроде бы невозможной, с учетом деревянных колес, хрупких осей, разбитых дорог и крупного рогатого скота. Повозка

появляется в поле зрения, глаза у волов вытаращены, из пастей тянутся ленты слюны, а погонщик нахлестывает, словно дьявол гонится за ними по пятам.

Кромвель пускается рысью навстречу телеге. После короткого обмена репликами он указывает на верховую тропу, которая заканчивается у приземистого здания с соломенной крышей — будто шляпа, надвинутая на уши. Амбулатория.

— Они с другой стороны горы, — сообщает Кромвель. — Там тоже оползень. Развернулись и поехали сюда. Им сказали, что тут есть доктор. Дела неважные.

Теперь Дигби испытывает только страх, а вовсе не пьянящее возбуждение, как бывало когда-то на «скорой», когда в твоих руках человеческая жизнь, сведенная к ключевым ее элементам — дыханию, сердцебиению — или их отсутствию. Он знает, что *нужно* делать в неотложных состояниях, но у него нет средств. А для ситуаций, которые не являются неотложными... ну, многие из управляющих окрестными поместьями уже выяснили: если нужен дружелюбный терапевт, готовый заскочить на минутку, потому что Мэри или Миина отказываются от овсянки, то Дигби не годится. Он неплохо оборудовал амбулаторию, чтобы лечить своих работников, но в первую очередь он плантатор. В экстренной ситуации он, конечно, сделает все, что в его силах, но вот сейчас не может справиться с досадой и дурными предчувствиями.

— СЭР, ДИГБИ, СЭР! — орет Скария, пулей вылетая из лечебницы и бешено размахивая руками в этом своем жутком свитере.

Бильрот рысит к амбулатории — молодой конь уже знает, в чем заключается его долг, даже если седок полон сомнений.

Детский кулачок торчит в воздухе.

Смущает Дигби то, что высовывается этот кулачок из резаной раны в животе очень беременной и до смерти напуганной матери.

Крошечная стиснутая ручонка выглядит целой и невредимой. Мать, лет двадцати с небольшим, лежит на столе в полном сознании — на самом деле в полной боевой готовности. Она потрясающе красива, с кудрявыми черными волосами, обрамляющими светлый овал лица. На ней зеленая блузка, а сари и шелковая нижняя юбка белые. И она не из работниц поместья. Маленькая подвеска на шее — листок с точечной

инкрустацией в виде креста — означает, что женщина из христиан Святого Фомы. Лицо ее, красивое в универсальном смысле, кажется Дигби странно знакомым. Может, из-за ее сходства с календарными образами Лакшми — вездесущим изображением в жилищах работников и в лавках, репродукцией картины Раджи Рави Вармы. Сознание невольно отмечает детали: обручальное кольцо, темные круги вокруг глаз от усталости и выдающееся самообладание. Как будто она достаточно мудра, чтобы понимать: истерика не поможет. Но за внешним спокойствием эта очаровательная женщина скрывает ужас. И смущение.

Кожа на беременном животе туго натянута. Двухдюймовый разрез тянется слева от пупка, слишком аккуратный, такой можно сделать только ножом или скальпелем. Кровь медленно сочится с одного края, потеря крови ей не грозит. Дигби представляет, как лезвие проходит сквозь кожу, потом через прямую мышцу... а затем прямо в матку, которая — поскольку срок уже большой — вышла из таза, отодвинула кишечник и мочевой пузырь назад и в сторону и достигла ребер, заняв практически полностью брюшную полость. Лишь поэтому женщина избежала разрыва кишечника: лезвие только пронзило кожу живота и мышцу и натолкнулось на более плотную и толстую ткань — матку. Оно проделало щель, иллюминатор в матке, и младенец отреагировал, как любой узник — потянулся к свету.

Пальцы малыша сжаты в кулачок, полупрозрачные ноготки сверкают, как стеклянные. Дигби обрабатывает рану и кулачок антисептиком, проводя осмотр. Йод щиплет мать, но, похоже, не беспокоит ребенка. Если бы ее доставили в больницу, там непременно сделали бы кесарево сечение. Дигби, теоретически, тоже мог бы. У него даже где-то есть хлороформ, если не выдохся. Но в отсутствие хорошего брюшного расширителя и зеркала и без толкового ассистента кесарево его руками слишком опасно и для матери, и для ребенка.

Дигби прикидывает варианты. Но его отвлекает вонь компостной кучи и дешевого табака, которая напоминает о «Гэти» в Глазго, — этому воспоминанию лучше оставаться похороненным. Обернувшись, он видит сидящего на подоконнике Скарию, с вонючей черути в зубах. Этот тип прекрасно знает, что ему лучше не курить в помещении и вообще рядом с Дигби. Но растерянный аптекарь не мог в панике не

потянуться к спасительной табачной палочке, как грудничок тянется к соску.

Левая рука Дигби, теперь основная, двигается с ювелирной точностью карманника на железнодорожной платформе Сент-Енох. Он вырывает сигару изо рта Скарии и, продолжая движение, подносит тлеющий кончик к кулачку младенца, останавливая раскаленное красное пятнышко в десятой доле дюйма от кожи.

Вселенная колеблется в нерешительности. А затем крошечный кулак возмущенно отдергивается в ответ на злобный выпад и ускользает, скрываясь обратно в свой водный мир. И там, где торчала ручонка, теперь лишь колышущийся воздух. За свою короткую хирургическую карьеру Дигби видел, как круглые черви выползают из желчных пузырей, видел тератомы, содержащие волосы, зубы и рудиментарные уши, но ничего подобного ему прежде не встречалось.

Дигби щелчком отбрасывает сигару в сторону Скарии, хватая стерильную салфетку и прижимает к ране. «Руки береги», — говорит он вслух, обращаясь к плоду. (И представляет, как младенец ярится в утробе, дую на обожженные костяшки пальцев, проклиная Дигби и планируя революцию.) *Руки береги*. В его школьные годы в Глазго сестра Эванжелина подчеркивала важность этих слов, отстукивая линейкой по костяшкам пальцев.

— Когда-нибудь кулак этого ребенка доставит вам немало хлопот, — ворчит себе под нос Дигби.

Скария уже смылся, поэтому он берет руку матери, кладет ее поверх салфетки и крепко прижимает.

Снаружи доносится неразборчивое лопотание, мужской голос стонет, потом испускает дикий вопль и брань; кто бы это ни был, он либо пьян, либо безумен. Слышно, как в дело вмешивается Кромвель.

Дигби закрепляет изогнутую иглу с кетгутом на длинном держателе и делает матери знак убрать руку от раны, попутно молясь, чтобы малыш не повторил попытку к бегству. Он раздвигает края раны ровно настолько, чтобы увидеть, где к ней прижимается стенка матки. К счастью, матка с ее висцеральными нервными окончаниями не так чувствительна, как кожа. С максимально возможной скоростью он пропускает иглу через стенку матки с одной стороны разреза, потом с другой, завязывает узелок и обрезает нить. Мать не шелохнулась. Он накладывает еще два маточных шва. Теперь у ребенка остается

единственный выход — через парадную дверь. Двумя швами Дигби зашивает кожу. Женщина морщится, но не издает ни звука. Если бы он использовал местный анестетик, зашивая каждую рану на коже, запас драгоценного тетракаина иссяк бы за неделю.

— Что ж, отлично. Готово, — вздыхает Дигби, озираясь в поисках Кромвеля, переводчика.

Молодая мать бледна, измучена, но по-прежнему спокойна.

— Огромное вам спасибо, доктор, — говорит она по-английски, повергая доктора в изумление.

Дигби еще раз внимательно оглядывает женщину: золотые серьги, аккуратно подстриженные ногти. Спрашивает, как ее зовут. Лиззи. Он представляется сам.

— У вас бывают схватки, Лиззи?

Она мотает головой.

— Какой у вас срок?

— Думаю, осталось еще две недели.

— Прекрасно. Надеюсь, роды пройдут нормально. Но все же, когда начнутся схватки, лучше оказаться в больнице, хорошо?

Серьезным детским движением подбородка она подтверждает, что поняла. Крики снаружи очень отвлекают. Кто это так надрался с утра пораньше?

— Сейчас вам лучше остаться здесь. Дорога откроется только через несколько дней.

И он отворачивается, чтобы приготовить повязку.

— Доктор, — окликает она, — это был несчастный случай.

Сколько женщин говорили это и прежде? Сколько врачей, полицейских, медсестер и детей слышали эти слова и знали, что это неправда? Удивительно, почему женщина готова защищать человека, который того не стоит. Перед внутренним взором мелькнуло лицо Селесты.

— Это мой муж. Его зовут Кора, — машет она рукой в сторону шума за дверью. — Он писарь в поместье.

Писари — это посредники, которые заключают контракты со старостами равнинных деревень насчет работы в поместье, ремесло их называют так, потому что они записывают каждого работника в специальный гроссбух. Недобросовестные старосты часто заключают контракты с несколькими писарями, оставляя поместье ни с чем, когда

начинается сезон. Дигби повезло, что его работники честно возвращаются каждый год, потому что он приложил усилия, чтобы обеспечить их хорошим жильем, медицинской помощью, школой для детей и яслями для малышей.

— Вчера вечером мой муж внезапно потерял рассудок, доктор. Он подумал, что я — дьявол.

— Хотите сказать, что раньше все было нормально?

— Да. У него, правда, тяжелая астма. Здесь, в горах, она обострилась. Обычно он использует лечебные сигареты от астмы, но последние три дня они не помогают. А вчера он даже съел одну сигарету. Может, и больше. Глаза у него стали огромные. Он не мог спокойно сидеть на месте, слышал голоса. Бесы пришли забрать его, говорил он. А когда я принесла ужин, он спрятался за дверью и бросился на меня. Теперь он очень горюет.

Бабушка Дигби курила сигарки с дурманом. Он знает, что в Индии астматики сами скручивают в сигаретки сушеный дурман или листья. Атропин, содержащийся в листьях, расширяет бронхи, но в случае передозировки он вызывает характерное отравление — расширенные зрачки, сухая кожа и сухость во рту, лихорадка и возбуждение. Каждый студент-медик знает считалочку для запоминания симптомов: «Слепой как крот, горячий как огонь, сухой как кость, красный как свекла, злобный как мокрая курица».

— Это может быть отравление атропином. Я осмотрю его. Когда яд выветрится, ему полегчает. Вы из здешних мест?

Вопрос ее как будто опечалил.

— Нет. Мы из Центрального Траванкора. Когда-то у нас был дом, хозяйство и любящая семья. Но муж... мы все потеряли. Он одолжил денег у опасных людей. Очень много неприятностей было. Он сбежал. Я могла бы остаться. Иногда я думаю, что так было бы лучше.

Информации больше, чем Дигби хотелось услышать. Он забыл, что она видит в нем не плантатора, а врача, человека, которому можно довериться. Поговорить после всего пережитого — катарсис для нее. А ему совсем не трудно просто стоять и любоваться ее классическими чертами, идеализированной красотой малаяли.

Оба замолкают. А потом впервые за все время самообладание ей изменяет. Губы дрожат.

— Доктор, с моим малышом все будет хорошо?

Дигби рассматривает очаровательное лицо, встревоженно глядящее на него. Очередной дикий вопль мужа прерывает мысли. И тут вдруг у Дигби случается видение, тревожное предчувствие рокового конца, он заглядывает в ее будущее — никогда прежде ничего подобного не испытывал.

— С ребенком все будет хорошо, — уверенно говорит он. И облегчение разглаживает черты женщины. — Очень хорошо. — Он надеется, что это правда. — У вашего ребенка отличные рефлексy, мы в этом убедились. Он вскинул кулак, как Ленин. — Доктор пытается разрядить обстановку.

Вытягивает руку над ее животом ладонью вниз, благословляющим жестом. Наклоняется пониже, обращаясь непосредственно к ребенку во чреве:

— Нарекаю тебя Лениным, во веки веков. Если ты мальчик, да будет так. — Дигби улыбается, хотя его шрам по-прежнему не красит улыбку.

— Ленин Во-веки-веков, — повторяет прекрасная Лиззи, покачивая головой из стороны в сторону, подчеркивая каждый слог, словно запоминая. — Да, доктор.

глава 51

Забрать твою боль

1950, Парамбиль

Прошло уже шесть месяцев, как погиб Нинан, и столько же времени, как Элси ушла из Парамбиля, как муж и жена возненавидели друг друга; Большая Аммачи и Мастер Прогресса едут в Тетанатт-хаус, облаченные в траурные одежды. В прошлый раз Большая Аммачи была у Чанди шесть лет назад на помолвке. Тогда в гостиной гремел хохот Чанди. А ныне бедняга лежит в гробу по центру комнаты, а вокруг венки из жасмина и гардении. Мочки ушей и кончик носа у него уже потемнели. Будь Чанди жив, он был бы против и приторных ароматов цветов, и против того, чтобы его потихоньку обрызгивали одеколоном, маскируя запахи. Большая Аммачи опять сидит на длинном белом диване, и ноги ее опять неловко свисают, не доставая до пола, вот только теперь рядом нет Одат-коччаммы.

Господь, на скольких же похоронах Ты заставил меня побывать за эти шесть месяцев? Если предстоят еще одни, пускай это будут мои. Сначала Ты забрал Малыша Нинана. Об этом давай не будем говорить. Потом Одат-коччамму. Да, она была старой. Или шестьдесят девять, или девяносто шесть. «Выбирай, — говаривала она. — Одно из двух. А мне к чему знать?» Но неужели она должна была умереть, навещая сына? Я молилась вместе с ней и провела с ней в одной комнате больше ночей, чем с любой душой на этом свете, кроме разве Малютки Мол. Ты должен был оставить ее рядом со мной, когда решил забрать. Потом Ты пришел за женой Самуэля, она в одночасье схватилась за живот и умерла, мы даже не успели отвезти ее в больницу. Хватит уже, Господь. Мы знаем, да, Ты всемогущий, всевластный. Почему бы Тебе не отдохнуть, посидеть просто так, без дела? На следующие несколько лет представь, что настал седьмой день творения.

Да, это чистой воды богохульство, но ей все равно. Она как старое каучуковое дерево, которое больше не сочится соками под топором сборщика, не осталось слез, но не чувств — или ей так кажется. Но

слезы все же выступают на глазах, когда она слышит, как женщины поют «Самаямаам Радхатхил». *На Колеснице времени.* Эта погребальная песнь сплетается с воспоминаниями о смерти отца — худшем дне в ее жизни — и звучит в душе все громче с каждой последующей утратой. Колеса колесницы всегда вращаются, приближая нас к концу пути, к нашему истинному дому, к рукам Господа... *Но, Господь, некоторые, как ДжоДжо или Нинан, едва успели подняться на эту колесницу. Куда Ты спешишь?*

Едва они прибыли в Тетанатт-хаус, как Элси бросилась ей на грудь, тело ее сотрясали рыдания, которые никак было не унять. И она могла лишь утирать ее слезы, целовать и крепко обнимать. «Муули, муули, Аммачи чувствует твою боль». Прошло шесть месяцев с тех пор, как Большая Аммачи видела невестку — Элси уехала сразу после похорон. Большая Аммачи потрясена, насколько похудела девочка, волосы ее поседели на висках; какой тревожный признак у такой молодой женщины.

Большой Аммачи отчаянно хотелось воскликнуть: *Где ты была, муули? Знаешь, как у нас с Малюткой Мол душа болела за тебя?* Ей столько всего нужно рассказать невестке, столько всего, что Элси, наверное, хотелось бы знать, — к примеру, что Лиззи наконец прислала письмо, но без обратного адреса, сказала, что родила мальчика... но сейчас, конечно, неподходящий момент. И Большая Аммачи просто обняла Элси и просидела с ней рядом на диване битых два часа, потому что Элси не отпускала ее; бедная девочка похожа на напуганного ребенка, который ищет место, где жизнь перестанет причинять ему боль. И Большая Аммачи предложила себя — свои руки, свои объятия, свои поцелуи... и свое желание забрать ее боль. Разве не это делают матери для своих детей? Для чего еще нужны родители?

На кладбище, как только гроб опустили, Мастер Прогресса говорит:

— Мы должны идти, Аммачи, если хотим успеть вернуться до ночи.

Элси вцепляется в руку свекрови, рыдает, не отпуская.

— Муули, — печально говорит Аммачи, — я бы осталась, но Малютка Мол...

Она хочет добавить: *Может, ты вернешься со мной? Парамбиль — твой дом. Позволь твоей Аммачи позаботиться о тебе там...*

Но в Тетанатт-хаус собралось так много гостей, и, конечно, Элси должна остаться, было бы бессердечно просить ее уехать прямо сейчас. И что гораздо важнее, разрыв между Элси и ее сыном так велик, что едва ли мольбы Аммачи что-нибудь изменят.

По пути домой она с любопытством, словно в первый раз, смотрит из окна автобуса на бесконечные рисовые поля, на прокаженного, сидящего на дренажной трубе, приглядывается к домам, где в тусклом свете различает фигуры людей — старик читает, две девчушки играют, женщины стряпают... Каждая семья живет свою жизнь, и никто не избегнет боли. Однажды все эти люди станут теньями, и сама она тоже будет похоронена и забыта. Она так редко выбирается из Парамбиля, что позабыла — она тоже всего лишь крошечная пылинка в Божьей вселенной. Жизнь исходит от Бога и драгоценна именно потому, что коротка. Время — дар Господень. Как бы много или мало ни было его у человека, оно даровано Богом. *Прости меня, Господь, за то, что я сказала. Что я могу знать? Прости, что подумала, будто мой маленький мир — это все, что имеет значение.*

После короткого плавания на лодке они бредут к дому пешком от причала. Впереди виднеется Парамбиль, туманный силуэт на фоне неба, такой же, каким видели его глаза юной жены полвека назад. Электрическая лампочка не горит, даже масляные лампы не зажжены, от чего ее досада на Филипоса только усиливается.

Когда прибыл посыльный с новостью, что Чанди скончался, Большая Аммачи тут же бросилась к Филипосу.

— Ты должен ехать. Быть рядом со своей женой, — сказала она сыну. — А может, потом, через несколько дней, привезешь ее домой.

Сын читал, лежа в кровати, глаза как булабочные головки.

— Ехать? — рассмеялся он. — Как ехать? Я и стоять-то долго не могу, не то что ходить. И почему я должен тащиться туда со своими костылями и торчать там, как прыщ на лбу, который всем мешает? Она прокляла меня. И я заслуживаю проклятия.

Он теперь настолько одержим чувством вины, что всякий раз, как она бранила его, сын лишь радовался. Аммачи сдалась и попросила Мастера Прогресса сопровождать ее.

— Мой сын стал ножом, который не может ничего разрезать, огнем, который не может согреть даже кофейник.

У Малютки Мол уже было видение, как мать возвращается без Элси. Она сползла со своей скамеечки, улеглась на циновку и тихо всхлипывает. Малютка Мол очень редко плачет.

Большая Аммачи зажигает лампу. Из своей темной комнаты ковыляет Филипос, щурясь, как циветта. Он опирается на один костыль. Сломанная лодыжка зажила, но раздробленная пятка все еще болит. Никто не понимал, насколько сильно он разбился, прыгая с дерева, когда снял тело Нинана, пока на следующий день нога его не стала похожа на ногу Дамо, даже такого же серого цвета, только кривая. К невыносимой боли утраты Нинана добавилась боль физическая.

Филипос плюхается на скамеечку Малютки Мол. Большая Аммачи садится рядом, ждет, что он спросит про Элси. Вместо этого сын рассеянно роется в подвернутом конце своего мунду, как обезьяна, ищущая вшей, пока не находит маленькую деревянную коробочку. Когда он открывает крышку, доставая облатку опиума, мать замечает, что ему надо бы подстричь ногти. Такая коробочка есть в каждом доме, старинное лекарство от болей в спине, бессонницы и артрита. Большая Аммачи лечила им головные боли мужа. Зря она дала коробочку Филипосу. Сын стал рабом опиума.

Он сосредоточенно ковыряет бамбуковой зубочисткой, извлекая колечко снадобья, потом привычным движением катает его между пальцами, пока не получится блестящая черная жемчужина. Когда она была маленькой, ее бабушка ела эти жемчужины, и они казались девочке такими прекрасными. Однажды бабушка позволила ей лизнуть палец, от мерзкого горького вкуса ее тут же вытошнило. Большая Аммачи борется с искушением выбить чертову коробочку из рук ее некогда прекрасного сына, но зелье уже у него во рту.

— Аммачи, — бормочет он, — ты не принесешь мне немножко йогурта и меда?

Она встает, пока не успела сказать чего-нибудь ужасного. Пускай уже ест свой йогурт.

Через несколько недель после похорон Чанди она опять пишет Элси. До сих пор все письма оставались без ответа, но ей необходимо сообщить Элси, что состояние ее любимой Малютки Мол плохо как никогда. Подлинная болезнь Малютки Мол — раненая душа. Бедняжка

почти ничего не берет в рот, говорит, что поест, когда Элси вернется. «Когда люди, которых она любит, уходят, — пишет Большая Аммачи, — для нее это подобно смерти. Умоляю тебя, приезжай». Сколько всего не сказано в этом письме. Лиззи снова написала им, и снова без обратного адреса — видимо, не хочет, чтобы ее местонахождение было известно. Лиззи рассказывает, что во время беременности с ней произошел несчастный случай, в результате которого ручка младенца выскочила из ее живота. Чудесным образом ребенок, названный Ленином, родился здоровеньким. Не пишет Большая Аммачи и о том, как в один прекрасный день куда-то пропал Филипос, а потом вернулся с новеньким велосипедом — и с ободранными в процессе обучения коленями, локтями и подбородком. Поводом к новому приобретению стал категорический отказ Джоппана покупать другу опиум — сказал, что хватит. После смерти Нинана Джоппан неделями не отходил от Филипоса, даже спал в его комнате. Но теперь из-за опиума они рассорились. Большая Аммачи подозревает, велосипед предназначен только для того, чтобы дать ее сыну возможность самостоятельно приобретать зелье в государственном магазине около церкви. Но ни о чем этом она не упоминает в письме к Элси.

Состояние Малютки Мол ухудшается. В отчаянии Большая Аммачи пишет последнее письмо, совсем короткое — продолжать переписку кажется бесполезным.

Моя дорогая Элси,
Молю Бога, чтобы это тронуло твое сердце. Малютка Мол умирает. От голода или от разбитого сердца — называй как хочешь. Как мать другую мать, умоляю тебя приехать. Малютка Мол твердит только одно: «Где Элси?» Если ты приедешь, она хоть немного поест. И, может, останется в живых.

Твоя любящая Аммачи

Филипос бреется, сидя на веранде, зеркало пристроено на перилах. Вышло солнце. Так называемый муссон прекратился, едва начавшись, — оказалось, это был самозванец. В зеркале Филипос видит

фигуру, идущую по дорожке. Наверное, нищий. Но нет, это женщина в белом сари, с пустыми руками, даже без зонтика. Высокая, бледная, худая и прекрасная. Сердце переворачивается. Руки покрываются гусиной кожей.

У него галлюцинации? Если это Элси, почему не на машине Тетанатт-хауса? Из тумана памяти всплывает воспоминание, как Самуэль вроде что-то говорил про разорванную дренажную трубу, которая превратила дорогу в бурный ручей. Теперь преодолеть его могут только пешеходы, по бревну в пятидесяти ярдах выше по течению.

Разинув рот, Филипос с намыленным лицом таращится на жену, которую не видел уже год. По временам ему кажется, что ее никогда и не существовало, что их совместная жизнь была лишь сном. А сейчас на него обрушиваются воспоминания: девочка, невеста, которую он привел домой, их первая ночь, проклятое дерево... Филипос сидит парализованный, как каменное изваяние. А ведь десять минут назад Малютка Мол, вот уже много дней не встававшая с циновки, приподнялась на локте, сообщая: «Гости идут!» Если бы он обратил на это внимание, успел бы ополоснуться, надеть жилетку и свежее мунду.

Элси останавливается, подобная богине Дурге^[199], серо-опаловые глаза устремлены на Филипоса. Он смущен собственным видом: вмятина на переносице после одного падения с велосипеда, покорёженное ухо — после другого. Земля явно равнодушна к его левой половине. До него доносится ее цветочный аромат, совсем не тот, что он помнит.

— Элси! — восклицает Филипос, не выпуская из руки бритву.

Эл-си. В этих двух слогах его радость, их общая печаль и прощение, которого он ищет, даже если не в силах сам простить себя. Быть лишенным дара речи сейчас — это благословение, рядом с женой слова всегда служили ему дурную службу.

— Филипос, — отвечает она.

Смотрит мимо него, и ее опустошенное лицо светлеет, когда Малютка Мол, радостно хихикая, ковыляет вперевалку в объятия своей чечи, сестры. Элси усаживает ее, ужасаясь виду обострившихся скул, которых никогда не заметно было на широком лице Малютки Мол, и тому, как свисает блузка с ее торчащих ключиц. Услышав

обнадеживающие звуки, из дома выскакивает Большая Аммачи, обнимает Элси и произносит лишь одно:

— Муули!

Филипос с ревностью наблюдает за этой сценой. Самые главные женщины в его жизни — единый фриз из черных локонов, белого сари, седых волос, ярких лент и чатта в пятнах куркумы. Они скрываются в кухне. В зеркале Филипос видит разинутый рот Обыкновенного Человека, в который вот-вот залетит муха.

глава 52

Как некогда бывало

1950, Парамбиль

Настоящий муссон, как мстительный бог, является сразу после Элси, он наказывает тех, кто поверил самозванцу. Проливной дождь и ветер мощи тайфуна сгибают ветви пальм в павлиньи хвосты, а потом ломают их. Вихрь, врывающийся в окна, издает жуткий потусторонний звук, будто кто-то дует в горлышко амфоры. Электрический столб упал, и радио умолкло. Самуэль выбрался наружу и вернулся в ужасе: за камнем для поклажи разлилось новое озеро, другого берега которого не видно. Легендарное наводнение 1924 года вызвало разрушения по всему Траванкору, однако не затронуло Парамбиль. Но сейчас вздувшийся ручей, где обычно купается Большая Аммачи, угрожает жилищам ремесленников и работников. Река выплескивается из берегов, смывает причал, и впервые на памяти Большой Аммачи ее видно из дома, и поток подбирается к усадьбе, которая, по убеждению ее мужа, находилась вне досягаемости воды. К пятой неделе их благоговение перед мощью природы сменяется унынием. Земля молит о пощаде. Нет слов, чтобы описать растущее чувство оторванности от мира. Газеты не доставляли с начала муссона.

Большая Аммачи тревожится за Элси, которая часами расхаживает по веранде, даже по ночам, и все вглядывается в небо с отчаянием матери, оставившей за рекой ребенка без присмотра. А ведь в былые времена девочка бывала настолько поглощена своим рисованием, что не заметила бы, как сносит крышу дома. Элси явно не планировала задерживаться здесь надолго, но все же почему она так торопится уйти?

Как только Филипос понял, что Элси явилась только навестить Малютку Мол и не собиралась оставаться, он отстранился, отказавшись от любых попыток общаться с женой. Они редко видятся; из-за маленьких черных жемчужин разница между днем и ночью для него размывается, и Филипос постепенно превращается в ночное существо.

Несколько раз он замечал, как Элси патрулирует веранду, пристально глядя на дождь, как будто если смотреть достаточно долго, тот может прекратиться. Филипос сдерживает смех, когда слышит за окном, как Элси спрашивает Самуэля, можно ли отправить письмо. Старик отвечает, что почтовое отделение затопило. Филипоса так и подмывает крикнуть: *«Ты же хорошо плаваешь, Элси. Почему бы не доставить письмо лично?»*

Как-то раз он просыпается незадолго до полуночи, по привычке отодвигает занавеску и выглядывает наружу. На ступеньках веранды сидит фигура — окаменевшая женщина, а может, и призрак, неотрывно глядящий на шелестящий дождь. Живот скручивает от страха, но тут Филипос узнает Элси. Лицо ее, полускрытое тенью, такое незнакомое, такое бесконечно печальное. Видя, как она плачет, он вопреки желанию чувствует жалость. Он уже сел в кровати, чтобы идти к жене... но замирает. Его присутствие не принесет утешения — возможно, будет только хуже. Она теперь совсем чужая. Филипос ничего не знает о ее жизни в минувший год. Но все равно он озадачен. *Откуда такая тоска? Почему ей так важно уйти? Что с тобой, Элси?* Это определенно не связано с Нинаном.

Он, должно быть, задремал, потому что, когда открывает глаза, небо просветлело. Элси ему привиделась? Филипос выглядывает на веранду — жена все еще там, спиной к нему, перегнулась через низкую ограду, и ее тошнит. На этот раз он выскакивает из комнаты. Увидев мужа, Элси резко выпрямляется и едва не падает, покачнувшись. Он успевает подхватить ее, подводит к скамеечке Малютки Мол. Она садится, сгорбившись, держась за живот. Филипос приносит воды.

— Элси, моя Элсиамма, скажи мне. Что с тобой?

Лицо ее, когда она поворачивается к нему, полно такой муки, такого страдания, что Филипоса бросает в дрожь. Он инстинктивно притягивает жену к себе, утешая и успокаивая, пока не минует приступ. На миг ему почудилось, что Элси готова довериться ему, снять с души тяжкий груз. Филипос ждет... И видит, как она передумала. Элси опускает глаза.

— Наверное, это маринованный огурец... — лепечет она.

Черт побери. Ни один огурец никогда не вызывал такого горя.

— А у меня все в порядке, — пытается возразить он.

— Да ты и не ешь с нами за одним столом, — вздыхает она, голос у нее охрип.

— Да... я работаю и сплю не по расписанию.

Он неосознанно копирует ее позу: плечи поникли, взгляд опущен. Его правая лодыжка опухла, левая вывернута под углом, это теперь постоянное положение. А ступни у нее все такие же, как он их помнит, может, лишь чуть более загорелые и пальцы чуть более согнуты. Перед глазами всплывает картинка — помолвка, их ноги, стоящие вплотную друг к другу. Пропасть отделяет это воспоминание от нынешнего момента. Филипос вдыхает ее новый запах, совсем незнакомый. В былые времена их тела источали одинаковый аромат, хранящий в себе воды, почву и пищу Парамбиля. Волосы Малыша Нинана, он до сих пор помнит, имели сладковатый чуть щенячий оттенок поверх общего семейного запаха.

Элси озирается с безнадежностью заключенного. Качает головой. Если бы он не смотрел на ее губы, не разобрал бы, что она проговорила:

— Я не собиралась задерживаться здесь надолго. — И глаза опять набухают слезами.

Слова больно ранят его. Дождь припускает сильнее, будто откликаясь на его разочарование. Как же им исцелиться, если не вместе? В конце концов Филипос решает:

— Малютка Мол — не единственная, кому ты тут нужна. — Его искалеченная нога дергается сама по себе.

Его слова заставляют Элси задуматься. Она по-новому смотрит на него.

— Прости, — вытирает она глаза. — Было слишком тяжело оставаться здесь, после того как Нинан... — Элси, видимо, вдруг приходит в голову, что у него-то не было выбора, потому что добавляет: — Но убежать не получилось. Все по-прежнему со мной. Каждую минуту. Как, должно быть, и с тобой. Я знала, что нужна Малютке Мол. Нужна Большой Аммачи... — Голос стихает до шепота: — Я нужна была тебе. Но я не могла. — Она отставляет стакан с водой. — Я пойду прилягу, ладно?

Рука скользит по его плечу, примирительно, едва ли не ласково.

Два дня спустя Филипос видит, как лучи солнца преломляются сквозь оранжевые облака, окутывая землю призрачным сиянием. Спустя секунды видение исчезает, но к тому моменту он уже в иступлении взгромоздился на велосипед и яростно крутит педали. Он приближается к концу дорожки, огибая лужи, набирая скорость, воодушевленный...

Филипос поднимает веки, перед глазами темно. Даже влюбленный в землю не станет зарываться в нее лицом. Как долго он пробыл без сознания? Вновь барабанит дождь. Филипос переворачивается на бок. К нему приближается пара босых ног — светлые на лодыжках, а ниже окрашены бронзовой грязью. Элси помогает ему сесть, потом медленно встать.

— Не знаю, — отвечает она на его вопрос, что произошло. — Я случайно выглянула в окно и увидела что-то валяющееся на земле. А потом ты шевельнулся.

Кожа на локте у него содрана. Левое колено болезненно пульсирует. Плечи ноют. Он тяжело опирается на помятый велосипед, когда они молча бредут обратно к дому, оба промокшие до нитки. Филипос с облегчением чувствует, что заветная коробочка по-прежнему на поясе в складках мунду, не потерялась. Ему срочно нужно лекарство, но не на глазах у жены. Внезапно он выпаливает:

— Элси, мы можем начать сначала. Построить новый дом где-нибудь на другом участке. Или переехать.

Она не смотрит на него и не отвечает. После паузы он продолжает, больше для себя, чем для нее:

— Как так могло случиться? Это я во всем виноват.

Дождь, или слезы, или то и другое струится по его лицу.

В своей комнате — некогда их общей комнате — Филипос поспешно скатывает жемчужину, усиленную дозу от боли в колене, плечах, лодыжках, голове... и боли в сердце. Приняв ванну, он погружается в грезы, плавая в матке, мягко стучаясь о мягкие стены. Чуть вздрагивает, когда скорее чувствует, чем слышит скрип дверцы шкафа рядом. Элси, спиной к нему, достает после ванны свою старую одежду. Обычно она посылает за этим Малютку Мол, но Филипос знает, что Малютке Мол нездоровится. Тхорт удерживает мокрые волосы Элси, а влажное мунду, обернутое вокруг тела, оставляет обнаженными плечи и ноги. Она на цыпочках идет к выходу с охапкой

одежды, когда Филипос, повинувшись импульсу, хватает ее за руку. Она испугана — мышка, пойманная в ловушку. Он отпускает ее.

— Элси... пожалуйста. Прошу тебя. Присядь на минутку.

Она колеблется. Затем, неуверенно переступая, подходит и осторожно садится на край кровати.

— Я хочу сказать тебе спасибо, — начинает он, опять беря ее руку.

Она не поднимает глаз. Простое действие — гладить и перебирать ее пальцы — успокаивает его.

— Если бы не ты, телега переехала бы мне голову. Если бы не ты... — Голос его дрогнул. — Это я во всем виноват. Я это уже говорил? — Он нежно тянется к ее подбородку, чуть приподнимает лицо. — Элси. Прости меня.

Выражение ее лица пугает его. Мышь недоуменно смотрит на зверолова, просящего прощения. Она не понимает, что он говорит? Элси отворачивает лицо в сторону, губы у нее шевелятся.

— Элси, я тебя не слышу.

— Я сказала, что это мне нужно просить прощения.

Он смеется, какой неуместный звук.

— Нет, нет, моя Элси! Нет. Мир знает, что я утратил достоинство. У меня нет ног. Нет сына. Моя жена ушла. Но если кто-то и совершал ошибки, то именно я. Не отнимай у меня единственное, что у меня есть. — Он садится, морщась, и обнимает ее той рукой, где локоть ободран. Боль не имеет значения. Продолжает шутливым тоном: — Элси, ты родилась уже прощенной. Может, вернемся к этому жалкому презренному созданию? Оно нуждается в прощении и милосердии.

Филипос не замечает, что жена не отвечает на его вымученный юмор. Отчаяние, которое он увидел той ночью, навсегда запечатлелось в ее чертах, и ему больно от этого. Но если ему помогает просто взять ее за руку, ей ведь от этого тоже должно стать легче? Узел мунду у нее на груди вот-вот развяжется. Филипос не может заставить себя отвести взгляд. И смущен приливом крови к паху. *Нет, я вовсе не этого хотел, когда просил тебя сесть, клянусь богом дождей.* Но у желания свой собственный словарь, более убедительный, чем слова, рождающиеся на устах, и вопреки его воле именно этот язык выступает на первый план.

В приливе нежности Филипос обнимает жену. Она не противится. Тхорт соскальзывает с волос, и, когда она тянется подхватить ткань, мунду окончательно развязывается. *Это не я. Это все вселенная, или*

судьба, или божество мунду и тхорта, бог недопонимания, Бог, в которого я не верю. Элси вцепляется в падающее мунду, но рука Филипоса нежно удерживает ее. Он целует ее щеки, веки. Она дрожит, и лицо такое печальное, что боль его становится невыносимо пронзительной. Он хотел лишь утешить, но знакомый трепет охватывает его, давнее благоговейное удивление, что эта удивительная женщина — его жена. *Повелитель разочарований, повелитель печалей, скажи мне, отчего ты благословляешь меня только для того, чтобы отнять?* Ее тело становится все крупнее, увеличиваясь на глазах, — или так действует черная жемчужина? Губы полнее, ямочка в основании шеи, которую он так любит, гораздо глубже, темные ореолы вокруг сосков шире — все самые чувственные детали растут и становятся ярче под его взглядом.

Сколько же удовольствия их тела доставляли друг другу! Что бы ни происходило, но эта часть жизни никогда их не подводила. И могла бы стать тем бальзамом, который необходим, чтобы вынести невыносимое. После своей утраты они даже не позволили себе поплакать друг у друга на плече. И вместо этого злобно набросились друг на друга. Теперь он ясно понимает, что они должны были сделать. Филипос перебирает пальцами ее мокрые волосы, такие густые, что они всегда казались ему отдельным живым существом. Нежно укладывает ее на кровать. Не принуждая. Заметив, что дверь распахнута настежь, медленно, с трудом, поднимается и, хромя, подходит запереть. Голова Элси обращена в другую сторону, мысли ее далеко, как будто она забыла о его присутствии, но когда он приближается, она поворачивается к нему — всматриваясь в покрытое струпьями и шрамами тело взглядом художника, но все же с любопытством и сочувствием.

Он забирается на кровать. Ее зрачки оказываются прямо напротив его — широкие и бездонные. Ступни ее на ощупь грубые и мозолистые, это вовсе не шелковистые нежные ножки из его воспоминаний. Она ходит босиком — верный признак нерадивости мужа. Филипос целует ее руку, прикрывающую грудь, губы натываются на твердый бугорок сбоку на указательном пальце. Он представляет, как в своей непреходящей боли Элси работает до изнеможения, день и ночь водят кистью, чтобы исправить искажения несовершенного мира. Бледное

лицо ее в пятнах. Угрызения совести становятся все глубже, когда он видит все новые свидетельства собственного небрежения.

— Ох, Элси, Элси, — горестно выдыхает он, и сердце его разрывается. — Это мое дело все исправить, все восстановить.

Она, кажется, не понимает, но это неважно, главное, что понимает он. Они идеальная пара, думает Филипос, оба истерзаны горем и временем. А что такое время, как не концентрированные утраты?

Его губы прижимаются к ее, но нерешительно. Он не хочет навязывать себя. И сразу остановится, если ей будет неприятно. Но разве не поцелуи всегда воскрешали их? Поцелуй никогда не ляпнет какую-нибудь глупость. Филипос едва не смеется, вспоминая их первые неловкие поцелуи, как они сжимали губы, будто запечатывая конверт. А потом стали мастерами. Но Элси все забыла. *Я должен напомнить ей. Мой долг воскресить эти уста и раскрыть наши сердца.* Он начинает нежнее нежного, и она, кажется, отвечает. Да, говорит он себе, губы ее шевельнулись — пока не страсть, но нужно время.

Он берет в ладонь ее грудь, обводит пальцами сосок. С трудом владея собой. Глаза ее закрыты, из уголков стекают слезы, и он понимает — что, как не это, напоминает им о Нинане? Она не отстраняется, но и не тянется к нему, как в старые времена. *Все хорошо, любимая. Все хорошо. Я все сделаю сам. Нам ведь нужно именно это? Гилеадский бальзам, исцеляющий все недуги.*

Бывало, тела их двигались синхронно и они напоминали экстатические рельефы Кхаджурахо^[200], поворачиваясь так и эдак, и простыни падали на пол. *Для этого еще будет время*, думает он, занимая верхнюю позицию. Дело не в его потребностях, он лишь стремится передать свою любовь и заботу. Медленно, ласково он нащупывает путь, исследует, осторожно касается и, почувствовав ее готовность, входит внутрь. И вот они одно тело. Он движется за них обоих. Внезапно, вопреки своим лучшим намерениям, он ощущает, как в нем нарастает и вздымается эгоистичная жажда, возрожденное чувство, он слышит, как ее имя зарождается в глубине горла, и произносит его вслух так настойчиво, что Элси впервые открывает глаза, и из черных провалов ее зрачков на него смотрит безымянный другой человек, но он уже слишком далеко зашел и обрушивается в нее, проваливается внутрь ее тела — единственной женщины, с которой он был и когда-либо будет близок. Что, если не это, противостоит смерти?

Это прощение, конец одинокой скорби. Радость и печаль, триумф и трагедия — сорняки и цветы их Эдема, который переживет смертное цветение этого мира.

Проходит время, Филипос не знает сколько, их тихий личный сад содрогается, и она выскользывает из-под него. Веки его тяжелы, как баржи, Элси садится и тянется к своему мунду. Он задремывает, удовлетворенный, на душе легко, преграда между ними разрушена. У него *deja vu*, когда он видит жену сидящей спиной к нему на краю кровати: руки подняты, она собирает волосы, оборачивая их вокруг ладони и увязывая в узел, локти образуют треугольник, обрамляющий голову, усеянный каплями пота позвоночник мягко изгибается, повторяя изгиб тела: внутрь — талия и наружу — ягодицы. Она поворачивается к нему, не глядя в глаза, кладет ладонь ему на грудь, веки ее опущены, голова склонена, словно она произносит над ним молитву, и задерживается так надолго. Потом встает, и он знает, что сейчас она незаметно вытрет влажным мунду между ног...

Но нет. Она завязывает мунду, подхватывает сложенную одежду, которую взяла из шкафа. Задерживается перед зеркалом, проверяя, все ли тело прикрыто. Ловит его взгляд в отражении, и он сонно улыбается, и это тоже повторение их старого ритуала. Но в ответ на него смотрит незнакомка, душа, уже покинувшая этот мир, но бросающая прощальный взгляд на свою прежнюю жизнь. Она выходит, не произнеся ни слова.

глава 53

Каменная Женщина

1951, Парамбиль

В отсутствие ежевечернего бесплотного радиоголоса, газет, даже свежих сплетен от торговки рыбой они чувствуют себя последними уцелевшими на земле людьми. Перепуганная Благочестивая Коччамма бродит от дома к дому, громогласно призывая жителей покаяться, чтобы деревня выжила. Обнаженный по пояс Филипос не пускает ее на порог своего дома. Он сообщает, что все родственники сошлись на том, что если Благочестивая Коччамма принесет себя в жертву водам реки, масштаба ее грехов окажется вполне достаточно, чтобы умиловать Бога.

Когда они уже почти сдались, муссон сходит на нет. Но газеты доставляют только через две недели. Они узнают, что сотни людей утонули, тысячи потеряли дома, свирепствуют холера и дизентерия.

Открылось почтовое отделение, и Филипос нервничает, поскольку это означает, что Элси вскоре может уйти. Гордость не позволяет задать вопрос напрямую, да и вдобавок никак не удастся остаться с женой наедине. Поздно вечером бамбуковая ложечка скребет по дну коробочки с опиумом. Звук пугает, как удары корабельного кия о скалу. Всю ночь Филипос втирает в тело ментоловый бальзам и стонет от боли. Наутро садится на велосипед и то в седле, то пешком отправляется в опиумную лавку, пробираясь через топкие поля грязи, задыхаясь от зловония мертвой рыбы, выброшенной на берег отступающей водой. Три суетливых старика околачиваются возле опиумной лавки, шмыгая носами и почесываясь. *Я не похож на них.* Филипос старается унять беспокойные руки. Кришнанкутти открывает поздно и без всяких извинений. У единственного на всю округу обладателя опиумной лицензии на щеках и носу-луковице многочисленные шрамы от оспы. Один глаз косит, заставляя покупателей гадать, к кому же он обращается. Кришнанкутти извлекает корень зла — блестящий ком размером с человеческую голову, его влажная поверхность похожа на

потную спину крестьянина и источает затхлый, отталкивающий запах — и вырезает ломоть... но тут ему хочется чихнуть. Он яростно трет над верхней губой, а округлый кончик носа бесконтрольно виляет туда-сюда, пока угроза чиха не предотвращена. Стрелка на весах еще качается, а он уже заворачивает кусок в газету и сует покупателю. Филипос прикусывает язык, ненавидя себя за то, что терпит такие унижения. На улице он поскорее сворачивает пилюлю втрое больше обычной дозы. Он задыхается от ее горечи, но визжащие нервы облегченно всхлипывают.

Вскоре боли, грызущие тело, и спазмы в животе утихают. Стиснутый кулак, в который сжалось сердце, раскрывается. Филипос улыбается незнакомцам, а те провожают его опасливыми взглядами. В голове уже складываются целые тома, жаждущие быть перенесенными на бумагу. Некоторые могут подумать, будто источник такого вдохновения — черная жемчужина, но это же абсурд. Идеи всегда у него в голове! Просто боль — как запертая на висячий замок дверь, суровый привратник, не дающий мыслям выхода. Маленькая пилюля лишь освобождает их, а его перо делает все остальное.

На подходе к дому Филипос слышит странный стук. Элси, в своей рабочей блузе, с руками, покрытыми пылью, колотит по камню, стоящему в ее студии. Но что это за камень! Размером с буйвола, широкий с одного конца и заостренный с другого. Откуда он взялся? Должно быть, Самуэль с помощниками притащили. А инструменты — киянка, большое долото и рашпиль? От кузнеца наверняка. Ему обидно, что с Самуэлем и кузнецом жена разговаривает больше, чем с ним. Но неприятное чувство мигом улетучивается, когда Филипос понимает: дерзновенный замысел этого предприятия означает, что Элси остается! Он стоит, замороженно наблюдая за ее умелыми мужскими движениями, взмахами тяжелой киянки, за покачивающимися в такт бедрами. Элси настолько поглощена своим делом, что ее не отвлекло бы и стадо слонов. Филипос, вдохновленный примером жены, пятится в свою комнату работать.

Он решительно настроен вернуться к семье за обедом, если не за ужином... но погружается в грезы. Когда он приходит в себя, уже полночь. В доме тихо. Он открывает наугад свою библию — «Братьев Карамазовых». Обычно само звучание слов, их ритм, мысленное воспроизводство образов из головы Достоевского успокаивают его.

Филипос читает: *Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощения просить!*

— Чаа́!^[201] — возмущенно восклицает Филипос и откладывает книгу.

В кои-то веки интонации Достоевского не совпадают с его настроением.

Утром Элси нет ни в кухне, ни на рабочем месте. Филипос суется в комнату, где спят все три женщины, но Малютка Мол останавливает его на пороге, прижав палец к губам:

— Тебе нельзя входить.

— Что? Уже почти десять. Ей нездоровится?

Заглядывает с улицы мать и шикает на него. Они все что, с ума сошли? Когда Элси часами колотит по булыжнику, это нормально, а *он*, значит, слишком шумит? Филипос открывает было рот, протестуя, но Большая Аммачи прикладывает палец к его губам.

— Не повышай голос, — улыбнулась она. — Ей нужно спать за двоих. Со мной так же было, когда я носила тебя.

Он оторопело уставился на мать.

— Экий же ты! Мужчины! Всегда все замечают последними, — ласково ущипнув его за щеку, говорит Аммачи и убегает в кухню с давно позабытой живостью.

У Филипоса подкашиваются ноги. С той единственной ночи их близости он надеялся, что Элси придет еще, когда остальные уснут, что губы ее изогнутся в сладострастной улыбке храмовой танцовщицы. Но она не пришла. И все же Бог — *их* Бог, не его — постановил, что одного раза достаточно! Ребенок! Второй шанс! Они начнут заново. Почему она не рассказала ему? Филипос удаляется к себе, ждать, пока жена проснется.

Просыпается он от стука резца по камню. Стоя в дверях ее мастерской, Филипос смотрит, как в дневном свете сияют серебряными проволочками покрытые пылью тончайшие волоски на предплечьях Элси, такая же патина пыли лежит на ее лбу. Она исполняет медленный танец вокруг камня, плавно перенося вес с бедра на бедро. Наблюдая за женой, Филипос размышляет: *Бог, который так подвел нас, загладил свою вину, он заигрывает с нами после того, как помочился нам на головы.* На душе удивительно легко. Груз разочарования сброшен и...

Дальше следует новая мысль, настолько захватывающая, дерзкая, полная радости и искупления... Нет, он не разрешает себе произнести ее вслух. Не сейчас.

Ко всеобщему удивлению, Филипос является к ужину. Элси встает подать ему тарелку, но он останавливает жену:

— Я уже поел. — Это неправда. Большая Аммачи вздыхает и уходит в кухню за йогуртом и медом — на этом сын и живет. Когда они остаются вдвоем, он признается Элси: — Я знаю!

Она пытается выдавить улыбку. А потом, без предупреждения, лицо ее кривится и она раздражается слезами. Конечно, он все понимает: благословение новым ребенком — это и напоминание об их потере.

Спустя два дня Малютка Мол возвещает со своей скамеечки, где теперь регулярно собираются все женщины:

— Идет Маленький Бог.

Элси, свежая после купания, заплетает волосы Малютки Мол. Большая Аммачи, с чашкой горячего молока для Элси, дожидается, пока они закончат.

Еще через десять минут на дорожке появляется каниян, первый учитель Филипоса, он размашисто шагает, взмокший от энергичной прогулки, санджи болтается у него на груди.

— Кто посылал за этим типом? — удивляется Большая Аммачи, выстреливая в его сторону струей табачного сока, тем самым невольно обнаруживая дурную привычку, которой якобы не страдает.

— Я, — отвечает Филипос.

Торчащие гладкие плечи канияна словно миниатюрные копии его лысой головы — троица, возвещающая о целой жизни, прожитой без работы руками. Кто-то давным-давно в шутку сказал Малютке Мол, что жировик на голове канияна — это маленькое божество.

— Явился в среду? — ворчит Большая Аммачи. — Ему-то уж лучше всех должно быть известно, что это неблагоприятный день. Даже детеныш леопарда не покинет утробу матери в среду. — И она удаляется в кухню.

Каниян плетется следом и, упершись руками в косяк двери, с трудом переводя дыхание, просит у Большой Аммачи «что-нибудь» утолить жажду, рассчитывая на простоквашу или чашку чаю. Она, насупившись, подает ему воду.

Каниян присаживается на корточки в муттаме перед лавочкой Малютки Мол, достает из санджи свои пергаменты. Большая Аммачи возвращается. Каниян выводит на песке палочкой квадрат, потом делит его на столбцы и строки, бормоча: «*Ом хари шри ганапатайе намах*».

Большая Аммачи вертит распятие на шее, гневно сверля взглядом Филипоса; не обращая внимания на мать, тот кладет монетку в один из квадратиков. Он не может взять в толк, с чего мама так раздражена, разве не этому самому человеку она доверила научить сына грамоте? А теперь ведет себя так, будто его ведические предсказания будущего полная чепуха, хотя минутой раньше сама твердила про неблагоприятные дни. Самуэль, идущий мимо с полным мешком на голове, присаживается на корточки.

Каниян напевает имена родителей, наизусть повторяет даты их рождения и астрологические знаки, потом намеками выспрашивает у Элси про последние месячные. Она ошеломленно молчит. Не смущаясь отсутствием ответа, знахарь бормочет что-то на санскрите, загибает пальцы, косясь на живот Элси; палец блуждает над астрологической картой, потом он что-то царапает металлическим стилем на крошечной полоске папируса. Каниян сворачивает листок в плотный цилиндр, перевязывает красной ниткой и читает шлоку, прежде чем вручить Филипосу, который едва не разрывает бумажку в нетерпении. Там написано:

ДИТЯ БУДЕТ МАЛЬЧИКОМ

— Я знал! Что я вам говорил? Надо похвалить вашего Господа, — восклицает Филипос, и даже ему самому голос кажется неестественно громким. — Наш Нинан переродился!

Пять пар глаз в ужасе устремлены на него. Элси ахает. Большая Аммачи выдыхает:

— *Дёива ме!* Господь Всемогущий!

И крестится. Самуэль похлопывает себя по макушке, убеждается, что мешок на месте, и удаляется. Малютка Мол сердито смотрит на Маленького Бога.

— Пойдем, — Большая Аммачи зовет Элси, — бросайте эту дурь.

Восторг Филипоса омрачен неприязнью со стороны женщин. Разве они не понимают, что только что стали свидетелями пророчества в

чистом виде? Убежденность его непоколебима: дитя в утробе Элси — реинкарнация Малыша Нинана. Это оправдание пережитых им мук, повторяющегося кошмара, в котором он снимает с ветки безжизненное тело и бежит на сломанных ногах, бежит никуда. Никакое опиумное забытие не может помешать гончим памяти преследовать его. О, но теперь эти псы должны разбежаться, поджав хвосты. Малыш Нинан возвращается!

Идут недели и месяцы, а Элси упорно работает над громадным камнем. Самую широкую и массивную часть она оставила нетронутой, но уже появилась шея, потом четки позвоночника, лопатки. Постепенно Филипос понимает, что это женщина, стоящая на четвереньках. Которая, кажется, оборачивается взглянуть через плечо, хотя он не уверен, потому что лицо скрыто в широком конце камня. Ее полные груди свисают, нежная выпуклость живота обращена к земле. Одна ладонь опирается о землю. Другая исчезает в камне сразу за плечом. Это знак непокорности? Покорности? Стремления к чему-то?

В ночь, которую он позже захочет стереть из памяти, Филипос, пока все домашние спят, отправился в мастерскую Элси рассмотреть Каменную Женщину, ощупать ее своей рукой. Вот уже много ночей это стало его навязчивым действием. Его разум зацепился за неразрешимую загадку. На прошлой неделе он обмерял скульптуру, и подозрения подтвердились: она на четверть больше, чем живая. Определенно неслучайно. Соотношение четыре к пяти парадоксальным образом делает ее *более* живой. Она стоит на коленях над циновкой и просеивает рис, выбирая камешки? Он видел Элси на четвереньках в такой же позе, когда жена играла с Нинаном, забавляла малыша, роняя волосы ему на лицо. Видел, как Аммини, жена Джоппана, точно так же играла с их маленькой дочерью. Однако изгиб шеи Каменной Женщины, положение того, что наверняка станет подбородком, предполагает, что она оглядывается назад. Приглашение? Может быть, все еще скрытая рука, которая тянется вперед, сжимает спинку кровати, поддерживая тело, когда любовник входит в нее? Когда же Элси завершит лицо? Ожидание невыносимо и сводит его с ума.

Филипос вернулся к себе, достал перо, но сначала скрутил пилюлю, чтобы успокоиться. Только проглотив, он вспомнил, что уже принял одну несколько минут назад.

Элси, я обошел сегодня вокруг твоей Каменной Женщины, как аччан обходит алтарь. Он делает это трижды, но меня не ограничивают колдовские ритуалы. Элси, прошу тебя, кто эта Богиня, выползающая задом из каменной утробы? Это ты? Но если это рождение, природа утверждает, что первой должна явиться голова. Скажи, что она выходит, а не возвращается туда. Какую истину о тебе, любимая, откроет ее лик, или о нас обоих? Я неделями жду, когда же ты закончишь лицо! Каждую ночь я прихожу в надежде, что это та самая ночь. В прежние времена, когда наши разумы были едины, как наши тела, я мог бы просто спросить тебя. Элси, Нинан уже рядом. Нинан возвращается. Мы, родители, должны быть ближе...

Прикрыв глаза, Филипос задумывается, не выпуская перо из руки. И отключается, уронив голову на стол, безучастный к грохоту грозы за окном. Это не легкий дождик и не муссон, просто своенравная погода. Через полчаса он внезапно просыпается в диком возбуждении. У него было видение! Какой упоительный, великолепный и полный смысла сон! Во сне Каменная Женщина повернулась к нему. Поманила его. Он ясно видел ее лицо! И оно открыло глубочайшую истину о... о том... Он хлопает себя по голове. Истину о чем? Ответ повис в воздухе, он здесь, просто невозможно вспомнить. Филипос со стоном нашаривает еще одну черную жемчужину.

Ноги несут его в мастерскую Элси, он забыл про шлепанцы. Острые обломки известняка вонзаются в ступни. Он спорит со скульптурой:

— Послушай, я уже видел твое лицо во сне. Прощу, покажи еще разок... зачем прятаться? Ты боишься? В чем дело?

Каменная Женщина молчит. Вспышка молнии освещает ее. Брызги дождя, долетающие снаружи, смачивают ее, и камень кажется кожей, влажной и живой. Новые вспышки молнии приводят в движение ее руки и ноги. Она корчится, мучительно пытаясь извлечь голову! Может, он все еще спит? Каменный инквизитор заточил бедняжку в монашеском капюшоне скалы. Неужели Элси — ее жестокий тюремщик? Или Каменная Женщина не кто иной, как сама Элси?

Следующая вспышка, сопровождаемая ударом грома, подтверждает ужасную догадку. Он должен действовать! *Держись,*

любимая! Я освобожу тебя. Я иду! Следующее, что помнит Филипос, — как самая большая киянка оказывается у него в руке и взмывает вверх. Молоток гораздо увесистее, чем он представлял, и совсем несбалансированный, с тяжелой головкой. Молоток опускается с большей силой, чем он рассчитывал, отскакивает от камня, выбивая искры, а отдача от удара больно отзывается в локте. Отлетая, молоток словно по собственной воле ударяет Филипоса в ключицу, слышен хруст кости. Он кричит от боли, что пронзает шею и плечо. Киянка с грохотом падает на пол. Левая рука инстинктивно хватается за правую и прижимает ее к груди, поскольку малейшее движение вызывает мучительную боль в ключице. Филипос корчится в агонии. Сердце бешено колотится, заглушая шум дождя. *Я*, осознает он сквозь пелену боли, *совершенно точно не сплю*. Его вопли и падение тяжелого молотка наверняка перебудили домашних. Минуты идут. Никто не появляется.

Он с ужасом видит, что не только не сумел освободить Каменную Женщину, но теперь из-за него здесь никогда не проявится никакое лицо. Фрагмент, который он выбил, оставил кратер на том месте, где могли бы быть глаза, лоб, нос и верхняя губа.

Филипос, шатаясь, плетется в свою комнату, ключица пульсирует и порождает всплески боли при каждом движении правой руки, даже при шевелении пальцами. Единственный способ уменьшить боль — это левой рукой крепко прижать правую к груди. Он разглядывает в зеркале воспаленную припухлость и неровные контуры кости. Можно жизнь прожить, ничего не зная о ключицах, кроме того, что они расположены над грудиной как вешалка для одежды. А потом одно идиотское действие резко привлекает к ним внимание. С огромным трудом Филипос мастерит перевязь. От усилия он весь покрывается потом.

Скоро утро. Нельзя, чтобы Элси увидела, что он натворил. Как можно надеяться, что она поймет, если он сам с трудом себя понимает? Это не убийство — по крайней мере, не человекоубийство, но в любом случае есть тело, от которого надо избавиться. Он возвращается в патио, собирает и прячет все стамески и молотки Элси за книжными полками в своей комнате.

И уже перед рассветом усаживается на веранде ждать Самуэля. Ночная гроза усеяла муттам опавшей листвой и обрывками пальмовых веток. Наконец появляется Самуэль, как темный тотем, обнаженный по

пояс. Запах бииди, ассоциирующийся у Филипоса со стариком, навеки пристал к нему, как и ветхий клетчатый тхорт, который был обернут вокруг головы, когда он вышел во двор, но теперь наброшен на плечи в знак уважения к тамб'рану. Мунду Самуэля подвернуто, и видны бледные блюдца коленей. Старик весь седой, даже брови, и в глубине его зрачков тоже поселилась седина.

— Ну и ночка выдалась, — начинает Филипос. Он знает, что стал разочарованием для Самуэля, который любил его и служил ему с самого рождения. Старик внимательно изучает его перевязь, замечает синяки. — Смотри, Самуэль... сегодня... не забудь отвезти рис на мельницу.

— Аах, аах, — автоматически отвечает Самуэль, хотя смолот рис еще на прошлой неделе.

— И попроси вайдьяна заглянуть к нам. — Прежде чем Самуэль успевает спросить зачем, Филипос добавляет: — Но прежде возьми помощников и убери тот камень, над которым работает Элси.

— Аах, а... — сам себя перебивает Самуэль. — Ты имеешь в виду большую женщину? — Он тоже видел ее эволюцию.

— Да. Прошу, первым делом убери ее. Немедленно. — Филипос старается, чтобы голос звучал непринужденно, встает со стула. — Убери ее с глаз — может, под тамаринд. Но поскорее. Элси продолжит работать, когда ребенок родится.

И Филипос сразу же уходит в дом, оставляя Самуэля стоять в муттаме озадаченно почесывающим грудь.

Через полчаса Самуэль вернулся с двумя парнями и веревками. Филипос рад, что в этой компании нет Джоппана. Они вошли с улицы в полузакрытое патио, служащее Элси мастерской. Окружили Каменную Женщину, ноги их нечувствительны к осколкам щебня. Филипос исподтишка наблюдал. Что они думают об этой фигуре? Считают ли искусство никчемной роскошью? Особенно учитывая, что оно сейчас добавило им работы. Парни утащили изуродованный камень.

Позже пришел вайдьян. Филипос слабо верит в примочки и пилюли, но в переломках этот тип разбирается. Оказывается, повязка, которую соорудил Филипос, и есть лечение для его травмы. Ее нужно будет носить по меньшей мере три недели.

Элси завтракает пухлым пропаренным *íдли*^[202], белым, как облачко. Потом, под бдительным присмотром Большой Аммачи, наносит на все тело *дханвантх́арам куж́амбу*^[203]. У каждого вайдьяна свой рецепт, но в основе всегда кунжутное и касторовое масла и корни паслена. Через час она моется, снимая масло растертым машем. Свекровь не отпускает ее, пока Элси не выпьет теплого молока с *бра́ми*^[204] и корнем *шатава́ри*^[205]. На часах уже одиннадцать, когда Элси является в патио, на ходу повязывая фартук поверх сари. Филипос уже ждет. Стоит, покачиваясь от усталости, бессонной ночи и опиума.

Элси медленно переводит взгляд от пустоты в мастерской на мужа.

— Элси, я могу все объяснить. Я распорядился осторожно убрать твою скульптуру. Только пока не родится наш сын.

Перед лицом его кружит муха, и одной только мысли о том, чтобы отогнать ее, достаточно для приступа острой боли.

Элси с любопытством и даже участием разглядывает его перевязь, уродливую синюю опухоль и искривленную кость. И вновь поворачивается к тому, чего больше нет. Наклоняется, подбирает фрагмент, который откололся, когда молоток делал свою работу. Филипос мысленно бранит себя, что оставил следы. Держа камень на вытянутой руке, Элси вертит его так и эдак, пытаясь представить, как он выглядел изначально. Уж лучше бы она просто напустилась на мужа и высказала все, что он заслужил выслушать.

— Это вышло случайно, Элси, — вырвалось у него. — Мне приснился жуткий кошмар. — Он ведь вовсе не это собирался сказать! — Я был уверен, что она хочет сбежать. Наверное, я забрел сюда еще во сне. Я хотел освободить ее. — И умолкает, ожидая самого худшего.

— То есть ты хотел как лучше. — Голос спокойный и невыразительный. Никакого сарказма. Вообще никаких чувств.

Она все понимает! Слава богам.

— Да. Да. Прости меня. Элси, когда наш сын появится на свет, я все верну на место. Или, если захочешь, добуду тебе десять других камней.

— Наш сын? — перебивает Элси.

Какое счастье, что она больше не хочет говорить о Каменной Женщине.

— Да, наш сын! Он мне жаловался, — продолжает Филипос, вымученно пытаясь шутить. — Он говорил: «Аппа, я собираюсь скоро вернуться в мир, но этот грохот сводит меня с ума!»

— Ты уверен, что это будет сын.

В голосе не слышно вопроса. Филипос нервно смеется.

— Ты разве забыла, как приходил каниян? Наш Нинан переродился! — Когда он произносит имя вслух, голос срывается, и выражение ее лица меняется. Призрак проскользнул между ними. — Господь раскаивается, Элси. Он просит у нас прощения. Бог хочет дать нам повод заново поверить в него. Бог возвращает нам Нинана, исцеляя нас.

Элси смотрит на каменный осколок в своей руке, как будто не зная, что с ним делать, потом аккуратно кладет на землю, как священную реликвию. Она словно внезапно устала. И когда говорит, в голосе не слышно ни злости, ни ожесточения, но, возможно, даже сочувствие к человеку, женой которого она стала.

— Филипос, ах, Филипос, что же с тобой случилось? (Под ее взглядом он сжимается, становясь размером с тот самый осколок камня.) Я хотела только одного — твоей поддержки, чтобы я могла продолжать свою работу. Но ты почему-то всегда думаешь, что даешь мне ее, даже когда лишаешь.

КОЛОНКА ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

НЕИСЦЕЛИМЫЙ

В. Филипос

Остановите на дороге любого человека, и как только он поймет, что вам не нужны ни деньги, ни последняя пачка табака, а лишь занимательная история, то с радостью расскажет вам байку из своей жизни. Кто же откажется припомнить дурную карму или вероломство, которые встали между ним и величием, помешали стать именем нарицательным, как Ганди или Сароджини Найдугу?^[206] Или

баснословно богатым, как Тата или Бирла?^[207] У каждого малаяли есть собственная легенда, и уверяю вас, это чистые выдумки. А еще у малаяли неизменно имеется в запасе пара сказок, неизбежных как пупок: одна — про привидение, а другая — про лекарство от бородавок. Дорогой Читатель, я коллекционирую рецепты лекарств от бородавок. У меня их сотни. Если вам хочется пугать себя, собирая рассказы о привидениях, это ваше дело, правда же? Так вот, что бы вы ни думали о моей коллекции рецептов от бородавок, держите это, пожалуйста, при себе.

«Зачем лечить бородавки? — спросите вы. — Может, я покрыт ими с головы до ног?» Нет. Но у меня есть одна на пальце, еще с детства. Разумеется, я считал, что она послана мне за грехи. Вместо того чтобы рассказать обо всем маме, я поспешил к своему другу детства, более старшему, уверенному в себе парню, моему герою. Он поделился секретным средством: свежая козья моча, не упавшая на землю, наносится на кожу до восхода солнца. Брат, попробуй найти козу, которая мочится не на землю. Сестра, твоя коза может вечно мочиться, нагло глядя прямо на тебя и брызгая тебе на ноги, но попробуй поймать ее струю в кокосовую скорлупу в темноте так, чтобы не получить удар рогами или копытом в самые неподходящие места. Короче, я справился. Это отдельная история, но я справился... и бородавка сошла! Когда я похвастался приятелю, мерзавец рухнул на землю от хохота. Он все выдумал! Но хорошо смеется последний, верно? Лекарство подействовало.

Средства от бородавок передаются в семьях, как тайное знание. «Отрежь голову угря и закопай ее. Как сгниет она, так и бородавка отвалится». «Ступай на поминки и незаметно потришь бородавкой о покойника». «Пройди три минуты в тени того, чье лицо покрыто шрамами от оспы».

Вот почему я пришел к ДОКТОРУ Х. (Это не настоящее его имя, но буква Х означает, что я вам его не называл.) Он специализируется на бородавках. После его имени на табличке были написаны буквы: ДМ (г) (USA), МРВР. Такую табличку ожидаешь увидеть на роскошном колониальном

особняке с черепичной крышей, а не на лачуге рядом с мастерской, где чинят проколотые шины, и с водостоком, в котором течет вонючая вода. Снаружи стоял, ухмыляясь, полуголый мужчина в грязном мунду. Я спросил: где Доктор Х. Он сказал: Это я. Я, разумеется, поинтересовался, что значат все эти буквы рядом с его именем. Он объяснил, что ДМ (г) означает Доктор Медицины (гомеопат). Аах, сказал я, вы, значит, окончили Колледж Гомеопатии? (Между нами, я очень подозрителен.) Он сказал: О да! Прямо у себя дома я изучил «Британскую Фармакопею» 1930 года издания. Выучил наизусть. Спросите что угодно! Я хотел сказать: Вам, конечно, известно, что существуют и более новые издания. Но вместо этого сказал: А как изучение фармакопеи связано с гомеопатией? Он заявил: Там ведь тоже используют разведение. Разведение — это главное! Аах, сказал я, а что значит USA^[208] после ДМ (г)? (Он не производил впечатление человека, пересекавшего в своей жизни какие-либо водные пространства, помимо вышеупомянутой грязной канавы.) А это, сказал он, означает Унани (U), Сиддха (S) и Аюрведа (A). Три системы медицины, которые меня интересуют. Можно сказать, я в них специализируюсь.

Вот это нахальство, брат! — сказал я. И он перебил меня: Называйте меня Доктор, пожалуйста. Ага, Доктор, а вы не думаете, что люди могут спутать эти буквы с английским названием Соединенных Штатов Америки? Пойдите! — вытянул он руку, как полицейский. — Позвольте напомнить, что Унани, Сиддха и Аюрведа — древние науки, которые существовали задолго до Америки. Пускай только Черчилль или кто там посмеют возражать. Аах, сказал я, ну ладно, но что насчет МРВР? Он сказал: А это по-латыни, Медикус Региус Вел Регис, или Врач Королевских Особ. Пойдите! — сказал я. — Вы лечили кого-то из Букингемского дворца? Нет, сказал он, но я успешно прописал слабительное человеку с сильным запором, а он приходился шестьюродным братом бывшему Махарадже Траванкора, — все прочие методы лечения не помогали. И в тот раз я прибег к концентрации вместо разбавления. Я использовал жостер, сенну,

минеральное масло, эмульсию магнезии плюс мой собственный секретный ингредиент. Я спросил: Это помогает? (У меня был личный интерес, потому что кто из нас не сталкивался с запорами?) Аах! Друг мой, сказал он с неприятным смехом, понизив голос, помогает ли это, спрашиваете вы? Я вам так скажу: если вы случайно сядете читать книжку, приняв это средство, вам придется вырвать все до одной страницы! Как бы то ни было, мой пациент остался благодарен. Поэтому я достал малайлам-латинский словарь и добавил МРВР к своему имени.

Аах, сказал я, довольно об этом. Я пришел не обсуждать вашу вывеску. Я собираю рецепты средств от бородавок, которых тьма. Да, да, сказал он, самый приятный и, более того, добавил он, самый распространенный ингредиент в этих средствах — вера. Если лекарство подействовало, то только потому, что пациент в него верит. Когда лекарство замысловатое, в него легче поверить. Такова человеческая природа. Справедливо, сказал я, потому что и вправду на этот раз был с ним согласен. Итак, попросил я, расскажите, чем вы лечите бородавки у ваших пациентов? Он протянул руку. В чем дело? — спросил я. Положите сюда деньги, пожалуйста. Если пациент кладет деньги в мою ладонь, это означает, что он имеет веру. И тогда мое лекарство точно подействует.

Я взялся за руль велосипеда, готовясь уехать. У меня нет бородавок, сказал я, и спрашивал я как журналист. Он сказал: Вы заблуждаетесь, я диагностировал бородавки, как только увидел вас. Где? Покажите! Аах, все ваши бородавки внутри, вы и сами прекрасно знаете. Рука его все еще оставалась протянутой ко мне.

Дорогой Читатель, не судите меня строго. Слезы понимания хлынули у меня из глаз. Я вложил деньги в протянутую ладонь доктора. Доктор, я в отчаянии, сказал я, и я верю.

глава 54

Пренатальный ангел

1951, Парамбиль

Напряженное перемирие сохраняется до конца срока беременности Элси. Большая Аммачи видит, что Элси избегает мужа. Да и кто стал бы винить ее за это? После визита канияна Филипос ведет себя все более непредсказуемо.

Когда Элси уже на седьмом месяце, Большая Аммачи посылает за Анной, молодой женщиной, знакомой по церковному приходу, она еще чудесно поет. Аммачи слыхала, что муж Анны сбежал и они с дочерью едва сводят концы с концами. Большой Аммачи уже шестьдесят три, и она чувствует каждый прожитый день. Когда родится малыш, ей пригодилась бы помощь, и если Анна согласится, это было бы выгодно обеим. Она ужасно тоскует по Одат-коччамме, невозмутимость и самообладание старушки стали настоящим спасением, когда Элси рожала. Фотографии любимой подруги у Аммачи нет, поэтому она хранит в кухонном ящике ее деревянные вставные зубы. Старуха позаимствовала их у папаши своей невестки и надевала под настроение. Большая Аммачи улыбается всякий раз, когда взгляд падает на ухмыляющиеся челюсти. И каждый вечер, когда в молитвах об усопших доходит до Одат-коччаммы, она плачет.

Анна появляется после обеда, как раз когда Большая Аммачи восседает на веревочной лежанке с газетой и новой пачкой табака; кроме редких мух, рядом нет никого, кто стал бы укорять ее за дурную привычку. Анне под тридцать, у нее широкий лоб, широкие бедра и улыбка, которая кажется вдвое шире, чем первое и второе вместе. Щеки Анны выглядят неестественно запавшими для такой крупной женщины, и вид у нее стал гораздо более изможденный, с тех пор как Большая Аммачи видела ее в церкви в последний раз. За спиной у нее прячется хрупкая маленькая девочка в мешковатых шортах не по размеру, завязанных шнурком, глаза у девчушки едва ли не больше, чем все лицо.

— А что это за хвостик у нас там?

— Это моя Ханна, — с гордостью сообщает мать, демонстрируя в улыбке столько зубов, что непонятно, как они во рту умещаются.

От внимания Большой Аммачи не ускользают и высохшие круглые пятна на чатта Анны. Значит, большеглазого ангела спасает от голодной смерти грудное молоко.

— Аах, думаю, Ханна не откажется перекусить чем-нибудь, — провозглашает Большая Аммачи и, отвергая все возражения Анны, уходит в кухню.

Пока обе гости едят, Большая Аммачи расспрашивает о пропавшем муже.

— Аммачи, неудачи преследовали моего бедного супруга, как кошки — торговку рыбой. Перебрав тодди, он заснул под пальмой, и кокосовый орех переломал ему ребра. Такое вот несчастье.

Надо же, как милосердна Анна к своему мужу, отмечает Большая Аммачи.

— Потом он потерял работу и не мог найти новую. Он очень переживал. Как-то утром он решил, что должен пробраться на поезд до Мадраса, Дели или Бомбея и поискать работу там. С тех пор минуло три месяца. Дома совсем не осталось риса. — Анна по-прежнему улыбается, как будто рассказывает про очередной комический поворот в своей семейной истории, хотя глаза у нее на мокром месте. — Я бы хотела отыскать его, но как? — Она прижимает ладони к щекам. — Когда Ханна вырастет и спросит меня, все ли я сделала, чтобы найти ее аппачена...

Большой Аммачи это действует на нервы, но она ласково сжимает руку Анны:

— Ты же не можешь обыскать всю землю!

С первой же минуты Анна в доме — как дополнительные четыре пары рук. Большая Аммачи удивляется, как же она до сих пор справлялась без Анны-чедети. Это прозвище сразу придает Анне статус родственницы, а не наемной прислуги. Ханна ходит за Большой Аммачи хвостиком, как некогда ДжоДжо.

Господь, я пришла сюда ребенком, тоскуя по матери, лишившись отца. А теперь сама стала матерью столь многим.

Ханна выглядит годика на три, но когда ее спрашивают про возраст, поднимает пять пальчиков. Проходит совсем немного времени,

и щечки Ханны разбухают, словно поднимающийся на дрожжах хлеб. Большая Аммачи учит Ханну читать, используя Библию в качестве учебника. Девчушка подолгу засиживается за Библией и после того, как урок давно окончен.

Большая Аммачи вместе с Анной подготовили в старой части дома комнату, где будет рожать Элси. Прямо рядом с ара, над погребом, так что можно не спускать глаз с семейных сокровищ. Приподнятая кровать-помост с угловыми стойками, возвышающимися как церковные шпили, завалена рулонами ткани. На этой кровати Большая Аммачи рожала своих детей. Ее мать провела здесь последние месяцы своей жизни, когда ей уже было трудно вставать с циновки на полу. В комнате темные, обшитые тиковыми панелями стены и декоративный навесной потолок. Это музей древностей Парамбиля, каждая вещь тут имеет собственную историю, и Большая Аммачи не может заставить себя избавиться ни от одной из них. Здесь хранится целое семейство латунных кинди с длинными носиками; богато украшенные масляные и керосиновые лампы, которые потускнели и запылились с тех пор, как провели электричество. В одном углу стоит церемониальный семиярусный масляный светильник ростом с Большую Аммачи. Они вынесли из спальни все, кроме кровати. Анна-чедети вымыла стены и потолок и натерла выкрашенный суриком пол, так что в нем теперь видно ее отражение. Элси будет рожать здесь, в комнате воспоминаний, ритуалов и перехода между мирами.

Но как-то раз Большая Аммачи, сидя в кухне, услышала грохот и кинулась в старую спальню; Филипос стоял на стремянке, вытаскивая барахло с чердака над кладовкой, куда можно попасть из этого помещения.

— Я ищу деревянный велосипед Нинана, — объяснил он. — Тот, что без педалей. Он ведь наверху?

— Ты с ума сошел? Убирайся отсюда!

Позже она услышала, как сын отдает распоряжения Самуэлю:

— Элси будет рожать шестого числа. Я хочу, чтобы Султан-паттар приготовил бирьяни...

Большая Аммачи в ярости напустилась на Филипоса:

— Что за чепуха! Это что тебе, свадьба? Это луна живет по расписанию, а не дети. Самуэль, иди с миром. Не надо никакого Султана, ничего. — Самуэль медленно удаляется и еще успевает

расслышать продолжение: — Да что с тобой, Филипос? Твои глупости не доведут до добра! Никаких празднований, пока не родится здоровый ребенок.

У Филипоса глаза человека, полностью потерявшего разум. Мать могла бы поделиться с ним опасениями по поводу беременности Элси, но этот умалишенный ничего не поймет. Какое безумие овладело им, когда он утащил камень Элси? Большая Аммачи принялась было сочувствовать невестке, но Элси сказала: «Ничего страшного. Идеи в моей голове неисчерпаемы. Оттуда их никто не сможет унести».

Большой Аммачи известно кое-что, о чем Филипос не догадывается, — Элси ваяет другую скульптуру рядом со своим старым местом для купания, ее муж никогда не заглядывает туда. Все начиналось с пучка прутьев, потом превратилось в плетень и постепенно выросло в гнездо гигантской птицы. Элси неутомимо бродит по окрестностям, обламывая зеленые гибкие побеги и сухие веточки, и вплетает их в гнездо вместе с разными другими предметами — обрывками тряпок, прутьями тростника из старого сиденья стула, ленточками, ржавым шкивом, куском веревки, дверной ручкой. После визита церковного старосты Большая Аммачи находит его четки, вплетенные в гнездо. Элси похожа на птицу-портного, вертит головой туда-сюда, обшаривая землю, когда идет босиком по кустам и подлеску. Руки у нее в мозолях от постоянной работы. *Это гнездо и в самом деле искусство?* — недоумевает Большая Аммачи. *Или беременность повлияла на ее рассудок?*

Однажды утром она заметила, как скованно ковыляет Элси, будто на ходулях. Заставила невестку лечь.

— Ты только посмотри на свои ноги! Они скоро станут как у Дамодарана! Так, хватит бродить.

Лодыжки Элси почти исчезли. Ногти на ногах тусклые, а пятки растрескались, как высохшее русло реки. Желтые мозоли покрывают подушечки стопы.

— Почему ты не носишь обувь? Я должна была заметить, что ты всегда босая.

Но тут внимание Большой Аммачи привлекает живот Элси, он опустился — значит, головка ребенка вошла в таз, она только что заметила эту перемену. И надеется теперь, что ошибается, потому что еще слишком рано.

— Теперь я не выпущу тебя из виду, — строго заявляет Большая Аммачи. — Сиди подле меня. Рисуй карандашом, красками, нечего собирать всякую *кара-бура*, — приказала она, придумав новое слово.

Они с Элси перебрались в старую спальню, Элси — на кровать, а Большая Аммачи спит на циновке на полу. В первую ночь она слышит, как Элси все вертится и ворочается, беспокойство — верный признак приближающихся родов. Ожидание окончено, даже если раньше, чем они рассчитывали. Перед рассветом Большая Аммачи, открыв глаза, видит, как Элси смотрит на нее. На один жутковатый миг ей чудится, что другой человек вселился в тело Элси и желает сообщить Большой Аммачи нечто, чего ей не хотелось бы слышать.

— Муули, что такое?

Элси трясет головой. И признается, что у нее начались нерегулярные схватки. Когда встает солнце, Элси просит:

— Аммачи, пожалуйста, сходи со мной к моему гнезду.

Они вместе выходят из дома, Элси опирается на плечи пожилой женщины. Пробираются внутрь гнезда через вход, незаметный с первого взгляда. Верх гнезда достает до груди Большой Аммачи.

— Надеюсь, я смогу сделать больше таких крупных конструкций. Уличных. То есть если выживу в родах.

— Что еще за глупости «если выживу»? — возмущается Большая Аммачи.

Элси пристально смотрит на свекровь и, кажется, готова сбросить груз с души, открыться ей. Но потом молча отворачивается. И вздыхает.

— Что с тобой, муули?

— Ничего. Аммачи, если со мной что-нибудь случится, позаботься о ребенке. Обещаешь?

— Чаа! Не говори так. Ничего не случится. И вообще, зачем просить? Конечно же, позабочусь.

— Если родится дочь, я хочу, чтобы ей дали твое имя.

Вместо ответа она обнимает Элси, та прижимается теснее. Когда они размыкают объятия, Большая Аммачи потрясена горестным выражением на лице Элси. Она утешает невестку словами, прикосновениями. Аммачи помнит остроту собственных чувств, свои страхи накануне родов, а у Элси вот-вот начнутся схватки. Эта хрупкость — признак начала.

Большая Аммачи спешит к Филипосу:

— А теперь послушай меня. Элси была непреклонна, настаивая, что будет рожать дома. Но мне не нравится то, что я вижу. Не могу объяснить. Она может родить в любой момент. Приготовь машину...

Он в волнении вскакивает с кровати:

— Сейчас? Но мой календарь...

— Что я тебе говорила про календари? Можно поехать в больницу при миссии в Чалакаде. Я надеялась, что у нас больше времени. Господи, если бы только больница была поближе.

Но ровно в этот момент Анна-чедети зовет ее, и тревогу в голосе невозможно скрыть.

— Все, уже неважно, — бросает Большая Аммачи.

У Элси, должно быть, отошли воды.

Анна-чедети завесила белыми простынями нижние половины окон в старой спальне. Филипос недоуменно таращится на это зрелище со двора. Он жестом подзывает проходящего мимо Самуэля:

— Гляди, как наш Нинан спешит на землю, совсем как в прошлый раз. Нужно резать козу. И приготовить тодди...

Мать, сидящая в спальне рядом с Элси, слышит эти слова и уже готова выскочить и наорать на него, как вдруг доносится голос Самуэля, который совсем не похож на привычного старого Самуэля:

— Чаа! Прекрати! Замолчи. Не надо со мной разговаривать. Если хочешь помочь, ступай в церковь и молись. Дай клятву не ходить в лавку Кришнанкутти. Вот что ты можешь сделать.

Во дворе повисает молчание.

Стоны Элси становятся ритмичными. Большая Аммачи готовится, собирает волосы в тугий пучок, поглядывая в зеркало. Локоны ее поредели, и седины в них больше, чем черного цвета. Только вчера она была юной женой, извивающейся от боли в этой самой комнате, рожаящей своего первого ребенка. Но ведь это было не вчера. Это было в год от Рождества Господа 1906-й. Как будто она только отвернулась от того самого зеркала... а уже 1951-й, и ей седьмой десяток! Мочки ушей ее растянулись. Но внешность, которую она так ценила в молодости, сейчас ничего для нее не значит. Большая Аммачи выпрямляет спину — если не следить за собой, плечи скоро прирастут к ушам. Она и так согнулась, как кривая пальма, долгие годы таская на

себе сначала ДжоДжо, потом Малютку Мол, потом Филипоса, потом Нинана, все время на левом боку, чтобы правая рука была свободна — помешивать в горшке или подбрасывать растопку. Вздохнув, она крестится:

— Господь, скала моя, крепость моя и Избавитель мой... не оставь нас сейчас.

— Аммачи... — кричит Элси. Должно быть, схватки начались.

— Я здесь, здесь, муули, не бойся, — машинально отвечает она, зажав зубами последнюю шпильку. — Уже иду.

Анна разглаживает руками и без того гладкие простыни. Схватки похожи на далекое облако, видимое над верхушками деревьев, потом оно отбрасывает тень на лицо Элси, когда боль сжимает ее тело, выкручивая его, как мокрое белье. Элси с такой силой стискивает руку Большой Аммачи, что костяшки пальцев едва не рассыпаются в порошок.

— Тише, тише. Просто дыши. Ты ведь уже проходила через это раньше, — успокаивает она. Но дело-то в том, что вовсе нет. Малыш Нинан тогда выскользнул из Элси, как котенок сквозь оконную решетку.

Схватка прекратилась, и Элси жадно хватает ртом воздух. Большая Аммачи с изумлением обнаруживает, что в глазах Элси вовсе нет страха, что было бы вполне нормально, а лишь та же бездонная печаль.

— Аммачи, отведи меня к гнезду.

— Но мы же ходили туда час назад, забыла? Давай походим по комнате, если хочешь.

Она ласково гладит Элси, переживая, и вновь проживает благословенное и чудовищное испытание собственных родов. Она помнит, как весь мир сжался до размеров этой комнаты. Кто, кроме женщины, может это понять? Когда только подумаешь, что страшнее такой боли быть не может, тут же подступает еще более жуткая. Нить, связывавшая ее с миром, в тот момент оборвалась, она осталась совершенно и абсолютно одна, сражаясь с Богом, сражаясь с чудным творением, которому Он позволил вырасти внутри нее и которое теперь разрывало ее — тоже Его творение — надвое. Мужчинам нравится думать, что женщина забывает о боли, как только видит благословенное дитя. Нет. Женщина прощает ребенка и может даже простить его отца. Но никогда не забывает.

На следующей схватке Элси уже тужится.

— Держи за руку Анну.

Большая Аммачи перемещается в изножье кровати, раздвигает ноги Элси, поднимает повыше ее колени.

И не понимает, что она видит. Вместо темной блестящей детской головки, обрамленной овалом плоти, она видит светлую кожу. И ямку в ней. Это детская попка! А ямка — анус. Услышав громкий стук, она отвлекается, недоумевая, кто это грохочет в дверь, пока не соображает, что так колотится ее собственное сердце. Ребенок перевернулся. Это беда. Потуга прекращается, попка скрывается в глубине тела, не ухваченная вовремя. Может, родовой канал еще не полностью раскрыт, так что если у них будет время...

Ноги Элси внезапно резко выпрямляются, будто кто-то невидимый вытянул их силой.

— Элси, нет! Согни колени!

Но Элси не слышит, ноги ее напряженно застыли, пальцы вытянуты к двери, руки сложились на груди в странную фигуру. Звериный рык вместе с пенистой кровавой слюной вырывается сквозь стиснутые зубы.

— Она прикусила язык! — ахает Анна-чедети.

Глаза Элси закатились, так что видны только белки. А потом она бьется в конвульсиях, руки-ноги мечутся, кровать трясется. Большая Аммачи прижимает голову Элси к своей груди, словно отстраняя злого духа, который овладевает невесткой, не позволяя ему хлестать бедняжкой во все стороны. Спустя вечность незванный гость отступает. Но забирает с собой Элси: она обмякла, дыхание хриплое, глаза полуоткрыты и скошены влево. Она без сознания.

Большая Аммачи снова сгибает ноги Элси, чтобы пятки прижались к ягодицам. К ее ужасу, вид промежности не изменился. Она моет руки в горячей воде, обдумывая, что нужно делать дальше. Снимает обручальное кольцо, смазывает кокосовым маслом правую руку до самого запястья.

— Анна, залезай-ка на кровать коленками. Положи руку вот сюда на живот и нажимай, когда я скажу. Господь, скала моя, крепость моя... ну, Ты это уже раньше слышал, — продолжает она тем же строгим голосом, каким обращалась к Анне-чедети.

Если бы не судороги, они могли бы подождать, пока природа возьмет свое, попка ребенка растянет родовой канал, Элси потужится...

но, похоже, путь уже не станет шире, а Элси без сознания и не может тужиться.

Большая Аммачи складывает в щепоть узловатые пальцы, потихоньку вводит их в родовой канал. Кончики пальцев нащупывают ягодицы ребенка, расходятся в стороны, пробираются повыше, здесь так тесно, что суставы ее повизгивают от боли. Она прикрывает глаза, как будто так лучше видно в темноте матки. Поводит пальцами вокруг и натывается на мягкие пенёчки. Пальчики! А это пятка? Да! Кончиком пальца она подталкивает стопу, стараясь, чтобы нога не разогнулась. И только она подумала, как бы не сломать, ножка выпала наружу. Большая Аммачи нащупывает вторую стопу и высвобождает таким же образом, и вот теперь без всякой суеты выскальзывают и ягодицы вместе с петлей пуповины. Анна-чедети смотрит, изумленно разинув рот.

Ножки свисают из родового канала, влажные и скользкие, одно колено согнуто, а другое выпрямлено, как будто ребенок замер на половине шага, пытаясь забраться обратно внутрь. Малыш обращен к ним спиной, позвонки его точно нитка крошечных бусин под тонкой кожей. Большая Аммачи поворачивает обвисшее тельце младенца и тянет. Туловище не сдвигается с места, лишь медленно вращается, как водяное колесо. Она пробирается внутрь еще раз и разгибает согнутые локти, и в качестве награды выходят сразу оба плечика. Теперь только голова остается зажатой шейкой матки. Большая Аммачи бросает взгляд на Элси, которая по-прежнему неподвижна. Пена на губах пузырится от частого поверхностного дыхания.

Она тянет, но голова как в камень вросла. Аммачи прикидывает, не окликнуть ли младенца, вдруг он отзовется: «Да, Аммачи?» — и выскочит к ней, как множество малышей до этого. Пот, капающий со лба, заливает глаза. Анна-чедети вытирает ей лицо и обмахивает бамбуковым веером. Пуповина белой змеей свисает между ножек ребенка, пульсируя и вздрагивая при каждом ударе сердца Элси, узлы вен под студенистой поверхностью вздуты и напряжены. Вид ребенка напоминает ей о скульптуре, которую ваяла Элси. Пока Филипос не изуродовал ее.

— Анна, надави, когда скажу, — раздраженно приказывает Аммачи, как будто ее злят собственные рассеянные мысли. С началом

следующей схватки у Элси она присаживается на корточки, колени ее хрустят.

Анна-чедети нажимает на круглый живот, а Большая Аммачи тянет ребенка на себя, вниз. Но жуткий угол между шеей и телом пугает ее.

— Стой! Тяни вверх, а не вниз, — отчетливо произносит чей-то голос.

Анна? Но та молчала. Кто же это тогда? Неужели обитатель погреба, расположенного прямо под ними, дает совет? Большая Аммачи просовывает палец внутрь и находит рот младенца, потом на следующей потуге, удерживая головку согнутой, она встает на ноги и тянет туловище ребенка вверх и в сторону живота Элси, потому что нечто или некто подсказывает ей поступить именно так.

— Толкай, Анна!

Головка, булькнув, высвобождается, свидетельствуя звуком, что мать и ребенок подчиняются закону природы, согласно которому ни одна душа не может задерживаться между мирами.

Анна-чедети привычными движениями ловко перевязывает и обрезает пуповину, а новорожденный, синий и безжизненный, лежит на руках Большой Аммачи. Она нежно дует в маленькие ноздри.

— Давай, сокровище мое! Ты вынырнул из воды, ты в Парамбиле!

Ничего. Она ясно помнит, как Одат-коччамма, присев на кривых ногах и откинув назад руки для равновесия, произнесла прямо в крошечное ушко Нинана: *«Марон Йезу Мишиха». Иисус наш Господь.* Аммачи поднимает глаза к потолку и взывает, убежденная, что старая спутница ее дней смотрит сейчас на них сверху: *Скажи, тетушка! Неужели ты хочешь, чтобы я все делала сама?*

...И тут ребенок втягивает воздух в легкие и пронзительно кричит — о, этот торжествующий звук, универсальный язык, первое заявление новой жизни. Одежда Большой Аммачи насквозь мокрая от пота, кости ноют, глаза щиплет, но радость ее безгранична.

Из-за двери слышится радостный шум: дожидавшиеся услышали детский плач.

Большая Аммачи опускается на корточки вместе с ребенком. Она чувствует себя так, будто сама родилась заново. Какое чудесное дитя! Она ликует, слыша этот особенный, резкий, звонкий крик новорожденного — звук, который возвещает конец одиночества,

возвращение матери в мир, избавление от смертельной опасности. То, что было внутри, отныне явилось наружу, по-прежнему хрупкое, как и в соединении с матерью, но впервые отдельно от нее.

— Ты у нас крупненькое дитя, а? Слава Богу. Я уж беспокоилась, что будешь совсем котеночком.

Она привыкла, что новорожденные щурятся от непривычно яркого света, почти не раскрывают глазки, только чуть подглядывают расфокусированным взглядом. Но это дитя смотрит прямо на бабушку с очень серьезным выражением.

Элси дышит ровно, теперь ее глаза косят вправо. По-прежнему без сознания, но жива. Выходит послед, сырой и тяжелый, его дело сделано. Анна-чедети меняет испачканные простыни под Элси на толстое белое полотенце. Заворачивает послед в газету.

Анна подсаживается к Большой Аммачи, обе улыбаются новой жизни, отвернувшись пока от Элси. Вдруг из-под ног раздается грохот. Будто из подвала. Они вскидываются, смотрят вниз, а потом оборачиваются. И обе одновременно видят: вишнево-красный поток крови хлещет из родового канала, кровь пропитывает белое полотенце и капает на пол. Большая Аммачи стремительно пеленает младенца и кладет его на циновку. Анна-чедети вновь раздвигает ноги Элси, а Большая Аммачи вытирает сгусток крови у отверстия, только чтобы увидеть, как другой мерзкий сгусток — лицо Сатаны — выносит наружу мощной красной рекой, впадающей в кровавое озеро под ягодицами Элси.

Большая Аммачи никогда не видела ничего подобного, но слышала о таком. Как много у нас, женщин, возможностей умереть, Господь. Если не замершие роды, убивающие мать и ребенка, тогда вот это. Это несправедливо! Она массирует живот, потому что слышала, что массаж может вернуть тонус матки, она сократится, и кровотечение остановится. Но фонтан крови, наоборот, бьет еще сильнее. Большая Аммачи отшатывается, признавая поражение, и с ужасом наблюдает, как жизнь вытекает из Элси.

Снаружи доносится голос Филипоса:

— Что происходит? С моим сыном все в порядке?

Они его не слышат. Беспомощно глядят на бурное кровотечение.

— Аммачи, позвольте мне попробовать кое-что, — неожиданно говорит Анна-чедети.

Она смазывает маслом свою широкую ладонь и вводит пальцы в родовую канал. Когда рука уже внутри, в матке, она сжимает пальцы в кулак и прижимает его к стенке матки. Вторая рука, лежащая на животе, давит вниз, так что стискивает дряблую матку между кулаком внутри и ладонью снаружи. Кровь льется по руке Анны, но постепенно поток замедляется... и останавливается.

С лицом, красным от напряжения, Анна, пыхтя, отрывисто объясняет с довольной улыбкой:

— Белая монахиня... выше по реке, за Ранни... она была медсестрой... Спасла пулайи, из которой кровь рекой текла... зажав вот так матку.

— Ты сама это видела?

— Нет... — Она смотрит прямо в глаза Большой Аммачи. — Но слышала... и меня вдруг осенило.

Руки у Анны-чедети подрагивают, вены на висках вот-вот взорвутся. Теперь уже Большая Аммачи у нее в помощницах, утирает ей пот. Какое счастье, что Элси ничего не чувствует. Но лицо у нее как отбеленное мунду. Большая Аммачи оглядывается на спеленутого младенца — ребенок смотрит, как его мать борется за жизнь.

— Аммачи, — говорит Анна, — что это за звук мы слышали... снизу?

— Наверное, горшок с соленьями опрокинулся, — отвечает Большая Аммачи. — Эти старые полки такие кривые.

Но она знает, кто это был, и она благодарна. Пока они ворковали над маленьким, Элси успела бы умереть.

— Анна, может, попробуешь отпустить? — Она боится, что Анна-чедети упадет в обморок от напряжения.

Сперва Анна будто бы не расслышала. Минуты идут. Потом она медленно отпускает ладонь, прижимающую живот, но кулак держит внутри. Женщины затаили дыхание. Новых струек не видать. Еще через минуту, так же бережно, Анна-чедети извлекает руку, от кончиков пальцев до локтя темно-красную. Губы женщин беззвучно шевелятся, они молятся, не спуская глаз с промежности Элси. Пять минут. Десять. Еще десять. Мало-помалу Большая Аммачи вновь начинает дышать.

Окликает Элси по имени. Та спит неестественно глубоким сном. Но она жива. Господи, выживет ли бедная девочка, потеряв столько крови? Две женщины ждут. Ждут еще немного, теперь уже с ребенком

на руках у бабушки. В конце концов Большая Аммачи кладет руку на голову Анны, благословляя, и произносит, подняв глаза к небесам:

— Благодарю Тебя, Господи. Ты видел грядущее. И послал мне этого ангела.

Появившуюся из спальни Большую Аммачи не узнать — выжата как лимон, раскрасневшаяся и бледная одновременно, как будто это она, а не Элси только что пережила родовые муки. Ладони у нее чистые, но локти почему-то в крови, чатта спереди и мунду пропитаны кровью, и кровь размазана по щеке. Но она задумчиво улыбается, держа на руках новорожденного. Подняв глаза, с удивлением видит внизу, у веранды, небольшую толпу. Малютка Мол, Самуэль, Долли-коччамма, Мастер Прогресса, Шошамма и отец ребенка, Филипос.

— Мы чуть не потеряли нашу Элси. Благодарение Господу, что провел нас через это испытание. Очень тяжелые роды, — хриплым голосом обращается она к собравшимся у порога. — Ребенок шел ягодицами вперед. Потом у Элси случились судороги. Мы чудом сумели достать ребенка. Но затем у Элси внезапно началось кровотечение, такое страшное кровотечение... Мы едва ее не потеряли. И все еще можем потерять. Она очень слаба. Прошу вас, молитесь, чтобы она не истекла кровью. Но с ребенком все хорошо. Слава Богу, слава Богу, слава Богу...

Она делает маленький шаг навстречу сыну, улыбается. Пока мать говорила, вид у него был оторопелый, но теперь, когда она подходит к нему, лицо проясняется, он протягивает руки.

— У твоей дочери уже есть имя, — говорит Большая Аммачи.

Он растерянно моргает, опускает руки.

— Вот твоя дочь, — повторяет Аммачи.

Филипос отступает, пошатываясь. Самуэль торопливо подставляет ему стул. Но Филипос может лишь ошеломленно таращиться на мать, раскрыв рот.

— Бог опять подвел нас, — мямлит он.

Большая Аммачи не спешит. Она подходит вплотную, нависает над сыном. Когда она начинает говорить, слова брызжут с языка, падая на него как раскаленное масло в воду:

— После всех мук, что вынесла Элси... После того, через что прошли мы с Анной-чедети, это все, что ты можешь сказать? «Бог нас

подвел»? — Голос крепнет. — Женщина рискует жизнью, рожая ребенка, а в итоге мужчина, который *ничего* не сделал — меньше чем ничего — за все девять месяцев, говорит «Бог нас подвел»? (Будь на то воля Большой Аммачи, любой мужчина, который посмеет брякнуть то, что выдал ее сын, по закону должен быть побит палками.) Да, Бог подвел нас. Когда Он раздавал здравый смысл, то пропустил тебя. Если бы Он создал тебя женщиной, может, из твоего рта не выходил этот навоз вместо слов! Позор тебе!

Весь Парамбиль замирает, когда ее слова гремят над головой Филипоса. Сын растерянно смотрит на мать снизу вверх, разочарование на его лице сменяется болью. Но он не смеет возражать.

Большая Аммачи гневно взирает на сына. Когда-то и он был младенцем, как дитя, которое она сейчас держит на руках. Наверное, и она несет ответственность за то, в кого он превратился?

— Послушай, час назад я могла выйти сюда и сообщить тебе, что у Элси судороги и она умерла. Сорок минут назад я могла сказать тебе, что твой ребенок застрял вверх головой и мать и дитя погибли. А десять минут назад я могла бы выйти с вестью, что Элси истекла кровью до смерти. Ты это понимаешь? Но я не сказала ничего из этого. Я сказала, что твоя жена жива, хотя и едва. А то, что ты видишь, это благодать Божья, явившаяся в этом идеальном, идеальном ребенке!

Филипос молчит. Он не смотрит на ребенка, и лицо у него такое страдальческое, как будто Малыш Нинан умер еще раз, как будто окровавленное тело с обнаженными внутренностями все еще лежит у него на руках.

— Мариамма, — торжественно объявляет Большая Аммачи. Элси хотела, чтобы девочке дали это имя. И ее не интересует мнение сына. — Ребенка зовут Мариамма.

Да, таково христианское имя самой Большой Аммачи. *Мариамма*. Имя, которым на памяти присутствующих никто никогда не называл ее, имя, которое не произносили с тех пор, как она пришла сюда двенадцатилетней женой.

Мариамма.

глава 55

Дитя — это девочка

1951, Парамбиль

Элси в сознании, но плохо понимает, что происходит, и очень слаба от потери крови. Только через три дня она смогла сесть, не падая в обморок. Выздоровление идет мучительно медленно. В таком состоянии она не может кормить грудью. Сияя широченной улыбкой, Анна-чедети нянчит ребенка, ее привычные движения подсказывают Большой Аммачи, что, похоже, Ханна по ночам еще сосет грудь. Узнай об этом Большая Аммачи раньше, она бы выбрала обеих. Но теперь возносит благодарственные молитвы.

Только на пятый день Большая Аммачи приносит Мариамму матери. И поражается, видя на лице Элси то же самое затравленное несчастное выражение, озадачившее ее еще перед родами. Элси с огромной нежностью смотрит на дочь, но чувство это затмевается, тонет в невыразимой печали. Руки ее как увядшие листья, и она не делает попыток дотянуться до ребенка. Спустя вечность Элси прикрывает глаза, как будто не в силах больше выносить вида девочки, и слезы ползут из-под опущенных век. Она отворачивается и безутешно рыдает, вздрагивая всем телом.

Отец ребенка заперся в своей комнате, изгнанник в собственном доме, способный лишь наблюдать в окно за входящими и выходящими из старой спальни. Сам он не покидает комнаты или делает это, когда все засыпают.

Парамбиль и жизнь вокруг него вновь преобразуются с появлением новорожденной. На веревке развеваются пеленки и тряпки подгузников, Малютка Мол несет караул, шикая на каждого проходящего. Большая Аммачи души не чает во внучке, своей тезке. Ребенок должен бы принести радость своим родителям. Но этот поступил ровно наоборот.

Большая Аммачи все силы сосредоточила на Элси — кормит ее бульоном, затем мясом и рыбой, чтобы кровь быстрее восстановилась,

пичкает укрепляющими настоями вайдьяна. Через неделю Элси уже может ходить. Сначала Большая Аммачи поддерживает ее, и они вдвоем гуляют по комнате. К третьей неделе цвет возвращается на щеки Элси, она все дальше может пройти самостоятельно, может даже искупаться в ручье. Однако она лишь смотрит на ребенка, не пытается взять девочку на руки, только любуется ею на руках у Анны-чедети. Большая Аммачи не может этого понять, как не может избавиться от предчувствия, что после всего, через что они прошли, должно случиться что-то еще.

Через три недели после родов, ранним вечером, в сумерках, Элси выходит из дома искупаться в ручье. Перед уходом она просит Большую Аммачи, если можно, приготовить ей сардины, тушенные в банановых листьях, такие же, как накануне, без специй, лишь чуточку соли.

И проходит почти два часа, прежде чем они понимают, что Элси так и не вернулась.

глава 56

Пропавшая

1951, Парамбиль

Они обыскали весь дом и окрестности. Самуэль бежит вдоль ручья и канала, он поднимает на ноги кузнеца, ювелира и гончара, спрашивая, не видели ли они Элси. Джоппан кружит по темным дорогам, заглядывая во все дома в округе. Остальные двигаются вдоль берега реки. К полуночи вся большая семья собирается на веранде, высокие пронзительные голоса женщин перемежаются глухим бормотанием мужчин. Цезарь носится по двору, время от времени взлаивая. Джоппан потихоньку обследовал каждый колодец в окрестностях, наклоняясь над устьем с горящим факелом из пальмовых веток.

На следующий день с первыми лучами солнца Джорджи поехал на автобусе в Тетанатт-хаус. Не застав там ни Элси, ни ее брата, он нанял машину и отправился в горы, в поместье. Мастер Прогресса разбил на сектора территорию Парамбиля, чтобы можно было последовательно обследовать местность в радиусе мили от дома. Самуэль подверг допросу всех лодочников и уверился, что никто из них не перевозил Элси накануне вечером. Джоппан, отважно тыча перед собой длинной палкой, пробрался сквозь высокую траву до границы владений, где большие валуны, поставленные людьми, указывают на древний храм Змеиного божества и где нет ни одной тропинки. Джоппан обнаружил в храме множество извивающихся ядовитых тварей, но Элси там не было.

Только Малютку Мол ничуть не беспокоит отсутствие Элси. Когда Большая Аммачи спрашивает, не знает ли она, куда делась Элси, Малютка Мол отвечает:

— Мои куколки проголодались.

Горло Большой Аммачи сжимается.

После полудня вернулся Джорджи: в родительском доме Элси нет, а ее брат прибыл из поместья всего час назад. И он уверен, что в бунгало Элси не появлялась. Джорджи сказал, что брат Элси был с ним

не слишком любезен, разговаривал как со слугой, а не старейшиной Парамбия. Более того, братец заявился пьяный и нелестно высказывался о Филипосе.

Поиски Элси прекращаются. Только Самуэль упорствует, еще и еще раз прочесывая участки, которые уже обследовали. Через сутки после исчезновения Элси Большая Аммачи, Филипос и Мастер Прогресса сидят на веранде и видят, как по дорожке идет к дому Самуэль. Он шествует печально и торжественно, и то, что старик несет в руках, кажется подношением.

— От лодочной пристани я пошел по берегу реки. И добрался туда, где стоит такая толстая кривая сосна. Заметил, что в одном месте она как бы отодвигается в сторону. Я протиснулся за ствол и оказался на маленькой поляне. Как раз одному человеку уместиться. — Голос его дрогнул. — И вот там я это нашел. — Он протягивает к ним руки. Кусочек мыла поверх аккуратно сложенного тхорта, а под ним — шлепанцы Элси.

Мастер Прогресса информирует полицию в участке. Теперь они могут надеяться только, что ниже по течению найдут тело.

Оставив Анну-чедети баюкать малышку, Большая Аммачи в одиночку идет к тому месту, где Самуэль нашел одежду Элси. Она стоит босиком, ощущая пальцами ту же почву, что, должно быть, ощущала Элси. Смотрит неотрывно на покрытую рябью бурую поверхность реки, каждое настроение которой ей знакомо, ведь всю жизнь она отдает себя в ее объятия. Привязанные каноэ поднялись до самого настила пристани — значит, в горах прошел дождь, но ветка дерева неторопливо плывет мимо. Большая Аммачи вздрагивает, представляя, как Элси, еще совсем слабая, раздевается здесь и спускается в воду. Что такое нашло на девочку? Она жаждала причаститься водами реки, очиститься и обновиться? Элси отлично плавала, но то было раньше, до того, как чуть не умерла от потери крови. Река беспощадна к тем, кто недооценивает ее силу, и она всегда разная, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. В груди все сжимается. Очень и очень не скоро Большая Аммачи находит в себе силы оторваться от этого места, но прежде опускается на колени, целуя землю, на которой в последний раз стояли ноги Элси.

Ее собственные ноги несут ее к Гнезду Элси. Она словно приближается к святыне, святилищу, отгороженному от мира. Снаружи Гнездо уже заросло толстым слоем мха, и кажется, что предметы, вплетенные в стенки, заточены там десятилетиями.

Войдя внутрь, Большая Аммачи замечает на земле белый прямоугольный листок бумаги, прижатый отполированным овальным камешком, речной галькой, точно такой, какая служила пресс-папье на рабочем столе. Сердце бьется чаще. Тот, кто заглядывал сюда раньше, искал человека, а не бумажный листок, и потому его не заметили. Она наклоняется, поднимает находку. Плотная шероховатая бумага, на которой всегда рисовала Элси. Давно, еще когда Нинан был жив, эти листки расплодились по всему дому, рассыпаясь от скамеечки Малютки Мол до самой кухни. С возвращением Элси ее сильные руки отказались от карандаша и кисти, на смену которым пришла тяжесть молотка и киянки, а потом она принялась вить Гнездо. Края бумаги чуть загнулись от росы — она пролежала тут всю ночь, но не дольше, потому что все еще белоснежная. Пальцы дрожат, когда Большая Аммачи разворачивает листок. Простой рисунок, несколькими штрихами передающий знакомый образ: мать и дитя. Лица и фигуры не прорисованы четко, но полукруг тут, черточка там безошибочно изображают брови, нос, губы...

— Это важно, да, муули? — Листок дрожит в ее руках.

Она внимательно разглядывает. Это младенец, безусловно. Но мать совсем не молода, судя по чуть согнутой спине, вытянутой вперед шее.

— Муули, муули! — восклицает она, и сердце сжимается. — Айо, муули, что ты хотела сказать? Это ведь я, правда? Ты на портрете была бы выше, моложе, и этой морщины на лбу не было бы. Ты просишь меня позаботиться о твоём ребенке? Но ты уже попросила. И ты знаешь, что я ее не оставлю. Но мне шестьдесят три года! Отцы, может, и необязательны, но ребенку нужна мать. Ох, Элси, что же ты натворила? Это твоё прощание со мной?

Силы оставляют Аммачи, и ей приходится сесть на землю.

Тело со всей определенностью говорит ей, что Элси никогда не вернется, что Элси намеренно пожертвовала себя реке. Мысль о том, как Элси оставляет здесь послание, за миг до того, как отправиться к потоку, который унесет ее жизнь, — мучительна. Большая Аммачи прижимает листок к груди и отдается скорби.

Издали доносится голос Анны-чедети, зовущий ее из кухни:
— Большая Аммачи-о?

Певучее, звучащее чуть выше в конце «о» подсказывает, что чего бы там ни хотела Анна, это не срочно. Но одновременно мелодичный призыв звучит как завершение. Как напоминание, что Парамбиль должен жить дальше. У его хозяйки, матери, бабушки есть обязанности, которые нельзя отменить и которые останутся с ней до самого смертного часа.

Большая Аммачи никому не рассказала о своей находке. И ревниво оберегает ее — это личное послание ей от ее дочери. Она хранит рисунок вместе с родословной, в том же шкафу, где держит снежно-белое кавани, расшитое настоящим золотом, которое она надевает на свадьбы и похороны.

В последующие годы, в дни рождения Мариаммы и по другим случаям, когда Элси является в ее воспоминания, Большая Аммачи будет вынимать рисунок, но всегда по ночам, в мягком свете прикроватной лампы. И всякий раз, глядя на портрет, она заново поражается сдержанности линий. Это могла быть Дева Мария с младенцем. Да много кто. Но Аммачи точно знает, что это она сама, баюкающая свою тезку. И никогда она не видела в этом рисунке Элси.

Прямоугольный листок бумаги вобрал в себя весь круглый мир и даже воображаемые уголки его, воспоминания об исчезнувших, и умерших, и живые, бьющиеся сердца верных, которые каждый вечер возносят молитвы о том, чтобы свершилась воля Божья, не ведая, какова она будет.

Часть седьмая



глава 57

Непокоренный

1959, «Усадьба Управляющего» в деревне М.

Оставалась неделя до девятого дня рождения Ленина Во-веки-веков, когда на однокомнатную лачугу, служившую им домом, обрушился мор. Беда явилась с внезапностью ящерицы, падающей со стропил. Когда мама, Лиззи, сказала утром, что школу закрыли, он так обрадовался, что даже не стал спрашивать почему. А на следующее утро проснулся не под привычные звуки кухонной суеты, а в абсолютной тишине. Родители лежали на циновках, маленькая сестренка между ними. Лица у всех блестели от пота. Ленин припоминает, что накануне все себя неважно чувствовали.

Кожа у мамы так и пылает. Когда Ленин прикасается к сестренке, Шайле, которой всего пять месяцев от роду, она кричит так, будто ее иголкой ткнули. От крика приподнимается отец и, скривившись, хватается за голову. Кора силится встать на ноги, но падает обратно. Уж не с похмелья ли папаша, недоумевает Ленин. Но накануне Кора вернулся совершенно трезвым и не принес никакой еды. Пустые животы пришлось наполнять отваром канджи, где оставалась лишь память о рисе, и ложиться спать голодными.

— Я должен покормить корову. — Голос у Кору еще более хриплый, чем обычно, как будто камень о камень скребет.

Подняться он не в силах. Трясет за плечо жену, та в ответ только стонет. Отец и сын растерянно смотрят друг на друга. Лиззи — опора семьи, ее становой хребет.

— Тебя тоже лихорадит, мууни?

Ленин в ответ трясет головой.

— Тогда принеси нам воды. И задай сена корове. Пожалуйста. — И, словно опомнившись, отец успокаивает: — Все будет хорошо.

И пытается изобразить свою победную улыбку, с помощью которой «Управляющий» Кора обычно убеждает старосту, что земля потечет молоком и медом, если жители деревни подпишут с ним

контракт, и нет, нет, нет там в поместье никакой малярии — кто сказал? — только величественные дворцы, молоко и мед — а, это я уже говорил? Но сегодня утром уверенной улыбки у него не выходит.

— Я такое уже видел, — хрипит отец, трогая волдыри. — Если люди узнают, что с нами случилось, никто не придет на помощь. Даже близко не подойдут. — Он кладет ладонь на щеку жены, где тоже проступили волдыри. — Твоя святая мама. Через что я заставил ее пройти. — Ленин очень удивлен, такое признание совсем не похоже на отца. Потом Кора все же добавляет: — Все будет хорошо.

Пока отец не повторил эти слова во второй раз, Ленин не очень сильно боялся. Но теперь стало ясно, что все *совсем не* хорошо. Отец что-то натворил, и скоро случится беда. В прошлые времена, еще до рождения Ленина, у них был дом в Парамбиле, в том месте, которого Ленин никогда не видел, но которое по рассказам матери представлял Эдемом, где их окружала любящая семья. Из подслушанных разговоров родителей он узнал, что им пришлось бежать из Парамбиля, потому что у Кору случились какие-то проблемы. И после этого мама взяла дело в свои руки. Она помогла мужу найти работу писаря при поместье в Ваянаде, в Малабаре. У Ленина остались смутные воспоминания о тех временах. Но потом, когда ему было года четыре или пять, отец опять влип в неприятности. Лиззи продала свои последние украшения и купила хижину на крошечном клочке земли, чтобы в случае чего не остаться бездомной. Она запретила Коре брать деньги в долг и вообще заниматься коммерцией, настояв, что он должен работать за жалованье. С тех пор они и живут в этой лачуге, которую отец называет «Усадьба Управляющего».

Ленин покормил корову, подал родным воды. Попытался напоить маму, но она не смогла поднять голову. Мама живет по принципу «Говори правду и говори ее сразу», никаких «Все будет хорошо». Муж ее не может ни найти работу, ни удержаться на службе. Только Лиззи с ее мастерством повитухи приносит в дом деньги или мясо с рыбой. Своему искусству она научилась у одной женщины в поместье в Ваянаде. Две недели назад Кора заявился домой поздно вечером с коровой, сказал, что выиграл ее. Ленин никогда не видел маму в такой ярости. Она приказала отцу отвести корову обратно. Отец, кажется, испугался — его же поколотят, если он попытается это сделать, уверял

он. Корову вообще нельзя отпускать далеко от хижины. А в итоге выяснилось, что вымя ее совсем пусто.

Почти весь день Ленин боялся заходить в дом, страшно было смотреть на родителей. В сумерках он обшарил всю кухню, но не нашел ничего, кроме специй, попробовал пожевать гвоздику. Голод терзал тело. Он попытался покурить бииди, которыми заполнена отцовская коробочка с лекарством от астмы. Перед тем как уснуть, еще раз хотел всех напоить. И опять не смог поднять мамину голову. Лицо ее было усеяно маленькими пузырьками. Локонь прилипли к потному лбу. Отец тоже лежал без движения, сглатывал и тут же морщился от боли.

Он вцепляется в плечо сына, пристально смотрит ему в глаза. Никогда в жизни Ленин не видел такого ужаса в лице человека.

— Послушай! — шепчет отец. — Не будь таким, как я. Всегда иди прямым путем. — И это его последние внятные слова.

Иди прямым путем. Бывало, Ленин ненавидел своего отца, желал ему всяческого зла. Но не теперь. От ощущения отцовской руки на плече ему ужасно грустно. И он очень напуган. Сейчас он согласился бы сколько угодно мучиться в школе, лишь бы все опять стало хорошо.

Утром, еще не открыв глаза, Ленин мечтает. *Пускай это окажется дурным сном. Пускай я сейчас увижу, как мама суетится на кухне, а папа нянчит малышку.* Но отец холодный как камень. И не дышит. Лицо, с застывшим на нем удивленным выражением, изуродовано волдырями. Сестренка хватается воздух ртом, как рыбка, выброшенная из воды, грудь ее приподнимается все реже и вскоре совсем замирает. Ленин никогда не видел покойников, но понимает, что сейчас смотрит сразу на два мертвых тела. Мама еще дышит. Внутри него что-то надламывается. Он швыряет в стену пустой кувшин из-под воды. Яростно трясет мать.

— Как я буду жить, если обо мне некому позаботиться? — с рыданиями падает он на грудь матери. — Я ведь твой ребенок. Прошу тебя, Амма, не бросай меня.

Глаза ее закатились и больше ничего не видят. Мама далеко, туда не докричаться.

На улице жара, но мальчика трясет от голода и страха. «Иди прямым путем» — последнее, что сказал отец. Так он и поступит. Он

пойдет прямо вперед, пока не отыщет еды или не рухнет замертво от голода. И ничто его не остановит. А если добредет до воды... ну, тогда утонет.

Прямой путь ведет через забор, мимо грозного быка, через поле, за которым вскоре показывается большой белый дом. Здесь живет христианская семья, владельцы почти всех земель в округе. С Корой и Лиззи они не хотели иметь ничего общего. И дом их совсем не похож на дом Ленина. Все двери и окна заперты. Мужской голос изнутри кричит:

— НЕ СМЕЙ ПОДХОДИТЬ БЛИЖЕ! УБИРАЙСЯ ОТСЮДА, ПОКА Я НЕ СПУСТИЛ СОБАКУ!

Ленин оторопело замирает на месте. У этих людей есть кокосовые пальмы, каппа, куры и много коров. Разве они не могут поделиться? Неужели у них совсем нет жалости? Слезы струятся по его лицу. Но он не отступит. *Иди прямым путем.* И Ленин упрямо ковыляет вперед. *Спускай собаку. Если она не съест меня, может, я смогу съесть ее. Либо убей меня, либо дай еды.*

Из камышей справа высовывается лицо, удивленно глядит на мальчика. Это худенькая пулайи, возраста его мамы, грудь ее прикрыта тхортом. Она что, собирается побить его?

— Мууни, иди сюда, где они тебя не увидят, — зовет пулайи.

Камыш скрывает ее от большого дома. Ленин сворачивает, куда велено.

— Я Акка, вон оттуда, — показывает она на виднеющуюся рядом маленькую хижину. — А ты Ленин, верно? — Она с одного взгляда оценивает состояние мальчика. — Жди там. Я принесу тебе поесть.

Он весь дрожит в нетерпении. Женщина возвращается со свертком из бананового листа и парой бананов, кладет на землю неподалеку от него, отходит и присаживается на корточки футах в двадцати. Жареная рыба! Рис! Ленин проглатывает еду одним махом, потом уминает бананы.

— Мууни, у тебя нет болячек?

От слова «мууни», обращенного к нему, у Ленина слезы наворачиваются на глаза. Сразу хочется броситься к женщине в объятия. Он поднимает руку, показывает, что та чистая.

— А что с остальными?

Он вытирает мокрые щеки.

— Аппа и малышка умерли. Амма меня не видит и не слышит.

В ответ раздается резкий судорожный всхлип.

— Твоя мама... Можно прожить множество жизней и так и не встретить такого достойного человека, как Лиззи-чедети. У нее золотое сердце. И она такая красавица. — Женщина вытирает глаза подолом. — Мууни, это оспа. Очень плохая болезнь. Потому и говорят: «Не пересчитывайте детей, пока оспа не придет и не уйдет». Мы с мужем болели. И больше не можем ею заболеть. Вокруг многие умерли.

— Жаль, что я не заболел, — говорит Ленин. — Тогда я мог бы умереть вместе с мамой, когда она умрет. — Слезы капают на землю.

— Не надо, — шмыгает носом пулайи, — не говори так. Господь сохранил тебя для чего-то. — Она встает. — Я дам знать, чтобы тебе помогли.

— Акка! Пстой.

Женщина оборачивается. Рыба и рис — безмерная щедрость для тех, кто перебивается с канджи на чатни.

— Акка, ты спасла меня. Обещаю, если останусь жив, я найду способ вернуть тебе сторицею все, чем ты меня одарила. Эти люди из большого дома хотели спустить на меня собаку. Разве они не христиане?

В ее смехе звучат неприязненные нотки.

— Христиане, говоришь? Аах. Мой дед стал христианином, и мы вслед за ним. Дед наверняка думал, что теперь хозяин пригласит его в дом и усадит за стол! Никто не сказал ему, что Иисус-пулайар умер на другом кресте. На маленьком темном кресте позади кухни! — И смеется.

Ленин не знает, что на это сказать.

— Ты, наверное, святая.

— Послушай, если тебе от этого станет легче, это они послали меня на рынок за рыбой и бараниной два дня назад. А когда я вернулась, побоялись подпускать меня близко. Что, если я принесла оспу? Или вдруг оспой заражены продукты? И велели мне забрать все себе. Ну, мы наготовили еды и устроили праздник! Тебе повезло, что немножко осталось. — Лицо у нее становится очень серьезным. — Нет, я не святая, мууни. Я пошутила. Крест *один и тот же*. Иисус тоже один. Просто люди не относятся друг к другу как к равным. Ты же знаешь молитвы, надеюсь? Я пришлю тебе помощь.

По пути домой Ленин осознает, что за все это время ни разу не помолился. Ему это не приходило в голову! А какая разница?

Прогорклый запах чувствуется даже через закрытую дверь. Мама шумно дышит. Лицо отца осунулось и стало почти неузнаваемым. Сестренка твердая, как деревянная кукла.

Он тащит маму к двери, на свежий воздух, тянет ее на циновке. Потом ложится рядом. Из рта у нее плохо пахнет. Мамы, которую он знал, больше нет, но он хочет быть как можно ближе к тому, что от нее осталось. Последний раз, Амма, обними меня. Ленин кладет на себя мамину руку. От движения живот ее обнажается, и он видит шрам, там, где отец, помешавшийся от своих астматических сигарет, ударил маму ножом и откуда Ленин высунул кулак. Доктор Дигби засунул кулак обратно и окрестил его Ленин Во-веки-веков.

Лежа рядом с матерью, он пытается молиться. Ему видится лицо Акки. Становится спокойнее. Может, это была Дева Мария. Пулайи-Мария.

— Господи, пошли еще одного ангела, чтобы спас Амму. А если нет, то когда будешь забирать Амму, заberi и меня тоже.

Утром является ангел в белой сутане, подпоясанный веревкой, в черной шапочке священника. Ноги в сандалиях побелели от пыли до самых лодыжек. Он худощавый, с пронизательными добрыми глазами и струящейся седой бородой. Ангел обеспокоенно оглядывает хижину. Запах такой, что его можно потрогать руками. Он опускает взгляд на мать Ленина, и по выражению его лица Ленин понимает, что мама умерла. Когда он засыпал, мамино тело было теплым. А сейчас она ледяная.

— Ленин Во-веки-веков? Так тебя зовут? — Ангел протягивает ему руку.

глава 58

Зажгите лампу

1959, Парамбиль

Большая Аммачи сидит на веранде перед ара и при свете масляной лампы кормит свою восьмилетнюю внучку.

Лампа отбрасывает их тени на тиковую стену позади — два овала, один побольше, другой поменьше. После вечернего дождика галька в муттаме блестит, и кажется, что камешки кое-где шевелятся. Бабушка с внучкой слышат, как Филипос зовет их:

— Время молитвы!

— Чаа! — фыркает Большая Аммачи. — Этот твой папа! Бывало, это я напоминала *ему* о молитве.

— Мой папа говорит, что лягушки появляются из камешков. — Мариамма сидит на краешке стула, болтая ногами, а очередной камень во дворе подпрыгивает, бросая вызов гравитации.

— Аах. Это значит, что его голова все так же полна камешков. А я-то думала, что уже вытряхнула их оттуда.

Девочка смеется, демонстрируя дырку между зубов, и Большая Аммачи сует в открытый рот шарик риса.

— Наверное, он набрался этого из английских книжек, которые он тебе читает, — с притворной ревностью ворчит бабушка. Филипос разговаривает с маленькой Мариаммой только по-английски, а остальные — на малаялам. — Он читает тебе про большую белую рыбу?

Мариамма качает головой, сразу же становясь серьезной.

— Нет. Другую. Про мальчика Оливера, у него нет ни мамы, ни папы. И он все время голодный. Один человек разозлился и продал Оливера другому человеку, который организует похороны.

Лучше бы сын выбирал истории без умерших родителей и проданных детей.

— Муули, наверное, у бедного мальчика такая судьба. Наверное, это начертано на его лбу.

— Как моя «особенность»? — Внучка вытягивает белую прядь, растущую у нее справа от пробора.

— Нет, твоя особенность она сама по себе. Уникальная! Это знак удачи, счастливой судьбы. — Большая Аммачи полагает, что белая прядка придает веса всему, что говорит маленькая Мариамма. — А я хочу сказать, что этому мальчику не повезло родиться в неправильной семье в неблагоприятный день.

— А я в какой день родилась?

— Аах! Разве я тебе не рассказывала про день, когда ты родилась? Мариамма, сдерживая смех, мотает головой.

— Я же вчера рассказывала тебе эту историю. И позавчера, кажется. Ну хорошо, расскажу еще раз, потому что это твоя история, и она гораздо лучше, чем у этого Оли или как там его, Оламадела.

Мариамма хихикает.

— В день, когда ты родилась, я отправила Анну-чедети вытащить из кладовки большую медную лампу. За всю свою жизнь в Парамбиле я ни разу не видела, чтобы *велáкку*^[209] зажигали. Потому что когда я здесь появилась, у твоего дедушки уже родился первый сын. Каждый раз, заходя в кладовку, я ударялась пальцем об эту лампу. Но в тот день, когда ты родилась, я сказала: «Кто это решает, что лампу надо зажигать в честь первого сына? А если у нас появилась первая Мариамма?» Видишь, я знала, что ты особенная!

За их спинами беззвучно появляется Филипос, волосы его гладко зачесаны. Большая Аммачи никак не на радуется, что новый Филипос точен, как бой часов в новостях Би-би-си. Он живет по расписанию: в пять утра пишет, в девять обходит поля с Самуэлем, в десять бреется и совершает омовение, потом в одиннадцать идет на почту... Омовение перед ужином, потом молитва. В глубине души она еще побаивается, что однажды расписание рухнет, как хижина под проливным дождем, и сын вернется к проклятой деревянной коробочке и своим черным пилюлям. Но не одна лишь вера в Бога приводит его на вечернюю молитву и в церковь, такие ритуалы нужны, чтобы восстановить другую веру — веру в себя. Если бы Бога не было, сыну пришлось бы его выдумать.

— Про велакку — это была идея моего папы?

— Чаа! — усмехается Большая Аммачи, как будто отец не стоит тут рядом. Мариамма смеется. — Вообще-то у твоего папы много

разумных идей... Может, и эта была его мысль. Я не помню.

Филипос, не сводя глаз с Мариаммы, улыбается.

Большую Аммачи захватили воспоминания о мучительных родах и о жестоком ответе ее сына. Она помнит, что каниян имел наглость заявиться сюда, как только выяснилось, что родилась девочка; мошенник вытащил из-под кухонного навеса маленький рулончик пергамента и вручил его Филипосу. Там было написано: «ДИТЯ БУДЕТ ДЕВОЧКОЙ». И заявил, что спрятал записку в свой прошлый визит, потому что у него были сильные подозрения, что родится девочка, но он не хотел разочаровывать Филипоса. Большая Аммачи выхватила пергамент и швырнула его в канияна, крикнув: «Даже не вздумай морочить нам голову! Да наш Цезарь видит будущее лучше, чем ты! Господь подарил нам чудесную девочку, и это прекрасно, потому что нам не нужно больше глупых мужчин. Здесь их и без того уже хватает». Вспоминает она и другого свидетеля, молчаливого старика, который дежурил около комнаты, где рожала Элси, а позже следил, как женщины зажигают лампу; Самуэль был строгим блюстителем традиций, но ей кажется, что зажжение велаку в тот день он одобрил.

Внучка бесцеремонно возвращает ее в настоящее, тряся за плечо со словами:

— Аммачи! Рассказывай! Лампа в ту ночь, когда я родилась... Как это было? Расскажи!

— Аах, лампа... — собирается она с мыслями.

Филипос слушает с достоинством человека, примирившегося со своим прошлым. Он понимает, какие воспоминания отвлекают мать.

— Я велела Анне-чедети так отполировать велаку, чтобы мы могли разглядеть в ней свои лица. Пришлось втроем тащить лампу вон туда, между двух столбов. Она налила масло, вставила свежие фитили — четыре наверху, потом шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать и внизу шестнадцать. Я вынесла тебя и объявила всем женщинам: «Это наша ночь!» И пришли женщины из домов Парамбиля и из всех окрестных мест, отовсюду, потому что они услышали новость и потому что свет лампы виден был издалека. Они принесли сладости, кокосовые орехи. Это была твоя ночь, но еще и наша ночь. Во всем христианском мире никто не праздновал рождение девочки так, как мы праздновали день твоего рождения. Я сказала всем: «Никогда больше

не будет такой, как моя Мариамма, и вы даже представить не можете, что она совершит».

— А что я совершу, Аммачи?

— Господь говорит в Книге Иеремии: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя»^[210]. Бог любит хорошие истории. И Бог позволяет каждому из нас сотворить собственную историю своей жизни. Твоя не будет похожа ни на чью другую. Помни об этом. Ты ведь из Парамбиля, а еще ты женщина и потому сможешь совершить все, чего пожелаешь.

Девочка размышляет над рассказом, который ей прекрасно знаком. Но сегодня вечером она задает вопрос, безмерно удививший бабушку:

— Аммачи, когда ты была маленькой девочкой, о чем ты мечтала?

— Я? Это было еще в старые времена. Сейчас все по-другому. Наверное, я мечтала о том, о чем полагалось мечтать в то время. И знаешь, я представляла ровно это: большой дом, добрый муж, любящие дети, красавица внучка...

— Но, но, но... если бы случилось чудо и тебе прямо сейчас опять было бы восемь лет, о чем бы ты мечтала?

— Если бы случилось чудо? — Ей не нужно долго думать. — Если бы мне сегодня было восемь лет, я знаю, о чем бы я мечтала. Я бы хотела стать врачом. И я построила бы больницу прямо здесь. — Большая Аммачи годами докучала этим Мастеру Прогресса: если в Парамбиле есть почтовое отделение и банк, почему не может быть амбулатории или больницы?

— Почему?

— Я могла бы принести больше пользы людям. Знаешь, сколько страданий я видела и ничем не могла помочь? Но в мое время, муули, девочки не могли о таком мечтать. А вот ты, моя тетка, ты можешь стать врачом, или адвокатом, или журналистом — кем пожелаешь. Мы зажгли ту лампу, чтобы осветить *твой* путь.

— Я могла бы стать епископом, — говорит Мариамма.

Большая Аммачи не находится что ответить.

— Аах, — вмешивается Филипос. — Кстати, о епископах, пора помолиться.

глава 59

Добрые угнетатели и благодарные угнетенные

1960, Парамбиль

Без всякого предупреждения в Парамбиль является с визитом юный гость. Десятилетний мальчик, который вступает на веранду, обводя взглядом всех разом, носит имя под стать его не по годам развитой уверенности в себе: Ленин Во-веки-веков. Прошел год с тех пор, как БиЭй Аччан прислал Большой Аммачи письмо с трагической новостью, что Лиззи, «Управляющий» Кора и их маленькая дочь умерли от оспы. Выжил только Ленин. Большая Аммачи незамедлительно ответила, что с радостью будет воспитывать Ленина и что у него есть семья, ведь отец мальчика и Филипос — четвероюродные братья. Но затем БиЭй Аччан написал, что Господь сохранил Ленина с единственной целью: чтобы тот стал священником. БиЭй отправит его жить при семинарии в Коттаям, где мальчик станет ходить в школу, пока не подрастет, а тогда уже поступит в семинарию. Но летние каникулы Ленин мог бы проводить в Парамбиле. Большая Аммачи возликовала при мысли, что сын Лиззи станет священником. И с нетерпением принялась ждать его первых каникул.

Теперь же, видя перед собой Ленина, Большая Аммачи так обрадовалась, что ей даже в голову не приходит, что до каникул еще далеко и учеба должна быть в самом разгаре. Она обнимает Ленина. Миловидный мальчик унаследовал лучшие черты Лиззи. По поселку распространяется слух, что приехал «мальчик Лиззи, Маленький Аччан». Все рвутся посмотреть на него и расспросить о матери, о Коре никто не вспоминает.

Ленин без особых уговоров выкладывает историю оспы, обрушившейся на «Усадьбу Управляющего» и унесшей его семью. Мощный голос и яркая образная речь станут отличным подспорьем в его будущей миссии священника. Ленин рассказывает, как шли дни и его мать цеплялась за жизнь, а сам он был уверен, что умрет, но не от оспы, а от голода. Последними словами его отца на этой земле были:

«Иди прямым путем». Слушатели растроганы раскаянием Кору накануне встречи с Создателем. Мариамма наблюдает за гостем издали, немножко ревнуя к новому родственнику, пятиродному братцу, но, как и остальные, захвачена рассказом. Тогда в отчаянии, продолжает Ленин, он решил идти по прямой дороге, куда бы она его ни привела. Хозяин большого дома, до которого он добрался, велел остановиться и пригрозил спустить собаку. И в этот момент появилась женщина.

— Думаю, это была Святая Мария, принявшая образ пулайи. И, как сказано у Матфея в двадцать пятой главе, она дала мне есть, когда алкал я^[211]. (Очередной вздох слушателей, кто же не знает этот стих?) Она сообщила обо мне БиЭй Аччану и его монахам. Они в то время ухаживали за больными оспой в деревне. Я не знаю, почему Господь сохранил меня. БиЭй Аччан говорит, что мне и не нужно знать. Говорит, всему свое время. Бог спас меня. Я должен служить Богу. Это я точно знаю.

Благочестивая Коччамма, сраженная торжественным заявлением, прижимает Ленина к своему внушительному бюсту.

Кто-то спрашивает, каково Ленину живется в семинарии. Тут уверенность впервые изменяет мальчику.

— В ашраме с БиЭй Аччаном было лучше. Семинария мне не нравится. У меня с ними... разногласия.

Мастер Прогресса интересуется, разве каникулы в школе уже начались.

— Еще нет. У меня случились разногласия. Директор семинарии сказал, что, наверное, мне лучше жить здесь и ходить в здешнюю школу. И отправил меня сюда.

— Одного? — изумляется Большая Аммачи.

— Со мной поехал один аччан. Но у нас... были разногласия, — неохотно признается Ленин. Такого ответа недостаточно. — Мы ехали на автобусе, и я увидел, что мы всего в паре миль от «Усадьбы Управляющего». Я хотел туда заглянуть. Аччан сказал «нет»... — Лицо Ленина потемнело. — Поэтому я оставил его в автобусе и пошел туда один. А потом сюда. Я шел весь день.

Там, где стоял их дом, теперь поле с маниокой, рассказывает Ленин. К нему прибежал хозяин большого дома — тот самый, кто грозился спустить собаку, — с палкой в руках. Он принял Ленина за

вора, но мальчик объяснил, кто он такой. Хозяин сказал, что земля теперь принадлежит ему, потому что Кора одолжил у него денег под залог земли. Ленин стал спорить, настаивать, что это его наследство. Тогда тот человек сказал, что Ленин может подать в суд, если хочет. Ленин спросил, где найти Акку, пулайи, которая накормила его, — он хотел подарить ей распятие, которое носил на шее, благословленное самим БиЭй Аччаном. Тогда землевладелец посоветовал Ленину сохранить крест, сказал, что Акка и ее муж набрались всяких идей на партийных митингах и возомнили, будто имеют права на землю на том основании, что возделывают ее. Сказал, что они позабыли, что имеют рис в животе и крышу над головой только благодаря его щедрости; сказал, что прогнал эту семью со своей земли и сжег их хижину.

Лицо Ленина каменеет от гнева.

Филипос задает вопрос, который крутится в голове у всех.

И Ленин отвечает:

— А что я мог сделать? Будь я с него ростом, я поколотил бы негодяя его же палкой. Поэтому я просто сказал ему: «Настанет день, и я отыщу благословенную Акку и отдам ей всю твою землю и твой дом, потому что ты — вор, и сотня таких, как ты, пальца ее не стоит». Он погнался за мной. Но с его брюхом у него не было шансов.

Через несколько дней прибыло письмо от того самого аччана, который сопровождал Ленина в Парамбиль и пытался не выпустить мальчика из автобуса, навестить родной дом. Ленин дождался, пока аччан уснет, и связал его сандалии. Когда автобус остановился высадить Ленина, аччан проснулся. Вскочил задержать беглеца и упал лицом вниз. А Ленин закричал, что злой дядька похитил его. «Ленин, — писал в заключение аччан, — наверняка отправился в Парамбиль. Через пару недель вам захочется сплавить куда-нибудь этого мальчишку, но будьте добры, не отправляйте этого дьяволенка обратно в семинарию».

Ленин очень быстро привык и к школе, и к жизни в Парамбиле. Но, обнаружив, что Благочестивая Коччамма вырезала «непристойные» страницы из его любимого комикса «Чародей Мандрейк»^[212] в местной библиотеке, проказник заменил пропущенные рисунками обнаженных мужчин и женщин и подписал: **ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОХАБНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ НАХОДЯТСЯ В КОЛЛЕКЦИИ БЛАГОЧЕСТИВОЙ**

КОЧЧАММЫ. Узнав об этом, грузная почти семидесятилетняя дама, страдающая артритом, ринулась за хулиганом со скоростью, которой никто в ней и вообразить не мог. Вид надвигающегося возмездия немедленно побудил Ленина «идти прямым путем». Он пронесся прямо по циновкам, где сушился рис, потоптал рисовое поле, продрался через крапиву и оказался в хижине молодого кузнеца, намереваясь выскочить через заднюю дверь. Самый первый кузнец Парамбиля давно умер, сын его — уже зрелый мужчина, но его по-прежнему называют «молодым» кузнецом. Как позже объяснял Ленин, безудержное стремление идти все время прямо прерывается, только когда он встречает непреодолимое препятствие или знак свыше. Молодой кузнец стал тем и другим, потому что задал Ленину хорошую трепку. Он приволок Ленина прямо за распухшее ухо обратно к Большой Аммачи. Все тело мальчишки обстрекала крапива. Молодой кузнец констатировал:

— Этот такой же плут, как его папаша.

У Мариаммы на этот счет есть собственные наблюдения: плутовство Ленина происходит по большей части в дневное время, по вечерам парнишка теряет свою бойкую дерзость, шаги его становятся неуверенными, она даже видела, как он пошатывался, будто пьяный. И если Мариамма обычно клянчит, чтобы ее подольше не отправляли спать, Ленин норовит поскорее рухнуть на циновку.

В качестве наказания за последнюю выходку Ленина заперли дома на две недели.

— Почему ты не пытаешься прятаться наверху, зачем бежать по прямой? — возмущается Мариамма. — Забираясь повыше, ты, может, и свернешь себе шею, но зато не попортишь чужое имущество.

— Аах, проблема в том, что в результате очень быстро достигаешь вершины.

Через несколько дней заточения Ленина над Парамбилем разразилась страшная гроза. Стены содрогались, словно небесные молнии искали свою жертву. И в разгар бури «Святой мальчик» вдруг куда-то исчез.

Обнаруживают его на крыше коровника. Зрелище жуткое: лицо Ленина запрокинуто к небу, руки воздеты вверх, волосы отброшены назад, он похож на Христа на Голгофе, глухой к крикам снизу, покачивающийся под порывами ветра и дождя. Гром сотрясает дом, в мерцающих тучах сверкают вспышки. Молния ударяет в пальму в

двадцати футах от Ленина, одновременно следует раскат грома. Дерево раскалывается, ветка сбивает Ленина с его насеста.

Гипс на запястье «Святой мальчик» носил как медаль. Большой Аммачи он заявил, что залез на крышу за «милостью», но Мариамме признался, что хотел, чтобы молния ударила в него и даровала силу метать искры из пальцев, как Лотарь из «Чародея Мандрейка».

Спустя месяц ни Мариамма, ни Поди уже и не помнят, как жилось в Парамбиле без Ленина. Поди — лучшая подружка Мариаммы, почти ровесница. Джоппан, отец Поди, и Филипос тоже были лучшими друзьями в детстве. «Поди» означает «крошка» или «пылинка». И пока не появился Ленин, Мариамма с Поди были единоклюсы почти во всем. Мариамма в душе злится, что Ленин — «благословенный», и такой бесстрашный, и вообще герой для всей окрестной детворы, включая Поди, хотя сама Поди это отрицает. А Ленину дела нет до мнения Мариаммы, и это еще обиднее. Она никому не может признаться, что хотя терпеть не может Ленина, ей непременно нужно держать его в поле зрения, чтобы не пропустить, что еще он выкинет.

Мариамма подслушала, как отец говорит Большой Аммачи:

— Меня опять вызывают в школу. Опять драка. Ленин, видите ли, задумал организовать ячейку Коммунистической партии. Ему всего десять! Аммачи, не спорь. Пансион — вот что ему нужно.

Мариамма должна бы радоваться, но ей почему-то совсем не весело. Той ночью ей снится Самуэль, который говорит: «Слушайся отца! Ему известно, что ты нарушаешь его запреты. Ты ничуть не лучше Ленина, отец и тебя может отослать куда-нибудь». Мариамма просыпается встревоженная. Что это значило? Вот если бы она по-прежнему спала рядом с Ханной, точно знала бы ответ. Для Ханны каждый сон вещий, как для Иосифа в книге Бытия. Но Ханна уехала в католическую школу при монастыре. Анна-четети не в курсе, что Ханна хочет быть монахиней и больше любит поститься, чем есть; Анна пришла бы в ужас, узнай она, что дочь «умерщвляет» плоть поясом из узловатой веревки под одеждой. Ханна говорит, что так поступают все монахини. Вот уж монахиней Мариамма точно не стремится стать.

Без Ханны придется разгадывать сон самостоятельно. Почему там появился Самуэль? О Самуэле все говорят в настоящем времени. А разве может быть по-настоящему мертвым человек, о котором рассказывают как о живом? Мариамма помнит день, когда Самуэль ушел и пропал. Он отправился в продуктовый магазин, а когда даже после обеда не вернулся, отец пошел его искать. Он двинулся по следам Самуэля. И обрадовался, увидев его около камня для поклажи, — Самуэль сидел, привалившись к вертикальной опоре, а мешок его лежал на горизонтальной плите. Подбородок был опущен на грудь, как будто старик спал. Но на ощупь оказался совсем холодным. Сердце Самуэля остановилось.

Это была первая смерть в юной жизни Мариаммы. Она помнит, как отец уехал на велосипеде на склад к Икбалу и вернулся, везя на раме Джоппана. До того дня она никогда не видела, чтобы взрослые мужчины плакали. Тело Самуэля положили в гроб около его дома, на старые козлы, которые он любил. Столько людей пришло проститься с ним — как будто умер сам махараджа. Горе Большой Аммачи напугало Мариамму — бабушка рыдала над гробом, гладила по лбу человека, который, как она сказала, опекал ее с того первого дня, как она пришла в Парамбиль шестьдесят лет назад. Самуэля похоронили рядом с женой на церковном кладбище. Много позже отец и Большая Аммачи установили на могильном камне медную доску. Мариамма отполировала углем и бумагой большие буквы, начертанные на металле. Надпись на малаялам гласит:

**«ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ
И ОБРЕМЕНЕННЫЕ, И Я УСПОКОЮ ВАС».**

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САМУЭЛЯ ИЗ ПАРАМБИЛЯ

Уже светает, а она так и не разгадала смысла сна. Выскользнув из комнаты, Мариамма осторожно пробирается мимо отцовского окна. Услышать он ее не услышит, но нельзя, чтобы он заметил ее тень. Оказавшись за пределами двора, она бежит к ручью, а потом до канала. Слышит шаги за спиной — Поди. У них одна голова на двоих — когда бы Мариамма ни встала с постели, Поди каким-то образом

догадывается. Есть строгое правило: не купаться без присмотра взрослых. Но правила хороши для вязания крючком и для монахинь. Мариамма ныряет, вода журчит в ушах. Мгновением позже рядом раздаётся громкий плеск, когда ныряет Поди. Купание в канале — это самая страшная их тайна и самое большое удовольствие, хотя если их застукают, последствия будут... Да ладно, она не любит думать о последствиях.

Мариамме пора собираться в школу, а Поди все мешкает, рассусоливает, потому что Джоппана нет дома. Когда отец в отъезде, Поди прогуливает школу и вообще делает что заблагорассудится. Если Джоппан узнаёт про это — а он обычно узнаёт, — подругу наказывают. Мариамма слышала, как он орет на Поди: «Когда я хотел учиться, меня прогнали, как собаку! Теперь перед тобой все двери открыты, а ты ленишься просто в них войти?» Мариамма боготворит Джоппана. Она видела только один канал, а ему известны все каналы их земли. Бывают люди, которые кажутся крупнее, значительнее, увереннее других, и неважно, чем они занимаются в жизни. Джоппан как раз из таких. И Ленин тоже. И она завидует.

Мариамма смотрит, как отец завтракает, и тут ее осеняет: сон. Самуэль сообщал ей, что отцу известно про купания в канале! Может, он всегда знал. Прежде чем отправляться в школу, Мариамма заходит к отцу в комнату, где тот, бормоча себе под нос, возится со счетами. При появлении дочери отодвигает грессбух и с улыбкой поднимает голову. Она останавливается около его стола, перебирает отцовские карандаши, готовясь признаться. У нее тоже есть правило: всегда говорить правду... если спросят. Мариамма открывает рот... но выложить правду, когда тебя *не* спросили, очень трудно. Однако нужно же что-нибудь сказать. Она сама в это ввязалась.

— Аппа, мне приснился Самуэль, — произносит она наконец.

— Правда?

Она кивает.

— Аппа? Джоппана часто не бывает дома.

— И?

— Все в порядке, пока, увидимся.

Не признаться гораздо легче, чем признаваться.

Самуэль? Джоппан? Филипос некоторое время озадаченно сидит за столом, потом встряхивает головой и фыркает себе под нос. Джоппана *и в самом* деле часто не бывает на месте. Задержись Мариамма дольше чем на десять секунд и пожелай она всерьез разобраться, отец, возможно, рассказал бы ей, как однажды думал уговорить Джоппана остаться дома *насовсем*. Это случилось вскоре после похорон Самуэля. Мать позвала Джоппана поговорить. Филипос помнит, как она сидела с опухшими заплаканными глазами на своей веревочной кушетке напротив кухни, а они с Джоппаном — напротив нее на низеньких табуретках, как школьники. Большая Аммачи рассказала, что всякий раз, когда она выдавала Самуэлю жалованье, он брал сколько считал нужным, а остальное просил хранить в денежном ящике в ара. А когда в Парамбиле открылся банк, она положила его деньги на счет.

— Теперь они твои, — сказала она, протягивая Джоппану сберегательную книжку.

Дом Самуэля и земля тоже перешли Джоппану, вместе с его собственным участком. А еще мать сообщила Джоппану, что отписала ему длинный узкий участок позади его владений, рядом с дорогой. Он может делать с ним что пожелает. Большая Аммачи благословила Джоппана и со слезами на глазах сказала, что Самуэль был ее семьей, так же как Джоппан, Аммини и Поди.

После Филипос тоже попросил Джоппана зайти к нему на минутку. Они уселись в старой мастерской Элси. Джоппан закурил бииди и принялся листать сберегательную книжку. Через некоторое время он усмехнулся и спросил:

— Как ты думаешь, сколько это будет в коровах?

Филипос не понял.

— Каждый раз, когда мы с отцом говорили о деньгах, о суммах больших, чем несколько рупий, он спрашивал: «А сколько это в коровах?» Он знал, что корова — это очень большая ценность, она и была для него привычной валютой. — Улыбка Джоппана погасла. — Отец мог бы и раньше показать мне эту книжку. Думаешь, он ценил то, что я умею считать и вести дела? Если он видел меня с книгой, то недовольно хмурился. Его пугало, что я обладаю знаниями. Он был хорошим человеком. Но хотел, чтобы я стал им. Следующим Самуэлем, пулайаном из Парамбиля.

Слушая друга, Филипос чувствовал себя виноватым, потому что Самуэль очень гордился, что Филипос окончил школу и поступил в колледж. Ему неприятно было думать, что Самуэль считал Филипоса человеком иного уровня, чем собственный сын.

Отец с сыном частенько ссорились. Но объединились, чтобы спасти Филипоса, когда тот дошел до крайней точки в своем опиумном угаре. Однажды утром, вскоре после того как Элси утонула, они, получив благословение Большой Аммачи и стговорившись с Унни и Дамо, вытащили Филипоса из его комнаты. Дамо уцепил его хоботом и зашвырнул себе на спину, где его подхватил Унни, и они пустились в путь — Филипос, плотно зажатый между Унни и Самуэлем на слоне, а Джоппан на велосипеде следом за ними. Филипос орал и просился на волю всю дорогу, пока они не добрались до лесной делянки Дамо. Оттуда Дамо двинулся по тропе вглубь леса, к хижине, где Унни хранил горшки с едкой мазью, большие металлические напильники и серпы, чтобы подстригать ногти Дамо и чистить наросты на подошвах. Когда Дамо взбрело в голову свободно побродить в джунглях, именно в этой хижине дожидался его Унни, частенько напиваясь вдрызг. В следующие шесть недель Джоппан то приходил, то уходил, но Самуэль неотлучно оставался рядом с Филипосом в хижине, терпел от него оскорбления и проклятия, ухаживал за ним во время приступов судорог, галлюцинаций и лихорадки, пока тело Филипоса не освободилось от хватки опиума. Но они продолжали жить в лесу. Филипос мучился от стыда. Долгие задушевные беседы с Самуэлем помогли ему увидеть, как чудовищно разрушила его жизнь маленькая деревянная коробочка. Искушение никогда полностью не оставляло Филипоса, но мысль, что он разочарует Самуэля, Джоппана и маму, удерживала на правильном пути вернее всего прочего.

— Джоппан, мы с матерью хотим сделать тебе предложение, хотя, судя по тому, что ты сказал, ты его, вероятно, отклонишь. Но все же выслушай меня.

Филипос сказал, что они с Большой Аммачи очень многим обязаны Самуэлю. Самуэль был его советчиком и наставником в повседневных делах Парамбиля. Без Самуэля он пропал бы как человек и не справился с управлением хозяйством, ему и близко не сравниться с мудростью Самуэля.

— Это исключительно деловое предложение. Ни в коем случае *не замена* Самуэлю. Мы хотели бы, чтобы ты стал управляющим Парамбиля, вел все дела — в обмен на двадцать процентов доходов от урожая. Плюс ежемесячное жалованье, если выдастся неудачный год, то есть ты все равно будешь иметь средства. Если решишь распахать новые участки, это добавит работы, но вместе с тем увеличит доход.

Джоппан молчал.

— Двадцать процентов от выручки — это значительная сумма, — добавил Филипос. — Но меня вполне устраивает. Я смогу больше писать. Для ведения хозяйства я не слишком приспособлен.

Молчание становилось неловким. Джоппан колебался, не решаясь заговорить.

— Филипос, то, что я сейчас скажу тебе, я не смог бы сказать Большой Аммачи. Я слишком уважаю ее за ее любовь к моему отцу и ко мне. И ей, и тебе трудно будет понять, но я все же скажу. Деньги на этой книжке... — Он пристально взглянул в глаза Филипосу.

— Много коров?

— Да, — кивнул Джоппан. — Но... все же много меньше, чем заслужил мой отец. Вспомни, как еще мой *дед* помогал твоему отцу расчищать многие акры этой земли. Потом прикинь, сколько мой отец вкалывал тут с самого детства до смертного часа. *Всю свою жизнь!* А в конце что он получает? Да, много коров. И собственный клочок земли, где стоит его дом, — редкий случай для пулайана. Но просто представь, что было бы, если бы он не был *пулайаном*. А был, скажем, кузеном твоего отца. Который работал бок о бок с твоим отцом. А после смерти твоего отца еще тридцать лет продолжал беззаветно работать на Большую Аммачи и тебя. Каждый божий день! Сколько причиталось бы двоюродному брату за его пожизненный труд? Разве не намного больше, чем в этой сберкнижке? Думаю, не меньше чем половина всей земли.

Рот Филипоса наполнился вязкой кислой слюной, язык прилип к зубам.

— То есть ты этого просишь?

Джоппан смотрел на Филипоса с досадой — или это жалость была в его взгляде?

— Я вообще ничего не *прошу*. Это твоя мать позвала меня. А так бы я и про сберегательную книжку не узнал. А потом *ты* пригласил

меня поговорить, забыл? Я предупреждал, что тебе неприятно будет слушать. И ты, и твоя мать сказали одно и то же: как многим *вы обязаны моему отцу. Он был членом семьи.* И я должен тебе сказать как лучшему другу, как тому, кто выступает от имени Обыкновенного Человека. Я подумал, что ты на самом деле хочешь знать правду. А правда в том, что не все думают, как ты или Большая Аммачи. Если бы вы предложили такую же награду родственнику, который работал на вас всю жизнь, — участок земли для дома и накопившееся за годы жалованье — все вокруг сказали бы, что вы его эксплуатировали. Но что касается Самуэля-пулайана... тогда это щедрость. То, что вы считаете щедростью или эксплуатацией, зависит от того, кому предназначается. Хорошо, что мой отец был убежден, что его судьба — быть пулайаном. Он думал, что ему повезло работать на Парамбиль! В конце жизни он чувствовал себя богатым: жалованье копится, есть клочок земли, и у сына тоже, а теперь вот еще один.

Филипос почувствовал себя так, словно наткнулся на невидимую торчащую ветку. Слово «эксплуатация» пронзило его. Мучительно было сознавать, что на самом деле он пользовался Самуэлем — человеком, за которого готов был умереть. Он считал себя и Парамбиль свободными от кастовых границ, выше подобных понятий. Но стоило взглянуть на лицо напротив, как сразу всплыло в памяти — крак! — трости канияна по спине Джоппана и унижение мальчика, который преданно явился в школу для детей Парамбиля.

— Ты любил моего отца, поэтому тебе трудно это принять, — продолжал Джоппан. — Ты считаешь себя добрым и щедрым по отношению к нему. «Добрым» рабовладельцам в Индии и вообще повсюду всегда было труднее всех увидеть несправедливость рабства. Их доброта и щедрость в сравнении с жестокими рабовладельцами застилала им взгляд на несправедливость самой системы рабовладения, которую *они* создали, поддерживали, от которой получали выгоду. Точно так же британцы похваляются, что оставили нам железные дороги, колледжи, больницы — благодаря своей «доброте»! Как будто это оправдывает лишение нас права на самоуправление на два столетия! Как будто мы должны благодарить их за то, что у нас украли! Стали бы Великобритания, Голландия, Испания, Португалия или Франция тем, чем они являются сегодня, без того, что они получили, поработив другие народы? Во время войны англичане любили рассказывать, как

хорошо они обращаются с нами в сравнении с тем, как обошлись бы с нами японцы, если бы захватили страну. Но разве один народ должен править другим народом? Такое бывает, только когда одни люди считают других ниже — по рождению, цвету кожи, истории. Неполноценные — и потому заслуживают меньшего. Мой отец не был рабом. Его любили здесь. Но он *никогда* не был тебе равным и потому не получил награды как равный. — Джоппан покачал головой. — Некоторым из твоих родственников, многим, выделили щедрые наделы в два или три акра, гораздо больше, чем получает под свою хижину пулайан. Этой земли достаточно, чтобы разбогатеть. Но скажи честно, кто, кроме Мастера Прогресса и еще пары других, сумел разбогатеть? А представляешь, если бы мой отец получил хотя бы один акр. Просто представь, насколько он мог бы преуспеть!

Продуманность и сложность рассуждений Джоппана потрясли Филипоса. Но сама оценка этих рассуждений как «продуманных и сложных» была примером той слепоты, о которой говорил Джоппан. «Сложность» предполагала, что таким людям, как Джоппан или Самуэль, не положено прибегать к историческим фактам, использовать свой интеллект и рассудительность.

— Насколько я понимаю, твой ответ «нет», — печально констатировал Филипос.

— Я люблю Парамбиль, — вздохнул Джоппан. — Здесь не найти поля, где мы с тобой не играли бы в детстве или на котором я не помогал бы отцу убирать урожай. Но я не могу любить Парамбиль так, как любил он. Потому что он не мой. Есть и более важная причина. Можешь назвать меня управляющим, можешь платить большое жалованье, но для твоих родных я навсегда останусь сыном пулайана Самуэля, пулайаном Джоппаном. Тем, чья жена-пулайи плетет циновки и подметает муттам Парамбиля. Я ничего не могу сделать с тем, что меня считают пулайаном. Но я могу выбирать, хочу ли я жить как пулайан.

Вскоре после их первого разговора Филипос вернулся к Джоппану с другим предложением: они выделяют двадцать акров недавно расчищенной земли, на которой прежде ничего не выращивали, — земли, которая станет его собственностью. Договор будет храниться в банке и вступит в силу через десять лет, в течение которых Джоппан будет управлять делами Парамбиля, получая двадцать процентов от

дохода, но без ежемесячного жалованья. Через десять лет он сможет уволиться или заключить новый контракт с условием получения еще одного участка земли. Джоппан был потрясен. Большой Аппачен в свое время предъявил права на более чем пять сотен акров, больше половины которых каменистые склоны или болотистая низина. Он расчистил примерно семьдесят акров, прилегающих к реке, лишь половина которых обрабатывается. У Джоппана было бы больше земли, чем у любого из родственников Филипоса.

— Филипос, если бы мой отец это услышал, он сказал бы, что ты сошел с ума, — сверкнул своей знаменитой улыбкой Джоппан; он заявил, что ему надо смочить горло, и вытащил бутылку аррака. — Твое предложение означает, что ты умеешь слушать. Ты все понял, и, наверное, это было нелегко. Твое предложение очень щедро. Я, наверное, потом пожалею, но намерен отказаться. — Он глотнул из бутылки. — Я много лет работал с Икбалом, даже в самые суровые времена. Не счесть, сколько ночей я лежал на палубе баржи, глядя на звезды и мечтая о флоте, который может плыть вчетверо быстрее, чем нынешний. Да, с моторной баржей дело застопорилось. И не потому что винт запутался в водяных гиацинтах, а потому что вся идея увязла в бюрократической волоките. Но мы уже близки к цели. И даже если ничего не выйдет, я все равно должен попробовать. Если я откажусь от своей мечты, что-то во мне умрет.

Филипос поежился и втянул голову в плечи, вспоминая свои мечты перед отъездом в Мадрас, — мечты, когда он встретил Элси, когда они поженились; мечты, когда она ушла и вернулась. Он глотнул аррака, чтобы приглушить боль. А потом отрешенно слушал, как Джоппан толковал про «Партию» — разумеется, коммунистическую. Слово «коммунисты» было предано анафеме во множестве стран, став синонимом государственного преступления, но в Траванкоре, Кочине, Малабаре, в Бенгалии и во многих штатах Индии коммунисты были законной партией, настоящей оппозицией. На землях, где говорили на малаялам, сторонниками Партии были молодые бывшие члены партии Национальный конгресс, которые чувствовали себя преданными, когда Конгресс пришел к власти и уступил интересам крупных землевладельцев и промышленников. Среди членов Партии были не только бедные и бесправные, но и интеллигенция, идеалистически настроенные студенты колледжей (зачастую из высших каст), которые

видели в Партии единственную силу, стремящуюся разрушить вековую кастовую систему. В тот год, когда умер Самуэль, 1952-й, Партия завоевала в Конгрессе двадцать пять мест из сорока четырех. Слияние Малабара с Траванкором и Кочином и образование нового штата Керала было неизбежным, а значит, предстояли новые выборы.

— Запомни мои слова, — сказал Джоппан, когда они прощались тем вечером. — Однажды Керала станет первым местом в мире, где коммунистическое правительство будет избрано демократическим путем, а не в результате кровавой революции.

Вспоминая этот разговор десятилетней давности, Филипос вынужден теперь признать, что Джоппан был прав: всего несколько лет спустя Партия получила большинство мест в Керале и сформировала первое в мире демократически избранное коммунистическое правительство.

глава 60

Открытие больницы

1964, Марамонская конвенция

Малаяли любых вероисповеданий подвергают сомнению все подряд, кроме своей веры. Потребность обновить ее, возродить, припасть к истокам ежегодно влечет христиан малаяли на грандиозное февральское мероприятие — религиозное собрание, Марамонскую конвенцию. И семейство Парамбиля не является исключением.

Со времени первой конвенции 1895 года, проходившей в шатре на высохшем русле реки Памба, людей с каждым годом становилось все больше. Лишь в 1936 году приобрели микрофон — дар американского миссионера Э. Стенли Джонса^[213]. А прежде «эстафетные вестники» стояли через равные промежутки, как стойки шатров, повторяя слова выступающего слушателям в соседних шатрах и толпе на берегах реки. Но, как истинные малаяли по природе своей, вестники считали своим христианским долгом подвергать сомнению и улучшать передаваемые сообщения. Предостережение Э. Стенли Джонса, что «тревоги и беспокойства — это песок, попадающий в механизм жизни, а вера — смазка», дошло до трибун в виде «Ой-ей, вы, маловеры, голова ваша полна песка, и нет масла в вашей лампе». Это едва не вызвало бунт.

От человеческих ретрансляторов Марамонская конвенция перешла к усилителям, уже выходящим за рамки разумного, — так, по крайней мере, кажется Его Преподобию Рори Мак-Гилликатти из города Корпус-Кристи, Соединенные Штаты Америки, когда мужчины взбираются на пальмы, подключая все больше динамиков. Пока он стоит в ожидании за сценой, его барабанные перепонки сокрушают адские восторженные вопли и аплодисменты, напоминающие ружейные залпы, которые заставляют бродячих собак разбежаться в ужасе, оставляя на песке влажные полосы мочи. Электрик шепелявит: «Шлышно раждватри?» Да его, пожалуй, слышно и в задних рядах, и за Полкским проливом на Цейлоне.

Глаза преподобного Рори Мак-Гилликатти страдают не меньше, чем его уши, — с первого взгляда на массу людей и раскинувшийся вокруг палаточный городок. Он чувствует себя одинокой саранчой во время чумы, силясь не отставать от преданного служки-чемаччана, сопровождающего его. Эта толпа затмевала все, что Его Преподобие видел на ежегодной ярмарке в Оклахоме или даже на ярмарке штата Техас. Люди прижимали Библии к своим белоснежным одеждам и смотрели грозно, как ствол кольта 45-го калибра. Они здесь, чтобы услышать Слово Божье, и большинство не отвлекается ни на лотки с едой и побрякушками, ни на выступления фокусников, ни даже на «Шар Смерти» — громадную полусферу с гладкими стенками, вырытую в земле, внутри которой два мотоциклиста с подведенными сурьмой глазами гонялись друг за другом на бешеной скорости, а их машины, вопреки силе притяжения, взмывали до верхней кромки ямы, почти параллельно земле, на которой стояли любопытные зрители.

Но самым большим шоком для Мак-Гилликатти стал почетный караул калек, выстроившийся вдоль его пути. С одной стороны прокаженные, а непрокаженные — с другой. Для последних не было одного общего наименования, кроме как «убогие». Он видел детей, в которых едва можно было опознать человеческие существа, — у одного пальцы срослись, лицо как блин, а глаза находились там, где должны располагаться уши, будто у экзотической рыбы. Служка пояснил, что эти дети были изуродованы в младенчестве своими няньками, которые исколесили с ними Индию вдоль и поперек.

«Но, — успокоил он, — они из Северной Индии», как будто эта информация должна была смягчить ужас.

Сейчас, ожидая за сценой, Мак-Гилликатти дергался, как муха, угодившая в клейстер. Мысль о том, что он просто в последнюю минуту явился на замену Его Преподобию Уильяму Франклину («Билли») Грэму, чья слава простиралась и до Марамонской конвенции, не очень помогала, пусть публика и не ожидает многого от заместителя. Тем не менее наибольшие опасения вызывал переводчик.

И опасения были вполне законны. Если мериллом владения английским языком является способность воспроизвести плохо выученную фразу из учебника для третьего класса, вроде *Чиму сибак бижит за хазяин?* — тогда специалистами могут себя считать многие. В конце концов (возражают они), чтобы переводить, нужно свободно

говорить на малайяли, а не по-английски. Даже аччан, обучавшийся богословию в Йеле, оказался кошмарным переводчиком, поскольку жестикулировал так, будто слова оратора не имели никакого отношения к его переводу.

Но Рори не стоило волноваться — у конвенции имелся проверенный переводчик, много лет назад обнаруженный епископом Мар Павлосом на мероприятии «Прогресс деревни», когда епископ увидел, как тот переводит для сельскохозяйственного эксперта из Коралвилла, штат Айова, Америка. Он переводил ровно то, что сказал оратор, не привлекая никакого внимания к собственной персоне.

Утром в день конвенции этот ветеран-переводчик сидел перед зеркалом, подрезая усики-гусенички, ползущие под носом на четверть дюйма выше верхней губы, что придавало им вид, не зависимый и от носа, и от губы. Для мужчины малайяли, достигшего половой зрелости, не иметь усов — очень не по-мужски. Формы любые на выбор: ершик, шеврон, бригадирские, пышные, щеточкой, как у Гитлера... Секрет создания «гусенички» нашего переводчика в том, чтобы склониться к зеркалу поближе, оттопырить верхнюю губу, зажать обнаженное лезвие бритвы между большим и указательным пальцами правой руки, а левой в это время туго натянуть кожу. Ювелирными движениями вниз обрисовывается верхняя граница, а затем — что более существенно — и нижняя. Если бы ему пришлось писать руководство по бритью, переводчик сказал бы, что ключевой является полоска чистой кожи под усами, отделяющая ярко-красную кайму верхней губы.

Шошамма наблюдает за педантичными выкрутасами мужа и поддразнивает его:

— А у Мастера Прогресса усы кривятся влево...

Бедняга испуганно дернулся и порезался.

— Женщина, ты зачем издеваешься? Видишь, что ты натворила?

Жена просит прощения, но все равно хихикает. Он гордо бьет себя в грудь:

— Ты даже не представляешь, какая страсть пылает здесь.
Страсть!

Шошамма выходит, и плечи ее трясутся. *Страсть без нормального соития, и все из-за твоего упрямства!* Это он во всем виноват. Поклялся ждать, пока она сама начнет. Вот и ждет до сих пор.

Автобус, в который они сели, был битком набит, так что даже пропускал обычные остановки. Около Ченганура знакомая фигура вспрыгнула на подножку с риском для жизни и протиснулась внутрь со словами: «Мой билет не хуже твоего! Здесь нет кастовой системы!» Ленину уже четырнадцать. В десять лет его отправили в строгий религиозный пансион. На прошлых каникулах они виделись, но с тех пор парнишка подрос, пробилась едва заметные усики, и кадык выпирает почти как подбородок. Но на голове у него как будто коза паслась, и лицо все в синяках. Ленин бурно обрадовался знакомым.

— Недоразумение с одноклассниками, — пояснил он свое появление. — Я же староста в этом как бы общежитии. И я решил раздать наше воскресное бирьяни голодным, которые собираются возле церкви.

— Аах. И твои одноклассники оказались не готовы поститься?

— На воскресной проповеди цитировали Евангелие от Матфея, главу двадцать пять. «Я был голоден, и вы накормили меня». Для меня это важные слова. А на уроках изучения Библии мои одноклассники поклялись жить по этим заветам. Так что...

— Мууни, — улыбается Шошамма, — ты слышал пословицу «Легче править слоном, чем сдерживать свои желания»?

Мастер Прогресса удивленно воззрился на жену. Она таким образом намекает на него?

— Правильно, тетушка! Но они такие лицемеры! Что сказал бы Иисус людям, у которых в доме есть еда, а их соседи голодают? Если бы Иисус вернулся, он бы точно голосовал за коммунистов!

— Проклятый богохульник! — взрывается мужчина позади Ленина. — Христос голосует за коммунистов?

Партия вошла в историю и получила много голосов, но мало кто из ее сторонников ехал в автобусе на Марамонскую конвенцию. В завязавшейся потасовке автобус остановился, а Ленин выскочил через водительскую дверь. Он хохотал, тряся руками и вихляя задом, и выплясывал, как болливудский актер, прежде чем пуститься наутек.

Лицо Рори Мак-Гилликатти испещрено рытвинами от юношеских угрей и похоже на плод хлебного дерева, и сам он кряжистый, как плаву. У него густая шевелюра, и каждый волосок вбит прочно, как железнодорожный костыль, но святой отец не знаком с «Маслом

Брами» от «Джейбой», поэтому грива у него буйная и непослушная. Истинное чудо, что человек, в детстве ловивший рыбу на отмелях пролива Аранзас^[214], становится ловцом человеков в деревне Марамон в Керале, Индия.

Мастер Прогресса, встретившись с Рори за сценой, обеспокоен: у этого священника нет ни текста речи, ни заметок, ни закладок со стихами. Рори же обеспокоен иным. Он только что наблюдал, как заунывно произносит речь епископ; единственным его жестом был робко приподнятый палец — так ребенок трогает нос мастифа, — но, похоже, не улыбочивую публику это устраивало. У него самого, объясняет Рори переводчику, совсем другой стиль.

— Я хочу, чтобы слушатели почувствовали запах паленых волос, ощутили жар вечного пламени проклятия. Только так они смогут по достоинству оценить Спасение — вы меня понимаете?

Брови Мастера Прогресса встревоженно взлетают вверх, хотя непрерывно покачивающаяся голова — как яйцо, перекатывающееся на столе, — может означать и да, и нет. Или ни то ни другое.

— И я могу свидетельствовать, — продолжает Мак-Гилликатти, — потому что я побывал там. И все еще пребывал бы в сточной канаве, если бы не был спасен кровью Агнца.

Огненно-серный стиль Мак-Гилликатти отлично работает на Крайнем Юге и на Севере вплоть до Цинциннати. Этот стиль победил в Корнуолле, в Англии, и стал причиной экстренного приглашения в Индию. Рори некуда отступить, его стиль — это и есть его проповедь. Он стискивает плечо Мастера Прогресса, пристально вглядываясь в его лицо:

— Друг мой, когда переводите, вы должны *физически* передать мою страсть. В противном случае я обречен.

У Мастера есть сомнения.

— Ваше Преподобие, прошу вас, помните: это Керала. На Марамонской конвенции мы не впадаем в транс. Тут кругом одни пятидесятники. То есть мы... очень серьезные.

Лицо Мак-Гилликатти гаснет. Он тоже не впадает в транс, но когда Святой Дух овладевает устами, истово лепеча нечто бессвязное, кто он такой, чтобы возражать? Такое зрелище само по себе может обратить полный шатер грешников.

— Что ж... Но вы же постараетесь? *Постарайтесь*, чтобы ваш тон, ваши жесты соответствовали моим. Страсть! Страсть — вот то, что мне нужно!

Служка предупреждает, что сразу после хора их выход. Мак-Гилликатти отступает в сторону.

Мастер Прогресса наблюдает, как Его Преподобие удаляется. *Какое неопишное высокомерие у этого джекфрутлицега!* Но затем он пристыженно видит, как Рори опускается на колени и склоняет голову в молитве. Это не должно бы ни удивить, ни смягчить сердце Мастера, но тем не менее и удивляет, и смягчает. Он чувствует себя лицемером — разве не он сам только что толковал Шошамме насчет страсти? Когда Мак-Гилликатти встает, Мастер Прогресса кладет руку на плечо белого — никогда в жизни он себе такого не позволял.

— Не тревожьтесь. Я сделаю все, что в моих силах. Будет страсть. Вся, что возможна.

Видя облегчение на лице Мак-Гилликатти, Мастер чувствует, что поступил по-христиански. Его преподобие одобрительно хлопает переводчика по спине, а потом наливает из своей стальной фляжки в крышечку и предлагает Мастеру. Мастер делает глоток и уже по-новому смотрит на заморского гостя, тот делает знак, предлагая допить до дна. Затем Рори опрокидывает свою порцию, шумно втянув воздух между зубами. Огненное что-бы-оно-ни-было заливает светом грудь Мастера. Страсть внутри нарастает. По правде говоря, он немного с похмелья и фляжка преподобного — поистине божественное вмешательство. Они опрокинули еще по крышечке. Мастер Прогресса чувствует себя гораздо лучше, чем просто хорошо. На самом деле он никогда не чувствовал себя лучше. Все его прежние тревоги улетучились. Он расправляет плечи. И говорит себе: *Если Мак-Гилликатти провалится, то уж точно не из-за плохого переводчика.*

Толпа гудит в предвкушении: белый священник из дальних стран всегда вызывает интерес, даже если он не Билли Грэм. *Мы рабы, даже став свободными*, думает Мастер Прогресса. *Слову белого человека мы верим больше, чем речам наших собственных священников.*

Объявляют Мак-Гилликатти, и они выходят на сцену вдвоем. Наступает гробовая тишина.

Преподобный начинает с длинной замысловатой шутки. Дойдя до сути, он выкрикивает ее, вытягивая одну руку к небу и выжидательно глядя на толпу. Несколько тысяч спокойных невозмутимых лиц смотрят на священника. Краснота растекается над его воротником. Он с молящими глазами поворачивается к переводчику.

Мастер Прогресса приглаживает ладонью умощенные волосы. Пристальным и уверенным, даже отчасти презрительным взглядом он окидывает толпу. Выдерживает довольно долгую паузу. А потом обращается к людям, как к своим близким:

— Мои многострадальные друзья. Вы хотите знать, что произошло? Его Высокопреподобие Сахиб Учитель Рори Катти только что пошутил. По правде говоря, я был так удивлен, что не могу передать вам подробности шутки. Кто же ожидает шуток на Марамонской конвенции? Могу лишь сказать, что там фигурировали собака, старуха, епископ и дамская сумочка...

С женской стороны доносятся смешки, звонкие восклицания. Наступает потрясенная тишина, а потом смеются дети. И вот уже в ответ на дерзость Мастера Прогресса катится волна смеха.

— Шутка не такая смешная, как думает Преподобный. Кроме того, разве старухи в Керале носят дамские сумочки? В лучшем случае несколько монет, завернутых в платочек, да? Но прошу, давайте не будем разочаровывать гостя, прибывшего из далекого далека. Блаженны те, кто смеется шуткам гостя. Разве не так сказано в Заповедях Блаженства? Аах. Итак, когда я досчитаю до трех, прошу, все смеются, — и я отдельно обращаюсь к вам, буйные дети, сидящие впереди, вы мастера прикидываться святыми ангелочками перед своими родителями, так вот вам богоданная возможность. Можете шуметь, с Божьего благословения. Раз, два... три!

Мак-Гилликатти чуть не упал. Старушка, епископ и сумочка срабатывали повсюду, от Мак-Аллена до Мерфрисборо^[215], — и здесь, в Марамоне, тоже. И гораздо *лучше* на малаялам, чем по-английски!

Священник посерьезнел и вскидывает руку, прося тишины. Мастер Прогресса, его тень, повторяет движение.

Склонив голову и продолжая воздевать руку, Мак-Гилликатти продолжает:

— Братья и сестры, я стою перед вами как грешник...

Мастер Прогресса переводит:

— Шутки кончились, слава Богу. Он говорит, что стоит перед вами как грешник.

Одобрительный ропот катится по рядам.

— Я стою перед вами как прелюбодей... Развратник.

— Я стою перед вами... — Мастер Прогресса запинается. В животе у него ровно как тогда в Мадрасе, когда он подхватил дизентерию. Если он будет переводить слова Мак-Гилликатти от первого лица, все подумают, будто это *он* прелюбодей и развратник? Он выискивает взглядом в толпе Шошамму.

Его преподобие, гневно покосившись на переводчика, продолжает свои самообличения:

— Друзья, я не из тех, кто смягчает выражения. Я говорю прямо — развратник. Мужчина, который переспал с каждой распутной женщиной и с теми, которые не были таковыми, пока я их не растлил. Вот кем я был.

Епископы и священники в первом ряду превосходно понимают по-английски и нервно переглядываются.

Мастер Прогресса лицемерно улыбается сначала Мак-Гилликатти, потом собравшимся, судорожно собираясь с мыслями.

— Его Преподобие говорит: «Друзья, моя церковь за океаном велика. Огромна. Но я никогда не видел столько верующих людей, как сегодня. Я горд, что Мастер Прогресса переводит мои слова. Добрая слава о нем тянется от Марамона до моего родного города. Вот кого я просил помочь. Благодарю вас, Мастер Прогресса».

Мастер скромно склоняет голову. Потом с трепетом смотрит на Мак-Гилликатти, пытаюсь угадать, что последует дальше. Для нового обличения священник разевает рот так широко, что может проглотить собственную голову.

— Число людей, перед которыми я должен покаяться, число людей, которых я сбил с праведного пути, — Мак-Гилликатти неистово взмахивает рукой, — простирается от того края поля до этого.

Мастер Прогресса следит за движением руки Преподобного и видит, как женщина в третьем ряду падает в обморок от духоты и жары; Большая Аммачи первой бросается на помощь, опускает бедняжку на землю, обмахивает ее программкой. И тут же за стенами шатра у ребенка случается припадок. Взрослые толпятся вокруг.

Мастер Прогресса взмахивает рукой, повторяя жест Рори:

— Когда я смотрю с этого берега реки на тот, я думаю обо всех людях этой благословенной земли, которые страдают от редких заболеваний, от рака, кому нужна операция на сердце, но им некуда идти... Да, меня это волнует, и я должен открыто об этом заявить.

— Я разбил сердце своей матери, когда познал плотские радости с собственной няней! — бьет себя в грудь преподобный. — Невинная деревенская женщина. Она баюкала меня у груди, а когда мне исполнилось тринадцать, я овладел ею.

Едва дождавшись, пока Рори закончит, Мастер Прогресса колотит себя по груди:

— Если ребенок рождается с дырой в сердце, как малыш нашего Папи, и ему нужна операция, куда ему идти? — Он выдумал и Папи, и младенца, но это во имя Божье. — Бедному мальчику исполнилось десять, и он был уже весь синий, а не смуглый, когда Папи сумел собрать денег, чтобы отвезти его в другой штат, в самый Веллтуру^[216], в Христианский медицинский колледж... Но было уже поздно!

Мак-Гилликатти застаёт своего переводчика врасплох, внезапно сходя с невысокой сцены туда, где сидят, скрестив ноги, ребяташки. Он выхватывает одного малыша. Неуклюжий паренек, которого он тянет к себе, весь состоит из ушей, коленок и локтей, и дырка между зубов у него такая, что можно вставить колышек от тента. Мастер Прогресса признает в нем несчастного *пóттена* — от рождения глухонемого, — которого всегда усаживают на почетном месте впереди. Этот мальчик смеялся громче всех и замолкал последним. Год за годом Мастер Прогресса встречает малыша на конвенции, потому что его родители все еще надеются на чудо. Этот ребенок не произнес в жизни ни одного членораздельного слова. Ну надо же было преподобному из всех детей выбрать именно поттена!

— Когда я стал отцом, — говорит священник, взобравшись обратно на сцену вместе с улыбающимся поттеном, — я бросил собственного сына, такого же, как этот ангел. Малыш голодал. Мои родственники вынуждены были кормить его, потому что я все деньги тратил на женщин и азартные игры!

Женщину, которой стало дурно, выводят из шатра. Мастер Прогресса видит, что Большая Аммачи смотрит на него не отрываясь, с восхищением и надеждой.

— Почему этот ребенок, который серьезно болен, должен ехать в Мадрас и дальше, чтобы получить помощь? Что, если бы помощь была доступна здесь? Я говорю не о крошечной амбулатории с одним-единственным доктором и коровой у ворот. Я имею в виду *настоящую* больницу, многоэтажную, где есть специалисты и для головы, и для пятки, и для всех органов, находящихся между. Таковую же хорошую больницу, какие имеются повсюду в мире. Если одна-единственная белая миссионерка, Ида Скаддер^[217], благослови Господь ее душу, смогла построить институт мирового уровня в Веллуру, посреди нигде, неужели мы, христиане, в земле, текущей молоком и медом, не сумеем сделать то же самое?

— Только сам дьявол может отвергнуть такое дитя ради виски и разврата, — дрогнувшим голосом произносит преподобный. — Но однажды, когда я валялся в канаве в городишке Корпус-Кристи, штат Техас, Господь воззвал ко мне. Он сказал: «Назови Мое имя!» — и я ответил: «Иисус, Иисус, Иисус!»

Мастер Прогресса переводит:

— Друзья, это не то слово, что я намеревался проповедовать, но, кажется, Господь привел меня сюда от Тела Христова^[218] в Техасе и вложил в мои уста эти слова, чтобы я передал их вам. Он говорит: узрите страдания вокруг вас! Он говорит: не пришло ли время изменить это? Он спрашивает: неужели вам вправду нужна еще одна церковь? Он говорит: восславьте имя Мое больницей, достойной Меня. Я слышу Его голос, как услышал его много лет назад, когда я был падшим грешным человеком, лежащим в сточной канаве, и Господь явился мне и воззвал: «Назови Мое имя!» И я сказал: «Иисус, Иисус, Иисус!»

Толпа мертвенно тиха. Единственный звук нарушает безмолвие — карканье ворон у лотков с едой. Рори Мак-Гилликатти и Мастер Прогресса ждут, оба надеясь услышать, как публика отзовется: «Иисус, Иисус, Иисус». Но вдохновенные переключки вовсе не в традиции малайяли. Мастеру Прогресса кажется, что люди смотрят на него неодобрительно. *Они хотят, чтобы я оплошал. Вот повеселится Шошамма.* И только Большая Аммачи смотрит на него с надеждой, подбадривая кивками головы. *Я сделаю все, что смогу, Аммачи!* Ни за что нельзя подвести ее.

И вдруг молчание прерывает маленький поттен: невыразительным, чрезмерно громким голосом глухого он говорит: «Иисус! Иисус!»

Иисус!»

Моментально просиявший Мак-Гилликатти подсовывает мальчику микрофон, и его «Иисус» разносится по всему шатру и за его пределы. Рори наклоняется к мальчику, отодвигая переводчика:

— Скажи еще раз, сынок, скажи «Иисус, Иисус, Иисус!».

— Иисус! Иисус! Иисус! — кричит поттен — в восторге, что его слова превращаются в звуковые волны, сотрясающие тело. Он слышит! Он говорит! И пускается в пляс от радости.

Гул толпы нарастает, по мере того как весть распространяется от первых рядов назад, потом в соседние шатры и к тем, кто стоит снаружи, — продавцам украшений, попрошайкам и отчаянным мотоциклистам. Поттен впервые заговорил! Чудо!

— Воскликнем это вместе с ним, друзья мои, — вопит Мак-Гилликатти, лицо его багровеет от усилия подстегнуть кроткую паству. — ПРОВОЗГЛАСИМ на кровлях^[219]: Иисус! Иисус! Иисус!

Но вопль этот подхватывает только поттен, пронзительно выкрикивая: «Иисус! Иисус! Иисус!»

— Аах, — вмешивается Мастер Прогресса, разгневанный этой малаяльской сдержанностью. — Господь только что даровал голос немому. Чудо! И теперь, через Своего вестника, через это бревно хлебного дерева из штата Техас, Господь просит у вас знака внимания. Он просит, слышите? Вы здесь, чтобы обрести Святой Дух? Очиститься и обновиться в вере? И вы стесняетесь произнести имя Господа? Или вы собрались здесь, чтобы поглазеть, посплетничать, увидеть, кто беременный и чей сынок помолвлен с чьей дочкой? — Хихиканья из кучки детей. Мастер Прогресса пользуется случаем и обращается к ним: — Тогда сидите тихо, родители. Пускай ваши дети покажут, что такое вера и отвага. Благословенные чада, покажите своим родным, как надо это делать. Вы видели смелость одного из вас, который стоит сейчас на сцене. Поддержите его! Скажите «Иисус, Иисус, Иисус!».

Воистину блаженны дети, ибо они никогда не упустят официального приглашения опозорить своих родителей. Они вскакивают на ноги, и сотни юных голосов вопят: «Иисус, Иисус, Иисус!» — и этот ор наверняка попадает прямо Богу в уши. Мастер Прогресса простирает руки ладонями вверх в направлении детей, многозначительно глядя при этом на взрослых. Видите? И говорит:

— Вот почему Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»^[220]. Ну что, теперь вы можете сказать это вслух? Иисус, Иисус, Иисус!

Женщины — матери — встают и возглашают: «Иисус, Иисус, Иисус!» Что остается мужьям? Мужчины встают: «Иисус, Иисус, Иисус!» Епископы и священники, образец христианской сдержанности и благопристойности, оказываются в затруднительном положении, потому что в такой необузданной страстности определенно есть нечто нечестивое, не говоря уже об экстравагантном переводе. Но как они могут хранить молчание, когда воспевают имя их Спасителя? И они вступают: «Иисус, Иисус, Иисус!»

Благонравная конвенция никогда прежде не слышала таких песнопений. Опьяненная звуками толпа не может остановиться. Мастер Прогресса чувствует, как волоски сзади на шее встают дыбом. Слава, слава, слава! Дух Святой определенно *присутствует* здесь. Он ищет в толпе лицо Шошаммы. *Теперь ты понимаешь, что такое страсть?!* Рори подмигивает ему.

В конце концов пение сменяется громовыми аплодисментами, толпа аплодирует сама себе. Глухонемой малыш возвращается к детям, как Иисус, входящий в Иерусалим, ликующие приятели поднимают его на руки. Публика усаживается на места, люди улыбаются друг другу, несколько шокированные тем, что нарушили свои собственные правила приличия.

— Друзья мои, друзья мои. — Мак-Гилликатти раскрывает Евангелие от Матфея, показывает Мастеру главу 25, стих 33. — Господь будет судить наши жизни в день Страшного суда, и, дорогие мои друзья... — Мак-Гилликатти прижимает к груди раскрытую Библию, подходит к краю сцены, и кажется, что он сейчас расплчется. Он падает на одно колено и воздевает к небу трясущийся палец: — Запомните мои слова, мы все ОТВЕТИМ перед Ним!

Мастер Прогресса убеждается, что Святой Дух точно присутствует здесь, потому что Мак-Гилликатти открыл тот же стих, что цитировал Ленин. Мастер, тоже вцепившись в Библию, падает на колено, сначала поддернув изящным движением мунду. И переводит:

— Господь восседает в золотой *касэре*^[221], такой же, как у вас на верандах, только в сотни раз больше. Он будет взвешивать ваши жизни на Страшном суде. Если Господь позволит вам войти в Его царство, то

до конца времен у вас будет маниока и карри из *мэен*^[222]. Но если нет, вы отправитесь в иное место. Помните заброшенный колодец на участке, куда провалился как-там-его-звали, и не нашлось веревки достаточно длинной, чтобы вытащить его? — Мастер уверен, что у каждого есть собственная версия этой трагедии. — Так вот эта глубина не идет ни в какое сравнение с тем, куда вы провалитесь. Змеи, которые живут там на дне, так долго совокуплялись с падшими грешниками, что теперь это место населено жуткими клыкастыми созданиями с когтистыми человеческими руками и с телом змеи.

Откуда еще могут исходить эти слова, как не от Духа Святого? Он замечает, что среди зрителей сидит, скрестив на груди руки, «Кокосовый Торговец» Куриан и злобно сверкает взглядом. Мастер продолжает, пока не вступил Мак-Гилликатти:

— Допустим, вы оказались там, потому что собрали у себя все кокосовые орехи и безбожно взвинтили цену; подумайте, каково вам будет, когда эти существа начнут кусать, терзать и душить вас целую вечность.

Испуганные вскрики — он зашел слишком далеко. Никто никогда не говорил так образно на Марамонской конвенции. С другой стороны, мало кто любит скряг.

— Впустите Его, братья мои. Он стучится в дверь, — взывает Мак-Гилликатти со слезами на глазах. — Откройте сердца Господу. Оденьте ближнего своего. Утешьте его в печали. Помните, что сказано: «Я был болен, и вы посетили Меня, алкал Я, и вы дали Мне есть...»

В кои-то веки Мастер Прогресса переводит слово в слово, а потом добавляет:

— Год за годом, когда наши близкие болеют, мы везем их на автобусе и на поезде далеко-далеко в поисках помощи, да и то если у нас есть на это деньги. Год за годом наши близкие испускают дух, потому что здесь, в Керале, нет такой больницы, как в Веллуру! Вместе мы могли бы построить десять превосходных больниц, но мы тратим деньги на увеличение своих стад и амбаров! Господь говорит: «Постройте Мою больницу!» Разве мы не услышали Его? Разве не взывали к Его имени? Давайте же творить историю. Каждый из вас, вынимайте деньги из карманов. — И Мастер Прогресса вытаскивает из складок мунду пачку купюр. Это деньги от продажи риса, которые

нужно было положить на счет в банке. — Моя жена велела мне давать щедро!

Он выкладывает банкноты одну за другой в корзинку для пожертвований, чтобы люди могли разглядеть цвет каждой. Он слышит, как где-то в толпе ахает Шошамма. Служки оживают, принимаясь снова туда-сюда с корзинками, и даже те, кто стоял за стенами шатра на берегах реки, не могут увильнуть, потому что служки преграждают им путь.

— Чего мы ждем? — восклицает Мак-Гилликатти, который уж эту часть мероприятия понимает превосходно, хотя не может взять в толк, с чего это переводчик вылез впереди него. — Помните Евангелие от Луки, глава 6, стих 38: «Давайте, и дано будет вам. Мерею доброю, утрашенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше»^[223].

Мастер Прогресса переводит стих, пока Мак-Гилликатти вытаскивает купюры из своего кармана, чтобы положить в корзину.

Мастер Прогресса буквально слышит, как в мозгах публики крутится вопрос, несомненно под влиянием Фомы Неверующего. *Аах, а где будет эта больница? Аах, к чему такая спешка? Почему этим не занимается правительство?*

Родители маленького поттена выходят на сцену вместе с сыном. Женщина снимает свои браслеты, потом золотую цепочку с шеи и кладет в протянутую Рори корзину. Отец снимает свои украшения. «Благослови вас Господь!» — кричит Мак-Гилликатти.

А потом, к изумлению Мастера Прогресса, подходит Большая Аммачи, одна, повергнув в недоумение сидящих на лавках родственников. Она стоит там, крохотная женщина на сцене перед всеми, и отвинчивает свои кунукку. Потом расстегивает цепочку. А вот и ее тринадцатилетняя внучка, Мариамма, а следом Анна-чедети бросаются к ней, снимая на ходу браслеты и ожерелья.

— «Какою мерью мерите, такую и вам будут мерить», — говорит Мастер Прогресса. — Понимаете? Дух Святой все видит! Ничего не положите сейчас — и ничего не пожнете во веки веков! Ничего!

Теперь к сцене выстраивается длинная очередь, как будто там раздают золото, а не собирают. К удивлению духовенства, мужчины и женщины снимают золото с ушей, пальцев, запястий... В этот день не

скупится никто. Потому что если и боятся чего-либо малаяли, так это упустить возможность пожинать плоды.

глава 61

Призвание

1964, Парамбиль

— Чудо! — не перестает восторгаться Большая Аммачи, пока они ждут автобус до дома. Руки ее неосознанно теребят время от времени мочки ушей, непривычно легкие. — Я годами возносила молитвы, чтобы в Парамбиле появилась амбулатория. И сегодня Господь вмешался через Мастера Прогресса. В Парамбиле будет не только амбулатория, но и настоящая больница. Как в Веллуру!

— Но, Аммачи, — сомневается Филипос, — это же не значит, что больницу построят именно в Парамбиле...

— *Именно!* — Она резко разворачивается к нему, и в лице ее столько убежденности и решимости, что сын умолкает. — Мы должны все сделать для этого! Именно *в Парамбиле!*

В автобусе Мариамма смотрит на бабушку с гордостью и удивлением, она никогда не видела ее в таком возбуждении. Мариамма до сих пор не может поверить в то, что разворачивалось на сцене и как растрогана была она сама, охваченная волнением. Эти чувства смешались с радостью от встречи с Ленином, который в одночасье превратился вдруг из мальчика в мужчину, хотя и с выдранными волосами. Ему почти четырнадцать. И она заметила, как он разглядывал ее. Ее тринадцатилетнее тело тоже изменилось, и он робел и запинаясь, когда подошел поздороваться перед началом действия. Интересно, заметили ли это Большая Аммачи и отец.

Но в этом году она чувствовала себя на конвенции иначе, чем раньше, однако по другой причине, и это беспокоило Мариамму. Когда они подошли ближе к шатрам и двинулись вдоль вечной череды калек, их вид вдруг напугал ее. Образы изуродованных болезнями и изувеченных людей преследовали ее еще долго, даже когда они уже расселись на лавках. И сейчас в автобусе она делится этим с бабушкой.

— Раньше эти нищие *просто были* там, и все. Зрелище неприятное, немножко страшноватое, но не больше других неприятных вещей, которые приходится видеть.

— Айо! Это *люди*, Мариамма, а не вещи!

— Вот об этом я и говорю. В этом году я вдруг увидела в них людей. Раньше я была маленькая и не понимала. А теперь впервые поняла, что они не всегда были слепыми или хромыми. Может, они родились нормальными, как я, а стали такими после болезни. И я подумала: *это может случиться и со мной!* И так перепугалась, что меня всю трясло, даже когда мы сидели в шатре.

— Я видела, что тебе не по себе. Но думала, это из-за Ленина.

Мариамма краснеет. Большая Аммачи ласково приобнимает любимую тезку. Мариамма уже выше ростом, но по-прежнему любит нежные бабушкины объятия.

— Муули, нужно быть особенным человеком, чтобы увидеть людей в этих несчастных калеках. Многие так никогда и не замечают их. Как будто они невидимки. Твои тревоги означают, что ты повзрослела. Мы и должны бояться и никогда не считать собственное здоровье само собой разумеющимся. Мы должны каждый день молиться и благодарить Господа за наше крепкое здоровье.

— Аммачи, когда та женщина рядом с нами упала, я перепугалась, даже дышать не могла. Хотела убежать. А ты... ты сразу бросилась к ней. Мне было стыдно.

— Чаа! Да что я такого сделала, кроме как уложила ее и обмахивала ей лицо? Тебе совсем нечего стыдиться.

Некоторое время они едут в молчании. Потом Большая Аммачи говорит:

— Я видела в своей жизни столько страданий и трагедий, что и не описать, муули. И всегда была беспомощна. Когда твой дедушка заболел, я ничего не могла поделать. Когда мы вытащили из воды Джоджо, если бы больница была рядом... кто знает? Когда заболела Малютка Мол, ты знаешь, в какую даль нам пришлось ехать, чтобы найти врача. Вот поэтому я поднялась на сцену, Мариамма. Потому что не хочу, чтобы мы были беспомощны и напуганы. Врач знает, что делать. В больнице могут вылечить больного. Поэтому я хочу, чтобы больница стояла близко к нашим домам. Я уже старая, и это все, что я могу сделать.

— Может, лучше было, когда я не замечала калек, — рассуждает Мариамма. — А теперь я все время боюсь, что могу ослепнуть, или у меня случится припадок, или упаду в обморок, как та женщина.

— Послушай, ей просто стало дурно, вот и все. Стояла жара, она, наверное, пила мало воды. Такое постоянно случается. Твой отец падает в обморок при виде крови. Я живу достаточно долго, чтобы понять, когда у человека просто голова закружилась. — Помолчав, бабушка продолжает: — Мариамма, иногда, когда тебе очень-очень страшно, когда ты чувствуешь себя совсем беспомощной, это и есть момент, когда Господь указывает тебе путь.

— В смысле, вроде желания, чтобы рядом построили больницу?

— Нет, я говорю о тебе. О *твоих* страхах. Страх рождается из незнания. Если ты *понимаешь*, что ты видишь, если *знаешь*, что делать, ты не боишься. Если... — Бабушка умолкает.

— То есть стать врачом?

— Знаешь, некоторые люди не годятся для такой профессии. Она им не подходит. Я не могу сказать тебе, что надо делать. Но если бы я могла прожить жизнь еще раз, я бы хотела заниматься именно этим. Из-за своего страха, своей беспомощности. Чтобы меньше бояться и по-настоящему помогать. Помолись об этом. Только ты сама можешь знать, как надо. И если к этому направит тебя Господь, — поколебавшись, все же заканчивает Аммачи, — скажу честно, твоя бабушка была бы очень счастлива.

Мариамма прижимается к родному плечу, обдумывая то, что услышала. Через полтора года ей уезжать в Альюва-колледж^[224], готовиться получать высшее образование. Она собиралась изучать зоологию. Но если ее так задевают и волнуют человеческие страдания и болезни, зачем исследовать муравьев и головастиков? Почему не заниматься медициной? Если Господь указывает путь, не мог бы Он указывать более определенно? Если человеку кажется, что Бог сказал что-то, как понять, что это и есть то, что сказал Бог?

Домой Мариамма возвращается немножко другим человеком. Разговор с Большой Аммачи, понимающей ее страхи, принес утешение и странную тишину в ее разум, и чувство это остается в ней надолго. Может, Бог только что разговаривал с ней через бабушку? Мариамма не чувствует потребности обсуждать дальше эту тему ни с Большой Аммачи, ни с отцом. Она будет молиться, да, но больше всего

постарается сохранить это ощущение внутренней тишины. Говорил ли с ней Бог или только собирается поговорить, неважно, в душе настал мир.

Больничный фонд, созданный после Марамонской конвенции, несет в себе надежды и ожидания тысяч людей, присутствовавших на незабываемой проповеди Рори Мак-Гилликатти (и Мастера Прогресса). За этим событием, ныне именуемым не иначе как Откровение Больницы, последовало еще более грандиозное чудо: щедрое пожертвование в виде 150 акров земли в Парамбиле, в сердце бывшего Траванкора. Трудно найти причины для строительства больницы в каком-нибудь ином месте.

Годом позже, когда Мариамме приходит время отправляться в Альюва-колледж, она уверена: ее цель — медицинская школа. Когда девушка сообщает о своем решении семье, радость бабушки невозможно скрыть. А отец счастлив как никогда в жизни.

— Моя мать хотела, чтобы я стал врачом, — признается он. — Но я не создан для этого. Это была твоя судьба.

Большая Аммачи отводит Мариамму в сторонку и вручает ей золотое ожерелье и крестик.

— Много лет назад, когда умер ДжоДжо, сердце мое было разбито. В горе я молила Господа, я сказала: «Прошу Тебя, исцели нас или пошли того, кто сможет исцелить». Муули, я скажу тебе то, чего никогда не говорила раньше, что пропускала всякий раз, когда ты просила рассказать тебе историю про день, когда ты родилась, и про возжигание велаку. Правда в том, что я молилась Богу, чтобы Он направил тебя к медицине. Но я не хотела, чтобы над тобой довели мои ожидания. И я рада, что путь сам открылся тебе. Ты знаешь, что я молюсь о тебе каждый вечер и всегда буду молиться. Я слишком стара, чтобы поехать вместе с тобой, да и не могу оставить Малютку Мол, но твоя Большая Аммачи будет с тобой на каждой ступени твоего пути. И даже когда меня не станет, у тебя останется мое имя. Никогда не забывай: *Я пребуду с тобой во все дни.*

глава 62

Сегодня ночью

1967, Парамбиль

Как-то ночью, вскоре после отъезда Мариаммы, Малютка Мол просыпается от тяжелого сна и резко садится, цепляясь пухлыми пальцами за оконную решетку. Увидев испуганное лицо дочери, льющийся градом пот и рот, судорожно хватающий воздух, Большая Аммачи поднимает тревогу, уверенная, что ее драгоценное дитя умирает. Сразу же прибегают Филипос и Анна-чедети. Вены на лбу и шее Малютки Мол вздулись, как канаты, а на губах пузырится пена, когда она пытается откашляться. Но ужаснее всего для матери видеть страх на лице ее бесстрашной дочери. Судорожно втягивая ночной воздух, Малютка Мол постепенно приходит в себя. Она засыпает в кресле у окна, обложенная подушками.

С утра они полтора часа едут на машине в государственную больницу. Если бы новая больница уже была построена! Женщина-врач делает Малютке Мол укол, чтобы удалить жидкость из распухших ног, прописывает ежедневно принимать мочегонные и дигиталис^[225]. Она говорит, что из-за задержки в росте и искривленного позвоночника у Малютки Мол сжались легкие, со временем это вызвало нагрузку на сердце, и вот теперь за ним скопилась жидкость.

После визита к врачу Малютка Мол часто мочится и ночью спокойно отдыхает. Но Большая Аммачи лежит без сна, следя за дыханием своей маленькой девочки. Домашние спят, поэтому она беседует с тем, кто дежурит вместе с ней.

— Мы никогда не голодали, Господь, никогда ни в чем не нуждались. Я не принимаю свою благословенную жизнь как должное. Но ведь вечно что-нибудь да случается, а, Господь? Каждый год приносит новые тревоги. Я не жалуясь! Просто я мечтала, что придет время, когда мне *больше не о чем* будет беспокоиться. — Она грустно смеется. — Да, я знаю, что глупо рассчитывать на это. Такова *жизнь*, верно? Какой Ты ее и задумал. Если исчезли *все* проблемы, это значит, я

оказалась в раю, а не в Парамбиле. Пожалуй, я выбираю Парамбиль. Будущая больница — это Твоя заслуга, не думай, что я не благодарна. Но все же, Господь, время от времени мне не помешало бы немножко покоя. Кусочек рая на земле — вот все, о чем я толкую.

Малютка Мол выздоравливает, но без Мариаммы в Парамбиле все опять идет наперекосяк — точно так же, как когда Филипос уехал в Мадрас. Как будто солнце встает не с той стороны дома и ручей потек вспять. Повсюду мелочи, напоминающие о внучке: невероятно тонкой работы вышитый портрет ее кумира, Грегора Менделя; рисунки человеческого тела, скопированные из материнского учебника анатомии. Филипос скучает даже по вибрации пола, которую ни с чем не спутаешь, — он всегда чувствовал ее ранним утром, когда дочь пробиралась под окном, убегая купаться в канале, хотя он всегда ужасно волновался. Она-то думала, что отец не знает. Большая Аммачи видит, как сын потихоньку читает вслух по вечерам, хотя некому больше его слушать.

Поди удивляет родителей, согласившись выйти замуж, как будто с отъездом Мариаммы и она готова покинуть Парамбиль. Джозеф, жених, из той же касты, работает на складе. Сначала с ним познакомился Джоппан, и ему понравилась уверенность парня, честолюбие, напомнившие самого Джоппана в юности. Джозеф намерен перебраться на Залив^[226] и уже получил через посредника драгоценный «Сертификат об отсутствии возражений» — СОВ^[227]. С жалованья за первый год все расходы окупятся. Письмо отца еще не успело дойти до Мариаммы в Альюва-колледж, а свадьба уже отгремела. Обиженный ответ дочери, почему ее не пригласили, напоминает Филипосу о его собственных юношеских переживаниях по поводу свадьбы Джоппана.

Ныне, стоя у канала, Большая Аммачи видит будущее. На другом берегу на месте деревьев и кустов выстроены временные навесы для штабелей кирпичей, бамбука и куч песка. Канал расширяют, чтобы могли проходить большие баржи. Дамо что-то задерживается. Что он подумает обо всей этой суматохе? Она ждет Дамо, но просто потому что соскучилась, ей так много нужно ему рассказать.

В конце февраля, вечером четверга, погода стоит идеальная, мягкий ветерок колыхает белье на веревке. Большая Аммачи сидит

с Малюткой Мол на ее лавочке, вместе с дочерью созерцая неизменный вид их родного муттама.

— Попьешь горячий чай-джира, примешь лекарство и ночью будешь хорошо спать.

— Да, Аммачи. А я буду храпеть?

— Как водяной буйвол!

Малютка Мол весело гогочет.

— Но мне нравится твой храп, муули. Это значит, что моя девочка крепко спит и в мире все в порядке.

— В мире все в порядке, Аммачи, — повторяет Малютка Мол.

— Да, сокровище мое. У тебя ведь нет дурных предчувствий?

— Нет дурных предчувствий, Аммачи.

Что такое дурное предчувствие, как не страх перед тем, что готовит будущее? Малютка Мол живет полностью в настоящем, ей не о чем тревожиться. В отличие от дочери, Большая Аммачи, которой уже семьдесят девять, все больше погружается в прошлое, переживая воспоминания о годах, проведенных в этом доме. Ее жизнь до Парамбиля, мимолетное детство, похожа на сон, рассыпающийся при свете дня; она цепляется за края, но середина растворяется.

Этот час в сумерках перед сном — ее любимое время. Малютка Мол тихонько сидит рядом, а Большая Аммачи развязывает ленточки, расплетает и расчесывает редееющие волосы. Дочь болтает одной ногой. Ее ступни очаровательной старой куклы распухли, отечные от жидкости, лодыжки потемнели, кожа на них тонкая и блестящая.

— Я люблю свадьбы! — говорит Малютка Мол.

Мать прикидывает, есть ли связь с недавними событиями, но не находит.

— Я тоже люблю, Малютка Мол. Однажды и наша Мариамма выйдет замуж.

— А почему не сейчас?

— Ты же знаешь почему! Она учится в колледже. Медицинском.

— *Ме-ди-цинском*, — смакует звуки Малютка Мол.

— А потом выучится и станет врачом. Как та женщина, что помогла тебе. А вот потом она может выйти замуж.

— И у нас будет большая свадьба. И я буду танцевать!

— Обязательно! Но погоди-ка... нам ведь нужен хороший жених? Не какой-нибудь глупый мальчишка-бездельник, который только в носу

ковыряться может. И не ленивая дубина, который шевельнуться не в состоянии и только командует: «Поддай мне то, поддай это».

— Не дубина! — Малютка Мол гогочет так заливисто, что даже закашливается. — А какого мужа мы хотим, Большая Аммачи?

— Не знаю. А ты как думаешь?

— Ну, он должен быть ростом не меньше меня, — рассуждает Малютка Мол. — И красивый, как наш дорогой малыш. (Так она называет Филипоса.) И он должен красиво ходить.

Она с трудом сползает с лавочки, но полна решимости показать. Движения, которые она изображает, так похожи на стремительную размашистую походку ее отца, и даже стопы чуть развернуты наружу, что Большая Аммачи изумленно ахает.

— Аах! Храбрый, бесстрашный парень?

Малютка Мол кивает, но продолжает ходить, потому что это еще не все, что она хотела сообщить.

— О, я поняла. Уверенный в себе мужчина, но не чересчур уверенный, верно? Он должен быть скромным, да?

— И добрым, — добавляет Малютка Мол. — И должен любить ленточки. И бииди!

— Чаа! Если он не любит ленточки, точно не годится. Но вот насчет бииди я не знаю...

— Аммачи, просто смотреть на бииди! Никаких коробочек, никаких черных жемчужинок!

Кажется, у них уже некоторое время есть слушатели: Филипос высовывается из комнаты, на носу у него очки, в руках книжка, а из кухни появляется Анна-чедети, зажимает руками рот, чтобы не рассмеяться, глядя на расхаживающую туда-сюда Малютку Мол, такое редкое в последнее время зрелище.

— Эй, вы! На что это вы глазете? — в притворном гневе грозит публике пальцем Большая Аммачи. — Неужели мы с Малюткой Мол не можем побыть наедине? Что, в «Манораме» написали, что мы раздаем мартышкам бесплатные бананы?

— Никаких бесплатных бананов мартышкам! — в восторге распевает Малютка Мол.

И пение ее звучит так задорно и счастливо, что «дорогой малыш», сидящий и вдвое выше ее ростом, пускается в пляс вместе с сестрой,

подхватывая припев: «Никаких бесплатных бананов мартышкам! Никаких бесплатных бананов мартышкам!»

Сердце Большой Аммачи переполняет радость: ее прежняя Малютка Мол, Малютка Мол из танца муссона, ее драгоценная, драгоценнейшая доченька, навеки пятилетняя.

Какая чудесная девочка, Господь. Благодарю, благодарю Тебя.

На то, чтобы утомить Малютку Мол и устроить ее на горе подушек, уходит некоторое время. Пантомима утомила бедняжку, она запыхалась. Мать растирает ей ноги, смазывает бальзамом в надежде, что к утру отеки уменьшатся.

Снаружи лягушки завели свои песни, и Цезарь воет на луну. В кухне Анна-чедети зажигает лампу, и вокруг начинается роиться мошкара. Из комнаты Филипоса доносится потрескивание радио, звучит женский голос, но тут же прерывается, когда сын переключается на другую волну. Когда-то эти иностранные дикторы в сумерках казались такими непривычными и чуждыми в Парамбиле. А сейчас, если Большая Аммачи не слышит их голоса, ей чего-то не хватает и даже немножко не по себе. Мир стремительно меняется, но дом их, как Малютка Мол, неподвластен времени.

Большая Аммачи ложится рядом с дочерью на циновку, пухлые пальчики Малютки Мол смыкаются вокруг плеча матери, как амулет, это их ритуал еще со времен ее детства. Большая Аммачи тихо напевает гимн, слышит, как эхом вторит Анна-чедети, подметающая кухню. Дыхание Малютки Мол успокаивается.

Большая Аммачи задает Малютке Мол *тот самый* вопрос, тот, что задает каждый вечер вот уже больше десяти лет, — вопрос, который обращен к пророческому дару Малютки Мол. Она всегда задает его шепотом, а отчасти даже жестом.

— Малютка Мол? Сегодня моя ночь?

И все эти годы ответ был один и тот же. «Нет, Аммачи. Невозможно. Кто же тогда будет заботиться о Малютке Мол?» И ни единого раза не случилось, чтобы Малютка Мол не дала ответ.

Но сегодня вечером она молчит. Глаза ее закрыты, в уголках губ играет улыбка.

Сначала Большая Аммачи думает, что дочь не расслышала.

— Малютка Мол?

Дочь нежно сжимает мамину руку, а улыбка остается неизменной. Малютка Мол все слышала. Но не отвечает. Большая Аммачи долго ждет, пока дыхание Малютки Мол станет ровным и глубоким, а пальцы разожмутся, отпуская мамину руку. Большая Аммачи целует лоб дочери.

А что я себе возомнила? Что буду жить вечно?

Ей немного печально, как когда-то давным-давно, когда она была двенадцатилетней девочкой накануне поездки в дальние края, чтобы выйти замуж за незнакомого вдовца, покинуть любимую маму и родной дом. То был второй самый-печальный-день ее жизни. Но в этот раз к печали примешивается волнение.

Она бережно высвобождает руку. Нет, ей совсем не жалко себя и не страшно. Она беспокоится только о Малютке Мол. Но знает, что может положиться на Филипоса и Анну-чедети и даже на Мариамму — они позаботятся о ее любимом ребенке. Это гордыня — считать, что только она способна присмотреть за дочкой. Но все равно — разве может кто-нибудь заменить мать?

Но я же ничего не могу поделать, да, Господь? Если пришло мое время, так тому и быть. Это ведь и есть тот момент, когда я могу перестать беспокоиться, верно? Значит, быть посему.

И если это так, то есть еще два лица, которые она должна увидеть напоследок. Большая Аммачи встает с циновки.

В кухне Анна-чедети добавляет в оставшееся молоко ложку свежего йогурта, перемешивает, накрывает тканью и ставит в прохладное место. Большая Аммачи осматривает закопченные стены. Давным-давно это место перестало быть просто кухней, превратившись в святилище, верного спутника, который баюкал ее в своих теплых душистых объятиях. Она безмолвно благодарит его.

Анна приготовила чай-джира. Большая Аммачи кладет по ложке меда в чашки, побаловать себя и сына. В последний раз стоя в своей кухне, она чувствует прилив любви к Анне-чедети, ангелу, которая явилась, когда так сильно была им нужна, и стала подругой и спутницей на долгие годы. Анна замечает, как Большая Аммачи все еще стоит с чашками в руках, ласково глядя на нее, и улыбка вспыхивает на ее лице, будто солнце прорывается сквозь тяжелые тучи.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Ничего, дорогая. Просто смотрю на тебя, и все. Ты задумалась.

— Аах, аах... Неужто? — Анна застенчиво смеется, счастливым переливчатым смехом. Только Большая Аммачи может расслышать в нем печальную нотку. Решение Ханна уйти в монастырь приглушило лампу вечной радости, освещавшую лицо Анны-чедети. Но лишь укрепило ее преданность и привязанность к семье, неотъемлемой частью которой она теперь является.

— Ты и твой смех держались порознь в последнее время.

— Пора молиться? — смущается Анна. — Вы ждете меня?

— Мы уже помолились, глупышка! Забыла? Ты так красиво пела.

— Боже правый! Да, точно! — Анна весело смеется сама над собой.

— Я помолилась о тебе, как и каждый вечер. И о Ханне. Спокойной тебе ночи, дорогая. Сладких снов. Благослови тебя Господь. — И, не доверяя себе, не оглядывается, чтобы увидеть ответ Анны-чедети.

Возле кладовой она задерживается. Потом заглядывает в старую спальню, где провела свои последние дни ее мать, где рожала она сама и появилась на свет Мариамма, — теперь это уже давно комната Анны-чедети. Взгляд с любовью скользит по высокой велушке, которую она зажгла, когда родилась Мариамма, и которая теперь вновь уютно устроилась в углу. В погребе под этой комнатой тихо уже много лет, дух обрел наконец покой.

Она присаживается на минутку на любимую скамеечку Малютки Мол, не выпуская из руки чашки, глядит вверх на стропила, потом на муттам, в последний раз окидывает взором свой мир, глаза заволакивает слезами. Потом встает и идет к Филипосу. Радио выключено, сын что-то пишет, сидя за столом. Он поднимает голову и с улыбкой откладывает в сторону ручку. Большая Аммачи опускается на кровать, он подсаживается к ней, берет чашку из рук матери. Она не решается заговорить и просто смотрит на него. Как же сильно любит она сына, любила его даже тогда, когда он был не достоин любви, поработанный опиумом. И Элси она тоже любила, как дочь. Сколько же страданий выпало на долю этой пары. Большая Аммачи вздыхает.

Если я до сих пор не сказала того, что должна была сказать, значит, это и не стоило говорить.

Она тихо смеется, воскрешая в памяти образ покойного мужа и его вечное молчание.

Я все больше становлюсь похожей на тебя, старик. Позволяя паузам между словами говорить за меня. Скоро мы с тобой увидимся.

— Что ты, Аммачи? — Филипос ласково берет мать за руку.

— Ничего, мууни. — Она отпивает из чашки. Но нет, очень даже чего.

Она думает об Элси, о рисунке, который та оставила: новорожденный и старуха — она. Утонуть по воле случая — это ужасно, но намеренно утопить себя — смертный грех. Рисунок был для Элси способом передать Мариамму на попечение Большой Аммачи. Она никогда не показывала этот листок сыну. Никогда не делилась своими страшными подозрениями. Он найдет рисунок в ее вещах и пускай делает с ним что захочет.

В отличие от Малютки Мол, которая видит то, что впереди, сама она иногда видит истину, лишь оглядываясь назад... но прошлое почти всегда зыбко. Она вспоминает день, когда у Элси начались роды, намного раньше, чем ожидалось, и две жизни повисли на волоске. В тот день Господь в бесконечной милости Своей даровал ей две вещи, о которых она молилась: жизнь Элси и жизнь Мариаммы. И как легко могло закончиться двумя похоронами в один день. А потом Элси утонула.

— Прости меня, — говорит она теперь.

— За что?

— За все. Порой мы можем ранить друг друга, даже не подозревая об этом.

Филипос внимательно смотрит на мать, ожидая объяснений. Не дождавшись, говорит:

— Аммачи, я доставил тебе столько горя. А ты давно простила меня. Почему же я должен был поступить иначе? Но, если хочешь, я прощаю тебя.

Она встает, нежно проводит ладонью по его щеке, целует в лоб, надолго прижавшись губами. В дверях оборачивается, улыбается, короткой вспышкой озаряя сына своей безмолвной любовью, и уходит в свою ванную.

Она рада, что ей доступна роскошь ванной комнаты прямо в доме, но не будь так темно сейчас, она прошлась бы до места омовения во

дворе или напоследок поплавала бы в реке, чтобы попрощаться. Она будет скучать по этим ритуалам, как будет скучать по муссону и тому, как он питает тело и душу, как и эта земля. Она раздевается, поливает водой голову, восторженно ахая и наслаждаясь потоками воды, омывающей ее тело.

Драгоценная, драгоценная вода, Господи, вода из нашего собственного колодца; этой водой заключен наш завет с Тобой, с этой землей, с жизнью, которую Ты даровал нам. В этой воде мы рождаемся и принимаем крещение, мы преисполняем гордыни, грешим, сокрушаемся и страдаем, но водой очищаемся от прегрешений своих, обретаем прощение и рождаемся заново, день за днем, до конца дней наших.

Циновка бережно принимает ее вес, облегчая боль в спине, когда Аммачи устало вытягивается. Она видит, как Мариамма, ее тетка, далеко в Альюве занимается, сидя под лампой, на столе перед ней раскрытые книги. Большая Аммачи посылает внучке свое благословение и молитву. Может, другая матриарх на ее месте, заранее предупрежденная о грядущем уходе, созвала бы все семейство со всех концов земли. Но зачем? Всю жизнь она твердила им: *«Вперед! Не теряйте веры!»* Она целует Малютку Мол, свое вечное дитя, надеясь, что та не будет слишком сильно страдать, потеряв мать. Губы ее задерживаются на челе дочери, как раньше на лбу сына. Малютка Мол во сне вновь обхватывает пальцами плечо матери.

Большая Аммачи произносит молитву обо всех. О детях и внуках. Об Анне-чедети и Ханне. Она просит Бога благословить Джоппана, Аммини и Поди. Вспоминает Самуэля, камень для поклажи. *Настал мой черед, мой дорогой старый друг. Вот и я могу опустить свою ношу.* Она молится за Ленина, отпетого хулигана и будущего священника. Вспоминает Одат-коччамму и улыбается — может, они опять будут вместе молиться по вечерам. Она молится о Дамо, который все больше предпочитает глухие лесные тропы обществу других слонов. Она рада была бы вновь увидеться с ним, погладить его морщинистую шкуру. Молитву о муже она приберегает напоследок. Его нет рядом вот уже больше сорока лет, но он, как и Самуэль, присутствует в каждой частице Парамбиля. Когда они снова будут вместе, она расскажет ему обо всем, что он пропустил, даже если на это

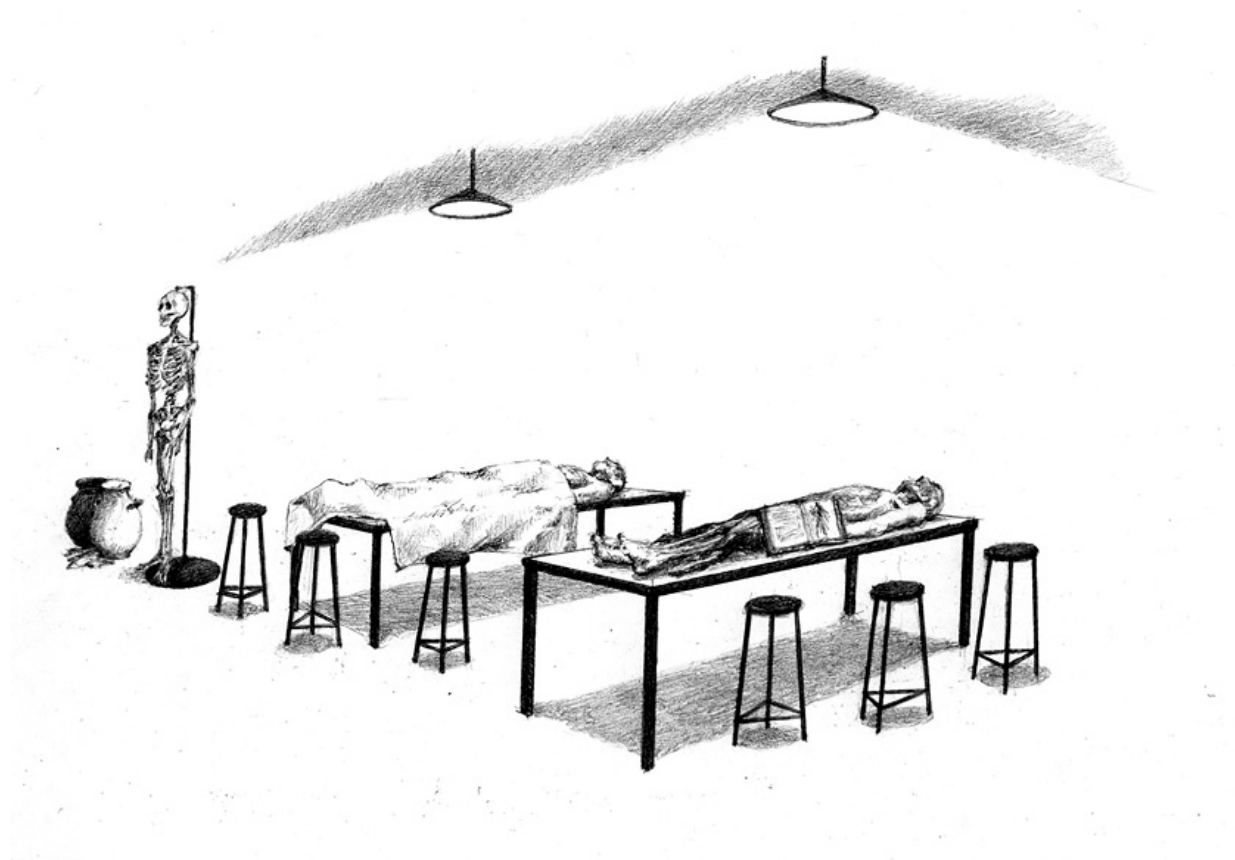
уйдет больше времени, чем все годы ее жизни. У нее будет целая вечность, чтобы наверстать упущенное.

На следующее утро, когда восходит солнце, огонь в очаге погас. Во дворе возятся куры. Цезарь бежит к задней двери кухни и усаживается в ожидании.

Большую Аммачи и Малютку Мол, застывших в объятиях друг друга с лицами спокойными и умиротворенными, нашел Филипос, который писал всю ночь, с рассветом отложил ручку и пошел посмотреть, почему в доме так тихо.

Он не поднимает тревогу, но садится рядом с ними, скрестив ноги, и застывает неподвижно в безмолвном бдении. Сквозь слезы он вспоминает жизнь своей матери, ту, о которой рассказывала она сама и другие люди, и ту, свидетелем которой был он сам в ее земном воплощении: ее доброту, ее силу, несмотря на крошечные ее размеры, ее терпение и терпимость, но больше всего — да, ее доброту. Он вспоминает их разговор минувшим вечером. *Что мне было тебе прощать? Все, что ты делала, было ради меня.* Он думает о своей любимой сестре, о замкнутой, ограниченной их домом жизни, которую она вела и которая никогда ей такой не казалась, и о том, насколько она обогатила жизнь остальных. Он всегда был для нее «дорогим малышом» и никогда для нее не повзрослел, как не выросла она сама. Чужие люди, может, и жалели Малютку Мол, но если бы они знали, как счастлива она была, как полно жила настоящим, впитывая каждую секунду, они бы ей позавидовали. Он понимает, что нужно время, чтобы очертить контуры громадной дыры в его жизни, в жизни всех, кто знал матриарха Парамбиля и Малютку Мол. Но сейчас горе слишком велико, чтобы осознать его, и он молча склоняет голову.

Часть восьмая



глава 63

Воплощенный и развоплощенный

1968, Мадрас

В свой первый день Мариамма с одноклассниками идет в Красный форт, который высится в стороне от остальной медицинской школы, как страшный родственник, спрятанный на чердаке, но в данном случае — за полем для игры в крикет. Толстые, узловатые, серые виноградные лозы образуют экзоскелет, поддерживающий крошащийся красный кирпич. Похожие на минареты башни и горгульи, таращащиеся с фризом, напоминают ей фильм «Собор Парижской Богоматери».

Мадрас изменился с тех давних кратких студенческих дней отца, когда повсюду были одни англичане, на улицах мелькали их пробковые шлемы, а в автомобилях ездили почти исключительно белые. Ныне только их призраки блуждают в устрашающего размера зданиях вроде Центрального вокзала или Сената Университета. И в Красном форте. Отец говорил, что эти сооружения производили на него гнетущее впечатление, они возмущали его, потому что платой за них было уничтожение ручных станков деревенских ткачей, чтобы индийский хлопок можно было отправлять исключительно на английские фабрики, а готовую ткань продавать обратно индийцам. Он говорил, что каждая миля проложенных англичанами железных дорог преследовала одну цель — доставить добычу в порты. Но Мариамма не испытывала негодования. Теперь это все индийское — ее, — и неважно, откуда появилось. Нынешние белые лица вокруг — это заросшие, потрепанные туристы с рюкзаками, которым не мешало бы поскорее помыться.

Когда они проходят под аркой с надписью МЕРТВЫЕ УЧАТ ЖИВЫХ, она бросает последний взгляд назад, как Жан Вальжан, прощающийся со свободой. Внутри Красного форта неестественно холодно. Светящиеся желтым лампы, свисающие с потолков, создают мрачную атмосферу темницы. Стекланные шкафы у входа напоминают

часовых, один — с человеческим скелетом, а другой пустой, будто его обитатель вышел погулять.

Два небритых босых, одетых в хаки прислужника, или «ассистента», наблюдают, как студенты гуськом втягиваются в помещение. Один высокий и худощавый, рот как узкая прорезь на лице, а глаза мутные, как у рабочего на скотобойне, глядящего на стадо, заходящее в загон. Второй небольшого роста, губы ярко-красные от бетеля и похотливо-слюнявые. Из ста двух студентов треть — девушки; второй ассистент пялится исключительно на студенток, когда его взгляд падает на ее лицо, а потом опускается к груди, Мариамма чувствует себя будто измазанной в грязи. Старшекурсники предупреждали, что в кастовой структуре учебного заведения эти двое лишь кажутся низшими из низших, они вхожи в профессорские кабинеты, наушничают начальству и могут повлиять на судьбу студента.

«Держись рядом, Аммачи», — тихонько бормочет себе под нос Мариамма. В ту ночь, когда умерла Большая Аммачи, Мариамма была в Альява-колледже, сидела за столом и зубрила ботанику. У нее возникло странное чувство, будто бабушка рядом с ней в комнате, будто если она сейчас обернется, то увидит, как старушка с улыбкой стоит в дверях. Это чувство сохранялось и когда она проснулась, и позже, когда отец приехал за ней на машине. Горе Мариаммы и сейчас оставалось таким же острым. И едва ли когда-нибудь утихнет. Но, несмотря на это, ощущение, что Большая Аммачи рядом с ней, что она — часть нее, осталось, и это ее утешало. В ночь, когда она родилась, бабушка зажгла велаку в надежде, что тетка сумеет пролить свет на смерти ДжоДжо, Нинана и Большого Аппачена, облегчить мучения таких, как ее отец и Ленин, которые живут с Недугом, что она сможет найти лекарство. Путешествие начинается здесь, но Мариамма не одна.

Резкий запах формалина с оттенком скотобойни ударяет в ноздри еще прежде, чем они входят в анатомичку. Благодаря матовым окнам от пола до потолка и лампам дневного света, освещающим ряды мраморных столов, в этом огромном пространстве очень светло. Клеенки, заляпанные бурыми пятнами, покрывают лежащие на столах неподвижные фигуры, некогда бывшие живыми. Мариамма опускает взгляд к кафельному полу. От формалина свербит в носу и слезятся глаза.

— КТО ВАШ УЧИТЕЛЬ?

Студенты растерянно останавливаются — сбитое с толку стадо, напуганное этим ревом. Кто-то наступает на ногу Мариамме.

Голос грохочет вновь, повторяя вопрос. Он исходит из толстых губ, шевелящихся под раздувающимися ноздрями. Заплывшие, налитые кровью глаза как будто таращатся на них с обломка крепостной стены из-под нависающих плит, образующих надбровные дуги, щеки напоминают выщербленный рябой бетон. Это оживший дышащий брат гаргулий на стенах Красного форта — профессор П. К. Кришнамурти, или Гаргульямурти, как прозвали его старшекурсники. Волосы его не разделены пробором и не причесаны, а торчат, как кабанья щетина. Но длинный лабораторный халат из тончайшего прессованного хлопка ослепительно белоснежен, и на его фоне куцые колючие льняные халаты студентов выглядят серыми.

Пальцы Гаргульямурти хватают руку несчастного паренька с детским лицом, адамово яблоко у него торчит так сильно, что кажется, будто бедолага проглотил кокосовый орех. Густые волнистые волосы падают ему на глаза, и парень инстинктивно откидывает голову движением, которое выглядит высокомерным.

— Имя? — требовательно вопрошает Гаргульямурти.

— Чиннасами Аркот Гаджапати, — уверенно и невозмутимо отвечает студент.

Мариамма впечатлена — на его месте она онемела бы от ужаса.

— Чинн-а! — Гаргулья забавляется, обнажив длинные желтые зубы. — Аркот Гаджапати-а? — Гаргулья подмигивает остальным студентам, требуя, чтобы те вслед за ним сочли имя забавным. И они, как Иуды, угодливо кивают. — Ладно, мне нет дела до того, кто вы такой. Но, Чинна, спрашиваю еще раз: *Ктоооо ваааш учитеель?*

— Сэр... вы наш учитель? Профессор...

— НЕВЕРНО!

Пальцы крепче сжимаются на руке Чинны хваткой, достойной питона.

— Чинна? — произносит он, но обводит взглядом студенческое стадо, не обращая внимания на бедолагу. — Вы, случайно, не заметили слова над дверями, когда впервые входили сюда?

— Сэр... да, что-то такое заметил.

— Что-то, аах? — Гаргульямурти прикидывается раздосадованным.

— Это было на другом языке, сэр. Поэтому я... не обратил внимания... — Чинна в панике пытается исправиться: — Я подумал, там написано «макку»... или вроде того.

Студенты ахают. «Макку» означает дурак. Болван.

— Макку? — Кустистые брови сходятся, как грозовые тучи. Короткая шея вжимается в плечи. Глаза сверлят Чинну. — Макку — это вы. А другой язык — это латынь, макку! — Гаргульямурти берет себя в руки. Набирает воздуха в легкие. И орет: — Там написано *MORTUI VIVOS DOCENT!* Это означает «Мертвые научат живых»!

Он волочет Чинну к ближайшему столу, сбрасывает резиновую пленку, демонстрируя то, чего они так боялись. Вот оно... Неподвижное бревно, окаменевший кожаный объект в форме женщины, но лицо — плоское как блин — трудно признать человеческим. Анита, соседка по комнате, скулит и приваливается к Мариамме. Вчера ночью, тоскуя по дому, Анита спросила, можно ли сдвинуть их койки вместе, и, не дожидаясь ответа, прижалась к Мариамме точно так же, как сама Мариамма прижималась к Ханне, или Большой Аммачи, или к Анне-чедети. И обе крепко уснули.

Гаргульямурти вкладывает руку Чинны в ладонь трупа, как священник, соединяющий жениха и невесту.

— Вот, макку, твой учитель! — Улыбка прорезает кошмарные черты Гаргульямурти. — Чинна, обменяйся дружеским рукопожатием со своим профессором! *Мертвые научат живых*. Не я здесь учитель. Она.

Чинна с готовностью трясет руку своего нового наставника, явно предпочитая ее Гаргульямурти.

Мариамма и пять ее товарищей по изучению анатомии рассаживаются, как стервятники, на табуретках вокруг стола со «своим» трупом. Каждому выдали собственную «костяную коробку» — длинный прямоугольный картонный ящик, — которую можно забрать домой. В ней лежит череп, части которого склеены, свод черепа открывается, как крышка чайника, а нижняя челюсть закреплена на шарнирах; позвонки, соединенные проволокой, зацепленной за невральную дугу, образуют ожерелье; одна височная кость; несколько

произвольно выбранных ребер; половина таза с бедренной, берцовой и малоберцовой костью с той же стороны; один крестец; одна лопатка с соответствующими плечевой, лучевой и локтевой костями; одна кисть руки и стопа, собранные на проволочках, и свободные кости запястья и предплюсны в двух маленьких тканевых мешочках.

Гаргульямурти ставит Чинну в «анатомическую позицию»: руки по бокам ладонями вперед, немножко похоже на «витувианского человека» Да Винчи.

— Мы подвижные гибкие существа, — говорит профессор. — Но в целях анатомического описания мы должны договориться, что тело зафиксировано в такой позе, как у Чинны, понятно? Только тогда можно описать части тела относительно их положения по отношению к другим частям.

Он вращает Чинну и накладывает лопатку на лопатку Чинны. Потом объясняет, что такое медиальная (ближе к средней линии), латеральная (удаленная от средней линии), верхняя и нижняя (или краниальная и каудальная), передняя и задняя (или вентральная и дорсальная) стороны. Все, что ближе к центру или ближе к точке крепления, является «проксимальным» (так, например, колено проксимальнее лодыжки), а то, что дальше, является «дистальным» (лодыжка дистальнее колена). Для начала нужно освоить этот базовый словарь. Накануне на рынке Мур старый приятель ее отца, букинист Джанакирам, подарил ей подержанный экземпляр нового издания «Грэя».

— Зубри, *ма!*^[228] — сказал Джанакирам. — «Запоминание и повторение» — вот твоя мантра!

Листая страницы, она услышала, как звучит эта мантра, отраженная в дотошных подчеркиваниях и пометках на полях, оставленных предыдущим владельцем, — дорожные знаки, указывающие ей путь. «Анатомия Грэя» была ей знакома. В старших классах школы, уже нацелившись на медицину, она часами сидела с маминым экземпляром «Грэя». Это было старинное издание, хотя иллюстрации по большей части такие же. Анатомия человека не изменилась, изменилась терминология. Слава богу, ушли латинские названия, *arteria iliaca communis* теперь просто «общая подвздошная артерия». Иллюстрации в «Грэе» завораживали ее, и не только потому, что, должно быть, были полезны матери. У нее не было маминого

художественного таланта, но она случайно обнаружила свои собственные способности. Внимательно посмотрев на иллюстрацию, Мариамма могла закрыть книгу и в точности (пускай и не слишком художественно) воспроизвести картинку, полностью по памяти. Она думала, что в этом нет ничего особенного, но изумленный отец заверил, что это подлинный дар. Если так, то ее даром была способность переводить двухмерные фигуры на листе бумаги в трехмерные образы в голове. А затем, как ребенок, складывающий кубики, она воспроизводила фигуру, двигаясь от внутренних слоев к внешним, пока не получала целое. Это было развлечение, салонный трюк. А теперь ей нужно будет знать название каждой части и запомнить страницы текста, сопровождающие каждую из фигур.

Два часа спустя они спешат, все сто два человека, в лекционный зал на другом конце Красного форта. Как и в колледже, женщины занимают несколько первых рядов в аудитории. Парни заполняют ряды над ними. Со стен сверху на них глядят бывшие деканы факультета анатомии — ДФА, — все без исключения белые европейцы, усатые, лысые, хмурые и мертвые, но увековеченные в этих портретах.

Тихо входит доктор Каупер, чисто выбритый парс, первый и единственный индийский ДФА, назначенный на эту должность после обретения независимости. Каупер изящного телосложения, с тонкими, приятными чертами лица. Когда в конце концов его портрет окажется на стене, он будет единственным с густой шевелюрой. Двое босоногих служителей и ассистент вьются вокруг Каупера, но он не нуждается в подхалимах и не рассчитывает на них. Когда ассистент проводит перекличку, Каупер держится поодаль, с родительским интересом всматриваясь в лица студентов. Когда Мариамма встает и произносит «Здесь, сэр», Каупер бросает в ее сторону приветственный взгляд, предназначенный лично ей (или ей так показалось, но позже она узнает, что у всех было ровно такое же чувство). Она чувствует болезненный укол тоски по отцу.

Раскрытая доска за спиной Каупера сияет, как эбеновое дерево. Низкорослый служитель, тот, что с похотливым взглядом (Да Винчи, как называют его старшекурсники), выкладывает рядком цветные мелки и тряпку — куда и подевалась его прежняя неторопливость, а с ней и важно надутые щеки. Аудитория ждет, занеся над тетрадами

ручки и карандаши, в полной готовности воспроизвести каждый из рисунков этого легендарного преподавателя эмбриологии. Единственные звуки, доносящиеся до слуха Мариаммы, — стоны и вздохи древнего форта.

— Дамы и господа. — Каупер с улыбкой делает шаг вперед. — Мы с вами всего лишь *арендуем* свои тела. Вы пришли в этот мир со *вдохом*. И покинете его с *выдохом*. Следовательно, мы говорим, что человек?.. Выдохся! — Плечи его подрагивают, когда он безмолвно смеется собственной шутке, глаза поблескивают за стеклами очков. — Я знаю, что происходит с телом, когда его больше нет, но не знаю, что происходит с вами, с вашей сущностью. С вашей душой. — И задумчиво добавляет: — Но очень хотел бы.

Признанием своих сомнений он покоряет их, этот улыбчивый ласковый профессор.

— Однако я знаю, откуда вы произошли. От встречи двух клеток, по одной от каждого из ваших родителей, — вот так вы и получились. Следующие полгода мы проведем, изучая процесс, занимающий девять месяцев. Но можно провести и всю жизнь, не переставая восторгаться изяществом и красотой эмбриологии. «В неизменном счастье и мире пребудут те, кто изберет эту науку ради нее самой, не ожидая никакой награды»^[229].

В процессе лекции Каупер рисует на доске обеими руками с той же легкостью, с какой ходит на двух ногах. Он стремительными штрихами изображает прихотливое слияние яйцеклетки и сперматозоида, образующее единую клетку, которая затем превращается в бластоцисту.

К концу часа Каупер расстилает на демонстрационном столе прямоугольную пыльную тряпку. Он аккуратно защипывает складку по центру тряпки, вдоль ее длинной оси, тщательно формируя длинный гребень.

— Вот так формируется нервная трубка, предшественник вашего спинного мозга. А вот эта луковичка, — продолжает он, распушив один конец гребня, — и есть ранний мозг.

Затем наступает момент, который никто из них никогда не забудет: он приседает, так что глаза его оказываются вровень с поверхностью стола, и бледные пальцы осторожно — как будто держа живую ткань — приподнимают длинные края тряпки с обеих сторон, так что они

образуют арку над центральным гребнем и встречаются над ним ровно посередине.

— А это, — указывает он носом, а потом смотрит на них через получившийся полый цилиндр, — это первичная кишка!

Мариамма забыла, где она находится, забыла, как ее зовут. Она стала эмбрионом. Клеткой Филипоса и клеткой Элси. Два превратились в одно целое, а затем разделились.

Профессор Джамсетджи Рустомджи Каупер роняет тряпку. Это больше не трехмерный эмбрион, а плоское средство для вытирания пыли. Он отряхивает мел с ладоней. Обходит широкий стол. Вскидывает руки, словно сдаваясь, голос его тих.

— Мы знаем так мало. Но то, что мы *знаем*, вызывает у меня благоговейный трепет. Известно высказывание Геккеля: «Онтогенез есть краткое повторение филогенеза». Оно означает, что стадии развития человеческого эмбриона — желточный мешок, жабры, даже хвост — перекликаются со стадиями эволюции человека, от одноклеточной амебы к рыбе, рептилии, обезьяне, *Homo erectus*, неандертальцу... к вам. — Лицо у профессора отсутствующее, мысли далеко, но глаза полны эмоций. Затем он обрывает себя и с улыбкой возвращается в настоящее: — Ну как? Для первого дня достаточно.

Он поворачивается, собираясь уходить, но останавливается и произносит:

— О, и я приветствую каждого из вас.

глава 64

Гинглимоартродиаальный сустав

1969, Мадрас

Каждый день они вшестером пилят, расчленяют и скребут «Генриетту» — так они называли ее в честь Генри Грэя, — начиная с верхних конечностей. Поразительно, как быстро рассеивается их первоначальная сдержанность, а вскоре инструкция по препарированию — «„Руководство по практической анатомии“ Каннингема» — водружается на живот Генриетты, пока они работают, по трое с каждой стороны. Они испытывают к ней собственнические чувства — невозможно и представить работу с другим трупом. Она союзник в их трудах. Когда плечо Генриетты отделяют, Мариамма вырезает на квадратике нетронутой кожи номер их группы, а потом руки складывают в чан с формалином в коридоре. На следующий день Да Винчи шарит там голыми руками, выуживает капающую конечность и выкрикивает номер. Мариамма тащит ее, обхватив запястье Генриетты большим и указательным пальцами, но выясняется, что нужно держать обеими руками, крепко, как саблю; крупные капли формалина стекают даже между пальцами ног. Обедать после анатомички невозможно, вонь формалина пропитывает кожу. Короткое письмо от Ленина в первую неделю учебы — долгожданный добрый знак.

Дорогой доктор, — можно я первый тебя так назову? Но ты не называй меня «аччан», потому что я не уверен, стану ли им когда-нибудь. Кстати, БиЭй Аччан приезжал в семинарию. Я признался ему, что всерьез думаю бросить. После стольких лет я знаю лишь, что жизнь моя была спасена ради служения Богу. Но что, если Бог хочет, чтобы я служил Ему как-нибудь иначе? БиЭй убеждал меня закончить сельскую студенческую практику. Он не отрицал, что у Бога могут быть на меня другие планы, но сказал, что иногда мы должны «жить вопросом», а не настаивать на ответе.

Они начали переписываться, когда она поступила в Альюва-колледж, а Ленин к тому времени уже довольно давно учился в семинарии. В письмах он переключается с малаяли на английский и обратно. Мариамма не ожидала, что Ленин окажется таким преданным корреспондентом. Но еще больше ее удивляет, с какой охотой он изливает свои чувства, детально и пространно описывает их, словно ему больше не с кем поделиться. Перед ее приездом в Мадрас он написал:

Я здесь как фурункул на гладкой коже. Если мои товарищи-семинаристы и разделяют мои сомнения, они никогда в этом не признаются. Они даже прикидываются, будто Книга Судей и Паралипоменон — самые скучные книги во всей Библии — их вдохновляют. Но у нас тут есть пара жемчужин, чья вера пылает в каждом их действии. Я им завидую. Почему я не могу испытывать тех же чувств?

Препарирование верхних конечностей занимает полных шесть недель. После экзамена по верхним конечностям она пишет Ленину, празднуя пройденный этап: «Я впадаю в депрессию, если задумываюсь, сколько еще осталось. Грудная клетка, живот и таз, голова и шея, нижние конечности. Еще целый год анатомии. Если учеба в Альюва-колледже была похожа на питье из шланга, то Медицинская школа — как пить из бушующей реки, и здесь *столько всего* надо запоминать наизусть».

Спустя год и два месяца со дня их первой встречи Генриетта выглядит как недоеденные тигром останки. По вечерам Мариамма и Анита экзаменуют друг друга, меняясь ролями, тренируются перед устным экзаменом, который следует за письменным. Анита сует кость в пустую наволочку и предлагает:

— Тяните, мадам.

Мариамма рассчитывает, что там запястье или предплюсневая кость, которую она должна определить на ощупь.

— Легко-лопатка-левая.

— Не торопитесь, всезнайка! Вам уже говорили, что вы тараторите слишком быстро? Назовите отдельные части.

— Коракоидный отросток, акромион, ость...

— Выньте и покажите место прикрепления трапециевидной и большой круглой мышц...

Вскоре она пишет отцу, напоминая, что пора присылать взнос за выпускные экзамены, — оказывается, год уже пролетел.

Это приятно, конечно, что Поди передает через тебя приветы, но спроси, почему она сама не может написать. Скажи, я не буду ей писать, пока не получу от нее письмо. И успокой, пожалуйста, Анну-чедети, что я не забываю на ночь пить «Хорликс»^[230]. Меня не удивило то, что ты слышал о Ленине. Он сам писал мне, что предпочел бы препарировать трупы, чем сидеть за одной партой с одноклассниками, которые сами как покойники.

Аппа, после года с лишним изучения человеческого тела мой успех или провал на экзамене сводится к шести вопросам эссе. Если провалюсь, попаду в группу Б и придется все повторять через шесть месяцев. Представляешь, сотни страниц, которые я вызубрила наизусть, сотни начерченных диаграмм — и всего шесть вопросов, вроде такого: «Опишите и проиллюстрируйте строение X». А X может быть названием одного лишь сустава, нерва, артерии, одного органа, единственной кости или одной темы в эмбриологии. Это нечестно! Шесть эссе, чтобы оценить все, что я выучила за тринадцать тысяч часов. (Анита подсчитала.)

Кстати, я рассказывала тебе про Гаргульямурти и Каупера. Оба высоко оценивают мои навыки препарирования и предложили участвовать в конкурсном экзамене по анатомии. Немногие студенты решаются на это. Экзамен проходит в отдельный день, заранее сдаешь эссе, а затем препарирование, которое нужно закончить за четыре часа.

Во время учебных каникул она просыпается после дневного сна и обнаруживает, что на ее рабочем столе сидит, часто моргая, чернолицый морщинистый паренек с седыми бакенбардами. Он, видимо, просунул руку через оконные решетки и отодвинул задвижку. Она пытается шугануть его, но он скалит зубы и угрожающе подается вперед.

Курангү^[231] обшаривает столы в поисках еды и, ничего не найдя, из подлости стягивает бельевую веревку, прежде чем смыться. Проблема обезьян поистине выходит из-под контроля.

Мариамма разыскивает Чинну, президента их курса. Тот вздыхает:

— Я приставал и к декану, и к коменданту с просьбами помочь. Безднадежно! Я хотел подождать до окончания экзаменов, но мартышки объявили войну.

Чинна был единодушно избран на пост президента — возможно, из-за его хладнокровия в самый первый день при встрече с Гаргульямурти. И пока остальные истово зубрят, Чинна начинает «Индо-приматную кампанию». Он вводит запрет на хранение еды в комнатах, имена нарушителей заносит на доску позора. Нанимает уличных мальчишек, вооруженных рогатками, чтобы те сидели на верхних балконах и залпами встречали послеобеденные набеги обезьян. Затем, каким-то таинственным образом, пара мартышек застревает на ночь в кабинете декана, а еще парочка — в кабинете коменданта, разорив и загадив комнаты в своих исступленных метаниях. И уже на следующий день бригада рабочих обрезает ветви деревьев, нависающие над общежитием, ремонтирует ставни, и мусор теперь вывозится дважды в день. Доска объявлений в столовой возглашает: **МАРТЫШКИ, БЕРЕГИТЕСЬ ЧИННЫ**. И он безусловный кандидат на переизбрание.

Но Мариамме Чинна признается, что совершенно не готов к экзамену.

— Скажу тебе правду. Я попал на медицинский факультет только потому, что мой дядя был ДМО.

Директор медицинского образования контролирует все назначения и прием на медицинский факультет.

— Дядюшка «замолвил словечко», хотя я-то хотел поступать на юридический. Это жулье в юридическом колледже не вкалывает так, как мы, точно тебе говорю.

В безумные недели, предшествующие экзамену, Мариамма получает письмо, адрес на котором написан рукой Ленина, но с почтовым штемпелем «Султан Батери». Он пишет, что находится в округе Ваянад, приписан к древнему аччану — тот вдовец, добрый и верующий человек, но очень забывчивый. Ленин наконец свободен от комендантского часа семинарии, но оказался в городишке, который

забирается под одеяло уже в половине пятого дня. Церковный смотритель, туземец по имени Кочу-паньян^[232], — единственный, с кем удаётся поболтать. Они подружились. Ленин говорит, что он все еще «живет вопросом», как предложил БиЭй Аччан. «Но вера моя испарилась, — пишет Ленин. — Во время евхаристии, когда аччан приподнимает возду́х, знаменуя присутствие Духа Святого, он плачет! Бедняга полон чувств. А я ничего не чувствую, Мариамма. Я потерялся. Не знаю, что из меня выйдет. Продолжаю ждать знака».

В последние дни перед финалом все в общежитии ходят с остекленевшими глазами, в зубрильном бреду. Они дремлют с включенным светом, потому что коллективная мудрость утверждает, будто это верный способ обходиться меньшим количеством сна. За несколько дней до финала Мариамме снится, что прекрасный мужчина подводит ее к кровати под балдахин и обводит пальцем ее профиль. Он целует ее у самого уха. «Это, — шепчет он, — гинглимоартродиальный сустав».

Она просыпается и обнаруживает, что заснула на малоберцовой кости, которая отпечаталась у нее на щеке. Мариамма не припомнит, чтобы вообще слышала раньше слово «гинглимоартродиальный». Она заглядывает в справочник и выясняет, что «гинглимо» означает шарнир, как суставы между костями пальцев, а «артродиальный» означает скользящий, как суставы между костями запястья. Но существует только *один-единственный* «гинглимоартродиальный» сустав, который объединяет в себе шарниры и скольжение, — ВНЧС, или височно-нижнечелюстной сустав.

Она рассказала про свой сон Аните, добавив:

— Вот что бывает, когда используешь берцовую кость вместо подушки.

За завтраком Мариамму в столовой приветствуют звуками поцелуев, однокурсники многозначительно теребят уши. Анита вовсе не раскаивается, потому что исследование прошлых экзаменационных вопросов подсказывает ей, что ВНЧС возникал только один раз, семнадцать лет назад. Никогда в истории ни одного медицинского факультета не встречалось такого количества студентов, вызубривших эти две страницы из «Грэя».

Наконец наступает большой день, и они вскрывают печать на экзаменационных вопросах. Первый из шести гласит: *Опишите и проиллюстрируйте голеностопный сустав.*

Глаза бегут дальше, к другим вопросам. Она должна описать и проиллюстрировать подмышечную артерию, лицевой нерв, надпочечники, плечевую кость и развитие хорды.

Но *голеностопный* сустав? Если ее сон был вещим, они упустили очевидное: малоберцовая кость! Это же часть голеностопного сустава. Сам факт, что кость отпечаталась на ее щеке, был отвлекающим маневром. Она чувствует испепеляющие взгляды сокурсников.

На следующий день Мариамма и еще шестеро студентов соревнуются на конкурсном экзамене. После эссе ей назначено рассечение, обнажающее срединный нерв, который иннервирует кисть руки. Она достойно справляется с заданием, умудрившись не защемить и не порвать нерв и его ответвления.

Чинна убежден, что очень плохо сдал письменный экзамен; если он каким-либо чудом не сдаст на отлично устный через две недели, то отстанет на шесть месяцев. Но у него есть план: следующие четырнадцать дней он будет есть по килограмму жареных рыбьих мозгов и заставит своего кузена Гунду Мани, бакалавра естествознания (не сдал), читать вслух избранные фрагменты из «Анатомии Грэя», пока он будет спать. Чинна надеется, что слова Гунду сами собой отпечатаются в его памяти на матрице из рыбного протеина. Женское общежитие отдельно от мужского («Как Виргинские острова отделены от острова Мэн», — шутит Чинна), но со своего балкона Мариамма слышит заунывные декламации кузена Гунду, как будто брамин бубнит Веды.

За десять дней до устного экзамена она получает объемистое письмо от Ленина. И не решается сразу распечатать. Если он влип в серьезные «недоразумения», лучше ей об этом не знать. Но искушение слишком велико. Ленин пишет, что жизнь наладилась, с тех пор как он наткнулся на «Москву», также известную как «Детская чайная», которая открыта далеко за полночь и предлагает чай и напитки гораздо крепче чая. В этом месте собираются интеллектуалы, многие из которых симпатизируют Партии. Ленин пишет, что он многому учится у них, особенно у Рагху, своего ровесника, банковского служащего. «Рагху говорит, что я третий Ленин, которого он встретил в Ваянаде.

А Сталинов он встречал больше, чем Рагху. И еще больше Марксов, чем Ленинов. И ни одного Ганди или Неру. Это место — родина коммунизма в Керале».

Мариамма пытается сосредоточиться на занятиях, но мысли возвращаются к письму Ленина. Северная Керала — бывший Малабар — совсем не похожа на остальную Кералу. Она никогда не задумывалась (вплоть до письма Ленина), что в Малабаре шестьдесят пять землевладельцев намбудири-браминов, или *дженми*, владеют землями столь обширными, что они никогда их даже не видели целиком. Их арендаторами были наиры и *манпила*^[233], которые получали огромный доход и отдавали дженми положенную часть. Когда цены на перец упали, дженми обложили налогом арендаторов и даже туземцев — племена вроде паньян. Вот поэтому, объясняет Ленин, коммунизм Кералы зародился в Ваянаде. «В семинарии мы ничего не знали о подлинных страданиях нашего народа. Можешь называть это коммунизмом или как пожелаешь, но мне хочется отстаивать права низших каст».

В день экзамена первым идет ее сокурсник Друва. Он так волнуется, что весь дрожит. Бриджмохан («Бриджи») Саркар, приглашенный экзаменатор, указывает на цилиндрическую колбу, где в формалине плавает уродливый новорожденный. «Определите аномалию». Раздутая голова ребенка, размером с баскетбольный мяч, — типичная гидроцефалия, «жидкость внутри мозга», факт, прекрасно известный Друве. После того как он назовет аномалию, следует перейти к обсуждению желудочков мозга и циркуляции образующейся в них спинномозговой жидкости. У этого младенца отток жидкости нарушен, в результате чего желудочки, в норме представляющие собой щелевидные полости в глубине обоих полушарий, раздуваются, давя на окружающие ткани мозга. В несросшемся податливом черепе младенца голова расширяется. Но у взрослого человека, у которого кости черепа уже срослись, мозг окажется зажат между черепом и раздутым желудочком, что приведет к потере сознания. Друва, растерявшийся и онемевший от волнения, в конце концов открывает рот, но вместо «гидроцефалия» с уст его срывается слово «гидроцеле». И бедняга мгновенно понимает, что это

фатальная оговорка. Существует огромная разница между жидкостью вокруг мозга и жидкостью вокруг яичек.

Вслед за его высказыванием повисает ошеломленная тишина. И, прежде чем Друва успеваает поправиться, Бриджи Саркар раздражается смехом. Смех заразителен, и вскоре доктор Пиус Мэтью, университетский экзаменатор, тоже содрогается от смеха. (Чинна и Мариамма, дожидаящиеся за дверью, могут лишь надеяться, что эти звуки — доброе предзнаменование.) По щекам экзаменаторов льются слезы, а выражение лица Друвы вызывает новые взрывы хохота. Всякий раз, как экзаменаторы пытаются задать новый вопрос, их душит смех. Наконец Бриджи, вытирая глаза, жестом выпроваживает Друву из аудитории.

Друва, собравшись с духом, решается уточнить:

— Сэр, я сдал, сэр?

Пиус продолжает улыбаться, но улыбка Бриджи мгновенно гаснет.

— Молодой человек, может ли гидроцеле вызвать отек головы?

— Сэр, нет, сэр, но я...

— Но таков был ваш ответ.

— Ну как, да?^[234] — подсказывает Чинна к вышедшему Друве.

— Облажался, вот как!

Вызывают Чинну. Он возвращается почти сразу. И следом за ним выходит доктор Пиус.

— Пять минут, Мариамма, — печально улыбается доктор Пиус, направляясь в сторону туалетных комнат.

Когда он удаляется на достаточное расстояние, Чинна говорит:

— Группа Б: баклажаны и болваны — отличная компания для Чинны и Друвы.

— Что спрашивал Бриджи?

— Ничего! Он заявил: «Ваш чертов дядюшка отменил мое повышение. Можете до конца жизни жрать рыбы мозги, можете даже отрастить себе спинной плавник и жабры. Но пока экзамен принимает доктор Бриджмохан Саркар, это не поможет Чиннасами Аркоту Гаджапати его сдать». Наверное, этот ублюдок Да Винчи разболтал Бриджи про моего дядю. И про рыбы мозги.

Чинна перед экзаменом отказался «позолотить ручку» служителю на удачу. Это было чистое вымогательство, но все, кроме Чинны, подчинились. Он с досадой продолжает:

— Говорю тебе, ничего хорошего не выходит, когда семья тебя проталкивает. В результате непременно застрянешь.

Доктор Пиус еще не вернулся, но доктор Бриджи Саркар высовывает голову и кивает Мариамме. Она делает знак Чинне подождать. Едва ли ей повезет больше, чем ему.

— Мадам, — начинает доктор Бриджмохан Саркар, едва за Мариаммой закрывается дверь, — ваша работа на конкурсном экзамене была хороша, очень хороша. — Они оба так и стоят. — Вы единственная, кто сумел не повредить нервные ответвления. Скажу вам по секрету, ваши шансы...

Он замолкает, но улыбается, многозначительно приподняв брови. Мариамма радостно вспыхивает.

— Готовы к устному экзамену?

— Полагаю, да, сэр.

— Отлично. Прошу вас, засуньте руку в мой карман.

Она стоит перед ним в своем кремовом сари и короткой белой накидке. Наверное, она ослышалась?

Несмотря на гнетущую жару, на напудренном лице доктора Саркара ни капли пота. Он стоит между ней и дверью. Доктору Саркару за пятьдесят, он высокий, щеки впалые из-за отсутствующих коренных зубов. Тощие конечности диссонируют с выпирающим животом. Покачиваясь на пятках, он задумчиво задирает нос к потолку, выражение лица у него жесткое, как стрелка на его льняных брюках. И поза вполборота, чтобы предоставить Мариамме легкий доступ к правому карману.

Она усердно училась. Она готовилась. Но не к такому.

В ушах звенит. Потолочный вентилятор разгоняет знойный воздух, поднимающийся от бетонного пола. Со стола за ними с интересом наблюдает малыш-гидроцефал, утопивший Друву. На открытом лотке лежит отпиленная половина головы с удаленной нижней челюстью. Сквозь ткань мешка проступают контуры спрятанных в нем небольших костей.

Хоть бы он сел уже. Хоть бы вернулся доктор Пиус. Хоть бы он спросил меня про гидроцефалию или попросил засунуть руку в мешочек с костями...

Но Бриджи не использует тканевый мешок, только свой карман.

На шее Бриджи пульсирует извилистая раздвоенная жила, похожая на змеиный язык.

— Или сунете руку в мой карман, или возвращайтесь в сентябре, — тихо говорит он, глядя прямо перед собой.

Мариамма застывает. Почему просто не сказать «нет»? Стыдно даже обсуждать такой выбор. Стыдно видеть, как левая рука вытягивается вперед, словно по собственной воле, — Бриджи стоит так, что левой рукой кажется проще.

Она опускает руку ему в карман. И надеется, что Бриджи Саркар спрятал там какую-нибудь часть скелета — гороховидную кость или таранную, — которую она должна угадать. Ей так хочется в это поверить. И совсем не хочется ошибиться.

Она просовывает руку глубже. На долю секунды не может понять, что же такое там нащупала. Нечаянно промахнулась? И по ошибке схватила его пенис? Но почему никакая ткань не помешала руке? Орган, который она держит, оказался гораздо тверже, крепче и менее подвижный, чем она себе представляла. Она что, должна назвать его части? Поддерживающая связка, пещеристые тела, губчатое тело...

Мозг изо всех сил пытается продолжать работать в режиме экзамена, встретившись с органом, с которым у нее не было непосредственного опыта взаимодействия в набухшем или ином его состоянии, но мысли устремляются к болезненным воспоминаниям, от которых желчь подступает к горлу: лодочник на канале, показывающий им с Поди свое хозяйство с проплывающей мимо баржи; мужик, прижавшийся к ней в автобусе; заклинатель змей в тюрбане, материализовавшийся напротив женского общежития, — заметив, что Мариамма разглядывает его, сделал вид, будто снимает ткань, покрывающую его корзину, а на самом деле задрал свою лунги, и из паха выскочила совсем другая змея.

Почему мужчины подвергают ее и каждую знакомую ей женщину такого рода унижению и оскорблению? Неужели, только принуждая прикоснуться или демонстрируя *это*, они убеждаются, что орган существует? Еще раньше в этом году, когда автобус женского общежития вез их обратно с выставки сари, перекрытый участок дороги вынудил водителя поехать в объезд по узкому переулку позади мужского общежития. Какой-то студент читал газету на балконе, совершенно голый. И мгновенно прикрыл газетой лицо, а не нижнюю

часть. Понятно — он не хотел испытывать неловкость, если вдруг его узнают. Но вот чего она не могла понять, так это его решения встать в полный рост, все так же прикрывая лицо, но выставив напоказ остальное, пока мимо медленно полз автобус с пассажирками.

Впоследствии Мариамма не могла объяснить ни себе, ни кому-либо другому то, что произошло потом. Это отчаянный инстинкт выживания загнанного в угол животного, но вместе с тем и безудержная первобытная злость. Мариамма вновь переживает знакомый кошмар, в котором змея обнажает клыки и плюет в нее ядом, а она отчаянно сжимает ее шею под капюшоном, держа подальше от лица, вцепляясь все крепче, когда та извивается, хлещет хвостом и пытается броситься... И вот ее пальцы инстинктивно сжимают со смертоносным намерением пенис Саркара. Правая рука вступает в битву, приходя на помощь левой, врезаясь в пах Бриджи снаружи, усиливая хватку и вцепляясь во все, что болтается, — мошоночный мешок, придаток яичка, яичко, корень полового члена... к дьяволу анатомию — и стискивает не на жизнь, а на смерть.

В первый момент самомнение Бриджи заставляет его подумать, что она ласкает его. Он открывает было рот, брови взмывают вверх, но слова застревают в горле, он бледнеет. Делает шаг назад, вены на висках вздуваются, он задевает стол, образцы с грохотом падают, стекло разбивается, плод-гидроцефал скользит по залитому формальдегидом полу. Бриджи, отступая, тянет Мариамму за собой, ибо что бы ни происходило, она не отпустит, не должна отпустить змеиную голову. У Бриджи вырывается крик, Мариамма тоже кричит, и от ее крика леденеет кровь, когда они вдвоем падают на стол. Ее лоб натывается на разбитое стекло, но ничто не может помешать решимости задушить змею, даже если сама она погибнет от напряжения.

Дверь в аудиторию распахивается, но Мариамма не оборачивается. Лицо доктора Бриджи Саркара в нескольких дюймах от нее, запах паана из его рта достигает ее ноздрей, его вопли затихают, кожа становится пепельно-серой. Он хватает девушку за предплечья, но слишком поздно, силы его иссякли, и прикосновение скорее умоляющее. А потом тело его обмякает, руки безвольно падают, он оседает, закатывая глаза. Мариамма слышит, как Чинна умоляет ее отпустить доктора, пока Да Винчи и Пиус пытаются оттащить Саркара,

но она не может отпустить, как не может заглушить свой боевой клич. Храбрый Чинна ныряет рукой в карман доктора и один за другим отцепляет ее пальцы.

Чинна оттаскивает Мариамму и поскорее уводит ее, а со лба у нее хлещет кровь. Он усаживает девушку в пустой лаборатории и прижимает платок к ране. Она бросается к раковине и неистово трет руки, отмывая, потом ее рвет, а верный Чинна поддерживает ее, продолжая зажимать рану.

Рыдания и ярость смешиваются, как кровь и вода, когда она приникает к Чинне. Потом вспоминает — он ведь тоже мужчина. Мариамма колотит его по груди, по ушам, а он терпит, предлагая себя в жертву, желая быть наказанным, но при этом мужественно пытается остановить кровотечение, хотя это оставляет его беззащитным, но Чинна не сопротивляется, дожидаясь, пока она выдохнется.

- Прости меня, — шепчет он.
- За что ты просишь прощения?
- Мне стыдно за всех мужчин.
- И правильно. Вы все ублюдки.
- Ты права. Прости, мне очень жаль.
- И мне жаль, Чинна.

глава 65

Если бы Бог мог говорить

1971, Мадрас

Женское общежитие опустело. Большинство студенток уехали домой на каникулы. Остались только несколько практиканток. Поскольку студенческая столовая закрыта, им приходится обедать в больничном кафетерии.

Мариамма пишет отцу, что сдала анатомию... но должна отложить возвращение в Парамбиль примерно на месяц, чтобы завершить «неоконченный проект». Неоконченный проект — это она сама. Внешне она отмахнулась от гнусного происшествия с Бриджи. Но внутри по-прежнему в смятении. Ей стыдно посмотреть в глаза отцу. Шрам на ее лбу и объяснения очень сильно расстроят его, он захочет правосудия. Для нее правосудие состояло в том, что все поверили ее рассказу — Бриджи известен был подобными выходками. Но инфаркт Бриджи, его позор, отстранение от государственной службы — недостаточное наказание. Его следует упечь за решетку. Однако Мариамме вовсе не хочется привлекать к себе еще больше внимания, настаивая на продолжении дела. Какой-то врач, незадачливый стихоплет, уже обессмертил непристойный скандал в стихах:

На экзамене Бриджи-скотина
Свой член предложил ей в штанине.
А она подчинилась
И послушно вцепилась.
И теперь он уже не мужчина.

По утрам Мариамма хвостиком следует за старшекурсниками в отделение терапии. Она взволнована первой встречей с настоящими живыми пациентами и болезнями; сразу вспоминается, зачем она здесь. Во второй половине дня она торчит в своей душной комнате, читая о пациентах, которых ей показали. Как ни странно, она скучает по

кошмару надвигающегося экзамена или необходимости зазубрить толстенный учебник — все что угодно, лишь бы отвлечься от случившегося. Она в растерянности.

Три недели спустя, вернувшись из больницы, Мариамма видит, что под дубом во дворе общежития устроился на лавочке какой-то парень. Борода ковром покрывает его шею, скулы и заканчивается в кудрях на макушке. Впрочем, шрам на левой щеке лишь частично скрыт этой бородой. Из-за ярко-оранжевой курты кажется, что парень весь в огне. Не хватает только попугая и игральных карт, чтобы сойти за предсказателя. Но по добрым сонным глазам невозможно не узнать Ленина. В руках у него казенная чашка из столовой — должно быть, в девичью святая святых его впустила добросердечная матрона Тангарадж.

И он тоже сразу узнает ее, хотя та Мариамма, которую они оба помнили, исчезла в аудиториях Красного форта полтора года назад. Внутри она стала кем-то другим.

Ленин отставляет чашку и идет навстречу.

— Мариамма? — протягивает он руки, но она резко отстраняется.

— Что ты тут делаешь? Тебя Аппа прислал?

— Я тоже очень рад тебя видеть, Мариамма...

— Мужчинам нельзя заходить в общежитие. — Она сама не может объяснить внешнюю враждебность, хотя внутри ужасно рада его видеть.

— И тем не менее вот он я, — с вызовом отвечает он.

— Удивительно, как это Матрона пропустила тебя.

— Я сказал, что я твой брат.

— Другими словами, соврал?

— Я говорил... метафорически. И Матрона сказала: «Как мило! Ты, наверное, почувствовал боль Мариаммы и решил приехать!»

— Что, правда? Ты почувствовал мою боль?

Выражение лица у Ленина как у мальчишки, который «позаимствовал» велосипед и разбил его и теперь обречен сказать правду, каковы бы ни были последствия.

— Нет, — вздыхает он, — не почувствовал. Но ты не отвечала на мои письма. Я решил, что ты в Парамбиле. Я только несколько часов назад прибыл на Центральный вокзал. Оглянулся по сторонам — а тут

Медицинский колледж Мадраса. Решил воспользоваться шансом. Спросил, где тут женское общежитие, и вот я здесь.

— А разве ты не должен нести свое сельское служение?

— Аах. У меня случилось...

Это не тот прежний Ленин. Куда девалось его праведное негодование. Он даже не может произнести привычное слово, которым он прежде объяснял все свои проблемы.

— У меня тоже, Ленин. Случилось небольшое «недоразумение».

— Матрона мне намекнула. Она думала, я и так знаю, — вопросительно глядит он на нее.

— Ну да, все в курсе. Но не знают, что сказать. «От всей души желаю тебе благополучного выздоровления»? — Смех звучит странно даже для нее самой. И еще более странно, потому что она смеется, вытирая глаза.

Ленин опять тянется к ней, берет за руку. Потом нежно привлекает к себе. Она вцепляется в него, как тонущая девочка. Курта наждачной бумагой царапает лицо, но это самая желанная одежда на свете. Если Матрона увидит... но вообще-то он ее брат.

— Мне стыдно возвращаться в Парамбиль.

— Вот еще! Я горжусь тобой! Стыдно разве что потому, что ты не прикончила этого козла.

— Давай сбежим отсюда, Ленин, — внезапно предлагает она. — Сбежим из города. Пожалуйста.

Он колеблется, но лишь мгновение.

— Давай.

Когда автобус выруливает к берегу, кажется, что океан усыпан сверкающими бриллиантами. С каждой милей она словно сбрасывает с себя грязные одежды, счищает замаранную кожу. Шумный дизель и ветер в открытые окна не способствуют разговорам. Пальцы Ленина в никотиновых пятнах. Он похудел, а в чудесных глазах его появилась жесткость, которой она не замечала раньше. Грубый шрам на лице гораздо обширнее, чем ей показалось сначала, задевает ушную раковину, рану явно не зашивали. Теперь они оба меченые.

В Махабалипурам уличный разносчик срезает для них верхушки кокосовых орехов, предлагая питье. Ленин покупает сигареты, печенье

и ветку жасмина ей в волосы. Аромат облаком висит над ней, когда они идут к каменным храмам.

Мариамме хочется не храмов, а океана — шелеста волн, исцеляющей силы воды. Она позволяет прибою омыть ее ноги, пока Ленин держится в стороне. Кроме них, тут почти никого нет. Песчанки выстроились рядком, как носильщики на железнодорожной платформе, в ожидании очередной волны, они благоразумно отступают прямо перед длинным водяным языком, выбирая невидимых морских червячков.

— Ленин, я должна искупаться. Я никогда не плавала в море. В Марина-Бич очень сильный прибой.

Он забеспокоился.

— Отвернись. И не смотри. — Она снимает сари, нижнюю юбку и блузу, складывает рядом с ним.

В одном белье ныряет в воду. Дно сразу уходит из-под ног. Течение непредсказуемо, но оказаться в воде такое наслаждение. Ленин по-прежнему старательно смотрит в сторону.

— Эй! — зовет она. — Можешь повернуться.

Обернувшись, он нервно поглядывает на нее. Кричит, чтобы была осторожнее. Она пробует плыть, но с трудом ухватывает ритм океана. Глаза жжет, соленая вода заливает нос. Но она хохочет. Погружение — это милосердие и прощение.

Ленин с явным облегчением наблюдает, как Мариамма выходит. Послушно отворачивается, но протягивает ей тхорт из своей дорожной сумки. Она чувствует себя отчаянной, безрассудной. После того, через что она прошла, она имеет право быть безрассудной, быть любой какой пожелает. Ленин прикрывает ее, пока Мариамма снимает мокрое белье и надевает блузу, юбку и сари. Вода разрушила барьеры внутри нее.

Они садятся на песок. И она рассказывает Ленину про Бриджи. Хотя ее история известна всем, никто не знает, что она чувствует. И вот сейчас изливается наружу: ее гнев, ее стыд, чувство вины — они никуда не делись. С рассказом приходит чувство раскрепощенности, освобождения. Мариамма не испытывает вины или раскаяния по отношению к Бриджи. Ничего, кроме того, что была наивна и что она женщина. В процессе расследования она осознала собственные права, отвергла малейшие предположения, что могла быть виновата. Она усвоила урок: показывать слабость, рыдать и сокрушаться не поможет.

Не следует просто надеяться на справедливость — ее нужно добиваться.

Закончив, Мариамма чувствует себя гораздо лучше. Она ест печенье, а Ленин сидит рядом, скрестив ноги, курит и, опустив голову, чертит круги на песке. Пока она говорила, он был явно взволнован, даже взял ее за руку. Она эгоистка, что не расспрашивает про его «недоразумения», про шрам и почему вообще он здесь оказался? Или просто дает ему возможность самому решить, что и когда говорить? Он расскажет, когда сочтет это удобным. Или не расскажет.

Смеркается, и грохот волн нарастает. Темные силуэты храмов на фоне неба рождают ощущение, будто они перенеслись назад во времени. Наверное, мама приезжала сюда, когда училась в Мадрасе, и плескалась в тех же самых волнах. Эта вода соединяет живых и мертвых. Может, именно эти скульптуры вдохновили ее на Каменную Женщину. Морской бриз успокаивает и освежает. Мадрас как будто в миллионе миль отсюда.

— Минуты, которые мы проводим, наблюдая за бегом волн, не идут в счет жизни, — говорит она.

— Правда? Тогда, может, мне остаться здесь, если я хочу дожить до тридцати. — Он улыбается, но ей не нравится то, что он сказал.

Уже совсем стемнело, когда они все же покидают пляж, спотыкаясь в песке и держась за руки. Последний автобус в город уже ушел. Прежняя Мариамма впала бы в панику, а нынешней просто наплевать.

Написанная от руки вывеска на узком трехэтажном лодже гласит, в одно слово: МАДЖЕСТИКОТЕЛЬРОЙАЛМИЛС. Сидящая перед ней одинокая фигура резво вскакивает на ноги и, встряхивая полотенцем как кнутом, смахивает пыль со стульев и обеденных столов. Хозяин счастлив видеть клиентов. Поскорее ведет их вверх по шаткой скрипучей лестнице, а Мариамма восхищается остроконечной формой его черепа.

Она приподнимает тощие матрасы в поисках клопов. Сидеть здесь негде, только на узких койках. Свет обеспечивает одинокая голая лампочка под потолком. Раздвижная дверь ведет в крошечную ванную комнату — напольный унитаз, раковина и ведро с болтающейся в нем кружкой. Стоит включить свет, как из-под ног во все стороны

разбегаются тараканы. Мариамма наполняет ведро и моется, смывая пот, песок и соль. Ленин одолжил ей мунду из своих запасов, и она заворачивается в него до подмышек. Потом его очередь мыться.

Парнишка, который приносит ужин, должно быть, сын хозяина, потому что череп у него такой же вытянутый.

— Это называется оксифеалия, — сообщает она Ленину.

Он впечатлен, но энтузиазм стихает, когда Мариамма уточняет, что это не лечится.

— Ну хорошо, что этому, по крайней мере, есть название, — хмыкает Ленин.

Почему-то его слова и ее выбивают из колеи. Как и в случае с Недугом, название ничего не лечит.

Упакованное в банановые листья овощное бирьяни превосходит ожидания насчет «РойалМилс»^[235], стряпня хозяина гораздо лучше правописания. Ленин, обнаженный по пояс, едва притрагивается к еде. Мариамма раньше часто видела его без рубашки, но сейчас это почему-то воспринимается совсем иначе. Он ошеломленно наблюдает, как она набрасывается на свою порцию, а потом и на остаток его. Когда Мариамма закончила, Ленин шутливо тычет ее в плечо.

— Эх, Мариамма, — говорит он, — вечно с тобой так. Только отвернешься, как ты влипаешь в неприятности. — Он закуривает.

Она выдергивает сигарету у него изо рта:

— Эй, мог бы и предложить!

Она втягивает дым, медленно выпускает; белесая спираль лениво тянется к потолку, как живое существо. В его ухмылке проглядывает прежний Ленин, но дается она ему с трудом.

— Итак, братец. Выкладывай. Что с тобой происходит?

У него было достаточно времени, чтобы решиться.

Ленин долго смотрит в окно.

— Я встал на свой путь, — говорит он.

Она ждет продолжения, но Ленин молчит.

— Прямой, тот самый? И не сможешь остановиться, пока не будешь вынужден?

Он кивает.

— Но на этот раз, когда я дойду до конца, это будет действительно конец.

Больше ему сказать нечего.

— Хорошо, а как поживает твой приятель-туземец — Кочу-паньян, да? И Рагху, который из банка? Видишь, я читала твои письма.

Он поворачивается к ней, и лицо его становится еще мрачнее.

— Они оба погибли.

Ледяная рука сжимает ей горло. Хочется заткнуть уши. Пускай он замолчит. Мариамма вскакивает на ноги, сама не понимая зачем. Свет лампочки слепит глаза, и она выключает ее. *Вот так. Так лучше.* Она расхаживает по комнате маленькими шажками, стараясь не выглядеть растерянной и напуганной. Глаза привыкают к полумраку. Света из окна достаточно. Снизу доносятся женские голоса. Она помнит, как девчонкой ненавидела новоявленного родственника Ленина за его выходки, но вечно таскалась за ним по пятам. Почему? Потому что хотела знать, что он выкинет дальше. Прямо как мания. Лицо Ленина в отблеске сигареты сочувственное. Но за этим выражением она видит и другое — отчаяние. Мариамма усаживается на кровать скрестив ноги, лицом к нему. Ничего не может с собой поделывать. Старая мания никуда не девается. Она должна знать, что дальше.

— Попав в Ванаяд, я начал припоминать странные вещи, — рассказывает Ленин. — Кажется, в письмах я об этом не рассказывал. Мы когда-то жили там, когда я был маленьким, ну, так говорили родители, но я ничего не помнил с тех времен. Только когда я познакомился с Кочу-паньяном, побывал в его лесной деревне, где жили три или четыре поколения, тогда начали всплывать воспоминания. О маме, очень красивой. Я вспомнил, как ждал ее около таких же хижин, как у Кочу-паньяна, и закрывал уши, чтобы не слышать криков рожающей женщины. Как наяву видел: мужчина, похожий на Кочу-паньяна, приходит к нам домой с огромным карпом для моей мамы. Наверное, это была плата за работу. И он почистил его для нас, а потом вернулся еще раз с маслом и, кажется, рисом. Может, он увидел, что мы одни, огонь в очаге погас и отца в доме нет, — а что, хорошая версия. Ну не выдумал же я все это? Какие еще воспоминания похоронены в моей голове?

Туземцы — очень недоверчивые люди, говорит Ленин. Их угнетали и поработщали все, кто завоевывал эту землю. Англичане отменили рабство, но заставили туземцев вырубать драгоценные деревья, чтобы строить корабли. Если бы англичане не открыли для себя чай, горы уже облысели бы. Но тогда они заставили туземцев

строить террасы на склонах, где жили поколения их предков. А потом, совсем недавно, на смену пришли новые эксплуататоры, малаяли из Кочина и Траванкора, — миграция на север, пояснил Ленин. Чиновники, купцы, шоферы со своими автомобилями. «Люди вроде моего отца». Туземцы не знали денег, все, что им нужно, они получали путем обмена. Новые пришельцы побуждали их строить прочные дома, а для этого покупать у них кирпичи, тачки, лопаты, подъемные блоки, цемент, ткани и сетки — не надо наличных, просто отпечаток большого пальца. А когда они не могли заплатить, лишались земли. Туземцы усвоили печальный урок.

— Когда тебя грабят, ты быстро становишься политически грамотным. Тебе нечего терять, кроме цепей. Это, кстати, Маркс сказал, не я.

— Хорошо, что ты цитируешь Маркса.

Ленин запнулся.

— Могу замолчать, если ты не хочешь дальше слушать.

Она не отвечает.

В «Детской чайной» — ее еще называли «Москва» — Ленин полюбил сидеть с Рагху. Иногда тот приходил с немолодым человеком, лет за сорок, по имени Ариккад, который обычно надолго не задерживался. Рагху сказал, что если Ленин всерьез хочет понять классовую ситуацию в Ваянаде, то Ариккад в этом вопросе профессор. Ариккад происходил из христианской семьи среднего достатка. Он сидел в тюрьме за участие в забастовке рабочих с фабрики койры. Рагху сказал, что нет лучше образования, чем полученное за решеткой. Среди заключенных по рукам ходили «Капитал» Маркса и «История Коммунистической партии Советского Союза» Сталина — по той простой причине, что это были единственные книги, переведенные на малаялам. Садись в тюрьму за пьяную драку, а выходишь трезвым коммунистом. Ариккад стал преданным сторонником Партии, жил среди туземцев, защищал их. Ни один представитель Партии Конгресса никогда ничем подобным не занимался.

— Когда меня представили Ариккаду, — рассказывает Ленин, — он показался мне очень скромным. И вдохновенным, окрыленным. Даже больше, чем мой старый аччан. Передо мной был человек, который реально делает что-то, чтобы улучшить жизнь туземцев. А его гораздо больше заинтересовал я, мое призвание стать священником.

— Аах! У тебя же были для этого веские причины, — сухо прокомментировала Мариамма. Слова вырвались сами, она не подумала. — Прости. Не обращай внимания. Продолжай.

— Нет, ты права. У меня и вправду вроде бы есть причина. В этом и проблема. Раньше я верил в свое предназначение. А теперь нет. Я был спасен не для того, чтобы служить Богу. Я был спасен, чтобы служить людям — таким, как та пулайи, что спасла меня. Но я не делал этого, в семинарии точно нет. Короче, я поделился своими сомнениями с Ариккадом. И он сказал: «Выходит, ты устал распространять опиум?» Я сразу не понял, пока он не объяснил. Оказывается, Маркс сказал, что религия — это опиум для народа. Она не позволяет угнетенным выражать недовольство и пытаться изменить положение вещей. А еще Ариккад сказал, что церковь не должна быть такой, как у нас здесь. Он сказал, что в Колумбии и Бразилии были иезуиты, которые жили и работали вместе с туземцами, ровно как учил Христос. А когда крестьяне подняли бунт против правительства, которое их угнетало, эти священники проявили солидарность. Они присоединились к повстанцам. Ослушались своей церкви. Один из иезуитов написал книгу об этом. Называется «Теология освобождения»^[236]. Для меня это стало откровением. Интересно, были ли в нашей семинарской библиотеке такие книги. Наверное, нет.

Все изменилось в жизни Ленина, когда однажды Кочу-паньян не пришел на работу. Он появился на следующее утро, очень рано, постучался в дверь Ленина в тоске и отчаянии. Оказалось, что его младший брат одолжил денег у бизнесмена по имени К. Т. под залог их семейной земли. Пришел срок платить. Вместо того чтобы рассказать семье — а его, должно быть, много раз предупреждали, — брат исчез. Кочу-паньян впервые узнал обо всем, когда явился К. Т. с бумагами из суда и заявил, что через семьдесят два часа семья должна освободить участок. Кочу-паньян хотел, чтобы Ленин пошел с ним к аччану просить, чтобы тот поговорил с К. Т., потому что тот тоже прихожанин и состоит в церковном совете.

— Люди вроде К. Т., они полная противоположность Ариккаду. Они ненавидят коммунизм, потому что стали богатыми и влиятельными именно благодаря эксплуатации туземцев.

Аччан неохотно пошел к К. Т. и почти сразу вернулся, глубоко потрясенный. Оказалось, там на него грубо напустились за то, что

вмешался. Аччан сказал, что будет молиться.

— И хочу тебе сказать, Мариамма, никогда еще молитвы не казались мне более бесполезными.

Кочу-паньян уже побывал у Ариккада, который пытался приостановить решение суда. «Отлично!» — обрадовался Ленин. Кочу-паньян печально посмотрел на Ленина и сказал: «Отлично? С каких это пор суд помогает нашему народу? Суд — это для *них*». В день выселения Ленин поехал в деревню Кочу-паньяна. Собралось много туземных семейств, чтобы поддержать их, пришли Ариккад, Рагху и другие активисты. Хотя Ариккад и подал заявление о приостановке решения, судья оказался «одним из них». Вскоре приехали три джипа, битком набитые крепкими мужчинами с велосипедными цепями и бамбуковыми палками в руках. Следом подъехал полицейский джип и остановился в отдалении. К. Т. объявил, что у семьи есть пять минут, чтобы уйти. По указанию Ариккада все собравшиеся люди мирно сели на землю.

— Когда пять минут истекли, громилы К. Т. двинулись прямо на нас. А полиция наблюдала. Я видел и слышал, как палка врезалась прямо в челюсть Кочу-паньяна. Второй удар пришелся по Ариккаду. Женщина пыталась прикрыть голову, и я слышал, как велосипедная цепь с хрустом хлестнула ее по руке. Я оцепенел. Я не мог поверить своим глазам. Внезапно я почувствовал резкую боль в плече. Обернулся, перехватил цепь и врезал нападавшему — вот тебе и Гандианское ненасилие. Но на меня обрушился град ударов. Мариамма, они колотили меня безжалостно. А потом эти головорезы облили бензином солому и подожгли дома. Мне пришлось отползти подальше, жар был невыносимый.

Кочу-паньян попал в больницу со сломанной ногой и челюстью. Ариккада и Рагху страшно избили. Еще несколько человек увезли в отделение скорой помощи. Меня кто-то отвез домой на велосипеде, потому что коленку у меня раздуло с футбольный мяч. Аччан меня с трудом узнал — лицо превратилось в синюю отечную маску. Бедный аччан, он так плакал, перевязывая меня. Кричал, обращаясь к небесам. Упал на колени, взывая к Господу, чтобы Тот исправил несправедное. Ох, Мариамма... если бы Бог ответил аччану, который был таким преданным его слугой, о котором мечтает любой бог... Если бы Бог ответил... моя жизнь, возможно, пошла бы по другому пути. Если бы

Бог ответил... Я мочился кровью. Я не мог ходить, не мог встать. Лежал на кровати, думал свои тоскливые мысли, зализывал раны.

Несколько завсегдатаев «Москвы» пошли навестить Ленина. И рассказали, что не нашли Кочу-паньяна в больнице. «Самостоятельная выписка вопреки рекомендации врача», — заявили там. Как он мог «самостоятельно выписаться» со сломанной ногой и сломанной челюстью? На самом деле это означало, что полиция и боевики схватили Кочу-паньяна и пытали его, выведывая какие-то сведения. Но бедняга ничего не знал! С тех пор семья его не видела. Тело, вероятно, бросили в лесу, где дикие звери позаботятся, чтобы следов не осталось. Оказывается, это не первый случай. Меж тем никто не знал, где находятся Ариккад и Рагху. За ними охотилась полиция. Парни ушли в подполье. Прошел слух, что они подались в наксалиты.

Наксалиты.

По спине Мариаммы пробежал холодок. В комнате внезапно похолодало. В самом слове «наксалиты» звучала опасность. Одного этого оказалось достаточно, чтобы пульс участился.

— Погоди, Ленин, — говорит она, вставая. Он не удивлен. — Мне надо в туалет.

Мариамма пытается припомнить, что же ей известно о движении наксалитов. Она знает, что название происходит от названия маленькой деревни — Наксалбари, что в Западной Бенгалии. Тамошним крестьянам, поработанным землевладельцами, доставалась настолько мизерная часть урожая, что начался голод. В отчаянии они забрали себе все, что вырастили на земле, которую обрабатывали веками. Прибыла подкупленная богатеями вооруженная полиция и напала на крестьян, которые собрались для ведения мирных переговоров; около дюжины человек или даже больше, включая женщин и детей, были убиты. Это она помнила. Это было во всех новостях. Возмущение бойней в Наксалбари распространилось, как холера, по всей Индии, вот так и зародилось движение наксалитов. Это произошло примерно в то время, когда Мариамма уехала в Альюва. Повсюду крестьяне нападали на землевладельцев и даже убивали их и продажных чиновников. Полиция отвечала с такой же жестокостью. Над страной навис почти осязаемый страх революции. Если бы разрозненные крестьянские отряды из разных районов Индии объединились, они смогли бы захватить власть. Правительство в ответ поручило секретным военизированным

формированиям преследовать наксалитов, предоставив войкам неограниченные полномочия. Из ее колледжа они уволокли двух юных парнишек, которых с тех пор никто не видел. В Керале движение наксалитов было особенно мощным. Мариамма беспокоилась, что отец может стать для них мишенью, но он заверил, что их владения сущий пустяк в сравнении с землями помещиков на севере, где богатеям принадлежат тысячи акров, кроме того, у их семьи никогда не было арендаторов.

Мариамма возвращается в комнату, заворачивается в простыню, ее знобит. Ленин предлагает закончить разговор.

— Нет уж, поздно, — возражает она. — Теперь уж продолжай.

— Я сильно болел. Выздоровливал долго, — рассказывает Ленин. — Но меня мучила и другая боль. Несправедливость и жестокость, свидетелями которых я стал. Я все думал про Акку, женщину, которая спасла меня во время эпидемии оспы. Что она получила в награду? Ее вышвырнули как бродячую собаку. Голодный маленький мальчик — я — пообещал ей: «Я никогда тебя не забуду». И я не забыл — до этого места все правда. Но что я сделал для этой женщины? Что я мог бы сделать, будучи священником? Я очень долго «жил вопросом». Но, израненным лежа в постели, постепенно приходя в себя, я нашел ответ. У меня не оставалось выбора. Хозяину «Москвы» я сказал, что хочу связаться с Ариккадом. Или с Рагху. Он перепугался. Заявил, что ничего не знает, и сбежал. Через два дня мне под дверь подсунули записку, велели в полночь быть на автобусной станции. Подъехал мотоцикл. Мне завязали глаза и повезли куда-то. Когда повязку сняли, я увидел лесную поляну. Подошли трое мужчин с винтовками на плече. Один из них был Рагху. Он пытался меня отговорить. Сказал, что в жизни много чем еще можно заняться, кроме учебы в семинарии. «Как ты, Рагху? — горько спросил я. — Работать в банке?» Обратного пути не было.

Голос Ленина звучал словно издалека. Мариамма сидит в одной комнате с наксалитом, а не с мальчиком, вместе с которым выросла. Ей невыносимо грустно. Тело и разум онемели от шока. Она просто слушает.

— С Ариккадом и остальными я встретился в отряде, куда меня направили. Мы отчаянно нуждались в оружии. У нас на дюжину бойцов было только пять винтовок, два револьвера и несколько

самодельных гранат. Не бывает вооруженной борьбы без оружия. Мы запланировали два рейда. Один — на полицейский участок и арсенал, так мы получали оружие. Вторым был чистой мезтью. Нашей целью был К. Т., человек, который отобрал землю у Кочу-паньяна. У К. Т. была контора в городе и бунгало в поместье. Бунгало стояло на отшибе, оттуда просматривались все подходы снизу. Но мы нашли боковую тропу, через густые джунгли. К. Т., наверное, был вооружен. Но и мы тоже, и нас было больше.

Ариккад должен был совершить налет на арсенал ровно в тот же момент, когда наша группа нападет на К. Т. Но едва наш отряд прорвался сквозь забор из колючей проволоки и влетел в поместье, мы услышали рев мотора и увидели, как автомобиль К. Т. уносится прочь, исчезая на пути в долину. Входная дверь дома была приотворена, на столе остался недоеденный ужин. К. Т. определенно предупредили. Мы нашли в тайнике за стенными панелями его зачатку с «черной» кассой, но только потому, что он не успел толком ее замаскировать. Это были деньги, с которых он не собирался платить налог, а потому не мог отнести их в банк. Наверное, убегая, мерзавец прихватил сколько смог. Мы забрали еще пару автоматов и подожгли бунгало. Потом направились, как и планировали, домой к одному из сочувствующих нам, спрятали там оружие и деньги и принялись ждать. Скоро стало известно, что случилось с нашими товарищами. Полиция ждала их — засаду устроили на подходах к арсеналу. Бедный Рагху погиб на месте. Остальные отступали, преследуемые полицией. Ариккад швырнул гранату в джип, ранил констебля и повредил машину. Потом парни разделились и скрылись. Наша группа поступила так же. Мы ушли без оружия, чтобы иметь возможность передвигаться, не привлекая внимания. И это была роковая ошибка.

Ночь я провел в лесу. А на следующий день в полдень добрался до места встречи высоко в горах. Я был голоден, напуган и зол. И понимал, что здесь тоже могло быть небезопасно. Никого из товарищей не было. И как раз когда я уже решил, что лучше убираться оттуда, появился Ариккад, уставший и измученный. Он спросил, нет ли у меня еды. Но я мог предложить только воду. Тело его было в синяках и царапинах, еще хуже, чем у меня. Он сказал, что полицейские близко, но не решатся ночью сойти с дороги. Так что мы можем остаться тут. Нам нужно было поесть и поспать. Он сказал, что знает один дом в

нескольких милях выше, на границе корпоративной плантации. Сивараман был его другом «в старое время» — как я понял, в то время, когда Ариккад сидел в тюрьме.

К часу ночи мы добрались до опушки. Когда я увидел дом Сиварамана, что-то мне не понравилось, как будто торкнуло внутри. Передо мной встали образы «Усадьбы Управляющего» с телами родителей и сестренки. Я почуял запах смерти. Попытался удержать Ариккада, но он сказал, что если не поест и не отдохнет, ему конец. Он сказал, что пойдет первым и даст мне сигнал, если все в порядке, но я попросил его не делать этого. Сказал, я останусь снаружи, залезу на дерево, и чтобы он даже не упоминал о моем присутствии. Сивараман открыл дверь, а я следил. Сивараман неохотно, но все же впустил Ариккада. Я забрался на дерево на самой опушке. На это ушли последние силы. Я устроился в развилке в десяти футах над землей. Привязал себя своим мунду, чтобы не упасть. И каким-то образом, несмотря на холод, голые ноги и пирующих на мне moskitov, умудрился уснуть.

Через час или два я внезапно проснулся. Прямо подо мной сидел на корточках полицейский с винтовкой! Меня он не заметил. Он щелкнул языком — этот звук меня и разбудил. Появились еще двое. А потом я увидел, как у входа в дом стоит Сивараман и машет им рукой.

Они выволокли Ариккада, повалили его на землю, колотя прикладами, а Сивараман спокойно наблюдал. Они связали Ариккаду руки так туго, что он кричал от боли. Меня трясло от гнева и страха. Его повели в мою сторону. Они прошли прямо подо мной. Ариккад не поднимал глаз. Внутри меня что-то сломалось.

Ноги как будто отнялись. Я еле сполз с дерева. Подошел к дому, прижался губами к дверной щели и позвал: «Сивараман, ты предал очень хорошего человека. Но ты не успеешь потратить свои грязные деньги. Как только ты выйдешь из дома, мы будем тебя ждать». Я услышал, как он скулит. И понадеялся, что негодяй сам сдохнет от страха. А потом на подгибающихся непослушных ногах поплелся за полицейскими, держась на приличном расстоянии, чтобы они меня не засекли. Они спешили к дороге и через час, когда небо начало светлеть, добрались до нее и в изнеможении рухнули на землю. Они дали Ариккаду банан. Я подобрался поближе, насколько осмелился, и спрятался за деревом, которое росло над скалой. Стоило мне чихнуть, и

меня обнаружили бы. В голове один за другим возникали планы освобождения Ариккада. Но это были самоубийственные фантазии, Мариамма. У меня не было оружия. И я был так слаб.

Вскоре после восхода приехали два джипа. Оттуда выскочил начальник тайной полиции — здоровенный тип. Он так радовался, благодарил полицейских. Подбежал к Ариккаду и с ненавистью ударил его. Ариккад не закричал, только усмехнулся. Тогда начальник обрушился на него с проклятиями и начал пинать ногами что есть мочи. Он приказал своим людям надеть ему на ноги кандалы, а на голову — мешок. Потом я услышал, как они переругиваются около джипа. Начальник грубо толкнул констебля, того самого, что сидел под моим деревом, и выхватил револьвер. Он что, собирался пристрелить своего человека? Я ничего не понимал. Но Ариккад все понял, даже с закрытой головой.

— Эдо^[237], начальник? — крикнул Ариккад. — Будь мужчиной. Для началаними мешок с моей головы. Или ты такой трус? Даже не смеешь посмотреть мне в глаза, перед тем как это сделаешь?

Начальник двинулся вверх по склону к Ариккаду. Он шел так неторопливо, Мариамма, как будто он не на поляне в джунглях, а на сцене мирового театра. Ариккад с трудом поднялся на ноги, выпрямился во весь рост, несмотря на то что руки у него были вывернуты за спину. Начальник тайной полиции сорвал с него капюшон и рывкнул несколько слов прямо в ухо Ариккаду. Тот рассмеялся.

А потом Ариккад, шаркая скованными ногами, повернулся лицом к тому месту, где я прятался! Он знал, что я там. И хотел, чтобы я стал свидетелем. «Расскажи товарищам, расскажи всему миру» — вот что он пытался мне сказать. Полицейский отошел на три шага, принял боевую стойку; правая рука вытянута вниз, револьвер направлен в землю. Я видел лицо Ариккада абсолютно ясно, и он улыбался. И эта его улыбка действовала сильнее, чем любое оружие. Полицейский расставил ноги пошире. Ариккад крикнул: «ПРИДУТ ДРУГИЕ И ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ!» Я видел, как поднимается ствол револьвера. «ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ...»

Мариамма едва дышала, глядя на лицо Ленина, озаренное призрачным светом из окна.

— Выстрел был такой громкий. Он эхом отразился от скалы за моей спиной. Я разрыдался. От отчаяния. От ярости. От гнева. Я был уверен, что они меня услышали. В ушах у меня звенело. У них, наверное, тоже. Я видел, как они поволокли тело Ариккада вниз по склону. Все констебли были мрачны. Это, как ни крути, хладнокровное убийство. Они забросили тело в джип. Но даже когда они уехали, звон у меня в ушах не прекратился.

Под камнем, рядом с которым сидел Ариккад, я нашел банан. Он оставил его для меня. И я так плакал, не мог остановиться. Каким-то образом я сумел притащить и взгромоздить два камня одинакового размера на том месте, где земля потемнела от крови Ариккада. Потом нашел длинный плоский обломок скалы и уложил его на первые два. И долго стоял перед этим «камнем для поклажи», памятником товарищу по оружию. *Ответ всегда один*, сказал я себе, когда в конце концов нашел в себе силы оторваться от этого места. *Иди прямым путем до конца.*

глава 66

Роковая черта

1971, Махабалипурам

Ленин вскоре уснул, словно, сбросив бремя ужасных воспоминаний, он обрел временную передышку. Но Мариамма не может последовать его примеру.

Она сидит и смотрит на звезды. Сколько световых лет преодолели эти булавочные головки на темном небосводе, чтобы добраться до ее сетчатки? Ленин раньше знал про такие штуки. Океан невидим, но она слышит шум прибоя, пенящегося над этой полоской Коромандельского берега. Бенгальский залив простирается отсюда на восток на сотни миль, достигая Андаманских островов, а потом и побережья Бирмы. Если бы необъятность этих стихий — неба, звезд и моря — могла поглотить чудовищность того, что рассказал Ленин. Знание тяжким бременем легло на ее плечи.

А Ленин, похоже, абсолютно спокоен. Большая Аммачи, бывало, всегда изумлялась, как этот мальчик, сущее наказание пока бодрствует, выглядит таким невинным во сне. И до сих пор так. Когда он описывал, как полицейские вывели Ариккада из дома и проходили под деревом, где прятался Ленин, Мариамму всю трясло. После гибели Рагху и провала операции, сказал Ленин, он усомнился, что можно достичь чего-либо вооруженной борьбой, если только все угнетенные крестьяне Индии не восстанут разом. Не успев толком присоединиться к наксалитам, он уже начал сомневаться. Но, став свидетелем казни Ариккада, Ленин понял, что должен сражаться, и неважно, что будет. Для успеха вооруженной борьбы нужны винтовки, военная подготовка, сказал он. Еще раньше он обмолвился, что следующей остановкой будет Визаг^[238]. Мариамма догадывается, что поездка Ленина имеет целью добыть недостающее.

Силы Мариаммы иссякли. Она отворачивается от окна и вытягивается на кровати рядом с Ленином. Становится прохладно.

Мариамма накрывает их обоих тонкой простыней. Тело, лежащее рядом, теплое. Ленин тихо дышит, но у нее чувство, будто она уже оплакивает его. Никогда больше Ленин не приедет в Парамбиль, никогда не придет на свадьбу, не напишет письмо. Даже эта необдуманная встреча подвергает риску их обоих. Но она рада, что он приехал. И даже если они никогда больше не встретятся, она хотя бы знает, чем он занят. Это лучше, чем не иметь вообще никаких вестей. Полиция пока его не разыскивает — по крайней мере, он так думает. Но отныне он всегда будет в бегах. И, вероятно, умрет молодым или попадет в тюрьму.

Ленин поворачивается на бок, сквозь сон обнимает ее. И этого достаточно, чтобы прорвались слезы. И она плачет — чтобы уснуть.

Просыпается Мариамма задолго до рассвета. Смотрит, как вздымается и опадает его грудь, как выпячивается его живот, когда ее живот втягивается. От мыслей ее знобит — как от прохладного порывистого ветра после дождевого заряда. Она знает, что любит Ленина. Наверное, всегда любила. Когда в детстве они ссорились и дразнили друг друга... это и была любовь. В последнее время они открывали душу в пространных письмах, и это тоже была любовь. «Любовь» — слово, которое она не позволяла себе в мыслях, не говоря уж о том, чтобы произнести вслух, потому что они четверо- или пятиюродные родственники. Недугу не сыскать более твердой опоры. Но сейчас генетика кажется религией, веру в которую она утратила.

Ленин открывает глаза. На миг весь мир отступает, а слово «наксалит» относится к другим людям в других домах. Здесь только они двое. Он улыбается. А потом вторгается реальность.

Раньше Ленин дразнил ее, говоря, что глаза у нее коварные, как у кошки. И что пегая прядь — свидетельство кошачьего происхождения. Наверное, сегодня утром в ее глазах видны все чувства, которые она стесняется назвать. Рука, которая обнимала ее, теперь скользит по ее щеке. Мариамма гладит его бороду, касается шрама. Он придвигается ближе. Зачем сдерживаться теперь, если она никогда больше не увидит его? Она целует его, впервые в жизни, — целует мужчину, которого любит. Оба чуть отстраняются, потрясенные. Радость и удивление на его лице — лишь отражение ее собственных чувств. Если у нее и были сомнения, то теперь их не осталось. Он тоже любит ее. Больше не надо сдерживаться.

Они засыпают в объятиях друг друга, ноги их сплелись, тела мокрые от пота. Приходят в себя, когда солнечный свет прогоняет из комнаты последние тени и становится жарко. Внешний мир покушается на их вселенную. Но они не шевелятся.

— Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, — говорит она. — Почему так, как сейчас, не может быть всегда? — Ее грудь прижата к его грудной клетке. Она ухватывает несколько волосков на его груди (*какова у них может быть биологическая цель, кроме как чтобы руки не скользили?*) и тихонько тянет, он морщится. — Что мне теперь делать, Ленин? Как жить в мире, где нет тебя? Никогда не видеть тебя. Гадать, увижу ли вообще. Волноваться, жив ли ты. Я даже не смогу писать тебе! — Она с трудом сдерживает слезы.

— Мариамма...

Его сочувственный тон злит, она не просила о жалости. Она скорбит о нем. Но заставляет себя прикусить язык. Он не замечает и продолжает:

— Мариамма. Выходи за меня! Поедем со мной. Иначе мы не сможем быть вместе. Но если ты присоединишься к движению, мы сможем вместе прожить целую жизнь. Как муж и жена.

Она обдумывает предложение. Потом отталкивает его, руки нашаривают простыню. Она вдруг чувствует себя чересчур обнаженной.

— Только послушай себя! — сердито шипит она. — Ты себя слышал? Какое самомнение! Ты хочешь, чтобы я отказалась от своей жизни? Последовала за тобой в пещеру? Знаешь, почему меня всю трясло, когда я слушала твой рассказ? Про то, как полицейские прошли под деревом? Я была в ужасе, что сейчас услышу, как ты убил Сиварамана, потому что решил, будто это правосудие. Будь у тебя оружие, ты бы так и сделал, верно?

— Мариамма...

— Замолчи! Ни слова больше. Я отдала все — силы, сон, каждый час своей жизни, — чтобы изучать человеческое тело. Чтобы исцелять, а не калечить, Ленин, понимаешь? И, возможно, однажды вылечить Недуг. Большая Аммачи молилась об этом каждый божий день. Чтобы вылечить *тебя*, идиот ты эдакий! Как ты думаешь, почему я отдалась тебе? Потому что знаю, что мы никогда больше не встретимся. Но,

господи боже, неужели ты всерьез думаешь, что я пойду с тобой по пути кровавой бойни, этому... этому *тупому* пути, который ты избрал, который вовсе никакой не прямой путь. Если ты так думаешь, ты совсем меня не знаешь.

Он пристыженно переворачивается на спину.

Но Мариамма еще не закончила. Она трясет его за плечо:

— Почему я не слышала, как ты говоришь, что откажешься от своей борьбы и будешь жить нормальной жизнью со мной, пожертвуешь своими мечтами ради меня? Ради нашей любви...

Он не отрываясь смотрит на нее, на лице застыла маска боли.

— Слишком поздно, — с трудом произносит он. — Если бы я знал о твоих чувствах ко мне, я, может, никогда не пошел бы по этому пути.

— Не прикидывайся макку, не знал он. И, скажу тебе откровенно, в том, что ты делаешь, нет ничего героического. Хочешь помочь обездоленным? Стань социальным работником! Или иди в политику. Вступи в свою чертову Партию и баллотируйся в парламент. Нет, ты все так же стоишь на крыше в ожидании, пока молния ударит тебе в башку, чертов Чародей Мандрейк. Пора уже повзрослеть! Ты такой же, как твой отец. — Это жестоко, и она понимает, что перегнула палку.

Снаружи доносится смех, высокий женский голос спрашивает, а мальчишеский отвечает. Рев трактора или дизельного грузовика. Чего бы только Мариамма не отдала за *заурядность*! Какой ценной была бы обычная жизнь. С Ленином все обычное стало бы необычным. А любой, кто их не одобряет, мог бы взять свое неодобрение и засунуть себе куда угодно.

Мариамма утирает слезы:

— Прости меня.

— Ты права. С моей стороны было глупо предлагать тебе рисковать жизнью ради того, что вообще не твое. А в награду получить... Ничего не получить.

— Моей наградой стал бы ты, Ленин. Но не Ленин в подполье. Или в тюрьме.

— Прости меня, — тихо говорит он.

Она кивает. Она должна простить. Прощает. Прощение бессмысленно, но это все, что она может предложить мужчине, которого любит.

глава 67

Лучше снаружи, чем внутри

1971, Мадрас

Она не надеется еще когда-нибудь увидеть Ленина, разве только в тюрьме или в морге, но чувство к нему тем не менее крепнет. Ей следует спрятать эти чувства, засолить и прибрать подальше, как консервы в погребе. Но в таких местах водятся привидения, и закупоренное может взорваться.

На второй неделе практики в отделении АГ — акушерства и гинекологии — она просыпается от тошноты. Тошнота повторяется каждое утро. Мариамма с трудом принимает душ, одевается и забирается в рикшу Гопала. Он пристально вглядывается в девушку. Гопал сообразительный, чуткий, но сдержанный и тактичный, никогда не заговорит первым. Она наняла его на месяц, возить по утрам в больницу «Гоша»^[239], а по вечерам обратно.

«Гоша» расположена в двух милях от общежития, прямо у Марина-Бич. Единственные утренние звуки — скрип педалей, крики чаек и рокот волн. В этот час еще прохладно. Вскоре солнце превратится в огненно-белый диск, сияющий над водой, и на щебенке дороги запросто можно будет поджарить яичницу. Гопал сворачивает к мадрасскому Ледовому дому. Некогда гигантские блоки льда с Великих озер упаковывали в опилки, привозили на кораблях из Америки и хранили здесь, чтобы обеспечивать англичанам защиту от зноя. Соленый воздух несет с собой запахи вяленой рыбы. Испытание для желудка. Вдалеке видны рыбацкие лодки, они вышли в море еще в темноте, а сейчас возвращаются. Покачивающиеся спичечные головки — макушки рыбаков — и синхронные взмахи деревянных весел напоминают барахтающееся в воде перевернутое насекомое.

Она воображает, как на пляже отдаленной земли волны подхватывают тот же ритм, звучит тот же шорох песка и тот же всплеск, когда волна отползает. В том месте, зеркальном отражении этого, живет другая Мариамма, но свободная от здешних жутких страхов и

предчувствий. Та другая Мариамма замужем за Ленином, который не ушел в наксалиты; тот любящий Ленин приготовит чай для Мариаммы, когда она вернется с дежурства. В ее комнате в общежитии хранится принадлежавший Ленину «Справочник звездного неба», который он забыл в Парамбиле. Книга стоит рядом с драгоценной «Анатомией Грэя» 1920-х годов, маминой книгой, — не для того чтобы по ней учиться, а чтобы бережно хранить. Книги — ее талисманы, талисманы удачи. Но если такова удача, упаси ее бог от неудач.

При виде бугенвиллеи над белеными стенами «Гоша» сердце Мариаммы начинает биться чаще. Красные цветы бугенвиллеи оттенка плаценты. Ни единая душа не поливает эти растения — похоже, корни их питают концентрированные стоки отделения АГ, «живая вода», что питательнее, чем раствор коровьего навоза. Улыбающийся Гуркха в воротах приветственно взмахивает рукой — Мариамма ни разу не видела его хмурым. На выцветшей табличке написано: БОЛЬНИЦА КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН ВСЕХ КАСТ 1885. Но для всех и каждого это навсегда больница «Гоша»; «гоша» — синоним «бурка» или «пурда». Англичане построили больницу для индуистских женщин высших каст (которые не могут даже войти в одно заведение с неприкасаемыми) и для мусульманок из соседнего Трипликана, которые заточены в четырех стенах своих домов, а выходя на улицу, закрываются с головы до ног. Мариамма слышала истории о том, как мусульманки во время тяжелых родов баррикадировались в своих спальнях, чтобы муж не отвез их в больницу, где к ним мог бы прикасаться белый мужчина-акушер. Смерть была для них предпочтительнее. Времена изменились. Акушерство больше не является в Индии исключительно мужской специальностью. Однокурсники Мариаммы, проходящие практику в АГ, жалуются, что чувствуют себя изгоями, потому что всем заправляют женщины. Мариамме повезло, что ее направили в «Гоша», а не в родильный дом в Эгморе^[240], и это счастье, потому что только в «Гоша» есть медсестра Акила.

Перед отделением АГ медленно бродит бледная беременная, поддерживаемая мужем и матерью. Ее раздутый живот видно даже сзади. Схватки пока недостаточно частые, поэтому роженице велели ходить. Мариамма каждое утро наблюдает эту картину, и порой ей

чудится, что это одна и та же стонущая женщина в одном и том же грубом больничном сари и нелепой блузе с длинными рукавами. Эта британская модификация викторианского жакета и корсажа плохо подходит для удушающей жары. Сейчас, когда колонизаторов давно уже и в помине нет, зачем продолжать носить такие дурацкие наряды? Женщина смотрит сквозь Мариамму, все ее мысли только о том, чтобы ребенок поскорее вышел. «Лучше снаружи, чем внутри» — правило, которое проповедует сестра Акила. Правило «Пяти Элементов»: Газ, Жидкость, Экскременты, Инеродное Тело и Плод должны быть снаружи, а не внутри.

Господи, неужели это я через восемь месяцев? Симптомы однозначны.

Мариамма не может признаться никому, даже соседке по комнате Аните.

Пройдя через вращающиеся двери отделения, она попадает прямо в топку, тошнотворный сладковатый запах бьет по лицу горячей мокрой тряпкой. Этим утром вопли и проклятия одной из женщин заглушают все прочие, ее муж не слышит оскорблений, потому что сидит с остальными мужчинами в тени дождевого дерева во дворе. Многословную брань прерывает короткий, как ружейный выстрел, шлепок, вслед за которым звучит пронзительный голос медсестры.

— Ну-ка, перестань! Ругаться надо было девять месяцев назад. Теперь-то что? *Мукку, мукку!*

Тужься, тужься! «Мукку» — волшебное слово, «Сезам, откройся» отделения АГ, песнопение, день и ночь не сходящее с языка всего персонала. *Мукку!*

Ежедневный поток младенцев предоставляет студентам-медикам богатейший опыт — свои двадцать обязательных родовспоможений Мариамма сдала уже за первые четыре дня. «Нормальные» роды не представляют интереса для ординаторов, специализирующихся в акушерстве, которые вальяжно расселись в своих разноцветных сари вокруг обшарпанного деревянного стола; они неторопливо воздвигаются, преодолевая инерцию, только когда дела идут *не* нормально.

За белой стойкой старшая медсестра Акила — невысокая смуглая, подтянутая женщина с резко очерченными чертами — невозможно

записывает назначения, лицо ее матово припудрено. Шапочка венчает блестящие черные волосы. Поверх белой униформы — бледно-голубой отглаженный фартук, накрахмаленный так крепко, что запросто остановит пулю. А язык ее испепелит любого, чью работу она сочтет неряшливой, но на самом деле она любящее и заботливое создание. Мариамме она напоминает Большую Аммачи, хотя трудно найти более разных людей. Молитвы, возносимые Парвати, Аллаху и Иисусу; вопли, от которых дрожат кафельные стены и дребезжат матовые окна; зловоние крови, мочи и амниотической жидкости, испаряющихся с липких полов, пропитывающее ноздри, сари, кожу, волосы и мозг; каталки с роженицами вдоль каждой стены; светло-зеленые занавески, которые вечно раздвинуты, превращая самый интимный процесс в публичный, — что бы обо всем этом подумала ее бабушка? Большая Аммачи была сильным человеком и наверняка справилась бы. А что касается Мариаммы, она просто в восторге!

Информационная грифельная доска отделения похожа на табло на Центральном вокзале, но исписана символами вроде «БЗЖР2 ПРПО» (третья беременность; два живорожденных ребенка; преждевременный разрыв плодных оболочек). Мариамма подходит к Акиле со спины, но у сестры есть глаза сзади.

— Внимание, леди! — возглашает сестра. — *Доктор Мариамма на месте! Не сдерживайтесь больше, хорошо? ТУЖЬТЕСЬ, ТУЖЬТЕСЬ!*

Акила улюлюкает собственной шутке. Никто, кроме Мариаммы, не замечает ничего особенного, но сама Мариамма с трепетом слышит «доктор» перед своим именем.

— Привет, сестра. — Мариамма кладет на стойку ветку жасмина.

Мариамма покровительствует одной старушке неподалеку от общежития, которая целыми днями плетет венки, молниеносно двумя пальцами завязывая узлы, которые сделали бы честь любому хирургу. Лицо и тело у нее в уродливых шишках, некоторые размером с небольшой шарик, а некоторые с целую сливу. Заболевание называется нейрофиброматоз, или болезнь Реклингхаузена, — доброкачественные фиброзные опухоли, что образуются на кожных нервах. Вероятно, знаменитый Человек-слон, Джозеф Меррик, страдал вариантом нейрофиброматоза.

— Айо! У кого здесь есть время на жасмин? — Сестра подносит цветок к носу. Но с улыбкой. — Иди проверь номер три. Там щипцы,

которые я приберегла для тебя. — А потом кричит во весь голос: — ВНИМАНИЕ ВСЕМ! НАМ ПРЕДСТОИТ ГОРЯЧИЙ ДЕНЕК! НУТРОМ ЧУЮ!

Тут никогда не бывает не горячих деньков или чтобы сестра не чуяла их нутром.

У женщины малаяли на третьей каталке лежит под ягодицами оранжевая пеленка, свисающая по краям. На пеленке стойкое генциан-фиолетовое пятно от бесчисленных женщин-предшественниц. Когда Мариамма, надев перчатки, вводит указательный и средний пальцы в родовой канал и раздвигает их буквой V, пальцы едва касаются стенок шейки матки: раскрытие полное. Информационная доска сообщает, что роды длятся уже семь часов, но головка ребенка, кажется, застряла в тазу. Мариамма прикладывает воронкообразный стетоскоп — фетоскоп — к растянутому животу. Даже в гробовой тишине плод слышно плохо. Акила говорит, что нужно «представить сердце ребенка», чтобы услышать его отдельно от материнского. *Представить!* И вдруг она слышит его — будто стучит дятел с тупым клювом. Меньше восьмидесяти уже повод для тревоги, а у этого малыша шестьдесят. Вот теперь Мариамма заволновалась.

— Сестра! — зовет она, но Акила уже катит тележку с инструментами.

От щипцов, только что извлеченных из стерилизатора, поднимается пар. Тесемки пластикового фартука, который хватает Мариамма, еще влажны от предыдущего использования. Она обезболивает новокаином кожу вульвы с одной стороны от средней линии и делает надрез. Крошечные пульсирующие ручейки крови струятся вслед за изогнутыми ножницами для эпизиотомии. Раньше Мариамма только однажды пользовалась щипцами. Парные щипцы похожи на изогнутые сервировочные ложки с длинными тонкими ручками; когда ложки (или «лопасти») ложатся правильно, обхватывая головку ребенка, ручки можно свести вместе и закрепить. Но к тому моменту, когда в родах нужны щипцы, головка ребенка превращается в мягкое распухшее образование, на котором трудно найти ориентиры. Помогая себе указательным и средним пальцами, она аккуратно заводит левую лопасть на головку ребенка, потом то же самое повторяет с правой. Тихо молится, чтобы лопасти захватили череп с боков, а не сплющивали лицо. Но, как ни старается, не может свести рукоятки.

Излишнее усилие может сокрушить череп. И когда она уже отчаялась, из-за плеча появляется рука Божественной Акилы, чуть поправляет одну из лопастей, и вот рукоятки, щелкнув, закреплены. Сестра исчезает.

Но стержень, который Мариамма пытается прикрепить к рукоятке, не подходит! Надо было проверить заранее. И вновь из-за плеча тянется рука Божественной Акилы и завершает сборку, несмотря на несоответствие деталей. Мариамма покрепче упирается ногами в пол, готовясь тянуть. Акила ставит позади Мариаммы стажера — на случай, если та шлепнется на спину, когда появится головка. Со следующей потугой Мариамма тянет.

— Айо, и это вы называете тянуть, доктор? — кричит Акила с другого конца палаты, даже не глядя. — Ребенок втопчет вас внутрь вместе с тапочками, если не будете стараться как следует.

Мариамма чуть приседает и тянет изо всех сил. Голова ребенка садится на мель в районе крестцового мыса.

— Сестра! — скрежещет зубами Мариамма.

— Все будет хорошо, ма, — отзывается Акила из-за стойки, а потом кричит кому-то другому: — Доктор, когда вы закончите зашивать швы на промежности, ребенок уже в школу пойдет!

И все *правда* становится хорошо, потому что внезапно появляется головка. Но если бы не опора в виде стажера, Мариамма с младенцем непременно растянулись бы на мокром полу. Обмякшее синее существо пострадало из-за щипцов — у него яйцообразная голова. Мариамма лихорадочно отсасывает грушей слизь изо рта младенца, но тщетно. Нежно дует ему в лицо. Никакого результата. Мать смотрит в ужасе. И вновь возникает одна из десяти рук Божественной Акилы и шлепает попку младенца, и тот, вздрогнув, издает пронзительный крик.

— Так лучше, ма? — во весь рот ухмыляется Акила, подразумевая «лучше-снаружи-чем-внутри», но не произнося вслух.

Мариамма так счастлива, что готова разрыдаться. Крошечные кулачки подняты в воздух... Она вдруг вспоминает Ленина, и слезы уже на подходе.

— Алло, мадам Мариамма! — кричит сестра, теперь уже от автоклава. — Если не собираетесь перерезать пуповину, будьте любезны, передайте ножницы ребенку. Хватит уже мечтать!

Всевидящая Акила и мысли читать умеет. Мариамма перерезает пуповину и принимается устранять последствия эпизиотомии.

Как только закончу сегодня, признаюсь Акиле. Расскажу ей все. Не могу больше держать это в себе.

Много часов спустя, в конце смены, она зовет Акилу выйти на минутку. И, запинаясь, выкладывает свою тайну. Акила хохочет во весь голос.

— Ма, каждая студентка, которая проходит через наше отделение, думает, что беременна. Иногда даже отдельные дурные парни! Ложная беременность, так это называется. Но я всем им говорю — как это вы можете быть и девственницами, и беременными? — И Акила опять разражается смехом.

— Сестра... Я не девственница, — тихо признается Мариамма.

Теперь Акила разглядывает ее с любопытством. Берет Мариамму за подбородок, поворачивает лицо в одну сторону, в другую.

— Ма, я начала работать в акушерстве, когда тебя еще на свете не было. Акила знает, когда женщина беременна. Я знаю, когда Бог еще не в курсе, раньше, чем узнает мать. Мужья идиоты, они вообще ничего не понимают, на них плевать. Но Акила никогда не ошибается. Тело само рассказывает мне. Щеки, цвет кожи, *ítэ-átэ*^[241]. Слово даю, ты не беременна. Ты мне веришь? Нет, конечно! Тогда давай сделаем анализ, но только чтобы ты не волновалась, ясно?

Акила сама берет у нее кровь.

— Я отправлю в лабораторию под другим именем. Но все будет в порядке, ма. Беременность в голове, а не в матке. — Она делает паузу, чтобы подчеркнуть следующую фразу: — *На этот раз*. Но в следующий раз может быть и в матке. Так что в следующий раз думай головой.

глава 68

Гончие небес

1973, Парамбиль

С получением отрицательного анализа на беременность ее «утренние недомогания» мгновенно прекращаются. Мариамма чувствует себя как приговоренный, которого вдруг помиловали. Она пребывала в абсолютном ступоре перед перспективой стать незамужней матерью-одиночкой ребенка, чей отец — наксалит, которого никогда больше не увидят живым.

И ей слишком стыдно второй раз признаться сестре Акиле, что она расстроена. Почему она *не* забеременела? С ней что-то не так? Неужели ее ночь с Ленином не произвела впечатления на вселенную? Но ведь такая любовь, как у них, первая близость, должна оставить след. Это неразумно, Мариамма понимает, но мысль не оставляет ее, даже когда она собирается на рождественские каникулы. Наконец-то Мариамма едет домой, давно пора.

Когда она впервые видит Парамбиль, то поражается его безмятежности, столь далекой от ее собственного хаоса минувших двух лет. Над трубами курится дым от никогда не гаснущих очагов. И вот там, на веранде, стоит отец, а рядом с ним Анна-чедети, как будто так и стояли, не двигаясь с места, с того самого дня, как уехала Мариамма. Отец стискивает ее в объятиях так сильно, что даже дышать трудно.

— Муули, без тебя как будто часть меня тоже пропала, — шепчет он.

В его руках по-прежнему спокойно и безопасно, как в детстве. Потом настает черед Анны-чедети душить девочку в объятиях. Они оба заметили шрам на лбу, хотя тот и поблек. Мариамма винит во всем скользкий пол в лаборатории, где она упала и порезалась разбитым стеклом. Почти правда, если опустить контекст.

Призраки бабушки и Малютки Мол витают рядом, напоминая о ее целях, о том, зачем она отсюда уехала. Все, чем она стала, все, к чему

стремится, началось в этом доме и его любящих обитателях. После похорон Мариамма приезжала сюда из Альюва-колледжа еще только один раз, незадолго до начала учебы в Медицинской школе. Тогда все были подавлены и печальны и еще не оправались от горя. Но сейчас она видит, что отец и Анна-четети научились жить с этой потерей, они погрузились в новые хлопоты. А вот Мариамме от этого лишь виднее отсутствие двух любимых опор родного дома — как прореха в ткани, которую никто больше не замечает.

Анна приготовила ее любимое меен вевичатху в соусе таком густом, что ложка стояла.

— Вчера торговка приходила. Старуха собственной персоной — не невестка. И в корзинке у нее была одна-единственная рыбина, вот эта самая *áволи*^[242]. Она сказала: «Скажи Мариамме, что я принесла эту красотку специально для нее. Скажи, у меня страшно болят шея и руки, от плеч до пальцев. Пилюли вайдьяна не помогают совсем. Лучше бы я их в реку выбросила, да боюсь, рыба подохнет».

Мариамма живо представляет старушку с иссохшими, морщинистыми руками, как будто под кожу ее навеки выросла чешуя, сыплющаяся из корзинки на голове. Теперь подарок торговки красуется в глиняном горшке Большой Аммачи, превращенный в плавающее в красном соусе филе; белая мякоть тает на языке, а карри окрашивает алым рис, ее пальцы и фарфоровую тарелку.

Отцу не терпится поделиться новостями, которые для Мариаммы вовсе не новы. Она чувствует напряжение, витающее над столом, только усиливающееся от папиных попыток сделать вид, что все в порядке. Он ждет, пока дочь доест.

— Муули, я должен рассказать тебе кое-что, что тебя огорчит. Господь свидетель, мы только об этом и говорим. (Анна, прибиравшая со стола, отставляет посуду и садится рядом.) Ленин пропал. Ты знала?

— Я волновалась. Он вдруг перестал писать мне. — Еще одна полуправда.

— В общем... хочешь верь, хочешь нет, он подался в наксалиты, — выпаливает отец.

Такова цена лукавства — чувствуешь себя тараканом. Она слушает, как отец пересказывает газетные статьи о налетах и о смерти Ариккада при попытке к бегству.

— История с наксалитами до сих пор казалась мне такой далекой, — вздыхает отец. — Где-то в Малабаре, в Бенгалии. И вдруг почти у нас на пороге.

Отец всегда был красивым мужчиной. Но впервые она замечает темные круги у него под глазами, скорбные морщины на лбу, обвисшие щеки и редящие волосы, сквозь которые просвечивает кожа. А ведь ему уже пятьдесят, осознает она. Полвека жизни. Но даже если так, может, время в Парамбиле ускорило, с тех пор как она уехала?

Когда дочь влюбляется, она неизбежно отдаляется от отца; первый мужчина, которому принадлежало ее сердце, теперь должен состязаться с другим. Но в случае с Мариаммой между ней и отцом стоит еще и ее тайна. Анна-четети встревоженно смотрит на нее — не слишком ли эта весть расстроила девочку.

— Это ужасно, — говорит Мариамма, потому что должна что-то сказать. — Если он примкнул к наксалитам, тогда он еще глупее, чем я думала. Если хотел помочь беднякам, почему не вступить в Партию, не баллотироваться в парламент? (Совсем недавно она то же самое предлагала Ленину.) Но вот это все зачем? Идиот. Просто выбросить на помойку собственную жизнь!

Родные оторопело слушают ее страстную речь. Она перестаралась?

— Что ж, — после паузы откашливается отец. — Единственное, что могу сказать про Ленина, что с первого дня, как он тут появился, он не скрывал своих устремлений. Мальчик всегда глубоко сочувствовал пулайар. Тяжесть их бремени была его тяжестью. Мы сидим тут, рассуждаем глубокомысленно и считаем себя просвещенными и свободными от предрассудков. Но истина в том, что мы не замечаем несправедливости. А он всегда ее видел.

Слышал бы Ленин, как отец защищает его.

Анна уходит купаться, Мариамма остается одна в темной кухне, благоухающей ароматами и воспоминаниями. Она вспоминает, как однажды Дамодаран приник свои древним глазом к окошку, а Большая Аммачи, притворно рассердившись, бранила его. В ту неделю, когда умерла бабушка, Дамо пропал в джунглях. Они узнали об этом много позже от Унни, который несколько недель тщетно дожидался слона в лесной хижине. Дамо, без сомнения, ушел за компанию с Большой Аммачи. Унни был абсолютно раздавлен. Мариамма находит спички и

зажигает одну из любимых бабушкиных масляных ламп размером с ладонь, она всегда брала такую с собой в спальню. Мариамма, не смущаясь и не сдерживаясь, горько плачет, вспоминая родное лицо, озаренное мягким светом лампы. Но бабушка всегда рядом — это слезы о прошлом, о тех безмятежных временах, когда они сидели тут вместе и бабушка кормила ее, ласкала, и баловала, и развлекала разными историями, и Мариамма знала, что в ней души не чают.

Перед тем как идти к отцу в кабинет, Мариамма берет себя в руки. Как же она соскучилась по запаху старых газет и журналов и самодельных чернил! И по родному запаху папиного сандалового мыла и травяной зубной пасты, и по священному часу в конце каждого дня, когда папа читал ей вслух. Неужели нужно обязательно оставить что-то или лишиться чего-либо, чтобы по-настоящему оценить? Но сегодня рассказчиком будет она — отец изголодался по ее медицинским историям, жаждет услышать все подробности, с нетерпеливым любопытством стремясь, как мотылек, ко всему, что сияет новыми знаниями. И она уступает, описывая ему все подробности своей жизни... за исключением Бриджи.

Когда они уже собираются идти спать, отец замечает:

— Как тяжело, должно быть, каждый день видеть страдания. Я бы не смог. Только удача и милость Божья хранят нас от таких напастей. Как же нам повезло, да?

Удивительно, откуда такое чувство у человека, на долю которого выпало столько страданий.

— Аппа, стыдно признаться, но я частенько принимаю это как должное. Раньше я боялась заболеть. А сейчас мы все настолько сосредоточены на болезнях других, что порой человек даже не замечает, что сам болен. Когда я прихожу домой с дежурства в роддоме или в хирургии, могу думать только о том, как бы поскорее поесть и не ждет ли меня письмо в почтовом ящике. Мне кажется, все врачи живут в иллюзии, что мы заключили сделку с Богом. Мы лечим больных, а взамен нас щадят.

— Кстати, это напомнило мне... — говорит отец, протягивая ей лист бумаги. — Наткнулся в одной из книг, клятва Парацельса. И сразу сказал себе: «Я должен переписать это для Мариаммы». — Обычно у отца неразборчивый почерк, но здесь буквы как будто напечатаны на

машинке. — Подумал, что я хочу, чтобы моя Мариамма стала именно таким врачом.

Она читает: «Любить больных, всех и каждого, как своих родных».

Ночью она спит в кровати Анны-чедети в старой спальне около кладовой, уютно устроившись в обнимку с женщиной, которая кормила ее грудью, которая была для нее такой же матерью, как и для своей Ханны. Анна признается, что у Джоппана были тяжелые времена. Игбал хотел уйти на покой, покончить с делами. Джоппан выкупил у него бизнес, взял кредит в банке, но чтобы выплатить, ему пришлось работать вдвое больше, расширить сеть маршрутов, брать столько заказов, сколько предлагали. Анна рассказывает, что он щедро платил своим работникам — в конце концов, он ведь был одним из них. Но и обращался с ними сурово. Накануне Онама, в самое горячее время, лодочники и грузчики объявили забастовку. Они требовали свою долю в компании. Джоппан пытался урезонить их. Мол, а не хотят ли они заодно взять на себя и часть его долгов? Но они его не слушали. Он чувствовал, как будто его предали.

— Помнишь того члена Партии, за которого он агитировал и которого благодаря его помощи избрали от нашего округа? — рассказывает Анна-чедети. — Так вот, и этот тип, и его Партия встали на сторону работников. Лучше, мол, пожертвовать одним голосом Джоппана, чем голосами всех рабочих. Тогда Джоппан уволил всех и попробовал нанять других. Его бывшие работники потопили одну из барж и подожгли склад. Но Джоппан, вместо того чтобы уступить их требованиям, закрыл дело. И позволил банку все отобрать. Не знаю, сколько денег он сумел накопить, но мне тревожно.

Мариамма надеется, что по крайней мере его семья не будет голодать — Аммини зарабатывает продажей соломенных панелей и циновок. И у них есть земля. Поди, наверное, тоже поможет, она ведь уехала к мужу в Шарджу. Но дело не в этом — не так представлял себе Джоппан свою жизнь. Странно, что отец об этом ни словом не обмолвился. Может, считал себя обязанным защищать друга.

Утром, прихватив тхорт, Мариамма отправляется прогуляться. Хочет взглянуть, как идет строительство больницы, но сначала задерживается у Гнезда. Вдыхает сухой древесный запах. Солнечную сторону игриво обвили буйно разросшиеся лианы. Мама так и

задумала? Что природа сама будет обновлять и изменять Гнездо с каждым годом и с каждым сезоном? Две низенькие табуретки по-прежнему стоят внутри, и она усаживается, упираясь коленями в подбородок, и вспоминает Поди, которая всегда сидела напротив. Они играли в шашки или по очереди тархтели «а-что-я-тебе-расскажу» — делились подслушанными секретами, которые, по мнению взрослых, не предназначались для их ушей. Иногда Мариамма приходила сюда одна и представляла, что на соседней табуретке сидит мама. Что они вместе пьют чай и говорят о жизни.

По пути к каналу ее ждет Каменная Женщина. Они с Поди нашли ее совершенно случайно, почти полностью скрытую диким виноградом и зверобоем. Мариамму с первого взгляда поразила ее мощь, ее безлика мистическая сила. Рядом с ней она чувствовала себя совсем крошечной. И до сих пор так чувствует. Отец сказал, что это скульптура, которую мама выбросила. Они с Поди расчистили скульптуру и полянку вокруг, посадили там бархатцы. Мариамма всегда думала, что Каменная Женщина — это еще одно воплощение ее матери, отличное от той, что улыбается ей с фотографии в ее комнате. В детстве она ложилась на спину Каменной Женщины и представляла, как мамина сила проникает в ее плоть, словно соки, поднимающиеся по стволу дерева. Сейчас она проводит ладонью по каменному телу в молчаливом приветствии.

А за каналом заливают бетоном фундамент под здание больницы. Судя по бамбуковым лесам, связанным веревками, здесь предполагается гораздо более значительная конструкция, чем она думала. Мариамма пытается представить, как будет выглядеть здание. Ей приятно думать, что золотые браслеты, которые она стянула с себя на Марамонской конвенции, тоже в некотором роде встроены в эти стены и стали частью будущей больницы.

Канал недавно расширили и углубили до самого слияния с рекой. Вода переливается зелеными и коричневыми бликами; листья теперь плывут по течению гораздо быстрее, чем она помнит. Мариамма находит укромное местечко и раздевается до нижнего белья. Потом осторожно сползает вниз по каменистому склону, ступни скользят на влажном мху, а затем отталкивается и ныряет головой вперед. Ощущение внезапного перехода — возбуждающее, знакомое, ностальгическое... и печальное. Она надеялась вернуться в прошлое,

погрузившись в него. Но пути назад нет, время и вода текут неумолимо. Мариамма выныривает гораздо ниже по течению, чем рассчитывала. Слияние с водами реки шумно возвещает о себе впереди, течение неожиданно сильное. Она гребет к берегу, находит за что уцепиться и выбирается на сушу. Нет, это больше не тот же самый канал, а она не та же самая Мариамма.

В конце ее коротких каникул отец раскошелливается на туристическое такси — не до автобусной станции, а до железнодорожного вокзала в Пуналур, два с половиной часа пути. Они сидят, как короли, на заднем сиденье. Отец сознается, что управление Парамбилем совершенно вымотало его.

— Я никогда не был специалистом в этом деле. Будь во мне хотя бы толика задора Самуэля или моего отца, мы освоили бы гораздо больше земли и заработали больше денег. — Он виновато смотрит на дочь. — Беда в том, что твой отец предпочитает плугу перо.

Мариамма считает, что отец напрасно скромничает. Он широко известен как автор «не-художественностей». А пару раз в год он пишет длинные аналитические статьи, которые публикуют в воскресных номерах «Манорамы».

— В общем, я поговорил с Джоппаном, не возьмется ли он вести дела Парамбиля. Сделал ему предложение. И надеюсь, он его примет. Он ведь покончил с транспортным бизнесом. Слишком много проблем. Много лет назад, после смерти Самуэля, мы уже делали Джоппану такое предложение, очень хорошее. Он сам так сказал. У него была бы своя земля, больше, чем у любого из наших родственников, и доля в урожае в обмен на управление поместьем. Но Джоппан мечтал покорить мир. Или, по крайней мере, его водные пути. Тогда он отверг наше предложение. И вдобавок не хотел, чтобы про него говорили «Джоппан пулайан, который занял место Самуэля».

— И на этот раз ты предложил ему нечто иное?

— Хорошо, что ты спросила. Когда меня не станет, все достанется тебе, так что хорошо быть в курсе дел. Я предложил десять акров, которые переходят в его собственность сразу. В обмен он будет десять лет вести наше хозяйство и получать десять процентов от всего урожая. А впоследствии, поскольку он может заодно заниматься и своей землей, зарабатывая на этом, сможет купить у нас еще участок, если захочет.

— Щедрое предложение, — замечает Мариамма.

— Надеюсь, он тоже так думает, — улыбается отец. — То предложение, которое я делал раньше, было гораздо выгоднее, но с тех пор многое изменилось. Мне жалко его. — Отвернувшись к окну, отец некоторое время молчит. — Муули, в детстве Джоппан был для всех нас героем, он был как наш святой Георгий. Судьба — забавная вещь. Взгляни на меня. Я окончил школу, стремился поступить в колледж, посмотреть мир. И вот я там, откуда начинал, а Джоппан где только не побывал. Но именно в Парамбиле я чувствую себя цельным. А Джоппан может вдруг обнаружить, что ровно то, от чего он бежал, спасет его и сделает счастливым. Ты сопротивляешься судьбе, но этот пес все равно тебя выследит. *Вот: все бежит тебя, как ты бежишь Меня!*^[243]

Прощание на платформе было душераздирающим. Мариамма мучается чувством вины за все, что утаила от отца. За все свои тайны. Компрометирующие тайны. Она не представляет, что у отца могут быть какие-то секреты, но, возможно, они есть даже у него.

Их долгие объятия отличаются от всех прошлых. Они поменялись ролями. Теперь она — родитель, оставляющий ребенка на произвол судьбы, но ребенок цепляется за нее. Когда поезд трогается, отец долго машет вслед, храбро улыбаясь, одинокая сиротливая фигурка.

глава 69

Увидеть то, что сумеешь представить

1974, Мадрас

Практика по терапии близится к концу, и однажды служитель сообщает, что Мариамму вызывают к доктору Уме Рамасами, в отделение патологии. Первая реакция Мариаммы — паника, что она где-то ошиблась. Но курс патологии давно позади. Следующая реакция — воодушевление. Ума Рамасами — разведенная дама чуть за тридцать, блестящий преподаватель. Все парни с курса Мариаммы влюблены в профессора Рамасами. Как говорит Чинна, «она рубит фишку», что на жаргоне студентов-медиков означает настоящего профи.

— Чинна, ты уверен, что тебя в ней привлекает именно «фишка»?

— А что, ма? Полагаешь, «премьер падмини» мадам? — прикидывается дурачком он. — Чаа! Да ни разу!

«Фиат» «премьер падмини»^[244] гораздо больше подходит доктору Рамасами, чем громоздкий «амбассадор» или тараканообразный «стандарт геральд». Эти три модифицированные иностранные модели — единственные автомобили, производство которых разрешено в социалистической Индии, за любую другую машину придется заплатить 150 процентов налога на импорт. «Фиат» Умы черного цвета, но с красным верхом, а еще у него дополнительные фары, тонированные стекла и рыкающая выхлопная труба. И, что совсем уж необычно, Ума водит сама.

Доктор Рамасами читала их курсу первую лекцию в старинной аудитории Донована, и даже вечно гудящие последние ряды притихли, когда в зал вплыла высокая, уверенная в себя женщина в белом халате с короткими рукавами. Она начала прямо с воспаления, первого ответа тела на любую угрозу, общего симптома всех болезней. За считанные минуты доктор втягивает их в гущу битвы: захватчики (бактерии брюшного тифа) обнаружены часовыми на вершине холма (макрофагами), которые посылают сигнал в замок (костный мозг и

лимфатические узлы). Немногочисленные стареющие ветераны прежних сражений с тифом (Т-лимфоциты памяти) поднимаются с постелей, чтобы спешно обучить непроверенных новобранцев специфическим навыкам борьбы с брюшным тифом, а затем вооружить их специальными копьями, предназначенными исключительно для того, чтобы вонзиться в щит тифозной бактерии и пронзить его, — по сути, ветераны клонируют самих себя в молодости. Те же ветераны предыдущих кампаний собирают взвод биологической войны (В-лимфоциты), которые спешно производят единственное в своем роде кипящее масло (антитела), дабы лить его на стены замка; оно растопит щиты тифозных захватчиков, не причиняя вреда другим. Между тем, услышав призыв к бою, наемники-головорезы (нейтрофилы), вооруженные до зубов, стоят наготове. При первом запахе пролитой крови — любой крови, своей или чужой — эти наемники впадут в неистовство резни... Расхаживая вдоль доски, доктор Рамасами резко отбрасывала золотисто-пурпурный подол своего красного сари. Мариамме это напомнило женщин с эскизов ее матери: волнообразные линии передавали не только складки сари, но и контуры женской фигуры под ним.

На медной табличке на дверях кабинета написано: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ХАНСЕНА. Судя по всему, доктор Рамасами не считала нужным указывать свое имя. Прохлада кондиционированного воздуха напоминает Мариамме о магазине сари в оживленном роскошном Т. Нагар^[245], где продавщицы, сидящие на приподнятых помостах, вытягивают одно за другим роскошные сари из высоких стопок, каскадами разворачивая их перед клиентом. Но здесь вместо палисада из шелка и хлопка — хромированные холодильники, водяные бани, инкубаторы, сияющие лабораторные столы и центрифуги. Взгляд Мариаммы падает на поблескивающий бинокулярный микроскоп. Прямо слюнки текут. У него есть даже дополнительный окуляр — учительский, — чтобы студент и преподаватель могли вместе изучать один и тот же срез, подсвеченный снизу электрической лампочкой. В сравнении с этой красотой монокуляра Мариаммы, который можно использовать только рядом с ярко освещенным окном после долгой настройки зеркала, — буйволиная повозка.

— Красотка, да? — Доктор Рамасами в небесно-голубом сари. В ушах у нее простые золотые «гвоздики». Она жестом указывает на высокий стул около микроскопа. Поздоровавшись, продолжает: — Итак... я пригласила вас, чтобы спросить, не хотите ли поработать вместе со мной над проектом...

— Да с удовольствием, мадам! — выпаливает Мариамма.

Доктор Рамасами весело хохочет.

— Может, сначала выясните, что за проект? Или вы согласны на все?

— Нет... в смысле — да, мадам. — Мариамма никак не может собраться с мыслями. Должно быть, выглядит полной дурочкой. Нужно говорить медленнее, как советовала Анита.

— Вы будете помогать мне в исследовании периферийных нервов. При болезни Хансена.

Почему не сказать просто «проказа»? — удивляется Мариамма.

— Задача состоит в том, чтобы аккуратно препарировать верхние конечности, которые удалены у пациентов с болезнью Хансена, и полностью обнажить срединный и локтевой нервы и их ответвления. Затем мы фотографируем макропрепараты на месте, перед тем как удалить нервы и сделать множество срезов для микроскопических исследований. Некоторые срезы мы отправим на иммуногистохимическое окрашивание и изучение в Осло.

Мариамма вспоминает прокаженных на Марамонской конвенции и тех несчастных, что иногда встречались на тропинке, ведущей к Парамбилю, — похожие на инопланетян из другой галактики, они останавливались на расстоянии слышимости и гремели своими жестяными кружками. Она содрогается внутри при мысли, что придется препарировать одну из их рук. Да, пожалуй, «болезнь Хансена» совсем неплохой вариант.

— Для меня большая честь быть приглашенной в проект, — говорит она.

— Но?.. — чуть склонив голову и улыбаясь еще шире, интересуется доктор Рамасами.

— Нет, ничего... Просто любопытно, мэм, почему я?

— Хороший вопрос. Вас рекомендовал доктор Каупер. Я видела вашу работу на конкурсном экзамене. Потрясающе, что вы справились

всего за два часа. Именно это мне и нужно. Но мои препараты будут посложнее.

— Благодарю вас, мадам. Я очень рада, что вы выбрали меня не потому, что...

— Потому что вы оторвали яйца Бриджи? — невозмутимо уточняет доктор Рамасами.

Мариамма, не сдержавшись, фыркает.

— Айо, мадам!

— Это было дополнительным плюсом, если уж начистоту. Не так давно и я была здесь студенткой. И у нас были свои «Бриджи», хотя и не такие омерзительные. Печально, что они водятся тут по сей день.

Следующий день для Мариаммы начинается с извлечения образцов из резервуара с формалином, в котором, похоже, содержится коллекция предплечий с кистями. Работает она у окна, где больше света. На всякий случай рядом с ней на подставке большая лупа. Она должна найти стволы срединного и локтевого нервов в предплечье и препарировать их ветви до самых пальцев — точнее, до культей, потому что у этого образца пальцы отсутствуют. Проблема в том, что кожа толстая, как слоновья шкура, гораздо толще, чем у обычного трупа, законсервированного в формалине. Подкожная жировая клетчатка твердая, точно камень, и намертво прилипла к коже; нужно действовать крайне осторожно, чтобы не повредить нерв. И так близко к нерву нельзя использовать слишком острые инструменты вроде скальпеля или ножниц. Поэтому часами напролет она ковыряет, отодвигает и отскребаёт ткани пальцем, обернутым марлей, или рукояткой скальпеля — в хирургии это называется «тупое рассечение». Она будто охотник, ищущий следы. Приметы едва уловимы — подобно чуть более темному оттенку гребешка почвы, приподнятой дождевым червем. Мариамма сидит, склонившись над образцом, совсем как в детстве, когда они с Ханной вышивали. Интересно, монахиням в монастыре позволены хобби?

Неделя работы, ноющие запястья и затекшая шея — и первый образец готов.

— Великолепно! — констатирует Ума. — Я пригласила вас, потому что сама не могу найти времени на эту работу. Но, признаюсь, я пробовала. И я искромсала, все испортила! В чем ваш секрет?

— Отчасти дело в зрении, — нерешительно начинает Мариамма. — В детстве я училась вышивать. И обнаружила, что могу делать совсем крошечные стежки, которые у Ханны — девочки, которая меня учила, — не получаются, хотя у нее было нормальное зрение. Честно говоря, я не пользовалась лупой, у меня от нее голова кружится. И еще, мэ... — Она не решается признаться. Когда попыталась объяснить это Аните, та подумала, что Мариамма сошла с ума. — Не хочу, чтобы меня сочли хвастуньей... или сумасшедшей. Но, препарирруя анатомические образцы, я как будто вижу все *иначе*. Понимаете, мы все смотрим на образцы в формалине сверху, в одной плоскости. Но я могу видеть их в трех измерениях, могу мысленно вращать их. Это больше, чем просто знание того, что я *должна* увидеть, — для этого у всех нас есть руководство по вскрытию. Я могу разглядеть, чем именно эта ткань отличается от остального тела. Могу *представить* ее целиком, практически взглянуть сквозь нее. А потом остается только отделить. Здесь участвуют все органы чувств. Я обращаю внимание на сопротивление ткани, тонкие ощущения, даже вибрацию или трение, когда инструмент двигается по поверхности материала.

— Не беспокойтесь, — задумчиво говорит Ума. — Я вовсе не считаю вас сумасшедшей. У вас дар, Мариамма. Иначе невозможно было бы препарировать так идеально. Человеческий мозг способен творить невероятное. В нашем упрощенном понимании мы помещаем каждую функцию в отдельную ячейку: зона Брока отвечает за речь, а область Вернике — за интерпретацию того, что слышим. Но эти ячейки искусственны. Слишком примитивны. Чувства переплетаются и перетекают из одной области в другую. вспомните о фантомных болях. Нога ампутирована, но мозг ощущает боль в том, чего больше нет. Так и тут, я полагаю, — ваш мозг может воспринимать визуальный сигнал и преобразовывать его в нечто иное.

Мариамма думает о Недуге. Сейчас, обладая знаниями анатомии и физиологии, она предполагает, что Недуг повреждает зоны мозга, связанные со слухом и равновесием. Возможно, у тех, кто страдает Недугом, погружение в воду провоцирует передачу сигналов к тем частям мозга, которые не должны быть задействованы, — противоположность ее дару. Нужно спросить Уму, но, прежде чем она успеет открыть рот, Ума продолжает:

— Я видела ваши наброски. Вы хорошо рисуете.

— Вообще-то не очень. Жаль, что мне не передался художественный талант матери.

— А чем она занимается?

— Она не занимается больше. Но в прошлом — да... Я никогда не видела своей матери. Она утонула вскоре после моего рождения.

— О, Мариамма!

От искренней скорби в голосе Умы Мариамму накрывает волной горя. Это, конечно, не тоска по матери. Как можно оплакивать ту, кого никогда не знала? И она никогда не справится с тоской по Большой Аммачи, которая была ей матерью, бабушкой и подругой, всем сразу. Но беседы с Умой, с молодой женщиной, живой и яркой, впервые дают Мариамме представление о том, какими могли быть разговоры с матерью. Если бы мама не утонула.

Ума встает, ласково стискивает плечо Мариаммы и возвращается к себе в кабинет.

Занятия, практика в клинике, препарирование в лаборатории и чтение полностью занимают ее время и мысли. Порой у нее возникает нелепое желание написать Ленину, с которым, разумеется, нет связи. Единственные письма, которые получает Мариамма, — от отца, с новостями из дома. Джоппан согласился стать управляющим Парамбиля, и с самого его первого дня кажется, что он был тут всегда. Отец пишет, что впервые за долгое время смог перевести дух. А еще, сообщает он, развернулась драматическая история вокруг Мастера Прогресса и Больничного фонда. Раньше Мастеру помогала Поди, вела всю бухгалтерию. Когда она уехала, Мастер нанял новую девушку, которая, видимо, присвоила средства фонда. С безобразием разбираются, но Мастера Прогресса пока отстранили от работы, хотя он ни в чем не виноват. На скорость строительных работ, впрочем, эта история не повлияла.

Внешние стены почти закончены. Смотрю на них, и кажется, что сплю — такое прекрасное современное здание, и вдруг в нашем Парамбиле. Жаль, что Большая Аммачи не видит. Это ведь ее мечта. А может, и видит. Она точно видела, как все начиналось. Анна-чедети передает приветы. Мы очень гордимся тобой.

Твой любящий Анна

В субботу, пока Мариамма наверстывает пропущенные часы в лаборатории, туда на минутку заскакивает Ума, и они вместе изучают первые срезы под микроскопом.

— Я часто думаю о Герхарде Хансене, — говорит Ума. — Многие ученые и до него рассматривали под микроскопом ткани больных проказой, но никто не видел бактерию-возбудителя. Но ее ведь совсем не сложно разглядеть! Просто они решили, что ее там не может быть. Иногда нужно *представить* что-либо, чтобы обнаружить это. И этому, кстати, я научилась у вас!

Это льстит и вдохновляет Мариамму работать еще усерднее. Ее тянет к Уме. Когда она была маленькой, то часто мечтала, как мама вдруг возвращается: украшенная драгоценностями, всегда почему-то на колеснице, с распущенными волосами, освобожденная наконец от заклятия волшебника, который много лет удерживал ее спящей в заточении. Обычно такие фантазии посещали ее, когда она сидела возле Каменной Женщины или в Гнезде, потому что ее мама была жива в этих творениях, жива в своих незавершенных рисунках и картинах — художник, которого прервали посреди работы и который вот-вот вернется. Но годы шли, спящая красавица не просыпалась, картины оставались незавершенными. Ума, ее живая, дышащая, яркая наставница, — из тех женщин, кто, оказываясь, участвует в ралли и своими руками перебирает двигатель, — более реальна, чем любой рисунок, и даже реальнее безликой каменной реликвии в Парамбиле.

Мариамма заказывает билет, планируя съездить на неделю домой на короткие каникулы. За два дня до отъезда она корпит в лаборатории, готовя препараты к фотосъемке.

За спиной какое-то движение. Она оборачивается. Ума, со странным выражением лица и с заплаканными глазами, стоит на пороге своего кабинета. Первой мыслью Мариаммы было, что Ума доставала что-то из резервуара с формалином и надышалась испарений.

Ума как в замедленной съемке подходит к ней и обнимает за плечи.

— Мариамма, — тихо произносит она. — Произошел несчастный случай.

глава 70

Сделать решительный шаг

1974, Кочин

Филипос проводит ночь вдали от Парамбиля, в номере знаменитого кочинского «Малабар-отеля», любезно предоставленном его газетой. Он предложил статью, где по-новому оценивается деятельность Роберта Бристоу — человека, которого в этом портовом городе считают святым. Редактор одобрил идею.

Бристоу, морской инженер, прибыл в Кочин в 1920 году и понял, что, несмотря на процветающую торговлю пряностями, Кочин обречен оставаться второстепенным портом — из-за скалистой отмели и гигантского рифа, через который могли проскочить лишь небольшие суденышки. Большие корабли должны были вставать на якорь на рейде, а товары и пассажиров доставляли на берег на лодках. Бристоу совершил инженерный подвиг, подобный строительству Суэцкого канала, — он убрал препятствия для судоходства, а в процессе расчистки на поверхность подняли достаточно ила и камней, чтобы соорудить остров Уиллингдон. Теперь для кораблей есть глубоководная гавань между островом Уиллингдон и побережьем, а на самом острове расположены аэропорт Кочина, правительственные учреждения, предприятия, магазины и роскошный «Малабар-отель».

Филипос, ужиная на террасе «Малабара», смотрит на широкий пролив между островом Випин и фортом Кочин, затем переводит взгляд на Аравийское море. Забавно — учитывая его враждебные отношения с водой — сидеть на земле, которая прежде была морем. Он оказался здесь, потому что некий капризный биолог пристал к Обыкновенному Человеку, предлагая изучить, как инженерный подвиг Бристоу повлиял на экологию озера Вембанад, которое в этом месте выходит к океану. Каналы и заводы, жизненные соки Кералы, которые питают озеро, оказались подвержены воздействию соленой воды. «Донным, nekтонным и планктонным сообществам был нанесен неизмеримый ущерб, — говорится в письме биолога. — А поскольку работы по

углублению дна ведутся круглый год, ущерб носит постоянный характер. Драгоценная скальная устрица, *Crassostrea*, жизненно необходимый элемент в пищевой цепочке — от рыбной молоди к взрослым особям и вплоть до человека, до маленьких детей, чей мозг растет и развивается!» Филипос разделяет тревогу: он видел схожие проблемы со строительством плотин, вырубанием тиковых лесов и добычей руды, понимал, что возможны непредвиденные последствия. Бедные сельские жители, чья жизнь может быть разрушена, редко имеют право голоса, чтобы заранее выступить против подобных проектов. А когда ущерб уже нанесен, все, что они говорят, едва ли имеет значение.

Филипос засиживается за ужином и приветственным бренди от шефа, который, как выяснилось, почитатель Обыкновенного Человека. Легкий бриз нежно, как женские пальцы, перебирает его волосы. Как бы хотелось, чтобы сейчас в этом роскошном отеле рядом с ним была Мариамма.

Я на самом краю своего мира, размышляет он. Дальше я уже не доберусь.

Вместе с ветром он вдыхает аромат истории. Голландцы, португальцы, англичане... все оставили свой след. И никого из них больше нет. Тени. Их кладбища заросли бурьяном, имена нечитаемы, стерты ветрами. А какой след оставит *он*? Что будет его шедевром? Он знает ответ: Мариамма. Она и есть его шедевр.

После ужина Филипос неторопливо идет в свой номер, тщательно выверяя каждый шаг, — не привык он к бренди. Туристы, сидевшие недавно за длинным столом, оставили на сиденье кресла книгу. Нет, не книгу, а небольшой, превосходно отпечатанный каталог на бумаге, которую сразу хочется потрогать. Филипос берет брошюру. На обложке черно-белая фотография большой каменной скульптуры.

Трезвеет он мгновенно. Океан замирает, ветер мгновенно прекращается, звезды перестают мерцать.

У нее чрезмерно развитые плечи и руки — женщина, но скорее суперженщина. Похожа на первобытные глиняные фигурки с пышной отвислой грудью. Лопатки выглядят как крылья, прижатые к телу. Кожа намеренно оставлена грубой, необработанной. Она стоит на

четвереньках, вытянув одну руку. Лица женщины не видно, оно скрыто в камне.

Нутро скручивает в узел, дикая дрожь бьет тело, и волосы встают дыбом: гипертрофированные пропорции, поза, стиль — все это Элси.

Филипос, спотыкаясь, бросается в свою комнату, в исступлении листает каталог при свете настольной лампы. В указателе эта скульптура числится как «номер 26, неизвестный художник». Каталог предназначен для распродажи имущества из адьярского дома какого-то явно богатого англичанина и «востоковеда», который собрал коллекцию индийской живописи, народного искусства и скульптуры. Торги проводит мадрасский аукционный дом «Винтроуб и сыновья». Филипос вглядывается в каждую страницу, изучая остальные лоты. Больше ничего, принадлежащего Элси. Возможно, эта статуя — ранняя работа Элси, до того, как они поженились. Или из того периода, когда она ушла после смерти Нинана. Но он нутром чувствует, что это не так.

Возвращается к обложке. Грубый необработанный камень там, где намеренно скрыто лицо. Филипос покрывается потом, пальцы впиваются в бумагу — разорвать камень и открыть лицо.

Он мечется по комнате, не в состоянии усидеть на месте, пытаюсь разобраться в том, что не имеет смысла.

Мы ведь так и не нашли тела. И сделали вывод из его отсутствия.

В то время, когда утонула Элси, он и сам почти отсутствовал в этом мире, сначала затерявшись в опиумных грезах о реинкарнации, а потом погрузившись во взаимные обвинения. Из леса, куда его утащили Самуэль, Джоппан, Унни и Дамо, он вернулся абсолютно трезвым и с ясной головой. Поднес к лицу одежду Элси, ту, что она оставила на берегу. Вдохнул ее запах, новый запах, с которым она вернулась после своего долгого отсутствия. Аромат страдания. Он никогда не хотел смириться с тем, что она добровольно отдала свое тело реке, отдала свою жизнь, потому что если так, то придется признать, что именно он довел ее до этого. Нет, это был несчастный случай. В ночных кошмарах Филипос натывается на ее разложившееся тело далеко от Парамбиля — тело, растерзанное крокодилами и дикими собаками.

Но за все эти годы он ни разу не допустил *иной* возможности, кроме той, что Элси утонула; он никогда не представлял сценария, в котором ее живое, дышащее «я» по-прежнему существовало бы в той

же вселенной и по-прежнему занималось своим ремеслом. У нее были причины бежать от него. Но от собственного ребенка? Нет, никогда.

О, Элси. За каким же чудовищем ты была замужем, если ради того, чтобы продолжить заниматься тем, что по-настоящему для тебя важно, у тебя оставался единственный путь — пожертвовать Мариаммой?

Аукцион назначен на послезавтра. В каталоге, может, и написано «неизвестный художник». Но два десятка лет работы в газете научили его, что неизвестное — это зачастую просто пока нераскрытое.

Он должен ехать в Мадрас. Долгие годы этот город был синонимом его поражения. Даже пребывание там дочери не могло убедить Филипоса сесть в поезд. При одной только мысли он начинал задыхаться и покрываться испариной.

Но сейчас он поедет. Он *должен* поехать. Не только в поисках ответа, но чтобы искупить свою вину.

Наутро в кочинской редакции «Манорамы» сумели совершить невозможное. И через несколько часов в окошке для бронирования он получает свой билет. Его трясет, ладони вспотели. Филипос приказывает собственному телу: *Мы садимся в поезд, и точка.* Вернувшись в отель, он пишет письмо Мариамме.

Моя дорогая доченька,

Скоро я сажусь в поезд до Мадраса. К утру буду на месте. Наверное, доберусь раньше, чем это письмо. Но ты всегда говорила, что если я вдруг явлюсь без предупреждения, тебя хватит удар. Так что этим письмом я предупреждаю тебя, что еду. Мне нужно очень многое тебе рассказать. Путешествие в неизведанное — это не открытие новых земель, это обретение нового взгляда.

Твой любящий Анна

Когда приходит время садиться в поезд, он находит свое имя на машинописном листке, прикрепленном к вагону, это навевает воспоминания о том, как он стоял на этой же самой платформе рядом с Мастером Прогресса. Как будто ему предстояла еще вся жизнь; он

еще не встретил необыкновенную смелую девушку в темных зеркальных очках, которая станет его женой; Большая Аммачи, Малютка Мол и Самуэль еще живы; Нинан и Мариамма не родились и лишь ожидают призыва появиться на свет...

Он взбирается в вагон как опытный путешественник, в руках у него только небольшой чемоданчик, в котором блокнот, бритва и смена белья. «Пожалуйста», — слышит он свой собственный великодушный ответ, помогая женщине запихнуть чемодан под его лавку. Поезд трогается. Он смеется вместе со всеми, когда коччамма громко кричит с платформы: «И не забывай сам стирать трусы, *кэхто!*^[246] Не отдавай их дхоби, слышишь?» Мальчишки — студенты колледжа из соседнего купе — кричат в ответ: «Да что такого, аммачи? Оставь его в покое! Подцепит чесотку от дхоби и будет чесаться, только и всего!»

Путешествие начинается весело и беззаботно. Новые приятели — соседи по купе — обсуждают, что лучше — заказать ужин в Палаккаде или подождать до Коимбатура, как будто жизнь держится на таких маленьких решениях. Филипос с удивлением слышит, как высказывает свое мнение, притворяясь, будто у него есть опыт в этих делах. *Ты трус!* — говорит он себе. *Столько лет ты устраивал ажиотаж из-за поездки в Мадрас! А чтобы решиться, тебе нужно было только одно: чтобы Элси воскресла из мертвых.*

В сумерках заросшие буйной зеленью малабарские склоны Западных Гхатов убаюкивают пассажиров, разговоры затихают. Филипос не отрываясь смотрит в окно.

Если ты изменилась, Элси, то и я тоже. Я научился быть стойким. Каждое утро я водил в школу дочь, пока она не запретила мне. Каждый вечер я читал ей. Слава богу, она любит читать, и для нее нет большего удовольствия, чем зарыться в книжку. По средам я учредил вечера карнатической музыки, которые транслировало «Радио Индия», но она предпочитала оперу по Би-би-си — вот уж чудовищные звуки. Ах, Элси, сколько же ты пропустила из жизни нашей дочери! Я немногого добился в своей жизни и первым готов это признать. Но какое достижение может быть большим, чем наша дочь? Ты ничего не должна объяснять мне. Ты вообще ничего мне не должна. Элси, я еду сказать, что я прошу прощения. Сказать, что я хотел бы перемотать нить нашей жизни. Тогда я был другим. Сейчас я совсем иной.

Они въезжают в первый тоннель, слабые лампочки заливают купе тусклым светом, и уютное постукивание колес перерастает в грохот.

Я никогда не переставал думать о тебе. Какой ты была, когда мы впервые встретились и когда я опять увидел тебя, и наш первый поцелуй... Я каждую ночь разговариваю с твоей фотографией.

Но, Элси, Элси, — что означает эта статуя? Она из того года, когда ты уходила? Если нет, это означает, что ты жива? Возможно, я предпочитал думать, что ты умерла, потому что иначе я должен был столкнуться лицом к лицу с чудовищем, которым был я сам. Но Элсиамма, если ты жива и скрываешься, не прячься больше. Позволь увидеть тебя, покажи мне свое лицо. Мне так много нужно сказать...

Вскоре поезд поедет через реку по длинному мосту на высоких опорах, который Филипос помнит с давних времен, вспоминает его с содроганием, потому что мост тогда напугал. Он выглянул в окно, когда ритмичный стук колес сменился визгливым жужжанием, и показалось, что они плывут над водой и поезд ничто не поддерживает. Его юное «я» готово было свалиться в обморок. Уж лучше спать, когда это произойдет.

Филипос забирается на свою полку — самую верхнюю — и устало вытягивается. В замкнутом пространстве купе вид потолка в нескольких дюймах от носа напоминает крышку гроба. Он закрывает глаза и вызывает в воображении лицо Мариаммы. Она возместила собой его неосуществленные амбиции, его одиночество, несовершенство его прежнего «я».

Дети не должны осуществлять наши мечты. Дети позволяют нам отпустить мечты, которые не суждено осуществить.

Из дремоты его вырывает резкий треск, исходящий из вагона впереди, вслед за которым следует толчок, ощущаемый всем телом. Он взмывает над полкой. Как странно! Купе вращается вокруг него. Филипос видит, как ребенок завис в воздухе, а взрослый скользит мимо. Вагон взрывается криками и скрежетом металла. Его швыряет к потолку, вот только потолок теперь это пол.

Свет гаснет. Филипос кувыркается в темноте, погружаясь все глубже и глубже, желудок где-то во рту, как некогда в том отчаянном безрассудном плавании с лодочником и его ребенком, жизнь назад.

Раздается оглушительный грохот, и купе раскалывается от удара, как яйцо. Внутри врывается вода. Рефлекторно он делает глубокий вдох, наполняя грудную клетку воздухом за мгновение до того, как холодная вода поглотит их всех. И выскальзывает из треснувшего вагона, как желток из яичной скорлупы. Знакомое ощущение. *Открой глаза!* — слышит он голос Самуэля.

Внизу под собой он видит размытое темное пятно, похожее на кита, — его вагон, погружающийся в глубину. Воздух в грудной клетке тянет его наверх. Вырвавшись на поверхность, Филипос жадно глотает свежий кислород, мир вокруг вращается, и он вцепляется в какой-то предмет, оказавшийся рядом, чтобы остановить головокружение, но режет ладонь острым краем. Судорожно хватается за другой предмет. И остается на плаву. Глаза открываются, головокружение проходит.

Мертвая тишина. Он оглядывает освещенную призрачным светом плоскую гладь воды, из которой торчат кое-где чемоданы, одежда, тапочки и головы. Один конец вагона показывается на поверхности, обвиняюще вздымается к небесам, а затем окончательно тонет.

По обе стороны от него вздымаются скалистые стены ущелья, обрамляя полоску звезд. Он видит сломанные остатки моста, с которого рухнул поезд. Вода холодная. Боли он не чувствует, но правая нога не слушается. Сзади свет! Филипос медленно поворачивается, но это всего лишь горбатая луна, равнодушный свидетель. Теперь он слышит хор все громче звучащих голосов, крики выживших. «Шива, Шива!» — женский голос, и еще один, с другой стороны: «Господи! Боже мой!» — но бог катастроф неумолим, и оба голоса, захлебнувшись, смолкают.

Рядом проплывает неподвижная фигура, лицом вниз, узел из ткани и длинных волос, а тело вывернуто таким немислимым образом, что Филипос в ужасе отшатывается.

То, за что Филипосу удалось зацепиться, — мягкая, промокшая диванная подушка с основой из чего-то более прочного. Она едва держится на воде. Свободной рукой он гребет, на удивление продвигаясь вперед. Нет течения, с которым надо бороться, только смерть и обломки, плавающие в тишине. Он толкается ногами и теперь чувствует острую боль в правой ноге.

— Аппа! Ап...

Детский крик откуда-то позади него. Маленькая девочка или мальчик? Или галлюцинации?

Филипос взмахивает рукой, разворачивая себя и свой громоздкий поплавок. На зеркальной поверхности замечает прядку волос над парой распахнутых в ужасе глаз, больших, как две луны, и ничего не видящих; крошечный нос и губы булькают под водой и на миг приподнимаются, чтобы закричать, а маленькие ручки судорожно пытаются карабкаться по отсутствующей лестнице. Борьба малыша за каждый вдох действует на Филипоса как удар током. Перед ним вновь сынишка лодочника. Маленькая голова скрывается из виду. Он слышит рев в глубине собственного горла, когда барахтается в том направлении, но ох как медленно он движется, боль обжигает ногу. *Anna!* Это крик его собственного ребенка, всех детей на свете. Сейчас, в самый неподходящий момент, к нему приходит понимание, что то единственное лицо, которое он так отчаянно хотел увидеть, лицо Каменной Женщины, не должно быть видимо. Какое это имеет значение? Мы умираем, пока живем, мы старики, даже когда молоды, мы цепляемся за жизнь, даже когда смиряемся с неизбежностью ухода.

Но этот тонущий ребенок, к которому он гребет, для него, обыкновенного человека, это шанс сделать нечто по-настоящему важное. *Любить больных, всех и каждого, как своих родных.* Он выписал эти слова Парацельса для своей дочери. Рядом с ним и все же в недостижимости — ребенок, не его ребенок, но ведь он может любить всех детей как своих собственных. Возможно, этого малыша уже не спасти, как, наверное, и его самого, но это не имеет значения и одновременно имеет огромное значение, и Филипос отчаянно колотит ногами и гребет, и гребет, однорукий и одноногий человек, который не умеет плавать, — приближаясь к ребенку, до которого не дотянуться. Трясущаяся рука касается крошечных пальцев, но они уже скользят в глубину.

Филипос делает глубокий вдох, втягивая в свои легкие небо, и звезды, и те звезды, что за этими звездами, и *Господь, Господь, Господь мой, где Ты? Я вдыхаю Тебя, Господи, дыхание Господне на мне, дыхание на мне дыхание Бога...*^[247] Впервые в жизни, свободный от нерешительности, свободный от сомнений, он абсолютно уверен в том, что должен сделать.

глава 71

Мертвые восстанут нетленными

1974, Мадрас

В руках у нее нераспечатанное письмо от отца. Слезы капают на адрес, написанный невыносимым папиным почерком, который почтальон каким-то чудом умудрялся расшифровать.

В этом письме папа еще живой.

А утром в морге уже не был.

За дверями морга разъяренная толпа родственников требовала информации. По их искаженным, заплаканным, растерянными лицам Мариамма поняла, как, должно быть, выглядит и ее лицо. Одна и та же чудовищная лапа сгребла их всех в охапку, как пучок травы, и тот же серп подсек их, навсегда оторвав от родных и любимых. Охрана пропустила заплаканную Мариамму в белом халате через узкую щель в металлических воротах, оттеснив другого скорбящего.

— Почему ей разрешают увидеть тело, а нам нет?

Тело. Слово похоже на удар дубиной.

Она должна была встретиться в морге с Умой, но, не найдя той, бродила по громадному залу; никто не останавливал ее в этом столпотворении, где мертвые тела лежали повсюду — на металлических каталках, на столах и на голом полу. А потом она увидела руку, знакомую, как своя собственная, торчащую из-под резиновой клеенки. И тогда она подошла, взяла эту ледяную руку, открыла лицо. Отец выглядел умиротворенным, просто спящим. Ей зачем-то захотелось накрыть его одеялом вместо резиновой клеенки, подложить подушку, чтобы голова не лежала на холодном жестком металле. Он не умер. Это ошибка. Нет, ему просто нужно поспать, вот и все, а потом, когда отдохнет, он сядет и выйдет вместе с ней из этого шумного морга... Ноги у нее подкосились, свет в комнате потускнел, звуки доносились издалека. Защитный рефлекс заставил ее опуститься на корточки возле его носилок, зажать голову между коленей, не выпуская папиной руки, и безутешно разрыдаться. Миру пришел конец.

Медленно, постепенно вернулись звуки. Никто не обращал на нее внимания. Слишком много хаоса, чужих причитаний, криков тех, кто пытался восстановить порядок. Очень не скоро она заставила себя поднять голову. Сквозь слезы она спрашивала отца, что заставило его сесть в поезд. Почему в *этот* поезд? Он же знал, что она собирается домой, зачем ехать сюда?

Ума Рамасами, в фартуке поверх халата, застала ее разговаривающей с отцом. Ума, как и все патологи сейчас, помогала замученному коронеру справиться с количеством тел, которые не мог вместить морг. Ума обнимала ее, плакала вместе с ней. Когда Мариамма спросила, Ума сказала, что клеенка скрывает раздробленное колено и глубокую рану на левом боку. Мариамма не стремилась увидеть это своими глазами.

Она понимала, что Ума должна идти, что она не может оставаться рядом весь день.

— Ума, я должна вам кое-что рассказать. Не так я представляла себе этот разговор, но это нужно сделать сейчас. Это важно. Это касается моего отца и моей семьи. Вы позволите? Всего несколько минут?

Ума выслушала — очень спокойно, очень внимательно, чуть удивленно приподняв брови.

— Я сделаю это, — сказала Ума. — Я сделаю это лично. Вам нужно будет подписать несколько документов.

И вот теперь в своей комнате в общежитии, рядом с верной Анитой, она трясущимися руками распечатывает папино письмо.

Моя дорогая доченька.

Она читает раз, другой. Он говорит, что уже в пути к ней. Но не объясняет почему.

Путешествие в неизведанное — это не открытие новых земель, это обретение нового взгляда...

О чем это он? Мариамма прижимает листок к губам в надежде, что так станет понятнее. Чувствует запах самодельных чернил, единственный в мире запах дома, красной латеритовой земли, которую он так любил.

Два дня спустя в Парамбиле, куда Мариамма возвращается с телом отца, они с Анной-чедети приникают друг к другу, как два тонущих существа. Анна больше чем кровный родственник — теперь она единственный оставшийся в живых член ее семьи.

Рядом с Анной стоит Джоппан; когда он сжимает руки Мариаммы, лицо его каменеет, а глаза темнеют, как будто он замышляет мечь Богу, который забрал его лучшего друга. Ни Анна-чедети, ни Джоппан понятия не имеют, почему отец сел в тот поезд.

Мариамма с трудом узнает мешок с костями, который выходит вперед утешить ее, — Мастер Прогресса. После скандала вокруг хищения средств фонда ее отец был единственным, кто поддержал беднягу, хотя оказалось, что больше всего пострадал банк, а Больничный фонд практически не тронут. Сам Мастер осудил себя строже, чем кто-либо другой. Но в такие моменты никто не справится лучше, чем он, нужды других людей, хлопоты по организации похорон дают ему цель в жизни.

— Сердце мое разбито, муули, — говорит он. И отходит поговорить с шофером фургона, который привез гроб.

На следующий день в церкви она видит множество незнакомых лиц, почитателей Обыкновенного Человека, которые пришли выразить соболезнования. Сгорбленная старушка с палочкой, которая на вид могла бы быть сестрой Большой Аммачи, говорит:

— Муули, четверть века мы смеялись вместе с твоим отцом и плакали с ним. Сердца наши разрываются за тебя. — И прижимает Мариамму к груди.

Мариамма хранит тайну, которую никогда не узнает никто из скорбящих: из тела, лежащего в гробу, изъяты все внутренности; брюшная полость и грудная клетка — лишь пустая оболочка. Ума целиком вынула позвоночник, вставив стержень в оставшийся желоб. Те, кто раньше заглядывал в открытый гроб, не видели длинного разреза по задней части головы, от уха до уха, сразу под линией волос. Скальп был снят вперед, а свод черепа вскрыт, чтобы удалить мозг. Потом череп и скальп восстановили. Обычно в ситуации катастрофы с таким количеством жертв аутопсия мозга не проводится, особенно если легкие показали, что человек утонул. Однако Ума лично проведет исследование мозга этой жертвы. Но никакое вскрытие не объяснит, зачем отец сел в этот поезд.

Отца хоронят рядом с его отцом, Большой Аммачи, Малюткой Мол, ДжоДжо и его любимым сыном, ее братом, Нинаном, — в красной почве, которая вскормила их и которую они любили. Если бы останки ее матери нашли, она тоже лежала бы здесь. Как ляжет когда-нибудь и сама Мариамма.

Интересно, что бы сказала Большая Аммачи о том, что тело ее сына утратило целостность.

Вострубит труба, и мертвые восстанут нетленными.

Неужели бабушка верила в буквальный смысл этих слов? Может, и так. Но если Бог может воссоздать разложившееся, то запросто сумеет собрать тело отца, даже если его смертные останки покоятся на разных побережьях.

Гроб опускают. Комья земли стучат по крышке с такой окончательностью, что Мариамма обнаруживает в себе новый запас слез. Позже, уже дома, собирается большая семья Парамбиля: все взрослые, которых она знает с детства, многие совсем пожилые. Состарившиеся близнецы, согбенные, с одинаковыми тросточками и залысынами, стали похожи еще больше, чем в молодости. Благочестивой Коччаммы с ними нет, ей под девяносто, она прикована к постели, лишённая возможности злословить и сплетничать. Долликоччамма ровесница своей благочестивой невестки, лицо ее все в морщинах, но выглядит и двигается она как пятидесятилетняя, когда снует туда-сюда, помогая Анне-чедети подавать на стол. Мариамма видит лица детей, вместе с которыми выросла, иных едва можно узнать. Не хватает тех двоих, кто мог бы хоть немного утешить ее, — Ленина и Поди. У христиан Святого Фомы не принято произносить надгробные речи, но сейчас, после погребения, собравшиеся в доме выжидательно смотрят на Мариамму, прежде чем аччан начнет произносить молитву. Она встает, складывает ладони, смело глядя на всех. Вдруг понимает, что только когда умирают и отец, и мать, человек перестает быть ребенком, дочерью. Она внезапно стала взрослой.

— Если бы Аппа мог сейчас увидеть вас, сердце его было бы переполнено благодарностью. За вашу любовь к нему и за то, как вы поддержали меня в моем горе. Отец так сильно любил Нинана и так сильно любил мою мать. Но ему не выпало шанса любить их так долго, как ему хотелось. И всю свою любовь он излил на меня, больше любви, чем иные дочери получают за множество жизней. Господь благословил

меня этой любовью. Я благодарю каждого из вас за то, что вы здесь, что даете мне силы. Я постараюсь продолжить его дело. Мы все должны продолжить. Это то, чего он хотел бы.

Утром в день похорон любимая газета отца в последний раз опубликовала его колонку. Под фотографией и именем единственные слова: *Обыкновенный Человек, 1923–1974*. А ниже — пустая колонка, лишь толстая черная кайма, обрамляющая пустоту.

глава 72

Болезнь Реклингхаузена

1974, Мадрас

Мариамма пишет Уме Рамасами, сообщая дату своего возвращения. Ума отвечает телеграммой: *Привезите родословную, о которой упоминали. Я должна Вам кое-что показать.*

Через две недели после похорон Мариамма садится в ночной поезд из Пуналура — отец ехал по другому маршруту. Она ворочается на полке, не может уснуть. Ожидание невыносимо. Почему Ума не могла просто сообщить, что именно нашла?

В Мадрасе она оказывается рано утром и успевает привести себя в порядок в общежитии. К одиннадцати часам она уже дожидается Уму в мрачном и гнетущем хранилище патологоанатомических препаратов. С полок на нее взирают сотни законсервированных образцов, которыми преподаватели мучают студентов на устных экзаменах по анатомии, патологии и всем клиническим специальностям.

Приходит Ума, обнимает Мариамму, потом отодвигает ее на расстояние вытянутой руки, внимательно оглядывает, дабы убедиться, что та вернулась в целостности и сохранности, пытаясь одновременно подобрать правильные слова. Не найдя нужных слов, просто крепко обнимает Мариамму еще раз.

— Это оно? — наконец вытирает глаза Ума, показывая на свернутый в трубочку большой лист бумаги.

— Копия. Оригинал рассыпается в руках. И он на малаялам. Я перевела все надписи, которые смогла разобрать.

Подобно хранителям веры, они всматриваются в жизни Парамбиля. Мариамма резюмирует то, что удалось узнать: крест над волнистыми линиями означает того, кто утонул; волнистые линии без креста отмечают отвращение к воде. В пометках говорится, что на пятом или шестом десятке жизни у некоторых из тех, кто страдал от Недуга, возникало головокружение или неустойчивая походка. Есть

несколько упоминаний о глухоте. И три случая провисания одной стороны лица, в том числе у ее дедушки.

— Тут не видно простого наследования по Менделю, — говорит Ума. — Поразительно, что мужчины страдают чаще, чем женщины!

— Видите ли... возможно, и нет. Поскольку женщины выходят замуж и уезжают, здесь просто меньше записей о них. Они становятся частью других семей. Как будто, выйдя замуж, они просто исчезают.

Как моя мать, думает Мариамма.

— Спасибо, что привезли это. Чрезвычайно полезная информация. — Ума откидывается на стуле. — Итак... Мариамма, на общем вскрытии не обнаружено повреждений тела настолько серьезных, чтобы они могли привести к смерти вашего отца... Он утонул. — Она делает паузу, давая Мариамме возможность принять эту мысль. Если бы не болезнь, отец мог бы выплыть и спастись. Мариамма берет себя в руки и кивает, предлагая Уме продолжить. — Перед тем как проводить вскрытие мозга, я поговорила с доктором Дасом из неврологии, рассказала, что мне было известно. Он был рядом, когда я извлекала мозг. И мы кое-что увидели. Признаюсь, я чуть было не пропустила ключевую деталь. Она была чрезвычайно мелкой, и мне повезло, что я заранее знала вашу историю и рядом стоял Дас. Давайте пойдем в лабораторию мозга, и я вам покажу, — предлагает она, вставая.

По пути Ума рассказывает:

— Мозг нужно не меньше двух недель подержать в формалине, чтобы затвердел, а лучше даже подольше. Перед тем как идти сюда, я достала его из раствора, его можно брать в руки, но разрезать пока рано.

Срезы мозга — это такой патологоанатомический ритуал, проводимый посредством ножа и доски, когда мозг нарезают ломтями, как буханку хлеба.

— Кстати, в лаборатории нас ждет доктор Дас. Вы готовы?

Лаборатория мозга похожа на длинную прямоугольную кладовку с полками по двум сторонам и окном во всю стену в дальнем конце. Полки забиты пластмассовыми ведерками, как банки с краской в строительном магазине, вот только в этих ведерках хранятся мозги, в ожидании, пока они затвердеют. Свежий мозг, когда его извлекают,

совсем мягкий и принимает форму любого сосуда, в который вы его положите. Чтобы в процессе затвердевания сохранить его изначальную форму, через кровеносные сосуды на нижней стороне продевают нить, а затем перевернутый мозг подвешивают в формалине, привязав нить к перекладине над верхней кромкой ведра.

Доктор Дас, сутуловатый, ничем не примечательный мужчина, терпеливо ждет их. На столе у окна, на подносе, прикрытый зеленой тканью, как поднимающееся тесто, лежит папин мозг.

Представив доктора, Ума бросает короткий взгляд на Мариамму и снимает ткань. Мозг отца чуть больше кокосового ореха. С нижней стороны, как стебель под соцветиями цветной капусты, располагается ствол мозга. С него, как развязанные шнурки, свисают черепные нервы, перерезанные Умой в процессе извлечения мозга из черепной коробки. По этим нервам шли сигналы от папиных глаз, ушей, носа и горла, давая ему возможность видеть, обонять, чувствовать вкусы, глотать и слышать. Грибовидные массивные отделы над стволом мозга — это два его полушария. Мозг отца выглядит так же, как любой другой мозг. Но это не так. Он хранил его уникальные воспоминания, каждую написанную им историю и те, что он мог бы написать; он хранил любовь к дочери. И хранит тайну того, зачем все же отец поехал в Мадрас.

— Как я сказала, — начинает Ума, — сначала я не увидела ничего необычного, но затем... — Она протягивает Мариамме лупу и показывает кончиком зонда: — Взгляните сюда, где лицевой и слуховой нервы входят в ствол мозга. Видите эту маленькую желтую бляшку на слуховом нерве? На любом другом мозге, и не будь со мной доктора Даса, я бы не обратила на это никакого внимания, тем более что с другой стороны я обнаружила точно такую же штуку. Но с учетом вашей семейной истории находка показалась важной. Я взяла небольшой образец этого нароста, перед тем как поместить мозг в формалин. Заморозила срез и вчера использовала более стойкий краситель. И увидела веретенообразные клетки, сложенные частоколом. Это акустическая невринома.

— Что объясняет потерю слуха, — говорит Мариамма.

— Да, — осторожно откашлявшись, вмешивается доктор Дас. Тело тихого хрупкого невролога как будто свободно парит внутри его белого халата. — Акустические невриномы не являются злокачественными в

обычном смысле. Они не распространяются. Просто растут, очень-очень медленно. Но в этой тесной щели между внутренней частью черепа и внешней стороной ствола мозга образование размером с арахис сродни слону, втиснувшемуся в чулан, не правда ли? Опухоль начинается в тех волокнах слухового нерва, которые получают сигналы равновесия от внутреннего уха, от лабиринта. Но по мере роста она давит на волокна, влияющие на слух, как вы верно заметили. А когда становится еще больше, давит на лицевой нерв, расположенный рядом с ней, и вызывает парез одной стороны лица... — Он не спешит, дабы убедиться, что Мариамма следит за его мыслью. — У большинства моих пациентов с акустической невриномой она была диагностирована только с одной стороны. Но, учитывая, что у вашего отца опухоль оказалась двусторонней, и принимая во внимание вашу семейную историю, полагаю, у вашего отца был вариант нейрофиброматоза, или болезнь Реклингхаузена. Знаете о такой?

Она знает. У старушки, которая продает жасмин возле общежития, болезнь Реклингхаузена. Множество шишек под кожей растут у нее из подкожных нервов. Видимые части ее тела полностью покрыты грибовидными наростами, хотя они, кажется, совсем ее не беспокоят.

— Но у отца не было никаких образований на коже, ничего такого.

— Да, я знаю. Но, видите ли, существует вариант нейрофиброматоза, при котором поражений кожи мало или вовсе нет, и именно этот вариант вызывает акустические невриномы с обеих сторон. Иногда при этом имеются характерные доброкачественные опухоли и в других местах. На самом деле я думаю, что это может быть совершенно отдельное заболевание, не болезнь Реклингхаузена, но пока их объединяют в одно. И не так много сообщений о наследственном характере этого заболевания. Ваша семья уникальна.

Через полчаса доктор Рамасами и доктор Дас ушли. Мариамма попросила разрешения побыть еще немного в одиночестве в лаборатории мозга.

Ведерки на полках выстроились, как зрители. Она закрывает глаза. Стопы вросли в пол, она стоит, не шелохнувшись. Отец, наверное, так не смог бы, он бы, наверное, потерял равновесие и упал. Но она может стоять прямо даже с закрытыми глазами благодаря лабиринтам, органам равновесия, скрытым в костях черепа — по одному с каждой

стороны. Внутри каждого лабиринта находятся три заполненных жидкостью полукружных канала, расположенных под углом друг к другу, как смыкающиеся кольца, они реагируют на движение жидкости внутри и тем самым определяют положение тела в пространстве и по слуховому нерву отправляют информацию об этом в мозг. В случае ее отца эти сигналы прерывались опухолью.

Дас назвал лабиринты «доказательством Бога». Когда Мариамма еще ребенком играла, вращаясь на месте, как дервиш, у нее кружилась голова, как только она останавливалась. Это потому, что жидкость в лабиринте, в полукружных каналах, еще продолжала крутиться, сообщая мозгу, что движение продолжается, хотя глаза говорили об обратном. Противоречивые сигналы заставляли Мариамму шататься, как пьяную, а иногда ее даже тошнило. Но ни отца, ни Ленина нельзя было уговорить поиграть в танцующих дервишей. Они уже жили с противоречивыми сигналами в мозге.

Поскольку отец получал от своих лабиринтов ненадежные сигналы или *не получал* вообще никаких, он, должно быть, неосознанно компенсировал этот недостаток, в значительной степени полагаясь на зрение, чтобы всегда видеть горизонт. А еще он полагался на ощущения в стопах, подсказывавших ему, что под ногами прочная опора. В темноте, когда плохо видно и горизонта не разглядеть или когда ноги в воде и не на что опереться, он терялся.

Доктор Дас сказал, что новое достижение, еще не ставшее рутинным, — компьютерная аксиальная томография, или КТ-сканирование, — позволяет получить невероятно точные изображения поперечного сечения головного мозга. И даже такие мелкие акустические невриномы, как у ее отца, можно диагностировать в раннем возрасте. Но, добавил он, даже если бы папину опухоль обнаружили недавно, никто не думал бы об операции, если опухоль не вызывала серьезных симптомов, таких как парез лицевого нерва, головная боль или безудержная рвота при повышении внутричерепного давления. Потому что операция исключительно сложная и рискованная, ее проводят только при наличии крупных опухолей. Для последних нейрохирурги делают небольшой разрез в задней части черепа, чуть выше линии роста волос, отодвигают мозжечок в сторону, чтобы добраться до опухоли, которая расположена на минном поле важнейших структур — венозные синусы, жизненно важные

краниальные артерии — рядом с другими черепными нервами, оплетающими опухоль, и в опасной близости от ствола мозга.

Мариамме чудится, что Большая Аммачи заглядывает ей через плечо, потрясенная видом мозга сына на лабораторном столе. Может ли бабушка не концентрироваться на таком ужасном насилии над его телом, а порадоваться новому знанию? Теперь у Недуга есть медицинское наименование и анатомическое расположение, которое объясняет загадочные симптомы: глухоту, отвращение к воде и опасность утонуть. Они нашли врага, но победа кажется бессмысленной. Что толку в том, что есть название? Какая польза от этого, пока наука и хирургия не в состоянии победить, добиться, чтобы ребенок с таким нарушением мог жить нормальной жизнью без риска утонуть, или оглохнуть, или страдать от ухудшения симптомов по мере взросления?

Нас здесь, в этой комнате, три поколения, думает Мариамма. Когда в ночь рождения своей тезки Большая Аммачи зажигала семярусную лампаду, она сказала канияну: «Никогда больше не будет такой, как моя Мариамма, и ты даже близко представить не можешь, что она совершит». В детстве, когда бабушка раз за разом пересказывала ей эту историю, она всегда говорила, что они зажгли лампаду, чтобы та осветила Мариамме путь, который она выберет в этой жизни.

— Что мне делать, Большая Аммачи? — спрашивает вслух Мариамма, как спрашивала бабушку много лет назад, и голос эхом разносится по лаборатории мозга.

И слышит, как бабушка отвечает:

— Все, о чем мечтаешь.

Аммачи, я мечтаю сразиться с врагом, который утопил моего отца, утопил, хотя даже крушение поезда не смогло его погубить. Я мечтаю покорить эту тесную территорию в основании мозга, превратить ее в поле моей битвы и всю себя посвятить изучению этих опухолей. На это уйдут годы работы, но именно этого я хочу, Аммачи, и никогда еще я не была так уверена — я стану ученым и нейрохирургом.

После окончания учебы Мариамма проводит в Мадрасе еще два года, первый из которых — обязательная интернатура в разных специальностях. В течение второго года она уже «хирург-практикант» — блестящий интерн, — но работает только в общей хирургии. И лишь по завершении двух лет она получает право подать заявку на стажировку в нейрохирургии.

Принять решение стать нейрохирургом гораздо проще, чем получить место в одной из немногочисленных нейрохирургических учебных программ в стране. У Мариаммы отличные оценки, призовая медаль по анатомии, убедительные рекомендательные письма, и к этому моменту у нее уже есть две статьи, опубликованные в соавторстве с Умой (одна о проказе, а другая — описание случая акустической невриномы у отца и проявлений опухоли в одной семье на протяжении нескольких поколений). Но, даже если об этом никто не говорит прямо, многие исследовательские центры считают, что женщинам не место в нейрохирургии.

И буквально в последнюю минуту, «в одиннадцатый час», ее все же зачислили в старейшую и самую известную нейрохирургическую программу в стране: Христианский медицинский колледж в Веллuru, два с половиной часа поездом к западу от Мадраса. Основанный Идой Скаддер, американским врачом-миссионеркой, колледж был сначала больницей для женщин, а потом женской Медицинской школой, прежде чем там началось совместное обучение. Эта клиника стала грандиозным консультативным центром, в котором работают преданные своему делу врачи. Церковные миссии всех деноминаций поддерживают Медицинскую школу, финансируя обучение студентов.

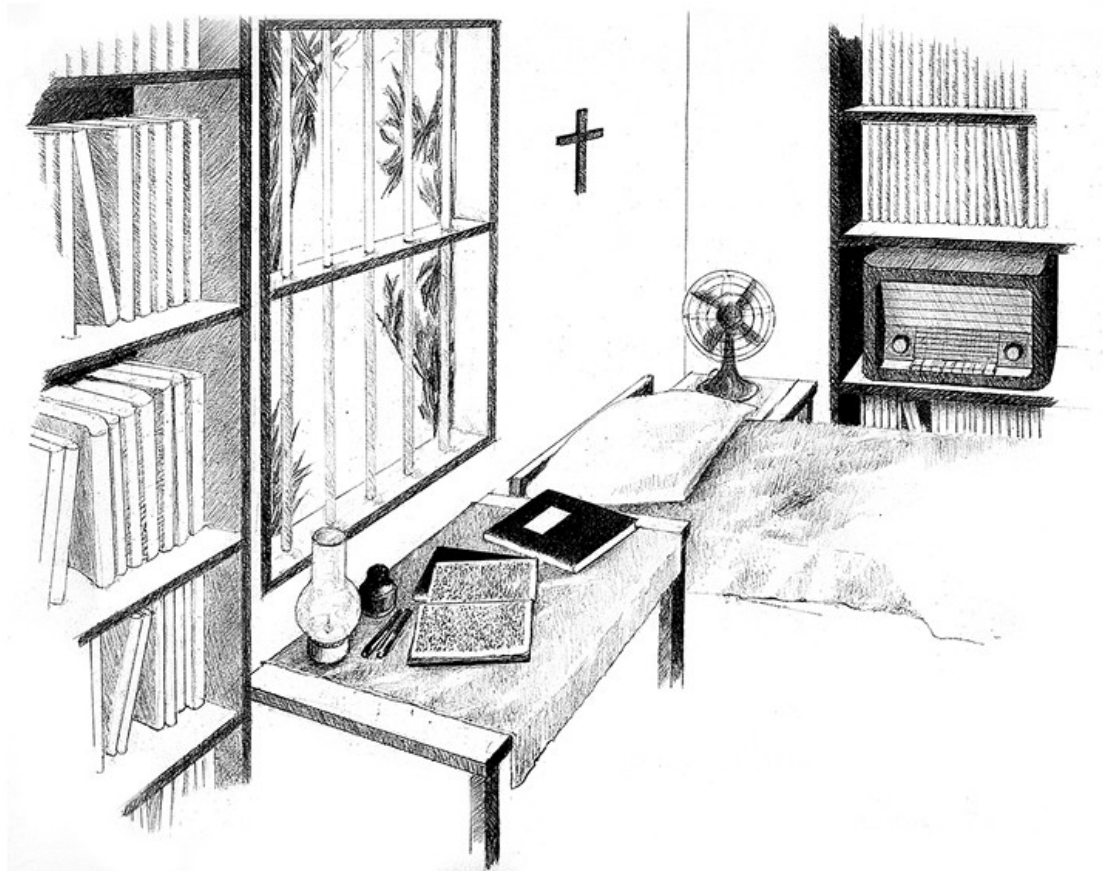
Мариамму приняли с определенным условием. Поскольку она подала заявление на «оплачиваемое спонсором» место, которое финансирует ее диоцез в Керале, она должна предварительно отработать два года в миссионерской больнице *до того*, как начнет обучение. А став полноценным нейрохирургом, она должна отработать в миссионерской больнице еще два года, чтобы полностью покрыть долг.

Прошло семь лет с тех пор, как Мариамма впервые переступила порог Красного форта, и вот она покидает Мадрас, со слезами на глазах прощается с Анитой, Чинной, Умой и многими другими. Она начнет отрабатывать стажировку в абсолютно новой, но еще не обустроенной

четырехэтажной больнице, которая должна быть оснащена самым лучшим оборудованием. Мариамма будет там первым и пока единственным врачом.

Эта больница находится в двух шагах от того места, где ее бабушка зажгла лампаду в честь ее рождения, — в районном центре Парамбиль.

Часть девятая



глава 73

Три правила будущей невесты

1976, Парамбиль

Под руководством Джоппана Парамбиль превратился в цветущий Эдем, современное хозяйство, где маниока и манговые деревья гнутся под тяжестью плодов, а молодые пальмы красуются в толстых ожерельях кокосов. Процветающая молочная ферма продает молоко холодильным предприятиям, обеспечивая дополнительный источник дохода. Двое молодых двоюродных братьев Джоппана стали его постоянными помощниками. В последние два года, пока Мариамма работала в Мадрасе, Джоппан поначалу писал ей ежемесячно, предоставляя отчет о расходах и доходах. Но всего через полгода они уже наняли, по его настоянию, бухгалтера на неполный рабочий день. Парамбиль процветает.

Сам дом, однако, не скрывает своего возраста, проступающего в паутине трещин на крашенных суриком полах, потускневшие тиковые стены требуют свежего лака. Мариамма везет Анну-чедети в Коттаям, чтобы вместе с ней выбрать новую краску для всего дома, а заодно потолочные вентиляторы, новые раковины и прочее оборудование, газовую плиту с двумя конфорками и запасной генератор. Улыбка на лице Анны гаснет, только когда доставляют холодильник.

— Айо, муули! Что мне с ним делать? Разве он меня услышит? Он понимает малаялам?

Но стоит Мариамме принести ей запотевший стакан ледяного сладкого лаймового сока с позвякивающими кубиками льда, как Анна становится преданной поклонницей холодильника. Отныне мясо, рыбу, овощи и молоко можно хранить несколько дней.

«Больница Медицинской миссии Мар Тома»^[248] — самое высокое здание на несколько миль в округе. Просторная территория вокруг больницы обнесена белой стеной, грозные предупреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСКЛЕИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ заклеены плакатами Партии Конгресса и Коммунистической партии. Напротив главных

ворот находится автобусная остановка и чайная лавка Чериана. Дальше по дороге, в новом длинном прямоугольном здании, расположились «Замороженные продукты Канджамон», «Лондонские портные» и «Великолепные учебные пособия». Мариамма с трудом припоминает времена, когда тут были густые заросли, стояли деревья, по которым лазали они с Поди.

Рагхаван, бедный сторож, охрип объяснять галдящим пациентам, что да, больница построена, но нет, она не готова к работе. Если его называют лжецом, он показывает пустые комнаты без всякой мебели и громоздящиеся повсюду ящики с оборудованием, подаренным иностранными миссиями. Однажды Рагхаван будит Мариамму посреди ночи — из-за ребенка с приступом астмы, который, по его мнению, умирает. И он прав. Без адреналина из аптечки Мариаммы малыш не выжил бы.

Мариамма упоминает об этом случае на еженедельном собрании совета попечителей; епископ — председатель правления — позаботился, чтобы именно эта комната была щедро меблирована. Члены правления вежливо слушают, пока она пытается убедить их в необходимости срочно открыть кабинет неотложной помощи с базовым оборудованием, а потом без всяких комментариев переходят к обсуждению куда более насущной задачи — какого размера должна быть мемориальная доска в вестибюле и чьи имена должны или не должны быть на ней упомянуты.

Кипя от возмущения, Мариамма уходит с заседания и с удивлением обнаруживает за дверями Джоппана, невозмутимо попыхивающего бииди. Они шагают рядом в темноте, и она делится своим разочарованием:

— Это просто смешно! Такими темпами больница никогда не откроется.

Через частный пешеходный мост над каналом они идут в Парамбиль. Уже на подходе к дому Джоппан говорит:

— Муули, ничего не двигается, потому что там нет Мастера Прогресса. Он знает, как вести с ними дело. Я поговорю с ним.

И только когда он удаляется, Анна-чедети признается, что Джоппан ждал Мариамму около больницы, чтобы проводить, потому что уже темно. Точно так же поступал бы и ее отец.

Слухи о том, что Мастер выходит из дома только глухой ночью и предпочитает компанию привидений обществу людей, должно быть, верны, потому что Анна уже давно спит, когда является Мастер. Мариамма делится с ним своими огорчениями. Кажется, Мастеру приятно слышать об административном кризисе в больнице. Она умоляет его поговорить с правлением.

— Ни за что! Они должны сами меня позвать. Они до сих пор обвиняют меня из-за женщины, которая пыталась обокрасть Больничный фонд.

Мариамма уверяет, что его никто не винит.

— Аах, люди только так говорят. Но если я захожу к ним на чашку чая, они потом пересчитывают каждое рисовое зернышко в своих ара. Вот такие у нас люди.

Мариамма умоляет, взывая к памяти бабушки и отца, но Мастер стоит на своем.

— Я готов быть твоим тайным советником, не более. Вот что тебе следует сделать, Мариамма. Во-первых, не трать впустую время, выпрашивая что-либо у правления. *Адариюмо ангаади ваанибхам?* Что понимает коза в ремесле мясника? Просто составь список лекарств и расходных материалов, которые тебе необходимы. Я направлю заказ в «Медицинские товары оптом» в Коттаяме, с указанием выставить счет епископу. Во-вторых, твой сторож Рагхаван отличный малый. Это я нашел ему эту работу. Выдай ему стопку чистой бумаги. И пусть он просит каждого, кого разворачивает от ворот, написать хоть что-нибудь, хоть пару строчек, и подписаться внизу вместе с адресом. Если они не умеют писать, пускай только ставят подпись. А мы отправим эти письма митрополиту. Всего десяток-другой писем — и епископ уже ощутит некоторые неудобства. И последнее: хорошо, что ты рассказала мне про доску. Я знаю, где они будут ее заказывать, и выясню, сколько это может стоить. Я позвоню секретарю епископа, представившись журналистом. И спрошу: «Правда ли, что ребенок чуть не умер от астмы, потому что вы не смогли купить лекарство за десять рупий, но тратите двадцать тысяч рупий на мемориальную доску?»

— Мастер, вы за минуту сделали больше, чем я сумела за целый месяц, — восхищается Мариамма. — Вы нужны нам.

— Пустяки, — отмахивается Мастер, но видно, что ему приятно. — А ты знаешь, что это я придумал название «Больница

Медицинской миссии Мар Тома»? Как мед стекает с языка, да? Но еще прежде, чем был залит фундамент, люди сократили название до «Больница Йем-Йем-Йем».

По мнению Мариаммы, это вполне закономерно: язык малаяли выговаривает «М» как «Йем». А еще малаяли любят акронимы.

— И они начали называть ее «Больница *Тройного Йем*»! Представляешь? Как это вульгарно, *Тройной Йем*! Как название мази от геморроя!

Мариамма не стала признаваться, что название «Тройной Йем» прижилось и она тоже повинна в этом, как и остальные.

Уходя, Мастер напоследок добавляет:

— Да, кстати, когда епископ начнет задавать вопросы про счет от «Медицинских товаров», ты просто скажи, что, поскольку он заказывал себе масло для волос, порошок кутикура и витамины, указывая их как «предметы первой необходимости», ты подумала, что он не станет возражать, если ты добавишь несколько предметов первой необходимости, предназначенных для спасения жизни.

При поддержке Мастера Прогресса, действующего за кулисами, та часть «Тройного Йем», которая нужна Мариамме для работы, обретает форму: электрики устанавливают оборудование, на первом этаже появляется мебель. Одно из помещений в передней части «Тройного Йем» превращено в отделение скорой помощи. А большая комната в задней части, с зоной ожидания снаружи, становится амбулаторным отделением. У них есть четыре больничные койки, их поставили в «палате» для экстренной госпитализации. Операционная полностью готова и оборудована ультрасовременным хирургическим светильником с таким количеством лампочек, что напоминает глаз насекомого. Но выбор хирургических инструментов — все из пожертвований — довольно причудлив: все, что нужно для удаления катаракты и для стоматологии, но жалкий минимум для абдоминальной хирургии. В распоряжении Мариаммы ночная сестра, дневная сестра и фармацевт, заведующий небольшой аптекой.

Единственный материал, имеющийся в изобилии с самого начала, — пациенты.

Когда открывается амбулаторное отделение, целые семейства, нарядившись в праздничные одежды, являются на экскурсию

в «Тройной Йем», в точности как на Марамонскую конвенцию. К примеру, однажды утром, прождав добрый час в очереди, на стул перед Мариаммой усаживается немолодая кочамма и молча улыбается. Когда ее спрашивают, зачем она пришла, женщина небрежно взмахивает рукой:

— О, *чума!*^[249] Просто так! Сын с невесткой ходили, я и подумала: «А почему бы и мне не сходить? Что такого? Аах». Ну раз уж я здесь, может, сделаете мне вон тот оранжевый укол?

Операционную приходится вводить в строй гораздо раньше, чем Мариамма рассчитывала, — экстренным кесаревым сечением в полночь, чтобы спасти младенца. У ночной медсестры колени подкашиваются уже на пороге операционной, приходится усадить ее в углу. Мариамма поворачивается к Джоппану (он здесь, потому что у Рагхавана есть постоянный приказ вызывать заодно и его, когда он прибегает за доктором после наступления темноты, в противном случае бедняга рискует навлечь на себя страшный гнев управляющего). После краткого инструктажа Джоппан спокойно и умело капают эфир на марлевую маску. Мариамма, действуя в одиночку, извлекает ребенка. Только когда она слышит визгливый крик, напряжение спадает. Ночная сестра способна хотя бы подержать ребенка на коленях. Мариамма зашивает матку, затем мышцы и кожу. Когда она накладывает последний стежок, благоговейное выражение на лице Джоппана сменяется глуповатой ухмылкой.

— Ты надыхался эфира, — с притворной строгостью говорит Мариамма. — Аммини подумает, что ты был в кабаке.

Джоппан, все еще в эйфории, провожает ее домой.

— Муули, то, что ты сейчас сделала... у меня нет слов. Эх, если бы Поди продолжила учебу. Или я не бросил бы школу. Мы были смышленными, но все же недостаточно смышленными, чтобы понять, насколько важно учиться.

— Не говори так. Благодаря тебе Парамбиль процветает. Ты заткнул за пояс всю нашу родню. И Поди с мужем зарабатывают большие деньги...

— Это не одно и то же, — мотает он головой. — В общем, я так горжусь тобой, муули.

И она все еще светится от его слов, когда голова ее касается подушки.

Но каждый эпизод в операционной — сплошная нервотрепка: нет старшего хирурга, к которому можно обратиться за помощью, нет грамотного ассистента. Однажды ночью к операции пациента, получившего ножевое ранение в живот, Мариамма привлекает Рагхавана — в качестве анестезиолога, а Джоппан берет на себя роль операционной сестры и ассистента. Наблюдая за ней, Джоппан уже освоил основы асептики. Теперь она показывает ему, как мыться по-хирургически, как надевать перчатки и халат и занимать позицию напротив нее. Вид вскрытого живота несколько не смущает Джоппана. Он подает Мариамме зажим, щипцы, ножницы и лигатуру, тянет ретрактор. Очень быстро он осваивается настолько, что предугадывает ее действия. По окончании операции Джоппан в восторге:

— Муули, когда тебе понадобится моя помощь, в любое время, пожалуйста, сразу зови меня. И днем тоже. Мои Яков и Иосиф обойдутся без меня несколько часов.

Мариамма и сама предпочла бы помощь Джоппана чьей-либо еще. Он быстро схватывает ее объяснения — и о физиологии человека, и каким образом заболевание нарушает эти процессы. Однажды она застала Джоппана за чтением хирургического справочника, губы его шевелились, беззвучно повторяя замысловатые английские термины.

Шесть месяцев спустя амбулаторная рутина выматывает Мариамму своей монотонностью. Большинство жалоб либо пустяковые недомогания — ломота в теле, боли, кашель, простуда, — либо хронические болезни вроде астмы или тропических язв на ногах, которые нужно обрабатывать ежедневно. Время от времени скука прерывается неотложной хирургической помощью. От плановых операций Мариамма отказывается до появления анестезиолога и штата медсестер. Мечта о крупном консультативном центре со множеством специалистов пока далека от осуществления, но благодаря закулисной деятельности Мастера Прогресса и Мариаммы в роли его подручного появляется дополнительный импульс. Впрочем, профессиональное влияние трудно скрыть. Так что когда епископ (под давлением митрополита) сдается и умоляет Мастера Прогресса вмешаться и выручить оборудование, застрявшее на таможне, Мастер официально возвращается в строй.

После многих лет, проведенных в Мадрасе с его многочисленными развлечениями, вечера и выходные дни в Парамбиле могли бы показаться Мариамме унылыми, если бы не проект, которому она посвящала свободное время: она облекает в плоть каждый сучок и каждую ветвь Водяного Древа. Особенно ее интересуют женщины, которые вышли замуж и уехали отсюда и чью судьбу никогда не записывали. Ее родственницы — даже милая Долли-коччамма — отказываются говорить о Недуге и вообще признавать его наличие. Прорыв случается в самом неожиданном месте.

Каждый день после полудня Чериан присылает в амбулаторное отделение «особый» чай и масляное печенье для «мадам доктора». И отказывается брать плату. Однажды рано утром Мариамма наблюдает, как он подпирает шестами соломенный навес, отпирает деревянную загородку и открывает свой ларек. Мариамма подходит поблагодарить. Чериан уговаривает ее выпить кофе. Темная дуга дымящейся жидкости летает туда-сюда между двумя чашками для перемешивания, прежде чем эффектно опуститься в стаканчик, который он ей протягивает. Ее «благодарю вас» повергает Чериана в невероятное смущение. Мариамма отпивает глоток кофе, и они стоят в неловком молчании, глядя на «Тройной Йем», как будто больница только что приземлилась перед ними и оттуда сейчас выйдут марсиане. Большая Аммачи однажды сказала Мариамме: «Доверяйся молчаливым людям. Они уступают дорогу мыслям». *Но, Аммачи, если они не произносят ни слова, с чего начать?*

Когда Мариамма уже собирается уходить, Чериан вдруг говорит:

— Моя сестра утонула.

Мариамма резко останавливается, потрясенно уставившись на Чериана. Он заговорил или ей почудилось?

— И брат дедушки тоже. Утонул. Обе дочери моего брата терпеть не могут воду.

Что побудило Чериана по доброй воле признаться? Неужели всем известно, что семья Парамбиля страдает от Недуга?

— Моей бедной сестре пришлось работать на затопленных рисовых полях, у нее не было выбора. Дамбу прорвало, хлынула вода, сбила ее с ног, и она утонула на мелководе.

— Чериан, ты, очевидно, знаешь, что у нашей семьи такое же... заболевание. Думаешь, мы родственники?

— Нет, моя семья не из этих мест. Я раньше был водителем грузовика, колесил по всей Керале. И тогда-то услышал, что есть еще такие семьи, как наши. Все они христиане. Наверняка должны быть и другие.

Мариамма весь день размышляет над удивительным признанием Чериана. Чериан ошибается: они определенно *родственники*. Сейчас община христиан Святого Фомы довольно велика, но у всех одни и те же предки из первых семей, которые Фома Неверующий обратил в христианство. Ей приходит на ум образ велосипедного колеса. Если каждую семью, где обнаружен Недуг, разместить вдоль спицы колеса, но на одной такой спице оказалось бы семейство Чериана, а на другой — клан Парамбиля. Прочие задетые Недугом семьи очутились бы вдоль своих спиц. Следуя вдоль спицы к центру, они вышли бы на того самого предка с генетическим дефектом, с которого все началось. Мариамма взбудоражена. Ее задача в том, чтобы отыскать как можно больше спиц, больше семей с наследственным Недугом. И она знает человека, который может ей помочь.

Густые седые волосы свата Анияна разделены на прямой пробор и гладко зачесаны на висках, умные глаза не упускают ни одной детали, пока он на велосипеде подъезжает к дому. Элегантно спешивается, перебрасывая одну ногу вперед над рамой, — единственный вариант, когда носишь мунду. В краях, где усы являются непременным правилом, гладко выбритое лицо позволяет свату выглядеть гораздо моложе своих семидесяти лет.

— Муули, помню, как будто это было вчера, как я предложил союз Элси из Тетанатт с Филипосом из Парамбиля.

— А я думала, они познакомились в поезде.

Он снисходительно улыбается:

— Аах, может быть и встреча-шмеча, и даже шуры-муры, любовь-морковь, но без свата как семьи могут познакомиться друг с другом, обсудить приданое, сопоставить гороскопы?

Анна-чедети подает чай и халву из джекфрута, по рецепту Большой Аммачи.

— А если гороскопы не совпадают, а пара все равно настаивает? — интересуется Мариамма.

Аниан крепко зажмуривается, а потом резко открывает глаза — для стороннего наблюдателя выглядит так, будто человек поморщился от боли, но в Керале такое действие имеет особое значение.

— Это не проблема. Мы *подправим!* Вот и все. Большинство препятствий либо незначительны, либо вообще не являются препятствием. Видишь ли, родители часто ошибаются с точным временем рождения, — поясняет он с терпением священника, который вынужден регулярно повторять Символ веры. Пробует халву, одобрительно кивает. — Дамы, прежде чем мы начнем, позвольте поделиться с вами тремя уроками, которые я усвоил за десятилетия занятий своим ремеслом?

Прежде чем Мариамма успевает вставить слово, Анна-чедети восклицает:

— О да! Расскажите нам!

— Первый урок — и пойми меня правильно, муули, — но ваше поколение часто норовит поставить телегу впереди буйвола. На самом деле, чем больше у человека образования, тем больше он делает ошибок, — многозначительно глядя на Мариамму, начинает сват. — Первым делом надо найти *правильного* человека, верно? Нужно рассмотреть *одно* предложение, потом *другое*, составить список плюсов и минусов, да?

Женщины кивают. Он отхлебывает чаю, хитро улыбается.

— Ошибаетесь! Это вовсе *не первое* дело. — И удовлетворенно откидывается, дожидаясь вопросов.

И Мариамма спешит их задать, иначе они просидят тут до завтра.

— Первое дело вот какое: *назначьте дату!* Очень просто. Понимаете — почему?

Они не понимают.

— Потому что, когда дата назначена, вы взяли на себя обязательства! Скажи мне, муули, если ты решишь открыть частную практику, ты будешь сначала ждать, пока придут пациенты, а только потом арендуешь здание и повесишь табличку? Конечно, нет! Ты возьмешь на себя обязательство! Арендуешь кабинет, подпишешь договор с определенной даты. Приобретишь мебель, так ведь? Аах, аах. Боже мой, если бы вы только знали, сколько времени я потратил впустую с этим доктором наук из Беркли в Калифорнии, из Соединенных Штатов. Он приезжает в отпуск на две недели. Я

знакомлю его мать и этого умника с восемью первоклассными, вот такими вот девушками... и он уезжает обратно, так ничего и не решив. А почему? Не назначена дата! Так что первый урок — определить дату.

— А второй?

— Аах, аах, о втором я упомянул первым делом, — лукаво ухмыляется он. — Вы, наверное, слушали невнимательно. Я сказал, что большинство препятствий...

— Незначительны, — хором отвечают женщины.

— Аах. А незначительные препятствия...

— Не являются препятствиями! — Мариамма чувствует себя вновь в начальной школе.

— Вот именно. Все можно урегулировать. — Старик доволен.

Анна не может удержаться:

— А есть и третье?

— Разумеется! Вообще-то их десять. Но об этих трех я рассказываю, потому что это облегчает мою работу. Остальные же умрут вместе со мной. Мой сын не видит перспектив для нашего семейного дела, потому что появились эти дурацкие брачные объявления в газетах. Храни Господь тех, кто ими воспользуется.

Анна-чедети многозначительно покашливает.

— Аах, да. Третье правило таково. Внешность меняется, но характер — нет. Так что смотри на характер, а не на внешность. А чтобы узнать характер девушки, нужно смотреть на девушку...

— Мать? — хоровой ответ.

— Аах, верно, — кивает он, довольный ученицами. — А чтобы узнать характер юноши, надо смотреть на...

— Отца!

— Неправильно! — Он рад, что заманил их в ловушку.

Старик закуривает сигарету и заталкивает горелую спичку обратно в коробок. Интересно, почему все курильщики так делают. Это такая параллельная зависимость, связанная с никотиновой? Или такая якобы аккуратность должна компенсировать использование окружающего мира в качестве пепельницы? Мариамма вдруг чувствует вкус сигареты, которую отобрала тогда у Ленина в гостинице.

— Ошибаетесь, дорогие дамы. Чтобы узнать характер юноши, вы должны взглянуть на его мать! В конце концов, каждый из нас может быть уверен лишь в том, кто его мать. Разве не так?

Анна-чедети, поразмыслив секунду, весело прыскает. Анна вообще чересчур возбуждена. Мариамма же не сказала ей, зачем пригласила Анияна.

— Ачаян, а вы родственник нашей семьи? — спрашивает Мариамма.

— Разумеется! Со стороны Парамбиля я брат мужа внучки троюродного брата вашего прадеда, — задумчиво глядит он в потолок. — А со стороны Тетанатт...

— Погодите, — перебивает Мариамма. — Внучка троюродного брата прадеда... Это очень далеко... В таком случае вы можете утверждать, что состоите в родстве с каждой семей, к которой обращаетесь.

— Вовсе нет! Если не можете проследить родство, вы не смеее ничего утверждать! — возмущенно восклицает он. — Я могу. Поэтому я родственник.

— *Ачине*, — говорит она, используя уважительную форму обращения к старшему. — Обещаю, когда я соберусь замуж, я обращусь к вам. Никаких объявлений в газете. Надеюсь, вы простите меня, но я позвала вас не ради устройства моего брака. Мне нужна ваша помощь в изучении серьезного заболевания, которое унесло жизнь моего отца. И жизни многих в нашей семье — впрочем, это вы знаете лучше прочих. Не знаю, как называете это вы, но Большая Аммачи называла просто Недуг.

Она садится рядом со сватом и разворачивает расширенную и обновленную копию родословного древа, уже на малаялам.

— Я сделала копию с оригинала, который хранится в нашей семье многие поколения.

Проницательный взгляд Анияна шныряет по листу, пятнистый от никотина ноготь прослеживает поколения.

— Тут откровенная ложь — он никогда не был женат, — бормочет старик. — Хм, тут не три, а четыре сестры, а вот эти двое были близняшки, но одна умерла в младенчестве, а другую звали Поннамма...

За считанные минуты он своим карандашом уточнил три предыдущих поколения, восходящих к ее дедушке. Это больше, чем Мариамма успела за несколько недель. Сват намеренно не обращается к ныне живущим поколениям.

— Ачаян, я пытаюсь заполнить эту схему. — Мариамма рассказывает про Чериана. Аниан сразу же ухватывает ее аналогию с «велосипедными спицами». — Если я смогу восстановить все спицы на этом колесе, мы поймем, как наследуется эта болезнь.

Он размышляет.

— Муули, а ты сможешь что-нибудь *сделать*, когда найдешь всех с этим Недугом?

Старик попал в самое слабое звено в ее аргументах.

— Нет... Пока нет. Сейчас хирургическое вмешательство оправдано только в тех случаях, когда симптомы очень серьезны, потому что это опасная операция. Но скоро мы научимся проводить более безопасные операции через крошечное отверстие над ухом. Удаляя опухоль как можно раньше, мы сможем уберечь детей от глухоты и даже от опасности утонуть. А еще, если мы поймем, как болезнь наследуется, мы сможем, например, предотвратить брак между парнем и девушкой, если оба являются носителями этого гена. Слишком многие уже страдали и погибли от этого Недуга. Поэтому я решила специализироваться в нейрохирургии. Предотвратить болезнь или вылечить ее как можно раньше. Это цель моей жизни.

Старик изучающе смотрит на нее. А потом удивляет.

— Почему бы и нет? — говорит он. — Я планирую уйти на покой в конце этого года, так почему бы и нет? Дело того стоит. Но не раньше. — Он убирает сигареты и спички. — Но есть две вещи, которые я хочу сказать тебе, прежде чем уйду. Во-первых, моя работа заключать союзы, уменьшать препятствия. Я *всегда* знаю больше, чем рассказываю, об обеих сторонах. Пойми правильно. Я *никогда* не стану предлагать дурную партию. Не буду скрывать сумасшествие, умственную отсталость или эпилепсию. Но, муули, запомни еще одно правило, если хочешь, хотя я говорю о нем только тебе: *тайны есть в каждой семье, но не все тайны подразумевают обман*. Семью создает не общая кровь, муули, а общие тайны. Так что тебе предстоит нелегкая задача.

Он уже поставил ногу на педаль, как вдруг Мариамма спохватывается:

— Погодите, вы сказали — две вещи. А какая же вторая?

— Назначь дату, Мариамма, — улыбается он. — Даже если это через пять лет от сегодняшнего дня. Назначь дату.

На следующий день Мариамма возвращается из «Тройного Йем» после на редкость долгого дня. Под пешеходным мостом лениво течет вода. Гибискус и олеандр в полном цвету. Два водяных буйвола, освобожденные от плуга, стоят мордами друг к другу — темные силуэты на горизонте, как подставки для книг. Сверчки набирают громкость, их исступленный стрекот вскоре разбудит лягушачий хор. Эти будничные, ничем не примечательные звуки ее юности теперь, с уходом дорогих сердцу людей, стали одой памяти, переносящей прошлое в настоящее. Настал час милостивых призраков.

Ее путь ведет мимо Каменной Женщины, и она всякий раз отдает дань уважения скульптору. Эlsi вышла замуж за Недуг, но у нее самой болезни не было; какая жестокая ирония в том, что *она* утонула. Мариамма проходит мимо сарая, на крыше которого Ленин пытался поймать молнию. Назначь дату. *Если бы я могла.*

После ванны они с Анной ужинают в кухне, отказавшись от нового обеденного стола и стульев ради почерневших, пропитанных ароматом корицы стен, которые хранят живую память о Большой Аммачи. Заходит Джоппан с чертежами и расчетами стоимости строительства нового здания с коптильней для их каучуковой плантации. Здесь млечный сок будут разливать в лотки, смешивать с кислотой до затвердения. Потом новый ручной пресс превратит затвердевший латекс в тонкие резиновые листы, которые затем подвешивают в коптильне, перед тем как сложить в пачки для продажи. Анна-чедети, не обращая внимания на возражения Джоппана, подает ему ужин. И они, как и многими другими вечерами, сидят все вместе на четырехдюймовых стульчиках, склонившись над своими тарелками, которые стоят на земле. Самуэль пришел бы в ужас, увидев, как его сын *внутри* дома ест из тарелки, не предназначенной исключительно для него. Парамбиль изменился. Они трое — одна семья и одна каста.

глава 74

Внутренний свидетель

1976, Парамбиль

Бывший редактор Обыкновенного Человека — один из многих высокопоставленных лиц на церемонии официального открытия новой больницы. К удивлению Мариаммы, после мероприятия он заходит к ним домой. Если не считать обмена приветствиями на папиных похоронах, это их первая беседа. Редактор — симпатичный элегантный мужчина, старше ее отца. С нескрываемой любовью вспоминает он своего покойного колумниста. Но и он понятия не имеет, что заставило отца внезапно броситься в Мадрас.

— Он находился в Кочине, писал статью о засолении внутренних вод. Но не успел туда приехать, как попросил кочинскую редакцию срочно достать ему билет до Мадраса. Я вообще узнал о его отъезде только после катастрофы. Я очень давно хотел, чтобы ваш отец написал что-нибудь из Дубая или Катара, о жизни наших соотечественников в тех краях. Знаете, когда в пятидесятые в Персидском заливе нашли нефть, множество бесстрашных молодых людей ринулись туда на *калла канпал* — простых самодельных лодках, которые сколачивали прямо на берегах рек, — или на дау, которые и по сей день курсируют туда-сюда. У них не было никаких документов, вообще ничего. Но знаете что? Люди до сих пор повторяют тот же путь, потому что не могут себе позволить «Сертификат об отсутствии возражений» или билет на самолет. Их фактически выбрасывают в море в виду суши, и они вынуждены плыть или идти вброд до берега. Если поймают, их ждет тюрьма. Я хотел, чтобы ваш отец добрался туда на дау — законным образом, разумеется, — и описал свое путешествие. А потом, предлагал я, он поселился бы в приличном отеле на неделю-другую, где мог бы написать о том, как люди работают под палящим солнцем и ночуют в тесной комнате, как селедки в бочке, экономя каждую пайсу, чтобы отослать домой. Я даже обещал ему обратный билет на самолет в первом классе. Это был бы идеальный материал для колонки

Обыкновенного Человека. Но он всегда отказывался, и я так и не понял почему.

— Вы хотите сказать, что не знали о сложных отношениях моего отца с водой?

Нет, он не знал. И был ошарашен, когда Мариамма рассказала про Недуг и продемонстрировала генеалогическое древо. При описании подробностей вскрытия мозга редактору, похоже, даже становится дурно.

— И вот так своей смертью мой отец разгадал тайну.

Редактор на время теряет дар речи.

— Боже мой, — потрясенно выдыхает он наконец. — Я и не подозревал! Знаете, наши читатели — его поклонники — были бы счастливы узнать эту историю. Разумеется, на моих устах печать. Могу вас заверить, сам я не пророню ни слова.

— Вообще-то я была бы рада, если бы вы написали об этом. Покров тайны вокруг Недуга на протяжении многих поколений не пошел на пользу. Тайны губительны. Как нам бороться с заболеванием, если мы не знаем, сколько людей им страдают и как оно наследуется? Моим родным это, возможно, не понравится, но я с радостью поделюсь и историей моего отца, и всем, что мне известно. Победа над Недугом — цель моей жизни. Именно ради этого я собираюсь в Веллуру учиться нейрохирургии.

Дорогая Ума,

С тех пор как папин редактор написал большую статью о Недуге и о том, как тот стал причиной гибели Обыкновенного Человека, мои родственники внезапно возжелали поговорить со мной. Прилагаю к письму вырезку из газеты. Я знаю, что Вы не читаете на малайялам, но можно посмотреть на фотографии. Статья читается как детектив, где отец — одна из жертв. А сыщик, выслеживающий убийцу, — дочь жертвы! Озаглавлена она «Обыкновенный Человек разгадывает тайну собственной смерти от Недуга». Я рада, что он использовал слово «Недуг». Думаю, вариант «болезнь Реклингхаузена» не только звучит громоздко, но, как сказал доктор Дас, возможно, данное состояние не имеет отношения к болезни Реклингхаузена. Люди передают по цепочке мою просьбу написать мне, если в их семье были случаи

отвращения к воде. Кстати, я думаю, это и впрямь лучший скрининговый вопрос. Поверьте, в Керале, если вы не любите воду, люди это сразу заметят. Мне рассказали уже про три семьи. А еще благодаря родне у меня теперь есть истории многих невест, уехавших после свадьбы, — пропущенных элементов «Водяного Древа».

Поразительно, что женщин с Недугом все помнят как «странных». Их чужаковатость бросалась в глаза не меньше, чем их неприязнь к воде. Нас, девочек, с раннего возраста учат быть «*адаккавум*» и «*отуккавум*», скромными и незаметными. Но эти девушки были какими угодно, только не смиренными и тихими. Одна была настолько прямолинейной, что потенциальные женихи держались подальше. (В мужчине ровно такое же качество назвали бы уверенностью в себе.) Когда она в конце концов вышла замуж, то выстроила себе дом на дереве на участке мужа. Она панически боялась наводнения, но не высоты. Когда река выходила из берегов, она жила в этом домике. Еще одна девушка в детстве обожала змей и была совершенно бесстрашной. В деревне у мужа ее всегда звали на помощь, если кто-то находил в кухне змею. Она хватала змею за хвост и держала в вытянутой руке. Змея, вероятно, не могла вывернуться и укусить — ей нужна опора, чтобы сопротивляться. Но кто бы захотел проверять? Я выяснила, что обе эти женщины умерли с симптомами, напоминающими симптомы моего деда: головокружение, головные боли, парез лица. Третья девушка намеревалась стать священником, что само по себе ересь. Она одевалась как священник и пыталась проповедовать в церкви. Ей за это попадало. Тогда она встала у входа в церковь и начала проповедовать, пока ее не прогнали. Семья насильно отдала ее в монастырь, но она сбежала и оказалась в мужской семинарии, коротко постригшись и прикинувшись мужчиной. После этого ее заперли в сумасшедшем доме, где она и умерла.

Впрочем, что касается эксцентричности и странности, — моего деда, отца, Нинана, ДжоДжо и моего кузена Ленина можно было назвать странными, каждого по-своему. У

каждого из них было сильное влечение, отличавшее их от других. Либо страсть к лазанию по деревьям, либо безудержное стремление идти строго по прямой, или шагать пешком так далеко, что другие и помыслить не могут. Полагаю, Вы согласитесь, что подобные «чудачества» нельзя объяснить опухолью слухового нерва? Итак, вот моя гипотеза: что, если акустические невриномы имеют некоторый аналог в сознании, вызывают определенное отклонение, которое является частью Недуга и проявляется в «чудачествах»? Что, если у них «опухоль разума» (как я это для себя называю) — нечто, что мы не можем увидеть невооруженным глазом или при помощи наших обычных приборов?

Однако, возможно, у меня есть инструмент, позволяющий изучать сознание моего отца. У него была навязчивая привычка вести дневники (вот и еще одно чудачество! Много записей каждый день). Все его мысли сохранены в двух сотнях блокнотов. Это мой следующий проект: систематически просмотреть все дневники в поисках «опухоли разума».

В своем новом проекте Мариамма сталкивается с одним серьезным препятствием: нечитаемый почерк отца. Любопытным ребенком она залезала в его дневники в поисках пикантных секретов, но все ее шпионские потуги были пресечены микроскопическими строчками, автор которых не терпел полей и пробелов. Отец писал так, как будто бумага была дороже золота, даже если чернила бесплатны. То, что писал он по-английски, обеспечивало некоторую конфиденциальность, но клиновидные буквы напоминали шумерскую письменность. Расшифровывать его почерк — это все равно что изучать иностранный язык. Кроме того, самые ценные мысли могли быть погребены в море банальных ежедневных наблюдений — за плесенью, например, за ящерицами, падающими со стропил, и прочими пустяками. Когда Мариамма бегло просматривает заголовки в блокноте, она обнаруживает ЗАПАХИ, СЛУХИ, ВОЛОСЫ (НА ЛИЦЕ И НА ТЕЛЕ), СТУПНИ и ПРИВИДЕНИЯ. Несмотря на эти вехи, уже через несколько страниц записи отклоняются от заданного курса, отец переключается на что-нибудь другое и никогда больше не возвращается к прежней теме. Никаких указателей или перекрестных ссылок у него не существовало.

Не может быть и речи о том, чтобы просто пролистать страницы. Предстоящая задача обескураживает. И кажется непосильной.

Каждый вечер, перед тем как уснуть, она вспоминает Ленина. Если б только можно было поболтать с ним, вспомнить о событиях дня. Она рассказала бы, как хорошо ей дома; одна беда, что теперь она не может быть здесь никем иным, кроме как доктором. Скорей бы закончилась эта повинность и можно было начать учиться нейрохирургии.

А как прошел твой день, Ленин?

Жутко даже представить. Да и жив ли он вообще? А если он погиб, как она об этом узнает?

Ума приходит в восторг от идеи «опухоли разума» и воодушевленно поддерживает ученицу. И Мариамма каждый вечер корпит над дневниками, по ходу дела составляя указатель. Это выматывающая работа, от которой пальцы ее в вечных медных пятнах от папиных чернил. Постепенно скорость чтения увеличивается. Указатель расширяется. До сих пор единственное наблюдение о работе разума отца — это его способность перепархивать от темы к теме, как мотылек в комнате, полной свечей. Так и выглядит опухоль сознания? Но от некоторых фрагментов у Мариаммы порой перехватывает дыхание:

Вчера вечером Элси рисовала, сидя в постели, а я смотрел на профиль моей жены, самое прекрасное, на что когда-либо падал мой взгляд. И внезапно у меня случилось видение, как будто открылся портал во времени. Я увидел путь Элси как художника так же ясно, как путь стрелы, летящей в небе. Я понял, как никогда прежде не понимал, что она оставит след для грядущих поколений. Я ничто в сравнении с ней, мне лишь посчастливилось жить в присутствии такого величия. Я так разволновался, едва не расплакался. Она заметила странное выражение моего лица. Но ни о чем не спросила. Может, прочла мои мысли и все поняла, а может, ей показалось, что она поняла. Она отложила набросок и толкнула меня на спину. Она овладела мной, как королева, пользующаяся одним из своих клеветов, но, к счастью, я единственный клевет, которого она любит. Моя

единственная претензия на вечную славу будет основываться вот на чем: меня выбрала Элси. Она выбрала меня, и, значит, я чего-то стою. Вот и все мои амбиции: оставаться достойным этой выдающейся женщины.

А в другой вечер Мариамма натывается на абсолютно иной момент в браке родителей, он словно удар дубиной: после жуткой смерти Нинана ее родители ополчились друг на друга. Ее бросает в холод от слов отца, таких грубых и безжалостных на странице блокнота: мучительная боль от сломанных лодыжек; ненависть к себе за то, что не спилил дерево; несправедливый гнев на Элси за то, что сбежала из Парамбиля, — ко времени этой записи мама отсутствовала уже шесть месяцев. Мариамма и не подозревала, что они расставались! Слова отца бестолковы и бессвязны, спасибо опиуму. Вместо «опухоли разума» Мариамма разглядывает выгребную яму рассудка наркомана. Да, это научный поиск, но объект под микроскопом — ее отец. Его мысли разрушительны для нее.

Мариамма закрывает дневник, выходит из комнаты, борясь с искушением отказаться от исследования.

Прошу Тебя, Господи, пока я иду вслед за мыслями моего отца, не дай мне в итоге возненавидеть человека, которого я люблю и боготворю. Не отнимай этого у меня.

Ноги сами несут ее к Каменной Женщине, светящейся даже в сумерках. Сама сущность ее матери, воплощенная в камне, постоянна, как ничто другое в жизни Мариаммы; своей неподвижной позой она выражает терпение природы, времени, которое измеряется веками, а не часами или минутами. Мариамма долго сидит рядом с ней.

— Недуг... это ведь просто жизнь, да, Амма? — обращается она к Каменной Женщине. — Может, я ищущу вовсе не разгадку тайны Недуга или тайны своего появления на земле. Тайна заключается в самой природе жизни. Я и есть Недуг. Может быть, я ищущу не особенности работы разума Аппы, ключи к наследственному заболеванию. Наверное, на самом деле я ищущу тебя, Амма.

глава 75

Состояния сознания

1977, Парамбиль

Пустая скамейка перед амбулаторией с утра — слишком хорошо, чтобы быть правдой. Доктор Т. Т. Кесаван, дипломированный специалист, — ее новый коллега. Т. Т. первым осматривает пациентов и направляет к ней только тех, у кого серьезные жалобы. Скамейка ожидания скоро заполнится, но, по крайней мере, Мариамма не зашивается еще до начала рабочего дня.

Войдя в кабинет, она испуганно шарахается — на табуретке около ее стола сидит и весело ухмыляется очень смуглый босой мужчина в шортах и рубашке цвета хаки. В чертах его заметно нечто непальское, несмотря на темный оттенок кожи, и лицо у него такое же, без возраста, только по седым бровям и седой копне волос можно предположить, что мужчине далеко за шестьдесят.

— Доброе утро, доктор, — приветствует он по-английски, вскакивая на ноги. — Доктор просит Кромвель передать вам!

Мариамма разворачивает записку, одновременно пытаюсь разгадать, что же такое сейчас услышала.

— Я Кромвель, — представляется мужчина.

— Какой еще доктор?

Он указывает на стоящее у ворот транспортное средство — нечто среднее между джипом и грузовиком. На дверце выцветшая надпись ЛЕПРОЗОРИЙ «СЕНТ-БРИДЖЕТ». Внутри сидит белый мужчина. Мариамма возвращается к записке.

Дорогая Мариамма, я врач, который был знаком с Вашим дедом, Чанди. И прошу Вашей профессиональной помощи для больного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Он Вам знаком. Ради Вашей и моей безопасности позвольте дальнейшее объяснить уже в машине. До тех пор, прошу Вас, ни с кем не разговаривайте. Могу я Вас также попросить скрытым образом захватить трепан и те инструменты,

которые могут понадобиться для вскрытия черепной коробки и твердой мозговой оболочки?

Еще до ее появления в поле зрения Дигби ощущает некое возмущение в атмосфере. Она идет плывущей походкой, несмотря на тяжелую санджи на ее плече. Она высокая и красивая, красно-голубое сари очень идет к ее светлой коже. Заметная издали светлая прядь почти на макушке внешне добавляет ей зрелости не по годам. При ее приближении он смущенно краснеет.

Мариамма садится рядом, расправляет сари, ткань складками спадает к полу. Он протягивает руку; у нее теплая и мягкая ладонь, а у него, должно быть, на ощупь грубая и неподатливая, не способная принять нужную форму.

— Дигби Килгур, — бормочет он и неохотно выпускает ее руку. — Я хорошо знал вашего дедушку Чанди. И встречался с вашей матерью, еще когда она была совсем девочкой...

Мариамма внимательно вглядывается в мужчину с глазами голубыми, как сапфиры, сияющими на бледном от усталости, обветренном лице. Тыльная сторона ладони у него как лоскутное одеяло с пятнами ржаво-коричневой и неестественно белой кожи. Свободная хлопковая куртка подчеркивает худобу иссохшей шеи. Ему около семидесяти или чуть за семьдесят, он поджарый и подтянутый, но не такой жилистый, как его темнокожий шофер.

— Босс, мы ехать. Слишком много люди, — говорит Кромвель и заводит двигатель.

— Да, — хором отзываются Мариамма и Дигби.

Как только они удаляются на порядочное расстояние от «Тройного Йем», Мариамма резко разворачивается лицом к доктору:

— Как он?

Дигби отметил, что она не уточняет, о ком речь.

— Неважно. Почти не приходит в сознание, но ухудшается с каждым часом.

Мариамма обдумывает его слова. Сбрасывает сандалии и подтягивает ступни под себя, усаживаясь как русалочка.

— Он явился в «Сады Гвендолин». Это мое бывшее поместье к северу отсюда, недалеко от Тричура... — Дигби изо всех сил пытается не упустить ход мысли под взглядом этих пронизательных глаз. —

Много лет назад, когда мать Ленина была беременна, ее привезли в мое поместье с ножевым ранением и...

Мариамма нетерпеливо кивает. Она знает эту историю.

— Так вот, Ленин, должно быть, от своей матери узнал о «Садах Гвендолин». И обо мне. Для него это было словно часть приключения. Он появился там вчера ночью, но, видите ли, вот уже двадцать пять лет я там не живу. Я заведу лепрозорием здесь, в Траванкоре. Поместьем занимается Кромвель. За поимку Ленина назначена награда, как вам известно. Держать его в поместье было опасно, слишком сильный соблазн для работников. Поэтому Кромвель гнал на машине всю ночь и привез Ленина ко мне.

Сейчас она совсем не похожа на врача — просто юная женщина, столкнувшаяся с призраком из прошлого.

— Доктор Килгур, что нам делать?

— Пожалуйста, зовите меня Дигби. Да, в том-то и вопрос. Что делать? Его присутствие подвергает нас всех риску. Я не знал, как ему помочь. Я врач лепрозория, специалист по хирургии кисти. Когда его привезли, он постоянно терял сознание. Я бы ни за что не стал путывать вас, Мариамма, но он просил позвать вас.

Мариамма замирает. Потом тихонько спрашивает:

— Он намерен сдать?

— Нет, — мотает головой Дигби. — Послушайте, я не сочувствую наксалитам. Но полиция ничем не лучше. Вы прекрасно знаете, что никакой медицинской помощи они ему не окажут. Может, просто убьют на месте. Его рвет, и он жалуется на дикую головную боль. И все твердит, что вы знаете, что с ним. Думаю, я тоже знаю. Я читал о вашей семье и о наследственном заболевании.

Мариамма кивает:

— У него почти наверняка акустическая невринома, как у моего отца. Двусторонняя. Но это не значит, что я смогу помочь ему.

Она сложила руки на коленях и пристально смотрит вперед, погружившись в размышления. Ее черты в профиль — глаза, брови, длинный тонкий нос — точь-в-точь как у дочери Чанди, Элси.

— Мариамма, вам совсем не обязательно ввязываться в это дело. В конце концов, может быть, уже слишком поздно...

Изменившееся выражение ее лица подсказывает Дигби, что этого говорить не стоило. Кромвель бросает взгляд в зеркало заднего вида,

словно укоряя: *вот тут ты налажал.*

— Простите! Не знаю, что сказать...

Голос ее подрагивает, и она обращается скорее к себе, чем к ним:

— Итак, он появился внезапно и ищет меня? После стольких лет.

Что я должна?..

Она не договаривает. На глаза наворачиваются слезы. Дигби торопливо нашаривает носовой платок, слава богу, чистый. Она прижимает ткань к глазам, а затем, к удивлению Дигби, припадает к нему и утыкается головой ему в плечо. Рука Дигби обнимает ее и с величайшей нежностью ложится ей на спину, почти невесомо, чтобы не усугублять бремени, обрушившегося на ее плечи.

глава 76

Пробуждения

1977, «Сент-Бриджет»

Дигби наблюдает, как Мариамма разглядывает территорию «Сент-Бриджет», когда они въезжают в ворота. Что должна она подумать об этом месте, ставшем его домом четверть века назад, — о тихом оазисе, чьи высокие стены не пропускают из внешнего мира даже звуки? Суджа, одна из «медсестер» Дигби, приветственно складывает левую ладонь с культей правой кисти. Мариамма автоматически отвечает, едва ли заметив, что намасте Суджи по большей части воображаемое.

Комната, в которой Дигби разместил Ленина, изолирована от остального лепрозория. Мариамма медлит на пороге, а потом медленно, как лунатик, входит следом за Дигби. *Слава богу, он еще дышит*, с облегчением думает Дигби. Он видит, как дрожат ее пальцы, когда она касается щеки Ленина. У человека, лежащего без сознания на кровати, на лице и голове темная щетина, как у набожного индуиста, возвратившегося из паломничества в Тирупати или Рамешварам. Из-за абсолютного отсутствия подкожного жира извилистые вены выделяются на исхудавших руках. С этим впалым животом и торчащей грудной клеткой он похож скорее на крестьянина на грани голодной смерти, чем на героя-партизана.

Дигби осторожно надевает манжету тонометра на вялую руку Ленина. Его действие выводит Мариамму из транса. Пальцы нащупывают пульс Ленина.

— Сто семьдесят на семьдесят, — сообщает Дигби, снимая манжету. — Примерно то же, что раньше.

— Пульс сорок шесть. Феномен Кушинга.

Когда Дигби в последний раз слышал эту фразу? Полвека назад в хирургическом отделении в Глазго? У Дигби тогда было несколько случаев, чтобы вспомнить триаду пионера нейрохирургии. Кушинг наблюдал, как при кровоизлиянии или опухоли повышается внутричерепное давление и это вызывает повышение систолического

артериального давления, замедление сердцебиения и нарушение ритма дыхания.

— Нужно его посадить, — командует Мариамма. — Это поможет снизить внутричерепное давление.

Ее слова вовсе не звучат укором, но Дигби понимает, что должен был сам подумать об этом. С помощью Кромвеля они усаживают Ленина в кровати, подпирая тело сложенными матрасами из соседней пустой комнаты, но голова Ленина болтается, как у куклы-болванчика.

— Могу я осмотреть? — спрашивает Мариамма.

— Он весь ваш!

Мариамма странно смотрит на Дигби. Потом аккуратно встряхивает Ленина за плечо:

— ЛЕНИН!

Ранее, когда Дигби окликал его по имени, Ленин пытался открывать глаза. Даже говорил. Сейчас взгляд его остекленел. Пациент, который не вздрагивает, когда под кроватью взрываются петарды, находится в более тяжелом состоянии, чем тот, что дергается всем телом. Мариамма растирает грудную клетку костяшками пальцев — довольно болезненное стимулирование для пациента в сознании. Ленин шевелится и чуть хмурится.

— Видите? — показывает Мариамма. — У него двигается только правая половина лица.

Дигби это упустил. Она повторяет прием, и теперь он тоже замечает нарушение.

— Левый лицевой нерв парализован. Дело в опухоли левого слухового нерва. И она, вероятно, достаточно велика, раз задевает и лицевой нерв.

Мариамма приподнимает веки Ленину и покачивает его головой из стороны в сторону, проверяя движение глаз, потом рвотный рефлекс. При помощи неврологического молоточка она сравнивает рефлексы с обеих сторон. Мариамма достает из своего чемоданчика офтальмоскоп и изучает глазное дно Ленина.

— Отек диска зрительного нерва, — констатирует она.

Еще один признак высокого внутричерепного давления.

Наблюдая за ней, Дигби отмечает все то, что должен был сделать сам. Тело перед ней — это текст. И вскоре она, как библиист, сформулирует свою экзегезу. Дигби вдруг осознает собственный

возраст — она на два поколения младше. Вдобавок нынешний опыт Дигби касается нервов, которые никогда не восстановятся. Все книжные знания, которыми он больше не пользуется, выветрились из головы. В области пересадки сухожилий и связок — да, тут он эксперт, опубликовал несколько статей о своих новаторских решениях, основанных на работе Руни. Но этот пациент ведет его на неизведанные территории.

Мариамма, нахмурившись, откладывает инструменты.

— Я подумал, мы могли бы просверлить отверстие в его черепе, — предлагает Дигби. — Поэтому и просил вас захватить трепан. Это помогло бы снизить давление...

— Не поможет, — отрицательно машет она головой. — Опухоль Ленина внизу, возле ствола мозга. Она блокирует отток спинномозговой жидкости. У него гидроцефалия. Поэтому он без сознания. Трепанация помогает, если под черепной коробкой скопилась кровь, но у Ленина она только приведет к черепно-мозговой грыже.

Дигби переваривает услышанное. Он рисует в воображении щелевидные полости — желудочки, — расположенные глубоко внутри правого и левого полушарий мозга Ленина. В норме спинномозговая жидкость вырабатывается в двух желудочках, затем проходит по центральному каналу, как по водосточной трубе, через ствол мозга и изливается в основание мозга, чтобы омывать и смягчать внешнюю часть головного и спинного мозга. Но поскольку отток заблокирован опухолью, жидкость скопилась в желудочках, превратив их из щелей в раздутые шары. У младенцев несросшийся череп просто расширяется по мере увеличения желудочков. Но у Ленина увеличивающиеся желудочки медленно сжимают окружающие их ткани мозга, вдавливая в неподатливый череп, из-за чего парень сначала впал в сонливое состояние, а потом в кому.

— Но что мы могли бы сделать, — говорит Мариамма, — так это пункцию желудочка. Будем вводить иглу, пока не достигнем увеличенного желудочка, и выпустим спинномозговую жидкость. Для этого сделаем небольшое отверстие вот здесь. — Она показывает на макушку Ленина. — Не большую дырку, как для трепанации, а крошечную, под размер иглы.

— Вы хотите сказать, что сделаете это вслепую?

— Существуют анатомические указатели. Но в целом, да, вслепую. Но его желудочки должны быть уже настолько раздуты, что попасть иглой не составит большого труда. — Она умолкает, как будто надеется, что Дигби начнет ее отговаривать. — Я видела, как это делается. Это не лечение. Но поможет нам выиграть время. Время — это мозг, говорят нейрохирурги. Если ему станет лучше, мы сможем отвезти его в Веллуру, в Христианский медицинский колледж, и если он даст согласие на операцию... — И голос смолкает, подавленный многочисленными «если».

— Это идеальный план, — твердо говорит Дигби.

В маленькой операционной Дигби они усаживают Ленина и привязывают его голову к мягкому ортопедическому каркасу, прикрепленному к операционному столу. Маркировочной ручкой Мариамма проводит вертикальную линию от переносицы до центра черепа Ленина. Рулеткой отмеряет одиннадцать сантиметров вдоль линии. От этой точки она проводит вторую линию, перпендикулярно первой, ведущую к правому уху Ленина. И отмечает крестиком три сантиметра вдоль этой второй линии.

— Удаление жидкости из одного желудочка опорожнит оба, поскольку они связаны. Я выбрала правый, чтобы случайно не задеть центр речи в левом. Если вдруг вам интересно.

— Мне следовало бы поинтересоваться.

Трепан, который привезла Мариамма, делает слишком большое отверстие. Посоветовавшись, Дигби приносит спиральное сверло, которое он использует для длинных костей. Она вводит местное обезболивающее под кожу и немного вглубь в районе крестика. Скальпелем делает небольшой, но глубокий надрез до кости. Дигби, как привычный к этому инструменту, действует спиральным сверлом. Как только он чувствует, что пронзил внешнюю пластину черепа, за дело берется Мариамма, откусывая кусочками фрагменты кости, пока перед ними не открывается блестящая мембрана, покрывающая мозг. Даже сквозь эту маленькую дырочку видно, как вздулась мембрана, как мозг под давлением рвется наружу. Дигби замечает, как вздрогнула Мариамма: это мозг близкого ей человека.

Она берет в руки иглу для спинномозговых пункций. Длинную и полую, со съемным внутренним стилетом. Еще раньше она сделала

отметку на стержне в семи сантиметрах от кончика иглы. Мариамма прикрепляет кровоостанавливающий зажим к канюле иглы и вручает его Дигби.

— Встаньте прямо перед ним, Дигби, и держите зажим. Я встану сбоку. Вы должны следить, чтобы я целилась во внутренний угол глаза с вашей точки зрения. А я, со своей позиции, буду целиться в козелок его уха. Даже если я наклоню иглу в переднезадней плоскости, ваша задача — не дать мне отклониться в горизонтальной, следить, чтобы я целилась во внутренний угол глазной щели.

Помоги нам господи, как же все приблизительно, думает он.

Мариамма вводит иглу внутрь мозга. На глубине пяти сантиметров она останавливается и вытягивает внутренний зонд. Из канюли ничего не выходит. Она идет глубже, вводя иглу еще на сантиметр, и опять проверяет.

Чистая, как родниковая вода, жидкость брызжет из канюли.

— О боже! — восклицает Дигби.

Теория — это, конечно, хорошо, но доказательством ее становится густая жидкость, капающая на салфетки.

— Я вижу, как поверхность мозга оседает! — радуется Мариамма.

Когда поток иссякает, она вставляет зонд обратно во внутреннюю полость и извлекает иглу, затем тампонирует кость стерильным костным воском. Едва она успевает завязать узелок на единственном шве, которым закрыла рану на скальпе, как они чувствуют, что стол зашатался. Снизу появляется рука без перчатки.

— Погоди! — вскрикивает Дигби, быстро снимая фиксирующие повязки.

Ленин уставился на них сонным взглядом из-под вороха повязок на лбу — как крот, высунувшийся из норы, щурясь от света.

— Снимите маску, — тихонько советует Дигби Мариамме, снимая свою.

Голова Ленина неподвижна, но глаза мечутся между Дигби и Мариаммой. И останавливаются на Мариамме. Дигби не может сказать, кто из них — Мариамма или Ленин — удивлен больше. В операционной наступает абсолютная тишина, пока эти двое смотрят друг на друга. Даже снаружи стихли все звуки.

— Мариамма, — слабым хриплым голосом произносит только что пребывавший в коме пациент. — Я так рад тебя видеть.

глава 77

Дорогами революции

1977, «Сент-Бриджет»

Воскресший Ленин не сводит с нее глаз. Мариамма не в силах двинуться с места. Она смотрит, как Дигби разрезает повязки, фиксировавшие голову Ленина, невозмутимо беседуя с ним, как будто они встретились где-нибудь в клубе.

— Я Дигби Килгур. Мы виделись с вами утром, но сомневаюсь, что вы об этом помните.

Мариамме на миг кажется, что они сейчас пожмут друг другу руки, как Стэнли и Ливингстон. Вполне уместный жест. Их прошлая встреча уже вошла в легенды: Ленин погрозил доктору кулаком, а доктор Килгур отправил бунтаря обратно в матку при помощи тлеющего кончика сигары.

— Вы не в поместье, а в лепрозории «Сент-Бриджет».

Ленин заметно встревожился.

— Здесь вы в безопасности. Нам пришлось тайно вывезти вас из «Садов Гвендолин». Там слишком опасно.

Правая рука Ленина медленно всплывает к голове.

— Осторожно! — предостерегает Дигби. — У вас там шрам.

Дигби смотрит на Мариамму, как бы приглашая: *ваша очередь!*

— Как твоя голова? — спрашивает она.

Боже. Неужели это мои первые слова, обращенные к единственному возлюбленному после пяти лет разлуки? Как твоя голова? — после того, как я просверлила дырку в твоем черепе и воткнула иглку тебе в мозги?

Краска заливает ее лицо. В детстве никто, кроме Ленина, не мог заставить ее так краснеть.

— Голова нормально, — отвечает он. — Я помню...

Врачи напряженно ждут продолжения. Птичка-портной за окном чирикает: *давай-давай-давай-давай*. Мариамма затаила дыхание.

— Я помню, у меня очень долго болела голова. — Он вымучивает каждое слово по-английски, давно не было практики. — Если я кашлял или чихал, голова... взрывалась. Из меня как будто выдавливали жизнь. — Речь становится все свободнее. — У меня были судороги. Часто. Каждый день. У нас имелись капсулы с цианидом. И я уже готов был принять свою, но потом подумал... — Опять пауза, как радио, теряющее волну.

— Где это было? — уточняет Дигби.

Ленин роется под подолом своего мунду. Дигби помогает, извлекая рулончик рупий, стянутых резинкой, и маленький грязный полиэтиленовый сверток.

— Доктор, — обращается Ленин к Дигби, — мама рассказала, что вы помогли ей, когда она больше всего в вас нуждалась. Вы предотвратили мое преждевременное появление в этом мире. А теперь вы предотвратили мой уход!

Дигби смеется:

— Оба раза преждевременные попытки. Но, поверьте, если бы я не отыскал Мариамму, цианид вам не понадобился бы.

На этих словах внутри у Мариаммы что-то лопается. Несколькими часами позже — и она приехала бы к трупу, а не к этому разумному, рассудительному существу, к этому человеку, которого, несмотря ни на что, она любит. Мариамма тяжело опирается на стол. Встревоженный Дигби подтаскивает табуретку.

Рука Ленина тянется к ее руке.

Из-за лицевого пареза улыбка у него кривая. Но любовь, нежность и участие в его глазах — все это настоящий прежний Ленин. Она не хочет больше быть для него врачом. Но они еще не закончили. Мариамма берет себя в руки. Интересно, а почему он не спрашивает, как они справились с его головной болью?

— Ленин? (Он кажется таким беззащитным — лоб исчерчен маркером, на голове зашитая рана.) У тебя опухоль, акустическая невринома. Она повышает давление...

— Мне очень жаль твоего отца, Мариамма, — перебивает он. — Я читал в газетах. Недуг. Я так горжусь тобой. Ты удалила мою опухоль?

Ей больно видеть, как надежда гаснет в его глазах, когда она отрицательно качает головой. Хирургической ручкой она показывает на

листе бумаги, что происходит у него внутри.

— ...И когда мы ввели иглу, жидкость хлынула наружу. Ты очнулся. Но это лишь выиграло нам немного времени.

В глазах у него вспыхивает игривый огонек. А потом Ленин смеется, от чего неподвижность половины лица становится заметнее, и смех больше похож на злобный рык. Приходится старательно смотреть только на правую часть лица.

— Мариаммайте, — влюбленно тянет он, — доктор мой. Помнишь, как однажды в детстве ты сказала, что в голове у меня определенно что-то не в порядке? И когда-нибудь ты обязательно это починишь?

Они были тогда в церкви. Ленин поймал ее взгляд, когда она стояла на женской половине; а потом, не меняя выражения лица, он выпустил струйку слюны из уголка рта. Мариамма не смогла сдержаться и хихикнула. Большая Аммачи дернула ее за ухо.

— Я сказала, что однажды проломлю тебе башку и вытащу оттуда дьявола.

— И ты так и сделала!

Дигби возвращает их в реальность:

— Ленин, вы понимаете, что опухоль никуда не делась? Мы смогли лишь временно снизить давление вокруг нее. — Он смотрит на Мариамму, ища поддержки. — Но давление опять начнет расти.

— Иголку в мозг? — хмыкает Ленин. — Но я ничего не чувствовал.

— Удивительно, не правда ли? — говорит Дигби. — Можно тыкать прямо в мозг, и вы не почувствуете боли. Однако стоит наступить на гвоздь, и мозг тут же укажет вам, где болит. Если, конечно, вы не один из здешних пациентов, которые ничего не чувствуют и потому сильно калечатся.

— Ленин, — продолжает Мариамма, — надо срочно удалить опухоль. Но здесь мы не можем этого сделать. — Она прижимает руку к груди. — Нужно отвезти тебя в Веллуру. У них есть опыт подобных операций. — Она видит, как беглый преступник мысленно просчитывает пути побега.

— Почему нельзя здесь? Я доверяю тебе...

— Я хотела бы помочь. Но не умею. Пока.

— Веллуру? Они быстро выяснят, кто я такой.

— Но с удаленной опухолью ты будешь жить. Жить полноценной жизнью!

Он молчит. И отстраняется все дальше. Как будто собирается с духом, готовясь умереть.

— Ленин? — мягко обращается к нему Дигби. — О чем вы думаете?

— Я думаю. — Ленин старается не смотреть Дигби в глаза, он как будто внезапно сильно устал. — Так есть хочется, что сил нет думать.

— Святые угодники! Ну мы и врачи! Вы, наверное, умираете от голода. И этой юной леди тоже не помешает чашка чаю.

На Мариамму внезапно навалилась страшная тяжесть, словно потолок лег на плечи. Ей срочно нужен свежий воздух.

За дверью сидит на корточках Кромвель. При виде Мариаммы он улыбается... потом улыбка пропадает, он вскакивает на ноги, бросается к ней. *Что опять?* — недоумевает она. *И почему земля так странно наклонилась?*

Она лежит в кресле, ноги вытянуты на кушетке. Сверху наброшена шелковая шаль. Рядом чай, вода и печенье. Мариамма смутно припоминает, как Кромвель нес ее на руках. Как встрепелулась, оказавшись в горизонтальном положении, когда встревоженный Дигби склонился над ней, настаивая, что она должна отдохнуть. Мариамма сказала, что прикроет глаза только на пять минут. Должно быть, она уснула. Понятия не имеет, надолго ли.

Она с жадностью ест и пьет. Приютившее ее убежище — прохладный, с низким потолком кабинет, устланный ковром, со встроенными в стену книжными шкафами, обрамляющими даже дверь и окна. Здесь уютно и спокойно. Тяжелые портьеры на французских окнах, выходящих на небольшой прямоугольник лужайки, окаймленный разноцветными розовыми кустами; сад огорожен частоколом с прорезанной в дальней стороне калиткой. Наверное, эта лужайка — убежище Дигби, место, где можно посидеть на солнышке с книжкой. Она выглядывает в окно, очарованная идеально ровными краями газона, аккуратно подстриженными кустами. Это похоже на открытку с крошечными палисадниками перед английскими домами; огороженные клочки земли слишком малы для садоводческих амбиций владельцев, но все равно милы и уютны.

Между книжными полками попадаются небольшие ниши с фотографиями. Мариамму заинтересовала элегантная серебряная рамка, в которую заключено черно-белое изображение белого мальчика в чулках до колен, шортах, галстукe и свитере с треугольным вырезом. В бровях, глазах безошибочно угадываются черты взрослого Дигби. Застенчивая улыбка мальчика, смотрящего в камеру, не может скрыть его волнения. Наверное, первый день в школе? Красивая женщина в юбке, улыбаясь, присела рядом с ним, положила руку ему на плечо. Должно быть, мать Дигби. У нее молодое, но усталое лицо, а в темных волосах уже виднеется седина. Но на мгновение, пока щелкает затвор фотоаппарата, она собрала все лучшее в себе — как опытный актер, когда поднимается занавес, — и результат просто оглушительный. Она красива, как кинозвезда, и манеры под стать внешности.

В другой нише фотография без рамки — огромный бородатый белый мужчина в окружении прокаженных, он обнимает их за плечи, как тренер свою команду. То же самое лицо она видела на портрете маслом, висящем в портике «Сент-Бриджет». Должно быть, это Руни Орквист. Мариамма помнит это имя на форзаце старого маминого издания «Анатомии Грэя». Эта книга принадлежала ему, хотя и была подписана от имени Дигби. Идеальный подарок для юной целеустремленной художницы. Мариамма была настолько занята Ленином, что они с Дигби так и не поговорили о том, что их соединяет.

Ленин! Она торопливо допивает чай: не время предаваться воспоминаниям.

Мариамма умывается, все еще удивляясь, как устроены человеческие связи в этом мире; невидимые или позабытые, но они существуют, соединяя их, как река соединяет людей, живущих выше по течению, с теми, кто живет ниже, и неважно, знают они об этом или нет. Тетанатт-хаус где-то поблизости, пусть дядя и давно продал его. Руни был крестным отцом Элси. А Филипос бывал здесь еще школьником.

Выйдя из комнаты, она видит в коридоре Дигби: да, все та же детская тень тревоги, искренность, сосредоточенность и даже улыбка остались прежними на лице этого пожилого человека. И он так трогательно о ней заботится.

— Чай и печенье творят чудеса, — радостно сообщает Мариамма. — Я в порядке.

Ему явно становится спокойнее.

— Дигби, фотография в вашем кабинете — это ведь Руни, да? И он же в фойе?

Дигби кивает.

— Его имя есть на маминой книге «Анатомия Грэй». А вы написали посвящение. Эта книга всю жизнь со мной. Она мой талисман!

Дигби тронут, почти растроган. Он как будто хочет что-то сказать, но не решается. И вместо этого предлагает руку Мариамме, чуть согнув в локте, жестом настолько старомодным и европейским, что она с трудом сдерживает смех. Она берет его под руку, и почему-то это кажется самой естественной вещью на свете.

В молчании они возвращаются к Ленину, проходя через прохладный тенистый клуатр, кирпичные арки которого создают впечатление средневекового монастыря. Брусчатка под ногами окаймлена пробившимся в щели мхом. В прохладном уголке стоит, прислонившись к колонне, прокаженная. Она настолько неподвижна, что сначала Мариамма принимает ее за статую, пока край ее сари, накинутого на голову, не шевельнул ветерок. Женщина чуть склоняется ухом в сторону их шагов, как делают незрячие люди. Мариамма невольно вздрагивает — не от гротескных черт женщины, но от того, что фигура, которую она считала безжизненной, вдруг ожила.

Когда закончится этот кошмар с Ленином, она напишет Уме Рамасами и про лепрозорий, и про его живых пациентов, совсем не похожих на покоящиеся в формалине человеческие останки, с которыми она работала. Ей хочется рассказать Дигби про Уму и их общий интерес к заболеванию, которому он посвятил жизнь, приговорив себя к пожизненному заключению. Случайное поручение Умы подвело ее к поиску причин Недуга, к Ленину. Впрочем, подобным мыслям сейчас не время. Есть гораздо более насущные вопросы для обсуждения.

— Дигби, я полагаю, что Недуг вызывает более серьезные нарушения, чем обычная акустическая невринома. Согласно моей идее, он воздействует на характеристики личности, делая людей более эксцентричными. Именно заболевание порождает в Ленине... безрассудство, опрометчивый выбор пути. И его нынешнее упрямство.

— Что ж, неплохой аргумент для суда, если он сдастся, — соглашается Дигби. — Могут скостить ему тюремный срок.

— Я слышала, что одну женщину из наксалитов приговорили к пожизненному, — добавляет Мариамма. — И выпустили через семь лет.

Удивительно, куда может завести разум. Она уже не думает, что больше никогда не увидит Ленина, а, наоборот, планирует будущее. *Ты слишком забегаешь вперед.*

— Дигби, а что, если Ленин не пожелает сдать или поехать в Веллуру, тогда...

— Убедите его. Вы должны убедить. — Он выпускает ее руку. — Я оставляю вас наедине.

Ленин опять в той комнате, где она увидела его в первый раз, опять сидит в кровати, обложенный подушками, и, кажется, дремлет. Когда Мариамма садится на стул, Ленин открывает глаза.

— Мариамма? — улыбается он. Вынимает печенье из пачки, лежащей рядом, ломает его пополам. — Если мы откусим одновременно, то обретем суперсилу. Как Чародей Мандрейк. Помнишь? Один кусочек — и где-то в Галактике, если мы двое?.. — Жестом священника он чертит половинкой печенья крест в воздухе над ее головой, но она перехватывает его руку. И невольно смеется.

— Это было в комиксе «Фантом», макку. Не в «Мандрейке». — Она вернула его к жизни, чтобы назвать идиотом. — Ленин, у нас мало времени. Ты опять потеряешь сознание, ты это понимаешь? Пожалуйста, позволь отвезти тебя в Веллуру.

Кривая улыбка гаснет.

— Какая жалость, ма, — отвернувшись, говорит он. — Долгие пять лет. Как будто все сорок. Ничего не изменилось ни для адиваси, ни для пулайар. А мы с тобой? Какой же я был дурак, как слеп я был.

Мариамму охватывает глубокая печаль и жалость к нему — к ним обоим. Узкий зонд солнечного луча пронизывает листву, касается кровати. Бог, который никогда не вмешивается в крушение поезда или если человек тонет, любит вглядываться в свой гуманитарный эксперимент в такие вот моменты подведения итогов, озаряя сцену отчасти небесным светом. Мариамма нетерпеливо ждет ответа Ленина.

— Мариамма, когда все кончено, когда жизнь почти на исходе, что бы тебе хотелось вспомнить?

Она вспоминает их единственную ночь в Махабалипурам. Она нашла его в тот момент, когда уже потеряла из-за обреченного на провал дела. И вот все повторяется вновь. Найти, чтобы потерять. Она ничего не отвечает, лишь крепко держит за руку.

— А ты что хочешь запомнить, Ленин?

Он отвечает не задумываясь:

— Вот это. Здесь. Сейчас. Солнце на твоём лице. Твои глаза, сегодня больше голубые, чем серые. Я хочу помнить эту комнату, остатки печенья во рту. Зачем ждать, пока мир покажет что-то получше? — Он как будто прощается.

Темное облачко скользит по лицу. Дыхание учащается, на лбу блестят капли пота.

— Ленин, умоляю тебя. Давай поедem в Веллуру. Пускай опухоль удалят, а там будь что будет. Придется сдаться и принять последствия своего шага. Но только *живи!* Живи ради меня. Не заставляй меня смотреть, как ты умираешь.

— Мариамма, это не выход. Я все равно умру. Полицейские прикончат меня, опухоль там или не опухоль. — Он начинает запинаться, глаза блуждают, взгляд мутнеет и с трудом фокусируется. Она видит, как пелена опускается. Голос едва слышен. — Я рад, что ты воткнула иглу мне в голову. Я смог увидеть тебя еще раз, прикоснуться к тебе, услышать тебя. Мариамма, ты же знаешь, правда? Ты знаешь, что я чувствую к тебе...

Тело напрягается, глаза закатываются в одну сторону.

Она зовет Дигби, но тот уже рядом, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ленин забился в жестокой судороге, сотрясая кровать. Постепенно приступ стихает.

— Он сказал, чего хочет? — спрашивает Дигби.

Мариамма предпочитает не отвечать на вопрос — чтобы не лгать.

— Мы везем его в Веллуру.

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это уже революционный акт. Но это ее личная правда, ее революция ради Ленина и ради себя самой. Да здравствует революция.

Разбитая машина, за рулем которой сидит Кромвель, несется к Веллуру, подпрыгивая на ухабах и петляя по сужающейся от побережья до побережья талии Индии. Дигби не смог поехать с ними — и был очень огорчен. Мариамма хотела, чтобы он был рядом, но не решилась спрашивать о причинах. Она сидит вполоборота, регулярно проверяя, как там Ленин, но тот в постэпилептическом ступоре — либо так, либо жидкость опять начала собираться в желудочках. Они едут на север до Тричура, потом поворачивают на восток, поднимаются на перевал Палгат в Западных Гхатах, а потом спускаются в долину в Коимбатуре. Три часа в пути, шея затекла, вывернутая назад. Мариамма задремала, а когда очнулась, Ленин внимательно смотрел на нее, как будто это он сиделка, а она пациент, которого спешно везут на операцию.

Мариамма не успела обдумать, как скажет Ленину, что его везут в Веллуру против воли. Была уверена, что это еще не скоро, возможно, после операции... то есть если он переживет поездку, не говоря уже об операции. Что же теперь сказать? *Я хотела, чтобы ты жил, и неважно, что ты сам об этом думаешь?* Ленин явно потешается, видя ее замешательство.

— Ну давай, скажи, — выпаливает она. — Скажи, что я потащила тебя в Веллуру насильно.

— Все в порядке, Мариамма. Не нужно ничего говорить. Кромвель объяснил.

— Пожалуйста, — улыбается в заднее зеркало Кромвель. И добавляет: — Еще два часа. Может, меньше.

Она смотрит в окно. Сквозь облака проглядывает луна, освещая пустынный, изрытый пейзаж, — похоже, они приземлились в лунном кратере. Окружающий мир и двое мужчин в автомобиле тихи и умиротворенны. И только одна Мариамма взвинченна. Она готова придушить их обоих.

Ленин дотягивается до ее руки:

— Кромвель говорит, что мы разговаривали только этим утром, а мне кажется, что прошло много месяцев. И все это время я обдумывал наш разговор. Твои последние слова. То есть я размышлял об этом неделями. — Рука непроизвольно тянется ко лбу, касается повязки. — И я принял решение еще до того, как очнулся здесь, в машине. Если я готов был умереть ради того, во что даже не верю, то, конечно же, я

должен хотеть жить ради того единственного, вот что я *верю* безоговорочно.

Мариамма боится дышать.

— И что же это?

— Ты уже должна бы догадаться.

Несколько бродячих псов на улицах маленького провинциального городка — они в Веллуру. До рассвета остается еще несколько часов, когда они въезжают в ворота больницы Христианского медицинского колледжа. Их ждут, интерны и сестры уже роятся вокруг Ленина, подбегает регистратор нейрохирургии, подробно расспрашивает Мариамму. Он назначает ударную дозу противосудорожного и запрещает Ленину принимать что-либо через рот. На рассвете Ленина увозят на анализы.

Кромвель спит в машине, когда Мариамма возвращается к нему, чтобы уговорить поехать обратно — нет никакого смысла оставаться. Он неохотно подчиняется. Потом Мариамма звонит Дигби. Он с облегчением вздыхает, узнав, что они благополучно добрались.

— Знаете, — говорит он, — мне кажется, было бы неплохо позвонить редактору «Манорамы». Расскажите ему, что происходит. Если они напишут, что Ленин имеет отношение к вашей семье, вашему отцу, истории с Недугом, возможно, для полиции это станет сигналом, что его нельзя пока трогать. Кстати, в Веллуру знают, кто их пациент. Я рассказал. Они обязаны будут сообщить полиции Мадраса. А те непременно проинформируют своих коллег в Керале.

Закончив разговор с Дигби, Мариамма тут же набирает номер «Манорамы».

Ленин возвращается после анализов с выбритой головой. И засыпает. И Мариамма тоже — на стуле возле его кровати. В полдень появляется команда нейрохирургов, на этот раз во главе с заведующим, тихим немногословным мужчиной с добрыми умными глазами за стеклами очков без оправы. Он в хирургическом костюме. Вежливо кивает Мариамме, пока старший регистратор вполголоса излагает историю болезни Ленина и результаты анализов. Мариамма теряет дар речи перед будущим боссом, а тот осматривает Ленина — быстро, но тщательно.

— Вы приехали очень вовремя, — говорит он. — Мы обсудили ваш случай с нашими неврологами. И решили отложить сегодняшнюю плановую операцию. Будем оперировать немедленно, нет смысла ждать. И давайте молиться о счастливом исходе.

Приходят санитары забрать Ленина. Все происходит так быстро, Мариамма не представляла, что такое бывает. Ей остается только поцеловать Ленина в щеку.

— Все будет хорошо, Мариамма, не волнуйся, — говорит он.

На свете нет ничего более пустого, чем больничная койка, на которую может не вернуться любимый человек. Мариамма без сил падает на стул, закрывает лицо руками. Женщина, ухаживающая за своим сыном на соседней кровати, подходит утешить. К удивлению Мариаммы, к ней подходит и медсестра, садится рядом и молится вслух. В этом учреждении вера — это нечто конкретное, а не абстракция. После смерти отца Мариамма отвернулась от религии, утратила веру. Но она закрывает глаза, пока медсестра произносит слова молитвы... Ленину сейчас пригодится любая помощь.

А теперь нужно ждать. Три часа, потом четыре. Ожидание мучительно. Все, что она может, — беспомощно смотреть на часы и скидывать голову, когда кто-нибудь входит в палату. А потом за ней приходит посыльный — шеф хочет ее видеть, больше он ничего не знает.

Они идут по коридорам, вверх по лестнице... в голове туман. Мариамму проводят в большой зал позади хирургических боксов, где ее ждет шеф, он спокойно сидит на скамейке. Маска свисает у него с одного уха. Он приветственно похлопывает по скамье рядом с собой.

— С ним все хорошо. Мы сумели удалить опухоль почти полностью. Пришлось оставить небольшую капсулу, уж очень опасно она там прилегает. Лицевой нерв, может, восстановится, а может, и нет, но я надеюсь на лучшее. — Его улыбка успокаивает даже больше, чем слова.

Мариамму захлестывает волна облегчения, и слезы льются из глаз. Доктор терпеливо ждет.

— Благодарю вас! Простите, — лепечет она, вытирая слезы. — Не могу справиться с чувствами. Все время думаю об отце. И о бабушке. И о многих своих родственниках, которые даже не знали, что с ними

такое. Впервые в моей семье человек, который страдал от этой болезни, вылечился.

Доктор слушает, кивает, ждет. Убедившись, что Мариамма закончила, он тихо произносит:

— Я прочел материалы, которые вы прислали вместе со своим заявлением. Это заставило меня задуматься, сколько пациентов с акустическими невриномами, которые прошли через наши руки за много лет, могли происходить из таких семей, как ваша. Отныне мы будем больше внимания уделять семейной истории. Отличная работа.

— Спасибо. Для меня большая честь оказаться здесь, — признается она. — То, что вы сделали... удалить такую опухоль в таком тесном пространстве, это... невозможно. Чудо.

Доктор улыбается.

— Мы верим, что мы действуем не в одиночку. — И кивает в сторону большой фрески на стене напротив.

На фреске изображены хирурги в масках и халатах, в сиянии хирургического светильника склонившиеся над пациентом. А из тени за ними наблюдают другие персонажи. Один из них — Иисус, рука его лежит на плече у хирурга. Мариамма потрясена. Как бы ей хотелось обладать такой же верой.

— Мы гордимся, что можем делать практически все, что делают в ведущих мировых центрах, но за гораздо меньшую плату. Однако операция, которую мы только что провели, — изъятие фрагмент черепа чуть выше линии роста волос, отодвинули в сторону мозжечок... в общем, откровенно говоря, грубовато по сравнению с другой операцией по поводу невриномы слухового нерва, которую сейчас проводят только в двух или трех медицинских центрах в мире. Методику разработал хирург-отоларинголог Уильям Хаус, он сначала был дантистом, а потом стал хирургом. Он начал использовать стоматологический бор, чтобы добраться до внутреннего уха, костного лабиринта, и понял, что, углубляя этот тоннель, может получить доступ к акустической неврине. Это блестящее решение, но невероятно сложное, если не понимаешь, что делаешь.

Мариамма уже читала о новой методике, но не перебивает шефа, чтобы не показаться всезнайкой.

— Вот это нам надо освоить здесь. Понадобится операционный микроскоп, бормашина, ирригатор и прочие инструменты, которые он

применяет в данной операции. Но более всего нужна специальная подготовка, много часов практики рассечения височной кости на трупах, пока не научимся. В настоящий момент только доктор Хаус и несколько хирургов, которых он подготовил, осуществляют эту операцию. Со временем я хотел бы отправить к нему на обучение кого-нибудь из наших специалистов. — Он улыбается. — Кто знает, может, у Господа были такие планы именно на вас, Мариамма. Посмотрим. Давайте молиться об этом.

Большой Аммачи понравился бы этот мужчина, а уж от его слов она пришла бы в восторг. Господь ответил на молитвы бабушки: исцелить Недуг или послать того, кто может исцелить.

— Кстати, — шеф встает, — ко мне обратился старший инспектор Раджан из местного полицейского управления. Я пообещал ему, что Ленин никуда отсюда не денется. Надеюсь, вы поможете мне сдержать слово.

глава 78

Следи за ним

1977, Веллуру

Лицо Ленина, лежащего в палате интенсивной терапии, опухшее, отечное. Веки вздрагивают, и его рвет после наркоза. Он беспокоен. Мариамма смазывает вазелином его пересохшие губы и думает: интересно, время для него снова растянулось, как после приступа? Четыре часа операции воспринимаются как четыре года? Без этой опухоли, которая определяла всю его жизнь, останется ли он прежним Лениным или станет кем-то иным? Она смачивает ему губы кубиком льда, шепчет ласковые слова. И вот он приходит в себя, взгляд сначала расплывается.

— Мариамма!.. — едва слышно.

И она чувствует, как кулак, стиснувший ее грудь внутри, разжимается — впервые с тех пор, как Дигби появился в «Тройном Йем», жизнь назад.

На следующий день Ленина переводят в обычную палату. Он слаб, но все конечности функционируют, речь и память не пострадали — не повреждено ничего, кроме опухоли, насколько они могут судить. Мариамма кормит его, подкладывает ему судно, моет, делает все, чтобы освободить от работы медсестер. Наблюдая за стажерами, она научилась, как менять испачканные простыни под лежащими пациентами, как поворачивать больного, как помыть его прямо в постели. Урок смирения. Разве не должен каждый врач учиться этому? Разве не в этом суть медицины?

Статья «Священник-наксалит» выходит в «Манораме» на следующий день после операции Ленина. Невинный мальчик-алтарник страдал от медленно растущей опухоли мозга, которая привела его в наксалиты; теперь же, после героической хирургической операции, он снова здоров и раскаялся — вот такую байку плетет репортер. Кто знает, может, это и правда. Дигби надеялся, что подобная огласка

удержит полицию Кералы от посягательств на жизнь Ленина, когда они возьмут его под стражу. Возможно, это сработает.

Через десять суток после операции Мариамма по приглашению шефа проводит целый день, наблюдая за работой хирургов. Вернувшись в палату к пяти часам, она озадаченно смотрит на чисто выбритого молодого человека в свободной рубашке и брюках, сидящего на ее стуле рядом с пустой кроватью Ленина. Все взгляды устремлены на Мариамму. Сестры лукаво улыбаются.

Незнакомец поднимается на ноги, медленно поворачивается и подходит вплотную. С того самого времени, как Мариамма впервые встретила с Ленином в «Сент-Бриджет», она не видела его стоящим. Он выше, чем она помнит. Ленин неловко падает в ее объятия. Кожа да кости. Все пациенты, кто в сознании, все родственники, толпящиеся в палате, не сводят с них глаз; а сестры и старшая сестра вот-вот расплачутся... Мариамма чувствует, как кровь приливает к лицу. *О боже, пожалуйста, не дай бог они сейчас начнут аплодировать!*

По настоянию Ленина и с благословения старшей сестры они выходят в тенистый двор и усаживаются на лавочку. Высыхающие листья раскидистого дуба над их головами тихо шуршат, как рис, который пересыпают в корзинку. Глаза Ленина скользят вдоль ветвей до самых кончиков. Он разглядывает небо.

— Если бы здесь можно было спать, я бы согласился, — говорит он.

Мысли его несколько не замедлились. Они скачут, как горные козлы с уступа на уступ, как будто слов накопилось очень много. Он рассказывает, что в последние два года он и немногие оставшиеся товарищи были нежеланными гостями для сельских жителей, крестьянам больше нельзя было доверять — людям, за интересы которых они сражались.

— Деньги, обещанные за нас, — слишком заманчивая цель. Крестьяне, ради которых я готов был умереть, могли продать меня с потрохами. (Отряд все больше времени проводил в джунглях, погружаясь во все большее разочарование.) Ты знаешь, что грибок под названием «пузырчатая гниль» сделал для классовой борьбы больше, чем все накалитые вместе взятые? Он уничтожил чайные плантации. И хозяева оставили землю туземцам. Это ведь изначально была их земля.

Ленин рассказывал, как необъятность джунглей заставила замолчать его и товарищей, они почти не разговаривали даже друг с другом.

— Старый туземец из Ванаяда научил меня перебрасывать камень, привязанный к тонкой бечевке, через нижнюю ветку самого высокого дерева. Потом, привязав к бечевке прочную веревку, я мог перебросить ее через ветку и сделать петлю для тела. Он показал мне особый узел, секретный, который позволяет подтягиваться потихоньку вверх, — веревка закрепляется, и ты не сползаешь. Это схватывающий узел, ему трудно научиться, он передается в туземных племенах из поколения в поколение. Люди думают, что наследство — это обязательно земля или деньги. Тот старик передал мне свое наследство.

Беглый Ленин поднимал себя этой туземной лебедкой к звездам. Он целыми днями жил в кронах деревьев вместе с грибами, жуками-древоточцами, крысами, певчими птицами, попугаями, а иногда и циветта составляла ему компанию.

— У каждого дерева свой характер. И у них другое чувство времени. Мы думаем, что они молчат, а им просто требуется много дней, чтобы закончить слово. Знаешь, Мариамма, в джунглях я понял свою слабость, несовершенство, свою человеческую ограниченность. Я постоянно был поглощен какой-нибудь навязчивой идеей. Потом другой. Затем следующей. Бесконечно идти по прямой. Стать священником. Потом наксалитом. Но в природе одна-единственная идея — это неестественно. Или, точнее, одна-единственная идея — это и есть сама жизнь. Просто быть. Жить.

Мариамма слушает, обрадованная, но и немного обеспокоенная его мыслями.

Старшая сестра присылает им ужин, с особым лакомством — мороженым.

— Мариамма, знаешь, что самое вкусное в жизни я ел? Я часто об этом вспоминаю. «Ройял Милс» в Махабалипурам. Однажды я опять свожу тебя туда. В ту же самую комнату.

— Обещаешь?

Ленин кивает. Берет ее ладонь и целует, не сводя взгляда с ее лица, словно стараясь его запомнить.

— Я не хотел портить наш вечер, — вздыхает он. — Но пока тебя не было в палате, сообщили, что завтра меня передают полиции

Кералы. Меня перевезут в тюрьму, в Тривандрам.

Нет, не горечь, а дикий первобытный страх охватывает ее. Страх за его жизнь — точно такой же, как перед операцией.

— Мариамма? — встревоженно смотрит Ленин. — Что с тобой?

— Мне страшно, грустно — чего ты ожидал? И я злюсь на тебя. Да, я понимаю, что уже поздно. Но если бы ты не настоял на том, чтобы быть... быть Ленином, у нас могла получиться жизнь.

Прежний Ленин начал бы возражать, упрекать, что его не так поняли. Этот новый покаянно отводит глаза, и ей становится стыдно. Она гладит его по щеке.

— Но, с другой стороны, если бы ты был хорошим мальчиком и стал священником, я, наверное, решила бы, что с тобой слишком скучно.

— А теперь, когда я бандит, я неотразим?

Такой Ленин ей нравится. Нет, неправильно. Она любит его. Как бы сильно они оба ни изменились, личность формируется в возрасте десяти лет — такова ее теория. «Эксцентричную» составляющую вырезать нельзя. Зато, наверное, можно научиться справляться с ней.

— Мариамма, я знал, что тогда, в Мадрасе, мы попрощались навсегда. Но я все равно вел с тобой воображаемые беседы. И складывал мысли в специальный мысленный чемодан, чтобы когда-нибудь... Я хочу сказать, я никогда не отказывался от тебя. Не мог. И вот я здесь — живой. И смогу видеться с тобой. Потому что ты будешь знать, где меня найти...

— В тюрьме! — с горечью бросает она. И не сдерживает слез.

— Мариамма, ты же понимаешь, что не должна ждать меня? — Нотку беспокойства в голосе не скрыть.

— Ой, перестань, ладно? Я плачу, потому что мне будет тяжело. Но совсем не так тяжело, как тебе. Да, я хотела бы, чтобы нам не пришлось ждать. Но теперь, когда я тебя нашла, ты что, вправду думаешь, что я тебя отпущу?

Еще одну ночь она проводит на стуле рядом с ним, опустив голову на кровать Ленина, сжимая его руку. С восходом солнца она подсакивает, она на грани срыва. Ленин неестественно спокоен. Все в палате понимают, что происходит.

В десять утра в сопровождении двух констеблей прибывает инспектор Мэтью из особой оперативной группы полиции Кералы, башмаки полицейских молотами грохочут по кафельному полу. Инспектор — крупный хмурый мужчина с пышными усами. Вся его фигура, от фуражки до начищенных коричневых ботинок, до пучков волос, торчащих из ушей и на костяшках пальцев, излучает угрозу. Мариамма, вся дрожа, встает.

Ленин поднимается с кровати и выходит навстречу инспектору, плечи его отважно расправлены, но вид такой, что, кажется, дуновение ветра может сбить его с ног. От взглядов, которыми обменялись эти двое, у Мариаммы холодеет кровь: схлестнулись два давних врага, каждый из которых мечтает вырвать сердце другого, жаждет мести за все, что ему причинили. Но сдаться решил Ленин, и мимолетное сопротивление, мелькнувшее в его глазах, исчезает, словно и не бывало. Что лишь распаляет ненависть во взгляде инспектора, он сжимает кулаки. Мариамма уверена: не будь здесь свидетелей, инспектор в кровь избил бы Ленина, прежде чем забрать.

Когда на него надевают наручники, Ленин не противится. Инспектор рывкает, чтобы ноги арестованному тоже заковали, и Мариамма возмущенно открывает рот, но старшая сестра успевает раньше:

— Инспектор! — От этого голоса у интернов слабеют колени, а стажеры могут запросто обмочить штаны. — Вы нервируете моих пациентов! Ваш арестант перенес операцию на мозге, это вы понимаете? Вы что, думаете, если он решит бежать, вы не сумеете его догнать? (Инспектор скукоживается под испепеляющим взглядом. Кандалы исчезают.) Я передаю его вам в хорошем состоянии, — продолжает сестра. — И будьте любезны сохранить его таким же.

Снаружи ждет фургон. Мариамме позволили проводить Ленина. Задняя дверь открывается, демонстрируя два ряда лавок вдоль стен. Старшая сестра, не спрашивая разрешения, укладывает в фургон подушку и одеяла вместе с большой бутылкой воды, потом произносит над Ленином молитву и благословляет его. Пока констебли не затолкали Ленина внутрь, Мариамма обнимает его, чувствует ледяной металл наручников. Ленин нежно целует ее в лоб. И шепчет:

— «Ройял Милс», отель «Маджестик», ма! Не забудь. И в этот раз прихвати купальник. Я приеду за тобой. Будь готова.

глава 79

План Господа

1977, Парамбиль

В течение первого месяца свидания заключенным не разрешены. Для Мариаммы долгое ожидание сродни пытке. Как назло, каждый из пациентов «Тройного Йем», похоже, в курсе ее дел. И дня не проходит, чтобы кто-нибудь не сказал: «В тюрьме нормально кормят, хотя бы раз в день. Поди плохо?» Сборщик кокосов с глубокой рваной раной на лбу вещает из-под хирургической салфетки:

— Если б я попал в тюрьму, не пришлось бы карабкаться по пальмам. А еще там учат разным полезным вещам — шить, например.

Терпение Мариаммы лопается, она бросает иглу:

— Ты прав. Если б ты попал в тюрьму, мне не пришлось бы зашивать человека, который поцеловал козла, приняв его по ошибке за собственную жену.

И когда она в ярости вылетает за дверь, Джоппану приходится взяться самому за наложение швов, в этом деле он поднаторел.

Анна-чедети каждое утро суетится вокруг Мариаммы, расправляет складки ее сари, прежде чем отпустить в «Тройной Йем».

— Ты исхудала, — сетует Анна. — И не ешь то, что я тебе передаю.

Мариамма с Мастером Прогресса едут в Тривандрам нанять адвоката. Человека грамотного и опытного. По его словам, пока Ленину не предъявлено формальное обвинение, мало что можно сделать. Адвокат перечисляет наксалитов, которые были осуждены на срок от семи до десяти лет, некоторые даже пожизненно, но большинству сроки сократили до трех или четырех. Учитывая медицинскую историю Ленина и то, что он не был непосредственно связан с убийствами, ему может грозить только «несколько лет».

Это хорошая новость. Наверное. Но к тому времени, как Мариамма возвращается домой, осознание того, что означают «несколько лет» для них двоих, повергает ее в уныние. Скоро начнется ее

нейрохирургическая практика в Веллuru. И на свидание с Ленином придется ездить ночным поездом — вместо трехчасовой поездки на автобусе. И каждый день она будет трястись от страха, как он там в тюрьме. Мариамма вымотана эмоционально.

Анна-чедети бросает лишь взгляд на ее лицо и без лишних слов усаживает за стол. Взбивает в миске ледяной йогурт с водой, добавляет кусочек зеленого чили, рубленый имбирь, листья карри, соль и подает в высоком стакане. Она ласково заправляет Мариамме прядь волос за ухо, в точности как детстве, когда встречала из школы. Мариамма залпом выпивает ласси. Это изобретение лучше пенициллина. Потом принимает душ, съедает немного канджи с чатни и рано ложится спать.

Вскоре после полуночи она просыпается. Нет смысла с этим бороться. Она направляется в кабинет отца, ей так хочется услышать его голос в записях дневника. Мариамма отметила закладками те драгоценные моменты, где он говорит о любви к дочери. Каждый раз эти страницы доводят ее до слез. Поразительно число восторженных од, написанных еще в то время, когда они жили под одной крышей, а с тех пор, как она уехала в колледж, отец тосковал по ней еще сильнее. И почему она не приезжала домой почаще.

Мариамма гладит обложку блокнота. Это все, что ей осталось от папы, — его мысли. Единственный недостающий блокнот лежит на дне озера, один из множества памятников ужасной трагедии. Возможно, она так никогда и не узнает, почему он сел в поезд до Мадраса. До сих пор «опухоль разума» никак себя не проявляла, разве что само существование этих бессвязных заметок, их грандиозный объем, навязчивый, непрекращающийся комментарий жизни и есть та самая «опухоль». Но это вовсе не общая для всех страдающих Недугом черта. Она характерна исключительно для отца.

Даже если бы она убедилась наверняка, что ее гипотеза неверна и что нет никакой «опухоли разума», Мариамма все равно продолжила бы читать дневники. На этих страницах ее отец, Обыкновенный Человек, полон жизни; с ужасом она думает, что настанет день, когда она доберется до последней записи.

Мариамма пристраивает лампу поудобнее, берет ручку и возобновляет расшифровку и составление примечаний с того места, где

остановилась внизу страницы. Переворачивает лист...

Здесь что-то не так. В глазах рябит от количества пробелов, абзацев и целых рядов заглавных букв — всего, чего отец избегал как смертного греха. Эта страница выглядит как нарушение его собственного свода правил.

Моей Мариамме сегодня исполнилось семь, и она захотела пирог. Никто никогда прежде не готовил пирог в Парамбиле. Она узнала про это из «Алисы в Стране чудес». Они с Большой Аммачи смешали тесто в жестянке с крышкой, поставили на угли и засыпали углями сверху. Я заверил ее, что у меня есть зелье ВЫПЕЙ МЕНЯ — на тот случай, если это вдруг окажется пирогом СЪЕШЬ МЕНЯ и она внезапно вытянется в высоту. Очень вкусно! Ваниль и корица. Потом я вручил ей подарок ко дню рождения: первую настоящую перьевую ручку «Паркер 51», с золотым пером и синим корпусом. Великолепный инструмент. Тот, что я всегда обещал, как только она станет большой девочкой. Она была в таком восторге. «Это значит, что я стала наконец-то большой девочкой?» Я сказал, что так оно и есть. И это правда!

Мариамма видит на этой же странице собственные детские каракули на английском.

МЕНЯ ЗОВУТ МАРИАММА, МНЕ СЕМЬ ЛЕТ.

После очередного большого пробела возвращается отец.

Только медитируя после смерти Нинана, в течение многих лет каждый вечер страдая заново, я смог осознать, какой дар, какое чудо моя драгоценная Мариамма. Я не сразу понял это. Потребовалось время. Мне пришлось взобраться на самую высокую пальму, как некогда моему отцу, чтобы увидеть то, что ускользало от меня на земле, увидеть то, чего я не хотел видеть, о чем никогда не писал в этих заметках, потому что если бы я это сделал, то признал бы то, что всегда знал в глубине души, но отказывался признавать. Мысли

можно отбросить. Слова на бумаге так же постоянны, как фигуры, высеченные в камне.

Сегодня, когда моя дочь стала большой девочкой, какой хотела быть, я должен стать достойным ее и быть честным с собой и этими дневниками. Я не мог записать эти слова

ВПЛОТЬ ДО НЫНЕШНЕГО МОМЕНТА

Большие буквы сбивают Мариамму с толку. Отец определенно старательно выводил каждую, сооружая словесный монумент, стремясь запечатлеть важное событие. Либо он медлил, сомневаясь в том, что с такой неохотой готовился записать? Три слова занимают весь остаток страницы.

Она переворачивает следующую:

После смерти Нинана моя Элси ушла. Ушла больше чем на год. Когда же вернулась, моя Элси вернулась уже с ребенком.

Слова «уже с ребенком» подтверждают, что глаза мои открыты. Большая Аммачи, вероятно, видела все с самого начала. Возможно, именно это она имела в виду, когда сказала мне при рождении Мариаммы: «Господь послал нам чудо в виде этого ребенка, который явился полностью готовым и сам по себе». Ребенок не был реинкарнацией Нинана, но бесконечно более драгоценным: моей Мариаммой! Но я был дураком в тисках опиума, неспособным ни принять, ни осознать бесценный дар моего дитя, которая сегодня уже «большая девочка».

Освободившись от опиума, я по-настоящему встал на путь исцеления, когда всем сердцем полюбил мою девочку. Я ее отец — да, именно так — по собственному выбору. Неси она в себе мою кровь, она была бы другим ребенком, не моей Мариаммой, и мне это страшно представить. Отказываюсь представлять. Я ни за что не отказался бы от моей Мариаммы. Любящий Господь не вернул мне сына. Нет, Он одарил меня гораздо щедрее. Он даровал мне Мариамму. А она подарила мне жизнь.

Она вновь и вновь перечитывает слова отца, сначала не поняв, потом отказываясь понимать, даже когда слова обрушиваются на голову, как рухнувшая крыша.

уже с ребенком

Осознав написанное, Мариамма задыхается от ужасного знания. Она, спотыкаясь, выбирается из-за стола, в голове хоровод, тело грозит извергнуть скудный ужин.

Комната, папина комната внезапно становится чужой. Или это она сама — наблюдатель — отныне сама себе чужая? Она помнит, как они пришли сюда с папой, после того как съели ее деньрожденный пирог. Она забралась к папе на колени, взяла свой новенький «паркер», наполнила фирменными чернилами «Парамбильский лиловый». И написала слова, навсегда оставшиеся на той странице. Слова отца ниже — вот что растоптало ее.

— Аппа, что ты такое говоришь? Мой любимый отец — который рассказывает, что он мне вовсе не отец, — что ты такое говоришь?

Она сходит с ума. Кого можно спросить? Большая Аммачи все знала — или так думал отец. Но ее нет, у нее не спросишь. Мариамма мечется по комнате, онемев от потрясения. Куда ушла ее мать в тот год? Кто утешил ее в горе? Она начала новую жизнь? Если так, почему вернулась домой? Родить ребенка?

Она прочла уже половину отцовских дневников, записи разрозненны по времени. Но это единственное упоминание. Он всегда знал, но слишком больно было облечь знание в слова. Он записал каждую невысказанную мысль, кроме этой. Не мог... пока вдруг не сделал это. Возможно, он никогда больше не обращался к этой теме письменно, выплеснув то, что растревляло его изнутри, и обрел покой.

— Ох, Аппа, ты-то обрел покой, но перевернул мою жизнь. Ты подрубил корни, связывающие меня с этим домом, с бабушкой, с тобой... — Мариамме хочется разбудить Анну, спрятаться в ее объятиях. Может, Анна-чедети тоже знала? Нет, она пришла в Парамбиль перед самыми родами Элси. Похоже, отец никогда не обсуждал с Большой Аммачи ни свои подозрения, ни свою уверенность. И Большая Аммачи не говорила об этом со своим сыном. И то, что знала, унесла с собой в могилу. Как и ее сын... кроме этой записи.

Мариамма видит свое отражение в зеркале, перед которым брился отец, оно по-прежнему стоит в алькове, как будто дожидаясь, пока папа вынесет его на веранду. Она отшатывается, потому что из зеркала совершенно диким взглядом на нее смотрит страдающая, обезумевшая женщина.

— Кто я? — вопрошает она отражение в зеркале. Она всегда считала, что у нее отцовские брови, его привычка чуть склонять голову, прислушиваясь, определенно его нос, его верхняя губа, — это что, все неправда? У них даже волосы одинаковые, густые, с небольшими залысинами на висках, хотя у него не было ее пегой пряди.

Ее пегой пряди...

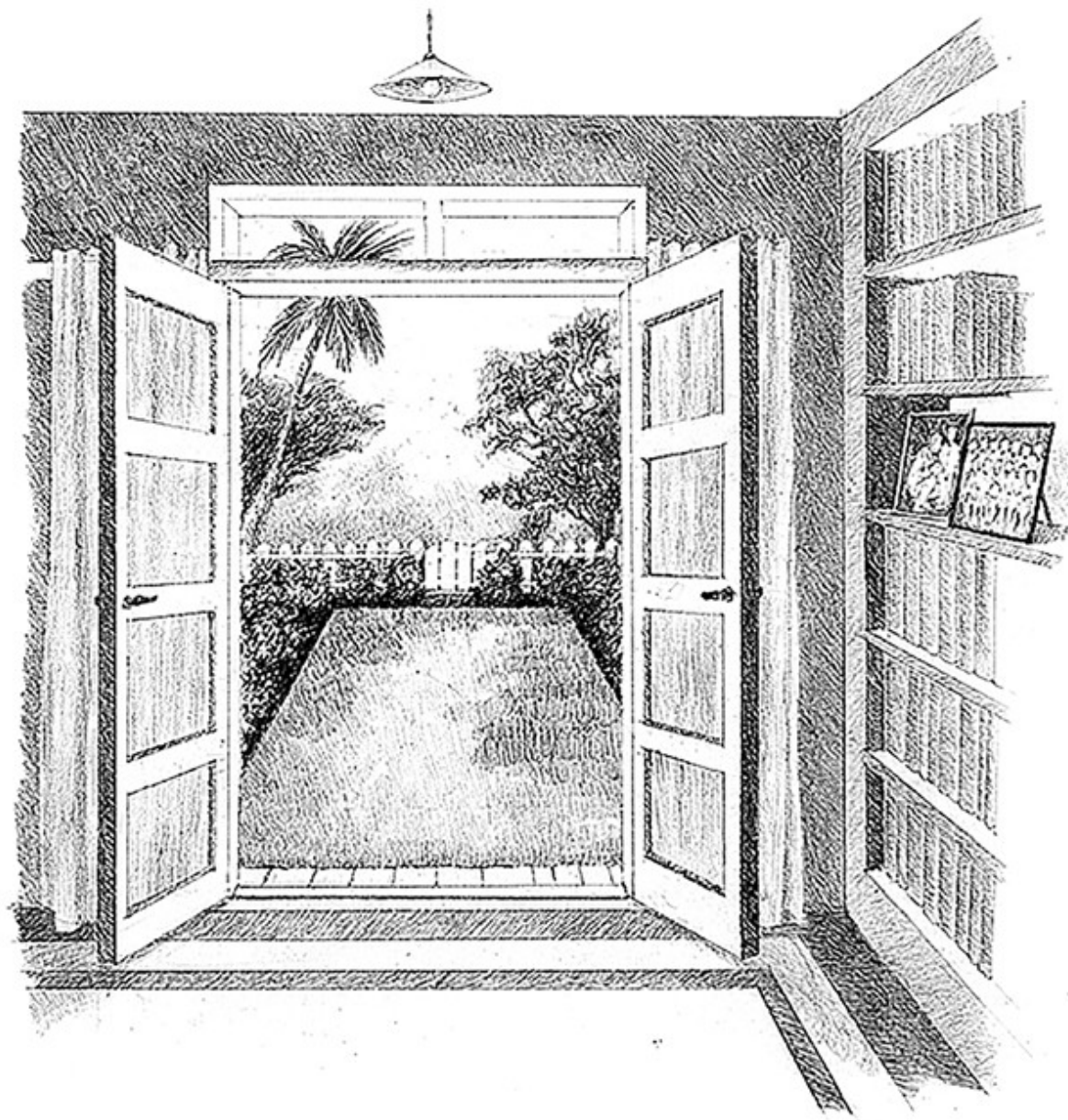
Вот он, ключ. Вот что влечет ее на верхушку пальмы, как отца, и теперь ее взгляду ничто не мешает.

Я вижу.

Я помню. Я понимаю.

Теперь оно со мной, это жуткое знание, которого я никогда не желала.

Часть десятая



глава 80

Невозможность моргнуть

1977, «Сент-Бриджет»

Усохший старенький шофер туристического такси кажется карликом на фоне громадного руля «амбассадора», но тем не менее ловко справляется с ручкой переключения передач, легким тычком перебрасывая из положения в положение. Как многие представители его профессии, он сидит на краешке сиденья, прижавшись к водительской двери, привычный к тому, что рядом обычно втискиваются как минимум три члена семьи в придачу к женщинам, детям и младенцам на заднем сиденье, и всех он везет на свадьбу или похороны.

Мариамма с заднего сиденья смотрит на мир новыми глазами. Парамбиль — место, которое она всегда считала своим домом, но, как и многое из того, во что она верила, это оказалось ложью. «Каждый из нас может быть уверен лишь в том, кто его мать», — сказал сват Аниан. Мариамма никогда не знала своей матери, а теперь выясняется, что и отца тоже не знала.

В прошлый раз, проезжая здесь на машине Дигби, торопясь к Ленину, она не задумывалась о Тетанатт-хаус. Шофер бывал повсюду и, как и сват, знает, где находился Тетанатт-хаус до того, как покойный брат Элси продал его. На этом участке сейчас стоят шесть «Особняков из Залива» — коттеджей, построенных малайяли, разбогатевших в Дубае, Омане и прочих аванпостах и вернувшихся, чтобы выстроить дом своей мечты. Единственное, что может увидеть Мариамма из маминого прошлого, — это величественную реку на границе их прежних земель. Автомобиль прибавляет ходу.

— Сюда, мадам? — с сомнением уточняет шофер задолго до открытых ворот «Лепрозория Святой Бригитты». Вряд ли он раньше возил сюда пассажиров, думает Мариамма. Наверное, надеется, что она сейчас выскочит и дальше пойдет пешком.

— Подъезжайте к тому зданию за лотосовым прудом. Я попрошу, чтобы вам принесли чаю.

— Айо, спасибо, мадам, нет нужды! — в панике отказывается старик.

Мариамма протягивает ему десять рупий и просит заехать за ней после обеда. Может, это только ее воображение, но кажется, что шофер берет купюру с опаской.

Она спрашивает, где Дигби. Суджа, женщина в медицинском халате, которую Мариамма видела в прошлый раз, ведет ее к доктору. Правая нога Суджи забинтована, а из-за сандалий, сделанных из старых покрышек, походка у нее неуклюжая и косолапая. Они проходят через тенистый клуатр, потом по коридору, ведущему к операционной, запахи дезинфектантов уступают место тепличному аромату пышущего паром автоклава.

Дигби Килгур оперирует, но Суджа предлагает ей войти. Мариамма надевает маску и шапочку, натягивает бахилы и заходит в операционную. У ассистентки Дигби недостает нескольких пальцев, лишние части на перчатках заклеены скотчем, чтобы не мешали. Дигби поднимает голову. И улыбается под маской.

— Мариамма! — Но, увидев ее лицо, замолкает. — Ленин?..

— С ним все в порядке.

Светлые глаза внимательно изучают ее, силясь разгадать, что случилось. Он медленно кивает.

— Я как раз начинаю. Не хотите присоединиться?..

Она мотает головой.

— Надолго не затянется.

Хирургия затмевает все. Мариамма помнит, как ее профессор в Мадрасе, дважды разведенный, говорил, что все тягостные моменты его жизни — разочарования, долги — мигом улечиваются в операционной.

Мысли как будто больше не принадлежат ей. Она с трудом сохраняет сосредоточенность. Дигби делает три надреза на руке пациента, прикрытой зеленой хирургической салфеткой. Она борется с искушением стукнуть его по пальцам. *Ты что, плотник с молотком? Держи скальпель как смычок, между большим и средним пальцами, а указательный сверху!*

Вслед за движением лезвия раскрывается светлая линия, которая постепенно окрашивается кровью — привычное зрелище. Движения Дигби медленны и размеренны.

— На мою работу не так уж приятно смотреть, — говорит он. И старательно хлопочет над кровотечением, на которое она не стала бы обращать внимания. Открыв операционное поле, он отсекает сухожилие от места прикрепления и прокладывает его к новому расположению. — Я на горьком опыте убедился, — продолжает он, — что свободные трансплантаты иссеченного сегмента сухожилия... не работают.

Мариамма прикусывает язык. Хирурги любят размышлять вслух. Ассистенту полагается иметь незаметные руки и еще более незаметные голосовые связки. Зрителям — тоже.

— Руни был пионером сухожильной трансплантации. Но я пришел к выводу, что сухожилие должно оставаться прикрепленным к родительской мышце для сохранения кровоснабжения и функций. Настоящий враг — рубцовая ткань. Я применяю микроскопические разрезы, и по возможности бескровно.

Она, вопреки желанию, восхищена тем, что он умудряется делать своими скрюченными пальцами — большую часть работы выполняет левая рука. Если бы Мариамма работала в таком темпе, сестра Акила наверняка сказала бы: «Доктор, ваша рана по краям уже заживает».

— Здесь нужно терпение дождевого червя, пробирающегося между камней... — бубнит Дигби, — огибающего корни, чтобы добраться туда, куда нужно. Даже самые жесткие структуры в запястье имеют почти невидимый слой подвижной ткани — по крайней мере, я так думаю. Об этом не говорится ни в одном учебнике. В это нужно просто верить. Верить без доказательств. Я пытаюсь не повредить этот слой. Это звучит, должно быть, как колдовство.

Мариамма не рискует издавать звуки. У каждого хирурга есть вера, но в каждом из них есть еще и немного от Фомы Неверующего. Им нужны доказательства. Именно за доказательствами она явилась к нему.

Поддай перст твой сюда и посмотри руки Мои; поддай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим^[250].

Дигби пришивает сухожилие к новой точке крепления в основании пальца. Долго возится с ним.

— Эти мелкие растрепанные волокна на срезанном конце сухожилия похожи на виноградную лозу, но прочные, как стальные тросы. Один свободный усик зацепится за что-нибудь лишнее, и вся ваша работа насмарку.

Он закончил. Мариамма по привычке смотрит на часы. Оказывается, совсем не так долго, как ей показалось.

— Давящая повязка? — невольно вырвалось у Мариаммы.

— Я в них не верю. Лучший жгут — тот, что висит на стене. — Он бинтует рану и фиксирует руку гипсом. Стягивает перчатки и халат.

Дигби просит ассистентку подать им чай в кабинет.

— Не возражаете, если мы по пути заглянем к одной пациентке? У нее сегодня большой день, она ждала все утро.

Очень даже возражаю! Я ждала всего лишь всю жизнь!

Мариамма молча следует за ним.

В маленькой палате молодая женщина сидит в кровати, рядом подготовлен перевязочный лоток. Дигби кладет руку на плечо пациентки.

— Это Каруппамма. Ей уже за пятьдесят. А выглядит как двадцатилетняя, правда? Таков эффект лепроматозной лепры. Разглаживает морщины. В отличие от туберкулоидной формы.

Каруппамма смущенно прикрывает рот культией.

— Неделю назад я проделал с Каруппаммой такую же процедуру, как вы только что видели. Я перерезал сухожилие поверхностного сгибателя пальцев, идущее к ее безымянному. Это было возможно сделать, потому что у нее есть глубокий сгибатель в качестве резерва. Сухожилие я прикрепил здесь, — показывает он в основание большого пальца. — Теперь она сможет совершать возвратные движения. Вернуть утраченную хватательную функцию. Однако для того, чтобы большой палец начал двигаться, она должна *представить*, что двигает безымянным. Мозг полагает, что это невозможно. Его нужно убедить, что вещи не таковы, какими кажутся.

Это он обо мне говорит? Внешне Мариамма спокойнее, чем в первый свой визит, убаюканная ожиданием и наблюдением хирурга за работой. Но внутри все клокочет от гнева, обиды и смятения. Ей нужна правда.

Я пришла не за хирургическими откровениями.

Но нельзя грубить на глазах у пациента.

— Прикоснись большим пальцем к мизинцу, — обращается к больной Дигби на малаялам.

Он коверкает язык, проглатывая некоторые звуки, но Каруппамма понимает. Морщится от усилий. Ничего не происходит.

— Стоп. А теперь... пошевели безымянным.

И вдруг начинает двигаться большой палец. Недоуменная пауза, после которой Каруппамма взрывается от смеха. Дигби улыбается, разделяя ее радость. Вокруг собралось несколько человек — приветствовать триумф Каруппаммы. Мариамма, вопреки себе, растрогана. Но когда Дигби оборачивается к Мариамме, лицо его печально.

— Эта болезнь только отбирает. Год за годом вы что-то теряете. Не от активной формы проказы, а из-за вызванных ею повреждений нервных волокон. Перед вами один из редких моментов, когда нам удается что-то восстановить.

Доктор объясняет Каруппамме, что ей нужно упражняться каждый день, пока палец не вернет прежнюю силу, но на сегодня достаточно. Дает указания Судже зафиксировать кисть и запястье гипсовой шиной.

— Скоро она научится двигать пальцем, не задумываясь. Поразительно. Как сказал Поль Валери, «там, где заканчивается разум, начинается тело. Но там, где заканчивается тело, начинается разум».

Мариамма выходит из палаты вместе с Дигби.

— Пол Бренд в Веллuru и Руни здесь были первыми, кто наконец-то понял, что пальцы повреждаются в результате повторных травм. Не проказа пожирает тела больных, а отсутствие болевых ощущений.

Мысли ее блуждают. Она думает о школьнике Филипосе, который предпринял отчаянный сплав по бурной реке и стал руками Дигби, потому что сам Дигби еще не оправился от последствий операции.

— ...Пол Бренд увидел, как пациентка готовит на открытом огне и пытается перевернуть чапати щипцами. Ничего не получалось. И, расстроившись, она потянулась к пламени и перевернула лепешку голой рукой. Мы с вами закричали бы от боли, а женщина ничего не почувствовала. Тут-то Бренда и озарило. В отсутствие «дара боли», как он говорит, мы беззащитны. — Дигби как будто разговаривает сам с собой. — Удивительно, сколь немногие понимают это. Такова природа

клинической проказы. Мало кто из врачей хочет изучать ее. И еще меньше хирургов готовы оперировать. — И Дигби смотрит прямо в глаза Мариамме.

Мариамме неловко смотреть в его лицо, морщинистое от старости, испещренное шрамами от ожогов, потому что в нем она видит то же лицо, которое смотрит на нее из зеркала. Неужели Дигби не замечает сходства?

Они заходят в тот же кабинет, где Мариамма — словно в прошлой жизни — оставалась подремать. Какое восхитительное утро. Ее тянет к французскому окну, еще раз взглянуть на роскошь сада. Желтые, красные и лиловые розы обрамляют лужайку, цвета изменились с тех пор, как она видела их в прошлый раз. Калитка в дальней стене изгороди приоткрыта. На лужайке на солнышке сидит пациентка в белом сари и перебирает в ладонях жареное пшено, потом неуклюжим движением отправляет пригоршню в рот. Руки ее как деревья с обрубленными ветвями, от которых остались одни сучки. Огрызком большого пальца она перебирает крупу. Голова накрыта паллу ее сари. Мариамма видит приплюснутый профиль, нос сглажен, как будто кто-то стоящий сзади тянет ее за уши. Нужно особое мужество, чтобы выбрать своим призванием проказу. В этом она должна отдать Дигби должное.

— Когда затронуты лицевые нервы, это лишает их естественного выражения лица. — Дигби встает у нее за спиной. — Вы думаете, что они в гневе скалят зубы, а на самом деле они смеются. И это усугубляет изоляцию больных проказой.

Никак не уймется с наставлениями. Когда же он заткнется.

— Я научился больше слушать, чем смотреть.

Голос его печален. Насколько легче было бы злиться на него, будь он забулдыгой плантатором, который просто смылся, а не человеком, который посвятил жизнь людям, чей недуг превратил их в изгоев.

Дигби понимает, зачем она здесь? Он должен бы, по меньшей мере, знать, что *мог* быть ее отцом, даже если никогда больше не встречался с Элси и не знал, что у него есть ребенок. А если он *знает*, тогда он участник обмана, скрывающий от нее правду.

Она уже готова повернуться и заговорить, как вдруг Дигби шепчет:

— Обратите внимание, сколько раз она моргнет. (Женщина не подозревает, что за ней наблюдают.) Посчитайте и сравните, сколько раз моргнет она и сколько раз за то же время — вы.

Мариамма старается не моргать. В глазах сначала чешется, потом жжет. Она сдается. А пациентка так и не моргнула. Женщина в саду слегка наклонила голову, прислушиваясь к собачьему лаю, как делают все слепые. Один глаз у нее запавший, молочно-белый, невидящий. Роговица другого мутная.

— Они не могут моргать, поэтому роговица сохнет и наступает слепота. Большинство здешних обитателей пришли сюда зрячими. Когда зрение все же пропадает, это очень печальный момент.

Приносят чай. Мариамма садится в то же кресло, где спала в предыдущий визит. Не задумываясь, снимает со спинки кресла шаль и накрывает колени. Дигби разливает чай.

Она видит фотографию в серебряной рамке — маленький Дигби со своей мамой.

Твоя потрясающая, роскошная мать, Дигби. Похожая на кинозвезду. С пегой прядью в волосах. Моя бабушка.

Когда Мариамма в первый раз увидела это выцветшее фото, она решила, что мать Дигби рано начала седеТЬ. Но женщина совсем юная. Ответ был здесь, прямо перед глазами... но она не придавала ему значения.

Дигби садится напротив, наклоняется над чашкой, делает глоток. Чай слишком горячий, он отставляет его в сторону, блюдце звякает о столик, как колокольчик.

Мариамма собирается с духом.

— Доктор Килгур...

— Дигби.

Дигби, значит. Ну уж «отцом» я тебя точно не назову. У меня был отец, который любил меня больше жизни.

— Дигби... — Но звучит неловко. Имя, как обломок зуба, царапает язык. — Вы не хотите узнать, зачем я приехала?

Откинувшись на спинку кресла, он долго молчит.

— Много лет я ждал, что ты приедешь, Мариамма. И задашь мне вопрос, который собираешься задать. (Глаза их встречаются.) Ты вылитая копия своей матери, — добавляет он.

Мариамма глубоко вдыхает. С чего начать?

— Ди... — Нет, она не может выговорить его имя. Еще раз. — Как вы познакомились с моей мамой?

Дигби Килгур со вздохом встает. На мгновение ей приходит в голову дикая мысль, что он сейчас откроет дверь и выйдет — потому что она задала тот самый вопрос, которого он ждал. Но нет, он остается на месте. Глаза, устремленные на нее, полны торжественной печали, раскаяния и сострадания.

— Я знал, что однажды ты придешь ее искать.

Она не понимает, о чем это он. Дигби приближается к французскому окну и останавливается, как приговоренный перед расстрельной командой, почти прижавшись носом к стеклу. Мариамма, не выпуская из рук чашку с чаем, подходит к нему.

Вид за окном не изменился. Лужайка сияет, как разлитая лужица зеленой краски. По центру ее, завернутая в ослепительно белое сари, все так же сидит немигающая женщина, все так же перебирая пшено.

— Мариамма, женщина, сидящая там на солнце... Возможно, величайший из ныне живущих художников Индии. Она — любовь всей моей жизни, причина, по которой я двадцать пять лет провел в «Сент-Бриджет». Мариамма, это Элси. Твоя мать.

глава 81

Прошлое встречается с будущим

1950, «Сады Гвендолин»

Когда сентябрьским днем Дигби подрулил к клубу, тот напоминал вокзал Виктория^[251]. Вдоль подъездной дорожки выстроились автомобили, под навесом высилась гора чемоданов. Начиналась Плантаторская Неделя 1950, и в этом году клубу Дигби — «Пассаты» — впервые выпала честь быть хозяевами мероприятия.

В далеком 1937 году, когда они с Кромвелем приняли на себя управление «Безумием Мюллера», строительство нормальной горной дороги само по себе было вполне амбициозной целью. Дорогу закончили, как раз когда цены на чай и каучук скакнули вверх, что позволило консорциуму вместе с Францем и остальными партнерами быстро окупить инвестиции, распродав часть своих владений в девятнадцать тысяч акров. Вскоре вокруг «Садов Гвендолин» расцвели поместья. К 1941 году Дигби вместе с соседями-плантаторами построили клуб «Пассаты» и наняли опытного секретаря, который с первых же дней принялся обрабатывать Ассоциацию объединенных плантаторов Южной Индии — на предмет проведения у них ежегодной недельной встречи. Честь эта многие годы неизменно предоставлялась старым клубам в Йеркауд, Ути, Муннаре, Пеермейд...^[252] Вплоть до этого года.

Дигби, как один из основателей клуба, чувствовал себя обязанным держаться на виду. Он обосновался на диване в большой гостиной, глядя через панорамные окна на далекие холмы. В любой другой день официант материализовался бы в течение нескольких секунд. Сегодня же бедолаги, обряженные в непривычно пышные тюрбаны, носились, как потревоженные куры.

С момента обретения независимости в 1947 году и отъезда многих белых землевладельцев большинство на этих собраниях составляли индийцы. Тем не менее программа Плантаторской Недели не

изменилась. Разве что матчи за кубок по крикету, теннису, бильярду, поло и регби стали гораздо более напряженными, а конкурсы красоты и танца — гораздо более масштабными. Индийские национальные гордость и самосознание достигли пика, однако образованный обеспеченный класс и, конечно же, бывшие офицеры неизбежно являлись носителями английского языка и культуры, глубоко переплетенных с их индийскими корнями.

Порыв ветра сдул с кого-то широкополую соломенную шляпку с голубой лентой, покатила ее по идеальному газону. Дигби наблюдал за драмой. От группы гостей отделилась фигура, поспешила за беглянкой. Дигби ожидал увидеть супругу плантатора, страшущуюся солнца, а вовсе не проворную высокую индианку в белом сари. Толстая коса, переброшенная через правое плечо, сияла на фоне смуглой кожи. Ослепительная красавица, без тени косметики, руки длинные и обнаженные. Завладев шляпкой, она подняла голову и посмотрела прямо на Дигби. Он вздрогнул, будто она коснулась его сквозь стекло. Глаза, пронизательные, как у пророка, чуть вытянуты к тонкому носу — Дигби почувствовал, как проваливается в их бездну. А потом она исчезла.

Когда к Дигби вернулась способность дышать, он ощутил запах духов, и сигаретного дыма, и какофонию голосов прямо над головой.

— «Хай рейндж» весь день бился на джимхане^[253]. Мерзавцы хотят заполучить этот трофей. Они...

— Я забыл смокинг. Вот же болван. У Ритердена должен быть запасной...

Дигби, пошатываясь, вышел на улицу, чувствуя себя так, словно увидел привидение. Может, она ему почудилась? Услышал, как его окликнули по имени. Или это тоже воображение?

Он обернулся и увидел Франца Майлина, с двумя бокалами вина в громадных лапищах, направляющегося от бара, битком заполненного белыми и смуглыми гостями.

— Не ожидал, Дигби? Мы бросили вещи в твоём бунгало и помчались прямо сюда к тебе.

— Франц! Я не ждал тебя так рано.

— Лена снаружи с дамами. Слушай, Дигби, надеюсь, ты не будешь против, но мы привезли гостью. Что ты пьешь? Вот, держи. — Не

дожидаясь ответа, он вручил ему оба бокала.

— Ты же знаешь, это мой клуб. Я должен...

Но Франц уже исчез в толчее около бара. Дигби остался с выпивкой в каждой руке. Поразительно, но Франц почти сразу вернулся, озорно ухмыляясь, еще с парой стаканов.

— Я думаю, что это налили тем молодым щенкам, но они отвлеклись.

Они вышли на улицу.

— Дигби, ты знаком с дочерью Чанди, Элси?

То есть это не было видением.

— Да.

— Лена пытается отвлечь бедную девочку после страшной трагедии — ты же знаешь Лену. — Видя озадаченное выражение на лице Дигби, он уточнил: — Ты же слышал?

— Про смерть Чанди?

— Нет, нет... Хлебни-ка для начала. Тебе понадобится.

Дигби, сжимая стакан, чувствовал, как тело леденеет, пока Франц пересказывал чудовищные обстоятельства смерти ребенка Элси в прошлом году. Бездонный взгляд Элси отпечатался в его мозгу.

— ...Поэтому она ушла из дома, бросила мужа.

— Бедная девочка! — прошептал Дигби. — И люди по-прежнему верят в Бога?

— Жуткая история, — вздохнул Франц. — Это ведь Чанди привез тогда Руни к нам в горы. Мы знаем Элси с детства. Были на ее свадьбе. Она в плохом состоянии, Дигс. И конечно, не захочет участвовать в *голмаал*^[254] Плантаторской Недели, но Лена подумала, что ее нужно куда-нибудь вытащить.

Дигби поплелся следом за Францем. Он навсегда запомнил ту девочку с хвостиком, большого художника уже тогда. Запомнил, с какой торжественной серьезностью она отнеслась к «художественной терапии» с ним, как это назвал Руни. Терапия раскрепостила его мозг и его руку, втокнула его обратно в мир живых.

Он часто думал о ней. Был уверен, что ей пригодилась «Анатомия Грэя» — подарок, который он принес четырнадцать лет назад, когда покидал «Сент-Бриджет». Дигби ожидал от нее великих свершений, но все равно был приятно удивлен, прочитав о медали на художественной

выставке в Мадрасе. А теперь уже она нуждается в исцелении. Но как исцелить после такой утраты?

Завидев Дигби, Лена вскочила и призывно раскинула руки. Он обнял ее. В его жизни было две женщины, которые видели его в абсолютно разобранном состоянии, — Лена и Онорин. И каждая по-своему спасла его.

Элси вежливо встала, наблюдая за ними. Белый — не только летний цвет, подумал он. Это цвет траура.

— Дигс, ты помнишь Элси? — представила Лена.

Взгляд Элси вновь загипнотизировал его. Он взял длинную тонкую ладонь Элси обеими руками, вспоминая девочку, которая вложила палочку угля в его пальцы и связала их руки ленточкой, вынутой из волос. С какой легкостью они скользили по бумаге, разрывая оковы, сковывавшие его! А сейчас он чувствовал, как время растворяется, годы, разделявшие их, рушатся. Она догнала его. Взрослая женщина. Он должен был заговорить, отпустить ее руку, но не мог ни того ни другого. Его безмолвное пожатие выражало признательность, а теперь еще и тоску по ней.

Пустые бездонные глаза сфокусировались, возвращая ее в настоящее, уголки губ приподнялись в улыбке. Его охватило предчувствие опасности, ожидающей ее впереди, как будто она вот-вот могла сорваться с самого края мира.

Они расселись в креслах. Повисло неловкое молчание.

— Что ж, за тебя, Дигби, — приподнял стакан Франц. — За старую дружбу и за новую...

— Возобновленную, — уточнила Лена.

К Майлинам подошла поздороваться супружеская пара. Элси покосилась на руки Дигби. Он вытянул правую, пошевелил пальцами, и Элси смущенно улыбнулась. Она внимательно разглядывала его кисть, сравнивая с тем, что помнила из прошлого. Одобрительно кивнула и вновь внимательно посмотрела ему в глаза. Он не в силах был отвести взгляд, да и не было нужды. Он был старше Элси на семнадцать лет, но в тот момент казалось, что они ровесники. Уж он-то специалист в страшных трагических потерях, и вот она сравнялась с ним в опыте. Дигби была известна простая истина: словами помочь нельзя. Можно только быть рядом. Лучшими друзьями в такие времена

бывают те, у кого нет никакой иной цели, как только быть рядом, предложить себя, — в свое время такими друзьями для него стали Франц и Лена. И Дигби молча предложил себя.

Через некоторое время он сказал:

— Несколько лет назад я видел ваши работы на художественной выставке в Мадрасе. Мне следовало написать вам, насколько они великолепны.

Он оказался в Мадрасе, пока выставка еще шла. Все работы Элси были распроданы, но в тот день он узнал, что один из покупателей отказался, и Дигби удалось приобрести картину. Портрет очень толстой женщины лет шестидесяти или семидесяти, важно восседающей в кресле в традиционной одежде христиан малаяли — белой чатта и мунду, а поверх изысканной кавани поблескивало массивное золотое распятие на цепочке. Волосы ее были затянуты в узел так туго, что, казалось, даже приподнялся кончик ее носа. Зритель видел неестественность и напыщенную вычурность ее позы, лицемерие в улыбке и глазах. Картина производила огромное впечатление именно тем, что модель не осознавала: полотно выдает ее с головой.

— Я только что вновь встретила со своей картиной в вашей гостиной, — улыбнулась Элси.

Он ждал продолжения, но его не последовало.

— И каково это, увидеть работу спустя столько времени, как вы отпустили ее в мир?

Мимолетная тень удовольствия скользнула по лицу — давно забытая эмоция. Она обдумывала ответ.

— Это было как... столкнуться с самой собой в дикой природе. — Она глухо рассмеялась. — Хоть немножко понятно?

Он кивнул. Они разговаривали вполголоса.

— А потом, когда я справилась с удивлением, мне стало приятно. Обычно я хочу что-нибудь подправить. Но тут я была довольна... И еще я поняла, что художник, он изменился, уже не тот, каким был прежде. Если бы я писала эту картину заново, она, возможно, была бы совсем другой.

Она посмотрела на свои руки, лежащие на коленях.

— Произведение искусства невозможно закончить, — изрек Дигби. — Только отложить.

Элси удивленно подняла глаза.

— Так сказал Леонардо да Винчи, — торопливо добавил он. — Или, может, Микеланджело. Или, может, я это выдумал.

Каким наслаждением было услышать ее смех, как будто мрачного ребенка хитрыми уловками заставили открыть свою игривую натуру. Следом рассмеялся и Дигби. Когда живешь один, самый громкий смех остается незамеченным, и потому он ничем не лучше тишины.

Элси, думал он, лишена внешних изъянов. Безупречна. Ее шрамы, ожоги, ее контрактуры скрыты внутри, невидимы... пока не заглянешь в глаза, это как заглянуть в стоялый пруд и постепенно разглядеть там утонувшую машину со всеми застрявшими внутри пассажирами. *Ты не одна*, хотелось ему сказать.

Элси встретила его взгляд и не отвела глаза.

глава 82

Творчество

1950, «Сады Гвендолин»

Тем вечером в его бунгало было шумно, теперь там жили четверо; все комнаты ярко освещены, а красная набивная скатерть из Джайпура сияла, как костер, вокруг которого они все собрались. Они не разошлись и после ужина, беседа, смех и выпивка текли рекой. Элси молчала, но, кажется, ей было спокойно от их гомона и шума.

Утром Элси не вышла к завтраку. Лена и Франц поехали на открытие мероприятия. Дигби задержался. Она появилась только к одиннадцати, выпила чаю, отказалась от яиц и сосисок.

— У вас столько хлопот, — виновато сказала она.

Свежевымытые волосы она заплела в свободную косу и надела светло-зеленое сари. Тени под глазами выдавали, что ночь выдалась трудной. Как, наверное, и каждая ночь.

— Никаких хлопот вообще. — Он заметил, как она внимательно разглядывает бесформенные булочки на сковороде. — Это баннок^[255]. Франц слопал столько, что хватило бы покрыть крышу, но все же оставил вам несколько штук. Старинный шотландский рецепт, только мука, вода и масло. Мы с Кромвелем на них одних и жили, когда обитали тут неподалеку в палатке, пока сносили старый дом Мюллера. Чересчур много в нем водилось привидений. Я пек баннок прямо на костре. Вот, просто попробуйте кусочек, — предложил он, намазав булочку маслом и джемом.

Она положила хлеб в рот, прожевала, одобрительно кивнула.

— Мне нравится, что везде большие окна. Великолепное освещение.

Ее одобрение оказалось ему невероятно приятно. Элси взяла еще кусочек булочки, капнула сверху меда. Он хотел было похвастаться, что мед из его поместья, но побоялся разрушить очарование момента.

— Разве вам не надо на заседание? — деликатно осведомилась она чуть хрипловатым голосом.

— Обойдутся без меня. Я не заседаю в комитетах, как Франц с Леной.

— «Сады Гвендолин»? — спросила она. — Ваше поместье называется...

— В честь моей матери, — просто ответил он.

И мать словно тут же появилась в комнате, одобрительно глядя на них. Элси кивнула. Дигби вспоминал портрет, который они нарисовали вместе. Его мамы. В следующий раз, наверное, нужно будет ей рассказать.

— Элси, я подумал... — Ничего он не думал, он действовал на ощупь, хирург с обмотанным марлей пальцем, он зондировал ткань. — Может, вы не откажетесь прогуляться со мной?

Он повел ее в западную часть поместья, по коридору среди высокой травы, куда после дождя слетаются два вида бабочек — Малабарский ворон и Малабарская роза, — но никогда одновременно. Он тщеславно предпочитал думать о них как о своих собственных творениях. В ответ на его безмолвную мольбу перед ними порхнула Малабарская роза, пылающий красный цвет вытянутого тельца подчеркивали угольно-черные крылья. Дигби резко остановился, и Элси уткнулась в него, ее округлости соприкоснулись с его костлявой спиной. Глянцевая Малабарская роза с ее темными хвостиками на крыльях напоминала Дигби самолетный обтекатель. Элси подошла ближе, чтобы рассмотреть бабочку.

Цепочка сборщиц чая, весело щебеча, приблизилась к ним, и бабочка улетела. Женщины смущенно замолчали. Когда они деликатно пробирались мимо по тропинке, Дигби показалось, что от них исходила, точно пар, земная жизненная сила. Элси, похоже, упивалась, глядя на этих женщин. Они прятали улыбки под небрежно накинутыми платками и опускали глаза из вежливости. Дигби, сложив ладони, пробормотал «ванаккам», поскольку его работницы были тамилками из-за границы штата. Руки Элси тоже поднялись в приветствии. Женщины отвечали охотно, звонкими голосами, платки соскользнули, открывая смущенные улыбки, и вот они уже проскользнули мимо, украдкой поглядывая на прекрасную гостью Дигби. Элси наблюдала, как они растворяются в солнечных лучах.

— Здесь наверху... такой особенный свет, — проговорила она. — В детстве я думала, это потому, что мы ближе к небесам. Я называла его ангельским светом.

Они поднялись в гору по старой слоновьей тропе. Бунгало находилось на высоте пяти тысяч футов, а они взобрались еще на пятьсот выше. Он запыхался. Наверное, надо было предупредить Элси? Дигби не оборачивался проверить, как она там. Оставил ее в покое. Так же вел себя Кромвель, когда Дигби со своими ожогами очутился в коттедже у Майлинов в «Аль-Зух». Молча сопровождал. Позволял говорить природе.

Когда они наконец выбрались на уступ белой скалы, вытянутый, как благословляющая рука, над долиной, оба тяжело дышали. Это место выделялось среди окружающих коричневых обрывов. Местные называли его Креслом богини. На плоской площадке просители разбивали кокосовые орехи, оставляли цветы и мазки сандаловой пасты. Дигби протянул Элси фляжку, лицо ее влажно блестело от пота, она жадно сделала глоток, не отводя взгляда от захватывающего дух вида.

Стоя здесь, Дигби всякий раз представлял, что сидит на животе у богини и смотрит вниз на ее бедра, на изумрудную долину, расширяющуюся меж ее коленей и переходящую в пыльные равнины у далеких лодыжек. Он надеялся, что Элси согласна, что сюда стоило карабкаться.

Прежде чем Дигби успел предостеречь (и кого, кроме ребенка, надо было бы предостерегать?), Элси решительно шагнула к самому краю площадки, застыв, как ныральщик перед прыжком.

Назад!

Он прикусил язык, боясь спугнуть ее. За все годы, что он тут бывал, он никогда не осмеливался подойти так близко к обрыву.

Дигби едва заметно подвинулся вперед, встал слева от Элси, чтобы она почувствовала, что он рядом. Он заставил себя оставаться внешне спокойным, борясь с адреналиновым всплеском и страхом. Она наверняка слышала его дыхание, потому что он-то слышал, как дышит она, видел, как поднимаются и опадают ее плечи, как расправляются и складываются с каждым вдохом ее лопатки. Очень медленно она подалась вперед и заглянула за кончики пальцев ног, преодолевая соблазн расстилающегося внизу искушения. Он перестал дышать.

Ветерок приподнял край ее сари, и тот взмыл над плечом маленьким зеленым флагом.

Она вскинула голову, обратила лицо к небу, омывшему его ангельским светом, лицо сияло, глаза серебрились, искрились. Он проследил за ее взглядом и увидел хищную птицу, парившую в восходящих потоках.

Элси чуть развела руки в стороны, ладонями вверх, то ли принимая благословение, то ли подражая полету птицы. Дигби все еще не дышал. Сердце готово было остановиться. Он стоял в шаге позади нее. Если попытается схватить и промахнется, то столкнет ее. Если она начнет сопротивляться, они оба полетят вниз. Он воззвал к богине этого Кресла, к любимым богам, которые его слушают, умоляя забыть про его неверие, про его презрение ко всякому божественному и сохранить жизнь этой матери-сироте. Из глубины сердца он молил Элси:

Прошу тебя, Элси. Я только что нашел тебя. Я не могу тебя потерять.

Спустя вечность ее левая рука робко потянулась к нему, а его правая метнулась навстречу, как будто руки знали то, что неизвестно их головам. Пальцы сплелись. Он потянул ее прочь от коварного края. Один шаг, другой. Развернул ее лицом к себе, теперь их дыхание и дыхание долины слились воедино. Ее ноги следовали за ним в танго, вырванном на пороге смерти. Она вся дрожала.

Он был уверен, что Элси представляла, как делает шаг с обрыва, что она намеревалась пристыдить Бога, пристыдить этого бесстыжего шарлатана, который пальцем не пошевелил, когда дети падали с деревьев, когда шелковые сари загорались; она представляла, как летит, раскинув руки, подобно хищной птице, набирая скорость, до того самого места, где заканчивается боль. Внезапно он разозлился на нее, его так и затрясло от гнева.

Откуда тебе знать, что там лучше? А что, если ужас, преследующий тебя, будет повторяться там ежеминутно?

Элси смотрела на него в упор, читая его мысли, и слезы ползли по ее щекам. Он вытер их большим пальцем, размазал по скулам. С уступа он спустился первым. Она склонилась к нему, положила ладони ему на плечи, и он легко приподнял ее за талию, будто она весила не больше перышка... а потом крепко прижал к себе — от злости, от облегчения, от любви.

Я никогда не позволю тебе упасть, никогда не отпущу тебя, никогда, пока я жив.

Она уткнулась ему в грудь, плечи ее тряслись, а он прижимал и прижимал ее к себе, пытаясь унять ее страшные, мучительные рыдания.

На обратном пути они изливали душу.

Элси, если ты отстранилась от смерти, значит, ты выбрала жизнь.

Если им и попадались Малабарские вороны, Дигби не обратил внимания. Природа на сегодня уже достаточно высказалась. Настала очередь высказываться Дигби Килгуру, и он не мог остановиться.

Он рассказал про школьный галстук, врезавшийся в шею матери. Когда он говорил о любви к хирургии, это была речь человека, оплакивающего смерть своей единственной и неповторимой любви. А потом он описал еще одну смерть, своей возлюбленной, Селесты, мучительную смерть в огне. Мальчишкой его озадачивало слово «исповедник», относившееся и к тому, кто слушает, и к тому, кто признается в грехах. А сейчас оно обрело смысл, потому что они двое были одним целым, вцепившиеся друг в друга, крепко связанные воедино теперь уже безо всяких ленточек и угольных палочек. Даже когда приходилось идти по тропинке гуськом, ни выпустить ее руку, ни прекратить рассказ он не мог. Дигби описывал месяцы отчаяния, многократно возвращавшееся чувство пустоты и стремление покончить с этим, так же как она хотела закончить свои мучения.

— Что тебя останавливает? — впервые заговорила она.

— Ничего меня не останавливает. Я поворачиваю за угол, и все повторяется вновь, вечный выбор продолжать или не продолжать. Но у меня нет уверенности, что с окончанием жизни закончится боль. И еще гордость удерживает меня от выбора, который сделала моя мать. У нее были те, кто ее любил, кому она была нужна. Мне. Она была нужна мне! — Последние слова вырвались, как вспышка гнева.

Несколько шагов он делает в полном молчании. Потом оба разом останавливаются. Он повернулся к ней. Дигби часто думал об Элси, он понимал, что она выросла, вышла замуж, и все же образ, оставшийся в его памяти, был образом девятилетней школьницы, которая освободила его руку, девочки, чей талант, чей гений был очевиден уже тогда.

Взрослая женщина перед ним, двадцати с лишним лет, осиротевшая, столь чудовищно потерявшая ребенка, казалась ему совершенно другим человеком. Если это Элси, тогда она стерла разделявшие их семнадцать лет. Возможно, так действует общая боль.

— Элси, тот портрет, который мы нарисовали у Руни, когда связали наши руки... Той женщиной была она. Это было лицо моей матери, именно такой мне нужно было ее помнить. Образ, что мы нарисовали вместе с тобой, освободил меня от жуткой смертной маски, которую я так долго носил в своей голове. Элси, я пытаюсь сказать, что ты исцелила меня. Я всегда буду у тебя в долгу.

Она стиснула его руки, его шершавые, грубые, нелепые лапы, но зато подвижные, способные сделать все что пожелают. Погладила рельефный шрам на левой кисти — знак Зорро, — крепко прижимая. Она перебирала каждый его палец, как лечащий врач, определяющий пределы подвижности, — клинический осмотр, но руками и глазами художника. Потом подняла его ладони, сначала одну, потом другую, и прижала поочередно к губам.

На следующий день она встала поздно и выглядела отдохнувшей. Застенчиво показала ему волдырь на подушечке стопы.

— О чем я только думал? Нельзя было позволять тебе идти в такую даль в сандалиях.

Он аккуратно вскрыл пузырь хирургическими ножницами, присыпал сульфаниламидом. Она заинтересованно следила за его действиями.

— Не больно?

Элси помотала головой. Он наложил давящую повязку на огненно-красный овал.

— Дигби, тебе не нужно идти на совещание?

Он поразмыслил.

— Хочу побыть с тобой, — сказал он наконец, не поднимая глаз.

И это была правда. Она ничего не сказала. У них появился новый способ общаться друг с другом.

Вместо прогулки он повел Элси к своей тайной страсти: три извилистые террасы, амфитеатром вырезанные в крутом склоне прямо напротив бунгало. Сладкий аромат наполнил ноздри. Вдоль каждой террасы были высажены любимые розовые кусты Дигби — словно

пестрая публика в праздничных театральных нарядах, глазеющая на долину. Он словно вел Элси мимо почетного караула, знакомя с целой палитрой разнообразных ароматов, начиная с ириса, его любимого, пахнущего фиалками, потом роза с запахом гвоздики, потом настурция.

— Я развожу их больше из-за запаха, чем из-за цвета.

Они сели на скамейку. Элси показала на каменный обелиск в конце террасы:

— Что это?

— А, это Ашер. Он должен был стать танцовщиком. Но камень треснул. — Дигби оживился, всякие неважные пустяки из его жизни вдруг обрели значение. — Микеланджело сказал, что внутри каждого камня заключена скульптура. Вот в этом, — он похлопал по скамейке, на которой они сидели, — я думал, что в этом камне скрыт слон. Но ошибся. Ему предназначено было стать скамейкой.

Элси рассмеялась и встала, чтобы рассмотреть каменную скамью.

— Дигби, — в голосе зазвучало нетерпение, — где ты делаешь эти штуки?

В его мастерской, бывшем сушильном сарае, хранились холсты, старое сварочное оборудование и противопожарный занавес, но ацетилен не было; в одном из замусоренных углов неровный пол был заляпан бетоном.

На третьем году жизни в «Садах Гвендолин», когда дорога в Гхатах была закончена, в дождливый сезон Дигби овладела глубокая меланхолия, не хотелось даже вставать с кровати. Кромвель такого допустить не мог. Он заставил Дигби подняться, напялить дождевик и тащиться в поле под непрекращающимся ливнем к дальнему краю поместья, где стекающие со склона потоки грозили переполнить ирригационный шлюз. Они вырыли дренажные каналы, а потом Кромвель привел его в сарай.

— Он заставил меня колоть дрова. «Полезно», сказал. Я наколол на три муссона. И заодно обратил внимание, что одно из поленьев похоже на игрушечного солдата. Попробовал обтесать его. В итоге получилась куча зубочисток. Но это было неважно. А важно, что я работал руками. Руни любил цитировать из Библии: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Кромвель Библии не знал, но опытным путем открыл ту же истину. От дерева я перешел к известняку. Но терпения не хватило, и я вернулся к акварели.

— Дигби, — призналась Элси, — после смерти Нинана мне все время хочется взять в руки какой-нибудь большой инструмент. Кувалду, молот, бульдозер... или динамит.

— Мы все еще говорим об искусстве?

— Мои руки хотят творить нечто крупное. Такое же грандиозное, как этот вид. И даже больше.

Он оставил Элси в мастерской. Подглядывая из-за двери, он радовался переменам в ней. В холщовом фартуке, бандане и защитных очках она стояла перед глыбой известняка, размахивая молотком, а левая рука переставляла долото. Удары вскоре стали решительными, она находила трещину, и внушительный кусок отваливался с первой попытки. Наверху камня уже вырисовывался грубый цилиндр. Элси ринулась в новое дело с воодушевлением, сдержанной яростью, которых Дигби не ожидал.

Когда ранним вечером он вернулся с заседания, молоток продолжал стучать. Элси его не заметила. Тонкий слой пыли покрывал ее волосы и каждый дюйм открытой кожи. Когда она сняла фартук, очки и бандану, открылось преобразившееся лицо, на котором больше не было невыразимой усталости. Они вместе пошли домой.

— Дигби, — взглянула она на свои руки, — ты вернул мне свой долг.

Следующие несколько дней он честно присутствовал на последних мероприятиях Плантаторской Недели, но пропускал все вечерние приемы.

Накануне отъезда гостей Дигби постучал в дверь Франца и Лены. Голос Лены пригласил входить. Пара уже переделалась в вечерние наряды и готовилась возвращаться в клуб. Франц стоял, а Лена, присев на край кровати, укладывала нужные мелочи в дамскую сумочку. Оба выжидающе уставились на Дигби. А увидев его лицо, вообще замерли.

— Лена? Франц? — Дигби чувствовал, как краснеет. — Если... если Элси хочет остаться здесь, — запнулся он, — я с радостью привезу ее обратно, когда она будет готова. К вам. Или куда она

пожелает. — Теперь, уверен он, лицо его пылало ярким пламенем. — Дело в том, что... Вы же видите, как это на нее подействовало. Я имею в виду, мастерская.

— Возможно, это больше, чем просто скульптура, Дигс, — многозначительно проговорила Лена.

Муж с женой переглянулись, и Франц вышел, попутно похлопав Дигби по плечу.

— Дигби, а ты спросил Элси, чего она хочет? — сказала Лена.

Он мотнул головой.

Лена аккуратно подбирала слова.

— Дигс, я не знаю, что для нее лучше. И — да, я вижу. Это чудо. Она нашла ради чего жить.

— Да, Лена! И причина...

— Причиной можешь быть ты, Дигс.

Дигби тяжело опустился на кровать рядом с Леной, спрятал лицо в ладонях. Лена приобняла его.

— Дигби, ты влюблен в нее?

Вопрос выбил из равновесия. Язык готов был немедленно все отрицать. Но это же была Лена, его «кровная сестра», как она всегда приговаривала. Поэтому Дигби молча уставился на собственные ладони, как будто в них лежал ответ. Медленно выпрямился. Посмотрел ей прямо в глаза.

— О господи, Дигс. А она, возможно, влюблена в тебя. Но она такая хрупкая. И уязвимая. И не забывай, что она уже...

— Лена, — перебил он, не желая услышать слово, которое она собиралась произнести, — даже если я был, если я... Если я действительно люблю ее, какое это имеет значение? Я не хочу... Я не надеюсь, что это к чему-либо приведет. Мне сорок два, Лена, я убежденный холостяк. Я старше на семнадцать лет. Но если пребывание в «Садах Гвендолин» поможет исцелить ее раны, я готов предложить ей хотя бы это. Она заново открывает себя в работе. Это может стать ее спасением.

Лена смотрела на него, словно не слушая.

— Лена. Если ты беспокоишься, что я поведу себя не как джентльмен, обещаю...

— Ох, Дигби, замолчи немедленно. — В глазах у нее стояли слезы. Она погладила его по щеке, нежно поцеловала. — Не надо ничего

обещать. Просто будь собой. Будь добрым. Будь искренним. И не будь джентльменом.

Весь следующий день Элси работала. А он держался подальше. Ничего не изменилось. Изменилось все. Они остались одни.

Он ощутил это, когда пошел звать ее ужинать. Подходя к сараю, не услышал звяканья молотка. В панике Дигби пробежал стремглав последние несколько ярдов. Элси сидела на лавочке снаружи, наблюдая, как небо окрашивается розовым.

Он присел рядом, запыхавшись, но старательно скрывая это. Она улыбнулась, но бесконечно печально.

Какой же я болван. С чего я взял, что скульптура стирает воспоминания?

Она положила голову ему на плечо.

За ужином оба молча ковырялись в еде, а потом он предложил:

— Хочу показать тебе одну из моих любимых картин, пока ты не легла спать.

Они пошли на второй этаж, оттуда на чердак, а потом по лестнице на крышу, где стояли два плетеных шезлонга. Он набросил ей на плечи шаль, укрывая от вечерней прохлады. Повар оставил термос с горячим чаем, сдобренным кардамоном и виски. Постепенно, по мере того как глаза привыкали к полумраку, в чернильно-черном покрове ночи показались драгоценные камни, вышитые на ее ткани. А потом, когда прошло еще немного времени, появились звезды помельче — как застенчивые дети, выглядывающие из-за подола родителей. Орион натянул над ними свой лук. Они долго молчали. Он видел, как она провела пальцем по небу, как будто восходящий шлейф Млечного Пути стекал с кончика ее пальца. Казалось, Элси потеряла дар речи, в упоении глядя вверх.

Он протянул ей кружку с чаем.

— Ребенком в Глазго, — сказал Дигби, — я забирался на крышу в ясную погоду. Это, кстати, случалось не часто. Находил Полярную звезду. Это утешало меня. Моя точка опоры. Когда мама умерла, я не мог верить в Бога. Но звезды? Они все там же. На том же самом месте. Благодаря им идея Бога потеряла смысл. Я поднимаюсь сюда летом, когда ночи ясные. Часами смотрю вверх. Иногда думаю — может, вся

наша жизнь лишь сон. Может, меня на самом деле вообще не существует.

— Если тебя не существует, тогда я тоже тебе снюсь, — улыбнулась Элси и тихо добавила: — Спасибо тебе, Дигби. За все.

Утром он застал ее сидящей на полу в библиотеке, солнце струилось сквозь высокие окна и сквозь ее волосы. Перед ней был раскрыт один из громадных художественных альбомов.

— Дигби! — радостно вскинула она голову.

От ее умиротворенного голоса у него перехватило горло. Он сел рядом, и они дружно уставились на фотографию «Экстаза святой Терезы» Бернини.

— Посмотри на ангела и святую Терезу. Они рядом, но отдельно. Но оба из одного куска камня. Видишь, как струится ткань, видишь движение? Как? Каким образом он смотрел на камень, когда начинал работу... и представлял это? — Она почти шептала восхищенно. — Он сделал это для такого места в церкви, где солнечные лучи проникают через световой фонарь в куполе. Чистой воды магия. Если бы можно было, я бы уже завтра помчалась в Рим.

— Ты можешь, Элси.

Поехали.

Она недоуменно уставилась на него. А потом рассмеялась. Но он даже не улыбнулся. Слезы начали медленно наворачиваться на глаза.

Он встал и вернулся с двумя чашками кофе.

— Вчера я попробовала поправить то, что надо было бы оставить в покое, — сказала Элси. — И одна сторона камня отвалилась.

— Ой! Какая жалость.

Она улыбнулась, ее позабавило его огорчение.

— Да все в порядке. Какой бы святой ни был заключен в том камне, он точно не был похож на то, что я задумала. Надо выбросить. Прости, что я испортила хороший камень.

— Ничего мы не будем выбрасывать. Я его сохраню. А когда ты станешь еще знаменитее, все захотят приобрести твою первую скульптуру. Но я не продам. И, кстати, «Сады Гвендолин» стоят на горе из песчаника. Я отвезу тебя к каменоломне. Выберешь, что тебе понравится.

Элси вернулась к работе, на этот раз с более крупной прямоугольной глыбой. Дигби встречался с ней только за завтраком и ужином. Обед повар относил в мастерскую, но Элси почти не притрагивалась к еде.

После ужина они теперь обычно уходили на крышу и сидели там, пока холод не прогонял в дом. Как долго еще будут стоять ясные ночи? Дигби всегда настаивал, что должен спускаться по лестнице первым, помогал ей сойти с последней ступеньки и не отпускал ее руку до самых дверей ее спальни, где они прощались. Каждый вечер, возвращаясь к себе, он повторял: *Будь готов, Дигби. Она может ускользнуть так же внезапно, как появилась. Будь готов.*

Однажды вечером легкие облачка заволокли небо, а следом набежали плотные тучи, заслонив звезды. Они упрямо ждали на крыше, пока первые крупные капли дождя не прогнали их внутрь. Лестенка была скользкой. У дверей ее спальни он пожелал спокойной ночи, но Элси удержала его руку. Она шагнула внутрь, увлекая его в комнату, и закрыла за ними дверь.

Будь готов, Дигби.

глава 83

Любить больного

1950, «Сады Гвендолин»

Но он не был готов потерять ее. Только не после той ночи. И не когда пришло письмо, пересланное из Тетанатт-хаус в поместье Майлинов, а затем ему. Увидев конверт, Дигби похолодел. Ему был отпущен самый благословенный период в его жизни.

Не называй никого счастливым, пока он не умер.

Когда Элси отложила письмо, лицо ее было пепельно-серым.

— Малютка Мол. Она больна. Возможно, умирает.

— От чего?

— От тоски, судя по всему. В придачу к ее больным легким. Она видела, как погиб мой малыш, а потом я ушла... Письмо от моей свекрови. Аммачи говорит, что Малютка Мол ничего не ест. И только зовет меня.

Больше Элси ничего не сказала, а он не спрашивал. Но словно китайской туши капнули в прозрачный бассейн, где они плескались. Тень окрасила ее настроение. Туман напелзал каждый вечер, от грозных порывов ветра, сотрясавших окна по ночам, стало холодно. О вечерах на крыше не могло быть и речи. С тех пор, как они стали спать в одной постели, многими ночами он чувствовал, как ее тело молча вздрагивает рядом с ним, и тогда он обнимал ее, привлекал к себе теснее, держал и не отпускал. Как-то раз, после того как рыдания затихли, она сказала, всхлипывая:

— Только здесь, Дигби, я почувствовала, как гнев хоть чуть-чуть унялся. И даже ненависть. Но не исчезла совсем. А печаль не уйдет никогда. Я знаю, что он любил нашего ребенка. И что ему так же больно, как и мне. И он чувствует себя более виноватым, если это вообще возможно. Я знаю, что нет смысла проклинать его, а ему бессмысленно винить меня. Но знание ничуть не помогает.

Позже, вспоминая, он думал, не пыталась ли она подготовить его к своему уходу? А что ему еще оставалось.

В тот вечер, когда пришло письмо, они сидели у камина и Дигби понял, что Элси приняла решение.

— Я не могу допустить, чтобы Малютка Мол умерла из-за меня. Никак нельзя, если я собираюсь жить дальше. (Он молчал, ожидая продолжения.) Дигс, мы не говорили о будущем. Просто жили каждый отпущенный нам день. Я смогла дышать, жить и хотеть жить и вновь испытать любовь, хотя думала, что никогда больше не сумею. Я знаю, что не смогу остаться в Парамбиле. Слишком много воспоминаний, слишком много гнева и обид. Мне страшно туда возвращаться. Даже когда Нинан был жив, даже когда у Филипоса были самые лучшие намерения, его попытки сделать что-то хорошее для меня оборачивались противоположным. — Она вздохнула. — Дигби, я хочу сказать, что еду туда только в гости. Если ты примешь меня, я вернусь. Нет никакого другого места, нет больше никого, с кем я хотела бы быть.

Как он ждал таких слов. Изо всех сил пытался поверить, потому что был большим специалистом в разочарованиях. Единственная защита — предвосхищать. Попытки удержать любимых приводят к разочарованию. Злиться на них так же бесполезно.

Он не старался приукрасить свои горькие мысли, делаясь ими с Элси с той же честностью, с которой всегда это делал.

— Я не имею права голоса в том, что ты делаешь, Элси. Если ты почувствуешь себя по-другому, оказавшись там, если ты останешься, я приму это. Мне придется. Поэтому то, что я сейчас говорю, это не для того, чтобы ограничить тебя. Я... я люблю тебя. Ну вот, я это сказал. Я говорю не для того, чтобы обременить тебя этим знанием, а просто чтобы ты знала. Да, я хочу, чтобы ты вернулась в «Сады Гвендолин». Я хочу вместе с тобой увидеть Рим и Флоренцию. Я хочу провести остаток своей жизни с тобой.

Она закрыла лицо ладонями. Отблески огня плясали на тыльной стороне кисти и отражались в волосах. Он сказал что-то не то? Но нет, когда она убрала руки, он увидел, что все в порядке.

— Дигс, я должна уехать завтра, пока не передумала. И как только Малютке Мол станет легче, я вернусь... если ты уверен.

— Если ты вернешься, я, может, даже поверю в Бога.

— Бога нет, Дигс. Есть звезды. Млечный Путь. Бога нет. Но я вернусь. В это ты можешь поверить.

Дигби повез ее вниз по горной дороге, на спуске закладывало уши. В долине они свернули на юг, мимо Тричура, через Кочин, одну деревню за другой, несколько раз останавливаясь перекусить, размять ноги, пока спустя семь часов не оказались возле «Сент-Бриджет». Будь это другой случай, он даже заглянул бы сюда, забросив Элси домой. Но слишком много лет прошло. Община, наверное, уже не та... и на сердце слишком тяжело.

— Высади меня у ворот, — попросила Элси, когда они подъехали к Тетанатт-хаус, отсюда в Парамбиль ее повезет шофер.

Ее пальцы скользнули по сиденью к нему, сжали его руку, украдкой, потому что их могли видеть сейчас. Он чувствовал, как падает, проваливается во тьму, не в силах избавиться от предчувствия, что, несмотря на ее намерение, она не вернется.

Всю первую неделю, и вторую, и большую часть бесконечного муссона он лелеял надежду. Телеграфную линию оборвало, кусок дороги смыло оползнем. Даже если бы она позвала его, он не смог бы добраться. Но он чувствовал, что она рвется к нему. Она звала его ночами. Разрушения по всему Траванкору, Кочину и Малабару достигли библейских масштабов. Но это не могло длиться вечно. И не длилось. В один прекрасный день засияло солнце и телеграф починили. Они проложили дорогу в объезд оползней. И наконец прибыла почта. Муссон закончился. Прошли недели, а потом и месяцы.

Она не вернется. Не сам ли я благословил ее на это?

Но Дигби все равно погрузился в черную бездну, бездонную печаль. Он остался в живых, но жизнь закончилась. Он напоминал себе, что эти горы однажды уже спасли его. Снаружи он остался прежним, даже по временам бывал в клубе. Но новые шрамы сдавили его сердце. Природа счастья, исходящего от любви, заключается в его мимолетности, недолговечности. Все преходяще, кроме земли — почвы, — и она переживет нас всех.

Через восемь месяцев и три дня после отъезда Элси Кромвель, разыскивая Дигби, примчался верхом на кофейную плантацию, в руке он сжимал письмо. Не умеющий читать по-английски Кромвель каким-то образом догадался, что именно это письмо, в отличие от прочих, и есть то самое долгожданное, даже если Дигби ничего уже не ждал. К

тому моменту Дигби был уверен, что никогда больше ее не увидит. И был даже благодарен за филигранную ампутацию, за разрыв без объяснений, мольбы и обременительной переписки, которая лишь продлила бы муку. Увидев ее почерк, он разозлился. Как она смеет нарушать равновесие, которое он с таким трудом обрел? Более мужественный мужчина, вероятно, выбросил бы письмо, потому что поезд давно ушел. Но он не смог.

Дорогой Дигс,

Прости, что не писала. Когда мы встретимся, ты сам все поймешь. Если встретимся. Пишу в спешке. Я не могла отправить тебе письмо раньше, потому что, если ты знаешь, мы были отрезаны наводнением. Дигби, причина, по которой я задержалась после муссона, та же, по которой сейчас я должна уйти. Я только что родила ребенка, Дигби. Больше всего на свете я хочу кормить, баюкать, растить и любить мою дочь. Ради нее я должна сейчас ее оставить. Я расскажу тебе все лично при встрече. Если я останусь, она будет в опасности. Ей будет лучше с бабушкой и теми, кто будет любить ее здесь, хотя я люблю ее больше всех них вместе взятых. Но мое присутствие подвергает ее опасности.

Дигби пришлось опереться на Кромвелю, стоявшего рядом.

Мой ребенок, наша дочь! Должно быть...

Но почему ребенок в опасности, если Элси останется с ней? Это означало, что сама Элси в опасности. Он готов был прыгнуть в машину и немедленно мчаться к ней. Он продолжил читать, привалившись к Кромвелю, который терпеливо, как колонна, стоял на месте.

Не вздумай приезжать или писать ответ. Умоляю, доверься мне. Я все объясню, когда мы увидимся. Я планирую выйти из дома 8 марта в семь вечера, в сумерках. Пойду к реке и поплыву вниз по течению до поворота на Чалакура сразу за чертой города. Посмотри на карте. Это примерно три мили от дома. От этого поворота ведет мост. Жди на северной оконечности моста. Там нет ни домов, ни лавок и вечером должно быть пустынно. Я перейду по мосту самое позднее в 8 вечера. Могу лишь надеяться, что увижу

там твою машину. Захвати, пожалуйста, сухую одежду. Если ты придешь, я все объясню. Если же нет, я пойму. Ты мне ничего не должен.

С любовью,

Элси

Восьмое марта было уже завтра. Он выехал через час, один, невзирая на настойчивые возражения Кромвеля. Он рассказал другу все.

Ребенок. Его ребенок. В первый раз занимаясь любовью, они были слишком захвачены страстью, чтобы думать о возможной беременности. После они старались быть осторожнее. Но еще они впали в безмятежное самоупоение и беспечность, как будто в их волшебном пузыре «Садов Гвендолин» не могло случиться ничего такого, о чем они не мечтали бы.

Но почему Элси не вернулась, как только дороги стали проходимы? Задержка в два или три месяца вполне объяснима, но почему восемь? Она была пленницей? Почему не может забрать с собой ребенка? К чему такой рискованный побег? Бесчисленные «почему» крутились в его голове. В какой-то момент они, безусловно, должны будут вернуться за своим ребенком.

Прошу, доверься мне.

А что ему остается.

Он добрался до моста поздно ночью, остановился, быстро осмотрел окрестности. Потом заселился на постоянный двор в пяти милях и попытался уснуть. На следующий день в сумерках вернулся к мосту. С одной стороны моста уже затих город Чалакура, огни его погасли, как и в предыдущую ночь. Дальняя сторона моста была неосвещенной и безлюдной. Полноводная река медленно и величественно несла свои воды, подобно тучной богине. Дигби припарковал машину как можно ближе к зарослям и камышам. Работник, повесив голову, с трудом волок по дороге тяжело нагруженную тележку, ему было не до Дигби и черной машины в тени опоры моста.

Дигби не представлял, где именно она войдет в реку, убежав из Парамбиля. Вообразить не мог, каково это — плыть во мраке. Он стоял

уже минут пятнадцать, вглядываясь в воду, когда заметил посередине реки светлое пятно — воскресшую Офелию, потом взмах руки, когда она свернула к берегу. А потом ничего. Шли минуты. И наконец вдалеке от темной пугающей громады моста отделился силуэт. Похожий на крестьянку в блузе и юбке. Когда она подошла ближе, стало видно, что она насквозь промокла, одежда прилипла к телу. Он бросился к ней, завернул в большое полотенце и повел к машине. Она побелела от холода, зубы стучали, волосы растрепались, она вся дрожала, и от нее пахло рекой. Опершись на машину, стянула мокрую юбку и блузу, торопливо вытерлась и надела рубашку и мунду, которые он привез. Дигби усадил ее на переднее пассажирское сиденье, накрыл одеялом, ужаснувшись ее виду при свете лампочки в салоне: бледный призрак на фоне черной обивки. Лицо ее было безмерно усталым, как будто прошло не восемь месяцев, а все восемь лет.

— Спасибо, что пришел, Дигс. Поехали, пожалуйста. Быстрее.

Когда они отъезжали, в зеркале заднего вида он никого не заметил. Эlsi жадно пила воду из бутылки. Он передал ей термос с чаем и виски, какой они раньше пили на крыше. Она в кровь исцарапала ноги, выбираясь на берег.

— Тебя ищут? — спросил он.

Она мотнула головой, закусив нижнюю губу:

— Пока нет. Я оставила на берегу шлепанцы и тхорт. Но рано или поздно их найдут. И тогда начнут искать меня. Но тело может унести на много миль.

От ее слов Дигби похолодел. Он представил другую реальность, в которой она *на самом деле* утонула и не сидит сейчас рядом, потому что тело сейчас уносит в море.

— А ребенок?

Эlsi закрыла глаза, свернулась на сиденье, как котенок, зарывшись в одеяло, — аллегория изнеможения, горя и потери.

— Пожалуйста, прошу тебя, Дигби, давай я расскажу тебе все, когда мы доберемся до дома.

Он потянулся к ее руке под одеялом, замерзшие пальцы были жесткими и неподатливыми и чуть морщинистыми от долгого пребывания в воде. Он пожал их, но ответного пожатия не получил. Услышал сдавленное «Дигби», как будто он сделал ей больно и она

предупредила об этом. И почти сразу она погрузилась в глубокий сон человека, не спавшего сутками.

В три часа ночи Дигби преодолел последний отрезок, завершая мучительный подъем по горной дороге в темноте, — никогда раньше он не решался на подобное из-за реальной угрозы встречи с дикими слонами. Только подруливая ко входу своего бунгало в «Садах Гвендолин», он осознал, как ноют плечи и свело шею и что подушечки пальцев совсем сплющились, так он вдавливал их в руль. Он заглушил мотор, но даже наступившая абсолютная тишина не разбудила Элси.

Из тени дома выступила фигура. Кромвель. Он сидел снаружи, завернувшись в одеяло. Кромвель помог скрюченному Дигби выбраться из машины, расправил ему затекшие конечности, а потом взял за грудки и сердито встряхнул:

— Много волноваться, босс. Очень много. — Глаза у него покраснели от усталости.

— Знаю. — Дигби положил ладони на руки друга. — Про-сти.

Кромвель разглядывал спящую Элси, с трудом скрывая потрясение.

— Мисси хорошо. — Это был одновременно и вопрос, и вдохновляющее утверждение.

— Не знаю. Она прошла через ад. — Ад, который он толком не понимал.

Элси проснулась, когда он открыл пассажирскую дверцу. Увидев, где они, Элси обернулась к Дигби с выражением такого облегчения на лице, что он впервые по-настоящему понял, какой ужас ей пришлось пережить.

— Ах, Дигби, здесь наверху такой прозрачный воздух. — Она глубоко вдохнула и тут же поежилась от холода.

У Элси едва хватило сил устало улыбнуться Кромвелю, она сделала шаг, но тут же споткнулась, и Дигби подхватил ее на руки, поднял. Она приникла к его шее, и он понес ее в дом, успев кивнуть Кромвелю:

— Спасибо, дружище, что дождался. Ступай домой, прошу тебя. А то твоя семья никогда мне не простит.

Он принес термос с чаем и сэндвичи с цыпленком, оставленные поваром. Пока Элси ела, Дигби наполнил ванну горячей водой. Помог любимой забраться туда. Руки Элси были в белесых проплешинах обесцвеченной кожи, с белыми пятнами, как на старой карте. Он отметил запавший морщинистый живот, контрастирующий с набухшими грудями, ареолы которых растянулись в темные блюдца. Дигби сел на табуретку рядом. Элси положила лодыжки на край ванны, позволяя телу погрузиться глубже, полностью скрыться под водой, над поверхностью остались только стопы. Дигби увидел, что большой палец у основания кровоточит, и придвинулся ближе. Подошвы были покрыты волдырями. Элси вынырнула. Он погладил ее руку, на ощупь узловатую и чешуйчатую. Внимательно рассмотрел пальцы — растрескавшиеся, как будто она работала с колючей проволокой. Она отдернула руку.

А ему показалось, что это он сейчас погружается под воду.

Руки, ноги в волдырях, бледные пятна на предплечьях — он все понял. Дигби достаточно долго пробыл у Руни в «Сент-Бриджет», чтобы не понять. Хотелось орать, бить стекла, гневно сетовать на несправедливость жизни, которая одной рукой дает только для того, чтобы другой отнять гораздо больше.

Широко распахнув глаза, Элси смотрела, как понимание настигает его, видела, как он схватился за край ванны и покачнулся. Она не осмеливалась произнести ни слова. Постепенно он справился с собой. Опустил руку в воду, взял ее за запястье и поднес к губам ее пальцы.

— Нет! — вскрикнула она, попытавшись выдернуть руку, но он не отпустил.

— Слишком поздно, — произнес он сдавленным голосом, прижимая ее ладонь к щеке, потому что любовь, которую он чувствовал, не имела никакого отношения к ужасному знанию, которым он теперь обладал.

— Я запрещаю тебе. — Она втянула ноги в ванну, вода плеснула через край.

— А я запрещаю тебе запрещать мне. — Он соскользнул с табуретки на колени, погрузил обе руки в воду, обнял ее тело, притянул ее к себе — женщину, без которой не было смысла жить дальше. — Ты ничего не сможешь сделать, чтобы прогнать меня.

Он всхлипнул, стиснул ее мокрое тело. Он жадно искал ее рот, она уворачивалась, но он все же поймал ее губы, пробуя их вкус, и слезы их смешались, когда она уступила, разрыдавшись, и позволила целовать себя, и сама целовала его. Цепляясь за его мокрую рубашку, она безудержно плакала, выпуская наружу все, что сдерживала так долго, делясь наконец ужасным бременем, которое несла до того в одиночку.

Он не выпускал ее из объятий. Что имеется в человеческом арсенале для таких моментов? Ничего, кроме жалких стонов, слез и рыданий, которые ничего не могут изменить, ничего. Вода выплескивалась на кафель — драгоценная вода, обильная, вода, способная смыть лимфу мозолей и кровь, смыть слезы, даже грехи, если вы в это верите, но никогда не смоет стигматы проказы, не при их жизни, потому что у них не было ни Елисея, чтобы сказать: «Семь раз омойся в Иордане и будешь исцелен», ни Сына Божия, чтобы прикоснуться к язвам и очистить их.

Письмо Элси обрело смысл. Дигби понял, почему она оставила их дочь. Причина смотрела на него из ее подогнутых пальцев, начинающегося синдрома когтистой руки. Он слишком хорошо знал, что беременность ослабляет защитные силы организма и те инфекции, что уже поселились в теле, вроде проказы или туберкулеза, манифестируют с началом беременности. Элси тоже это знала, она выросла рядом с Руни, который был ей соседом и другом; она знала и то, о чем не подозревали непрофессионалы: новорожденный оказывается в смертельной опасности, рискуя заразиться проказой от матери.

— Ты понимаешь? (Он кивнул. Теперь плакал и он.) Мне нельзя было иметь детей, Дигби.

— Не говори так.

— Но я *хотела*, чтобы у нас был ребенок, Дигс! Как только я поняла, что беременна, я хотела вернуться к тебе. Но застряла там. И не могла даже письмо отправить. И пока лил этот жуткий нескончаемый дождь, мои руки и ноги... Все случилось так быстро. Сначала я не знала, что это такое. Но потом не смогла удержать ручку. И поняла. — Она потерянно смотрела на свои растрескавшиеся пальцы. — Я чуть не умерла, рожая ее, Дигби. Может, так было бы лучше. У меня случились судороги, после которых я, к счастью, ничего не помню. Ребенок шел головой вверх. У меня началось кровотечение. Но каким-то чудом мы

обе выжили. Мариамма. Так ее зовут, в честь моей свекрови. Чудесная малышка. Прошло много дней, прежде чем я смогла хотя бы поднять голову и взглянуть на дочь. Мне так хотелось взять ее на руки, но я не могла. Руни объяснял мне, почему в «Сент-Бриджет» не пускали детей. Я все знала.

Дигби пытался представить, как выглядит его ребенок, их ребенок, их дочь. Мариамма. Он уже тосковал по ней.

— Я могу растить ее здесь, Элси. Буду заботиться о тебе отдельно. Мы...

— Нет, Дигби, мы не можем. Ты не можешь. Ей лучше остаться сиротой, чем быть дочерью прокаженной. — Слово впервые прозвучало вслух. Липкое слово, от него не избавиться. Элси следит за лицом Дигби. — Да, именно *прокаженная*, Дигби. Это я и есть. Никто не держит прокаженных в своем доме. Невозможно сохранить это в тайне. Поверь, — подалась она к нему, — ей нигде не будет так хорошо, как с моей свекровью. Большая Аммачи — это сама любовь. А еще у девочки будут Малютка Мол и Анна-чедети.

— И твой муж?

Элси покачала головой:

— Он в плохом состоянии. От боли в сломанных ногах он принимал опиум, но не смог вовремя остановиться. И теперь опиум — это весь его мир. — Коротко вздохнув, она взглянула в глаза Дигби. — Он думает, что это его ребенок, Дигби. И у него есть основания. Только одно основание, один раз. Он был в наркотическом тумане. Я не стала сопротивляться. Могла бы, но не стала. Узнав, что я беременна, он убедил себя, что это Нинан родился вновь. Что таким образом Бог его простил. А когда родилась девочка, он окончательно отдался опиуму.

Тишину нарушал лишь звук капающей из крана воды.

— Единственным выходом было, чтобы они подумали, будто я погибла. Зачем обременять их знанием о болезни? Если бы рассказала Большой Аммачи, она настояла бы, чтобы я осталась. Она обняла бы меня и приняла, несмотря ни на что. Прямо как ты. Но я погубила бы всю семью. Разрушила их репутацию. Разрушила жизнь своей дочери. Сердце мое разрывалось от того, что я не могла открыть правду Большой Аммачи. Пускай лучше она думает, что я утонула.

— Но если Мариамма будет жить здесь с нами, но отдельно...

— Нет, Дигби, — отрезала она, отодвигаясь. — Послушай меня! Знаешь, сколько ночей я провела без сна, обдумывая все это? Я умерла прошлой ночью, чтобы моя дочь могла жить нормальной жизнью. Понимаешь? Это означает, что мне нужно спрятаться там, где меня никогда не найдут. *Никогда!* Я должна оказаться там, куда никто не подумает заглянуть, никто случайно на меня не наткнется, никаких слухов обо мне не сможет появиться. Моя дочь *никогда* не узнает о моем существовании. Элси утонула. Понятно? «Сады Гвендолин» — совсем не то место. — Ее волнение и ее решимость заставили Дигби умолкнуть. — Иной выход — это сделать шаг с края Кресла богини. Но я пока к этому не готова. По крайней мере, пока могу работать. Я хочу творить, пока в состоянии это делать. И могу заниматься этим в «Сент-Бриджет».

Он помог Элси выбраться из ванны, вытер ее. Она сложила полотенце вдоль, пропустила его между бедрами и завязала как мунду, чтобы полотенце держалось. Как только она легла в постель, он принес аптечку — обработать и перевязать ее мозоли. Она попыталась отодвинуть ноги.

Дигби вспомнил волдырь после их первой прогулки. Она тогда не почувствовала боли. Было ли это ранним симптомом, который он пропустил? Когда она занималась скульптурой, мозоли образовывались у нее на руках, но это было нормально — в отличие от того, что Элси почти не замечала их. А теперь ей все равно, ступать по ковру или наступить на гвоздь, ощущения одинаковы.

— Я бы предпочла, чтобы ты их не трогал, — сказала она, наблюдая за его работой.

— Так нельзя заразиться.

Элси горько рассмеялась:

— Вот и Руни то же говорил. Но, Дигс, я же заразилась. Как? Потому что росла рядом с лепрозорием? Потому что навещала Руни? Каким образом?

— Мы все уязвимы в тот или иной момент. Некоторые из нас более восприимчивы.

— А что, если ты тоже восприимчив?

Он не ответил и продолжил накладывать повязку.

— Элси, а что бы ты делала, если бы я не получил письмо? Или не приехал?

— Я пошла бы пешком в «Сент-Бриджет», — не задумываясь ответила она. — А если ты появишься, то сразу отвезешь меня в «Сент-Бриджет». Но я так устала. И понимала, что нам нужно время, чтобы поговорить. Я должна была объясниться. Это мой долг перед тобой.

Дигби разделся, наскоро ополоснулся и вернулся к ней, усталость накрыла и его. Когда он опустился на кровать, Элси попыталась его оттолкнуть:

— Тебе нельзя спать со мной. Зачем ты это делаешь, Дигби?

Он, не отвечая, натянул простыню на их обнаженные тела, прижался к Элси. Веки ее отяжелели от слез, от мытарств, от облегчения, хотя бы временного. Он услышал, как она пробормотала: «Я запрещаю тебе», а после провалилась в сон. Дигби смотрел на нее спящую, на лицо, белое, как наволочка. Но, несмотря на усталость, мысли все вертелись в голове, отгоняя сон.

Час спустя Дигби все еще бодрствовал, рука затекла под тяжестью ее головы. Да и пусть бы навеки онемела, ему все равно. Он больше не мог отделять себя от ее страданий. Болезнь, поразившая ее, теперь и его болезнь тоже. Он не сможет оставаться в поместье, где прекрасно обойдутся без него, — не сможет, зная, что величайшая любовь его жизни где-то далеко. Элси умерла для всего мира ради *их* ребенка. Она не должна нести эту жертву в одиночку. Теперь ему было абсолютно ясно, что он должен делать.

Это конец одной жизни. И начало другой, о которой я никогда не мечтал. У меня нет выбора, и это лучший на свете выбор.

Она проснулась, когда солнце всюду светило в окно, растерялась, не сообразив сразу, где находится. А потом поняла, что лежит в его объятиях. Дигби пристально и нежно смотрел на нее. Снаружи доносился гомон идущих в поле работников, бригадир громко отдавал распоряжения. Звуки «Садов Гвендолин». Еще один день. Она приподняла голову, огляделась. Дигби осторожно высвободил руку. Элси изучала его лицо, но он казался умиротворенным. А потом вновь слезы затуманили ее глаза.

— Дигби. Я не могу остаться. Даже на одну ночь.

— Я понимаю.

— Тогда почему ты улыбаешься?

— Если «Сент-Бриджет» — единственное место, где никто тебя не найдет, тогда моя судьба решена. *Куда бы ты ни отправилась, что бы с тобой ни случилось, это случится и со мной.* Нет, даже не спорь, Элси. Для меня все ясно как день. Проще не бывает. Я всегда, всегда буду с тобой. До самого конца.

глава 84

Постижение мира

1977, «Сент-Бриджет»

Мариамма чувствует, как что-то обожгло пальцы. Чай. Она роняет чашку. Чашка ударяется о живот и невредимой приземляется на ковер. Кипяток пропитывает ткань и обжигает бедра.

У боли нет прошлого и будущего, только настоящее. Мариамма отпрыгивает от окна, цепляется пальцами за сари и встряхивает, отодвигая подальше от кожи.

— Господи! — пугается Дигби. — Ты в порядке?

Она совсем не в порядке. По другую сторону французского окна женщина — мать, которую она не знала все двадцать шесть лет жизни, — продолжает безмятежно сидеть на лужайке, пересыпая в ладони зерна крупы. Что-то подсказывает Мариамме, что она так до сих пор и не моргнула. Проходит жизнь, прежде чем Мариамма обретает голос.

— Как давно она...

— Она здесь практически столько времени, сколько ты живешь на свете.

Противоречивые сигналы в мозгу сталкиваются друг с другом. В Парамбиле есть фотография мамы, которая хранится в памяти, серые глаза смотрели на нее с другого конца комнаты каждый день на протяжении жизни — даже сегодня они следили, как дочь одевается и препоясывается, готовясь к встрече с женщиной, который ее породил. Та мать осталась юной, стройной, красивой и элегантной, губы ее крепко сжаты, сдерживая смех — возможно, над чем-то, что сказал фотограф. Это было лицо матери, которой дочь могла довериться. Как ей увязать ту давно умершую мать с этим живым призраком на лужайке?

— Мне нужно подышать, — говорит Мариамма, поворачиваясь спиной к окну и выбегая из комнаты.

Она бежит по вымощенной кирпичом дорожке, ведущей от основной группы строений, бежит мимо сада, мимо питомника и оказывается у задней глухой стены участка, пока не замечает маленькую калитку, распахивает ее и несется по мшистым каменным ступеням вниз... и замирает на месте. Перед ней спокойная, медленно ползущая водная гладь канала, который дальше впадает в реку — ее не видно, но зато слышно. Мариамма стоит на последней ступеньке, и ноги ее тонут в воде. Каждой своей частичкой, каждой клеткой тела она стремится нырнуть и позволить воде унести себя как можно дальше отсюда.

Мариамма стоит на стыке земли и воды, сердце ее колотится, она запыхалась, но только сейчас может наконец вдохнуть. В зеленой ряби воды она видит свое зыбкое, колеблющееся отражение. Она пришла сюда сломленной, пришла задать вопросы человеку, который был ее родителем, но не был ей отцом. А вместо этого нашла свою покойную мать, которая почему-то оказалась жива. Которая *всегда* была жива. Которая была жива все годы, пока Мариамма тосковала по ней, молилась, чтобы та воскресла из мертвых.

Канал невозмутимо течет мимо, пропитывая подол ее сари, ему нет дела ни до ее страданий, ни до ее нового знания. Она равнодушна, эта вода, объединяющая все каналы, вода, что и в реке впереди, и в заводях, и в морях, и в океанах — единое тело воды. Это та же самая вода, что текла мимо Тетанатт-хаус, где училась плавать ее мать, эта вода привела сюда Руни восстанавливать заброшенный лазарет, она же принесла Филипоса, чтобы его руками совместно с руками Дигби спасти умирающего младенца, эта же вода унесла Элси на смерть, а затем отдала ее, заново рожденную, в руки человека, который любил ее больше жизни — и который стал отцом единственной дочери Элси, Мариаммы.

А теперь эта дочь стоит здесь, стоит в воде, соединяющей их всех во времени и пространстве, как было всегда. Вода, в которую она вошла минуту назад, уже утекла, но все же она по-прежнему здесь, прошлое, настоящее и будущее связаны неумолимо, как воплощенное время. Таков завет воды: все они, как текущая вода, связаны своими действиями и бездействием, и никто не остается один в этом потоке. Мариамма стоит, слушая булькающую мантру — напев, который никогда не прерывается, повторяя свою вечную истину, что все суть

одно. То, что она считала своей жизнью, оказалось майей, иллюзией, но общей на всех иллюзией. И ей не остается ничего иного, кроме как продолжать.

Мариамма собирается с духом. Медленно бредет обратно. Представляет, как Элси росла тут неподалеку, тоже лишившись матери, — это их роднит. О чем бы ни мечтала юная Элси, что бы она ни воображала, она, конечно, никогда не представляла, что окажется *здесь*. Ее мать не выбирала стать прокаженной. Сколько всего Элси могла предложить этому миру, и как жестока оказалась ее судьба: быть заточенной в лепрозории — месте настолько далеком от мира, что можно считать его другой планетой. И все это время древняя, медленно делящаяся бактерия постепенно отбирала у нее чувства, лишила зрения, по крупицам отнимала способность делать то единственное, для чего она была рождена. Мариамма содрогается от очередного ужасающего осознания: несмотря на все это, разум ее матери, должно быть, оставался невредим, художница вынуждена была наблюдать и постепенное разрушение некогда прекрасного тела, и неуклонную утрату способности творить. Мариамма не может даже вообразить такую степень страдания.

Дигби по-прежнему стоит у окна, глядя на женщину на лужайке, открытое лицо его светится любовью и печалью, эти два чувства давно слились в одно, стали для него второй кожей. Этот исчерченный шрамами мужчина долгие годы оставался рядом с ее матерью, был свидетелем ее страданий и страдал сам, наблюдая ее угасание.

Изменившееся лицо Дигби, когда он видит Мариамму, — возвращение обратно в настоящее — напоминает ей об отце: часто, входя к папе, она чувствовала, будто извлекает его из какого-то неведомого мира. У этих двух мужчин было общее: они любили ее мать. Мариамма встает рядом с Дигби, они вместе смотрят за стекло.

Дигби говорит, как будто Мариамма никуда не выходила:

— Твоя мать всегда в это время по утрам принимает солнечные ванны. Она проходит через калитку, отсчитывает пять шагов до центра лужайки. Эти розы я вырастил специально для нее. Обоняние ее сохранилось, слава богу. Она по запаху может различить тридцать сортов. — Он как родитель, хвастающийся новыми достижениями

ребенка. — Устав от солнца, она делает семь шагов к этому окну, кладет обе ладони на стекло и стоит так почти минуту, неважно, здесь я или нет. — Он смущенно улыбается. — Такой у нее ритуал. Или у нас. Она никогда мне не объясняла. Думаю, это вроде благословения, молитва, которую она посылает мне в середине дня, — сказать, что она меня любит, что благодарна мне. Если я в кабинете, я тоже кладу ладонь на стекло, напротив ее. Думаю, она знает, когда я это делаю. А потом, здесь я или нет, она уходит.

— Она знает, что я здесь?

— Нет! — поспешно восклицает он. — Нет. Я не рассказал ей, когда ты приезжала к Ленину. Единственный раз за двадцать пять лет я что-то утаил от нее.

— Почему?

Он вздыхает. На этот вопрос долго отвечать.

— Потому что всю свою жизнь она старалась сохранить тайну. Попробуй поставить себя на ее место, Мариамма. Представь ее сразу после ужасной гибели Нинана. Филипос... твой отец... обвиняет ее, она обвиняет его. После похорон она сбегает из Парамбиля. А вскоре умирает Чанди. Друзья, тревожась за ее рассудок, привозят Элси в горы, чтобы немного отвлечь. Она преисполнена гнева и печали, даже подумывает расстаться с жизнью. И случайно обнаруживает мои попытки заняться скульптурой, мои инструменты. Она выплескивает злость с помощью молотка и долота, и, думаю, это спасает ее. Она остается со мной, когда друзья уезжают. Мы становимся близки... мы полюбили друг друга. И тут она получает письмо, что Малютка Мол серьезно больна, и только по этой причине на несколько дней едет в Парамбиль. И оказывается там в ловушке из-за знаменитого муссона. И в те дни понимает две вещи. Она носит ребенка. И что она больна — проказа дает о себе знать, вспыхивает в одночасье, ты знаешь, как это бывает при беременности. Твой отец в тот момент... был не в лучшем состоянии. Опиум. Она не видит ни пути впереди, ни хорошего исхода. Вернется ли ко мне или останется там, она все равно не сможет быть с тобой, это Элси отлично понимала, прожив столько лет возле «Сент-Бриджет», рядом с Руни. Это подвергло бы тебя огромной опасности. Они с твоим отцом сторонились друг друга. Но однажды вечером он застаёт ее в слезах, тоске и смятении, утешает ее, и у них случается близость. Она не останавливает его. Когда беременность становится

заметна, он, в своем измененном состоянии, думает, что это его ребенок. И Элси принимает решение: родив тебя, она должна исчезнуть. Должна умереть. Вы все должны считать ее мертвой, если она не хочет навеки запятнать тебя, запятнать Парамбиль. Ее единственное утешение в том, что она знает: нет ничего лучше, чем оставить тебя на попечении Большой Аммачи в Парамбиле.

— Но если бы папа или Большая Аммачи узнали, они бы позаботились о ней, они...

Дигби грустно качает головой:

— И как скоро торговка рыбой перестала бы приносить свою корзинку, а родственники начали бы обходить ваш дом стороной? То, что эта болезнь творит с плотью, уже достаточно плохо, но страх заразиться разрушает семьи. Каждую неделю к нам приходят матери семейства, изгнанные мужьями. Сыновья выгоняют и побивают камнями своих отцов. И только здесь эти люди обретают дом.

Мариамма хочет возражать, спорить. Но, если честно, не будь она врачом, вошла бы она вообще в эти стены? А она ведь врач, последовательница Хансена; она препарировала ткани прокаженных, она знает врага в лицо... и тем не менее ее первой реакцией были ужас и отвращение при виде матери. Дигби сказал «Поставь себя на ее место», но оказалось, что она не в состоянии представить себя в этих толстых сандалиях, вырезанных из старых покрышек, не в состоянии представить, что она смогла бы пережить такой же кошмар, какой обрушился на ее мать и который продолжается. Когда мать поворачивает незрячее лицо к солнцу, Мариамма вздрагивает.

— Эта болезнь и невинных детей превращает в изгоев, — продолжает Дигби. — Элси не хотела, чтобы ты росла с тем же клеймом, каким отмечена она. Лучше ты будешь думать, что она умерла, чем увидишь свою мать такой. А быть здесь — это все равно что быть мертвым, — с горечью произносит он. — Близкие никогда больше не увидят тебя. Да и не захотят. наших больных никогда не навещают родные. Никогда. Ты, возможно, первая. Элси инсценировала свое утопление и велела мне подхватить ее ниже по течению. Я хотел, чтобы она осталась в моем поместье, но она отказалась. Существовало только одно место, где она могла сохранить свою страшную тайну, где могла чувствовать себя в безопасности. Здесь. А что касается меня, у меня не было выбора. Я не собирался вновь потерять ее.

— Кто еще знает?

— Только Кромвель. А теперь и ты. Кромвель мне как брат. Благодаря ему наша жизнь здесь вполне комфортна. Раньше он управлял поместьем, а теперь оно полностью принадлежит ему. Мои друзья-плантаторы думают, что я обрел Иисуса и потому подался сюда. Оказалось, что я очень нужен «Сент-Бриджет». Шведская миссия безуспешно пыталась найти врачей или медсестер, которые согласились бы работать тут на постоянной основе. Предубеждение слишком велико. А я уже был знаком с жизнью «Сент-Бриджет». После смерти Руни все тут разваливалось. Предстояло много работы.

Самый тяжелый удар постиг нас, когда твоя мать потеряла зрение. Сейчас я читаю ей по вечерам. Когда мы узнали о гибели твоего отца, Элси была убита горем. Перестала работать. Дни напролет плакала о нем. О тебе. Она и так каждый день живет и дышит своей виной, но когда ты осиротела, ее чувство вины достигло пика. Это единственная боль, которую может теперь испытывать твоя мать, — боль души. Мучительная боль от того, что ей пришлось исчезнуть, чтобы защитить тех, кого любила. Все ее творчество вращается вокруг тебя, Мариамма, вокруг боли расставания с тобой. Твоя бедная мать могла выразить свою любовь, только стирая себя с лица земли, становясь безликой, безымянной, неизвестной собственному ребенку. Я вижу это в ее скульптурах, в тех муках, с которыми женщина прячет лицо, чтобы никогда не открыть его, оставаться мертвой, чтобы ты могла жить.

Мариамма уже не сдерживает слез. Всю материнскую заботу и все поцелуи, которых только можно желать, она получила от Большой Аммачи, от отца, Анны-чедети, от Малютки Мол. Они души в ней не чаяли. Слезы ее от тоски по матери, которая жила здесь все это время. Да, она тоскует по той женщине на лужайке, по той маме, которой могла бы стать Элси, если бы не проказа.

В моей жизни разверзлась пропасть всех этих пропущенных лет, наших отдельных жизней.

Мариамма с благодарностью принимает протянутый Дигби безупречно чистый носовой платок. Изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, она внимательно рассматривает человека, который сначала стал ее отцом, а потом поселился здесь, чтобы быть рядом с женщиной, которую любил.

— Тебе тоже пришлось отказаться от мира, Дигби.

— От мира? Ха! Нет, нет. Я отказался от гораздо большего, Мариамма. Я отказался от *тебя*. Отказался от шанса познакомиться со своим единственным ребенком. Мне так невыносимо хотелось узнать тебя. Это не только ее рана. Но и моя тоже.

Мариамма потрясена силой чувства, с каким он произнес эти слова, — негодование, смешанное с болью. Она отводит взгляд.

— Единственное, что могло облегчить боль от разлуки с тобой, это то, что Элси была рядом, мы были друг у друга. И я снова стал хирургом — вернул Руни долг за то, что он сделал для меня, — а Элси никогда не переставала быть художником. Нам с твоей мамой досталась целая четверть века вместе! Было нелегко. Когда мы поселились здесь, она еще была красивой женщиной. И такой сильной! Сила ее разума, мощь ее произведений... Жаль, ты не видела ее в расцвете сил. Сердце мое разрывается от каждого ухудшения в ее состоянии. Смотреть, что сделали с ней время и проклятая болезнь Хансена... — Он вздыхает с горечью. — Но по ночам, в объятиях друг друга, мы пытаемся забыть. Вот так, Мариамма.

Она не знает, что сказать о такой любви. Ей завидно.

— Когда в газете начали печатать колонки твоего отца, очерки, полные юмора и мудрости — и боли, — она поняла, что он преодолел зависимость. Осмелюсь утверждать, что Элси была самым преданным читателем Обыкновенного Человека. И переводила его статьи для меня. Пока не ослепла, да. А потом ей читали эти колонки другие люди.

— Она что-нибудь знает о моей жизни?

— О боже, конечно! — улыбается он. — Все, что мы могли выяснить. Когда редактор твоего отца написал статью, разъясняющую тайну Недуга, про вскрытие и прочее... она об этом только и думала. Огорчалась, что знание пришло так поздно — для Филипоса и для Нинана. Вспоминала, как несправедливо винила его в смерти Нинана, когда в своем горе они набросились друг на друга. Но к тому времени Филипос уже освободился от хватки опиума, а Элси из Парамбиля была давно мертва. И она так и не успела попросить прощения.

Свет от окна очерчивает лицо Дигби, шрам на щеке словно делает его печаль еще заметнее. Мариамма даже угадывает свои черты в этом почти семидесятилетнем мужчине. Она приникает к его плечу. Он робко обнимает ее одной рукой — этот ее другой отец, он прижимает к себе свою дочь, и они вместе смотрят в окно на мать.

Люби больных, всех и каждого, как будто они твои родные.

Отец выписал для нее эту цитату, и она все еще лежит закладкой на титульной странице маминой «Анатомии Грэя».

Анна, должна ли я любить эту женщину, которая отказалась участвовать в моей жизни? Женщину, инсценировавшую свою смерть, чтобы я даже не пыталась искать ее? Я могла бы понять, но смогу ли простить? Бывают ли вообще веские причины отказаться от своего ребенка?

Внезапно она вся подбирается. И резко отталкивает Дигби:

— Дигби, я ее знаю! Да, все прокаженные выглядят одинаково. Но я узнаю ее! Она та нищенка, что приходила в Парамбиль. Всегда накануне Марамонской конвенции. Приходила и стояла там не двигаясь. Дигби, я опускала монетки в ее кружку!

Виноватая гримаса подтверждает ее правоту.

— Она так хотела увидеть тебя, Мариамма. Мы оба хотели. Мне нельзя было, потому что я белый мужчина, и я держался подальше. Но каждый год я подвозил ее как мог близко. Она одевалась нищенкой и часами ждала, пока не углядит тебя. Я ведь и сам мечтал тебя увидеть. И завидовал, когда ей удавалось. А если не удавалось, она впадала в отчаяние. С годами становилось все тяжелее. А когда она ослепла, все было кончено. Однажды монетки в ее кружку бросила Анна. Элси страшно горевала, когда вернулась ко мне в машину. Повинуясь импульсу, мы поехали обратно, мимо вашего дома. И я впервые увидел тебя... ты шла по дороге, ясная, как солнечный день. Я до сих пор храню в памяти этот образ. Как страстно я мечтал познакомиться с тобой... но у тебя был отец. Он был лучше меня и лучшим отцом, каким я едва ли мог...

— Да, он таким и был, — резко бросает Мариамма. И еле сдерживается, чтобы не добавить: *никогда не забывай об этом!* Но вовремя прикусывает язык. Они все достаточно пострадали. — Дигби, ты же столько знал о проказе, неужели ты не мог сохранить ей зрение? Или руки?

Он возмущенно выкатывает глаза:

— Ты думаешь, я не пытался?! У меня не было пациента сложнее! Активную форму удалось остановить благодаря дапсону и прочим лекарствам, но нервы — уж коль они умерли, то умерли! Она лишилась

дара боли. Если бы я мог защитить ее от повторных травм, она б так не выглядела!

Мариамма оторопела от его негодования, возмущенного голоса, пылающих щек. И впервые расслышала, как прорывается у него акцент в минуты волнения.

— Но для нее имело значение только ее чертово искусство. Я каждое утро бинтовал ей руки, но если повязки начинали мешать, она срывала их. Может, она до сих пор могла бы видеть, но когда был поражен лицевой нерв и роговица начала сохнуть, я закрывал ей глаза повязкой-компрессом, чтобы роговица могла хотя бы отчасти восстановиться, но она срывала компрессы! Сколько мы ссорились из-за этого. И до сих пор ссоримся. Она говорит, это все равно что просить ее не дышать! Говорит, если прекратит работать, тогда ей незачем жить... Мне очень больно от ее слов. Я-то мечтаю услышать, что это я ее жизнь. Потому что я-то живу ради нее.

Дигби смотрит на свои руки, будто вся беда в них. А вдруг ее собственное стремление стать врачом, хирургом, исправлять несовершенства мира исходит от этого человека, вдруг это его гены?

— Да ладно... — говорит он гораздо мягче. — Я всегда знал, что живу рядом с гением. Такой талант, как у твоей матери, рождается крайне редко. Ее искусство гораздо больше, чем я или эта проклятая болезнь! Нам трудно понять ее одержимость. Ты не поверишь, но она до сих пор работает. Когда зрение начало садиться, она работала с остервенением, чтобы завершить неоконченные проекты, чем еще больше повреждала руки. Иногда она заставляет меня привязывать палочку угля к ее кулаку, а потом я привязываю свою руку поверх ее, и мы рисуем. — Он хрипло смеется. — Круг замкнулся!

Мариамма не понимает, о чем он.

— В полумраке нашего бунгало она работает с мягкой глиной. Все, что у нее осталось, это ладони. Она прижимает глину к щекам, иногда даже к губам, чтобы почувствовать форму. Уже незрячая она сотворила сотни уникальных глиняных созданий, ими можно населить целый миниатюрный мир. Ее уверенность поразительна. Она знает цену тому, что делает. И всегда знала.

— А кто видит это?

— Только я. Больше никто. Она хотела бы, чтобы ее работы увидели, но только если сама она останется неизвестной. Я тоже хотел

бы, чтобы их увидели. Пару лет назад мы осторожно попытались. Я отправил несколько картин посреднику в Мадрас, человеку, которого я знал, бывшему пациенту. Сказал, что это работы художника, который не желает, чтобы его имя было названо. Они сразу же были распроданы, прямо на выставке, четыре из семи полотен уехали за границу. А потом в немецком журнале появилась статья об анонимном художнике. Люди заинтересовались. Ее напугало, что ее могут обнаружить. И больше мы не пытались. У меня два сарая, набитых ее работами. Кто знает, увидит ли мир их когда-нибудь? Единственное, что для нее важнее искусства, это чтобы мир думал, что она утонула, чтобы никто никогда не выяснил, что она прокаженная. Она хочет, чтобы ее тайна умерла вместе с ней, даже если это означает, что ее искусство тоже погибнет.

Мариамма думает об отце, который погиб вместе со своей тайной, так и не узнав, что его жена жива. Или он знал? Может, поэтому и сорвался внезапно в Мадрас? Вдруг он случайно что-то выяснил?

— Дигби... Теперь, когда я знаю, когда тайна раскрыта, как ты думаешь, она захочет со мной поговорить?

— Не знаю, — вздыхает он. — Цель ее исчезновения состояла в том, чтобы ты думала, что мать умерла. Она... мы посвятили всю жизнь этому. И она уверена, что ей удалось. И я так думал, пока сегодня ты не вошла в операционную. Так что... захочет ли она говорить с тобой? Должны ли мы разбить иллюзию, которую она с таким трудом создавала? Не знаю.

Мариамма думает о собственных разбитых иллюзиях. Благодарить или проклинать Недуг и Ленина, что привели ее сюда? Недуг лишает многого, но он же одаривает тем, чего человек, возможно, и не желал. Внезапно ее накрывает тоска по Ленину.

Мариамма разглядывает женщину, сидящую на лужайке, — Элси. Свою мать. Та кажется странно спокойной в этом изуродованном, изломанном теле — или просто дочери хочется так думать? Из всего, что некогда определяло ее мать, остались мысли... и руины тела, которое едва передвигается, но все еще пытается творить. А еще у нее есть мужчина, который любит ее, пусть даже от нее остается все меньше и меньше.

— Мариамма, — мягко спрашивает Дигби, — ты хочешь поговорить с ней?

Сердце забилося сильнее, и в горле пересыхает. *Нет!* — без колебаний вскрикивает голос внутри. *Я не готова.* Но другой голос, голос маленькой девочки, голос дочери возражает, обращаясь к матери: *Да, потому что тебе нужно так много обо мне узнать. И о моем отце — ты же не знала, каким он стал, как всю жизнь любил тебя. Он был лучшим на свете отцом.*

Голос, который наконец прорывается наружу, произносит:

— Дигби... я пока не знаю.

Мариамма вспоминает слова свата Аниана.

В каждой семье есть тайны, но не все тайны подразумевают обман.

Тайной семьи Парамбиля — на самом деле вовсе не тайной — был Недуг. Ее папа хранил другую тайну: его любимая дочь — вовсе не его. Если бы Большая Аммачи знала, она тоже хранила бы эту тайну. Элси и Дигби вместе держали в тайне, что ее мать жива, вовсе не утонула, что она живет в лепрозории. Эти тайные заповеди, которые соблюдали взрослые вокруг Мариаммы, должны были защитить девочку. А еще сват Аниан сказал, что *семью создает не общая кровь, а общие тайны.* Тайны, которые могут связать людей воедино или же сломить их, если будут раскрыты. И вот теперь она, Мариамма, не посвященная ни в какие тайны, знает обо всем и знает, что все они — одна большая, черт побери, счастливая семья.

Элси, мать Мариаммы, медленно встает. Она широко расставляет ноги, голова запрокинута, как у провидца, она мелко-мелко переступает, как обычно делают слепые. Маленькими неуверенными шажками разворачивается, пока не оказывается лицом к французскому окну. Остатками пальцев и ладоней она тщательно поправляет паллу сари на левом плече и делает первый шаг, начиная отсчет.

Мариамме кажется, что вся ее короткая жизнь втиснута в этот миг, этот единственный момент, который важнее всего, что было с ней раньше. Сердце колотится в груди.

Мать чуть приподнимает руки, протягивает вперед эти странные обрубленные конечности, словно подношение. Она приближается, выставив ладони, и столько душераздирающе детского в этих простертых руках, ищущих стекло французского окна. Ее отважное трагическое продвижение вперед преображает лицо Дигби, любящая

терпеливая улыбка озаряет его лицо, когда он смотрит на нее. Мать подходит ближе, еще ближе, пока наконец обе ладони не касаются оконного стекла, останавливая ее движение. Ладони ложатся на стекло. Дигби собирается прижать руки с другой стороны окна, встречая ее... но замирает и смотрит на свою дочь, вопросительно приподняв брови.

Не раздумывая, ей нет нужды раздумывать, Мариамма тянется вперед. Она кладет ладони на оконное стекло, соединяя их с ладонями матери, и в этот момент все обретает единство и ничто не разделяет два их мира.

Благодарности

В 1998 году моя юная племянница Дейя Мариам Вергезе спросила бабушку:

— Аммачи, а как люди жили, когда ты была маленькой девочкой?

Любого устного ответа было бы недостаточно, поэтому моя мать — Мариам Вергезе — уверенным и изящным почерком заполнила 157 страниц блокнота воспоминаниями о своем детстве. Мама была талантливейшей художницей, поэтому текст она чередовала с небольшими набросками. Похожие на байки истории, которые она записала, были хорошо знакомы трем ее сыновьям, хотя детали изменялись с каждым новым пересказом.

Мама покинула нас в 2016 году, в возрасте девяноста трех лет, но даже в последние свои месяцы, когда я уже писал эту книгу, она звонила с каким-нибудь только что всплывшим воспоминанием — например, как ее двоюродного брата, просидевшего несколько лет в одном и том же классе в начальной школе, в конце концов перевели в следующий только потому, что он стал таким тяжелым, что под ним сломалась скамейка. Некоторые из маминых историй я использовал в «Завете воды», но для меня дороже всего голос и настроение, звучавшее в ее словах, которое я дополнил собственными воспоминаниями о летних каникулах в Керале у бабушки с бабушкой и более поздних поездках в гости, когда я уже учился в Медицинской школе. Мой двоюродный брат Томас Вергезе — талантливый художник (и инженер) и мамин любимец. Я благодарен и горд, что его рисунки, навевающие воспоминания, так прекрасно передают атмосферу книги; мама была бы довольна.

Для истории, в которой участвуют три поколения, два континента и несколько географических пунктов, я привлек множество родственников, друзей, специалистов и источников. Если я вдруг кого-то забыл упомянуть, прошу вас, помните, что это непреднамеренно.

Керала: Я в глубоком долгу перед писательницей Латикой Джордж (автор «Кухни Кералы», Hippocrene Books, 2023), которая показала мне Кочин и так щедро поделилась бесценными историями из своего детства и была источником сведений для всех эпизодов, связанных с едой; длинные содержательные письма Мэри Гангули отражают ее

второе призвание (после психиатрии) писателя, и они стали сокровищницей любопытных фактов о Керале, медицинских традициях и психологических откровениях; моя двоюродная сестра Сьюзан Дурайсами припомнила ошеломляющие подробности о родном доме бабушки и о людях, живших вокруг; мой друг и единомышленник Элиамма Рао познакомила меня с удивительными основателями «Сукья», Айзеком и Суджа Матай, которые зародили во мне новое понимание исцеления; Элиамма так же ввела меня в дом Санджая и Анджали Чериан в Кожикодде и их имение в Ваянаде, где Санджай великодушно познакомил меня с работой поместья. Джейкоб Мэтью, с которым мы одновременно учились в Христианском колледже Мадраса, сейчас шеф-редактор «*Малаяла Манорама*», они с Амму пригласили меня к себе домой и предоставили в мое распоряжение все источники. Надеюсь, он простит мне вольность, с которой я заставил Обыкновенного Человека писать для «Манорамы»; я уверен, он увидит в этих страницах мое восхищение его легендарной газетой. Книги и статьи Сьюзан Вишванатан (особенно «*Христиане Кералы: История, верования и ритуалы среди якобитов*», *Oxford University Press*, 1993) были бесценны. Мои благодарности *Taj Malabar Resort & Spa*, которые сделали мое пребывание в Кочине незабываемым; я благодарен Преми и Рой Джон; моим коллегам и друзьям Чериану К. Джорджу; Аруну и Пурнима Кумар; К. Балагопалу и Винита и одаренному архитектору Тони Джозефу. Кэтрин Танкамма, известный переводчик с малаялам на английский, корпела над моей рукописью и внесла много предложений. Среди множества родственников, которые великодушно помогали мне, я благодарю Джейкоба (Раджана) и Лайлу Мэтью; Миину Джекоб и Джорджа (Фиджи) Джекоба; Томаса Кайлат и Анурадха Майитра и особенно своих крестных родителей, Рэн и Анну Вергезе. И моего отца, Джорджа Вергезе, которому на момент написания этой книги исполнилось девяносто пять, — он дважды в день занимается на беговой дорожке, — и он отвечал на мои вопросы и обращался к воспоминаниям, когда я просил его. Все ошибки, относящиеся к жизни в Керале, целиком и полностью только на моей совести.

Медицинская школа: Мои однокурсники по Медицинскому колледжу Мадраса, которые оказали грандиозную помощь, и среди них К. В. Каннаки Утхарадж, опытный гинеколог, чьи длинные, веселые и познавательные письма про роды и родовспоможение были

изысканными совершенно бесценными драгоценностями, — я так тебе обязан, КВК; Ананд и Мадху Карнад поделились воспоминаниями об общежитии, аудиториях, больнице и городских кварталах Мадраса и ответили на бесчисленное количество эсэмэсок — они двое приютили меня, кормили и заботились обо мне, мои самые старые и верные друзья; спасибо выпускникам Христианского медицинского колледжа Веллуру Нисси и Аджит Варки, Самсону и Аните Джесудасс, Арджуну и Рену Мохандас, Бобби Черайил и моему коллеге по Стэнфорду Риши Радж. Дэвид Йоханнан (Джонни) и его жена Бетти принимали меня, а Джонни в подробностях поделился воспоминаниями о Кожикоде и своей медицинской практике в Керале и с готовностью отвечал на множество последующих расспросов.

Хирургические аспекты: Я благодарю — Моше Шейн, Джонн Тханакумар, Роберт Джеклер, Яссир Эль-Сайед, Джайант Менон, Ричард Холт, Серена Ху, Рик Хоудс и Эми Ледд. Развернутые пояснения Сунила Пандия по нейрохирургии были исключительно полезны. Джеймс Чанг, мой выдающийся коллега в Стэнфорде и непревзойденный специалист в области хирургии руки, щедро уделил мне время, прочел несколько вариантов текста и посвятил меня в нюансы хирургии кисти.

Глазго и Шотландия: Мои дорогие друзья Эндрю и Энн Элдер из всех сил старались помочь мне понять историю и диалект Шотландии, еще раз привезли меня в Глазго и много раз прочли рукопись. Спасибо и Стивену Мак-Эвену. И вновь — все ошибки исключительно мои.

Рукопись: Коллеги и друзья, которые помогли мне с исследованиями и деталями текста и дали мне возможность писать: Шейла Лехаджани, Миа Брух, Оливия Сантьяго, Шубха Рагхвендра, Кэти Аллан, Келли Андерсон, Порнпранг Плангшрисакул, Джои Джоспе, Талия Охуа, Эрика Брейди, Донна Обейд и Нэнси Д'Амико. Стюарт Левитц, Эрик Стил и Джон Бернхам Шварц целиком прочли рукопись и предложили ценные замечания; Джон — литературный директор на конференции писателей Солнечной Долины, ежегодном событии, которое возрождает мою веру в радость и могущество письменного слова. Пегги Голдвин прочла ранние варианты и дала мудрые советы; писатель и издатель Кейт Джером прочла несколько вариантов и в самые трудные времена делилась деловыми идеями и поддержкой, за что я в огромном долгу. Двое однокурсников со времен

семинара писателей Айовы остались моими близкими друзьями и наперсниками: Ирен Конелли читала и корректировала каждую мою книгу, а эту больше, чем все остальные, и всегда была готова помочь; Том Граймс посвятил «Завету» бесчисленные часы до самого конца работы — люблю вас обоих.

Писатель — ничто без редактора, а правильный редактор решает все. Мне невероятно повезло, что мой редактор Питер Блэксток. Он придал окончательную форму этой книге и сделал это с уверенностью, пронизательностью, отличным чувством юмора и скромностью. Мой агент Мэри Эванс нашла меня в Айове в 1990 году и с тех пор представляет меня. Я очень многим обязан ей в своей писательской карьере, но особенно признателен, что она пристроила эту книгу Питеру и его блистательной команде в «Гроув Атлантик». Я получил бесценную редакторскую поддержку от Кортни Ходел в ранней версии книги, она действовала с необыкновенным терпением, мудростью и пониманием; ей и Натану Рострону, который прочел и дал такой толковый совет, моя сердечная благодарность.

Писательство — довольно одинокое дело, но, по крайней мере для данного автора, оно невозможно без любви, снисходительности, поддержки и прощения со стороны друзей и семьи. Из трех моих дорогих сыновей — Стивена, Джейкоба и Тристана — только младший, Тристан, был рядом со мной в годы написания этой книги, мы жили в доме только вдвоем; его терпение, невозмутимость и тихая, но глубокая любовь и поддержка удерживали меня во взлетах и падениях. Мой старший брат, Джордж, основа основ моей жизни, мой истинный север; он не только популярный профессор в МТИ, но и блестящий корректор и пронизательный читатель. В течение двух десятилетий каждое утро по средам я встречался лично или виртуально с моими «братьями Святого Антония»: Джек Виллом, Дрю Которн, Ренди Таунсенд, Ги Бодайн, Оливье Нададь и Бейкер Дункан. Группа была создана для поддержки и вдохновения друг друга; безусловная любовь «братьев» — безмерный дар; Ренди и Дженис предоставили мне свое убежище на Биг-Айленд в решающий момент написания книги.

Стэнфордский университет стал моим домом с 2007 года. Я глубоко признателен Бобу Харрингтону, моему другу и заведующему кафедрой медицины Стэнфорда, за его непоколебимую приверженность своему нетрадиционному заместителю. Я благодарю Ральфа Горвитца,

что привел меня в Стэнфорд. Ллойд Майнор, декан Стэнфордской медицинской школы, поддержал мою работу; он и Прийя Сингх возглавили центр, которым я руковожу, «ПРИСУТСТВИЕ: Искусство и Наука человеческих связей». Сону Тадани — волшебница и руководитель «ПРИСУТСТВИЯ», «БедМед» и всех прочих моих проектов в Стэнфорде. Я считаю ее, наряду с Эрроль Оздальга, Джоном Куглером, Джеффом Чи, Донной Зульман и всеми членами команды «БедМед» и «ПРИСУТСТВИЯ», своей большой семьей. Множество других коллег в Стэнфорде, слишком многочисленных, чтобы перечислять их здесь, побуждали меня учиться и расти, спасибо вам всем. Кафедра Линды Р. Майер и Джоан Ф. Лейн, которой я руковожу, дает мне свободу осуществлять интересы во всех школах кампуса. Уход за больным и обучение медицине у постели больного остаются моей главной страстью, и я благодарен пациентам, студентам-медикам, медицинскому персоналу и старшим ординаторам Стэнфорда, как и всех остальных учреждений, где я служил; всем, кто помогал сохранить смирение и поддерживать чувство призвания таким же острым и свежим, как в самом начале.

И наконец, я не представляю этой книги и своей жизни без Кари Костанцо. Она никогда не теряла веру в периоды моих взлетов и падений, она прочла каждую строчку в этой книге и повторила это бесчисленное число раз, она питала мое тело и душу, будучи при этом занятым ученым Стэнфорда и прекрасной матерью Кари и Алекоса. Знакомство с ее старшим сыном Алекосом стало для меня особенным подарком в последние несколько лет. Хотя книга посвящена моей матери, своим существованием она обязана тебе, Кари. *Omnia vincit amor: et nos cedamus amori*^[256].

Примечания

История, изложенная на этих страницах, полностью вымышлена, как и все главные и менее значительные персонажи, но я постарался следовать реальным событиям того времени. Японская бомбардировка Мадраса была настоящей; персонажи вице-короля, его главного секретаря и губернатора Бомбея полностью вымышлены и не имеют ничего общего с реальными людьми, занимавшими эти должности. Больница «Лонгмер» вымышлена; я горжусь, что учился в Медицинском колледже Мадраса и несколько раз посещал Христианский медицинский колледж, однако события и персонажи, связанные с двумя этими заведениями, вымышлены. Марамонская конвенция — это легендарное мероприятие, и я надеюсь когда-нибудь побывать на ней; сцена с Мастером Прогресса на конвенции выдумана; «Тройной Йем» не существует и не похож ни на одну из известных мне больниц. Священники, которых я знал с детства, а также один епископ — Мар Павлос Грегориос (урожденный Пол Варгезе), друг семьи, — были удивительными, одухотворенными людьми. Описание церкви и ее служителей полностью вымышлено.

Строка «Отныне дыхание отца стало просто воздухом» перефразирована из цикла «*Caelica*», сонет 83, Фулка Гревилла, барона Брука. Материал о прыжках и Васко да Гама во многом основан на великолепной книге Найджела Клиффа «*Священная война*» (Harper, 2011) и ее источниках. Размышления Большой Аммачи и Коши саара о романах и литературе почерпнуты из заметок Дороти Эллисон, а также основаны на высказываниях из превосходной книги Роберта Макки «*Роман*» (ReganBooks, 1997). Большая часть библейских стихов выделена курсивом и взята из Библии короля Якова; стандартные молитвы — из Вечернего молитвенного правила христиан Св. Фомы и из онлайн-версии «Литургии христиан Св. Фомы». Рассуждения Онорин о государственных школах вдохновлены документальным сериалом Би-би-си «Империя». Фраза «Отказаться от необходимого, но не от роскоши» перефразирует известную цитату, приписываемую то Фрэнку Ллойд Райту, то Оскару Уайльду. Описание Лондона глазами Селесты — пересказ повествования М. М. Кайе в «*Солнце поутру*» (Viking, 1990), а также «*Семьи Империи*» (Oxford University Press, 2004)

Элизабет Беттнер. Замечание Онорин о том, что розы были бы просто сорняками, если бы не увядали и не умирали, принадлежит Уоллесу Стивенсу: «Смерть — мать красоты. Лишь брэнное может быть прекрасным». Строки *Veritas* в «Мэйл» про мальчишек из «Ла Мартиньер» — парафраз из книги «*Бумажные кораблики в сезон дождей*» (Trafford, 2007) Оуэна Торпа. Комментарий автора письма о неудаче брамина, допущенного к высшим должностям, взят из книги Брайана Стоддарта «*Глава районной администрации в Британском Радже: Артур Галлетти*» (Readworthy Publication, 2011). «Секрет лечения пациента заключается в заботе о нем» — это знаменитая цитата Фрэнсиса Пибоди, хорошо известная всем врачам (JAMA, 1927; 88:877). Наблюдения Селесты о внешней учтивости ее мужа, несмотря на подлинные внутренние чувства, вдохновлены персонажем Джона Ле Карре Джорджем Смайли, который говорит: «Англичанин, получивший образование в частной школе, величайший лицемер на земле» в «*Тайном паломнике*» (Knopf, 1990). Когда Руни сообщает Большой Аммачи плохую новость, она благодарит его — «привычка чересчур сильна»; это слова из стихотворения Раймонда Карвера «Что сказал доктор» в книге «*Новая тропа к водопаду*» (Atlantic Monthly Press, 1990). Наблюдения Руни о роли большого пальца приписываются Исааку Ньютону в «*Круглом годе*» Чарльза Диккенса (1864), а позже обнаружены в книге А. Р. Крейга «*Книга руки*» (Sampson Low, Son & Marston, 1867): «При отсутствии других доказательств большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Коши саар читает стихотворение Теннисона 1854 года «Атака бригады легкой кавалерии». Надпись Дигби на «Анатомии Грзя» для Элси взята из «*Смерти и доктора Хорнбук*» Роберта Бернса (1785). Семья с голубоватым оттенком белков глаз и хрупкими костями страдает несовершенным остеогенезом. У женщины в лор-клинике с экзофитным разрастанием в ноздре — риноспоридиоз. До 1985 года существовала большая путаница между двумя формами нейрофиброматоза; многих пациентов с тем, что сейчас называется нейрофиброматоз 2 типа, или NF2 (в романе он называется «Недуг»), объединяли в кучу с нейрофиброматозом 1 типа, NF1, «классической» болезнью Реклингхаузена, для которой характерны кожные и подкожные узелки. Сейчас уже известно, что это два отдельных генетических заболевания, с различными клиническими проявлениями и участием разных

хромосом (17-й хромосомы в случае NF1 и 22-й — при NF2). «Недуг» имеет отдаленное сходство с описанием большого семейства в Пенсильвании (JAMA, 1970; 214:3470). Материалы о голоде взяты из открытых источников. Строка, которую слышит по радио Филипос, — 5-й акт «Гамлета». Цитаты Филипоса: «По счастью, ты можешь судить себя в этой воде» и далее: «По счастью, ты можешь очищаться вновь и вновь» — это строки из поэмы 1977 года «Счастливая жизнь» покойного поэта (и моего учителя и друга из Айовы) Джеральда Стерна. Степень «МРВР» после имени доктора — специалиста по бородавкам основана на анекдоте из «Эволюции современной медицины в Керале» К. Раджасекхарана Наира (TBS Publishers' Distributors, 2001). Грех неудачливого переводчика, предшественника Мастера Прогресса, вдохновлен словами Хорхе Луиса Борхеса «Оригинал неверен по отношению к переводу» в его эссе «„Ватек“ Уильяма Бекфорда» в «Избранных произведениях» (Viking, 1999). Слова Каупера: «В неизменном счастье и мире пребудут те, кто изберет эту науку ради нее самой, не ожидая никакой награды» — это принцип зороастрийского учения. «Жить вопросом» — из «Писем юному поэту» Рильке (Norton, 1993) и совет, который я часто даю своим подопечным. Побег Ленина и Ариккада после неудачного рейда в Ваянаде вымышлен, но накал были (и остаются) реальностью, так же как и казнь Ариккада «Наксаля» Варгезе (1938–1970), который бился за права адиваси в Ваянаде. В 1998 году констебль П. Рамачандран Наир сознался, что стрелял в Варгезе по приказу К. Лакшмана, главы тайной полиции. В 2010 году суд признал Лакшмана виновным в принуждении Наира к стрельбе, он был приговорен к пожизненному заключению и штрафу в десять тысяч рупий. Пренебрежительное отношение торговли рыбой к пилюлям вайдьяна почерпнуто из записки Оливера Уэнделла Холмса Массачусетскому медицинскому обществу от 30 мая 1860 года: «... если бы вся *materia medica*, что используется сейчас, могла быть утоплена в море, это было бы гораздо лучше для человечества — и гораздо хуже для рыб». В главе «Гончие небес» Филипос опирается на одноименное стихотворение Фрэнсиса Томпсона. Письмо Филипоса, где говорится, что «Подлинное открытие не в том, чтобы обнаружить новые земли, но в том, чтобы видеть мир новыми глазами», это парафраз прустовской мысли в «В поисках утраченного времени» (Gallimard, 1919–1927), в томе 5. Памятным «Назначь дату!» свата

Анияна я обязан своему коллеге по Стэнфордской школе бизнеса, Бабе Шиве, который использовал этот анекдот в качестве примера в своей лекции о принятии решений. Спасибо, Баба! Размышления свата Анияна о тайнах процитированы из книги Сисселы Бок «*Тайны: Об этике сокрытия и разоблачения*» (*Vintage Reissue*, 1989). Наблюдения Дигби во время пересадки сухожилия основаны на словах пионера хирургии Пола Брэнда: «Хирург должен проявлять терпение дождевого червя, пробирающегося между корнями и камнями, и он не должен пробиваться сквозь жесткие конструкции, иначе туннель не будет выстлан податливым материалом» в «*Журнале хирургии костей и суставов, Британское издание*», 43-В, № 3, 1961. «Никого не называй счастливым, пока он не умер» — это слова Солона Крезу в «*Истории*» Геродота (*Penguin Classic*, 2003); «Куда бы ты ни пошел, что бы ни случилось с тобой, это происходит со мной» — строчка из Е. Е. Каммингса^[257] «*Я несу твоё сердце с собой*» («Полное собрание стихов», *Liveright*, 1991).

Словарь

Áax — восклицание, выражающее восторг, удивление, возмущение — в зависимости от ситуации.

Ава́неу ва́тта — с ума сошел, сбрендил, ненормальный.

Áволи — рыба-зеркало.

Адада́ — ой-ой-ой.

Áдаккавум — скромный.

Адива́си — этнические меньшинства, племенные сообщества, аборигенные жители Индии, не включенные в кастовую структуру.

Аду́ппу — традиционный очаг; иногда — небольшая чугунная печка, куда закладывают угли и разжигают кокосовой скорлупой.

Айо́! — «Боже правый», «О господи!» и т. п. Восклицание может выражать множество эмоций, от удивления до негодования.

Áйя — няня.

Áле — доволен, удовлетворен.

Альмира́х — традиционный индийский шкаф без ножек.

Аммáй — свекровь, «вторая мать».

Аммáчи — мать, мама.

Áна — слон.

Ани́ян — младший брат.

Анча́л — почтовая служба княжества Траванкор, в которой письма доставляли пешие гонцы, забирая их из специальных почтовых ящиков.

Áппа — отец.

Аппáм — тонкий блинчик из рисовой муки.

Аппуппáн — пожилой мужчина, старик.

Áра — кладовая в доме.

Аранджáнам — тонкий поясок или шнур, который носят на талии маленькие мальчики на юге Индии, независимо от религиозных воззрений. Считается, что это защищает от злых духов.

Арра́к — крепкий напиток кустарного изготовления, самогон.

Ача́ян — уважительное обращение к пожилым мужчинам из христианской общины Кералы.

Ачи́не — уважительная форма обращения к старшему.

Ачча́н — священник, «отец», «батюшка».

Аша́ри — ремесленник.

Аши́н — больной, сумасшедший.

Бабу́ — обращение к мелкому чиновнику в Южной Азии.

Би́нди — тонкие сигареты, изготовленные вручную, из табака с примесью трав.

Бирья́ни — блюдо из риса и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей.

Бра́ми — цветковое растение, экстракт которого снимает мышечный спазм и оказывает общее успокаивающее действие.

Ва́ала — рыба-ремень, «сельдяной король».

Ва́да — острая закуска, похожая на пончики.

Ва́жи — посторонись.

Ваидья́н — лекарь, знахарь.

Вакка́ти — рабочий нож с длинным тяжелым лезвием.

Вала́ре — большой.

Ва́ллум — челнок, обшитый досками.

Ва́наккам — здравствуйте.

Ва́нде Ма́тарам — Слава тебе, Родина.

Ва́сту — традиционная индуистская система обустройства пространства, строительства и архитектурного планирования. Подразумевает создание построек в соответствии с гармонией Вселенной.

Вела́кку — ритуальный светильник, как правило, многоярусный.

Ветту́кати — большой нож с широким прямым лезвием, похожий на мачете, используется для срезания кокосов.

Вибу́ти или *нама́м* — священный знак, который последователи индуизма наносят на лоб и другие части тела. Отличаются у последователей разных направлений, в зависимости от принадлежности к той или иной традиции.

Гандха́рвы — класс полубогов в индуизме.

Голма́ал — суматоха, неразбериха.

Го́ша — женщины, соблюдающие исламские правила, согласно которым женщину не должны видеть никакие мужчины, кроме ближайших родственников.

Гумбалóда Говíнда — в Ченнае (Мадрас) так называют ситуации общественного возмущения чьими-либо действиями, нечто вроде погрома, но с воспитательными, а не карательными, целями.

Да — братишка.

Де́ива ме! — Господь Всемогуший!

Джаáп — затрещина, пощечина.

Джалéби — сладкое блюдо из обжаренных тонких нитей теста, политых сахарным сиропом.

Джáтка — легкий двухколесный экипаж.

Джéнми — землевладельцы-брамины.

Джéра — чай из семян кумина.

Джyба — в Керале мужская одежда для особых случаев, длинная свободная рубаха с длинными рукавами.

Дханвантхáрам кужáмбу — оздоровительное массажное масло, используемое в керальской аюрведической практике.

Дхóби — индийская каста, которая специализируется на стирке одежды.

Дхóти — традиционный вид мужской одежды в Индии; полоса ткани, которую обертывают вокруг бедер и ног, напоминает шаровары.

Ежáва — ремесленники.

Заморíн — титул правителя в Южной Индии.

Идли — небольшие круглые паровые лепешки, в Керале чаще всего из рисовой муки.

Иллáм — старший сын.

Итэ-áтэ — то и это, то-сё.

Кавáни — тип сари, надеваемый по особым случаям, чаще всего на свадьбу.

Каджáл — сурьма для глаз, натуральное косметическое средство из порошка каменного угля и растений.

Калигхáт — наивная народная живопись в Индии.

Кáлла каппáл — простые самодельные лодки, которые сколачивали прямо на берегах рек.

Калл-ух — пальмовое вино, *тодди*.

Кандж́и — жидкая каша из риса с водой, в которой он варился.

Канийя́н — профессиональный астролог в Керале, иногда были учителями в начальных школах.

Ка́нна — сорт маниоки, съедобные клубни тропического растения.

Кариме́ен — цейлонский этроплюс, небольшая рыба, покрытая черной чешуей, своеобразный «рыбный символ» Кералы.

Касе́ра — кресло.

Кехто́ — малыш.

Кинди́ — традиционный, обычно медный, сосуд для омовения рук или ног, в форме кувшина с очень длинным носиком.

Ко́кум — малабарский тамаринд.

Корма́ — дословно: тушеное, способ приготовления мясных и овощных блюд.

Кочча́мма — тетушка. Как правило, младшая сестра матери, второй после матери человек. В общем случае — уважительное обращение к старшей женщине.

Куну́кку — традиционное украшение христианок Кералы. Золотые серьги в виде кольца, которые носят, продевая через верхнюю часть ушной раковины.

Курангу́ — мартышка.

Курба́на — Евхаристия в восточно-сирийском литургическом обряде.

Ку́рта — свободная рубаша, доходящая до колен; может быть и мужской, и женской.

Ку́тти — ребенок, малыш.

Ладду́ — десерт из нутовой муки и топленого масла, со специями и кокосовой стружкой.

Ласси́ — напиток на основе йогурта с добавлением воды и льда.

Лу́нги — свободная набедренная повязка из цельного куска ткани, который не пропускают между ног, в южной Индии носят и женщины, и мужчины.

Ма́ — сестренка.

Ма́али — каста профессиональных садовников и флористов.

Ма́кку — дурак, болван.

«*Малая́ла Манора́ма*» — одна из старейших газет на языке малаялам.

Манпила́ — мусульманская община в Керале, обладающая самобытной культурой.

Ма́тхи — сардина.

Ме́ен — рыба.

Ме́ен вевича́тху — карри из рыбы.

Ми́нну или *тха́ли* — подвеска, которую жених дарит невесте. У Христиан Святого Фомы в Керале на ней обычно крест из 21 бусины.

Мол — маленькая девочка.

Моморди́ка — тропическая горькая дыня.

Мон — маленький мальчик.

Мо́хинийатта́м — индийский классический танец, популярный в Керале. Название происходит от слова *мо́хини* — так называют чародейку — аватара бога Вишну, которая помогает добру победить зло, используя свою женскую силу.

Му́нду — одежда в Керале. Мужской вариант — ткань, которую оборачивают вокруг талии и бедер, так что ноги полностью закрыты. Для физической работы нижние концы мунду приподнимают вверх, обнажая ноги до колен. Женский вариант называется *ка́лле му́нду*, это цельная ткань, которую драпируют поверх нижней юбки.

Мутта́м — двор перед домом.

Муу́ли — доченька, малышка.

Муу́ни — сынок, малыш, ласковое обращение к младшему.

На́инте мон — сукин сын.

На́иры — каста воинов.

Намбуду́ри — в Керале каста священнослужителей.

О́нам — самый большой фестиваль в Керале, праздник урожая, проходит в течение десяти дней первого месяца местного календаря (август — сентябрь). Отмечается торжественными шествиями, праздничными обедами, гонками на лодках.

Оопе́ри — банановые чипсы.

О́туккаву́м — незаметный.

Паан — листья бетеля, которые жуют после еды и вообще в любое время. Считается, что это полезно для здоровья, но вызывает тяжелую зависимость и пагубно влияет на состояние зубов и полости рта.

Пай'асам — сладкий рисовый пудинг.

Палаха'арам — закуски к чаю, чаще всего маленькие сладкие жареные пончики.

Паллу — свободный конец сари.

Пандал — специальная конструкция, напоминающая трибуны или помост под навесом. Обычно сооружается для проведения религиозных или торжественных церемоний.

Паньян — коренное племя Кералы, живущее в основном в округе Ваянад.

Парай'ар — то же самое, что *пулай'ар* — низшая каста, неприкасаемые.

Пар'атха — индийская лепешка, часто с начинкой из зелени или сыра.

Пардези — от «иностранец» (малаялам). Евреи, чьи предки прибыли в Кералу в XV–XVI вв. после изгнания из Испании.

Паттар — тамильский брамин, переселившийся в Кер — алу из Мадраса.

Пенну каанал — смотрины перед помолвкой.

Пиипал — дерево бодхи, священный фикус.

Плаву — хлебное дерево.

Поди — пудра, порошок.

Поттен — глухонемой.

Потту — иногда называется *бинди* — цветная точка, которую замужние индианки рисуют в центре лба. Раньше изображала принадлежность к какой-либо касте.

Пуван — сорт миниатюрных бананов.

Пуджа — обряд поклонения и почитания бога в индуизме.

Пужукку — блюдо из вареных корней или плодов, приправленных кокосовой пастой.

Пулай'ар — низшая каста на юге Индии, представители коренных племен, завоеванных пришельцами с севера. Действующая Конституция Индии признает равноправие каст, но в описываемое время дискриминация в отношении низших каст сохранялась. *Пулайи* — женщина этой касты, *пулайан* — мужчина.

Пу́тту — национальное блюдо Кералы, традиционный завтрак из сваренного на пару риса, обычно готовится в цилиндрической форме.

Ра́га — изначальная мелодическая идея, основа индийской традиционной музыки; буквально означает «страсть, привязанность».

Ра́тха — традиционное индийское монументальное сооружение с нишами для изваяний, по форме напоминающее колесницу.

Сандж́и — холщовая сумка с длинной лямкой, которую носят на плече.

Сахи́пту — белый мужчина.

Се́ва — обет, избавление от эгоизма посредством служения.

«*Супрабха́там*» — утренняя молитва в индуизме.

Та́ви — посуда, ковшик.

Тадья́н — пухляш.

Та́ли — большое металлическое блюдо, на котором подается еда, обычно сразу несколько блюд. Так же может называться и сам обед.

Тамб'ра́н — человек высокого социального статуса — хозяин, начальник.

Та́мби — малыш, младший брат.

Тача́н — плотник.

Те́ра — мармелад из манго.

То́дди — пальмовое вино, бражка.

То́ран — общее название для блюд из мелко нарезанных овощей с кокосовой стружкой.

Тха́и́р са́дам — рис, замоченный в соленом йогурте.

Тхарава́д — родовая усадьба аристократических семейств в Керале.

Тхорт — длинная полоска хлопковой ткани, обычно белого цвета, имеющая множество применений — полотенце, головной убор, шарф и т. п.

Уру́ли — большая миска для приготовления праздничных блюд.

Чаа́! — «К дьяволу!», «Заткнись, умолкни!» и т. п. — резкое выражение, прерывающее собеседника.

Ча́кка — плод хлебного дерева.

Чампа́ка — дерево, разновидность магнолии, эфирное масло цветов используется в парфюмерии.

Ча́ру касе́ра — шезлонг.

Чатта — свободная белая блузка длиной ниже талии, которую носят с мунду; традиционная одежда христианок Кералы.

Че́дети — тетушка, старшая родственница.

Чемачча́н — служка в церкви, алтарник.

Ченте́нгү — южно-индийская разновидность кокосовой пальмы с ярко-оранжевыми плодами.

Черума́н — то же самое, что *пулайа́р* — низшая каста, неприкасаемые.

Че́чи — сестра.

Чума́ — пустяки, ерунда.

Шатава́ри — общетонизирующее средство для женской репродуктивной системы.

Эдо! — Эй, ты!

Эре́ки олартхи́рту — жареное мясо в остром соусе.

Этта́ди — змея.

notes

Примечания

1

Город в Керале, родина индийских каучуковых плантаций. — *Здесь и далее примеч. перев.*

2

Священник, «отец», «батюшка» (*малаялам*).

3

Отец (*малаялам*).

4

От Матфея, 28:20.

«Малаяла Манорама» — одна из старейших газет на языке малаялам.

6

Элемент женской одежды в Керале; цельная ткань, которую драпируют поверх нижней юбки.

7

Тип сари, надеваемого по особым случаям, чаще всего на свадьбу.

8

Город в Керале.

Мужская одежда для особых случаев в Керале, длинная свободная рубаша с длинными рукавами.

Свободная белая блузка длиной ниже талии, которую носят с мунду; традиционная одежда христианок Кералы.

Волокно из межплодника кокосовых орехов, прочный и эластичный природный материал.

Евхаристия в восточно-сирийском литургическом обряде.

Сынок, малыш (*малялам*). Ласковое обращение к младшему.

14

Сестра (*малаялам*).

«Боже правый!», «О господи!» и т. п. (*малаялам*). Восклицание может выражать множество эмоций, от удивления до негодования.

Псалтирь, псалом 17:3.

Послание к Римлянам, 10:15.

Подвеска, которую жених дарит невесте. У христиан Святого Фомы в Керале на ней обычно крест из 21 бусины.

Латерит — своеобразная порода, продукт физико-химического выветривания алюмосиликатов в условиях тропического климата. Богата железом и алюминием, оксиды железа придают почве характерный красно-коричневый цвет.

Традиционная арабская рыбачья лодка.

Правитель (титул).

Разновидность магнолии, эфирное масло цветов используется в парфюмерии.

Южноиндийская разновидность кокосового дерева с ярко-оранжевыми плодами.

Традиционная индуистская система обустройства пространства, строительства и архитектурного планирования. Подразумевает создание построек в соответствии с гармонией Вселенной.

Двор перед домом.

Традиционный очаг; иногда — небольшая чугунная печка, куда закладывают угли и разжигают кокосовой скорлупой.

Национальное блюдо Кералы, традиционный завтрак из сваренного на пару риса, обычно готовится в цилиндрической форме.

Пулай'ар — низшая каста на юге Индии, представители коренных племен, завоеванных пришельцами с севера. Действующая Конституция Индии признает равноправие каст, но в описываемое время дискриминация в отношении низших каст сохранялась. *Пулай'и* — женщина этой касты, *пулай'ан* — мужчина.

Восклицание, выражающее восторг, удивление, возмущение — в зависимости от ситуации.

Сардина (*малаялам*).

Длинная полоска хлопковой ткани, обычно белого цвета, имеющая множество применений: полотенце, головной убор, шарф и т. п.

Человек высокого социального статуса — хозяин, начальник
(*малаялам*).

Общее название для блюд из мелко нарезанных овощей с кокосовой стружкой.

Большой нож с широким прямым лезвием, похожий на мачете, используется для срезания кокосов.

Мужская одежда в Керале — ткань, которую оборачивают вокруг талии и бедер, так что ноги полностью закрыты. Для физической работы нижние концы мунду приподнимают вверх, обнажая ноги до колен.

Мать, мама (*малаялам*).

Церковно-административная территориальная единица.

Тетушка (*малаялам*). Как правило, младшая сестра матери, второй после матери человек. В общем случае — уважительное обращение к старшей женщине.

Жареное мясо в остром соусе.

Традиционный, обычно медный, сосуд для омовения рук или ног в форме кувшина с очень длинным носиком.

Послание к Ефессянам, 5:23.

Дерево бодхи, священный фикус.

Тонкий поясок или шнур, который носят на талии маленькие мальчики на юге Индии, независимо от религиозных воззрений. Считается, что это защищает от злых духов.

Традиционное украшение христианок Кералы. Золотые серьги в виде кольца, которые носят, продевая через верхнюю часть ушной раковины.

Самый большой фестиваль в Керале, праздник урожая, проходит в течение десяти дней первого месяца местного календаря (август — сентябрь). Отмечается торжественными шествиями, праздничными обедами, гонками на лодках.

Традиционный индийский шкаф без ножек.

Десерт из нутовой муки и топленого масла, со специями и кокосовой стружкой.

Псалтирь, псалом 17:3.

Книга Екклесиаста, 3:1.

Округ в индийском штате Карнатака, на склонах Западных Гхатов, крупнейший район производства кофе и перца.

Пальмовое вино.

Театр-варьете, преобразованный в середине 1930-х в кинотеатр.

Район в центральной части Глазго.

Так в Шотландии католики называют протестантов.

«Глазго Рэйнджерс» — футбольный клуб Глазго, основанный протестантами, его болельщиками являются коренные шотландцы, протестанты и лоялисты. Его противостояние с другим футбольным клубом Глазго «Селтиком» является едва ли не самым ожесточенным в мире, за «Селтик» болеют шотландские католики — как правило, с ирландскими корнями.

Великий голод в Ирландии 1845–1849 гг. Во время голода погибло около миллиона человек и еще более миллиона эмигрировали, в результате чего население Ирландии сократилось примерно на четверть.

Восточное побережье полуострова Индостан в южной его части.

Район Глазго, в те времена населенный в основном выходцами из деревни и иммигрантами.

Обращение к мелкому чиновнику в Южной Азии.

Неврологический синдром, иногда возникающий после путешествия по воде. Сопровождается ощущением потери равновесия, легкого покачивания (*фр.*).

61

Линия роста волос на лбу в форме треугольника вершиной вниз. Название происходит от поверья, будто такая линия волос у женщины говорит о том, что она переживет своего мужа.

Центральная государственная больница основана в 1664 г. Британской Ост-Индской компанией, первая современная больница в Индии.

Крупнейшая государственная больница, расположенная в районе Ройапетта в Ченнае. Основана в 1911 г. и является одновременно учебной базой Медицинского института.

Водянка яичка.

65

Влагалищная оболочка яичка (*лат.*).

Родом из Ньюкасла, северо-восток Англии.

Паразитарное заболевание, вызываемое заражением определенным типом круглых червей.

Индийская каста, которая специализируется на стирке белья.

Напиток на основе йогурта с добавлением воды и льда.

Британская Индия.

Старинная британская закрытая школа, основной конкурент Итона.

Здравствуйте (*тамил.*).

Листья бетеля, которые жуют после еды и вообще в любое время. Считается, что это полезно для здоровья, но вызывает тяжелую зависимость и пагубно влияет на состояние зубов и полости рта.

Центр одноименного округа в штате Тамил Наду.

Священный знак, который последователи индуизма наносят на лоб и другие части тела. Отличаются у последователей разных направлений, говоря о принадлежности к той или иной традиции.

Индийская классическая музыка, сохранившаяся на юге Индии, название происходит от штата Карнатака.

Тропическая горькая дыня.

Корма́ — жаркое; парáтха — лепешка, часто с начинкой из зелени или сыра.

Цветная точка, которую замужние индианки рисуют в центре лба. Раньше изображала принадлежность к какой-либо касте. Иногда называется «бинди».

Методика субтотальной резекции желудка, названа по имени выдающегося немецкого хирурга, основоположника абдоминальной хирургии.

Острая закуска, похожая на пончики.

Легкий двухколесный экипаж.

Огромный пляж в черте города, простирающийся на 13 км в длину и около 300 м шириной, вдоль всего пляжа выстроена набережная и зона отдыха.

Каста профессиональных садовников и флористов.

Отсылка к рождественской песенке, в которой на восьмой день празднования Рождества к самому дорогому человеку отправляют восемь молочниц с дарами. Это символизирует восемь заповедей блаженства из Нагорной проповеди.

Четтинад — район проживания богатых купцов из общины «четти»; построенные ими богатые дворцы демонстрируют идеальное сочетание западного и восточного архитектурных стилей.

Город в Керале, недалеко от побережья.

Утренняя молитва в индуизме.

Няня из местных жителей.

Одно из крупнейших мест паломничества в индуизме, расположенное в 100 км к северу от Мадраса (Ченная). Храм Тирумалы Венкатешвары, посвященный одной из форм бога Вишну, является самым богатым индуистским храмом в мире, своего рода «индуистским Ватиканом».

Небольшая холщовая сумка.

Искаженное «сэр».

Свободная рубаша, достигающая до колен, может быть и мужской, и женской.

В то время — пригороды Лондона.

Кафедральный собор Глазго.

Дальний пригород Мадраса.

Популярные песни 1930-х.

Знак замужней женщины.

Район в северной части Мадраса, где была расположена самая большая христианская церковь.

В Мадрасе (Ченнай) так называют ситуации общественного возмущения чьими-либо действиями, нечто вроде погрома, но с воспитательными, а не карательными целями.

Здесь: К дьяволу! (*тамил.*)

Город в Тамил Наду, известный производством циновок из растения корай.

Изначальная мелодическая идея, основа индийской традиционной музыки; буквально означает «страсть, привязанность».

Традиционный вид мужской одежды в Индии; полоса ткани, которую обертывают вокруг бедер и ног, напоминает шаровары.

Предупрежден — значит, вооружен (*лат.*).

Книга пророка Иеремии, 1:5.

Каста профессиональных знахарей-лекарей в Керале.

Пожилой мужчина, старик (*малаялам*).

Доволен, удовлетворен, ему хватит (*малаялам*).

Служка в церкви, послушник, алтарник (*малаялам*).

Книга Иова, 9:10.

Визитная карточка Кералы — китайские рыболовные сети, известные здесь с XIV века. Они похожи на колодезный журавль, при помощи противовесов огромную сеть прямо с берега опускают в воду.

В скандинавской мифологии — первые люди, которых в виде деревянных заготовок нашли на берегу моря боги.

Улица в Стокгольме.

Книга Иеремии, 1:5.

Понятие в индийской философии, особая сила, или энергия, которая одновременно скрывает истинную природу мира и обеспечивает многообразие его проявлений.

Послание к Филиппийцам, 4:7.

Первые буквы степени бакалавра — ВА.

Книга пророка Исаии, 6:8.

Бытие, 2:1.

Книга Притчей Соломоновых, 3:5.

Норвежский врач, открывший возбудителя проказы.

Тонкие блинчики из рисовой муки.

Тетушка, старшая родственница (*малаялам*).

«Гудиер» — американская компания, производящая шины.

Сладкий рисовый пудинг.

Тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав.

Родовая усадьба аристократических семейств в Керале.

Профессиональный астролог в Керале.

Большое металлическое блюдо, на котором подается еда, обычно сразу несколько блюд. Так же может называться и сам обед.

Ремесленник (*малаялам*).

Послание к Галатам, 3:28.

Объединение всех протестантских деноминаций Индии.

Ой-ой-ой! (*малаялам*)

Цейлонский этроплюс, небольшая рыба, покрытая черной чешуей, своеобразный «рыбный символ» Кералы.

Сладкое блюдо из обжаренных тонких нитей теста, политых сахарным сиропом.

Санскритское двустишие, разновидность эпического стихотворного размера, которым написаны древние тексты.

А. Теннисон. «Атака легкой кавалерии». Пер. Ю. Колкера.

Железяки сверкают повсюду (*малаялам*).

Г. Мелвилл. «Моби Дик». Пер. И. Бернштейн.

Больной, сумасшедший (*малаялам*).

Затрещина, пощечина (*хинди*).

Свободная набедренная повязка из цельного куска ткани, который не пропускают между ног.

Крошечный элемент ткани для трансплантации.

Древний индийский медик и писатель, автор трактата «Сушрута-самхита», где описаны многие острые и хронические болезни, способы приготовления и применения лекарственных средств. Он производил множество хирургических вмешательств, включая ампутации, пластические операции, кесарево сечение, удаление катаракты и т. д.

Человек предполагает, а Бог располагает (*лат.*).

Метод поворота ($\phi p.$).

В 1858 г. в Великобритании было издано учебное пособие «Анатомия Грэя: описательная и хирургическая теория». Этот атлас стал событием в истории медицинской иллюстрации, выдержал множество изданий. Соавторами книги и иллюстраций были Генри Грэй и Генри Виндаик Картер.

Остров и город на нем у побережья штата Массачусетс.

Ты уходишь? (*малаялам*)

В Керале привычные нам утвердительные и отрицательные движения головой имеют противоположное значение.

«...В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Книга Экклесиаста, 9:10.

2-е Послание к Коринфянам, 12:9.

Р. Бернс. «Смерть и доктор Горнбук». Пер. С. Маршака.

Экспедиция М. Льюиса и У. Кларка 1804–1806 гг. — первая сухопутная экспедиция через территорию США, от Сент-Луиса до Тихого океана и обратно.

Горы в Шотландии.

Один из эпизодов ненасильственного протеста в Индии весной 1930 года, когда около ста тысяч человек во главе с Махатмой Ганди отправились к солеварням на берегу океана, чтобы самостоятельно выпаривать соль, не уплачивая соляной налог властям Британской Индии. Этот поход имел важное пропагандистское значение и заложил основы массовой кампании гражданского неповиновения.

YMCA — Ассоциация молодых христиан, волонтерская организация. YWCA — Женская молодежная христианская ассоциация.

Последний Махараджа Траванкора — Шри Читир Тирунал
Баларама Варма (1912–1991).

Почтовая служба княжества Траванкор, в которой письма доставляли пешие гонцы, забирая их из специальных почтовых ящиков.

Район Кочина.

162

Сорт маниоки, съедобные клубни тропического растения.

Одно из главных мест паломничества для индуистов, расположенное на самой южной оконечности Индостана.

Одна из старейших швейцарских часовых марок.

Автор подробной биографии и описания научных трудов выдающегося английского естествоиспытателя Джозефа Пристли.

Обряд поклонения и почитания бога в индуизме.

Мальш, младший брат (*тамил.*).

В начале XX века президент Гарвардского университета доктор Ч. Элиот начал издавать серию книг под общим названием «Пятифутовая книжная полка Элиота», позже переименованную в «Гарвардскую классику». В ней собраны лучшие произведения мировой литературы, по мнению автора серии.

Пудра, порошок (*тамил.*).

Цитата из «Больших надежд» Ч. Диккенса.

Евангелие от Луки, 8:39.

В. Т. Бхаттатхирипад — выдающийся индийский социальный реформатор, драматург и борец за независимость страны; внес большой вклад в дело эмансипации женщин, происходил из касты браминов-намбутири.

Популярный индийский художник второй половины XIX века.

Растение из семейства бобовых, родом из Индии, напоминает горох.

Плод хлебного дерева.

176

Блюдо из вареных корневищ или плодов, приправленных кокосовой пастой.

У. Шекспир. «Гамлет». Пер. Б. Пастернака.

В чем дело, девочка? (*малаялам*)

Закуски, чаще всего маленькие сладкие жареные пончики.

Местная монета с портретом махараджи Читхира Тхирунал Баларама Вармы II (1931–1947).

181

Город в штате Тамил Наду.

Рыба-ремень, сельдяной король (*малаялам*).

Сформированная японцами из военнопленных индийского происхождения армия, воевавшая в Бирме против англичан.

Свободный конец сари.

Специальная конструкция, напоминающая трибуны или помост под навесом. Обычно сооружается для проведения религиозных или торжественных церемоний.

Блюдо из риса и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей.

Легендарный падишах, по желанию которого был возведен Тадж-Махал.

Игра слов: *duke* — герцог.

Мухаммад Али Джинна — мусульманский политик, один из инициаторов раздела Британской Индии, создатель государственности Пакистана.

Всеиндийская мусульманская лига — политическая партия, призывавшая к разделу Индии и созданию на части ее территории отдельного мусульманского государства.

Индийский национальный конгресс — старейшая политическая партия Индии, в 1920-е возглавившая борьбу за независимость страны.

Свекровь, «вторая мать» (*малаялам*).

Рабочий нож с длинным массивным лезвием.

Город на самой южной точке полуострова Индостан.

Сурьма для глаз, натуральное косметическое средство из порошка каменного угля и растений.

Индийский классический танец, популярный в Керале. Название происходит от слова *мохини* — так называют чародейку — аватара бога Вишну, которая помогает добру победить зло, используя свою женскую силу.

Полидактильность — мутация, проявляющаяся у многих млекопитающих, в том числе у человека, заключается в большем количестве пальцев. У кошачьих эта особенность встречается особенно часто.

Цветковое растение, название связано со свойством созревших плодов с треском раскрываться и выстреливать семена при прикосновении.

Одна из самых важных богинь в индуизме, богиня-воительница.

Бывшая столица королевства Чандела в Центральной Индии, сохранилась часть храмов, покрытых резьбой, многие барельефы изображают эротические сцены.

Заткнись, умолкни! И т. п. (*тамил.*). Резкое выражение, прерывающее собеседника.

Небольшие круглые паровые лепешки, в Керале чаще всего из рисовой муки.

Оздоровительное массажное масло, используемое в керальской аюрведической практике.

Цветковое растение, экстракт которого снимает мышечный спазм и оказывает общее успокаивающее действие.

Общетонизирующее средство для женской репродуктивной системы.

Индийская поэтесса, первая женщина — президент Индийского национального конгресса.

Промышленно-финансовые группы национальной индийской буржуазии, функционирующие как семейные кланы.

США (*англ.*).

Ритуальный светильник, как правило, многоярусный.

Книга пророка Иеремии, 1:5.

Евангелие от Матфея, 25:35.

Комикс Ли Фалька (автор идеи и текстов), Фила Дэвиса и впоследствии Фреда Фредерикса, один из самых продолжительных в истории, начал выходить в июне 1934 г., а последний, завершающий выпуск вышел в июне 2013 г.

Выдающийся миссионер-методист, теолог, создатель «христианских ашрамов» в Индии; был близок к лидерам партии Индийский национальный конгресс.

Пролив между островами у побережья Техаса.

Города в Техасе и Теннесси.

216

Столица округа Тамил Наду, где расположен один из крупнейших современных медицинских центров.

Выдающаяся женщина-миссионер, положившая начало медицинскому образованию женщин в Индии, создавшая систему медицинских миссий по всей стране и огромный медицинский комплекс в Веллuru.

Corpus Christi — Тело Христово (*англ.*), но одновременно название города в Техасе.

Евангелие от Луки, 12:3.

Евангелие от Матфея, 19:14.

221

Кресло.

222

Рыба (*малаялам*).

Евангелие от Луки, 6:38.

Объединенный христианский колледж в городе Альюва, штат Керала, один из первых колледжей в Индии.

225

Лекарство из листьев наперстянки для лечения сердечной недостаточности.

Имеются в виду арабские страны Персидского залива, куда начиная с 1960-х потянулись на работу индийцы.

Документ, дающий гражданам Индии право работать за границей.

Сестренка (*тамил.*).

Принцип зороастрийского учения.

230

Сладкий напиток, солодовое молоко.

231

Мартышка (*тамил.*).

Коренное племя Кералы, живущее в основном в округе Ваянад.

Мусульманская община в Керале, обладающая самобытной культурой.

Братишка (*тамил.*).

Royal Meals — королевская трапеза (англ.).

Радикальное направление католической теологии 1970–1980-х гг., характеризующееся четкой социальной позицией. Политический смысл его в освобождении не только от первородного греха, но и от всех форм угнетения.

237

Эй, ты! (*малаялам*)

238

Крупный порт на восточном побережье Индии.

Гоша — женщины, соблюдающие исламские правила, согласно которым женщину не должны видеть никакие мужчины, кроме ближайших родственников. Больница «Гоша», в которой имелись отдельные палаты для представительниц разных каст и религий, была основана в 1885 г., чтобы местные женщины могли получить квалифицированную медицинскую помощь.

240

Городской район Ченнаи.

То и это (*малаялам*).

Рыба-зеркало (*малаялам*).

Фрэнсис Томпсон. «Небесные гончие». Пер. М. Гаспарова.

Четырехместный автомобиль, производившийся в Индии по лицензии компании «Фиат» с 1964 по 2001 г., самый популярный автомобиль в стране в 1970-е. Падмини — одно из имен богини Лакшми, означает «сидящая на лотосе», одно из самых распространенных женских имен в Индии.

Коммерческий район Мадраса.

Мальш.

Строка из христианского гимна англиканского священника и богослова XIX века Эдвина Хэтча.

Василий Мар Фома Матфей II (1915–2006) — глава Маланкарской церкви, очень много сил и времени посвящал благотворительности и социальным проектам.

Пустяки, ерунда (*малаялам*).

Евангелие от Иоанна, 20:27.

Нынешний вокзал Чатрапати Шиваджи в Мумбаи.

Курортные городки в Западных Гхатах.

Местный вид автогонок.

Суматоха, неразбериха (*малаялам*).

Шотландская пресная овсяная лепешка, грубый хлеб.

Все побеждает любовь: и мы любви покоримся (лат.). Вергилий,
«Эклоги», X, 69.

Американский поэт-экспериментатор.